

А 231
809

801-14
3419
П. А. Крушеванъ.

ЧТО ТАКОЕ РОССИЯ?

ПУТЕВЫЯ ЗАМѢТКИ.

Ты хочешь знать, что видѣлъ я
На волѣ?
Ты хочешь знать, что дѣлалъ я
На волѣ?.. Жилъ—и жизнь моя
Безъ этихъ трехъ блаженныхъ дней
Была-оъ печальнѣй и мрачнѣй
Безильной старости твоей...
Давнымъ-давно задумалъ я
Взглянуть на дальнія поля,
Узнать, прекрасна ли земля;
Узнать, для воли или тюрьмы
На этотъ свѣтъ родимся мы"...
„Миры“— Лермонтовъ.

„Нация есть духъ, отвлеченный принципъ.
Два обстоятельства порождаютъ этотъ духъ,
этотъ отвлеченный принципъ: одно—общее
обладаніе наслѣдственными воспоминаніями,
второе — дѣйствительное согласіе, желаніе
жить вмѣстѣ“.

„Нация есть великая солидарность, какъ
результатъ священныхъ чувствъ къ прине-
сеннымъ жертвамъ и тѣмъ, кои будутъ при-
несены въ будущемъ“. Эрнестъ Ренанъ.



МОСКВА.

Типо-литографія Высочайше утверд. Т-ва И. Н. Кушнеревъ и №,
Паменовская улица, собственный домъ.
1896.

ЧТО ТАКОЕ РОССИЯ?

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Главы.	Стр.
I. Сборы въ путь.— Маршрутъ.— На вокзалѣ.— Племенное слияніе.— Поѣздъ уходитъ.— Призраки прошлаго.— Четыре брата.— Рога-чевъ.— У В. Л. Дѣдлова	1
II. Споръ юга и сѣвера.— Параллели.— Дѣдовская экономія.— На пароходѣ „Рогачевъ“.— Бѣлорусскій помѣщикъ.— Панъ Арогъ и панъ Стась.— Малорусско-бѣлорусско-польская „жена“.— „Паны“ мечтаютъ о томъ, какъ ихъ долженъ выручить „Капашъ“ „L'argent-c'est moi“	8
III. Природа.— Могилевскій „богатырь“.— Панъ Стась продолжаетъ ухаживать за паномъ Арономъ.— Волная торговля и промышленность.— Призывъ бѣлорусскаго помѣщика.— Что дѣлать?— Финансовая за-дача.— Ночь.— Подходимъ къ Могилеву.— Въ погонѣ за достопримѣчательностями.— На „Валу“.— На „Гомель“.— Шкловскій пи-сатель Давидъ Львовичъ.— Орша.— На пути къ Москвѣ	16
IV. Мѣсто Смоленска.— Призраки Бородина.— Москва.— Въ „Лоскут-ной“.— Въ погонѣ за путеводителемъ.— Московскій разгулъ.— Въ „Фантазіи“	26
V. Опять въ погонѣ за путеводителемъ.— Потомокъ „великой арміи“ знакомитъ съ Москвою всероссійскаго гражданина.— На „пароходной“ пристани.— Русскій машинистъ.— Продолженіе московской „распу-ты“.— Панорама Москвы съ Воробьевыхъ горъ.— Волшебная сказка.— Какъ фабричные фотографируютъ Воробьевы горы.— Путеводитель добытъ.— Моя „филлипка“	34
VI. Храмъ Христа Спасителя	42
VII. Третьяковская галлерея	50
VIII. Зоологическій садъ.— Царь-колоколь и Царь-пушка.— Визъ на Мо-сковь съ колокольни Ивана Великаго.— Московскія бани.— Истори-ческій музей.— Оружейная палата.— Кремлевскіе дворцы и соборы.— Церковь Василія Блаженнаго	59
IX. Московская дистанція и московское благоустройство.— Городское хозяйство.— Новые типы московскаго купечества.— Благотворитель-ныя учрежденія.— Пролетаріатъ.— Петербуржецъ и москвичъ.— Об-щая впечатлѣнія.— Визъ.— На Нижегородскомъ вокзалѣ	70
X. Въ вагонѣ.— Дорожные разговоры.— „Парижскіе фрукты“.— Въ Нижнемъ.— Толпа.— Переселенцы.— Гостиницы.— На скачкахъ.— Ярмарка	76
XI. Нижний и ярмарка.— Опера и ярмарочная публика.— Кунавинская вакханалія.— „Для коммерческаго оборота“.— Въ главномъ домѣ и пассажахъ.— Торговля.— „Верхній“ Нижний.— Визы на городъ и яр-марку.— На Откосѣ.— Волжская панорама	84
XII. Пароходство по Волгѣ.— На пристани.— „Некрасовъ“.— Пароходная обстановка.— Плыть.— Панорама Нижняго.— Волжскій просторъ.—	

При составленіи настоящихъ замѣтокъ нѣкоторыя статистическія и другія свѣдѣнія и справки почерпнуты изъ нижеслѣдующихъ изданій:

„Краткій путеводитель по Москвѣ“ Добрякова, „Храмъ Христа Спасителя“ М. С. Мостовскаго, „Указатель памятниковъ Историческаго Музея“—составленъ Императорск. Россійскимъ Историч. Музеемъ, „Иллюстрированный путеводитель по Волгѣ“ Г. П. Демьянова, „Волга“, путевыя замѣтки В. Сидорова, „Указатель историческихъ достопримѣчательностей Кавани“ С. М. Шпилевскаго, „Очерки Кавказа“ В. С. Кривенко, „Краткій путеводитель по кавказскимъ минеральнымъ водамъ“, изд. Горнаго Декартамента, „Кавказъ“, справочная книга Старожила, „Путеводитель по Кавказскому Музею“ д-ра Г. И. Радде, „Путеводитель по Чер-ному морю“ Григорія Москвича, „Путеводитель по Крыму“ Н. Головкинскаго (бывшій Сосногоровой), „Севастополь и его окрестности“ Е. Э. Иванова, „Одесса за 100 лѣтъ“, историческій очеркъ и путеводитель В. Коханскаго, „Путеводитель по Киеву“ В. Д. Бублика.

- Пассажиры. — Спорт казани и нижегородца о выставках. — Мазут и рыба. — Волга Некрасова. — Бурлаки. — Типы волжанина. — Ночь. — «Рыба времени» 93
- XIII. Судьбы народов. — Казань, как ключ. Камы, Волги, Каспия и Сибири. — Исторические силуэты. — «Устье». — На пристани. — Казань-кладбище. — Братская могила. — Татарско-русское «столкновение» с филоном в современном вкусе. — Опять ить путешественники! — Кремль. — Башня Сумбеки. — Видь Казани. — Проглука по городу. — Въ цирк 103
- XIV. Вызвѣзъ изъ Казани. — Воспоминанья. — На «Гоголь». — Перека- ты. — Новый пассажиръ. — Мое знакомство съ Дю-Фаромъ. — Устье Камы. — Французъ о Россіи. — Нашъ «аллиансъ». — Франко-русскій параллели. — Французская молодежь. — Разговоръ о литера- турѣ. — Самара 112
- XV. За Самарой. — Александровскій мостъ. — Отсутствие русскихъ тури- стовъ. — Мимо Сызрани. — Столпа раскола. — Хвалынский. — Сара- товъ. — Франко-пѣвскій «индигентъ». — На «Новосельскомъ». — Публика. — Барышня-туристка. — За завтракомъ. — Саратовскій «де- зансамблъ». — Легенда о камышинскомъ «инженерѣ». — Царство ар- бузовъ 121
- XVI. Царицынъ. — Столпотвореніе вавилонское. — Геригутеры, магометане, православные, сектанты, евреи и буддисты плывутъ по русской рѣкѣ на твореніи Фултона. — Монологъ малоросса. — Сарептскій бальзамъ, какъ антихолерное средство. — Волга и степь. — Черный яръ. — Дубинка Петра Великаго. — Мысли, навѣяныя Волгой, и вели- кій гений земли русской. — Волжская дельта. — Видъ Астрахани. — На пристани. — Толпа востока 131
- XVII. На «Кавказъ». — Въ дельтѣ. — Природа. — Дамская тревога. — За обѣ- домъ. — На взморь. — Двѣнадцатифутовый рейдъ. — «Константинъ» или «Корниловъ»? — Побѣдители и побѣжденные. — Южная ночь на морѣ. — Буря. — Качка начинается. — Морская болѣзнь. — Все про- шло. — Кавказъ 141
- XVIII. На твердой почвѣ. — Петровскъ. — Въ персидской банѣ. — «Тор- щикъ». — Горчаковъ. — Ауль. — Кавказская разноплеменность. — Судъ и правъ. — Кровавая мѣсть. — Русская «вендетта». — Психологическая и историческая загадка. — На вокзалѣ. — Въ полдневный жаръ въ долину Дагестана 151
- XIX. Море. — Дагестанскіе пейзажи. — Горцы, солдаты и казаки. — Чиръ-Юрты и Хасавъ-Юрты. — Разговоръ на кавказскій теизм. — Кинжал- ный край. — Кавказскіе разбойники. — Сопителное кучество. — Неприступный мѣръ. — Бабій бунтъ казачекъ. — Грозный. — Евреи въ роли горцевъ. — Демонстрація ингушей. — «Проклятые армяне изъ Кизляра». — Владикавказъ. — Панорама горъ 161
- XX. Колонизаторская работа Россіи. — Метрика Владикавказа. — Терекъ. — Азиатскіе яды. — «Братцы, помните мое дѣло». — На минеральныхъ водахъ. — Оторванная страничка «воляного» романа. — Кисловодскъ. — Нарзанъ. — Курсовая публика. — Типы и силуэты. — Достопримѣ- тельности. — Лермонтовская скала. — Замокъ коварства и любви. — Легенда во вкусъ «воляного романтизма». — О чемъ говоритъ старое кресло 171
- XXI. Докторскій разговоръ. — Эссенуки. — Пятигорскъ. — Призраки про- шлаго. — Кавказъ и Лермонтовъ. — Видъ Пятигорска. — Памятникъ. — Пятигорскіе «курсовые». — Большая Россія. — Вокругъ Машука. — Лермонтовскій гротъ. — Тамбовскіе похитники превзошли кур- щикъ. — Проваль. — Мѣсто дуэли. — Обратный путь 181
- XXII. Новый спутникъ. — Военно-грузинская дорога въ пушкинскія време- на и теперь. — «Не увѣжай, голубчикъ мой». — Картины горъ. — Въ

- Ларсѣ. — Дарьяльское ущелье въ лунную ночь. — Замокъ Тамары. — Типы древняго міра. — У подножія Кавказа. — Дарьяль днемъ. — Кавказъ и три русскихъ гения. — Коби. — Крестовый переваль . . . 190
- XXIII. «Кавказъ поло мною». — Гудадуръ. — Надъ бездною. — Спускаемся по стѣнѣ въ Млыты. — Волшебный путь. — На днѣ пропасти. — Ночь. — Пассанауръ. — Поцѣлы. — Анапуръ. — Развалины Грузинъ. — Ашну- рская крѣпость. — Душеть. — Михеть. — Маленькій сюрпризъ. — Подъ- бажамъ къ Тифлису. — Новый сюрпризъ. — Еще сюрпризъ. — Воде- виль съ азиатскимъ букетомъ 201
- XXIV. Церковь св. Давида. — У могилы Грибѣдова. — Панорама Тифлиса. — Тринадцать вѣковъ на смарку. — Видъ европейской части. — Тиф- лисская тарарабумія. — Азиатскій базаръ и татарскій майдагъ. — Восточныя картинки. — Въ мечети. — Караванъ-сарай. — Муштайтъ. — Уличная жизнь и публика. — «Увеселительные» сады. — Національная музыка. — О, Армения! 212
- XXV. Въ Ботаническомъ саду. — Видъ на Тифлисъ съ вершины Соло- лаки. — Въ «храмѣ Славы». — Картина Рубо «Плѣтъ Шамилъ». — Со- временникъ гунибской кашгалути. — Въ кавказскомъ музеѣ. — Кав- казская фауна. — Фрески «Прибытіе Аргонавтовъ въ Колхиду». — Этнографическій калейдоскопъ Кавказа. — Тифлисская интелли- генція и печать. — Тифлисскіе «анархисты». — Грузинская и армянская печать. — Турецкія бани 222
- XXVI. Вызвѣзъ изъ Тифлиса. — На вокзалѣ. — Грузинская кингития и тиф- лисскій «Пэвако». — Грузинское авиорство. — Кавказскій универ- ситетъ. — Улицы-цихе. — Гори. — Михайлово. — Катастрофа. — Мимо Боржомъ. — Въ волшебной долині Ріона. — Сурамскій переваль и тунель. — Колхидскій рай. — На станціи Ріонъ. — Кавказскій косто- мированный балъ. — Пріѣзвъ въ Батумъ 232
- XXVII. Батумскій дождь. — Въ гостиницѣ «Имперіаль». — Русская Ницца. — Родина Демососена. — Видъ города. — Бульваръ. — Александровскій паркъ. — Флора. — Отказъ отъ «бакшиша». — Кто онъ? — Финансовыя размышленія на тему о стегариновой свѣчѣ. — На «Цесаревнѣ». — Пас- сажиры — Береговая панорама Кавказа. — Осмечиръ. — Сухумъ-Кале. — Опять качка. — Новый Аонъ. — Гудадуръ. — За обѣдомъ. — Пассажи- рскіе разговоры. — Адлеръ 242
- XXVIII. Кавказъ исчезаетъ. — Новороссійскіе. — Озекаторъ. — На керченскомъ рейдѣ. — Керчь. — Призраки Пантикианъ и Босфорскаго царства. — Новые пассажиры. — За завтракомъ. — Разговоры. — Феодосія и ея «добрый гений». — Гдѣ готовится Черное море? — Вдоль крым- скіхъ береговъ 252
- XXIX. Ялта. — Крымская природа. — Гостиницы. — Въ кондитерской Верне. — О чемъ говоритъ воробей. — Ялтинскіе проводники. — Массандра. — Никитскій садъ. — Гурзуфъ. — Публика. — У платана Пушкина. — Тамъ, гдѣ море вѣчно плещетъ 263
- XXX. Мимо Ливадіи, Ореанды и Ай-Тодора. — Алушка. — Замокъ и паркъ. — Хаостъ. — Береговая панорама. — Байдарскія ворота. — Въ Байдаркахъ. — Балаклава. — Кладбища. — Видъ Севастополя. — Бульваръ и бухта. — На яликѣ. — Братское кладбище. — Закатъ солнца 271
- XXXI. Приморскій бульваръ вечеромъ. — Музей севастопольской обороны. — Храмъ св. Владиміра. — Публика. — «В. К. Константинъ». — Пас- сажиры. — Переселенцы. — Отчаливаемъ. — За обѣдомъ. — У Евпато- рии. — Мимо Тарханкута. — Пріѣзвъ въ Одессу 283
- XXXII. Одесса. — Общее впечатлѣніе. — Улицы. — Ростъ населенія. — Город- скій бюджетъ. — Благоустройство. — Культурность. — Народное обра- зованіе. — Одесская печать. — Общественная благотворительность. — Г. Г. Марзали. — Пасхальныя розговѣны. — Пролетаріатъ. — Народная аудиторія. — Памятники. — Путеводитель по Одессѣ. — Гостиницы. —

Видъ съ Николаевского бульвара. — Торговля. — Музей и библиотечка. — Театръ	292
XXXIII. Александровскій паркъ и Новый бульваръ. — Страничка изъ прошлаго. — „Трофеи“ войны и мира. — Герои минувшей войны. — Одесская публика и уличная жизнь. — Выставка плодоводства. — Картины Латоріо. — Проклятый англичанинъ. — На вокзалѣ. — Въ вагонѣ. — Боменка	302
XXXIV. На дачѣ „Милыя“. — Днѣстръ и виды. — Паркъ. — Виноградъ и курсовое. — Жизнь въ Каменкѣ. — Хоръ трубачей Вознесенскаго полка. — Национальное объединеніе. — Празднество на манеръ „франко-рускихъ симпатій“. — Ужинъ и рѣчи трубачей. — Аллансъ именинницъ	310
XXXV. Въ Бессарабіи. — Переправа. — Приднѣстровскіе и припрутскіе молдаване. — Костюмы, языкъ и обычаи. — Обстановка жизни и чистопролюбіе. — Бессарабскіе помѣщики и „чумазые“. — „Джѣкѣ“, „Хора“ и другіе народные танцы. — Посидѣлки. — Попутныя картинки. — Сороки. — Видъ города. — Пеллагра	318
XXXVI. ПО ДНѢСТРУ. Путевыя замѣтки. — Сборы въ путь. — Приятныя ожиданія. — „Понеръ“ или „Левъ“? — На пароходѣ. — Всероссійскій Первый блинъ комомъ. — Вліяніе свадьбы одного цадика на пароксизмъ рейсѣ. — Хорошій буфетъ о трехъ ложечкахъ. — Днѣстровскія панорама. — На мели и опять на мели. — „Левъ“, спасенный го-Коненъ мытарствамъ и вавилонскому плѣннику	329
XXXVII. Прощай, югъ! — Въ поѣздѣ. — Кіевъ показывается. — На вокзалѣ. — Электрическая „конка“. — Роща Кіева. — Соперничество Кіева и Одессы. — Параллели. — Растительность. — Крепости. — Уличная толпа и кіевская публика. — Кіевъ, какъ народный городъ. — Памятникъ св. Владиміра. — Кіевская панорама	337
XXXVIII. Разговоръ о стиляхъ. — Владимірскій соборъ. — Внѣшній видъ. — Внутренность храма. — Византійская живопись. — Картины Васнецова, Свѣдскаго, Катарбинскаго и Нестерова. — Картины Васнецова, Свѣдскаго, Катарбинскаго и Нестерова. — А. В. Прахова. — Пароходъ. — Выѣздъ изъ Кіева. — Дорожные разговоры	346
XXXIX. Еврейскій вопросъ. — Что дѣлать? — „Лѣвая рука“ человечества. — Грядущее вырожденіе евреевъ. — Рассказъ студента. — Польскій вопросъ. — „Буферныя“ мечты. — Любовь. — Гомель. — „Мигъ сны“ и нѣтъ волшебной сказки	355
XL.	365

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Мнѣ пришлось какъ-то недавно совершить круговую поѣздку по Россіи. Я говорю нарочито—поѣздку, а не путешествіе, такъ какъ не претендую на строгое изслѣдованіе спеціалиста-путешественника. Поѣздка эта, продолжавшаяся два мѣсяца, составила кольцо въ восемь тысячъ верстъ. Я много видалъ, наблюдалъ, слышалъ, набрасывая на лету, въ безпрерывномъ дорожномъ водоворотѣ, мои впечатлѣнія и мысли.

Замѣтки эти велись въ формѣ дневника, и потому, можетъ-быть, получили слишкомъ субъективную окраску. Но, пиша ихъ, я имѣлъ въ виду изобразить тотъ міръ, который пронёсся мимо меня, именно такимъ, какимъ онъ отразился въ моей душѣ, такъ, какъ я его видалъ, понималъ и воспринималъ въ тѣ минуты, чувства и мысли, которыя онъ будилъ во мнѣ тогда, со всей искренностью и правдивостью. Я хотѣлъ, наконецъ, развернуть предъ вами волшебную панораму жизни, промелькнувшую предо мной за эти два мѣсяца какой-то чарующей сказкой, чтобы показать, какой необъятный міръ ощущеній и впечатлѣній можетъ вызывать даже такая мимолетная поѣздка по нашей великой родинѣ, которую мы знаемъ такъ мало и такъ мало стремимся узнать.

Есть вопросы настолько обширные и сложные, что человечество рѣшаетъ ихъ изъ поколѣнья въ поколѣнье. Таковъ и вопросъ, которымъ озаглавлены настоящія замѣтки. Я поставилъ его невольно, именно потому, что онъ неотвязно преслѣдовалъ меня во время моей поѣздки, и отнюдь не претендую дать на него категорическій отвѣтъ въ этихъ мимолетныхъ наброскахъ, тѣмъ болѣе, что для опредѣленія историче-

ской роли и культурной миссии России пришлось бы написать целое исследование. Но, быть может, тотъ отвѣтъ, который я пытаюсь дать здѣсь, хоть отчасти выдвинетъ и намѣтитъ его именно теперь, когда этого требуетъ ростъ нашего самосознания и когда сознание мировой роли России можетъ сплотить насъ въ еще болѣе цѣльный организмъ для дружной работы на благо родины и человѣчества.

Авторъ.

Что такое Россія?

ПУТЕВЫЯ ЗАМѢТКИ.

ГЛАВА I.

Сборы въ путь.—Маршрутъ.—На вокзалъ.—Плеченное сѣдло.—Показъ уходить.—Призраки прошлаго.—Четыре брата.—Рогачевъ.—В. В. Л. Дѣдлова.

30-е июля, Минскъ.

Время близится къ вечеру. Красноватые лучи, врываясь въ раскрытыя настѣжи окна кабинета, золотятъ корешки переплестовъ въ книжныхъ шкафахъ, переливая радугой въ стеклышкахъ канделябровъ.

Укладываюсь. На полу — два раскрытыхъ чемодана, связка съ постелью, дорожный сесессеръ, газетные листы и свертки. Багажу набирается слишкомъ много. Я и досажду на себя при мысли о предстоящихъ пересадкахъ и сомнѣ артельщиковъ, которые рисуютъ воображенію надѣдливой толпой «чающихъ на чай», и малодушествую. Русский туристъ никакъ не можетъ усвоить себѣ манеры европейца путешествовать налегкѣ, съ какимъ-нибудь пледикомъ подъ мышкой да чемоданомъ въ пудъ—въ багажъ. Ему все еще кажется, что предъ нимъ не вагонъ, а шестимѣстный рыдванъ, который непременно долженъ быть нагруженъ горой чемодановъ, погребцовъ, корзины съ разной снѣдью и т. д. Иначе и дорога—не дорога.

Размышляю на эту тему въ сильной борьбѣ; но малодушіе и привычка берутъ свое.

Еще разъ обдумываю маршрутъ и диктую его пріятелю, который сидитъ у газетнаго стола, записывая.

Маршрутъ нѣсколько измѣняется. Наканунѣ я получилъ приглашеніе отъ В. Л. Дѣдлова заглянуть къ нему. Это—совсѣмъ не по пути. Имѣние его въ Могилевской губерніи, на югъ, а мнѣ надо на Минскъ. Но, во-первыхъ, имѣние это въ ядрѣ Бѣлоруссіи—и мнѣ улыбается мысль окунуться на время съ головой въ бѣлорусскую природу; во-вторыхъ—очень хочется повидаться съ милѣйшимъ В. Л., въ-третьихъ—меня увлекаетъ надежда, что авось какъ-нибудь удастся искутить автора «Писемъ изъ далека», разныхъ «Экскурсій», «Па-

рихи и его выставки», «Сашеньки» и «Переселенцев» совершить вь компании это «артистическое турнэ».

Диктую:

— Жлобинь, Рогачевъ... Первая числа августа — по Днѣпру: Рогачевъ, Могилевъ, Орша; по чутункѣ—Смоленскъ, Москва. Средина августа—Нижний; по Волгѣ—Казань, Самара, Саратовъ, Царицынъ, Астрахань; по Каспійскому морю—до Петровска; Владикавказъ, Пятигорскъ, Кисловодскъ, Ессентуки, опять Владикавказъ. Конецъ августа—военно-грузинская дорога и Тифлисъ. Сентябрь—долина Ріона до Батума, Кавказское побережье Чернаго моря; средина сентября—Крымъ, Одесса; конецъ—Бессарабія, Подолія, Кіевъ и по Днѣпру на Гомель въ Минскъ.

Вь воображеніи вытягиваются эти тысячи верстъ—и опять какъ будто оробѣ беретъ. Гляжу на карту — становится спокойнѣе: восемь тысячъ верстъ оглабуютъ такую небольшую площадь Россіи, что разстояніе это точно теряетъ свое значеніе предъ безконечнымъ пространствомъ земли русской. Этакая громадина! Цѣлый міръ!

Около полуночи я на либаво-роменскомъ вокзалѣ. Чувствую и нервное возбужденіе, и какъ будто линингтонское настроеніе. Что-то и манитъ впередъ, и тянетъ назадъ. Воображенію заманчиво рисуется уютная спаленка, шкафы съ книгами, гдѣ каждый томикъ какъ будто составляетъ частицу твоей души, письменный столъ, съ которымъ какъ-то срастаешься за работой—и не хочется вѣрять, что все это дѣлхъ два мѣсяца будетъ безъ тебя. Но на смѣну бѣгутъ другія картины, радужными красками пестрѣтъ загадочная даль, манитъ приволье и русскій просторъ...

Меня провожаютъ товарищи. «Вспрыскиваемъ»,—безъ этого никакъ нельзя. Пока шипучка искрится, играя въ бокалахъ и подогрѣвая пожеланія, я поглядываю на моихъ собесѣдниковъ. Случайное совпаденіе, поражающее меня въ эту минуту, какъ будто создаетъ какую-то особенную призму, сквозь которую я пропускаю дальнѣйшія путевыя впечатлѣнія. Направо отъ меня сидитъ круглоголовый курчавый великороссъ; въ его рѣчи слышится московская пѣвучесть и проскакиваетъ неизбежное «винте-ли». Рядомъ съ нимъ блондинъ, но порывистый, неряного темперамента, безъ увѣреннаго спокойствія москвичъ; это—полякъ; подлѣ него рослый, съ румянцемъ во всю щеку, кроткимъ взглядомъ и плечами въ косую саженъ, добродушный псковитянинъ; рядомъ—смуглый черноглазый итальянецъ—типичный экземпляръ юга, дитя синяго неба Италіи, изнѣженный потомокъ когда-то могучаго Рима; слѣпа отъ меня—тоже смуглый и бритый хохолъ, съ широкимъ симпатичнымъ лицомъ, за нимъ—меланхолическій блондинъ—бѣлорусъ. Я самъ—южанинъ, смѣсь романскихъ и славянскихъ племенъ.

Когда-то наши предки, а можетъ-быть и дѣды, здѣсь или гдѣ-нибудь въ другомъ уголкѣ міра задыхались отъ пражды и ненависти, въ безумной жаждѣ взаимной смерти, уничтоженія и разрушенія... А потомки ихъ сидятъ за однимъ столомъ и мирно бесѣдуютъ

дружными членами одной семьи, одного общества, чуждые всякой племенной вражды.

Что сказали бы теперь наши предки, если бы они увидали эту картину? Не ужаснулись ли бы они той безумной борьбѣ, того ада, въ который превратили свою жизнь для того, чтобы сегодня ихъ потомки собрались въ дружескій кружокъ, чуждые вражды и ненависти прошлаго. И что сказали бы эти потомки, если бы предъ ними, изъ мрака времени, выступила кровавая драма братской борьбы со всѣмъ ея ужасомъ?

Мнѣ кажется, всѣ они отшатнулись бы, и ни одинъ не могъ бы теперь искренно воодушевиться девизомъ огня и меча, жизни для вражды и братоубійства.

Слишкомъ устало человѣчество отъ этой вражды, слишкомъ надоѣла ему кровь, слишкомъ сознаетъ оно весь ужасъ братоубійства.

И, кромѣ того, прежніе непримиримые враги, скрепящаясь изъ поколѣнія въ поколѣніе, настолько слились въ каждомъ изъ насъ, что исконная тема племенной ненависти слишкомъ растворилась въ смѣси, которую представляетъ изъ себя современный культурный человѣкъ.

Правда, и теперь насъ иногда нервно возбуждаетъ бряцанье оружія, будя еще не исчезнувшій наслѣдственный инстинктъ вражды и порывы кровожаднаго звѣря; но мы уже стыдимся этого чувства, и если и даемъ ему иногда волю, то пытаемся замаскировать и оправдать какой-нибудь гуманной необходимостью.

Пока я занятъ этими мыслями, у стола идетъ оживленная бесѣда. Великороссъ становится необыкновенно добродушенъ, фізіономія его расплывается, онъ оглядываетъ компанію, прищуривъ сѣрые глаза. Бѣлорусъ, меланхолія котораго какъ будто стала глубже отъ «шипучки», протягиваетъ къ нему руку.

— Передай мнѣ румку.

— Не румку, а рюмку, сколько разъ сказывалъ тебѣ,—поправляетъ задорно великороссъ.

Бѣлорусъ жалобно оглядывается, какъ бы прося нашего сочувствія:

— Господа, развѣ я такъ гаварю?

Хохотъ, задоръ великоросса растетъ. Онъ уже теперь задѣваетъ своего сосѣда, поляка, но опять безъ злобы, просто потому, что ему смѣшно и хочется, чтобы всѣмъ было смѣшно. Полякъ нервно ерзаетъ, выдающаяся скула на его живомъ, симпатичномъ лицѣ будто подпрыгиваютъ.

Хохолъ толкаетъ меня, кивая на него съ лукавой усмѣшкой.

— Порохъ, вспыхнулъ! Уже готовъ.

Дѣйствительно—полякъ клокочетъ.

— Одижисъ! Что за дикая манера касаться интимностей! Это-жъ чистое наказаніе Божіе.

Итальянецъ рассказываетъ что-то быстро, съ порывистостью южанина, сѣдая конецъ словъ.

Теперь и полякъ хохочетъ почти съ дѣтской искренностью,

загнув голову назад. Одинъ бѣлоруссъ не смѣется, а какъ-то робко усмѣхается, будто не рѣшаясь дать волю чувству, будто боясь показатъ его. Онъ не умѣетъ смѣяться,—смѣяться такъ отъ души, какъ вотъ хохочетъ великороссъ или хохолъ, который даже взвизгиваетъ отъ нѣги смѣха...

Звонокъ. Вскливаю. Гурьбой идемъ въ вагонъ. Занимаю весь диванъ. Пассажировъ почти нѣтъ. Багажный ожидаетъ съ пріятной надеждой на лигъ. Начинается!.. Опять звонокъ. Пропаедемъ. Выхожу на площадку. Свистокъ. Поѣздъ вздрагиваетъ и ползетъ.

— Счастливаго пути, доносится съ платформы.

— Не забудьте про баклажаны и помидоры! кричитъ итальянецъ.

— Винограду! оретъ великороссъ, сложивъ руки рупоромъ.

— Паръ-шо! вытягиваетъ хохолъ.

— Смотрите, не попадитесь какой-нибудь тамъ черноокой черкешенкѣ,—предостерегаетъ полякъ, особенно отечканная р и ш.

Ко мнѣ еще доносятся голоса. Поѣздъ бѣжитъ, врываясь въ теплую мглу июльской ночи. Кое-гдѣ мелькаютъ огоньки, потомъ наступаетъ полная тьма; только на небѣ мигаютъ звѣзды, но не отчетливо, а будто сквозь матовый флеръ.

Не спится. Остаюсь на площадкѣ. Поѣздъ бѣжитъ лѣсомъ, постукивая на скрѣпахъ рельсъ, и эхо гдѣ-то далеко вторитъ этому металлическому стуку. Сосны и ели принимаютъ фантастическія формы; эти формы разрастаются, сокращаются, исчезаютъ, снова появляются какой-то веренищей причудливыхъ призраковъ. Тайна прошлого будто глядитъ на меня изъ мглы. Древнія божества, которымъ здѣсь когда-то молился человекъ, выплываютъ изъ мрака въ едва уловимыхъ очертаніяхъ... Перунъ, Святovitъ, Радагастъ. Дажьбьго, Стрибогъ, Велесъ, Жива, Лада... цѣлый хороводъ языческихъ боговъ, созданныхъ нановой фантазіей человека, жаждащаго и ищущаго Бога...

Поѣздъ катится по безконечной Сарматской низменности—и въ догонку за нимъ бѣжитъ призрачный міръ древнихъ славянскихъ племенъ—поляне, сѣверяне, древляне, радимичи, дреговичи, кривичи... Иногда мнѣ мерещатся шиты, стрѣлы, цѣлый лѣсъ копій, слышится дикий воинственный кличъ.—и какъ-то не вѣрится, что прошлое и настоящее имѣетъ непрерывную связь, что современный человекъ, который мнится во всемогуществѣ технического прогресса на этомъ поѣздѣ и который показался бы тѣмъ дикимъ призракомъ прошлого богомъ, происходитъ именно отъ нихъ, составляя ихъ продолженіе...

Иду въ вагонъ. Ложусь. Пытаюсь заснуть. Но возбужденное воображеніе надобно рисуетъ отрывочными образами параллели четырехъ славянскихъ типовъ, четырехъ братьевъ.

Сначала выступаетъ крѣпко сколоченный, съ открытымъ лицомъ и смѣлымъ взглядомъ, блондинъ. Увѣренность въ рѣши и жестакъ, можетъ-быть даже слишкомъ большая самоувѣренность, какая-то устойчивость и рѣшимость будто придаютъ ему особенную силу

для борьбы и побѣды; въ ней залогъ его преобладанья надъ братьями и объединителя славянской семьи.

Рядомъ съ нимъ выступаетъ другой образъ, тоже блондина, но похрупче и болѣе порывистаго темперамента. Взглядъ смѣлый, но нѣтъ въ немъ ни упорства, ни постоянства. Онъ, видно, много жилъ и шибко жилъ; онъ не утратилъ энергіи борьбы, но въ вѣковой схваткѣ потерялъ устойчивость и разнервничался. Въ глазахъ его свѣтится и смѣлая фантазія, и немного болѣзненная гордость, и какъ будто задоръ. Но все это не горитъ ровнымъ пламенемъ, а вспыхиваетъ, какъ догорающій огонь.

Третій братъ кажется въ этой семьѣ обиженнымъ и какъ будто забытымъ и испуганнымъ Веніаминомъ. Онъ выглядитъ робко и угрюмо, не вѣри ни первому, ни второму брату, да и никому въ мірѣ; и первый его билъ, и второй его билъ, называя «быдломъ», а природа, сырая и суровая, добивала, приковывая всѣ его силы къ борьбѣ съ ней. Онъ и умненъ, и смысленъ не менѣе своихъ братьевъ, но онъ слишкомъ извѣрился и точно испугался человеческой жестокости и вѣчной вражды. Онъ какъ будто чего-то боится, не рѣшается, мѣшкаетъ и все, что дѣлаетъ, дѣлаетъ неуверенно и съ оглядкой.

Четвертый представляется мнѣ такимъ, какимъ видалъ его Бульба: «какъ левъ растянулся онъ на дорогѣ; закинутый гордо чубъ захватываетъ на полъ-аршина земли; шаровары алаго дорогого сукна запачканы дегтемъ, для показанія полного къ нимъ презрѣнія»... Но вотъ онъ лѣниво привстаетъ, оглядывается, какъ бы недоумѣвая, гдѣ ему разметать накопившуюся энергію—и либо идетъ «татарву» бить, либо уманьскую рѣзню устраиваетъ... Теперь вѣковая борьба надобла ему, и онъ, будто раскаиваясь въ слишкомъ буйной молодости, глядитъ вдумчиво на жизнь своими умными черными глазами, полный энергіи, силы и того смѣлаго полета фантазіи, который выковала въ немъ прежняя удалая жизнь на привольѣ.

Воображеніе рисуетъ мнѣ дружное объятіе четырехъ братьевъ, полныхъ свѣжихъ силъ молодой расы, и я спрашиваю себя, какую мировую натуру въ будущемъ выработаетъ ассимиляція этихъ четырехъ типовъ; потомъ мнѣ представляется вырождающаяся Европа, которая глядитъ съ какимъ-то напряженнымъ, полнымъ зависти ожаньемъ на славянской просторъ—и на этихъ мысляхъ я засыпаю.

31-е іюль.

Просыпаюсь подъ Жлобиномъ. Въ окна глядитъ, убѣгая, бѣлорусскій пейзажъ: то бугристе отъ колючекъ болото съ хилой, нервно вздрагивающей каждая листикомъ березкой, то темный сосновый боръ въ перемежку съ зеленою лиственныхъ деревъ, то коверъ нинъ въ пестрыхъ полосахъ хлѣбновъ; нигдѣ яркихъ тоновъ; все—блѣдная колорита, какъ и зеленъ, какъ и небо, какъ и вся бѣлорусская природа.

Въ Жлобинѣ сажусь въ посланный за мной экипажъ, нагружая его багажомъ. Не жарко, но душно. Подъ крышу фаетона зале-

тасть пыль, сквозь которую едва различаю почернѣвшіе неуютные тесовые дома бѣлорусской деревни. На фонѣ ихъ выдѣляются яркими красками только свѣтлые ситцы на бабахъ да кумачъ на мужичникахъ. День воскресный. Тамъ и сямъ у избъ видны группы крестьянъ. Народъ большей частью низкорослый, съ худощавымъ лицомъ и сѣрыми глазами. Взгляды робкіе; нѣтъ въ нихъ силы и вѣры въ себя; да и фигуры не крѣпкія и какъ будто замученная борьбою съ природой, несмотря на деревенскую свѣжесть лицъ. Чувствуется, что выросли эти люди не подъ жгучимъ солнцемъ, а подъ облачнымъ небомъ, въ пронизывающей сырости, отъ которой размакла до костей. Слишкомъ мало солнца, слишкомъ много сѣрыхъ красокъ, ничего яркаго, что будило бы жизнерадостное настроеніе.

Экипажъ катится вдоль обрамляющихъ дорогу бѣлостовыхъ березъ; колеса врѣзываются въ глубокой песокъ. Выѣзжаемъ на дамбу; впереди, на холмѣ, точно на островѣ, показывается Рогачевъ.

Охъ, ужъ эти уѣздные города! Вездѣ, на тысячи верстъ—у нихъ одна и та же физиономія: разбросанность, запущенность, печать захламленной скуки, лѣни жизни и мелочныхъ интересовъ. Непремѣнно гдѣ-нибудь на видномъ мѣстѣ острогъ, непременно въ центрѣ большаго, загроможденнаго мусоромъ и деревянными лавочниками, площадью, непременно на самомъ несообразномъ пунктѣ какая-нибудь каланча или будка, торчащая не кстаті какой-то шишкой подъ носомъ алжирскаго бей. И масса заборовъ и пустырей, на которыхъ какъ будто собираются что-то строить, точно Сквозникъ-Дмухановскій все еще находится въ ожиданіи ревизіи...

Выѣзжаемъ на главную улицу. День базарный. Пестрая толпа бѣлоруссовъ поднимается навстрѣчу то въ повозкахъ, то пѣшкомъ; многіе уже навеселѣ. Въ лавкахъ бойко торгуютъ евреи. Вездѣ они и только они, вся торговля, какъ и повсюду въ Бѣлоруссіи, въ ихъ рукахъ.

Проѣзжаемъ площадь (такъ и есть!) и, минуя бѣлую старинную церковь, останавливаемся у гостиницы «Золотой Якорь». Самая лучшая гостиница... Еврей выбѣгаетъ навстрѣчу и проводитъ меня въ номеръ. Все поношено, потерто, грязно; на запыленной клеенкѣ стола хоть карту черти. Оглядываюсь не безъ гадливости. Невольно думается о нашемъ некультурномъ уѣздномъ обществѣ, которое можетъ мириться съ этой грязью. Всѣ эти «уѣздные интеллигентъ» по недѣлямъ живутъ въ такой невозможной обстановкѣ, ѣдятъ на этихъ столахъ, умываются въ этихъ грязныхъ, обгнанныхъ проволокой разбитыхъ чашкахъ, спятъ на этихъ расшатанныхъ, съ провалившимся тюфякомъ, кроватяхъ; и такъ изъ года въ годъ, такъ и здѣсь, такъ и за тысячи верстъ. Просто—неумѣные устроить свою жизнь, органическая неряшливость и закорюзлая нечистоплотность!

Кос-какъ умываюсь и иду въ номеръ къ В. Л., который ждетъ меня здѣсь.

Авторъ «Переселенцевъ» въ утреннемъ «неглижѣ»... Большая голова съ пепельной серебрившейся шевелюрой, широкое, необычно-

венно спокойное и серьезное лицо... Только глаза, сѣрые и вдумчивые глаза, точно смѣются исподтишка, не то съ лукавствомъ, не то съ смущеніемъ... Это—глаза бѣлоруса, добрые и сосредоточенные, это клочекъ сѣраго бѣлорускаго неба, сквозь которое укралкой, словно не рѣшаясь, сверкнетъ солнечный лучъ, сверкнетъ и спрячется... Они будто все высматриваютъ васъ и недоувѣрливо, и вопросительно, но не зло, а добродушно, иногда съ лукавымъ любопытствомъ.

Я, со свойственной мнѣ «кипучестью» и порывистостью южанина, выпаливаю сразу, залпомъ мои впечатлѣнія и мысли, рисуя заманчивую перспективу путешествія въ компаніи, не скупясь на радужныя краски... «Бѣлорусскіе глаза» смотрятъ и раздумываютъ; имъ какъ будто и хочется, и нехочется. Мнѣ вспоминается В. Л. семь лѣтъ тому назадъ, когда онъ вернулся изъ своего путешествія по Италіи, Египту и Малой Азіи, его остроумныя, вѣткія, полная тонкихъ наблюдений и художественной граціи путевыя замѣтки, его рассказы, потомъ серія экскурсій по Россіи, парижская выставка, типы и картинки переселенческой конторы въ Оренбургѣ... Я чувствую, что расшевелилъ въ немъ жилку путешественника и неутомимую писательскую страсть къ вѣчнымъ наблюдениямъ и новизнѣ впечатлѣній.

— Думалъ нынѣшнимъ лѣтомъ въ Лондонъ съѣздить, англичанъ пострѣть, да разстроилось...

Во взглядѣ мелькаетъ легкая усмѣшка. Воображенію, вѣроятно, рисуются тонконогій англичанинъ въ клѣтчатыхъ пиджакахъ и брюкахъ, съ англо-саксонской флегмой на чопорныхъ лицахъ. Я пытаюсь соблазнить красотами Кавказа, не щадя красокъ. Попытка моя однако остается безплодной: «дѣла и обстоятельства!»

Послѣ обѣда выѣзжаемъ. Черезъ Днѣпръ переправляемся на плашкоутномъ паромѣ. И этотъ громадскій, будто выкованный изъ желѣза паромъ, и шоссе, которое начинается за рѣкой и тянется на сотни верстъ, до самой Москвы, и станція Годилевичи, большое каменное зданіе со стѣнами аршинной толщины и паркетнымъ поломъ,— все говоритъ о какой-то другой эпохѣ, когда человѣкъ былъ и прочнѣй, и на жизни глядѣлъ прочнѣй, строясь такъ, словно и самъ не умиралъ, и вещь, которую строилъ, никогда не должна была разрушиться. Это Николаевское шоссе, стоившее такой массы жертвъ и трудовъ человѣческихъ, было нѣкогда главной артеріей, соединявшей Москву съ Варшавой, центральную Россію съ Европой. Когда-то по немъ непрерывнымъ потокомъ неслись дормезы, рыланы, дилижансы, кибитки, скакали курьеры, на станціяхъ день и ночь смѣнялась вереница проѣзжающихъ, нестрай галерея портретовъ тоголевской Россіи... Но все исчезло; желѣзнодорожная линія измѣнила русло жизни; шоссе пустынно, мертво, имѣетъ тоскливый и заброшенный видъ стараго станціоннаго смотрителя, который кажется такимъ же призракомъ ушедшаго въ вѣчность прошлаго, какъ и это шоссе...

Экипажъ катится мимо лѣса, сворачиваетъ, выѣзжаетъ въ лѣсную чащу; вокругъ тихо, природа, кажется, еще погружена въ

дѣлственный покой. Опять поворотъ, въѣжаемъ въ красивую аллею столѣтнихъ деревьевъ, справа—ивы, слева лѣсъ, потомъ садъ, огороженный стѣной высокаго частокола. Еще поворотъ — и мы въ огромномъ дворѣ большой усадьбы, утопающей въ дѣлвомъ морѣ кудрявой зелени. Куда ни оглянешься — лѣсъ и садъ; вѣтъ затихшемъ уютнаго уголка. Противъ воротъ большой барскій домъ, — вокругъ двора дѣлный городокъ капитальныхъ построекъ той же прочной Николаевской эпохи...

Экипажъ останавливается у подъѣзда...

ГЛАВА II.

Споръ юга и сѣвера. — Параллели. — Дѣлловская экономія. — На пароходѣ "Ротачевъ". — Бѣлорусскій помѣщикъ. — Панъ Аронъ и панъ Стась. — Малорусско-бѣлорусско-польская "жена". — "Паны" мечтаютъ о томъ, какъ ихъ долженъ выручить "Капанъ". — "L'argent — c'est moi".

Вѣтъ атмосферой деревенскаго радушія и гостепримства... Любезные хозяева (В. Л. и его матушка) водворяютъ меня въ уютной комнаткѣ, гдѣ на всемъ видна печать заботливой хозяйской руки и предусмотрительнаго вниманія. Комнатка въ башнѣ на второмъ этажѣ.

Въ раскрытыя окна, окаймленные гирляндами дикаго винограда, киваютъ, шедша листьями, верхушки высокихъ деревьевъ. Выхожу на висячій балконъ, окутанный тоже дикимъ виноградомъ, сползающимъ до земли шпалерами. Предо мною дѣлный лѣсъ; мнѣ кажется, будто я вижу надъ какой-то исполинской корзинкой изъ листьевъ, на дно которой брошенъ огромный букетъ—цвѣтникъ роскошнаго гигантскаго флокса въ нѣжныхъ переливахъ отъ блѣдно-розоваго до свѣтло-малиноваго пѣтла. Совсѣмъ декорация изъ третьяго акта "Фауста", только не картонная, съ обманчивыми кулисами, а созданная творческой силой великаго художника—природы. Вездѣ, куда ни оглянешься, высокая стѣна зелени, которая словно защищаетъ своей сѣнью отъ мірской суеты съ ея маргаритовой жизнью. Въ душу нисходитъ необыкновенный покой, навѣянный величавымъ покоемъ природы; хочется такъ оставаться безъ конца въ нѣмомъ созерцаніи и общеніи съ ней, прислушиваясь къ ея убавляющему шопоту. Вокругъ глубокая тишина: ни грохота экипажей, ни звонковъ и свистковъ, ни возбуждающаго нервы гула большого города.

Спустя часъ, я брожу съ В. Л. по огромному саду среди пышной растительности, воспосной обильной влагой. Онъ страстный цвѣтоводъ и садоводъ; во всемъ—и въ роскошныхъ цвѣтникахъ съ дѣлнымъ лѣсомъ исполинскихъ георгинъ, и въ группкахъ деревьевъ и кустарниковъ, живописно разбросанныхъ по саду, чувствуется фантазія художника.

В. Л. показываетъ мнѣ нѣсколько аллей молодыхъ деревьевъ,

посаженныхъ имъ; проходимъ мимо шпалеръ изъ тополеи въ огородъ, гдѣ рядомъ съ нетребовательной картошкой кустятся помидоры, пересаженные изъ парниковъ въ грунтъ. Немного погодя, уничтожаемъ выращенную въ теплицѣ очень удачную дыню, а за ужжиномъ, послѣ строгаго обсужденія, приговариваемъ салатъ изъ помидоровъ, нѣсколько блѣдныхъ и какъ будто недовольныхъ, что ихъ переселили съ юга въ холодный сѣверъ. Это, однако, нисколько не нарушаетъ торжественности обстановки, при которой мы съѣдаемъ ихъ, проводя параллели на тему о сѣверѣ и югѣ. Я фантазирую о грядущемъ завосаніи сѣвера югомъ, о томъ нашествіи полчищъ баклажанъ, помидоровъ, перца и другихъ южныхъ овощей, которое, несомѣнно, должно заполнить сѣверную картошку, внеся въ кухню разнообразіе и пряности, необходимыя для слишкомъ флегматичной натуры бѣлорусса. Нѣсколько южанъ, гостящихъ у В. Л., сочувственно поддерживаютъ меня. Общество разделяется на два лагеря. Южный рѣшительно нападаетъ на картошку: удивительно, молъ, что народъ вашъ такой кроткій и сонный,—являть одна изъ партизанокъ южнаго лагеря. «Быль я зимой какъ-то на заводѣ; сирапниаю: что у васъ сегодня на обѣдѣ?—Картошка, баринка. Сирапниаю на другой день опять—картошка, баринка. А на ужинѣ?—Картошка, баринка. А на завтра?—Картошка, баринка», говоритъ другой южанинъ. «И это при шести рубляхъ въ мѣсяцъ на своихъ харчахъ, тогда какъ на югѣ въ горячую пору за десятину жатвы приходится платить двадцать—двадцать пять рублей».

Сѣверъ отзывается: ну, ужъ и вашъ югъ съ его кукурузой и мамалыгой, знаемъ мы! У насъ, по крайней мѣрѣ, отъ картошки пеллагры не бываетъ, а въ вашей кукурузѣ ужъ нашли и пеллагру, и микроба, люди и мрутъ отъ нея, и съ ума сходятъ.—Ничего, ничего, огрызается югъ, стойте, еще и въ вашей картошкѣ найдутъ какого-нибудь микроба и выдумаютъ какую-нибудь пеллагру.—Жарко ужъ очень у васъ,—замѣчаетъ кто-то изъ сѣверянъ: Сухо и пыльно такъ, что будто не воздухомъ, а нухательнымъ табакомъ дышишь.—Ну, ужъ оставьте, пожалуйста, и ваша сырость хороша! Точно прачечная, а не природа.—Зато у насъ растительность роскошная. А у васъ что? Акаціи чахоточныя, да выжженные солнцемъ степи.—Южане какъ будто пасуютъ: пышная и сочная растительность сѣвера нисколько импонируетъ... Однако, изъ резерва выдвигаются виноградъ, абрикосы, персики, арбузы и дыни, противъ которыхъ сѣверъ выставляетъ, впрочемъ, довольно нерѣшительно, клубнику и... клюкву.

Схватка возобновляется. На другой день параллели между сѣверомъ и югомъ продолжаютъ. Компания отправляется мимо ряда амбаровъ на гумно, гдѣ весело гудитъ молотилка на конномъ приводѣ. Нѣсколько парней и дѣвокъ носятъ снопы, которые быстро исчезаютъ въ пасты молотилки, другіе отбираютъ солому, третій встраиваютъ и околочиваютъ ее, чтобы ни одно зернышко не пропало. Работа кропотливая, аккуратная, совсѣмъ нѣмская. «Югъ» прои-

кается невольным уваженіем предъ трудолюбіемъ сѣверяннина, его настойчивостью въ борьбѣ съ природою, его умѣніемъ цѣнить каждое зернышко хлѣба насущнаго. Правда, природа для него мачиха, она не балуетъ его, какъ дѣтей юга. Кто-то изъ южанъ рисуетъ картину молотбы хлѣба въ Новороссіи... Цѣлый городокъ скирдъ въ открытомъ полѣ изъ сплошного пласта чернозема. Паровая молотилка рычитъ и стонетъ, пожаря тысячи сноповъ; локмобиль дрожитъ отъ напряженія; на возахъ то и дѣло подвозятъ новую и новую пищу для молотилки, высыпавшей золотистое зерно пшеницы непрерывными ручьями; тутъ же груды мѣшковъ, которые еле успѣваютъ зашить; а солома, которой никто не выколачиваетъ (овчинка выдѣлки не стоитъ) свозится въ длинную, высокую скирду, гдѣ она будетъ мокнуть и гнить всю зиму подъ открытымъ небомъ. Зато южане тутъ же сознаются, что на сѣверѣ хозяйство ведется и рациональнѣе, и ровнѣй, безъ той золотой горячки и риска, которые на югѣ въ нѣсколько лѣтъ создаютъ состоянія и въ одинъ неурожайный годъ приводятъ къ разоренію. Сѣверянинъ слишкомъ много затратилъ труда, пока покорилъ себѣ природу и заставилъ ее кормить себя; но зато онъ знаетъ каждый клочекъ земли своей, знаетъ, что она можетъ дать, и что сдѣлать, чтобы она накормила его. Южанинъ избалованъ: земля не только даетъ ему то, что нужно; она, почти безъ затраты труда, даритъ его всеми благами; и можетъ-быть поэтому, какъ счастливый баловень, онъ мало шадитъ ея силы.

Компанія отправляется въ лѣсъ, оттуда, мимо волнующейся и дозрѣвающей ржи, на заливные луга, гдѣ убирается сѣно, затѣмъ возвращается въ усадьбу, гдѣ производится осмотръ сараевъ, амбаровъ и разныхъ хозяйственныхъ строеній. Все прочно и долговѣчно, на всемъ печать заботливой хозяйской руки. Южане не безъ зависти поглядываютъ на капитальныя постройки: строевой лѣсъ свой, рабочія руки дешевы, строй себѣ хоть цѣлый городъ; не то, что на югѣ, гдѣ некуда укрыть не только солому, а и немысленный хлѣбъ на десятки тысячъ рублей, который остается на зиму въ скирдахъ и частью гниетъ, частью становится добычей мышей.

Хозяинъ чаеетъ, собственно, и здѣсь, и въ смежномъ имѣніи, Дѣдлово, братъ В. Л., ученый агрономъ, одинъ изъ лучшихъ хозяевъ въ губерніи. Подъ вечеръ отправляемся въ Дѣдлово, отстоящее въ пяти верстахъ. Фольваркъ построенъ на открытой площади, окаймленной влодь горизонта темной лентой лѣсовъ. Небольшой деревенскій кирпичный домъ такъ и улыбается своей новизной и уютностью; вокругъ—тоже цѣлый городокъ хозяйскихъ построекъ; винокурный заводъ, амбары, сарай, скотный дворъ, конюшни для конского завода, казармы—все основательно и практично, нигдѣ—прорѣхи или щели, которая нуждалась бы въ заплатѣ,—на всемъ печать необыкновеннаго порядка и голландской чистоты, чистоты до педантизма. Постоянныхъ рабочихъ и дворни въ обиходѣ экономіяхъ свѣхъ ста человекъ—и рабочіе не разбѣгаются, какъ обыкновенно, а остаются изъ года въ годъ, несмотря на то, что заработная плата

не выше, чѣмъ у сосѣдей. Кормятъ хорошо, помѣщеній вдоволь, равномерное распредѣленіе труда не изнуряетъ въ работѣ до изнеможения, рабочая энергія расходуется разумно и, главное, повсемѣрно регулярность, которая упорядочиваетъ жизнь. И въ одномъ, и въ другомъ имѣніи рабочіе и къ обѣду, и къ работамъ собираются по звонку. Что имъ особенно бросилось въ глаза, такъ это полное отсутствіе въ обиходѣ экономіяхъ евреевъ въ роли приказчиковъ и факторовъ, которые въ имѣніяхъ бѣлорусскихъ помѣщиковъ являются если не главными персонажами, то хотя persona grata.

Хозяйство ведется дѣйствительно образцово. Рациональное примѣненіе системъ—и трехпольной, и плодоперемѣнной, и корнеплодной, посѣвы кормовыхъ травъ—все это изъ года въ годъ подготавливаетъ и приучаетъ землю дать то, что отъ нея требуютъ.

Винокурный заводъ перерабатываетъ свой же картофель, возвышая цѣнность продукта, онъ же подкармливаетъ и скотъ, который доставляется, какъ и черкасскій, въ Петербургъ. На всемъ хозяйствѣ, начиная постройками, кончая орудіями и даже животными,—печать прочности и солидности: амбаръ—такъ амбаръ, конь—такъ конь, быкъ—такъ быкъ, телѣга—такъ телѣга: непременно и выкрашена, и желѣзомъ окована, и чуть ли не съ экономическимъ клеймомъ на каждой составной части.

Я вообще мало знакомъ съ батнишевскимъ хозяйствомъ; но думается мнѣ, что дѣдловское хозяйство ведется не хуже, по болѣе широкому масштабу и безъ той нѣмецкой мелочности и ненужныхъ «латаній», которыя часто тормозятъ хозяйскій размахъ, экономія гроши и упуская рубли. Трудъ развивается просто и нормально, безъ излишнихъ ригоризма.

Вечеромъ я сижу опять на всячемъ балконѣ башни. Сквозь ажурную драпировку дикаго винограда прорываются луные лучи, играя на стѣнѣ. Сидящія деревьевъ съ волнистой линіей верхушекъ застыли надъ шпѣтникомъ, въ которомъ, сквозь синеватый туманъ, сверкастъ серебристыми брызгами роса. Необыкновенно тихо. Только откуда-то снизу доносится жѣрный металлическій стукъ, какъ будто телеграфнаго аппарата. Это В. Л. переписываетъ свою новую повѣсть, «выстукивая» ее (т.-е. печатая) на машинкѣ «Космополи-тѣ».

Чѣмъ-то бодрящимъ вѣетъ на меня отъ всей этой картины здоровой жизни, въ которой трудъ сельскаго хозяина и интеллигентнаго работника сливается въ такую дружную гармонию. Одинъ братъ—весь въ борьбѣ съ землею, въ страстной и непрерывной схваткѣ съ природою, которую онъ изучилъ, чтобы покорить и заставить кормить себя, другой—весь въ изученіи жизни, которая силой искусства должна влить струю обновленія въ общее существованіе, чтобы улучшить его и облегчить, возвысивъ духовный подъемъ человѣка. Но оба одинаково любятъ землю; и второй, какъ и первый, не отрывается отъ нея, а сидитъ прочно, такъ какъ знаетъ, что въ ней главный источникъ и его жизни, и жизни его родины.

5 часов вечера. Я опять въ Рогачевъ; жду на берегу парохода. Пристани не полагается. Пароходъ пристаетъ куда вздумается. Накрапываетъ дождь, вещи мокнути. Наконецъ показывается пароходъ «Рогачевъ», вырисовываясь въ поворотахъ своими бѣлыми бочками. На берегу скучивается публика. Пароходъ причаливаетъ; бросаютъ сходни. Выхожу по узкой дрожавшей доскѣ. беру билетъ. До Орши въ I классѣ 5 рублей (за 266 верстъ). Не дорого, но часовъ сорокъ пути.

На палубѣ сѣрая толпа бѣлоруссовъ — каменщики, плотники, грабари; нѣсколько бабъ съ дѣтьми, много евреевъ. Давка. На полу спятъ въ живописныхъ позахъ, загромождая перепутанными ногами и туловищами проходъ. Пахнеть углемъ, сеledкой и минеральнымъ масломъ. Вся палуба засорена сѣмечками. Гдѣ-то слышится гармоника.

Капитанъ — нѣмецъ, довольно угрюмый и неразговорчивый; кассиръ окончилъ агрономическое училище и попалъ на пароходъ по той несповѣдливости судьбы, по которой русскіе ученые спеціалисты становятся суфлерами или урядниками. Съ первой же минуты нашего знакомства онъ рассказываетъ свою печальную одиссею и мытарства въ поискахъ «спеціального» мѣста.

Въ каютѣ пассажировъ немного: какой-то крупныхъ разбитовъ офицеръ, какъ будто ремонтеръ, какой-то бѣлорусскій помѣщикъ изъ подлѣ Жлобина, какой-то «панъ», тоже откуда-то изъ тѣхъ мѣстъ, плотный, пузатый и чубатый малороссъ изъ Черкассъ, пароходный агентъ, еврей, но бритый, побывавшій въ Америкѣ и съ полипомъ въ носу, и еще нѣсколько пассажировъ. Между ними два-три — еврея, кажется, безъ билетовъ или съ билетами третьяго класса, такъ какъ ведутъ себя довольно скромно, сидятъ близко къ выходу и все поглядываютъ на двери, словно ожидая появления капитана или кассира, который станетъ водворять ихъ на мѣсто жительства. Имъ какъ будто и лестно находиться въ такой приятной компаніи, и какъ будто боязно. Больше всѣхъ ихъ покоитъ офицеръ, который довольно мрачно коситъ на нихъ глаза и не кашляетъ, а просто рычитъ.

«Гвоздь» общества, несомнѣнно, составляетъ важный еврей, богатый коммерсантъ изъ Могилева, смуглый, хорошо унитанный мужчина. Онъ опрокинулся довольно неприужденно на бархатную спинку дивана, растопыривъ руки и ноги и выставивъ свое предстательное брюшко. Фигура его дышитъ сознаніемъ собственнаго достоинства и той чрезвычайной важности, которую его особа представляетъ для другихъ. Сознаніе этой его важности можно замѣтить и въ тѣхъ почти раболобныхъ и заискивающихъ взглядахъ, которые бросаютъ на него сидячіе у дверей евреи, видимо пламенно желая заговорить съ нимъ и не рѣшаясь. Они ловятъ жадно каждое его слово и одобрительно перешептываются. Сознаніемъ этой важности проникнуты и бѣлорусскій помѣщикъ, и «панъ». Первый въ разговорѣ съ нимъ называетъ его Арономъ Моисеевичемъ.

чемъ, нельзя сказать, чтобы съ особенной любезностью, но и не съ пренебреженіемъ. Второй говоритъ ему «пане Аронъ», ударяя на а, иногда вкрадчиво, иногда заискивающе-слащаво. Сразу можно угадать, что и первый, и второй находятся въ какой-то матерьяльной зависимости отъ него. Изъ дальнѣйшаго разговора выясняется, что всѣ трое ѣдутъ въ Могилевъ заключить какую-то сдѣлку; договоръ окончательно не рѣшенъ, такъ какъ не рассмотрѣны планы и документы, не сдѣланы какіе-то расчеты. Но именно, можетъ быть, поэтому оба помѣщика — и панъ, и бѣлоруссъ, пытаются теперь склонить Арона Моисеевича къ соглашенію, очевидно опасаясь, что если онъ обстоятельно ознакомится съ дѣломъ, то имъ труднѣе будетъ что-нибудь выгадать. Однако, пана Арона не особенно трогаетъ ни ухаживаніе «пана Стасы» (онъ такъ ему говоритъ), ни убѣдительность доводовъ «пана Игнася», какъ онъ называетъ бѣлорусскаго помѣщика. Заложивъ руки въ карманы, онъ, очевидно, угадывая планы своихъ собесѣдниковъ, отвѣчаетъ невозмутимо:

— Ну, добре! Побачимъ! Уже до завтра не долго осталось. И онъ принимаетъ спокойной-увѣренный видъ, не допускающій возраженій, — видъ человѣка, который прекрасно сознаетъ, что онъ силъ. Выраженіе его лица такъ и напоминаетъ знаменитую фразу Людовика XIV «l'état c'est moi», но съ небольшимъ измѣненіемъ въ духѣ вѣка: «l'argent c'est moi». Панъ Стась кипитъ отъ досады и разочарованія, пытается замаскировать свое волненіе слащавымъ тономъ рѣчи. Игнатъ Ивановичъ становится угрюмымъ, внутренне раздражаясь, но не рѣшаясь проявить это раздраженіе. Панъ — очень полный блондинъ, бритый, съ усами и подусниками, подвижной, несмотря на полноту. Игнатъ Ивановичъ — тоже блондинъ среднихъ лѣтъ, но съ окладистой бородкой и худощавый. Видъ у него задумчиво-угнетенный, и можно догадаться, что «сдѣлка» для него представляетъ вопросъ жизни, тѣмъ болѣе, что къ ней примѣшивается перезалогъ имѣнія, вторая закладная и разныя такіе сильно дѣйствующіе медикаменты въ агоніи предъ крахомъ.

Едва только Аронъ Моисеевичъ выходитъ изъ каюты, какъ панъ Стась, съ которымъ мы успѣли поговорить, обращается ко мнѣ, довольно фамильярно потрепавъ меня по плечу:

— Зѣ самого Жлобина, пане, такъ зѣ имъ возмисъ, и ничего сдѣлать не можемъ.

И онъ знакомитъ меня съ аферой, въ которую они пытаются втянуть Арона Моисеевича, представляя ему, конечно, какъ капиталисту, львиную долю. Дѣло, дѣйствительно, хорошее и должно имѣть успѣхъ.

Одлично! — увѣряетъ панъ Стась съ увлеченіемъ. — Когда я вамъ гавару — значить такъ. Вся бѣда, что у насъ нима капиталистовъ и мы зѣ головой въ ихъ рукахъ. У нихъ деньги, и они дѣлаютъ съ нами, что хотятъ себѣ. А банки? спрашиваю я.

— Этъ! оставьте *ваши* банки. Развѣ такой кредитъ намъ нуженъ? Для коммерціи нуженъ большой кредитъ и большой рискъ.

Онъ задумывается, вздыхаетъ и, минуто спустя, прибавляетъ:

— Да, пане, плохо, плохо! Парадку нима. Окончательно они насъ запутають. (Онъ рѣзко подчеркиваетъ ч.). Удивляюсь я только, пане, что же дѣлають *ваши* министерства...

Я гляжу вопросительно.

— Ну да,—поясняетъ онъ. Пора дѣлать что-нибудь, кредитъ какой-нибудь открыть намъ, чтобы можно было бороться съ ими. А то что жъ это за барба, когда всѣ капиталы въ ихъ рукахъ, и они насъ вѣрять, какъ имъ завгодно.

— А вы не поддавайтесь, составьте компаніи, дѣйствуйте сами,—замѣчаю я,—а не ждите, чтобы васъ на помочахъ водили.

— Кто—вы? спрашиваетъ онъ.

— Ну,—вы, они (я указываю на бѣлорусса), или вотъ они (указываю на толстаго чубатаго помѣщика изъ Черкассъ).

Малороссъ не то хохочетъ, не то «гекаетъ» такъ, что и грудь его, и животъ вздрагиваютъ. На лоснящемся лицѣ съ широкими усами расплывается улыбка и какъ будто недоумѣніе.

— Нечего сказать! Хорошая «кумпанія»!

И онъ продолжаетъ въ такомъ же тонѣ: развѣ не извѣстно, развѣ прошлое не показало, что ни хохоль, ни полякъ, ни бѣлороссъ—не могутъ жить безъ еврея; каждый изъ нихъ—съ другимъ какъ копка съ собакой; еврей же сумѣлъ съ каждымъ поладить, и въ ихъ раздорѣ, въ ихъ слабости—его сила. А ну-ка попробуйте соединить бѣлорусса, малоросса и поляка въ компанію—получится «такая лебедь, ракъ да щука, что просто мое почтеніе». Какая же тутъ компанія, когда каждый тянетъ въ сторону. Отъ этого, отчасти и отъ лѣни и непрелѣрчивости, они и попались «имъ» въ руки.

— А вотъ великороссъ, говорю, не попался же.

— А, «кашапъ!»—замѣчаетъ панъ Стасъ такимъ тономъ, будто хочеть сказать: этотъ и чорту не братъ.—Но только знаете, пане сердце, что и онъ тоже попался бы имъ, ежели бъ насъ не было. И еще попадется! Мы на закуску, а какъ насъ не хватить—его зѣдять на обѣдъ. Вотъ же увидите! Въ Минскѣ были, пане?

— Оттуда, говорю, ѣду.

— Ну, сколько тамъ не «ихнихъ» магазиновъ? Чатыре русскихъ и чатыре польскихъ. Въ Могилевѣ, пане, были? Въ Гроднѣ были? въ Ковнѣ были? Въ царствѣ польскомъ были?—Вездѣ однако... И не забудете, что ничего подѣлать нельзя.

Для иллюстраціи онъ рассказываетъ случай, какъ въ прошломъ году какой-то шляхтичъ открылъ въ уѣздномъ городѣ небольшую лавку. Что жъ «они» сдѣлали? Сейчасъ же всѣ понизили цѣны—на сахаръ по три, на свѣчи по двѣ копѣйки на фунтъ и такъ на все. Конечно, никто въ польской лавкѣ не бралъ. Сначала еще пытались свои поддержать, да видятъ—расчета нѣтъ, все равно пропалеть—и махнули рукой. Два мѣсяца поборолся шляхтичъ, поте-

рять нѣсколько сотъ рублей, и закрылъ лавку. А какъ онъ закрылъ, такъ они сейчасъ же не только повысили цѣны, но еще и надбавили сверхъ прежнихъ, чтобы пополнить убытки конкуренціи на счетъ покупателя же.

— Возмутительнѣ всего, — замѣчаетъ бѣлороссъ, — что въѣд одна лавка не причинила бы имъ никакого убытку, и человекъ, который открылъ ее, выросъ на этой землѣ, его дѣды и прадѣды жили на ней... А между тѣмъ выходитъ что онъ у себя же, на родинѣ, лишень права, своего законнаго права торговать, занимается коммерціей, потому что они не желаютъ допустить этого.

— Читаль я въ запрошломъ году, пане,—замѣчаетъ панъ Стасъ,—*ваши* газеты и ужасно смѣялся, когда узналъ, что *ваши* русскіе купцы называютъ себя всероссийскимъ купечествомъ. Хорошее всероссийское! Все царство польское и еще зъ пятнадцать губерній въ еврейскихъ рукахъ... А пусть-ка они, пане, сунутся сюда, такъ такого имъ носа начепаютъ! И не идутъ, бо знаютъ и бѣятся. Тамъ у себя на Волгѣ можно куражу задавать и гоноръ показывать, а здѣсь—ой! ой!

Въ эту минуту входитъ Аронъ Мойсеевичъ, и панъ Стасъ сразу обрываетъ свою рѣчь, нѣсколько смутившись. Замѣтивъ мою улыбку, онъ говоритъ мнѣ громко:

— Я, конечно, не юдофобъ (онъ ударяетъ на о и затѣмъ, понизивъ голосъ, прибавляетъ), но скажу вамъ по секрету, пане, что они ужасные разбойники.

Аронъ Мойсеевичъ какъ будто догадывается, о чемъ идетъ рѣчь, но онъ невозмутимъ. Онъ прекрасно знаетъ одно: что они ни говори—онъ сила и онъ сдѣлаетъ все такъ, какъ ему будетъ угодно.

Одинъ помѣщикъ изъ Черкассъ продолжаетъ разговоръ на ту же тему, не стѣсняясь. Онъ увѣряетъ насъ, что и бѣлороссъ, и полякъ, и малороссъ подпали подъ власть евреевъ, точно подъ башмакъ капризной жены, которую не любятъ, которую готовы иногда побить, но къ которой привыкли настолько, что не въ состояніи обойтись безъ нея и отказаться отъ ея капиталовъ и общества.

Панъ Стасъ, очевидно, всей душой раздѣляетъ это мнѣніе; онъ лукаво подмигиваетъ мнѣ, поглядывая на хохла и сдерживая смѣхъ, но сейчасъ же обращается ласково и предупредительно къ Арону Мойсеевичу:

— А чи не пора намъ, пане Аронъ, за гербату?

— Можно, пане.

Панъ Стасъ суетливо зоветъ прислугу, достаетъ изъ саквояжа чай и сахаръ. И въ этомъ какъ будто скрывается натура мечтателя, который надѣется, что авось хоть любезностью подкупить и склонить въ свою пользу холоднаго и невозмутимаго Арона Мойсеевича.

Бѣлороссъ сначала улыбается, потомъ хмурится и, наконецъ, выводитъ. Я иду съ нимъ.

Лѣземъ по узкой лѣстницѣ на капитанскую площадку и садимся на скамью.

Солнце закатывается. Пароходь бодро бѣжитъ впередъ, вздрагивая и всплывая воду, которая распыляется полосами до береговъ.

— Да,—замѣчаетъ угрюмо бѣлорусъ,—онъ правъ, все въ ихъ рукахъ. Говорятъ и кричатъ у насъ объ обрусеніи, а дѣло все стоитъ на томъ же, какъ и сто лѣтъ назадъ. Немножко больше русскихъ вывѣсокъ да русскихъ школъ, а жизненная сила—вся въ ихъ власти. Вотъ устраиваютъ выставку въ Нижнемъ... А лучше бы устроили здѣсь гдѣ-нибудь. Намъ не такъ важенъ востокъ, какъ западъ. Здѣсь мы лицомъ къ лицу съ Европой, здѣсь объединение окраины съ государственнымъ организмомъ существенно... А какое это, позвольте васъ спросить, объединеніе, когда вся жизнь края въ рукахъ такого неустойчиваго элемента, когда вся жизнь, отрицаю, и они двигаютъ торговлю, но еврей—косный коммерсантъ, онъ тормозитъ предприятие крайней расчетливостью и мелочностью, въ немъ нѣтъ размаха, шири, фантазіи и, главное, нѣтъ патриотизма, который объединялъ бы дѣло. Это все работа не націи, а корпорации, которая думаетъ только о личныхъ выгодахъ и вовсе не интересуется русскими выгодами. Вотъ привлечь бы сюда, къ фронту, русскія капиталы, русскія коммерческія силы... Вы увидали бы—въ нѣсколько лѣтъ этотъ край сталъ бы неузнаваемымъ. Наши «все-россійскіе кушцы» неподвижны, ихъ надо заманить сюда, заставить ихъ заинтересоваться этимъ краемъ, ближе узнать его... Ну, и устроили бы здѣсь и одну, и другую, и третью выставку... Въдѣ Россія такъ велика! Каждый уголокъ ея—цѣлое государство. Эти выставки, устраивай ихъ хоть каждый годъ, имѣли бы успѣхъ и были бы сплошнымъ праздникомъ торговли и промышленности...

Онъ вдругъ умоляетъ. Показываются Аронъ Мойсеевичъ и панъ Стась. Аронъ Мойсеевичъ выразилъ желаніе пить чай на площадке—и панъ Стась сейчасъ же нашелъ эту мысль восхитительной.

ГЛАВА III.

Природа.—Могилевскій «богатырь».—Панъ Стась продолжаетъ ухаживать за паномъ Аронъ.—Вольная торговля и промышленность.—Привалъ бѣлорусскаго помѣщика.—Что дѣлать?—Финансовыя заботы.—Ночь.—Подходивъ къ Могилеву... Въ погоню за достопримѣчательностями. — На «Валу». — На «Гомель». — Школовскій писатель Давидъ Лвовичъ.—Орша.—На пути къ Москвѣ.

Солнце закатывается краснымъ дискомъ гдѣ-то далеко надъ черной каемкой лѣса; зеленая степь будто загорается отъ багрянца лучей. Днѣпръ неподвиженъ—какъ зеркало. Только за пароходомъ пѣнится слѣдъ, отливая розовыми перегибами зарево заката. Гладь воды отражаетъ кирпичные берега, вербы, лѣсокъ съ застывшими соснами; и елмы, плоты и сплавы, которые неслышно несутся намъ навстрѣчу. Кое-гдѣ на нихъ вытесы синеваыя струйки дыма; подъ

котелками, въ которыхъ готовится ужинъ, горитъ огонекъ; его окружаетъ группа сплавщиковъ.

Тихо. Пароходъ плавно скользитъ; слышно только мѣрное плесканье колесъ; по небу проносятся стая утокъ, исчезаая въ тѣни, надвигающейся отъ лѣса.

На носу стоитъ матросъ, то и дѣло замѣряя шестомъ воду:

— Ше-есть. Се-емь. Четыре! доносится къ намъ.

И какъ только раздастся это четыре, рыжесвато-нѣмецкое лицо капитана хмурится и онъ кричитъ въ трубу:

— Малый ходъ. Завсѣмъ маленьки ходъ!

Рулевой то быстро вертитъ колесо, то придерживаетъ его ногой; фигура его застываетъ въ напряженіи и ожиданіи; глаза сосредоточенно устремлены на фарватеръ, по которому, среди вѣхъ и красныхъ бакеновъ, лавируетъ пароходъ, «рыская» носомъ.

Капитанъ глядитъ хмуро и недоволено. Мы для него не существуемъ. Онъ, вѣроятно, мечтаетъ о своемъ дорогомъ «Vaterlandъ», о томъ, какъ бы скорѣе скопить денегу и уйти отъ «russische Narr» на свою милую родину, поближе къ Бисмарку и доброму баварскому пиву.

Рулевой—бѣлорусъ, но не дикий полѣшукъ, а должно быть смеленецъ, потерпѣвшій около великоросса. Сѣрые съ блескомъ глаза отважно, будто съ вызовомъ, глядятъ вдаль; лицо энергично; чувствуется уже «натура» и «ноля». Изрѣдка онъ поглядываетъ на нѣмца—и взглядъ этотъ, съ искоркой внутренней усмѣшки, такъ, кажется, и говоритъ: «и на кой чортъ ты тутъ командуешь, когда я больше твоего знаю фарватеръ? Только въ тебѣ и проку, что ты нѣмецъ».

Совсѣмъ тихо. Природу начинастъ сковывать дремота. Нѣжный, еще теплый вѣтерокъ ласкаетъ ухо, напештывая что-то. Хорошо, легко. Кажется, будто летишь...

Панъ Стась снимаетъ мягкую зеленую шляпу-пирожокъ, съ кисточкой, похожей на щеточку для бритыя, и вытираетъ обильный потъ на лицѣ и толстой загорѣлой шеѣ.

Аронъ Мойсеевичъ кончаетъ пить чай, который онъ отхлебываетъ «въ прикуску», совсѣмъ à la russe, держа блюдечко на разтопыренной пятернѣ.

— Ешю стаканчикъ,—любезно предлагаетъ панъ Стась.

— Дзинькую пана.

Аронъ Мойсеевичъ встаетъ, собираясь сойти внизъ. Онъ энергично захватываетъ свой носъ большимъ и указательнымъ пальцемъ, выдуваетъ его содержимое на полъ площадки, потомъ достаетъ тонкій батистовый платокъ съ большой шелковой монограммой и аккуратно вытираетъ имъ сначала носъ, потомъ пальцы.

Панъ Стась безразлично морщится, подмигивая мнѣ.

За Аронъ Мойсеевичемъ сходитъ внизъ свита евреевъ, ведя какой-то дѣловой разговоръ.

Панъ Стась поглядываетъ на полъ—и его передергиваетъ отъ отвращенія.

— Видно, же онъ въ сморгонской академіи изучалъ «политическую экономію». Видите, пане! Отъ такъ на этихъ шмаркательныхъ платкахъ они себѣ и капиталы строятъ. Бо ему одинъ такой платокъ на мѣсяцъ хватить... А сшо считается первый магилэуэсскій багатырь!..

Чубатый панъ изъ Черкасскъ не безъ ироніи замѣчаетъ:

— А вотъ, пане, може было бы лучше, чѣмъ заводы строить, «пенціонъ» для нихъ открыть, чтобъ этикету обучать.

Панъ Стасъ и улыбается, и чувствуетъ себя задѣтымъ. Онъ глядитъ подозрительно на хохла, по ниче не отвѣчаетъ и направляется къ лѣстницѣ. Проходя мимо меня, онъ говоритъ, мигнувъ въ сторону хохла, язвительнымъ шопотомъ:

— Тоже—Мазэпа!

Панъ Стасъ, видимо, ни минуты не можетъ обойтись безъ общества Арона Мойсеевича.

— Все пошолъ опять за своей «жинкой» ухаживать,—произносить хохоль добродушно, тогда какъ и голосъ его, и брюшко вздрагиваютъ отъ сдержаннаго смѣха.

Бѣлорусскій помѣщикъ задумчиво-мечтательно глядитъ вдаль. Присутствіе пана Арона стѣсняло его. Теперь онъ продолжаетъ прерванный разговоръ:

— Да, всѣ мѣры, всѣ средства надо употребить, чтобы привлечь въ край русскіе капиталы и русскія силы. Только тогда и край станетъ русскимъ. Племенное объединение всегда зависитъ отъ общности экономической жизни: она сближаетъ и связываетъ интересы, она вызываетъ общеніе; а здѣсь главный рычагъ экономической жизни—коммерція—не въ нашихъ рукахъ. И, право, если бы сегодня сюда вмѣсто насъ пришелъ нѣмецъ, населеніе не замѣтило бы даже этой перемѣны; съ внѣшней стороны—да: вмѣсто русскаго солдата былъ бы нѣмецкій солдатъ, вмѣсто русскаго чиновника—нѣмецкій; но отсутствіе русскихъ не было бы замѣтно, такъ какъ они не проникли въ самую жизнь края, не слились съ ней, *не стали ея необходимымъ элементомъ*; этотъ элементъ попрежнему, какъ и въ старой Польшѣ и на Литвѣ, — *космополитъ еврей*, космополитъ не въ смыслѣ мирового братства и сліянія человечества, а космополитъ *по интересамъ только* и по необходимости, тотъ самый историческій еврей, который безразлично каждому побѣдителю открывалъ городскія ворота, встрѣчая съ хлѣбомъ-солью, выпрашивая себѣ льготы и дѣлаясь сейчасъ же необходимымъ человѣкомъ.

— Но вѣдь надо же и ему жить, въ самомъ дѣлѣ,—возражаю я,—вѣдь и онъ движетъ и торговлю, и промышленность...

— Ахъ, Боже мой,—нервно перебиваетъ меня мой собесѣдникъ,—какъ будто я говорю, что не надо, или отрицаю его права и значеніе здѣсь? Вопросъ весь въ томъ, насколько выигрываетъ отъ этого сліяніе края съ нами и наша національная задача славянскаго объединенія. Капиталъ — это скопленный коллективный трудъ націи, и онъ долженъ оставаться *въ націи*, принося ей приращеніе; только тогда онъ и создастъ *ея* ростъ, *ея* благополучіе. Если же

онъ весь переходитъ въ руки корпораціи, которая пускаетъ его въ оборотъ исключительно съ цѣлью наживы и эксплуатаціи всего населенія, то всѣ выгоды отъ обращенія такого капитала остаются не въ населеніи, а въ корпораціи, которая эксплуатируетъ населеніе въ свою пользу властью и всемогуществомъ капитала; такая корпорація и вообще является вредной аномаліей въ общественномъ организмѣ; а если она при этомъ стоитъ еще обособленно и въ національномъ отношеніи, тогда прямо становится на этомъ организмѣ какимъ-то неестественнымъ наростомъ, мѣшающимъ правильному развитію его, поглощающему его жизненную силу и соки.

Помолчавъ минуту, онъ прибавляетъ:

— Вы говорите—торговля, промышленность... Да, они двигаютъ здѣсь ее. Но какъ? Присмотритесь къ торговлѣ: это не широкая, здоровая торговля, которая вольно катилась бы по коммерческому руслу; основа ея—хищничество, нажива и мелочность, которая, при страшной сплоченности, убиваютъ экономическую жизнь. Они никогда не рискуютъ, они всегда идутъ навѣрняка: есть возможность заработать копѣйку—они задерживаютъ движеніе капиталовъ, ожидая, пока настанетъ возможность заработать рубль; нѣтъ ея, наступилъ застой — капиталы лежатъ непроизводительно, они не отважатся создать какое-нибудь новое дѣло, которое вызвало бы примѣненіе капиталовъ, производительной энергіи и рабочей силы страны.

— Вы забываете, что у нихъ нѣтъ правъ, что они снѣзять не прочно, всегда въ какомъ-то «походномъ» состояніи...

— Вотъ—вотъ! Но вѣдь это «походное» состояніе продолжается столѣтіями, они нигдѣ не сидятъ прочно и увѣренно—и эта унаследованная національная особенность всегда создаетъ между ними и страной, въ которой они живутъ, обособленность. Нигдѣ и ни въ чемъ истинникъ ослѣдствія не проявляется основательно, устойчиво; строятся они—какъ-нибудь, на живую нитку, неутожно, лишь бы только подешевле было; хозяйство, если они хозяйничаютъ, тоже все изъ латочекъ да подпорочекъ; фабрику то устроятъ—опять та же мелочность и грошевая скарелность, то же сморканье на полъ при батистовомъ платкѣ съ шелковой монограммой... Единственная вѣра — вѣра въ капиталъ, который можно всегда унести съ собой и въ самую Америку, которымъ можно купить все... Вотъ въ этомъ-то и горѣ... Нѣтъ органической связи со страной и высокого сознанія общности интересовъ.

— Они ли виноваты въ этомъ? спрашиваю я. Не виновато ли все человечество, которое непрерывными гоненіями само изолировало ихъ, заставивъ, въ интересахъ самосохраненія, сплотиться въ такую сомкнутую корпорацію?

— Теперь возьмите промышленность, продолжаетъ онъ, и фабричное производство? Развѣ это здоровая, нормальная промышленность, развѣ вы не видите, что она выросла подъ давленіемъ болѣзненной погони за наживой и нервно напряженной конкуренціей?..

— Но вѣдь конкуренція вездѣ на землѣ—неизбѣжное условіе торговли и промышленности...

— Вездѣ, да! Но нигдѣ она не проявляется въ такой болѣзненной формѣ, и нигдѣ никто, охваченный сѣ азартомъ, не рѣшится на то, на что рѣшаются наши коммерсанты. Не рѣшится и потому, что совѣсть есть, и потому, что не позволятъ... А здѣсь что? Вотъ-съ этотъ сюртукъ на мнѣ—продуктъ Лодзи или Бѣлостока... Лодзь конкурируетъ съ Бѣлостокомъ, Лодзь и Бѣлостокъ конкурируютъ съ фабричною промышленностью центральныхъ губерній, а всѣ вмѣстѣ—съ заграницей. Чтобы выдержать такую конкуренцію и между собой, и извнѣ, необходимо, чтобы продуктъ имѣлъ огромный сбытъ и былъ высокаго качества... Максимумъ спроса зависитъ отъ максимума дешевизны... И фабриканты наши бьютъ именно на эту дешевизну, вырабатывая продуктъ, который *по внешности* выглядит качествомъ не хуже заграничнаго... Да, но только по внешности. Костюмъ изъ англійскаго трико я ношу три-четыре года, а изъ нашего—годъ. Правда, послѣдній вдвое дешевле перваго, но эта дешевизна—обманъ, за который я же приплачиваюсь. Жена прельстилась дешевизной и накупила бѣлостокскихъ и лодзинскихъ одѣялъ по 3—4 руб. штуку; и рисунокъ свѣжій, и цвѣта хороши, и пушисты; но вотъ наши старія, заграничныя одѣяла десятиго года служатъ, не измѣнивъ ни красокъ, ни ворса, а эти въ полгода и пухъ потеряли, и вылиняли, ставъ тряпкой. И такъ во всемъ... Конкуренція требуетъ возможной дешевизны производства, да! Но есть всему мѣра, есть грань порядочности, которую не рѣшится переступить честный человѣкъ. Гя-то и нѣтъ у евреевъ-коммерсантовъ. Въ схваткѣ, въ азартѣ конкуренціи они готовы на все. Въ погонѣ за дешевизной производства, фабрики вырабатываютъ продукты изъ отбросовъ; всѣ техническія усилія направляются въ тому, чтобы придать имъ внѣшній видъ и блескъ; фабрика, при другихъ заказчикахъ, не легко сбыва бы этотъ бракъ; но она имѣетъ сотни тысячъ клиентовъ изъ евреевъ-торговцевъ, которые пользуются скидкой и громаднымъ кредитомъ, навязывая населенію тотъ именно продуктъ, какой они пожелаютъ. Создается насильственная фабричная монополія, населеніе приобретаетъ товаръ, который его заставляетъ приобрести, и товаръ гнилой. Въ силу этого—на свой домашній обиходъ и на жизнь оно расходуетъ почти вдвое больше; и эти средства идутъ для поддержки конкуренціи между фабриками, вырабатывающими гнилой и негодный матерьялъ фабриками, которая часто губятъ другія фабрики, производящія прочный и хороший продуктъ. Получается такая картина: гигантскій трудъ, снабжающій населеніе гнилью, и перепроизводство отбросовъ и гнили, вызывающее экономической кризисъ или застой. Здоровая экономическая жизнь не можетъ развиваться при такой обстановкѣ... И вотъ вамъ финансовая задача, отъ которыхъ зависитъ подъемъ нашего благосостоянія: учредите строгій контроль производства, повысьте качество продукта, подавите горячку больной, неестественной конкуренціи—и вы устранили излишній и непроизводительный трудъ, который можно будетъ направить на другую сторону экономической жизни, урегулировавъ производительныя силы страны...

Наступаетъ молчаніе.

— Да,—говоритъ онъ немного погодя,—надо привлечь сюда русскихъ коммерсантовъ, безъ этого дѣло не двинется. Не отрицаю, на первыхъ порахъ это, можетъ быть, и обостритъ конкуренцію, но такая конкуренція нужна намъ! Она устранимъ теперешнюю монополію, наше экономическое рабство—и тогда мы воспрянемъ. Это усилило бы внутренній обмѣнъ продуктовъ, слило бы экономическія артеріи окраины съ центромъ... И знаете ли, если бы между каждымъ уголкомъ Россіи установился нормальный обмѣнъ экономическихъ силъ, наша экономическая жизнь могла бы настолько регулироваться, что мы стали бы въ полную независимость отъ Европы. Помилуйте, въ то время, когда одна половина Россіи проситъ хлѣба, другая вывозитъ его за границу, когда гдѣ-нибудь на югѣ бутылка вина стоитъ двугривенный и не знаютъ, куда и какъ его сбыть, на сѣверѣ она продается за рубль при пятикратной стоимости провоза... И такъ все.

— Въ самомъ дѣлѣ, отчего бы вамъ не попробовать,—замѣчаю я,—пока-что—сплотиться въ ожиданіи помощи русскихъ капиталистовъ, образовать компанію...

— Вы развѣ забыли, что сейчасъ говорилъ этотъ помѣщикъ изъ Черкассъ? Слишкомъ, кромѣ того, разнородный элементъ представляетъ наше населеніе—и городское и деревенское... Вотъ вамъ, напримѣръ, мои сосѣди по имѣнію: съ одной стороны—панъ Стась, съ другой еврей, подымленный арендаторъ, съ третьей—тоже арендаторъ, какой-то нѣмецъ изъ Остзейскаго края, съ четвертой—русскій чиновникъ, который живетъ въ Петербургѣ и никогда не заглядывалъ въ свое имѣніе... Вотъ и сплотите все это въ компанію. А капиталы все-таки, не забудьте, въ рукахъ евреевъ. И развѣ ваши дѣла пошатнулись—вы гроша не получите въ кредитъ. Эта масса такъ удивительно солидарна, что она всегда лучше васъ знаетъ и вашу кредитоспособность, и ваши средства... Однако, становится свѣжо...

Потемнѣло. На небѣ замаяли звѣзды. Изрѣдка вдоль берега свѣтятся сигнальные фонари.

Сходимъ. Палубные пассажиры располагаются спать. Кое-гдѣ ужинаютъ, большей частью селедкой съ чернымъ хлѣбомъ. Гдѣ-то на бакѣ слышится гармоника. Какой-то старикъ набожно крестится на сонъ грядущій. Матросы сидятъ у дымящейся миски щей. Изъ машиннаго отдѣленія доносится шипѣнье пара. Рычаги ворочаются, сверкая шлифованной сталью. Проходимъ осторожно, лавируя между руками, погами и головами спящихъ, сбившихся въ сѣрую кучу.

Въ каютѣ душно. Сердитый офицеръ и еще два пассажира играютъ въ карты. Майороссъ приготавливаетъ себѣ постель—и какъ разъ подлѣ занятого мной угла на диванѣ. Мнѣ становится даже немного страшно: по комплекціи видно, что всю ночь будетъ храпѣть надъ моимъ ухомъ. Удовольствіе! Сажусь ужинать. Днѣпровская разварная стерлядка недурна; но вкусъ отравляетъ то панъ Стась, пускающій въ меня клубы пресквернаго табаку, должно

быть — «Самкрошэ», то пань Аронъ, продолжающій сморкаться экономическимъ способомъ.

Пань Стась какъ будто начинаетъ-таки побѣждать своимъ ухаживаньемъ пана Арона. По крайней мѣрѣ по сияющимъ глазамъ и складку тонку, которымъ онъ говоритъ вполголоса, можно заключить это.

— Ну, али жъ вѣраю васъ! Какъ Бога люблю! — убеждаетъ онъ не безъ нѣкоторой страстности.

На минуту въ каютѣ происходитъ переполохъ. Входитъ какая-то довольно милостивая не то дѣвица, не то дама и, поглядывая на наши чемоданы смущенно-растерянными взглядомъ, говоритъ быстро:

— Ахъ, извините! Здѣсь, кажется, мой чемоданъ. Впрочемъ, кажется, нѣтъ... Ахъ, я не знаю, куда его дѣлъ этотъ носильщикъ... Онъ такой черненькій, съ мѣдными углами. Ахъ, прошу васъ, не беспокойтесь. Если онъ, здѣсь, пусть себѣ будетъ... Я боялась, что пропалъ... Онъ сейчасъ не нуженъ, завтра только... Благодаря вамъ! Извините.

Офицеръ вскакиваетъ, шаркнувъ зачѣмъ-то ногой и зазвенѣвъ шпорами; лицо его принимаетъ совсѣмъ привѣтливый видъ.

— Ежели (ударение на *же*) вамъ вгодно, я пошщу, — предлагаетъ пань Стась, тоже поднимаясь и, несмотря на свои «подъ-пятые-сять», молодцевато покручивая усъ.

— Ахъ — зачѣмъ же! Ахъ — не надо!..

И она исчезаетъ. Мужчины переглядываются. Пань Стась толкаетъ меня.

— Пенкна паненка! Ежели-бъ я былъ кавалеръ (ударение на *ва*) ...ого-го-го!

Аронъ Мойсеевичъ скептически улыбается. Идутъ предположенія насчетъ «паненки». Одни рѣшаютъ, что это просто пассажирка, другіе — что «пароходная странница».

Полночь. Пароходъ стоитъ гдѣ-то у пристани. Слышно, какъ вода плещется о бортъ. Надъ нами по палубѣ стучатъ коваными сапогами. Пассажиры спятъ. Только пароходный агентъ съ поликомъ въ носу что-то возится. Онъ приспособляетъ къ стѣнѣ небольшой резервуаръ съ водой и каучуковой трубкой, потомъ начинаетъ полоскать носъ. Бульканье воды сливается съ жестокимъ храпомъ моего сосѣда, въ которомъ, кажется, все внутри клокочетъ, точно каша въ котлѣ... Не заснешь!

4-е августа.

Ясное утро. Вдали вырисовываются высокіе берега Могилева. Могилевскій видъ очень похожъ на гомельскій, только здѣсь и Днѣпръ поуже Сожа, и берега сомкнуты тѣснѣй. Масса зелени, изъ которой выглядываютъ пестрая крыша и стѣны домовъ.

Пароходъ подходит къ пристани. Начинается суета. Палубная публика, классные пассажиры, носильщики съ багажомъ — все это перемишалося въ пеструю кучу; давка, толкотня, шумный говоръ. На пристани обступаютъ комиссіонеры изъ гостиницъ, подавая кар-

точки и выкрикивая ломаннымъ русскимъ языкомъ съ еврейскимъ акцентомъ:

— Грандъ-Отель! Отель де Пари-Пассэ... Готель Дэвропъ.

Пароходъ только въ полночь отойдетъ въ Оршу. Бду обозрѣвать городъ. Экипажъ медленно ползетъ въ гору по булыжной мостовой. Выѣзжаемъ на площадь; слѣва, надъ зеленымъ обрывомъ берега, возвышается красивый розовый замокъ — губернаторскій домъ, справа — бѣлое зданіе ратуши съ башней и часами, далѣе старинная церковь, еще нѣсколько церквей...

Гуляю по городу. Чтобы ориентироваться, захожу въ одинъ-два книжныхъ магазина — спрашиваю путеводитель. Евреи-приказчики смотрятъ на меня не безъ улыбки и недоумѣнія. Спрашиваю планъ — тоже не оказывается; спрашиваю о достопримѣчательностяхъ — говорятъ никакихъ, достопримѣчательностей нѣтъ. Чтобы пояснить вопросъ, спрашиваю о старинѣ и древностяхъ: никакой старинны и древностей, говорятъ, тоже не имѣется. И это понятно: то прошлое, которое протекло здѣсь, для нихъ не интересно; а ихъ прошлое не оставило никакого слѣда. Впрочемъ, подъ конецъ-таки вспоминаютъ, что есть, кажется, этнографическій и археологическій музей, учрежденный губернаторомъ, но какъ и когда можно туда попасть, никто не знаетъ. Другая достопримѣчательность, которой нѣтъ пока, но которая будетъ, это — «Могилевскій Листокъ»; подписка на него уже принимается въ редакціонной молочной или молочной редакціи. Большие, увѣряютъ, рѣшительно никакихъ достопримѣчательностей нѣтъ. И не надо. Однако разспросы мои видимо наводятъ на подозрѣніе. Никто ничего у нихъ, кромѣ учебниковъ и романовъ, не спрашивалъ, а тутъ вдругъ — подавая достопримѣчательности. Любопытствуютъ, зачѣмъ онѣ мнѣ понадобились. Объясненіе мое не удовлетворяетъ, взгляды — скептические: такъ и пытаются прочесть, не для молочной ли газеты собираются эти свѣдѣнія. Благодарю и ухожу.

Чрезъ часъ я безъ всякаго плана знакомъ уже съ планомъ. Онъ очень простъ. Разставьте большой и указательный пальцы — и вотъ вамъ двѣ главныхъ улицы — Днѣпровскій проспектъ и Большая Садовая. Онѣ собственно и составляютъ городъ. Въ центрѣ, отъ котораго расходятся эти улицы, площадь съ магазинами, чистенькимъ скверомъ и театромъ, немного далѣе — другая площадь, ближе къ берегу, съ губернаторскимъ домомъ и живописнымъ садомъ «Валомъ», разбитымъ надъ отвѣснымъ высокимъ обрывомъ, подъ которымъ протекаетъ Днѣпръ, изгибаясь вдоль высокихъ зеленыхъ горъ въ садахъ и лѣсахъ. Лѣвый берегъ — гладкая равнина, вышитая узоромъ пестрыхъ нивъ съ темнозеленой бахромой лѣсовъ и синеватой касмой вдоль горизонта.

Съ «Вала» открывается чудный видъ на Днѣпръ, предмѣстье Могилева, Лопуловъ, разбросанное въ зелени садовъ пестрыми кубиками, надъ которыми высится нѣсколько зеленокупольныхъ церквей, и безконечную равнину съ сѣрымъ московскимъ шоссе, тоже Николаевской эпохи. На окраинѣ предмѣстья еще возвышается за-

става, напоминающая триумфальную арку. Городъ соединенъ съ предместьемъ мостомъ. Населеніе Могилева преимущественно еврейское. Русскихъ магазиновъ почти нѣтъ. Историческая типичность исчезаетъ въ нивелирующей безпѣвности шаблонной архитектуры. Но въ общемъ чувствуется какой-то особенный колоритъ городовъ Сѣверо-Западнаго края, наложенный другимъ, чуждымъ современному, строемъ исторической жизни.

Вечеромъ я на «Валу».

Гуляющихъ немного; двѣ трети публики—евреи. На обществѣ печатъ провинциализма и скуки жизни. Меня оглядываютъ съ ногъ до головы съ провинціальнымъ любознательствомъ.

Любуюсь видомъ. Поло мной, въ глубинѣ, пристань; у нея лѣниво отдыхаетъ «Рогачевъ». Далѣе нѣсколько баржъ, плоты... Движения мало.

Трубаки бойко играютъ маршъ «Птичка».

Меня охватываетъ какая-то таинственная атмосфера прошлаго этого города, пронесшагося надъ нимъ за пять вѣковъ его жизни... Литва, Польша, магдебургское право, осада и взятіе его русскими въ XVII вѣкѣ, измѣна населенія и избиеніе русскаго гарнизона, истребленіе города пожаромъ въ XVIII вѣкѣ—съ ярко освѣщенной зарею величественной фигурой Петра Великаго, сраженіе между войсками Даву и Багратіона въ двѣнадцатомъ году—борьба, кровь, огонь, смерть, весь ужасъ ненависти и вражды...

А Днѣпръ все такъ же тихо и величаво катитъ изъ вѣка въ вѣкъ свои воды, отражая въ зеркальной глади выросшій надъ нимъ неугомонный людской муравейникъ и навѣвая своимъ покоемъ сознаніе какой-то вѣчной правды, предъ которой и злоба, и вражда, и всѣ дикія страсти этого муравейника кажутся такими ничтожными и безумными.

Около полуночи переселяюсь съ «Рогачева» на «Гомель». Льетъ тропическій дождь; парусный навѣсъ не выдерживаетъ его напора; грязная палуба вся въ лужахъ.

Пароходъ совсѣмъ маленький.

Въ каютѣ—тѣснота. Гдѣ-то въ темнотѣ, изрѣдка озаряемой огнемъ молніи, слышится другой свистокъ, будто перекикающийся съ «Гомелью». Это пароходъ «Воробей», конкурирующий съ русскимъ обществомъ пароходства. На «Воробѣя» до Орши вдвое дешевле. Евреи почти всѣ хлынули туда. А въ нашу каюту набивается все больше и больше публики. Становится очевиднымъ, что негдѣ будетъ не только спать, а и сидѣть.

Пароходъ покачивается. Плышемъ. Дождь. Громъ и молнія. Становится жутко. Публика все новая. Подлѣ меня пьютъ чай два еврея культурнаго облика. Одинъ изъ нихъ, Давидъ Львовичъ, оказывается писателемъ изъ Шклова. Онъ имѣетъ видъ отставнаго военнаго: лицо, испорченное оспой, выбрито; рыжеватые усы съ подусниками закручены лихо; на глазахъ темные очки. Собесѣдникъ его, пожилой, полный бронеетъ, глядитъ поверхъ очковъ въ золотой оправѣ въ записную книжку и читаетъ что-то. Прислушиваюсь.

Оказывается, что онъ объясняетъ ключъ сначала къ дешифрованной азбуки шифровъ, а потомъ и цифръ... Мнѣ представляется картина пантофальной почты и тайной еврейской переписки, охватившей весь Западъ Россіи паутиной неуловимой, но прочной, какъ стальная сѣтъ, какъ проволока мышеловки...

Давидъ Львовичъ говоритъ очень громко о какой-то своей статьѣ, гдѣ-то напечатанной, и при этомъ оглядываетъ публику, словно бы желая посмотрѣть, какое впечатлѣніе произвело его заявленіе. Собесѣдникъ восторгается его идеями — и лицо Давида Львовича расплывается отъ удовольствія.

Составляется винтъ. Часть публики окружаетъ играющихъ. Остальные пассажиры пытаются заснуть, — кто изогнувшись калачикомъ, на диванѣ, кто на стульяхъ и чемоданахъ, кто на полу. Духота. Дышать нечѣмъ. Закрываю глаза — заснуть нѣтъ мочи; двинуться тоже нельзя; подъ ногами чья-то голова, надо мной тоже какая-то косматая голова и рука, которая вотъ-вотъ впѣпится въ мою физиономію. А въ ушахъ непрерывно звучитъ: пять бубенъ, пастъ, вамъ ходить, маленький шлемъ... Кошмаръ какой-то. И такъ до утра.

На разсвѣтѣ Давидъ Львовичъ съ половиной пассажировъ высаживается въ Шкловъ.

Выхожу на капитанскую площадку. Свѣжо. Небо ясно. Съ рѣки вздымаются туманы, кажушіеся розоватымъ отъ лучей восхода.

Вдали видна Орша.

Днѣпръ здѣсь совсѣмъ узкій; курица въ бродъ перейдетъ. Берега — низкіе. Тамъ и сямъ темнѣетъ боръ. Пароходъ идетъ медленно, и кажется, вотъ-вотъ врѣжется носомъ въ берегъ. Даже повернуться ему негдѣ. Не вѣрится какъ-то, что это тотъ—самый могучій красавецъ Днѣпръ, который разливается такимъ широкимъ потокомъ подъ Киевомъ, Кременчугомъ или Екатеринославомъ, тотъ самый Борисоенъ, который игралъ такую роль въ жизни человѣчества.

Справа бѣлѣетъ на фонѣ лѣса монастырь; медленно гибнѣетъ его, ползѣетъ мимо кладбища — и мы въ Оршѣ. Опять суета, расчеты, «на чай», просительское ожиданіе на липахъ. Наконецъ багажъ мой на извозчикѣ. Проѣзжаю грязной базарной площадью мимо Покровскаго монастыря и какого-то страннаго чернаго, пекучаго, точно пирамида на сваяхъ, зданія къ центру города, довольно опрятному, съ двухъ-этажными домами и соборомъ. Слово въ панорамахъ проносятся улицы, гдѣ рядомъ со шеголеватыми зданіями скромно тѣнятся, какъ будто сконфуженныя такой компаніей, лачужки. До вокзала три версты. Городъ остается позади. Опять поле съ ковромъ нивъ и рощей, изъ которой выглядываетъ кирпичная крыша станціи. Проѣзжаю мимо ряда веселыхъ домиковъ съ уютными цвѣтниками, гдѣ кисти рябины склоняются къ пышнымъ георгинамъ, и пересѣкаю полотно со стальной нитью рельсъ. Я у главной артеріи, соединяющей сердце Россіи съ Европой.

ГЛАВА IV.

Мимо Смоленска.—Призраки Бородин.—Москва.—Въ „Лоскутной“.—Въ погонѣ за путеводителемъ.—Московский разгулъ.—Въ „Фантази“.

Въ шесть часовъ вечера поѣздъ останавливается у смоленскаго вокзала. Здѣсь узелъ московско-брестской и орловско-витебской дорогъ.

Гляжу въ путеводитель. Отъ Минска всего триста десять верстъ. А между тѣмъ вѣсть какой-то иной жизнью. На крытомъ дебаркадерѣ суетится густая толпа; но это уже не толпа минскихъ вокзаловъ; еврей покажется изрѣдка и затеряется въ массу; въ гулъ голосовъ преобладаетъ отчетливый говоръ великоросса; даже бѣлорусъ какъ будто отчеканиваетъ слова бойчѣй и не «цюкаетъ», какъ обыкновенно.

Въ залѣ такая же толкотня, какъ и на платформѣ. У кіота съ образами и теплой лампадой нѣсколько молящихся; крестятся двѣ дамы, какой-то пассажиръ; въ залѣ третьяго класса предъ образомъ тоже молятся. Уже замѣтно, что общія религія преобладаетъ въ публикѣ, и она не стѣсняется осѣнить себя крестнымъ знаменіемъ, какъ среди инوверцевъ.

Туманно. Чуть моросить.

Поѣздъ отходитъ. Стою у окна. На холмахъ, на фонѣ темныхъ лѣсовъ, вырисовывается Смоленскъ съ нѣсколькими церквами оригинальной старинной архитектуры; одна красновато-кирпичнаго цвѣта, остальные синеватые и голубые, съ зелеными крышами. Городъ сползаетъ до самаго полотна дороги; въ концѣ крѣпость съ ломанной линіей стѣнъ, огибалющихъ Смоленскъ пятиверстнымъ кольцомъ; въ крѣпости тоже голубая церковь. Зеленая крыша и голубая стѣна образуютъ какое-то странное цвѣтное сочетание, производящее болѣзненное впечатлѣніе.

Дибирь, который я оставилъ у Орши, за сто верстъ, извивается гдѣ-то вдоль этихъ холмовъ, но его не видать.

Публики въ вагонѣ немного и все не интересная: настоящая публика втораго класса, съ ея необщительностью, подозрительнымъ оглядываніемъ и мрачно-озлобленнымъ видомъ въ готовности отставить занятый диванъ.

Продолжаю глядѣть на убѣгающій и исчезающій въ туманѣ Смоленскъ.

Опять вспоминается прошлое съ мрачной эпохой удѣльныхъ раздоровъ, осады и разореніе города въ XIV и XV вѣкахъ—литовцами, въ началѣ шестнадцатаго—русскими, въ началѣ семнадцатаго—поляками и, наконецъ, въ 1812 году—французами... Если бы всѣ тѣ сотни тысячъ людей, которые когда-то глядѣли отсюда на эти холмы въ ожиданіи побѣды, могли бы хоть на мигъ воскреснуть, какой жестокой насмѣшкой показалась бы имъ теперь надъ всей ихъ жизнью та борьба, какой мелкой—племенная вражда предъ этимъ сковавшимся въ океанъ славянскимъ міромъ.

Темнѣетъ. Гдѣ-то изъ мглы выступать ярко освѣщенный пятиэтажный корпусъ Ярцевской фабрики; точно какая-то гигантская вафля съ длинными рѣдами свѣтящихся клѣтокъ. Это громадная Хлудовская мануфактура, производящая миткаль.

Поѣздъ мчитъ дальше. Минусъ Вязьму, Гжатскъ и Бородино, гдѣ восемь десятковъ лѣтъ тому назадъ разыгралась кровавая трагедія, гдѣ каждый уголокъ земли напоенъ кровью восьмидесяти тысячъ русскихъ и «двадцати языковъ». Восемьдесятъ тысячъ жизней, уничтоженныхъ въ нѣсколько часовъ! И какихъ жизней! Цвѣта, молодости, силы враждующихъ націй... Восемьдесятъ тысячъ, повторяю я себѣ, пытаюсь представить весь ужасъ этой картины, и воображеніе безсилно воспроизвести ее. Это цѣлый большой городъ, это густая сплошная толпа, запрудившая улицу въ нѣсколько верстъ, это—почти восемьдесятъ кавалерійскихъ полковъ, восемьдесятъ полковъ молодыхъ, полныхъ здоровья, энергіи, жизни и красоты героевъ, которые въ нѣсколько часовъ превращаются въ груду изуродованныхъ, гниющихъ труповъ... И для чего?.. Для того, чтобы сегодня ихъ дѣти и внуки, полные симпатій и восторженной братской любви, бросались въ объятія другъ друга при единодушныхъ возгласахъ—vive la Russie! vive la France!

Мнѣ мерещится во мглѣ маленький чуть сутуловатый призракъ въ треуголкѣ, мундирѣ и бѣлыхъ брюкахъ. Онъ скрестилъ на груди руки и глядитъ сѣрыми, неподвижными, какъ у трупа, глазами на эту равнину смерти... Еслибъ онъ зналъ!.. Но развѣ онъ не зналъ! Развѣ онъ не зналъ исторіи человѣчества, исторіи древняго міра, Греціи и Рима, мировое могущество котораго онъ хотѣлъ отвоевать для своей родины?.. Развѣ онъ не видалъ, не понималъ, не зналъ, что мощь націи зависитъ не только отъ ея побѣдъ, но и отъ ея внутренней, духовной силы, сковающей ее въ цѣльный организмъ, развѣ онъ не зналъ, что Римъ, при всемъ его всемогуществѣ, разложился и распался, несмотря на всѣ побѣды, отъ внутренняго безсилія, что не стоило проливать этой крови, если жизненность націи не создается огнемъ и мечемъ, что историческія судьбы народовъ зависятъ не только отъ мимолетнаго каприза случайныхъ побѣдъ?..

И развѣ онъ не зналъ, что губить всѣ силы своей Франціи, той Франціи, которая сегодня вырождается, которая создастъ поощрительные законы, чтобы вызвать ростъ вымирающаго населенія?

Мнѣ вспоминаются жестокіе, жагучіе, какъ раскаленное желѣзо, ямы Барбисъ:

„Encore Napoléon! encore sa grande image!
Ah, que ce rude et dur guerrier
Nous a coûté de sang et de pleurs et d'outrage
Pour quelques rameaux de laurier!“

и далѣе:

O Corse à cheveux plats! que ta France était belle
Au grand soleil de messidor!

C'était une cavale indomptable et rebelle,
Sans frein d'acier ni rênes d'or... *)

6-е августа,

Седьмой час. Ясное утро. Поѣзд бѣжитъ опять по безконечной равнинѣ. Я уже въ семистахъ верстахъ отъ Минска, а природа почти не измѣнилась; точно продолженіе Бѣлоруссіи. Та же зеленая даль, изрѣдка испещренная полосами нивъ съ убраннымъ хлѣбомъ, тѣ же сизыя ленты лѣсовъ вдоль горизонта, тотъ же маяющій просторъ, какъ будто призывающій къ труду и борьбѣ...

Со станціи Кунцево слѣва отъ поѣзда выступаетъ какая-то неясная фиолетовая зубчатая кайма, захватывающая весь горизонтъ. Поѣздъ поворачиваетъ—и кайма показывается уже справа. Чѣмъ дальше, тѣмъ она становится ястѣй, принимая сизовато-розовый оттѣнокъ. Сначала смутно, какъ миражъ, потомъ все отчетливѣй вырастаютъ высокія башни и стройныя, какъ мачты, фабричныя трубы; за ними изъ загадочной дали надвигается цѣлый лѣсъ другихъ башенъ, мачтъ и гигантскихъ каменныхъ громадъ; въ розовомъ сіяніи сверкаютъ купола церквей; вдоль горизонта все больше расползается пестрая панорама огромнаго города въ радугѣ всѣхъ красокъ. Солнце ярко освѣщаетъ Москву, сверкающую серебромъ и золотомъ своихъ колоколенъ.

Величественный храмъ Спасителя, весь бѣлый, господствуетъ надъ городомъ, сіяя золотой митрой. Я сразу узнаю его и колокольню Ивана Великаго, возвышающуюся надъ группой другихъ бѣлыхъ колоколенъ. Почему-то вспоминаются русскія былины, русскіе богатыри, подвѣжающіе къ невѣдомымъ сказочнымъ городамъ въ погонѣ за жаръ-птицей, въ поискахъ волшебной царевны... Какимъ-то маревомъ, полнымъ фантазіи востока, вѣетъ отъ этого вида.

Поѣздъ проносится надъ Москвой-рѣкой по только-что выстроенному мосту. Еще гуще становится лѣсъ фабричныхъ трубъ, еще пестрѣй и оригинальнѣй башни и колокольни, то острокопечныя, то съ круглыми, то съ луковичеобразными макушками. Сегодня Спаса. Надъ городомъ носится могучій гулъ колоколовъ; что-то бодрящее и ласкающее чувствуется въ тягучемъ благовѣстѣ; ухомъ едва можетъ уловить колокольную гамму, которой переключаются тысячи колоколовъ, сливаясь въ волнахъ то нарастающей, то замирающей гармоніи.

На душѣ становится какъ-то необыкновенно хорошо и свѣтло, точно и ясное небо, и сіяющій древній городъ, и этотъ тор-

*) Опять Наполеонъ! Опять его великій образъ!

Ахъ, сколько крови, слезъ и оскорбленій намъ стоить этотъ суровый и жестокий воинъ изъ-за нѣсколькихъ вѣточекъ лавровъ! О, корсиканецъ съ пригложенными волосами! Какъ хороша была твоя Франція подъ величественнымъ солнцемъ мессидора, неукротимая и мятежная, какъ кобылица безъ стальныхъ удилъ и золотыхъ возжей...

жественный звонъ колоколовъ вливаютъ въ нее какую-то жизненную радость струю.

Поѣдемъ безконечно долго мимо цѣлой арміи вагоновъ, пока добираться до вокзала. Безпрерывная цѣпь поѣздовъ, то вытянутыхъ стройной вереницей, то маневрирующихъ, вызываетъ представленіе о какой-то исполнинской энергіи и дѣятельности человѣка. Меня какъ будто даже оробѣ беретъ, когда я думаю, что здѣсь шесть такихъ же пунктовъ, на которыхъ каждый часъ отходятъ и прибываютъ поѣзда, то вливая въ это море, то унося изъ него целовѣчскія жизни, то увозя, то привозя миллионы чудовъ груза.... Москва кажется мнѣ въ эту минуту паукомъ, который, растопыривъ во всѣ концы Россіи свои ножки, держитъ въ нихъ всю русскую жизнь центральной полосой.

Ни вокзалъ, ни суетливая публика, ни рослые жандармы и городовые, ни извозчики не имѣютъ вылощенного столичнаго вида, какъ въ Петербургѣ. Чувствуется, что попалъ въ широкое русло громаднаго потока жизни, но безъ той напряженности и подтянутости, какія создаются въ административномъ центрѣ государства, гдѣ каждый «на чеку».

Фигура великоросса какъ-то сразу, опредѣленно и отчетливо, вырисовывается изъ пестрой толпы. И, надо сказать правду, она захватываетъ и подкупаетъ невольно, особенно при сравненіи съ замкнутымъ, подозрительнымъ и боязливымъ бѣлоруссомъ. Я говорю, конечно, не объ интеллигентѣ—великороссѣ, который успѣлъ обесчеловѣчиться, окультуриться и даже выродиться, утративъ свой здоровый и непосредственный темпераментъ; я говорю о простой, цѣльной, свѣжей народной натурѣ, еще не потерявшей своей національной типичности въ шаблонъ сюртучной цивилизаціи.

Великороссы глядятъ откровенно, прямо—и даже не сморгнутъ; отъ этого взгляда вѣетъ и простотой, и добродушіемъ, и смѣлостью, которые сразу завладѣваютъ вашимъ довѣріемъ; изрѣдка только въ глазахъ мелькнетъ веселый огонекъ; можно подумать, что онъ внутренне смѣется либо потому, что въ васъ нашелъ что-нибудь смѣшное, либо потому, что ему просто жить весело, либо, наконецъ, потому, что придумалъ, какъ половчѣй васъ надутъ... Говорить онъ вѣжливо, предупредительно, но жалобно закискающе, какъ бѣлорусъ, а бойко, ясно, опредѣленно. «Чего-съ, да-съ, какже-съ»—это цѣлая музыка его языка, особенно въ московскомъ нарѣччіи, и надо поприлускаться и привыкнуть къ ней, чтобы понять всѣ оттѣнки, которые она придаетъ тону рѣчи. Это вовсе не холопское «чего-съ изволите» и «сей минутѣ-съ»; эта приставка, можетъ быть, создалась именно въ силу потребности говорить возможно отчетливѣй, не растягивая гласныхъ. Малороссъ говоритъ—аге—или чо—и вамъ слышится какая-то и растянутость, и неясность звука; скажетъ великороссъ—чего-съ?—и сразу будто отрѣзалъ.

Извозчикъ везетъ вяло, умѣренной рысью: «конецъ» не тотъ, что въ губернскомъ городѣ; до Лоскутной гостиницы (въ самомъ центрѣ города) версты четыре. Минуемъ Тверскую заставу, триум-

фальную арку, Тверской бульваръ съ памятникомъ Пушкину справа и Страстнымъ монастыремъ слѣва, и опять безконечная панорама домовъ и магазиновъ Тверской улицы, московскаго Невскаго проспекта; конечно, ни той перспективы, ни тѣхъ грандіозныхъ зданій, ни того блеска магазиновъ, что на Невскомъ—нѣтъ; пожалуй даже кіевскій Крешатикъ поспоритъ съ Тверской; но въ Москвѣ десятки этихъ Тверскихъ, немного покорооче, немного пошире; весь центръ города, а это значитъ площадь, окруженную версты въ пятнадцать, состоитъ изъ такихъ же улицъ, разныхъ Петровокъ, Дмитровокъ, Неглиннаго проѣзда и Кузнецкаго моста, элегантнаго переулка, въ которомъ, какъ и въ фамусовскія времена, сосредоточены всѣ главные магазины московскаго «fashionabl'я» и на которомъ, кстати сказать, никакого моста не существуетъ.

«Лоскутная», куда я заѣзжаю, вблизи Кремля, почти противъ Иверскихъ воротъ, по сторонамъ которыхъ, заслоня видъ на Кремль и будто наваливаясь на огромную площадь, возвышаются два грандіозныхъ зданія красновато-кирпичнаго цвѣта, съ цузятыми точеными колонками, съ фасадами въ русскомъ стилѣ. Слева—дума, справа историческій музей, оба въ четыре—пять этажей, послѣдній съ башнями и пирамидальными крышами. Что-то величественное, но громоздкое и неуклюжее; слишкомъ много ненужнаго «капика», слишкомъ много «стиля» и мало изящной естественности.

Занимаю номеръ во второмъ этажѣ. Небольшая комната; два окна выходятъ въ узкій переулокъ. Меблировка совсѣмъ провинціальная; цѣна—два рубля. Темновато, воздухъ тяжелый. На стѣнѣ подозрительныя красноватая пятна.

— Да у васъ клопы! говорю я съ ужасомъ «нумеранткѣ», очень похожей въ своемъ бѣломъ передникѣ и бѣломъ платкѣ на фламандку.

— Помилюте, баринъ! протестуетъ она пѣвчимъ голосомъ, почти съ ужасомъ. У насъ о нихъ никогда и слышно не было.

— А это—что-жъ? и я тычу указательнымъ пальцемъ прямо въ пятно.

— Это-съ? спрашиваетъ она, не смущаясь. Это не клопы-съ. Это прѣзжающіе есть такіе, что на стѣнки плюють.

— Что вы, Господь съ вами!

— Вѣрно-съ. Вы вотъ—аккуратный, а другіе есть такіе, что плюють-съ. Да-съ.

Она уходитъ, видимо обиженная за «репутацію» гостиницы. Мнѣ нисколько не легче отъ того, что есть такіе господа, которые плюютъ на стѣнки. Даже реномъ первокласснаго отеля не можетъ успокоить меня.

Въ гостиницахъ Сѣверо-Западнаго края, едва успѣешь занять номеръ, какъ двери со скрипомъ растворяются, и въ нихъ робко просовывается голова еврея—комиссіонера или мишуриста.

— А къ намъ заѣхала одна очень хорошая паненка,—объявляетъ онъ ни съ того ни съ сего, съ лукаво-пошловатой улыбкой на лицѣ.

— Ну такъ что-жъ? спрашиваете вы.

— Ничего... Я только такъ... чтобы вы себя знали.

И голова искusstителя исчезаетъ. Комиссіонеръ, котораго я потребовалъ,—бойкій и расторопный великороссъ. По лицу его, открытому и приличному, вижу, что онъ съ такими предложеніями обращаться не станетъ. И то чувство галливости, которое невольно испытываешь тамъ къ грязному «фактору», унижающему чело-вѣческое достоинство, смѣняется здѣсь уваженіемъ.

Поручаю достать мнѣ путеводитель. Оказывается—всѣ магазины и сегодня, и завтра будутъ закрыты. Другой промолчалъ бы и, воспользовавшись моею оплошностью, прогулялся бы по городу, чтобы получить за комиссію. Еврей мишурился, навѣрно, сейчасъ же пустился бы во всѣ лопатки исполнить мое порученіе, выбѣжалъ бы за ворота, постоялъ бы полчаса, поговорилъ бы съ прохожими евреями о разныхъ гешефтахъ, потомъ, наконецъ, выбѣжалъ бы въ номеръ запахавшись и сообщилъ бы, задыхаясь «отъ бѣготни»:

— Ой, вже сколько я хадзилъ и хадзилъ, паночку, тольки са-поговъ изнасилъ даромъ. Всѣ магазинъ закрыты.

Этотъ заявляетъ сразу и категорически, что сегодня не достать.

— Въ гостиницѣ нѣтъ-ли путеводителя?

— Нѣтъ.—Нѣтъ-ли плана, по крайней мѣрѣ?—Есть въ конторѣ, да большой, въ 4 аршина, виситъ на стѣнѣ.

Все-таки онъ еще обещаетъ поразспроситъ газетчиковъ: авось у кого-нибудь залежался путеводитель. Спустя часъ докладываетъ, что и у нихъ его нѣтъ.

Что тутъ дѣлать? Безъ плана не оріентируешься въ московскомъ лабиринтѣ. Два дня придется потерять напрасно. Вотъ тебѣ и истоща! Даже не вѣрится какъ-то.

Отправляюсь гулять въ надеждѣ раздобыть все-таки гдѣ-нибудь путеводитель. Иду наудалую.—Попадаю совсѣмъ случайно на Дмитровку, а оттуда на Кузнецкій мостъ. Два—три французскихъ и нѣмецкихъ магазина открыты. Увы—ни путеводителя, ни плана. Иду въ надеждѣ набрести на букиниста, спрашиваю у газетчиковъ—все напрасно.

Невольно покоряюсь своей участи. Сажусь на конку. Внизу ничего не видно. Перехожу на имперіаль. Часъ, два, три часа ѣду изъ одного конца въ другой, не зная, куда меня везутъ. Предомной разворачивается безконечная панорама московскихъ улицъ, съ непрерывнымъ потокомъ праздничной толпы. Что меня и пора-жаетъ, и огорчаетъ—это невообразимая масса пьяныхъ: и на тротуарахъ, и на извозчикахъ, и на конкѣ—вездѣ жертвы Бахуса. Нѣкоторые, еще не охмелѣвъ, карабкаются на имперіаль, а потомъ ужъ и сойти не могутъ; какой-то пьяный растянулся подлѣ меня на скамейкѣ и заснулъ. Кондукторъ будитъ его, но безъ раздра-женія: видно—привычная картина. Да и отъ него самого крѣпко пахиваетъ алкоголемъ, онъ и самъ не особенно твердо стоитъ на ногахъ. Перехожу съ вагона на вагонъ, съ одной линіи на другую—

и йду безъ конца. Нѣкоторыя улицы, даже нѣкоторыя церкви такъ похожи, что кажется, будто возвращаешься по прежнему пути. Почти нѣтъ улицъ, гдѣ бы не было церкви. И публика то и дѣло обнажаетъ головы и крестится. Даже пьяные—и тѣ чисто механически водятъ безсильной рукою, пытаюсь перекреститься.

Въ номерѣ нахожу на полу, очевидно просунутую подъ двери, программу знаменитой «Фантазіи». Изящная обложка, вродѣ тѣхъ, что на книжкахъ папиросной бумаги. На золотомъ фонѣ—дѣвица съ «формами» и заманчивой улыбкой. Въ обложкѣ—афиша очень многообещающая.

Обѣдаю въ Лоскутной. Обѣдъ изъ шести блюдъ—1 р. 70 к. Кормятъ недурно. Кухня на французскій манеръ и донышка артишковыхъ называются въ меню «фондами» изъ артишковыхъ, хотя портятъ ихъ совсѣмъ по-русски.

Гостиница въ общемъ хороша: семейная и приличная. Полная тишина. Даже гулъ колоколовъ заглушаютъ окружающія зданія, и онъ здѣсь похожъ на жужжаніе пчелы, которая мечется въ окнѣ.

Вечеромъ собираюсь въ «Фантазію». Договариваю извозчика. Первый спрашиваетъ пять рублей, второй—три. Захожу во фруктовый магазинъ, чтобъ узнать насчетъ таксы. Говорятъ, до Петровскаго парка верстъ семь; извозчика можно имѣть копѣекъ за сорокъ или за полтинникъ. Оказывается, что я договаривалъ ляхчей. Сажусь на обыкновеннаго извозчика. Везетъ за полтинникъ. Девятая часть вечера. Темно. Вдоль Тверской горятъ газовые фонари; кое-гдѣ сияетъ электричество. Опять пьяные и пьяные безъ конца. Встрѣчаются пьяныя женщины, даже пьяные подростки. Невольно изумляюсь.

— Нынче, баринъ, Спаса,—оправдываетъ извозчикъ эту вакханалію.

— Что-жъ тутъ дѣлается на Святой?..

Въ раскрытыхъ окна трактировъ вылетаютъ отрывочные звуки органовъ.

Выѣзжаю за городъ.

Слѣва сияетъ электричествомъ «Аркадія», справа — «Стрѣльна», «Яръ» и «Мавританія». Здѣсь москвичи отдаются широкому разгулу на лонѣ природы, послѣ зимняго дебоша въ театрѣ знаменитаго Шарля Омона. Ни мостовыхъ, ни шоссе. Колеса неслышно катятся по мягкому грунту. Аллея обрамляетъ дорогу. Становится темно. Изрѣдка только у дачъ мерцаютъ фонари. Даже конка не проведена. Совсѣмъ глухое мѣсто. Того и гляди ограбить. Начиная оглядываться тревожно и подозрительно.

— Да ты куда ли везешь?

— А то какъ же?

Голосъ спокойный, искренній. Но не вѣрится какъ-то, не вѣрится, чтобы московскій бомондъ выбралъ для своихъ прогулокъ такой глухой и отдаленный «закоулокъ». Видно—время не пѣтисся и да деньги тоже. На лихачѣ — и то часть или полтора туда и обратно надо.

Наконецъ—сразу изъ чащи деревьевъ вырывается потокъ электрическаго свѣта. Поворотъ—и я у подъѣзда. «Фантазія» и есть. Беру билетъ въ закрытый театръ и, въ ожиданіи начала, иду въ садъ. Электрические фонари, китайскіе фонарики, цвѣтные стаканчики въ пестрыхъ звѣздахъ и вензеляхъ, даже самосвѣтящіеся фонтанъ; масса киосковъ съ разными благотворительными «шеколадами» и благотворительными дѣвицами, неизбѣжный тиръ, раковина для струнной музыки, эстрада для хора трубачей, ресторанъ, открытая сцена. Публики—нельзя сказать, чтобы много; половину ея составляютъ провинціалы. Должно быть, какъ и я, получили заманчивыя афишки. Кіевскій «Шато-де-флеръ», пожалуй, не уступитъ «Фантазіи»; нѣтъ столько блеску, но какъ-то грандіознѣе и художественнѣе. На открытой сценѣ идетъ «Разрушеніе Помпей», затѣмъ, въ антрактахъ—безпрерывно, безостановочно—все «извѣстныя» куплетисты, гимнасты, венгерскія пѣвицы и т. д. въ такомъ же родѣ. Въ закрытомъ театрѣ—оперетка «Чайный цвѣтокъ» и балетъ «Фея куколъ». Ни въ комедіи, ни въ опереткѣ, ни въ балетѣ—ни одного выдающагося исполнителя. Слишкомъ много всего, и ничего, стоящаго вниманія. Обиліе и быстрота переměнъ надоѣдаетъ и утомляетъ. Получается какой-то сумбуръ, ни секунды отдыха. Такъ иногда попадаешь въ гости къ слишкомъ любезнымъ хозяевамъ, которые, боясь, чтобы вы не скушали, ни на минуту не оставляютъ васъ одного и непрерывно занимаютъ разговорами.

Стоитъ это удовольствіе не дешево: кресло въ опереткѣ что-то рубля два въ среднихъ рядахъ, извозчикъ — рубль. Ужинъ тоже рубля полтора—два, а наслажденія—никакого. Это, кажется, понимаетъ и публика, но все-таки идетъ, потому что дѣться некуда и потому, что по лѣтнему расписанію полагается провести вечеръ гдѣ-нибудь на гуляньѣ. У большинства этой публики—нервно-скукающій видъ. Потопчется она у раскрытой сцены, отойдетъ, опять подойдетъ, точно не знаетъ, что дѣлать съ собой. Преобладающій типъ въ ней—вырождающийся столичный интеллигентъ. За столиками ужинаютъ два-три юнца съ дамами полусвѣта; должно быть — купеческіе сынки. У одного, похожего на молодого воробья, тупая фizioномія кретина и гнилые зубы. Онъ совсѣмъ пьянъ. Двѣ женщины, которыя сидятъ по бокамъ, ухаживаютъ за нимъ, а онъ продолжаетъ заказывать и заказывать, несмотря на то, что столъ загроможденъ.

Ухожу во второмъ часу. Такъ и не удастся послушать концертный оркестръ. Первые утомлены отъ всей этой бессодержательной пустоты. Рѣшаю прогуляться: чудная лунная ночь. Иду и иду... Изрѣдка пронесется мимо извозчикъ, потомъ все стихнетъ. Чувствуется близость большого города, но его еще не видать. Гдѣ-то, въ темной чащѣ парка, играетъ оркестръ. Иногда изъ тѣни выступитъ и снова исчезнетъ силуэтъ одинокаго прохожаго. Ближе къ городу, несмотря на поздній часъ, опять встрѣчаю пьяныхъ. Одинъ поетъ, другой иступленно гикаетъ...

Постепенно въ голубоватой мглѣ вырастаютъ контуры Москвы,

неясные, загалочные, полные чего-то таинственного и неуловимого. Въ воображении проносится прошлое этого города съ его страшными и могучими образами... И какъ-то невольно напрашивается вопросъ: неужели они, необузданные въ своихъ страстяхъ, но сильные и здоровые, могли создать это хилое поколѣніе вырождающихся и алкоголиковъ, которые теперь здѣсь, въ разныхъ «Стрѣльняхъ» и «Мавританіяхъ», прожигаютъ остатокъ жизненныхъ ресурсовъ?

ГЛАВА V.

Опять въ погонѣ за путеводителемъ. Потомокъ „великой арміи“ знакомитъ съ Москвой всероссийскаго гражданина. На „пароходной“ пристани. Русский машинистъ. Продолженіе московской „распуты“. Панорама Москвы съ Воробьевыхъ горъ. Волшебная сказка. Какъ фабричные фотографировали Воробьевы горы. Путеводитель добытъ. Моя „Филиппика“.

7-е августа.

Утро. Небо ясно. Грохотъ мостовыхъ сливается съ гуломъ колоколовъ въ какую-то пѣсню торжествующей жизни. Иду опять на Кузнецкій мостъ, въ надеждѣ раздобыть путеводитель. Всѣ книжные магазины, по-вчерашнему, закрыты. Захожу къ французу-оптику и, покупая бинокль, говорю ему о своемъ горѣ. На подвижномъ лифтѣ галла—тонкая усмѣшка. Утѣшаетъ, что въ Москвѣ—«ту-комса». Гордъ онъ знаетъ прекрасно, такъ какъ живетъ здѣсь болѣе тридцати лѣтъ и любитъ «Великую Россію». «О, это грандіозная, безпредѣльная, могучая страна... Конечно, не все еще установилось въ ней, но такъ всегда случается въ большомъ хозяйствѣ, гдѣ отъ обилия богатства происходитъ нѣкоторое embarras de richesses. Mais enfin, avec le temps ça viendra...» Советуетъ пока-что полюбоваться Москвой съ Воробьевыхъ горъ, любезно сообщаетъ маршрутъ, чертитъ планъ...

Такъ и рѣшаю. Взаимныя мерси и взаимныя пожеланія. Ухожу, чувствуя всю зыбительность злой ироніи судьбы: одинъ изъ потомковъ «великой арміи» учить «ситуаіена» de toutes les Russies, какъ ему пробраться на Воробьевы горы и ориентироваться въ родной столицѣ. Недурно! Недостаетъ, для полноты картины, чтобы машинистъ, который повезетъ меня на горы сморгнуть сквозь французское стекло моего бинокля на матушку-Москву, оказался нѣмцемъ...

Схожу по Неглинной мимо Кремлевскаго сада, сползающаго къ набережной Москвы. Кремль, окаймленный зубчатой стѣной съ острокопечными башнями, возвышается надъ рѣкой, на зеленомъ холмѣ, сверкая золотомъ колоколенъ, играя пестротой красокъ. Оставляя справа храмъ Спасителя, перехожу по Каменному мосту къ Болотной набережной. Здѣсь — «пароходная пристань». У самаго берега Отводнаго канала—не то балаганъ, не то—сарай, не то—купальни. Беретъ сомнѣніе: вспоминаются роскошные, причудливые павильоны иевскихъ пристаней, и не вѣрится, чтобы это ветхое, сколоченное на живую нитку зданіе было пристанью московскихъ рѣчныхъ ка-

таній... Справляюсь. Говорятъ—да. Захожу въ балаганъ, сажусь на засаленную лавку и жду. У пристани колышутся, сталкиваясь бортами, два-три катера. Предо мной, по ту сторону канала, Замокъ-скворѣчье. Все больше двухъ-этажные дома, разные склады... Видъ совсѣмъ губернскаго города. Такъ и кажется, что въ вдругъ очутились въ какой-нибудь Тулѣ или Калугѣ, за сотни верстъ отъ столицы.

И публика, которая собралась въ балаганъ, тоже провинціальная... Толстый (непремѣнно—толстый) купецъ и купчиха, какой-то отставной чиновникъ, какой-то пожилой господинъ съ желчной, одутловатой физиономіей, нѣсколько фабричныхъ, въ пиджакахъ поверхъ кумачевыхъ рубахъ, нѣсколько приказчиковъ изъ второстепенныхъ магазиновъ, двѣ-три дамы, кажется—тоже пріѣзжія, такъ какъ озираются съ видомъ испуганной неожиданности, нѣсколько горничныхъ...

Беру билетъ. До Воробьева—двугривенный, ѣздъ—полчася, а то и меньше.

Звонокъ (такъ и полагается). Первый свистокъ (тоже по программѣ). Но свиститъ собственно не машинистъ, а парнишка-кочегаръ, вымазанный углемъ. Машинистъ растаялся на полу въ стеклянной будкѣ, что посрединѣ катера, и, раскинувъ ноги, храпитъ. Кочегаръ тормошитъ его и будитъ:

— Ляксы Данилычъ, а Ляксы Данилычъ, слышь аль нѣтъ? Ужо первый свистокъ.

Невозмутимый храпъ раздается въ отвѣтъ. Парнишка поглядываетъ на публику, ворочая бѣлками, которые кажутся на черной рожѣ совсѣмъ бѣлыми, и замѣчаетъ, оскаливъ зубы:

— Проклажаются...

Потомъ снова даетъ свистокъ. Кой-кто въ публикѣ закрываетъ уши. «Ляксы Данилычъ» вскакиваетъ, протираетъ мутные глаза, озирается, потягивается, встаетъ, придерживаясь за скамейку, идетъ къ паровику и уже даетъ свистокъ своей властной хозяйской рукой, справившись предварительно у кочегара, какой это будетъ по счету. Стоитъ онъ очень твердо и въ движеніяхъ замѣтна мѣлководность и неуклюжесть развинченнаго алкоголемъ «механизма». Я радъ, что мое предчувствіе не сбылось: машинистъ, слава Богу, не нѣмецъ.

Публика занимаетъ мѣста въ катерѣ, когда появляется подвыпившая компанія мастеровыхъ съ дамами. Скамейки въ два яруса, одинъ надъ другимъ. Сажусь на нижней скамѣ, все время чувствую, что верхняя публика утѣжитъ сапогами мое пальто. Два смуглыхъ музыканта, должно быть — цыгане, наигрываютъ раздирающе на скрипочкахъ какой-то маршъ, надо думать — изъ Боккачіо, потомъ обходятъ публику съ шапкой въ рукѣ.

Вдругъ катеръ («Стрѣла») сразу срывается и, качнувшись, мчитъ. Дамы ахаютъ: того и гляди—опрокинемся. Машинистъ пошалаиваетъ—и катеръ снуетъ то въ одну, то въ другую сторону прихотливыми зигзагами. Совсѣмъ будто норовистый конь.

Панорама Москвы движется вокруг меня непрерывно сменяющимися картинами. Гляжу въ бинокль назад—отъ меня убѣгаетъ Кремль съ его кирпичными, бѣлыми и голубыми башнями, съ розовымъ фасадомъ и золотымъ куполомъ дворца, ящеричной чешуей на верхушкахъ башенъ, золотой палкой Ивана Великаго и еще пѣлой группой золотыхъ макушекъ. Справа—величественный бѣлый гигантъ, царственный златоглавы храмъ Спасителя, слѣва—церкви Замоскворѣчья... Все это надвигается, бѣжитъ вслѣдъ за нами, прячется за другими зданіями, снова выступаетъ... Сотни куполовъ—красныхъ, кирпичныхъ, бѣлыхъ, голубыхъ, сѣрыхъ, желтыхъ, темнокоричневыхъ, съ макушками то въ видѣ конусовъ, то пирамидокъ, то луковницъ, то золотыми, то бѣлыми, то зелеными, то голубыми, пестрая смѣсь стилей и эпохъ—мелькаютъ, ослѣпляютъ и производятъ впечатлѣніе какой-то сказочной фантазіи...

Впереді—высокія зеленыя Воробьевы горы. Москва остается за нами. Катѣрь бѣжитъ по дугѣ, которой изогнулась здѣсь рѣка, и, дойдя до половины ея, останавливается у подножія горъ.

На пристани дожидаются шумная толпа мастеровыхъ. Все пьяно. Гармоника, сѣмечки, растрепанные лица, пьяная пѣсня. Карабкаюсь на горы, въ зелени которыхъ тамъ и сямъ раскинуты дачи, по узкой, круглой тропинкѣ.

Подъемъ становится все отвѣснѣй, тропинка извилистѣй и круче. Иногда такъ и хочется уцѣпиться въ кустарникъ, чтобъ устоять. Ни лѣстницы, ни скамеекъ. По скату, между жидковатыхъ сосенъ,—стоптанная, пожелтѣвшая трава; на ней—корки арбузовъ и дынь, пустыя бутылки. Кое-гдѣ спятъ въ одиночку и группами, въ непринужденно-откровенныхъ позахъ, мастеровые, иногда между ними видны и бабы, тоже пьяныя. Гдѣ-то рипитъ гармоника, гдѣ-то нескладно поютъ. Навстрѣчу сходятъ пьяные, пошатываясь. Вотъ одинъ упалъ, всталъ, опрокинулся и скатился кубаремъ съ тропинки на траву; двѣ бабы покачиваются и будто ловятъ что-то руками въ воздухъ... И такъ до самой вершины горы, гдѣ начинается Воробьево. То-и дѣло останавливаются, чтобы перевести духъ.

Изъ пестрыхъ избъ съ раскрашенными стѣнами и вычурной рѣзной выходять бабы въ сарафанахъ. Приложивъ, по обычаю, руки къ груди, онѣ низко кланяются и заываютъ нараспѣвъ.

— Пожалуйте чайку откушать.

Лица тоже совсѣмъ праздничныя, лоснящіяся и распаренныя.

Прохожу къ ресторану Крышкина. Справа и слѣва улица русскою бойкой деревни, съ трактирами и чайными заведениями.

Ресторанъ, въ стилѣ терема, построенъ надъ обрывомъ. Лакей-татаринъ проводитъ меня на открытую террасу, съ длиннымъ рядомъ столовъ вдоль балюстрады. Кажется, будто она виситъ надъ пропастью. Невольно останавливаюсь, оторопѣвъ отъ неожиданности...

Вообразите себѣ безконечную равнину. Она начинается внизу обрыва, у подножія Воробьевыхъ горъ, раскинутыхъ подковою вдоль выгнутой къ нимъ дуги Москвы-рѣки, разстилается сначала плоской низменностью, потомъ располагается, холмится, неумовимо повы-

шаясь къ горизонту. И по всей этой равнинѣ, и внизу, и предъ вами, и слѣва, и справа, до самого края неба, будто врѣзываясь въ его синій куполь своими золотыми колокольнями, разворачивается величественная и чарующая панорама Москвы.

Постараясь ориентироваться. Представьте себѣ, что вы стоите на этой террасѣ спиной къ юго-западу, лицомъ къ востоку или сѣверо-востоку; представте себѣ на необозримой площади, которая стелется предъ вами, но не въ центрѣ ея, а больше такъ направо, къ югу, французское «эсъ» (S) верстѣ въ пятнадцать. Это—Москварѣка. Какъ разъ внизу «эса» расположены Воробьевы горы, и слѣдовательно—стоимъ мы; въ верхней его половинѣ, слѣва, Кремль и, значить, центръ Москвы. Немного ближе къ намъ, нѣсколько заслоняя Кремль и господствуя надъ городомъ, опять возвышается бѣлымъ въ золотой митрѣ исполиномъ царственно-величавый храмъ Спасителя; предъ его сіюющей бѣлизной громадой разиры всѣхъ другихъ зданій, огромныхъ въ отдаленности, какъ будто скрадываются.

Направо отъ насъ, далеко на горизонтѣ, выступаютъ бѣлая группа колоколенъ съ очень высокой башней; это—Симоновъ монастырь; немного ближе къ намъ—такая же бѣлая группа колоколенъ Донского монастыря, еще ближе—Андреевская богадѣльня, потомъ, вдоль праваго берега, по склону горъ, корпуса нѣсколькихъ больницъ и Мѣщанскаго училища. Лѣвѣ Симонова монастыря, на горизонтѣ, опять группа колоколенъ,—это Новоспасскій монастырь, еще лѣвѣ и дальше—Покровский монастырь, за нимъ—Андроніевъ монастырь, въ центрѣ—Кремль съ его лѣсомъ башенъ и храмъ Спасителя, опять лѣвѣ—остроконечная Сухарева башня, еще лѣвѣ, въ глубинѣ, двѣ громадныхъ кирпичныхъ башни водопровода, за ними Страстной монастырь, что на Тверской, далѣе—триумфальная арка; она у Смоленскаго вокзала, значить—въ совсѣмъ другомъ концѣ города. Внизу, подъ нами, Новодѣвичій монастырь, смѣсь готическаго съ византийскимъ стилемъ, длинный фасадъ Хамовническихъ казармъ, корпуса еще нѣсколькихъ громаднхъ зданій. Это, такъ сказать, главные пункты, которые прежде всего бросаются въ глаза при взглядѣ на Москву. Раскиньте между ними сотни другихъ монастырей, церквей, колоколенъ и башенъ, тысячи пестрыхъ каменныхъ зданій, которыя сливаются на горизонтѣ въ неясную зубчатую линію, не шадите красокъ, зелени и золота, представте себѣ надъ этой панорамой ослѣпительно сіяніе августовскаго солнца, отраженное златоглавыми колокольнями, прибавте внизу картины живописную подкову изумрудныхъ высокихъ береговъ съ синей изогнутой лентой рѣки—и вотъ вамъ Москва съ Воробьевыхъ горъ, на которыхъ восемьдесятъ два года тому назадъ любовался ея сказочнымъ видомъ Наполеонъ...

Видъ, дѣйствительно, волшебный—и мочи нѣтъ оторваться отъ него. Онъ приковываетъ не только своимъ величіемъ, не только картиной творческой мощи человѣчества, не только вѣющей отъ него атмосферой прошлаго, но и какимъ-то непонятнымъ, загадоч-

нмъ обаяніемъ, которое будить ощущение далекой и сладостной мечты дѣтства, когда жизнерадостному дѣтскому воображенію грезились великая Москва съ ея великими богатырями, въ ея яркихъ краскахъ, полныхъ фантазіи востока.

Каждый уголокъ, каждая пядь земли, впоенная русской кровью, вызываетъ картины прошлаго, бесконечную галерею историческихъ образовъ. Исторія Москвы—это исторія Россіи, это очагъ, въ которомъ зарождалась и выковывалась мощь Россіи. Для какихъ драмъ и трагедій, для какихъ величественныхъ моментовъ служила декорацией эта необозримая равнина съ ея памятниками старины, нѣмыми каменными свидѣтелями прошлаго... Если бѣ они могли говорить, если бѣ они могли рассказать это прошлое, съ его дикой враждой, междоусобіями, нашествиями враговъ, ненавистью, потоками крови и горами труповъ въ яркомъ заревѣ пожаровъ...

Надъ городомъ гудитъ праздничный благовѣстъ... И мнѣ невольно кажется, будто въ тягучемъ звонѣ колоколовъ, которыми перекиваются эти памятники старины, слышится какая-то легенда прошлаго, семивѣковая легенда этого великана...

Воображенію рисуется еще та пора, когда и равнина, и всѣ эти горы были покрыты дѣственными лѣсами, и только тамъ, гдѣ теперь возвышается Кремль, стоялъ скромный теремокъ боярина Кучки... Что, если бы онъ могъ воскреснуть и взглянуть на эту Москву съ ея дворцами, храмами, вокзалами, мостовыми, электричествомъ, съ ея шестидесятиверстной окружностью, съ ея золотомъ и блескомъ?

— Рябчика прикажете подать натурель?—отрезвляетъ меня голосъ татарина-лакея.

Обѣдаю, почти не отрываясь отъ бинокля. Татаринъ, наклонившись надо мной (опять злая иронія!), помогаетъ мнѣ ориентироваться. Однако, онъ самъ многого не знаетъ, многихъ зданій не умѣетъ называть. Приходится обращаться къ содѣйствію буфетчика, но и тотъ, оказывается, путаетъ.

Кромѣ меня, за нѣсколькими столиками обѣдаютъ компаніи гуляющихъ и туристовъ. Двѣ-три семьи москвичей, должно-быть изъ заведѣдателя, любятъ видомъ по дешевой способу, за самоваромъ. Ресторанъ дѣйствительно дорогой. Маюнезъ, консомль, рябчикъ, сладкое и кофе обходится чѣто до четырехъ рублей...

Послѣ обѣда я опять гляжу въ бинокль на дивную панораму. Хочется смотрѣть и смотрѣть безъ конца... Кажется, будто перелистываешь страницы исторіи... Вспоминается Москва XIV вѣка съ Иоанномъ Калитой, Москва Иоанна III-го, столица Московскаго государства, Москва Грознаго, Годунова, Москва въ смутное время съ его самозванцами, Москва Петра Великаго... Вспоминается эпоха итаго монгольскаго, разореніе Москвы въ XIII, XIV и XVI вѣкахъ татарами, въ XVII—поляками, пожары Москвы, горѣвшей съ XII по XVI вѣкъ двадцать шесть разъ,—Москва, ежечасная въ двѣнадцатомъ году и уничтоженная французами...

Вездѣ, на всемъ этомъ пространствѣ, подъ каждымъ храмомъ—

прахъ героевъ прошлаго... Въ Кремлѣ, въ Архангельскомъ соборѣ, усыпальница великихъ князей и царей Россіи, въ Богоявленскомъ монастырѣ погребены Голицыны, Меньшиковы, Шереметевы, Долгоруки, Скавронскіе, въ Андроніевомъ—бояре Лопухины, въ Новодѣвичьемъ—Голицыны, Салтыковы, въ Новоспасскомъ—Романъ и Никита Захарьины, патриархъ Филаретъ, въ Симоновомъ—Мстиславскіе, Бутурлины, Головины и т. д. безъ конца.

За ними выступаетъ цѣлая галерея другихъ портретовъ... Вотъ Антиохъ Кантемиръ, погребенный въ греческомъ монастырѣ, Сумароковъ, Дмитріевъ и Херасковъ, похороненные въ Донскомъ монастырѣ, Гоголь, прахъ котораго покойся вонъ тамъ, вдали, въ Даниловскомъ монастырѣ...

Гляжу внизъ, на Новодѣвичій монастырь, и въ памяти встаетъ властный образъ царицы Софьи, заключенной тамъ Петромъ Великимъ; мнѣ представляются трупы стрѣльцовъ, казнѣнныхъ у оконъ ея кельи...

Воспоминанія бѣгутъ за воспоминаніями... Давно ли отсюда, съ этой же террасы, любовались Москвой—Достоевскій, Тургеневъ, Писемскій... Проходитъ часъ, другой, а я все не могу оторваться отъ волшебной, страшной и великой сказки.

Меня слова отрезвляютъ потомокъ Батия или Мамай, потомокъ грозной Золотой Орды, бывшей когда-то бичемъ этого города... Но какъ далекъ этотъ потомокъ, высколѣнный временемъ и исторической дрессировкой, отъ своихъ кровожадныхъ предковъ! Онъ стоитъ, изогнувшись, съ тарелочкой въ рукахъ. На тарелочкѣ саца, на ослабѣвшемся калмыцкомъ лицѣ и въ узкихъ глазкахъ—приятное ожиданіе «на чаекъ»...

Я утомленъ отъ массы впечатлѣній. Ухожу неохотно къ станціи парового трамвая и занимаю мѣсто въ вагонѣ. И здѣсь все дышетъ такимъ же неблагоустройствомъ, какъ и на рѣчной пристани. Становится досадно, что москвичи не умѣютъ цѣнить и беречь этотъ живописный уголокъ съ его чарующей панорамой. Высказываю это моему сосѣду, желчному господину съ одутловатымъ лицомъ, который ѣхалъ со мной на катерѣ.

— Да-съ,—говоритъ онъ,—загадили-таки порядкомъ Воробьевы горы. Каждый день по праздникамъ собираются сюда эти милостивые государи (кивокъ на мастеровыхъ), пьянствуютъ и дебоширятъ, а потомъ и въ драку! Городская полиція сюда не выѣзжаетъ: Воробьево на деревенскомъ положеніи. На прошлой только недѣлѣ болѣе шестидесяти протоколовъ составлено здѣсь за драку и разныя безчинства. Являются сотскіе и бьютъ буяновъ, потомъ они бьютъ сотскихъ, потомъ мирятся и вспрыскиваютъ мировую... А тѣхъ, что мертвецки пьяны, складываютъ до вытрезвленія, какъ дрова, въ холодной, что на прудѣ. Наши мастера не могутъ въ праздникъ не принести домой фотографіи Воробьевыхъ горъ на своей физиономіи...

Трамвай все время идетъ по ребру горъ, надъ синей дугой рѣки. Слѣва отъ насъ опять разворачивается до самаго горизонта крас-

вица Москва, опять вырастают, убьгают, снова появляются и исчезают сотни монастырей, церквей и дворовъ...

Вечеромъ їду на имперіалъ по Лубянкѣ и Срѣтенкѣ до Сухаревой башни, высокой сидѣть которой, въ стилѣ итальянской готики, смутно выступаетъ вдали изъ фиолетовой дымки надвигающихся сумерекъ. Встроенная два вѣка тому назадъ Петромъ Великимъ въ память полководца Сухарева, оставшагося вѣрнымъ ему во время стрѣльчякаго бунта, она служила обсерваторіей для знаменитаго Брюса, а нынѣ въ ней помѣщается резервуаръ Мытищинскаго водопровода. На Сухаревской площади кишить еще толпа старьевщиковъ и антикваріевъ...

По пути все время попадаютъ пьяные, на улицахъ, на имперіалѣ, въ лавкахъ. На Театральной площади, у Иверскихъ воротъ, между думой и историческимъ музеемъ, опять они и они... Въ часъ ночи я вижу на скамейкахъ, разставленныхъ вдоль зданія думы, группы бѣдняковъ; кто сидитъ и дремлетъ, кто свернулся калачикомъ, прикурнулъ... Среди нихъ какая-то пожилая женщина въ черномъ платьѣ и шляпкѣ, совсѣмъ приличная на видъ, какой-то господиной... Только въ беззастѣнливомъ и тоскливомъ взглядѣ этихъ призраковъ горятъ читается борьба съ нуждой и стыдомъ; но голодъ все-таки беретъ свое, рука робко протягивается къ вамъ... тогда какъ лицо, освѣщенное яркимъ свѣтомъ электричества, искажается отъ муки...

Возвращаюсь въ номеръ въ полномъ изнеможеніи. Изъ трактира, что напротивъ, доносятся густые звуки органа, наигрывающаго безпрерывно то маршъ Буланже, то «Москву», то Марсельезу.

Воображаю, какимъ полнымъ сарказма смѣхомъ разразился бы Наполеонъ надъ популярностью его родной Марсельезы въ городѣ, который онъ уничтожилъ восемьдесятъ два года тому назадъ...

8-е августа.

Я торжествую. Наконецъ-то мнѣ удалось добыть путеводитель. Но какой путеводитель! Тоненькая книжечка въ шестнадцатую долю листа, 116 страничекъ, изъ которыхъ 66 заняты адреснымъ указателемъ, и только остальные 50 посвящены краткому перечню достопримѣчательностей. При путеводителѣ иллюстрированный планъ. Цѣна сорокъ копѣекъ. И за то спасибо г. Добрякову. Безъ него и этого, пожалуй, не было бы. Перестая удивляться, что евреи въ Могилевѣ не знаютъ достопримѣчательностей своего города.

До сихъ поръ не вѣрится, какъ-то не хочется вѣрить, чтобы Москва—съ ея миллионнымъ населеніемъ, съ ея великимъ прошлымъ, съ ея историческими памятниками, съ ея дворцами, музеями и электричествомъ, съ ея тысячами паломниковъ и туристовъ, съ ея университетомъ, печатью и учеными обществами—не имѣла сколько-нибудь сноснаго путеводителя. Не говорю ужъ о молодой Одессѣ, которая издала роскошный путеводитель страницъ въ семьсотъ, съ отличнымъ историческимъ очеркомъ, массой рисунковъ и планами (ц. 60 к.), не говорю о Кіевѣ, у котораго есть прекрасный путеводитель, съ великолѣпными фототипіями вилловъ и планомъ, изищ-

ный томикъ въ 300 страницъ (ц. 1 р. 25 к.),—но Севастополь—и тотъ даже имѣетъ очень милый путеводитель, съ картой Крыма, планомъ и видами города и окрестностей, съ безукоризненно выполненными фототипіями, со множествомъ полезныхъ совѣтовъ для туристовъ и т. д. (ц. 60 к.).

И это—Москва, съ ея исконнымъ патриотизмомъ, которымъ она такъ гордится. Любовь къ родинѣ только тогда и понятна, когда она зиждется на знаніи этой родины. Россія уже пережила періодъ стихійнаго, слѣплаго патриотизма; теперь ей мало его, ей нужна сознательная любовь къ родинѣ, которая сомкнула бы ея силы въ дружной культурной работѣ, въ общемъ самосознаніи.

Но это еще не все!

Ищу какого-нибудь путеводителя по Россіи—и его тоже не оказывается. Захожу въ книжные магазины Мамонтова, Суворина, Ильина, «Общественной Пользы»—и вездѣ получаю одинъ и тотъ же отвѣтъ:

— Былъ такой путеводитель, изданный Поповымъ, да вышелъ. Попытайтесь спросить у букинистовъ. Иногда у нихъ можно достать подержанный экземпляръ...

Негодую и протестую. Изъ дальнѣйшихъ разговоровъ выясняю, что не я первый спрашиваю, что почти каждый день туристы спрашиваютъ насчетъ путеводителя...

— Но почему же не выпускать второго изданія? Вѣдь это, въ самомъ дѣлѣ, не милость же какая-нибудь, разъ оно расходится.

— Да такъ какъ-то... Не собрались еще...

Не забудьте, что это все крупныя издательскія фирмы, выпускающія ежегодно десятки новыхъ изданій.

— Господа, ради Бога! на насъ Европа смотритъ!—восклищая я не безъ трагизма.

Улыбаются...

Отправляюсь на Никольскій рынокъ къ букинистамъ, перерываю два-три магазина. Наконецъ отыскивается томикъ, истрепанный и зачитанный книжка, но все-таки не то, что мнѣ нужно: Путеводитель Попова состоитъ изъ четырехъ частей: «Сѣвера», «Востока», «Юга» и «Запада». Найденная часть, какъ на зло, оказывается «Западомъ».

Такъ и ухожу ни съ чѣмъ.

Хотъ заново открывая Америку! Не безъ раздраженія думаю о московскихъ крѣзяхъ, которые однимъ взмахомъ руки выбрасываютъ сотни тысячъ рублей на филантропическія дѣла и не могутъ пожертвовать нѣсколько десятковъ тысячъ на такое патриотическое дѣло, какъ отизновѣдѣніе, какъ сознательное изученіе родины,—которые, прожигая тысячи, не позаботились о томъ, чтобы предоставить туристамъ, посѣщающимъ ихъ родной городъ, такое необходимое удобство каждаго мало-мальскаго культурнаго центра, какъ путеводитель. Не безъ негодованія думаю и о тѣхъ московскихъ интеллигентахъ, которые мерзнутъ и голодаютъ на чердакахъ въ ожиданіи казенныхъ мѣстъ и не догадываются ударить пальцемъ о

палецъ, чтобы составить и сколько-нибудь приличный путеводитель, и тѣмъ заработать кусокъ хлѣба.

А пока-что остается примириться и махнуть рукой. Такъ и дѣлаю, направляясь къ храму Спасителя.

ГЛАВА VI.

Храмъ Христа Спасителя.

Мы у храма Христа Спасителя.

Чувство, которое несвольно охватываетъ при взглядѣ на это грандіозное сооруженіе нашего вѣка и памятникъ одной изъ величайшихъ эпохъ въ жизни Россіи, какъ-то раздваивается: васъ подавляютъ и размѣры зданія, будто созданнаго не человѣкомъ, а какими-то исполинами, и сознание собственного ничтожества; но въ то же время вы испытываете и восторгъ предъ коллективной мощью человѣка, и захватывающій духовный подъемъ при мысли о тѣхъ высотахъ, на которыя возноситъ человѣка его творческая сила.

Наружности храма описывать не стану: врядъ ли кто-нибудь не видалъ снимковъ этого зданія въ простомъ древне-византийскомъ стилѣ, почти въ видѣ бѣлаго куба съ четырьмя симметричнымъ фасадами, высокими арками порталовъ и узкими окнами надъ ними, съ огромнымъ центральнымъ куполомъ въ золотой митрѣ и четырьмя колокольнями по угламъ. Пожалуй, даже слишкомъ много простоты и строгости линий, съ которыми какъ-то не мирится глазъ современника, привыкшій къ художественному размаху архитектуры девятнадцатаго вѣка. Эта строгость линий вноситъ какую-то сухость, наводя на мысль о бѣдности художественнаго замысла. Нѣкоторая непропорциональность архитектурнаго цѣлага придаетъ ему слишкомъ массивный видъ. Нѣтъ той стройности и гармоніи, которая какъ бы одухотворяетъ все зданіе, нѣтъ смѣлаго полета фантазіи и гордаго порыва къ небу... Это, конечно, мой личный взглядъ. Я вообще не поклонникъ византийскаго стиля. Онъ слишкомъ стѣсняетъ художественную фантазію; въ немъ чувствуется какая-то неуклюжесть и расплывчатость, что-то будто мѣшавшее зданію вырасти въ гармонически-цѣлое вольно, естественно и легко.

Впрочемъ, споръ о стиляхъ—у насъ слишкомъ старый и упорный споръ. Въ каждомъ лагерѣ есть свое за и противъ и свое право вкуса. Я думаю только, что творческія силы человѣческаго гения, какъ въ жизни, такъ и въ искусствѣ, никогда не должны быть вколачиваемы въ шаблоны: только тогда и жизнь, и искусство будутъ совершенствоваться, не застывая на монотонномъ прототипѣ, а улучшая его формы въ вольномъ полетѣ творчества и фантазіи. Я остановился на этомъ вопросѣ потому, что у насъ попытка возсоздать свой стиль съ примѣсомъ византийскаго виробота какой-то общій шаблонный типъ архитектуры, который, стѣсняя художника,

парализуя фантазію, сдерживаетъ его въ узкихъ рамкахъ, подавляетъ его индивидуальность, его творческую силу. На тысячи верстъ безпредѣльной земли русской вы видите, если это не оригинальная старина, какъ бы повтореніе одной и той же архитектурной темы, съ очень незначительными варьями. Приѣзжаете вы въ Тифлисъ—смотрите на строящійся храмъ, и вамъ кажется, что вы гдѣ-то уже видали его; вспоминаете, и дѣйствительно въ Пятигорскѣ есть такой же, но поменьше; въ Севастополѣ и Ялтѣ то же, въ какой-нибудь Жмеринкѣ или Кіевѣ—опять то же. Потѣжайте по стариннымъ почтовымъ трактамъ, и вамъ уже со второй станціи начнетъ приѣдаться архитектурный шаблонъ; однообразіе вокзаловъ на желѣзныхъ дорогахъ томить васъ; воображеніе ваше, вмѣсто того, чтобы черпать новую пищу, постепенно притуляется отъ этого шаблона, который будто насильно арѣзывается въ память. Художественный вкусъ человѣка совершенствуется только тогда, если художественная тема жизни разнообразится, если въ ней есть безпрерывная новизна формъ.

Современное русское искусство должно, прежде всего, отражать ростъ Россіи и русской души, ея обновленіе и порывъ къ новымъ формамъ, поворотъ къ новой жизни; оно должно быть смѣло, полно художественной силы, могучаго размаха и жизнерадостности; оно не должно стѣсняться рамками старины: Россія живетъ не только въ прошломъ, но и въ будущемъ; ея задачи—не только продолжать историческое прошлое, но внести обновленіе и въ будущую жизнь человѣчества, не стѣсняясь своей культурной молодостью и своей бѣдной, въ отношеніи искусства, стариной.

Я этимъ отнюдь не хочу умалить значенія храма Спасителя, какъ художественнаго памятника національнаго искусства. Напротивъ, онъ именно этой-то своей стороной и захватываетъ васъ прежде всего. Для меня, по крайней мѣрѣ, онъ всегда будетъ чуднымъ и величественнымъ жертвенникомъ, на которомъ русская душа, озаренная божественной силой искусства, проявила *впервые* такую ширь и мощь въ своемъ стремленіи къ Богу, вѣчной красотѣ и правдѣ. Вамъ какъ будто кажется, что эта душа еще не могла совсемъ отрѣшиться отъ земли и своей прошлой жизни, суровой и точно скованной стариной, но она уже вольно порывается къ небу...

Въ храмѣ Спасителя все грандіозно, все—по масштабу гиганта. Высота его—сорокъ восемь съ половиною саженъ. Это—почти десятая часть версты. Площадь, которую онъ занимаетъ въ основаніи, составляетъ 1500 квадратныхъ саженъ, т.-е. безъ малаго двѣ трети десятины, на которыхъ можно разбить садъ съ тѣнистыми аллеями и даже небольшимъ прудомъ. Пространство внутренности храма—876 квадратныхъ саженъ, алтаря—четыреста аршинъ. Въ храмѣ свободно помѣщаются семь тысячъ человѣкъ, т.-е. нѣсколько полковъ или цѣлый уѣздный городъ. Высота шестидесяти оконъ—отъ двухъ съ половиною саженъ до четырехъ, двѣнадцати дверей—до семи саженъ. Бронзовыя рамы въ каждомъ окнѣ вѣсятъ отъ 150 до 250 пудовъ, во всѣхъ, значить,—свыше одиннадцати тысячъ

пуд. бронзы. Обошлись онѣ 547.232 рубля. Бронзовыя литыя двери всѣхъ: четыре большихъ по 750 пудовъ, восемь меньшихъ—по 500 пудовъ; значитъ, двѣнадцать дверей—семь тысячъ пудовъ. Каждая такая дверь могла бы прикрыть добрую роту солдатъ. Только на одну позолоту всѣхъ главъ употреблено двадцать шесть пудовъ золота. Вдоль крыши, между малыми куполами, устроена бронзовая золоченая рѣшетка, которая стоитъ сто девяносто четыре тысячи рублей. Колокола всѣхъ четыре тысячи пудовъ и обошлись восемьдесятъ тысячъ рублей. На устройство набережной, сквера, террасы затрачено одинъ миллионъ триста восемнадцать тысячъ рублей. Я нарочно пишу эти суммы прописью, чтобы вы не заподозрили опечатки. Одинъ тротуаръ изъ красноватаго финляндскаго гранита, окружающій все зданіе, стоитъ семьдесятъ тысячъ рублей. Заложень храмъ въ 1839 году, освященъ въ 1883 году. Значитъ, сооружали его сорокъ четыре года, безъ малаго полѣвка, т. е. такой промежутокъ времени, за который другія зданія успѣваютъ выстроиться, состариться и разрушиться.

Надъ арками входныхъ дверей и вдоль всего зданія на той же семи-восьми-саженной высотѣ высѣчены горельефы, и если смотрѣть на храмъ издали, они, пропорционально его величинѣ, кажутся гнѣздами-ласточекъ. Даже вблизи они не поражаютъ васъ своими размѣрами и, при невооруженномъ глазѣ, фигуры въ нихъ кажутся не болѣе обыкновеннаго человѣческаго роста. Я только тогда сообразилъ, каковъ ихъ дѣйствительный размѣръ, когда посмотрѣлъ въ бинокль, а затѣмъ, когда при мнѣ подняли въ корзинѣ штукатура, который чистилъ горельефы щеткой и бѣлилъ ихъ: его фигура составляла не болѣе третьей части фигуръ горельефовъ, и онъ казался какимъ-то пигмеемъ сравнительно съ ними.

Горельефы эти сначала не привлекаютъ вашего вниманія. Чувствуется маленький художественный промахъ строителя, который не сумѣлъ создать для нихъ эффектнаго положенія. Такія выпуклыя скульптурныя вещи несравненно выиграли бы, если бы онѣ не были вдавлены въ плоскую стѣну. Ихъ слѣдовало выдвинуть изъ фасада и дать имъ какой-нибудь фонъ и пьедесталъ. Вы долго не можете рѣшиться, горельефы это или барельефы,—до того такое неудачное положеніе скрадываетъ ихъ выпуклость и портитъ эффектъ.

Межъ тѣмъ, они представляютъ дивное скульптурное произведеніе, могучее по экспрессіи и реализму, по жизненности и необыкновенно удачно схваченному моменту положеній; послѣднее будто одухотворяетъ и мраморъ, и самую картину, и, кажется, каждую черточку фигуръ.

Вы не чувствуете здѣсь того романтизма, полета къ идеалу, той граціи, воздушности формъ и красоты линий, какія поражаютъ васъ въ скульптурныхъ произведеніяхъ Кановы или нѣкоторыхъ работахъ Торвальдсена. Если вы бывали въ Эрмитажѣ и помните энергичную, полную жизни и напряженія фигуру Каина въ группѣ Дюпрэ «Убитый Авель», Грознаго или Мефистофеля Антокольскаго, бронзовыя группы Клодта на Аничковомъ мосту, фигуру Воль-

тера работы Гудона или памятникъ Петру Великому Фальконета,—вы легко можете представить себѣ и горельефы храма Спасителя, въ которыхъ каждая фигура дышетъ такой же силой выраженія, высѣчена такимъ же могучимъ и реальнымъ рѣзцомъ.

Помѣщенные слишкомъ высоко, они много теряютъ. Можетъ быть, именно поэтому они обращали на себя до сихъ поръ такъ мало вниманія. Я, по крайней мѣрѣ, только тогда получилъ полное впечатлѣніе и могъ разглядѣть детальную чистоту работы, когда смотрѣлъ въ бинокль на этотъ художественный шедевръ. Въ одной группѣ—преподобный Сергій благословляетъ Дмитрія Донскаго на брань съ татарами, въ другой—Дионисій благословляетъ князя Пожарскаго и Минина на освобожденіе Москвы отъ поляковъ, въ третьей—Давидъ передаетъ Соломону чертежи храма, въ четвертой—помазаніе Соломона на царство и т. д. Сюжеты и библейскаго, и историческаго содержанія, множество фигуръ. Это, однако, не помѣшало художникамъ въ каждой скульптурной картинѣ выдержать, при полномъ ансамблѣ и жизненности, строго національный и историческій колоритъ, тему цѣлаго и отдѣльныхъ фигуръ.

Всѣ сорокъ восемь горельефовъ, изъ протопоповскаго мрамора, исполнены скульпторами: Рамазановымъ, Логановскимъ и барономъ Клодтомъ и обошлись семьсотъ тринадцать тысячъ рублей.

Вокругъ всего храма—двойная стѣна, наружная и внутренняя. Разстояніе между ними—шесть аршинъ. Это пространство образуетъ высокій корридоръ вдоль всего храма. Въ корридорѣ въ стѣны вдѣлано 177 огромныхъ мраморныхъ плитъ, на которыхъ высѣчены золотыми буквами манифесты, описаніе сраженій, имена убитыхъ и раненыхъ въ каждомъ сраженіи офицеровъ, имена героевъ, георгиевскихъ кавалеровъ, почти вся исторія двѣнадцатаго года, грандіозная мраморная лѣтопись въ сто семьдесятъ семь двухсажженныхъ мраморныхъ страницъ, пантеонъ борцовъ отечественной войны.

Войдемте въ храмъ.

Съ перваго же шага васъ охватываетъ въ окружающемъ полусвѣтѣ инстинктивное сознаніе величія и великолѣпія. Колонны изъ яшмы, колонны изъ лабрадора, стѣны, облитованныя порфиромъ и разными породами мрамора (облицовка стоитъ одинъ миллионъ четыреста тысячъ), причудливые узоры мозаики изъ порфира, лабрадора и итальянскаго мрамора на полу, золоченые орнаменты, золоченая рѣшетка на хорахъ, величественныя колонны, поддерживающія главный куполъ, съ перекинутыми между ними арками, бѣломраморный иконостасъ (89 тысячъ рублей) съ развернутымъ надъ нимъ золотымъ шатромъ, царскія врата изъ вызолоченной бронзы (30 тысячъ рублей), громадные люстры—все это сразу поражаетъ и грандіозностью, и богатствомъ, и роскошью, и блескомъ.

Глаза невольно разбѣгаются. Тутъ—бросается большая золоченая люстра, вѣсомъ почти въ 230 пудовъ (стоитъ 22 тысячи р.), и двѣ люстры поменьше (26 тысячъ рублей); тамъ изъ-подъ арки выступаетъ чудный орнаментъ, здѣсь привлекаетъ вниманіе священная картина въ шпигль... Аничковъ мостъ, въ Эрмитажѣ и вѣнскомъ

Проводникъ начинаетъ сухимъ, заученнымъ тономъ перечислять «достопримѣчательности». Съ выбритымъ лицомъ, въ сѣрой ливрѣ съ галунами, онъ напоминаетъ стараго чиновника, который всю жизнь проявлялся въ канцелярской атмосферѣ. Видно, что все это ему порядкомъ надоѣло, и онъ о томъ только и думаетъ, какъ бы поскорѣе отдѣлаться отъ васъ да получить на чай. Отъ него довольно сильно разитъ виномъ.

— Пойдите, дайте поглядѣться, говорю я, испытывая какое-то ошеломляющее ощущение.

На хорахъ и внизу, въ двухъ боковыхъ придѣлахъ, слышенъ легкій шорохъ шаговъ по мрамору, который подхватываетъ резонансъ высокихъ сводовъ. Доносятся голоса публики и объясненія проводниковъ.

Я стою подъ главнымъ куполомъ. Высоко надо мной, въ глубинѣ его свода, выдѣляется изъ фона облаковъ и роя херувимовъ сѣловласный образъ Саваоа, благословляющаго вселенную. Отъ вершины купола до мраморнаго пола, на которомъ я стою,—тридцать три сажени, фигура Саваоа имѣетъ семь сажень длины. А отсюда, снизу, размѣры ея не превышаютъ словесческаго роста.

— Господинъ профессоръ Марковъ исполнили,—поясняетъ проводникъ,—за сто тысячъ рублей.

И идея, и художественный замыселъ, и выполнение, и техническая трудность, которая пришлось преодолѣть художнику, поражаютъ.

Не успѣваешь притти въ себя отъ этого впечатлѣнія, какъ на смѣну бѣгутъ новыя и новыя. Осматриваю поясъ главнаго купола съ образами ветхозавѣтной и новозавѣтной церкви и четыре свода малыхъ куполовъ съ живописью академика Кошелева (и та, и другая работа исполнены имъ за 143 тысячи рублей), четыре огромныхъ картины на парусахъ—Преображеніе, Воскресеніе, Вознесеніе и Сшествіе Св. Духа,—работы профессоровъ Бруни и Сорокина (111 тысячъ рублей), образъ «Нерукотвореннаго Спаса» въ правомъ клирѣ, работы его же, наконецъ—четыре ниши съ картинами кисти профессора Верещагина. Изъ нихъ въ особенности чаруютъ художественнымъ исполненіемъ: Поклоненіе пастырей Новорожденному Младенцу въ Вифлѣмѣ и Поклоненіе волхвовъ. Образъ Матери Божіей—идеально хорошъ.

Художникъ, измѣнивъ своему строгому реализму, достигъ здѣсь почти рафаэлевской чистоты формъ. Чѣмъ-то возвышеннымъ, дѣйствительно-непорочнымъ и неземнымъ вѣетъ отъ его Богоматери; фигура Ея будто дышетъ какимъ-то сліяніемъ земли и неба.

Такъ же хороши и картины его въ главномъ алтарѣ—Рождество Христово, Моленіе о чашѣ, Се человекъ, Несеніе креста, Распятіе Господа, Снятіе со креста и Положеніе во гробъ. (Всѣ эти шедевры обошлись свыше 70.000 рублей).

Тамъ же—огромное полотнище кисти профессора Семирадскаго, его знаменитая Тайная Вечера, замѣчательная по колоритности, жизненности и типичности фигуръ картина.

Въ придѣлѣ Александра Невскаго—опять чудная картина Семирадскаго: Крещеніе Господне, Александръ Невскій въ Ордѣ, Послы папы предъ Александромъ, Преставленіе и Погребеніе Александра Невскаго.

Въ придѣлѣ Николая Чудотворца живопись Маковского, профессора Шамшина, Прянишникова, Сурикова...

И такъ во всемъ храмѣ.

То и дѣло раздаются имена Верещагина, Семирадскаго, Маркова, Бронникова, Кошелева, Сѣлова, опять Семирадскаго, Журавлева, Корзухина и опять Верещагина.

Какая-то безконечная перекличка изо дня въ день, изъ часа въ часъ извѣстныхъ художниковъ русской школы.

На лицахъ у публики—и удивленіе, и благоговѣніе, но болѣе всего изумленіе предъ этимъ великолѣпіемъ. А лиричные проводники, которымъ пріѣхала и публика, и съ восторженно-удивленнымъ аханьемъ, то нетерпѣливо переминаются съ ноги на ногу въ ожиданіи, то торопливо бѣгутъ впередъ.

Какъ обыкновенно бываетъ въ такихъ случаяхъ—эта масса шедевровъ и драгоцѣнностей сливается въ какое-то скомканное впечатлѣніе, въ которомъ нѣтъ мочи разобратся.

Ясно чувствуешь одно: силу красоты, мощь искусства и великолѣпіе. Все это и вызываетъ восторгъ, и подавлять.

Всхожу по лѣстницѣ на хоры, гляжу оттуда внизъ; кажется, будто смотришь съ третьяго или четвертаго этажа. И здѣсь, какъ и тамъ, та же роскошь орнаментовъ, тотъ же мраморъ стѣнъ, золоченая бронзовая балюстрада (до 80 тысячъ рублей) съ тремястами бронзовыхъ вызолоченныхъ подсвѣчниковъ и канделябрами. Говорятъ—храмъ имѣетъ волшебный видъ при электрическомъ освѣщеніи.

Отсюда фигура Саваоа уже кажется много крупнѣе, уже понимаешь ея размѣры—и тѣмъ болѣе удивляешься и трудности работы, и тому мастерству, съ которымъ художникъ сумѣлъ соразмѣрить пропорціональность цѣлаго и рассчитать вѣрность зрительнаго впечатлѣнія при такомъ разстояніи.

Проходитъ часть, другой. Мой проводникъ становится все болѣе скучнымъ. У меня начинаетъ побаливать шея; въ глазахъ—не то песокъ, не то черные кружки бѣгаютъ. Но все не хочется уходить.

И въ хорныхъ корридорахъ, и въ нижнихъ корридорахъ, и въ малыхъ хорныхъ аркахъ, кромѣ трехъ громадныхъ люстръ, о которыхъ я говорилъ раньше, развѣшено еще тридцать двѣ люстры и 78 бра (90 тысячъ рублей). Такимъ образомъ, для освѣщенія внутреннихъ храма, кромѣ алтаря, требуется до трехъ тысячъ свѣчей.

Серебряная утварь храма, работы Хлѣбникова и Овчинникова, стоитъ свыше 51 тысячь рублей, облаченія для священнослужителей храма—пятьдесятъ тысячъ рублей...

Обхожу корридоръ, окружающій храмъ, между двухъ высокихъ стѣнъ, въ которыя вѣданы мраморныя лѣтосицы войнъ двѣнадцатаго года.

На одной доскѣ читаю манифестъ 6 июля 1812 года. «Непріятель воевать съ великими силами въ предѣлы Россіи. Онъ идетъ разорять любезное наше отечество»...

«Да обратится погибелъ, въ которую мнитъ онъ свергнуть насъ, на главу его, и освобожденная отъ рабства Европа да возвеличитъ имя Россіи».

На другой:

«Народъ русский! Храброе потомство храбрыхъ славянъ! Ты неоднократно сокрушалъ зубы устремлявшихся на тебя львовъ и тигровъ; соединитесь всѣ! Со крестомъ въ сердцахъ и съ оружіемъ въ рукахъ никакія силы человѣческія васъ не одолѣютъ».

На третій (стѣна 27-я):

«Нельзя быть не тронутымъ до слезъ, видя духъ, оживляющій всѣхъ, усердіе и готовность каждаго содѣйствовать общей пользѣ»... Далѣе начинается описаніе бородинской битвы...

Матеріальныя жертвы, принесенныя Россіей въ отечественную войну, также занесены на скрижали исторіи (стѣна 28-я). Св. синодъ далъ полтора милліона, духовенство—свыше двухъ милліоновъ, дворянство, кромѣ выставленнаго имъ ополченія, на содержаніе котораго оно израсходовало болѣе пятисотъ милліоновъ, пожертвовало до сорока двухъ милліоновъ, купечество, мѣщане и крестьяне—свыше десяти милліоновъ, наконецъ, стоимость имущества, уничтоженнаго въ виду непріятеля, достигала семисотъ милліоновъ... Воображенію рисуются сотни тысячъ загубленныхъ жизней, всѣ бѣдствія, которыя влечетъ за собой война, потоки крови и слезъ, обида и горе безъ конца, вопль человѣческаго страданія... жизнь десятковъ милліоновъ, вдругъ измѣтая, раздавленная, перевороченная по безумной прихоти Наполеона...

Да, двѣнадцатый годъ былъ годиной великаго испытанія, но и великаго подъема русской души. Такая эпоха только и могла быть увѣковѣчена какимъ-нибудь грандіознымъ памятникомъ. И храмъ Христа Спасителя,—дѣйствительно пантеонъ героевъ двѣнадцатаго года, и по своимъ величественнымъ размѣрамъ, и по своему великолѣпію, и по творчеству русскаго гения, проявившемуся въ немъ, и, наконецъ, по цѣнности: обошелся онъ Россіи *пятнадцать милліоновъ рублѣй*.

Выхожу съ легкимъ ознобомъ отъ сильнаго нервнаго возбужденія, еще разъ люблю горельефы и, наконецъ, иду въ скверъ, разстилающийся зеленымъ ковромъ на террасѣ предъ храмомъ. Отсюда открывается опять восхитительный видъ на Москву. Справа, вдали, слава выступая изъ-за церкви, зеленѣютъ Воробьевы горы, предо мной Москва-рѣка съ Замоскворѣчьемъ, слѣва — Румянцевскій музей съ высокимъ фонаремъ бельведера и Кремль съ его стѣной, башнями, золотымъ куполомъ дворца и золотыми колокольнями, за мной — храмъ Спасителя. И снова не хочется оторваться отъ этой панорамы, полной жизнерадостной пестроты и прихотливыхъ сочетаній красокъ...

Вечеромъ отправляюсь гулять по залитой огнями Тверской, до-

хожу до Страстного бульвара. У памятника Пушкина мнѣ вспоминается торжество его открытія. Кажется, будто недавно было, а сколькихъ изъ тѣхъ нѣтъ, которые участвовали тогда въ этомъ торжествѣ... Тургеневъ, Писемскій, Достоевскій, Катковъ, Гончаровъ, Гайдесбуровъ, Кавелинъ, еще нѣсколько, цѣлый поминальный списокъ русской литературы...

Дохожу до Садовой. Выходитъ луна. Мнѣ является фантазія полюбоваться храмомъ Спасителя при лунномъ освѣщеніи. Гляжу на часы. Десять. Рѣшаю пройти пѣшкомъ. Пытаюсь вспомнить планъ. Бульвары обгибаютъ Москву кольцомъ. Разсчитываю наугадъ, что по дугѣ ихъ я выберусь къ храму Спасителя. Иду. Поворачиваю на Малую Бронную, минуя Патриаршій прудъ, Никитскій бульваръ... Двѣнадцатый часъ. Начинаю смущаться: думаю, не туда попалъ. Бульвары пустынные; все какіе-то захолустные, глухіе уголки. Хоту кликнуть извозчика; но въ это время впереди сверкаетъ золотой куполъ. Гляжу на часы—начало первого, значитъ, верстъ десять отмахалъ. Это—московскіе концы.

Предо мной—весь залитый луннымъ сіяньемъ бѣлый храмъ Спасителя. Вокругъ изъ голубого сумрака выступаютъ силуэты Кремля со сверкающими верхушками, десятки другихъ куполовъ и церквей въ неясныхъ, едва уловимыхъ очертаніяхъ. И всѣ они какъ будто глядятъ на бѣлаго богатыря, охраняя его.

Величаво-спокойный, онъ сіяетъ, окруженный золотымъ ореоломъ.

Мнѣ снова вспоминаются и тѣ, въ память которыхъ воздвигнутъ онъ, и тѣ, кто его задумалъ, и тѣ, кто строилъ,—вспоминаются образы трехъ императоровъ: первый далъ обѣтъ создать его, другой основалъ его, третій продолжалъ строить; но ни одному не было суждено дожить до окончанія этого памятника; мнѣ представляются два-три снѣгающихся поколѣнія тысячъ мастеровыхъ и художниковъ, которые сооружали храмъ; многие изъ нихъ тоже не дожили до его окончанія. И тѣ, кто задумалъ его, и тѣ, кто строилъ, вѣроятно, не разъ сомнѣвались, дождутся ли они этого дня. Но все-таки они дѣлали свое дѣло, не задумываясь, для себя ли, или для тѣхъ, кого, можетъ быть, еще нѣтъ на свѣтѣ, дѣлаютъ они его. И храмъ все строился и росъ...

Эта мысль какъ-то невольно наталкиваетъ на сравненія... И мнѣ кажется, будто общимъ трудомъ человѣчества воздвигается тоже какой-то величественный храмъ, въ созданіе котораго сотни поколѣній влагаютъ свою жизнь и душу, создавая, что не дожидаясь его окончанія, но стремясь продолжать этотъ трудъ для другихъ и живя впередъ тѣмъ наслажденіемъ, которое доставитъ другимъ ихъ дѣло.

Въ этой работѣ для другихъ, въ этой жизни для невѣдомаго будущаго есть какой-то неизсякаемый источникъ вѣры въ жизнь...

ГЛАВА VII.

Третьяковская галерея.

9-е августа.

Опять съѣзжаю по Неглинному спуску мимо Кремля къ Болотной площади, на которой въ 1725 году былъ казненъ Пугачевъ, и сворачиваю въ Лаврушинскій переулокъ, гдѣ Третьяковская галерея.

Кремль гордо выситя надъ Замоскворѣчьемъ, словно старинная барская усадьба надъ деревней. Снова меня охватываетъ атмосфера и затише губернскаго города средней руки. Не вѣрится какъ-то, что вблизи, за высокимъ холмомъ Кремля, центръ Москвы и европейской жизни.

Мимо тянутся торговые склады, подворья, казенные дома, все небольшихъ размѣровъ особняки шаблонной архитектуры,—и такъ по всей низменной площади Замоскворѣчья, которое огибаетъ полковой Москва, подползая подъ крутой берегъ Кремля.

Я въ резиденціи московскаго купечества. Это сразу можно угадать. Вѣетъ простотой, практичностью и, если хотите, какой-то коsnостью жизни. Въ раскрытые окна выглядываетъ темная старинная обстановка, съ кіотами и лампадами по угламъ. Такъ и ждешь, что откуда-нибудь покажется запылившее лицо московской купчихи, которая, позбывая отъ скуки, непременно перекреститъ ротъ...

Извозчикъ останавливается у воротъ.

Во дворѣ—небольшой желтоватый двухъ-этажный домъ, похожій на загородную дачу или виллу. Ничего лишняго, вычурнаго, плоскій ренессансъ немного на итальянскій манеръ. Уже одно сознание, что этотъ храмъ искусства помѣщается въ самой прозаической части Москвы, среди разныхъ складовъ и подворій, настраиваетъ васъ немного на скептическій ладъ. Вамъ представляется купецъ-фантасеръ, бывшій городской голова, меценатствовавшій скуки ради, а можетъ-быть для того, чтобы свою «амбицію» показать,—и въ пельвольно спрашиваете себя, какую коллекцію картинъ могъ составить человѣкъ, вкусъ котораго развивался на этой грубо-буржуазной почвѣ, въ этой атмосферѣ унаслѣдованной практичности, чуждой искусству и поэзій,—атмосферѣ, вырабатывавшей вѣками узкій, черствый складъ трезвой купеческой натуры...

Тѣмъ сильнѣе то впечатлѣніе, которое производитъ на васъ Третьяковская галерея. Вамъ становится и неловко, и совѣстно, что вы могли такъ подуматъ о человѣкѣ, который, помимо самой широкой русской любви къ родному искусству, проявилъ и рѣдкій талантъ знатока-коллекціонера въ выборѣ сокровищъ родной живописи. И тогда образъ этого человѣка становится вамъ дорогимъ и милымъ въ особенности потому, что онъ выросъ именно здѣсь, именно въ этой прозаической обстановкѣ, и какъ бы наперекоръ ей вырвался изъ ея власти въ порывѣ къ прекрасному какимъ-то знаменіемъ народненія новой личности, новой души въ этой грубой и чуждой идеала средѣ. Заслуга Третьякова предъ русскимъ искусствомъ очень велика: безъ него не было бы у насъ этой един-

ственной огромной коллекціи русской живописи въ ея лучшихъ представителяхъ,—коллекціи, ставшей теперь общественнымъ достояніемъ. Это сокровище, стоимостью въ нѣсколько милліоновъ, Третьяковъ пожертвовалъ родному городу.

Много ли у насъ такихъ людей?

Кто не бывалъ въ этой галереѣ, тотъ врядъ ли имѣетъ полное понятіе о ея размѣрахъ. Картины расположены въ обоихъ этажахъ, въ двадцати двухъ комнатахъ, которыя тянутся анфиладой вдоль четырехъ внутреннихъ стѣнъ. Всѣхъ картинъ, написанныхъ масляными красками, 1286, кромѣ того—84 картины иностранныхъ художниковъ да 470 акварелей, сепій и рисунковъ, нѣсколько скульптурныхъ произведеній. Всего, значитъ, до тысячи девятисотъ произведеній, созданныхъ 370 художниками. Это уже не просто любительская коллекція, это дѣйствительно художественная галерея, которая имѣетъ мировое значеніе. Попробуйте представить себѣ картину постепеннаго приобрѣтенія, скопленія и классификаціи этихъ тысячи девятисотъ номеровъ, представьте себѣ, что трудъ этотъ продолжался десятки лѣтъ, что каждая художественная вещь была облюбована, что на приобрѣтеніе ея не щадили средствъ, лишь бы имѣть экземпляры лучшихъ мастеровъ,—и образъ человѣка, создававшего этотъ храмъ искусства, выступитъ предъ вами въ еще болѣе симпатичныхъ чертахъ. Если храмъ Спасителя—величественный жертвенникъ, въ созданіи котораго русская душа проявила впервые свою творческую мощь, то и Третьяковская галерея—не менѣе величественный храмъ русскаго искусства, который всегда будетъ памятникомъ и народненія новой личности въ русской жизни, и жреца, создававшего его.—

Въ передней приобрѣтаю каталогъ. Брошюра большого формата, около ста страницъ. Сбѣить гривенникъ. На обложкѣ напечатано: «Описъ художественныхъ произведеній городской галереи Павла и Сергія Третьяковыхъ». Разворачиваю каталогъ, въ надеждѣ найти хоть маленькое предисловіе, хоть краткое объясненіе, какъ возникла эта галерея, кто — Павелъ и Сергій Третьяковы, кто изъ нихъ собственно основалъ галерею, какъ разрослось это сокровище, на какихъ условіяхъ оно пожертвовано городу—и не нахожу ничего. Такъ и до сихъ поръ я не выяснилъ этихъ вопросовъ. Если каталогъ изданъ владѣтелями галереи, то этотъ пропускъ является излишней и досадной скромностью; если его издалъ городъ, то это непростительный промахъ и обидная не деликатность въ отношеніи людей, принесшихъ ему въ даръ неоцѣнимое сокровище,—людей, личность которыхъ стала, какъ и ихъ дѣло, общественнымъ достояніемъ, представляя общественный интересъ. Такое дѣло, такіе примѣры грѣшно замалчивать: они имѣютъ воспитательное значеніе для общества.

Публики не особенно много, но и не мало; есть и простой людъ, «чужиковъ», въ смазныхъ сапогахъ съ душкомъ и въ грязноватыхъ блузахъ; посѣтители этого типа ходятъ съ трогательной, почти благоговѣйной осторожностью, но все-таки постукиваютъ подковами

по паркету. На лицах—и изумление, и умиление, а иногда как будто и испуг, особенно пред верещагинскими и рѣпинскими саженными холстами. Такъ и читаешь дѣтскую наивность и впервые проснувшийся въ этихъ душахъ восторгъ предъ силой и значеніемъ искусства. Перешептываются, но совѣмъ тихо, какъ въ церкви, хотя съ губъ такъ, кажется, и готово сорваться какое-нибудь крѣпкое слово, въ которомъ неизбежно долженъ вылиться крайній восторгъ простого русскаго человѣка.

Помѣщеніе для такой обширной коллекціи тѣсно. Есть комнаты, въ которыхъ всего пять-шесть картинъ: такъ велики ихъ размѣры. Освѣщеніе мѣстами совѣмъ плохо; многіе шедевры теряются.

Описывать подробно картины, распространяться о живописи и русской школѣ не стану: пришлось бы написать цѣлый томъ—и все-таки вы не получили бы полного впечатлѣнія. Это надо видать. Скажу лишь, что только побывавъ въ Третьяковской галлерей, можно понять и значеніе русской живописи, и ея мощь, и ея великое будущее. Вы не выносите отсюда того впечатлѣнія, какое, напримѣръ, производятъ на насъ Эрмитажъ съ его классическими коллекціями, съ его Рафаэлями, Корреджіо, Тицианами, Веронезами, Мурильо, Гвидо Рени, Рубенсами, Рембрандтами, Ванъ-Диками, съ его тосканскими, ломбардскими, флорентійскими, римскими, фламандскими и голландскими школами, съ его атмосферой историческаго храма, гдѣ на каждомъ почти холстѣ начертана вѣковая борьба человѣческаго духа въ его порывахъ къ идеалу и прекрасному, гдѣ въ созданіяхъ человѣческаго гения можно прослѣдить всю исторію искусства, ростъ художественной силы человѣка и его исканіе вѣчной красоты и правды, со всѣми переходами отъ мечтательнаго романтизма къ яркому реализму. Напротивъ, тутъ вы точно попали въ новый храмъ, гдѣ какъ будто пахиваетъ еще свѣжей краской, гдѣ все ясно, просто, вѣдетъ молодостью, гдѣ не видать старинныхъ образовъ, которымъ молились десятки поколѣній, хотя образа эти не отвергнуты здѣсь, а лишь отражены въ новыхъ формахъ, которыя не маскируютъ правды жизни, а изображаютъ открыто, сливая ее и прекрасное въ гармоничное цѣлое. Вы чувствуете еще, что окружающій васъ міръ искусства созданъ своеобразно, подъ влияніемъ совѣмъ особаго міросозерцанія, отношенія къ жизни и какой-то правдивости сильной патуры, чувствуете что-то, напоминающее вамъ русскую литературу съ ея Толстымъ, Достоевскимъ и Тургеневымъ.

Въ этой массѣ художниковъ васъ сразу и неотразимо захватываютъ своимъ огромнымъ талантомъ нѣсколько человѣкъ. Они господствуютъ здѣсь, ихъ картины какъ бы подавляютъ, скрываютъ сотни другихъ, очень недурныхъ въ отдѣльности, подобранныхъ со вкусомъ, но блѣднѣющихъ предъ этими шедеврами. Верещагинъ, Рѣпинъ, Маковский, Брюлловъ, Ге, Полѣновъ, Ивановъ, Айвазовскій, Крамской, Кунинджи, Шишкинъ, Волковъ, Боголюбовъ, Перовъ—и десятки другихъ громкихъ именъ русскихъ художниковъ переполняютъ каталогъ. Но особенно ярко, даже изъ нихъ, выделяются

Верещагинъ, Рѣпинъ и Маковский. Здѣсь собраны почти всѣ выдающіяся произведенія этихъ мастеровъ.

Картинами одного Верещагина занято пять комнатъ. И какія это картины! Въ нихъ все мощно, колоритно, полно экспрессіи и той жизненности, которая олухотворяетъ полотно, создавая полную иллюзію. Кажется, дальше некуда идти. При этомъ въ большинствѣ его картинъ васъ захватываетъ и самый сюжетъ, то полный драматизма или лиризма, то эпическій. Вы какъ будто видите предъ собой то, что читали когда-то въ «Войнѣ и Мирѣ», угадываете ту же тему, тѣ же мысли.

Техника и *plein air* у Верещагина, какъ и у Рѣпина, изумительны. Это не детальная, изящная мелкая техника дивныхъ жанровыхъ миниатюръ Маковского, гдѣ, кажется, нѣтъ точки, въ которой не сквозила бы тщательная отдѣлка художника,—здѣсь два-три штриха, два-три взмаха кисти—и полотно стало жизнью. Но каждый такой штрихъ какъ будто улавливаетъ именно ту идеальную линію дѣйствительности, въ которой сама жизненная правда. Это мастерство—тайна гения, та тайна, то волшебство, которое создаетъ его власть надъ простыми смертными и заставляетъ ихъ поклоняться ему. Это волшебство—и въ вѣрности глаза, и въ умѣніи схватить моментъ, положеніе и типичную черточку, и въ какой-то таинственной силѣ кисти, которая будто впитываетъ въ себя и лучи, и воздухъ, и кровь, и взглядъ, а потомъ наноситъ все это на холстъ, придавая ему дыханіе жизни...

Взгляните хоть бы на огромную картину—«У дверей мечети». Двѣ фигуры—туркмена и туркменки—во весь ростъ. Онъ стоитъ, она сидитъ у дверей. Мѣхъ на его шапкѣ, синеватая въ цвѣткахъ ткань халата, сапоги, рѣзба на дверяхъ, штукатурка, деревянный кувшинъ, желтоватое калмыцкаго типа лицо, кожа, тѣнь отъ обихихъ фигуръ, падающая на каменные плиты,—все это до того реально, что если всматриваться долго—вамъ кажется, будто обѣ фигуры дышатъ и чуть движутся.

Другая картина—«Апофеозъ войны».—Это почти *nature morte*, если не считать воронъ у пирамиды череповъ. Картина тенденціозна, изъ менѣе удачныхъ въ художественномъ отношеніи. Но ея идея захватываетъ и потрясаетъ васъ больше любого трактата противъ войны. Это выжженное пустынное поле съ истоптанными желтыми нивами и разбросанными по немъ костями, горка человѣческихъ череповъ,—черепъ героевъ, которые еще недавно металси на этомъ полѣ въ дикой схваткѣ, полные жизни и молодой силы,—невольно и приковываютъ, и ужасаютъ. Въ костяной улыбокѣ стиснутыхъ зубовъ и въ глазныхъ впадинахъ читается какой-то жестокой сарказмъ и надъ славой, и надъ побѣдой, купленной такой ужасной цѣной. На сколько размыслений наводитъ эта картина!.. Какъ хорошо было бы, если бы всѣ, кто пишетъ воинственные передовицы и входитъ въ воинственный азартъ,—имѣли бы предъ собой копію этого «апофеоза».

Слѣдующая картина, «Побѣжденные», съ такимъ же сюжетомъ.

Большое полотно, фонъ—тоже истоптанная нива; изъ соломенных стеблей выглядывают обнаженные трупы. Священникъ въ черной ризѣ читаетъ отходную, унтер-офицеръ, въ роли походного дьячка, стоитъ за нимъ, стараясь держаться попрямѣй и помолодцеватѣй. Должно быть, «для куражу» онъ выпилъ. Это замѣтно по его красноватому носу, это можно было бы угадать, если бы было слышно, какъ онъ фальшивитъ, подгибая «Господи, помилуй». Вокругъ—ни души; степь и степь безъ конца, степь и трупы, трупы враговъ въ общей свалкѣ, трупы «побѣжденныххъ»... Да, побѣжденные не тѣ, кто убѣлѣлъ, кто избѣжалъ смерти, а тѣ, кто остался здѣсь и изъ лагеря побѣдителей, и изъ лагеря побѣжденных... Какая ужасная правда и какъ разработана она. Комичная фигура дьячка въ этой драматической обстановкѣ—совсѣмъ шекспировскій трипихъ, тотъ рѣжущій диссонансъ жизни, отъ котораго правда ея становится еще понятнѣй и еще ужаснѣй.

Дальше—«Представляють трофеи». Опять такой же мрачный сюжетъ. Обстановка востока, мавританскія воздушныя арки съ ажурной рѣзбой, роскошные ковры,—подъ арками сидятъ нѣсколько шейковъ, предъ ними стоятъ побѣдители, тоже въ калатахъ и чалмахъ. У ногъ ихъ—трофеи, пирамидка непріятельскихъ головъ.

Дальше—«У крѣпостной стѣны». Группа солдатъ въ напряженномъ ожиданіи атаки. «Пусть войдутъ». Положеніе каждой фигуры полно этого ожиданія и готовности ринуться на врага; вась невольно охватываютъ тѣ же ощущенія ожиданія...

Дальше—«Двери Тамерлана», за ней—«Самаркандскій Зинданъ»—тюрьма, въ которую осужденнаго спускаютъ на веревкѣ чрезъ небольшое отверстіе. Тема ужъ совсѣмъ другая, но та же дивная техника, удивительно схватывающая свѣтовой эффектъ. Посрединѣ этой могилы, спиной къ зрителю, стоитъ осужденный и молится. Сверху, сквозь отверстіе, прорываются лунные лучи, озаряя блѣлую фигуру молящагося. Жизнь, свѣтъ, движеніе, дыханіе...

А вотъ и огромная, чуть не во всю стѣну, картина «Передъ атакой». Фигуры почти въ натуральную величину. Фонъ—стогъ сѣна. Справа, спиной къ вамъ, растянулось въ засадѣ нѣсколько десятковъ солдатъ. Зеленоватое, запыленное сукно мундировъ, кепи, съѣхавшіе на стриженные затылки, ранцы, сапоги, шинели калачиками; кой-кто, утомившись походомъ, задремалъ. Слѣва—штабъ. Старый генералъ, полдѣ—молодой адъютантъ, докладывающій что-то, еще нѣсколько штабныхъ. Нѣкоторые глядятъ вдали, защищая рукой глаза; генералъ, кажется, смотритъ въ трубу. Внизу, у ногъ ихъ, лежитъ молодой офицеръ, тоже спиной къ вамъ; чуть приподнявъ голову, онъ прислушивается къ разговору. Его фигура и группа солдатъ—изумительно реальны. Они такъ и выступаютъ изъ картины. Я гляжу,—гляжу и вблизи, потомъ отхожу и люблюсь въ бинокль. Опять какое-то совсѣмъ невольное ожиданіе движенія, опять отъ полотна вѣетъ дыханіемъ жизни. Иллюзія особенно сильна, если смотрѣть въ бинокль... Мочи нѣтъ оторваться, не вѣрится, не хочется вѣрить, что предъ вами только полотно и краски. Вотъ—

вотъ раздается команда, вотъ-вотъ всѣ они вспрыгнутъ и ринутся въ бой...

Слѣдующая картина—«Подъ Плевной», съ группой главнаго штаба, за ней—«Послѣ атаки» и такъ далѣе... До двухсотъ эскизовъ и этюдовъ, до сорока большихъ картинъ. Въ нѣкоторыхъ есть что-то, напоминающее батальную живопись Невилля, его детальную, тонкую кисть, но нѣтъ дѣланности, пытающейся смягчить и скрасить рѣзкія формы. Верещанинъ—вездѣ Верещанинъ, вездѣ самобытный и гениальный художникъ, который прибѣгаетъ къ эффекту развѣ для того, чтобы ярче выставить правду, но никогда не жертвуетъ правдой эффекту.

Перейдемъ къ Маковскому, этому тонкому и остроумному наблюдателю жизни, въ кисти котораго сквозитъ малорусскій добродушный юморъ Гоголя. Здѣсь до сорока его картинъ. Все небольшая полотно—квадратный аршинъ, а то и меньше. Но въ маленькихъ, двухвершковыхъ фигуркахъ—предъ вами разворачивается безконечная портретная галлерея типовъ, выхваченныхъ живьемъ изъ будничной, сѣренькой русской жизни. Драмы почти нѣтъ, большихъ героевъ—тоже; сюжеты все реальны, не громкіе: ходатай по дѣламъ, посѣщеніе бѣдныхъ, дѣловой визитъ, дѣловая бесѣда, выговоръ, секретъ, въ передней, объясненіе. Но для того, чтобы при такой прозаической темѣ придать картинамъ интересъ и выдержать тонъ, не вдавшись въ шаржъ и карикатуру, надо обладать страшно крупнымъ талантомъ, и главное—талантомъ не только художника, но и тонкаго наблюдателя-психолога, который умѣетъ схватить наиболѣе яркій моментъ психическаго настроенія героя и его положенія, сразу отражающій цѣлаго человѣка, во всей его типичности. Въ этомъ отношеніи Маковский неподражаемъ. Зритель по взгляду, по выраженію, по жесту каждой фигуры угадываетъ не только, что она говоритъ, но и весь ея внутренній міръ. Всмотритесь въ этого чиновничка въ вишь-мундирѣ, который, нюхая табакъ, прислушивается къ докладу писца—и вы сейчасъ же скажете, что рѣчь идетъ о какомъ-нибудь сомнительномъ дѣлѣ, о какой-нибудь взяткѣ, что этимъ мелкимъ людишкамъ очень хочется пожить, и они обсуждаютъ только, какъ бы устроить поосторожнѣе привычное дѣло. Посмотрите на эту даму—благотворительницу, зашедшую къ бѣднякамъ, на ея либрейнаго лакея, стояаго въ дверяхъ, на фигуры бѣдняковъ, которые и смущены, и обрадованы... Посмотрите на эту маленькую по размѣрамъ и огромную по сюжету картину «Крахъ банка», гдѣ для каждой изъ двадцати фигурокъ создано особенное положеніе—и однако каждая изъ нихъ одинаково типична, одинаково выдержана и совсѣмъ живая... Взгляните на разборъ семейнаго дѣла у мирового судьи,—на супружескую, на переглядывающуюся и разглядывающую семейнымъ скандальникомъ публику, на судью... Предъ вами сцена, цѣлое дѣйствіе изъ комедіи, гдѣ каждый актеръ однимъ выраженіемъ, однимъ жестомъ выдаетъ вамъ всего себя, рассказываетъ всю свою жизнь... Весь жанръ Маковского—такая же безконечная комедія жизни, перенесенная на полотно властью огромнаго таланта.

А вот и Рёпинъ...

Здѣсь тоже свыше сорока его картинъ и этюдовъ, нѣсколько портретовъ.

Передъ «Иваномъ Грознымъ и сыномъ его Иваномъ», почти постоянно толпится публика. Есть всегда во всѣхъ ужасныхъ драмахъ что-то приковывающее къ себѣ человѣка, пробуждающее въ немъ чувство жуткаго любопытства и страха предъ тайной смерти... На картинѣ схваченъ именно этотъ моментъ перехода человѣка къ небытію, когда жизнь еще не совсѣмъ ушла, но тѣло уже замираетъ. Моментъ, схваченъ настолько реально, что нервы не выдерживаютъ. Вы испытываете и ужасъ, и холодъ, какой охватываетъ васъ на краю бездны; вамъ и страшно, и мучительно, но что-то будо приковываетъ васъ, заставляя все глядѣть въ пропасть.

Историческій колоритъ не выдержанъ; передъ вами не эпоха XVI вѣка, а современная. Фонъ—темный кабинетъ въ восточномъ вкусѣ; на полу, на коврѣ, уже пропитанномъ кровью, лежитъ, въ пестромъ шлафроукѣ, молодой умирающій царевичъ; надъ нимъ, въ черномъ халатѣ, стоитъ на коленяхъ Грозный. Онъ нагнулся, придерживая его лѣвой рукой. Липо его и руки въ крови; широко раскрытые, налившіеся кровью холодные сѣрые глаза полны ужаса, видъ взъерошенный, продолговатое лицо, съ сѣдыми волосами и жидкой бородой, дышетъ и какимъ-то горячимъ безуміемъ, и какъ будто страхомъ предъ самимъ собой. Царевичъ умираетъ; онъ чуть съежился, какъ бы приникъ къ отцу, убившему его, и еще пытается ухватиться за него ледяною рукой, будто для того, чтобъ удержаться надъ бездною, въ которую его уноситъ. На блѣдно-желтомъ лицѣ и въ стекловидныхъ глазахъ—и жалость, и вспрошеніе; тѣло застываетъ въ покоѣ небытія... Ему уже все равно...

Страшная картина, мучительная картина и вмѣстѣ съ тѣмъ великая картина... Какая-то жестокая страница изъ «Карамзовщины» или «Преступленія и Наказанія», какой-то ужасный кошмаръ. Вы чувствуете, словно васъ придавила огромная глыба, но вмѣстѣ съ тѣмъ сознаете, что кто разъ увидѣлъ эту картину, постоялъ надъ этой бездною, тотъ, какъ бы онъ ни былъ кровожаденъ и жестокъ, увидѣтъ отсюда другимъ. Есть въ этомъ контрастѣ живого старика и умирающаго юноши, убитаго имъ, какая-то страшная могучая правда о жизни, о безуміи вражды и ненависти передъ неизбежною властью смерти...

Далье. Изъ темной кельи выступаетъ блѣлая энергичная фигура царевны Софьи. Вся властная, необузданная натура этой женщины вылилась въ ея взглядѣ, полномъ ужаса, ненависти и проклятія. А въ окна, небольшія рѣшетчатая окна, видны повѣшенные стрѣльцы...

Напротивъ—«Не ждали».

Слиной къ зрителю, привставъ и протянувъ руки, вся въ черномъ стоитъ женщина. Изъ передней только-что вошелъ въ комнату человѣкъ въ коричневомъ полушубкѣ, съ желтымъ, изможден-

нымъ лицомъ. Это ссыльный, мужъ или сынъ. Говорятъ, будто онъ списанъ съ Достоевскаго. Очень отдаленное сходство есть, если представить себѣ Достоевскаго лѣтъ въ тридцать пять—сорокъ. Техника картины чудная: лицо привставшаго гимназистика, лицо дѣвочки, сидящей у рояля, блескъ палисандроваго дерева, обои, фигуры двухъ горничныхъ, стоящихъ у дверей и недоумѣвающихъ, зачѣмъ явился сюда этотъ человѣкъ,—все необыкновенно жизненно и поражаетъ тонкостью техники. Но десять лѣтъ тому назадъ эта картина произвела на меня на передвижной выставкѣ болѣе сильное впечатлѣніе. Она была тогда помѣщена какъ разъ противъ входа, въ углу, въ глубинѣ зала, въ черной драпировкѣ; и, помню, фигуры были тогда до того рельефны, что совершенно выступали изъ рамы; въ картинѣ было столько воздуха, что она сливалась съ комнатою, была какъ бы продолженіемъ ея. При первомъ взглядѣ я даже не разобралъ, что это картина; фигуры ея были такіе же живые, какъ и фигуры публики, стоявшей у нея; мнѣ показалось, будто что-то случилось, и женщина въ черномъ падаетъ въ обморокъ...

Доискиваясь причины—и нахожу ее: во-первыхъ—картина плохо освѣщена, во-вторыхъ—она вылиняла... Грустный фактъ—но фактъ; въ немъ—цѣлая драма и для творца ея, и для искусства. Современная живопись, доведя до изумительнаго совершенства технику, не создала прочныхъ красокъ, не знаетъ секрета, который вѣками сохранилъ свѣжесть итальянскихъ фресокъ, яркій колоритъ итальянскихъ мастеровъ... Картины линяютъ, выцвѣтаютъ. Такой шедевръ, какъ «Не ждали», на половину потерялъ свою жизненность! Plein air, воздухъ, которымъ была полна картина, исчезъ; и это понятно: его создавали свѣжіе тона красокъ, увлеченныхъ въ томъ именно тонкомъ сочетаніи, которое вызывало иллюзію воздуха; свѣжесть красокъ улетучилась, а съ ней и воздухъ...

Далье—чудный портретъ баронессы Искуль, «Глинка»—въ періодъ сочиненія «Руслана», еще нѣсколько портретовъ... А вотъ и эскизы знаменитыхъ «Запорожцевъ». Кошовой Иванъ Дмитриевичъ Сѣрко съ чубатыми товарищами, навалившимися на него, сочиняетъ полный насмѣшекъ отвѣтъ на высокопарно-грознаго грамоту султана Магомета. Сколько юмору, сколько жизни, удалы и здоровья, задорнаго смѣха, который невольно дѣйствуетъ заразительно и на васъ...

Полдѣ небольшая картина «Герой минувшей войны». Солдатикъ въ кепи, поношенной казенной пинелиишкѣ и съ узелкомъ въ рукѣ—возвращается на родину. Сколько теплоты и лиризма въ этой картинкѣ. На кроткомъ лицѣ—и ожиданіе свиданія, и воспоминаніе ужаснаго прошлаго, и какъ бы недоумѣніе, зачѣмъ оно пронеслось въ его простой и безобидной жизни...

Я долго стою предъ картиной Ге—«Что есть истина? Какой большой и вмѣстѣ своеобразный талантъ. Художникъ очень субъективный, онъ отражаетъ жизнь сквозь призму своего міросозерцанія и нервной, болѣзненной чувствительности Достоевскаго. На

вечернем фонѣ—фигура Христа, стоящаго предъ Пилатомъ. Лучи заката еще играютъ на плечѣ Пилата, но Христосъ — въ сумеречной тѣни; и тѣмъ загадочнѣе и обаятельнѣе выглядитъ Онъ. Художникъ какъ будто задался цѣлью изобразить Его не такимъ, какимъ Онъ рисуется намъ, а такимъ, какимъ Онъ долженъ былъ казаться тогда Пилату, влившему въ Немъ безумнаго мечтателя, порывающагося любовью пересоздать міръ. Фигура Спасителя имѣетъ жалкій и страдальческій видъ: волосы на головѣ и борода въ беспорядкѣ, изможденное лицо словно утомлено бессонными ночами; въ немъ читается безпокойная мысль челоѣка, поглощеннаго упорной идеей. Свѣтлые съ зеленоватымъ фосфорическимъ блескомъ глаза полны какой-то особенной силы выраженія, вѣры въ Свои идеи и какъ будто даже усмѣшки и горькаго сознанія, что Его не понимаютъ, не могутъ понять...

Впечатлѣніе получается сильное, но раздвоенное: вы чувствуете и безконечную жалость и состраданіе, и въ то же время неудовлетворенность, словно бы идеальнѣе вамъ не выраженъ такъ, какъ онъ рисуется вамъ.

Картины другого очень большого таланта—Крамского—занимаютъ здѣсь тоже цѣлую комнату. Портреты, въ которыхъ талантливей кистью художника увѣковѣчены образы русскихъ писателей, скульпторовъ и живописцевъ. Въ картинѣ «Неутѣшное горе» чудная фигура женщины въ траурномъ платьѣ, стоящей подлѣ угла гроба, навсегда врѣзывается въ вашу память. Ея заплаканные глаза, устремленные въ пространство съ безысходной скорбью, навѣваютъ такую же безграничную грусть и на васъ. Цѣлая печальная элегія...

Хороша, проникнута тепломъ и симпатичнымъ свѣтомъ картина Пастернака «Чтеніе письма съ родины», трогательная сценка, выхваченная живьемъ изъ солдатской жизни. Одинъ солдатъ лежитъ на койкѣ и покуриваетъ, иронически поглядывая на товарища, который съ благоговѣніемъ и растроганнымъ видомъ слушаетъ чтеніе письма изъ дому. Другой сидитъ на краю койки и читаетъ, тоже чуть усмѣхаясь. Должно быть, будущая «подруга жизни» посылаетъ свой поклонъ «милому дружку» — и онъ нѣсколько сконфузень, что тайну его узнали товарищи.

Вотъ чудная картина Коровина «На міру», написанная совсѣмъ рѣшительной кистью, вотъ «Гимнъ пивагорейцевъ восходящему солнцу», Бронникова, съ фигурами, напоминающими. Иисуса Христа и апостоловъ, вотъ прелестный жанръ Корзухина «Въ монастырской гостиницѣ», «Рыболовъ» и «Птицеловы»—Перова, «Самосожженіе» Мясоедова, прелестныя акварели Ѳедотова, «Заключенный»—Ярошенко, оригинальныя въ мрачныхъ и суровыхъ штрихахъ картины Сурикова—«Утро стрѣлцкой казни», «Меньшиковъ въ Березовѣ» и «Боярыня Морозова» — огромное полотно во всю стѣну, съ фигурами во весь ростъ. Далѣе—ландшафтная живопись, пейзажи Киселева, Клевера, Мещерскаго, Волкова, Шишкина, Куинджи, Лебедева, морскіе виды лучшихъ маринистовъ—Айвазовскаго и Судковскаго. И такъ безъ конца.

Я утомленъ. Въ глазахъ рябитъ. Хаосъ впечатлѣній подавляетъ... Но въ этомъ хаосѣ ясно сказывается сознаніе особенной жизненности и здоровой правды русской живописи. Сравнивая Рѣпина, Маковского, Верещагина и другихъ болѣе крупныхъ мастеровъ, вы чувствуете, будто предъ вами разворачивается безконечная панорама жизни, гдѣ каждая тема будитъ въ васъ не только ощущеніе прекраснаго, но и цѣлый рой мыслей и нравственныхъ чувствъ... Эта содержательность нашей живописи придаетъ ей особенное значеніе, сближая задачи искусства съ жизнью. Вы выносите бодрое впечатлѣніе, сознавая, что предъ вами не вырождающіеся въ погонѣ за новыми формами символисты и натуралисты съ господствомъ «ле пу», а свѣжія, здоровыя, отзывчивыя натуры художниковъ, девизъ которыхъ—«прекрасное въ правдѣ».

Звонятъ. Три часа. Пора уходить. Мнѣ кажется, будто я разстаюсь съ какимъ-то міромъ живыхъ призраковъ, будто они по почтамъ выходятъ изъ своихъ рамъ и пестрымъ хороводомъ несутся по длиннымъ анфиладамъ комнатъ,—будто я уношу съ собою частицу этого призрачнаго міра, который властью творческой силы художника запечатлѣлся во мнѣ навсегда...

ГЛАВА VIII.

Зоологическій садъ.—Царь-колоколъ и Царь-пушка.—Видъ на Москву съ колокольни Ивана Великаго.—Московскія бани.—Историческій музей.—Оружейная палата.—Кремлевскіе дворца и соборы.—Церковь Василія Блаженнаго.

9-е августа.

Отправляюсь въ Зоологическій садъ. По пути навожу справку въ Румянцевскомъ музеѣ, когда онъ открытъ. Узнаю, въ лѣтнее время, съ половины іюня до половины августа, т.е. именно тогда, когда въ Москвѣ наплывъ туристовъ, музей закрывается. Это отбиваетъ у меня охоту попытаться проникнуть и въ двѣ любительскихъ картинныхъ галлерей—Боткина и Солдатенкова; въ первой—интересная коллекція современныхъ иностранныхъ художниковъ, во второй—русскихъ художниковъ. Обѣ доступны только по рекомендаціи. Хотя «рекомендація» у меня имѣется, однако «процедура съ паспортомъ» какъ-то отбиваетъ охоту. Есть еще постоянная выставка картинъ любителей художествъ, но туда я не рѣшаюсь заглянуть, чтобы не портить впечатлѣній Третьяковской галлерей.

Въ Зоологическомъ саду перелетистаго Брѣма въ натурѣ; масса павильоновъ со всякимъ звѣрьемъ съ разныхъ концовъ земного шара. Судьба распорядилась здѣсь съ животными такъ же капризно, какъ она распоряжается иной разъ съ людьми, помѣщая ихъ въ несправное соѣзство.

Живописные павильоны раскинуты на зеленомъ газонѣ, вдоль извилистыхъ дорогъ и у берега пруда. Рѣвъ, пискъ, ржаніе, птичьи

пѣсни—цѣлый концертъ звѣринца. Обязательно—слоны, которыхъ публика угощаетъ французскими булками, и обезьяны, очень похожія на публику. Есть что-то напоминающее человѣческое общество, съ той только разницей, что здѣсь—всѣ злые находятся за рѣшеткой, а всѣ кроткіе и добрые прогуливаются безнаказанно на свободѣ, иной разъ подъ самымъ носомъ у злыхъ, словно бы подзаборная ихъ. У злыхъ во взглядахъ сверкаютъ плотоядный огонекъ; они облизываются, мечтая о томъ дѣлѣ, когда имъ удастся вырваться изъ неволи и полакомиться на просторѣ этой «глухой породы».

Публика, должно быть, очень надоѣла животнымъ. Огромный старый левъ, который сидитъ на заднихъ лапахъ, растопыривъ переднія, и поглядываетъ со скукой на двухъ дамъ, вдругъ поворачивается къ нимъ спиной и ложится, вздохнувъ. «Охъ, ужъ и надоѣли вы мнѣ», такъ, кажется, и говоритъ этотъ вздохъ. Зато обезьяны такъ же неутомимы, какъ и человѣкъ. Онѣ визжатъ, мечутся, дерутся и нѣжничаютъ, копируя цѣлыя страницы изъ порнографическихъ романовъ.

При мнѣ складываютъ огромный остовъ мамонта. На травѣ лежатъ рядомъ тридцать шесть позвонковъ, размѣромъ съ колесо паровоза, только безъ обода. Десять человѣкъ рабочіихъ, подъ наблюдениемъ какого-то господина, поднимаютъ черепъ чудовища на канатѣ. Черепъ—съ добрую лодку. Работники надсаживаются, столбы дрожатъ. «Раазъ», дружно покрываютъ десять человѣкъ, напрягая мускулы; черепъ чуть поднимается. Тутъ же лежатъ бивни, похожіе на оглобли, только вдвое толще. Пожалуй, такая машина своей ногой могла бы такъ же легко расцѣпить голову слона, какъ этотъ слонъ—головы осужденныхъ на казнь въ Индіи...

Послѣ обѣда прохожу чрезъ Иверскія ворота на Красную площадь. Слѣва—величественное, чрезвычайно красивое зданіе новыхъ торговыхъ рядовъ, справа—кремлевская стѣна съ башнями, въ глубинѣ девятикупольный, кирпичный цвѣтъ, Василий Блаженный съ его оригинально-фантастичнымъ стилемъ и девятью причудливо-замысловатыми макушками ящеричнаго цвѣта, то луковичей, то ананасовъ, то раковины, то рѣпой; ближе ко мнѣ—памятникъ Минину и Пожарскому, правѣе—лобное мѣсто, совсѣмъ похожее на какой-то круглый бассейнъ, только съ высокими боками. Историческія воспоминанія бѣгутъ своимъ чередомъ. Здѣсь никакъ нельзя отъ нихъ отдѣлаться. Прошлое выглядываетъ изъ-за каждаго камня, изъ каждаго угла, постоянно переплетаясь съ дѣйствительностью.

Чрезъ Никольскія ворота прохожу въ Кремль, минуя арсеналъ, вдоль фасада котораго разставлены 875 орудій, отбитыхъ у Наполеона, и останавливаясь у казармъ предъ Царь-пушкой. Совсѣмъ паровозъ, только безъ трубы и подлиннѣе (семь съ половиною аршинъ); снарядъ вѣситъ сто двадцать пудовъ и имѣетъ до двадцати вершковъ въ диаметръ; вѣсъ всего чудовища—двѣ тысячи четыреста пудовъ. Еще лучше Царь-колоколъ: восемь съ половиною саженъ въ окружности, двѣ съ половиною—высоты да двѣнадцать тысячъ двѣсти тридцать семь пудовъ вѣсу. Считаю, что въ среднемъ чело-

вѣкъ вѣситъ четыре пуда съ небольшимъ, представляю себѣ гигантскіе вѣсы; на одну чашу помѣщаю Царь-колоколъ, на другую—три тысячи человѣкъ, три кавалерійскіе полка. Недурно! Обломокъ колокола, который лежитъ здѣсь же на пьедесталѣ, съ аршинъ толщиной. Мнѣ вспоминается «Notre Dame de Paris». Пытаюсь представить себѣ, какъ должны были бы звонить въ эту громадину—и воображенію рисуются нѣсколько десятковъ глухихъ Квазимодъ, раскачивающихся вмѣстѣ съ громаднымъ языкомъ подъ могучіе, грозные звуки, которыхъ они не слышатъ, содрогаясь только отъ ихъ колебаній. (Влитый при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ колоколъ въ 8000 пудовъ, погибшій во время пожара и въ послѣдствіи перелитый въ Царь-колоколъ, былъ такъ великъ, что языкъ его должны были раскачивать свыше трехъ десятковъ звонарей).

Исторія Царя-колокола очень характерна *). Задумавъ въ началѣ своего царствованія возсоздать колоколъ, разбившійся при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, императрица Анна Іоанновна поручила Миниху прінска въ Парижѣ мастеровъ. Предположено было отлить колоколъ въ 9.000 пудовъ. Какой-то французскій академикъ, къ которому обратился Минихъ, принявъ за шутку это предложеніе,—до того ему казалось невозможнымъ осуществить его. И вдругъ простой русскій мужикъ, «артиллеріи колокольныхъ дѣлъ мастеръ», Иванъ Маторинъ, вызывается выполнить это дѣло. Мало того, вмѣсто колокола въ девять тысячъ, онъ беретъ вылить колоколъ въ 14.000 пудовъ. Изъ Петербурга были выписаны русскіе рѣзчики, и въ январѣ 1733 года на площади въ Кремлѣ закипѣла работа при участіи ста человѣкъ. Устроили литейныя печи, выѣхали гигантскаго колокольнаго болвана изъ глины, выкопали огромную литейную яму для него, выстроили надъ ней сарай; но только въ ноябрѣ 1734 года приступили къ литью. Что долженъ былъ испытывать смѣлѣйшаго-самоучка въ эту рѣшительную минуту? Двѣсти человѣкъ полицейскихъ окружили площадь съ четырьмя трубами на случай пожара. Послѣ молельни были затоплены четыре плавильныхъ печи. Четыре дня плавили мѣдь. Варугъ въ двухъ печахъ образовалась тесть и мѣдь потекла, еще черезъ день и изъ другихъ двухъ печей мѣдь прорвалась. Кромѣ старыхъ колоколовъ, прибавили свыше четырехъ тысячъ пудовъ мѣди въ полущкахъ; но и это не помогло. Случилось новое несчастье: высокая деревянная машина, построенная надъ кожухомъ (формой), загорѣлась; вспыхнулъ пожаръ—и едва удалось спасти отъ него литейныя амбары.

Иванъ Маторинъ, спустя нѣсколько мѣсяцевъ, умеръ; но его дѣло вызвалось окончить сынъ его, Михайло, и въ ноябрѣ 1835 года снова приступили къ литью колокола. На этотъ разъ были приняты мѣры къ предупрежденію всякихъ случайностей; вмѣсто 200 было употреблено 400 полицейскихъ съ пожарными трубами,

*) Свѣдѣнія эти черпаю изъ статьи г. Викторова въ альманахѣ «Царь-колоколъ».

и 25 ноября Царь-колокол благополучно родился. Идея Ивана Маторина была осуществлена его сыном, по моделям и чертежам отца.

Гиганта, однако, не извлекли из формы, а в 1737 году «отъ копечной свѣчи» начался пожаръ съ дома боярина Милославскаго и разлился по всей Москвѣ. Опасаясь, что Царь-колоколъ расплавится, его стали заливать водой. Предполагаютъ, что именно въ это время, вслѣдствіе рѣзкаго перехода отъ раскаленности къ охлажденію, и откололся кусокъ его.

Сто лѣтъ колоколъ пролежалъ въ землѣ — и только при Императорѣ Николаѣ I его извлекли съ большимъ трудомъ. Первая попытка была неудачна: лѣса и канаты не выдержали тяжести. Ее возобновили спустя три мѣсяца, при громадномъ стеченіи народа, и съ большимъ трудомъ помѣстили гиганта на гранитный пьедесталъ, гдѣ онъ и по сей день находится. Царь-колоколъ до сихъ поръ не издалъ ни одного звука.

Судьба захотѣла, чтобы этого богатыря, созданнаго простымъ русскимъ человѣкомъ, извлекъ изъ земли одинъ изъ современниковъ «великой арміи» французовъ, архитекторъ Монферранъ.

Вхожу въ колокольню. Темнота. Въ какой-то каморкѣ, будто въ подземельѣ, слышны голоса. Зову проводника. Откуда-то изъ-подъ земли вырастаетъ громадный дѣтина съ лохматой головой. Въ раскрытыя двери несетъ сыростью и еще чѣмъ-то нестерпимо душливымъ.

— Вамъ проводника? — раздается зычный басъ, напоминающій голосъ провинціального трагика на другой день послѣ бенефиса. — Да, говорю. — Сейчасъ.

На мгновеніе онъ проваливается куда-то, потомъ появляется и протягиваетъ мнѣ кружку. Отъ него нестерпимо несетъ водкой.

— Пожалуйте на братю, — говоритъ онъ рѣшительно.

— На какую братю?

Кружка не опечатана и не запѣта.

— На общество звонарей, — поясняетъ онъ. Поглядываю подозрительно на члена общества звонарей. Рожа страшная, глаза косые, взглядъ какой-то фальшивый. Того и гляди — придушитъ гдѣ-нибудь въ темномъ углу да потомъ спуститъ внизъ тормашками.

— Сколько-жъ вамъ полагается? — спрашиваю.

— Что милость ваша.

Дано полтинникъ.

— Можеть быть, лучше, говорю, навтра утромъ притти?...

— Помилуйте, теперь самая пора. Утромъ туманъ, а теперь ясно. — Какой часъ будетъ?

— Семь, отвѣчаю, не вынимая, однако, часовъ.

— Самая пора! пожалуйте!

Нечего дѣлать, лѣзу. Проводникъ питается, старается сдѣлаться потоньше, чтобы пропустить меня; но мнѣ какъ-то жутко, пока онъ позадн, и я настаиваю, чтобы онъ шелъ впередъ.

Подозрѣніе мое растетъ: вмѣсто того, чтобы подниматься, мы начинаемъ опускаться.

— Стойте, да вы куда это меня ведете? Вдѣл это мы внизъ, а я на колокольню хочу...

— Я сначала проведу вашу милость на филаретовскую пристройку, — гудитъ гдѣ-то внизу подо мной зычный, точно колоколъ, басъ.

— Да никакой мнѣ филаретовой пристройки не надо. Вы меня, говорю, ведите прямо наверхъ, вотъ и все.

— Наверхъ и веду, только сначала надо внизъ.

Недоумѣваю и не вѣрю. Темно; ступаю нерѣшительно, соображая, что ежели онъ бросится на меня, единственное спасенье — хватить его биноклемъ въ високъ.

— Здѣсь осторожнѣе, чтобы не упасть.

Протягиваетъ предупредительно руку.

— Не надо, я самъ.

Наконецъ начинаемъ подниматься. Узкій проходъ, узкая ломаная каменная лѣстница, кажется — двумя не разойтись. Ступеньки совсѣмъ истерты и вышлифованы, точно пога св. Петра въ Римѣ. Сколько сотенъ тысячъ людей прошло по нимъ за три вѣка существованія этой колокольни, построенной Годуновымъ!...

— Всего здѣсь, — гудитъ голосъ проводника, — тридцать три колокола. Это первый ярусъ. Тутъ все небольшіе колокола, до 450 пудовъ...

Лѣзу дальше. Второй ярусъ.

— Успенскій колоколъ. Вѣситъ четыре тысячи пудовъ. Звонятъ восемнадцать разъ въ годъ. Въ языкѣ его сто двадцать пудовъ. Воскресный — двѣ тысячи восемьсотъ пудовъ, поліелейный — двѣ тысячи пудовъ, всеневный — тысячу семнадцать пудовъ... Пожалуйте дальше. Третій ярусъ.

То и дѣло останавливаюся, чтобы перевести духъ. Тридцать восемь съ половиною сажень высоты! Наконецъ я наверху. Дуеть вѣтеръ — и я невольно держусь за каменные перила, окружающія колокольню. Кажется, будто она пошатывается. Видъ дѣйствительно восхитительный. Москва — съ птичьего полета — какая-то анатомія гиганта. Вся она, какъ на ладони. Насколько глазъ хватитъ, сѣрая чешуя мостовыхъ съ дворцами и золотомъ куполовъ. Солнце уплываетъ за дальній горизонтъ; отъ зарева заката на гигантскій городъ падаетъ розоватый отблескъ, отраженный пестрыми крышами, перками и безконечными рядами оконъ. Теперь я уясню себѣ планъ Москвы. Я какъ разъ въ центрѣ. Отъ Кремля расползаются радіусами во всѣ стороны длинныя ленты улицъ; ихъ пересѣкаетъ сѣтъ другихъ улицъ, расположенныхъ концентрическими кругами. Совсѣмъ какъ будто правильно сотканная паутина, въ каждой клѣткѣ которой высятся стройными рядами дома. Конка тоже расходится лучами отъ Кремля и огибааетъ нѣсколькими концентрическими кольцами городъ. Рѣка, извиваясь голубой змѣей, исчезаетъ однимъ концомъ у Симонова монастыря, другимъ — у Воробьевыхъ горъ.

Кремль — центръ всего, Кремль — такое же сердце Москвы, какъ и Москва сердце Россіи. Онъ подо мной, весь сверкающій, пестрый,

улыбающийся. Его дворцы и церкви громоздятся въ треугольнике: Большой, Малый, теремной, потышный дворецъ, оружейная палата, арсеналъ, судебная мѣста, казармы, Успенскій соборъ, Архангельскій, Благовѣщенскій, Дѣвѣнадцати Апостоловъ, Спаса-на-бору, Чудовъ и Вознесенскій монастыри... Сѣдыя зубчатая стѣны окруженностью въ двѣ версты огибають его съ трехъ сторонъ; на нихъ горделиво возвышаются восемнадцатъ башенъ, будто восемнадцатъ стройныхъ воиновъ на часахъ. Смѣсь стилей готическаго и византийскаго, что-то фантастичное, изящное, причудливое, оригинальное, чуждое шаблона, манящее пестротой, жизнерадостное, вызывающее въ воображеніи какія-то сказочныя мечты. За Красной площадью съ живописными куполами Василия Блаженнаго и бѣлымъ со стекляннѣйшей крышей дворцомъ торговыхъ рядовъ, на сѣверо-востокъ—опять группы колоколенъ... Казанскій соборъ, Заиконоспасскій, Греческій, Знаменскій и Богоявленскій монастыри, нѣсколько церквей.

На Варваркѣ, небольшой улицѣ, я еле могу разглядѣть въ биннокъ домъ бояръ Романовыхъ. Раньше какъ-то я проходилъ мимо него; это—коричневаго цвѣта теремокъ, съ маленькими, узенькими рѣшетчатыми окошечками и гербомъ на флюгерѣ и у воротъ. Нѣкогда онъ принадлежалъ боярину Никитѣ Романовичу.

Все это вмѣстѣ со множествомъ другихъ зданій, тѣснящихся одно надъ другимъ, также окаямлено съ трехъ сторонъ стѣной, которая своими концами примыкаетъ къ треугольнику Кремля. Стѣна тоже съ башнями, восемью воротами и называется Китайскою. Это и есть Китай-городъ. Здѣсь на небольшой сравнительно площади скучены торговые ряды, конторы, банки и биржи, здѣсь—денежный и коммерческій центръ города. Кремль и Китай-городъ составляютъ ядро, которое съ одной стороны огибають полумѣсяцемъ Бѣлый-городъ съ бульварами, съ другой—Замоскворѣчье; за Бѣлымъ-городомъ разворачивается полукругомъ Земляной-городъ; за нимъ на десятки верстъ тянется почти сплошное кольцо бульваровъ, охватывая и Замоскворѣчье.

Глажу на югъ—передо мной Замоскворѣчье съ его пестрыми небольшими кубиками, множествомъ церквей и монастырями, красиво выделяющимися на фонѣ зелени; съ востока—Китай-городъ, грандіозная громада воспитательнаго дома, Андроніевъ монастырь и сотни другихъ огромныхъ зданій и церквей, господствующихъ надъ массой стройныхъ, вытянутыхъ рядами домовъ. На западѣ—храмъ Христа Спасителя и далеко вдали—зеленая подкова Воробьевыхъ горъ. Къ сѣверу, за зданіемъ историческаго музея и думы, Воскресенская и Центральная площади съ Большимъ и Малымъ театрами, а затѣмъ почти отъ стѣны Кремля располагаются, точно полоски гигантскаго вѣера, съ запада къ востоку, главныя артеріи, по которымъ безпрерывнымъ потокомъ несутся жизненныя силы этого гиганта,—Пречистенка, Арбатская, Никитская, Тверская, Дмитровка, Петровка, Неглинный проѣздъ, Лубянка, переходящая въ Срѣтенку, Ильинка, переходящая въ Моросейку, продолженіе которой называется Покровской, потомъ Старо-Басманной и заканчивается Покров-

ской улицей, гдѣ-то въ десяти верстахъ отъ центра. На всемъ этомъ пространствѣ, по всѣмъ этимъ улицамъ, концы которыхъ теряются въ изгибахъ или исчезаютъ на горизонтѣ, суетится людская муравейникъ. И какъ-то не вѣрится, чтобы крошечные муравьи, бѣгающие внизу, могли создать этотъ величественный, могучій городъ, который распадается до горизонта, весь въ розоватомъ ореолѣ заката.

Какая-то дивная діорама, приковывающая и чарующая взоръ, захватывающая своимъ необятнымъ просторомъ и величіемъ.

Солнце закатывается. Свѣтъ усиливается. Колокольна опять будто колыхнется.

Вечеромъ отправляюсь въ «Центральныя бани». Многоэтажное зданіе, выходящее на три улицы, сияетъ электричествомъ. Передняя въ восточномъ стилѣ: фрески, ниши, мозаика изъ пестрыхъ стеколъ, матовые цвѣтки электрическихъ лампочекъ. Нумера отъ рубля до десяти. Мнѣ отводятъ номеръ въ три рубля. Потолокъ въ лѣпной работѣ, съ изящнымъ плафономъ; стѣны въ сплошныхъ панно съ идилліей въ стилѣ Ватто; деревянная пастораль, пестрая группа въ плясѣхъ подъ развѣсистымъ деревомъ; вдоль стѣны нѣсколько турецкихъ дивановъ, уютныхъ, мягкихъ, обитыхъ тисненымъ бархатомъ бордо; мраморный каминъ, изящной скульптурной работы, съ зеркаломъ до потолка и бронзовыми канделябрами, большое, высокое трюмо, тоже съ канделябрами, туалетный столъ со всѣми принадлежностями—отъ зубной щетки до пудры, узкое зеркало до потолка, опять бронзовые канделябры, пуфъ, три-четыре мягкихъ кресла, chaise-longue, на полу цѣльный персидскій коверъ во всю комнату. Со стѣны сползаетъ бронзовая вѣтвь съ матовыми электрическими цвѣтками. Оглядываю эту обстановку и оцѣниваю ее тысячъ въ шесть. Въ ванной на полу мозаика, мраморная ванна; но въ самой банѣ—«полокѣ» деревянный и нѣтъ приспособленій для пара; просто растворются двустворчатыя двери печи, и парикъ лѣтъ воду изъ ковша на горячіе почернѣвшіе камни по соображенію.

Указываю ему на этотъ недостатокъ.

— У насъ такъ любятъ,—поясняетъ онъ. Купецъ иначе не согласенъ, какъ чтобъ ему паръ съ самаго камня подошелъ.

Чувствуется легкій угаръ.

10-я августа.

Историческій музей, какъ и дума,—одно изъ грандіозныхъ зданій Москвы. Фасадъ въ строгомъ русскомъ стилѣ XVI вѣка, на башняхъ—орлы, львы, единороги и прапоры, въ окнахъ—переплеты на манеръ Василия Блаженнаго.

Сѣни имѣють очень величественный видъ. Восемь колоннъ поддерживають главный куполъ, отъ котораго расходятся стѣнчатые своды. На куполѣ изображено родословное древо Государей российскихъ (длина его—25 аршинъ, ширина—17 аршинъ). Полъ мозаичный, изъ краснаго и бѣлаго мрамора. По сторонамъ мраморной лѣстницы—бронзовые львы. Шесть громадныхъ дубовыхъ дверей

ведутъ съ площадки въ помѣщеніе музея. Приобрѣтаю у швейцара каталогъ. Очень обстоятельный томикъ въ 600 страницъ, цѣна—рубль. Это для меня сюрпризъ.—и сюрпризъ чрезвычайно пріятный.

Обстановка музея очень хороша и строго выдержана. Стиль каждой залы соответствуетъ эпохѣ памятниковъ. Въ двухъ залахъ, занятыхъ предметами каменнаго вѣка, орнаменты и мозаика на полу изображаютъ узоры сосудовъ этого вѣка, гончарныя издѣлія, каменные молотки, наконечники стрѣлъ и копья. Очень живописенъ фризъ, написанный художникомъ Васнецовымъ. Цѣлая фантазия на тему каменнаго періода и первыхъ зачатковъ ремесла и искусствъ. Тутъ и приготовленіе пищи, и кормленіе дѣтей, и одежды изъ звѣриныхъ шкуръ, и охотничья добыча—лоси, носороги и медвѣди, и геркулесъ племени, съ палицей на плечѣ, и охота на мамонта. Третій залъ въ стилѣ металлическаго вѣка, въ четвертомъ—двѣ громадныя картины Семирадскаго: первая—похороны Рюрика въ Булгарѣ, вторая—жертвоприношеніе подъ стѣнами Доростолъ послѣ битвы Святослава съ Цимисхемъ,—обѣ съ очень сильными сюжетами и строго выдержаннымъ историческимъ колоритомъ; на зрителя вѣетъ суровой эпохой десятаго вѣка; на разложенныхъ кострахъ, при дуновѣи освѣщеніи, сожигаютъ плѣнныхъ и женщинъ, въ рѣку бросаютъ младенцевъ и пѣтуховъ... Орнаментака пятого зала построена на художественныхъ мотивахъ курганнаго періода; въ пестромъ—потолокъ устроенъ уступами, по образцамъ антикопейскихъ гробницъ; здѣсь помѣщаются эллино-скинскіе памятники; очень хороши фрески, напоминающіе классическіе рисунки на урнахъ. Слѣдующій залъ, соединенный аркой, отдѣланъ въ древне-армянскомъ и византійскомъ стилѣ, на нѣмъ залъ съ четырьмя навѣсами и колоннскими колоннами,—въ немъ памятники греческихъ поселеній. Архитектура девятаго зала, съ куполомъ, сводами и парусами, напоминаетъ храмъ св. Софіи въ Константинополѣ. Въ немъ помѣщаются христіанскіе памятники до X вѣка. Далѣе—еще нѣсколько залъ съ предметами кievскаго періода, Новгорода и Пскова, Владимира и Суздаля.

Коллекція музея очень богата и продолжаютъ пополняться. Въ этой обстановкѣ, гдѣ каждый предметъ полонъ тайны далекаго прошлаго доисторической эпохи, языческихъ временъ и первыхъ вѣковъ христіанства Россіи, на васъ вѣетъ вдругъ цѣлымъ потокомъ современности отъ большой круглой витрины, помѣщенной въ центрѣ одной изъ залъ. Въ ней—коллекція разныхъ предметовъ, относящихся къ франко-русскимъ празднествамъ: трехцвѣтные бантики, бездѣлушки, кокарды, сотни періодическихъ изданій съ описаніемъ празднествъ, сувениры, которыми обмѣнивались русскіе и французы, гравюры и иллюстраціи. Составлена она извѣстнымъ археологомъ барономъ де-Бай и принесена въ даръ музею.

Отсюда опять отправляюсь въ Кремль. Въ конторѣ команданта получаю разрѣшеніе на входъ въ оружейную палату и дворца. Билеты выдаются безпрепятственно, безъ всякихъ формальностей. Заходящая конторой офицеръ одинаково любезно и скоро вру-

чаетъ билетъ какъ мнѣ, такъ и простому люду, толпящемуся въ комнатѣ.

Оружейная палата, большое двухъ-этажное зданіе, является какъ бы продолженіемъ историческаго музея. Это—гдѣ-то сокровищница драгоцѣнностей и историческихъ рѣдкостей, которыми цѣны нѣтъ. Въ верхнемъ этажѣ—всевозможныя оружія, знамена, принадлежності коронаціи, троны, державы, короны, шапка Мономаха, залъ съ золотой и серебряной посудой... Впечатлѣніе—грандіозное. Стѣны въ звѣздахъ изъ всевозможныхъ оружіи и художественно расположенныхъ латъ, щитовъ, панцирей и кольчугъ, огромный, закованный въ желѣзо, всадникъ на конѣ, множество моделей, токарный станокъ Петра Великаго, брилліанты и золото, золото и серебро, опять брилліанты—все на милліоны.

Въ нижнемъ этажѣ—модели двухъ дворцовъ, разные рѣдкіе предметы искусствъ, принадлежавшіе русскимъ государямъ и расположенные въ кругломъ залѣ, цѣлая коллекція старинныхъ каретъ XVII и XVIII вѣка, золоченыхъ, на дрогахъ, съ художественной живописью, эмалью, изъятымъ, то изящныхъ, то неуклюжихъ, громоздкихъ и страшно тяжелыхъ, одна другой оригинальнѣе и курьезнѣе; тамъ же кровати и сапоги Александра I, колибель, сапожки, деревянные часы и ларчикъ Петра Великаго. Всѣ эти предметы, принадлежавшіе когда-то великимъ людямъ русской исторіи, еще какъ будто носятъ на себѣ отпечатокъ ихъ личности. Что-то неуловимое, что чувствуется, но не постигается, словно наполняетъ всю атмосферу какимъ-то обаяніемъ прошлаго,—обаяніемъ, въ которомъ ощущается частица чьей-то души, витающей здѣсь, запечатлѣвшейся на этихъ предметахъ.

Парадная передняя большого кремлевскаго дворца, обращенная къ Москвѣ-рѣкѣ, очень напоминаетъ входъ въ Эрмитажъ; стѣны облицованы мраморомъ, широкая лѣстница съ колоннами ведетъ во второй этажъ. Множество придворной прислуги въ будничныхъ сѣрыхъ лиреяхъ съ золотомъ. Форма та же, что въ оружейной палатѣ и храмѣ Спасителя, видъ тоже скучающій. Публика разбивается на группы; при каждой—ливерейный проводникъ. По всему двору (а въ немъ 700 комнатъ и 9 церквей) то и дѣло раздается шумъ дверей и стукъ сапоговъ по паркету. Половина посѣтителей—простой люду. Нѣсколько человѣкъ въ смазныхъ подкованныхъ сапогахъ; проводники то и дѣло просятъ, чтобъ они ходили по дорожкамъ. Дѣвѣ бабы—совсѣмъ босая. Въ этой доступности есть что-то трогательное.

На верхней площадкѣ лѣстницы я невольно останавливаюсь отъ неожиданности. То же случается и съ другими посѣтителями. Противъ насъ Императоръ Александръ III во весь ростъ стоитъ предъ группой старшинъ и предводителей дворянствъ, окружившихъ его. Это—картина Рѣпина, изображающая тотъ моментъ, когда покойный Государь говорилъ во время коронаціонныхъ празднествъ свою рѣчь старшинамъ. Иллюзія до того полная, въ картинѣ—такая рельефность фигуръ и *plein air*, что вы безотчетно испыты-

ваете какое-то смущение. Вам так и кажется, что полная царственного величия фигура Государя выступить из рамы и раздается вновь его энергичное слово...

Вдоль стѣн длиннаго корридора — картины до потолка, изображеніе куликовской битвы съ огромными фигурами, которыхъ даже нельзя рассмотреть вблизи; ноги, руки и головы гигантовъ.

Прохожу безконечную анфиладу высокихъ, громадныхъ заловъ съ мраморными стѣнами и паркетомъ. Георгіевскій, съ ковчегообразнымъ помѣщеніемъ для орденовъ, фамиліями георгіевскихъ кавалеровъ, высѣченными золотыми буквами на мраморныхъ доскахъ, чрезвычайно величественъ. Отдѣланъ онъ орденскими цвѣтами — оранжево-золотистымъ съ темнымъ.

Тутъ же помѣщена литая серебряная группа — подарокъ, поднесенный Государю казачьимъ войскомъ. Далѣе — Тронный залъ, Андреевскій, Александровскій, Владимірскій, Екатерининскій — всѣ также отдѣланы подъ цвѣтъ орденскихъ лентъ. Затѣмъ начинаются частные покои Государя и Государыни, гостиная и кабинетъ въ стилѣ Людовика XIV, съ золоченой мебелью и роскошными севрскими вазами, кабинетъ Государя. Все прикрито чехлами, но наготѣвъ, какъ бы въ ожиданіи.

Кремлевскій дворецъ соединенъ съ теремнымъ цѣлымъ рядомъ залъ, корридоровъ, вдоль которыхъ тянутся помѣщенія для фрейлинь, столовой, украшенной старинной русской живописью, престольной и думной палатами. Реставрированъ онъ при Императорѣ Николаѣ I. Здѣсь — малая золотая палата и грановитая палата съ краснымъ крыльцомъ, нѣсколько церквей и покои Алексѣя Михайловича. Послѣ грандіознаго масштаба большого дворца, тутъ все кажется маленькимъ. Стрѣльчатая, узорчатая окошечки въ цвѣтныхъ стеклахъ, расписанныя стариннымъ рисункомъ стѣны, изразцовыя печи. Ото всего вѣдетъ далекой стариной, какой-то простотой и уютностью. Обстановка сохранилась въ деталяхъ, отъ пестрой живописи въ темныхъ узенькихъ корридорахъ, ведущихъ въ темныя церкви, до царскихъ одеждъ, которыя висятъ въ царской опочивальнѣ. Въ комнатахъ полусвѣтъ, придающийъ всему таинственный видъ. Вспоминаются почему-то былины и легенды, которыя въ долгіе зимніе вечера рассказывались здѣсь, буда въ молодыхъ сердцахъ русскихъ царей жажда подвиговъ и величія Россіи...

Нѣсколько минутъ спустя, гуляю вдоль дворца, надъ садомъ, сползающимъ къ рѣкѣ. Здѣсь возвышаются лѣса и модель памятника Царю-Освободителю.

Прохожу въ Успенскій соборъ, гдѣ коронуются русскіе Государя. Заложенъ онъ Калитой въ XIV вѣкѣ и строился полтора столѣтія. Нынче такой небольшой храмъ можно воздвигнуть въ два три года. Архангельскій, Благовѣщенскій и Двенадцати Апостоловъ соборы тоже такихъ же размѣровъ. Въ Вознесенскомъ — иконостасъ изъ чеканнаго серебра съ позолотой, образъ Владимірской Богоматери съ массой драгоценныхъ камней, въ числѣ которыхъ одинъ изумрудъ цѣнится въ восемьдесятъ тысячъ рублей, тронъ

Владимира Мономаха, большое Евангеліе царицы Натальи Кирилловны; въ Благовѣщенскомъ — древняя рѣдкая живопись и мозаика изъ яшмы на полу, въ соборѣ Двенадцати Апостоловъ — библіотека съ древнѣйшими рукописями, въ Архангельскомъ — усыпальница всѣхъ великихъ князей и царей Россіи. Всѣ соборы расположены въ двухъ шагахъ одинъ отъ другого, въ небольшомъ дворѣ, и вмѣстѣ съ монастырями составляютъ почти сплошную группу церквей.

Въ Архангельскомъ соборѣ я долго брожу между длинными, тѣсными рядами гробницъ, прикрытыхъ черными траурными запеленными покрывалами, пока мой проводникъ называетъ мнѣ имена князей и царей, почившихъ подъ ними. Здѣсь мощи царевича Дмитрія, князя Михаила и боярина Феодора, замученныхъ ханомъ Узбекомъ въ орлѣ, здѣсь — прахъ Иоанна Калиты, Дмитрія Донскаго, Иоанна III, Иоанна IV, Михаила Феодоровича, Алексѣя Михайловича и Императора Петра II.

Въ воображеніи проносятся могучіе образы героев русской исторіи, которые вѣками сковывали безграничную землю русскую. Въ раскрытыя двери слышится гулъ колоколовъ, звонившихъ и при нихъ, возвѣщая ихъ побѣду или смерть и призывая сюда для молитвы русский народъ... Сколько событий были свидѣтелями эти темныя своды, полные тайны прошлаго, сколько великихъ и страшныхъ минутъ было пережито здѣсь русской душой въ теченіе трехъ вѣковъ! Грохотъ огромнаго города, ихъ города, долетаетъ сюда пѣсней торжествующей жизни, которая будто хочетъ напомнить, что смерть ихъ не разрушила ихъ дѣла, что они живы въ немъ, что оно росло и выросло въ могучій городъ, въ великую страну...

Выхожу на Красную площадь, служившую декораціей для столькихъ историческихъ событий, и осматриваю перковь Василя Блаженнаго. По цѣлому лабиринту узенькихъ витыхъ корридоровъ пробираюсь въ каждый изъ отдѣльныхъ девяти придѣловъ, разсматриваю старинную живопись, потомъ долго люблюсь оригинальной фантастической архитектурой.

Есть что-то чарующее, какъ капризный полетъ мечты, въ группѣ несимметричныхъ куполовъ, что-то раздражающее воображеніе, напоминающее востокъ и прихотливость индійской архитектуры.

Мнѣ представляется картина закладки храма. Изъ воротъ Кремля выходитъ пестрая процессія въ золотой парѣ, съ развѣвающимися хоругвями, митрополитъ, Иоаннъ Грозный съ Сильвестромъ и Адашевскимъ, бояре... Это — эпоха взятія Казани, — татарской силѣ нанесенъ послѣдній ударъ, Казанское царство пало. Иоаннъ молодой, во всей силѣ и энергіи своихъ тридцати двухъ лѣтъ, со славою побѣдителя исконныхъ враговъ земли русской. Надъ Москвой густыми, могучими перепадами разносятся торжественный звонъ колоколовъ...

ГЛАВА IX.

Московская дистанция и московское благоустройство. — Городское хозяйство. — Новые типы московского купечества. — Благотворительные учреждения. — Пролетариат. — Петербуржцы и москвичи. — Общия впечатления. — Выезд. — На Нижегородском вокзале.

Москва поражает своей «дистанцией огромного размера». Московская дистанция — что-то невозможное; по-московски (вот тут, близко, сейчас за углом) — значить верста — двѣ. Есть такіе «концы», что больше трех-четырёх вь день не успишь отмахать.

Пытался я было хоть слегка осмотрѣть городъ на конкѣ, по одному изъ концентрическихъ круговъ, — такъ куда: выѣхалъ послѣ завтрака, а прѣхалъ къ обѣду. Правда, и московская конка везетъ не шибко, степенно, по-купечески, съ остановочками и передышками. Не даромъ извозчики называютъ ее «погребальной процессіей». Ни парового трамвая, ни электрической конки, ни городскихъ желѣзныхъ дорогъ Москва не признаетъ.

Благоустройствомъ городъ похвастаться не можетъ; водопроводъ и канализация — московскія муниципальныя злобы почти такого же возраста, какъ и Москва. Московская пыль вошла въ поговорку, улицы метутся плохо, есть совсѣмъ грязные уголки, подстать любому губерискому городу; въ такомъ же положеніи и ассенизация.

Вась охватываетъ постоянно смѣсь культурности и неблагоустройства, вы то и дѣло попадаете изъ одной полосы въ другую.

Но въ общемъ все-таки преобладаетъ сознание, что въ жизни города произошелъ крутой поворотъ къ прогрессу, и что еще годъ-другой энергичной работы — и онъ приобрететъ совсѣмъ культурную вышность, станетъ однимъ изъ лучшихъ городовъ въ европейскомъ смыслѣ.

Пряда, и справиться съ такой громадиной мудрено. Въ Петербургѣ 12 частей, въ Москвѣ — семнадцать, благодаря ея пространству. Это — десять большихъ губерискихъ городовъ. Въ каждомъ такомъ городѣ есть голова — и то онъ всего не можетъ досмотрѣть, а въ Москвѣ — одинъ голова на десять такихъ городовъ. Парижъ раздѣленъ на двадцать частей при двадцати мэрахъ и сорока помощникахъ, а въ Москвѣ все-таки одинъ хозяинъ на весь городъ при нѣсколькихъ членахъ. И я думаю, есть такія улицы, которыхъ онъ никогда въ жизни не видалъ. Еще теперь, при телефонѣ, полбѣды, по представьте себѣ, что стоило только какой-нибудь десятокъ лѣтъ съ небольшимъ тому назадъ сдѣлать распоряженіе по городу и проконтролировать его исполненіе. Москвичъ туговать на ухо и не охотникъ до всякихъ муниципальных новшествъ и затѣй. Даже теперь, уже при телефонахъ, и то не обходится безъ курьезовъ. Взять бы хоть исторію съ вывозкой снѣга. Упала распорядилась было вывозить снѣгъ, а потомъ, по соглашенію съ полиціей, отмѣнила это распоряженіе. Но пока распоряженіе объ отмѣнѣ распоряженія стало извѣстнымъ, часть домовладѣльцевъ успѣла вывезти съ улицъ снѣгъ противъ своихъ домовъ; улицы

превратились въ какія-то шахматныя доски; ни на саняхъ нельзя было ѣздить, ни на колесахъ. Первое распоряженіе было отмѣнено, отмѣнить и второе — не приходилось; дѣло кончилось тѣмъ, что нѣкоторые домовладѣльцы должны были покупать снѣгъ, чтобы засыпать имъ снова улицы.

Мнѣ кажется, что реформа системы городскихъ хозяйствъ, особенно въ крупныхъ центрахъ, — вопросъ только времени: какъ бы ни былъ энергиченъ человѣкъ, нелогично ему одному справиться со сложнымъ городскимъ управленіемъ. Москва — это цѣлое государство, почти какъ-нибудь Греція. Удивительно ли, что даже при желѣзной энергіи покойнаго Алексѣева въ хозяйствѣ города были промахи и недочеты. Стоить только вспомнить двухмилліонныя городскія бойни и весь шумъ по поводу ихъ неудовлетворительности и безконтрольнаго расхода капитала. Въ Петербургѣ городской бюджетъ — восемь милліоновъ, въ Москвѣ — тринадцать. Кажется, можно бы при такихъ доходахъ обернуться и не только нагнать, а и обогнать Петербургъ въ отношеніи благоустройства. Однако, и до сихъ поръ, напримѣръ, такой насущный вопросъ для жизни города, какъ канализация, не можетъ притти къ благополучному концу: городъ пока собирается сдѣлать пятимилліонный заемъ.

Обязанности городского головы настолько сложны, особенно, если вспомнить представительство, представительство въ разныхъ комиссіяхъ, благотворительныхъ учрежденіяхъ и безконечныхъ думскихъ засѣданіяхъ, — что если бы онъ могъ разорваться на сто частей, то и тогда все-таки не поспѣлъ бы всюду. Прибавьте къ этому занятія въ управѣ, подписи бумагъ, сотни проектовъ, распределеніе городскихъ налоговъ и вниманіе ихъ... Цѣлое министерство. И отъ этого министерства во многомъ зависитъ и экономическій рычагъ промышленной жизни города съ его шестью-стами фабрикъ, сотней тысячъ фабричныхъ мастеровыхъ и тысячами всяческихъ торговыхъ заведеній.

Господствующее сословіе Москвы — купечество. Выборы всецѣло въ его рукахъ. И оно не только по традиціи, по сословнымъ интересамъ, но и по необходимости избираетъ городскихъ головъ изъ своей среды: только человѣкъ, выросшій на торгово-промышленной почвѣ Москвы, можетъ знать ея жизненныя нужды и практически разрабатывать запросы экономической жизни города. Неудивительно поэтому, что преобладаніе въ городскомъ хозяйствѣ буржуазно-практичнаго элемента отражается и на внѣшнемъ благоустройствѣ города. Чисто культурныя интересы отодвигаются на второй планъ предъ интересами экономическими. Городскому головѣ, при всей его тедаденщи къ реформамъ и улучшеніямъ, приходится прислушиваться къ практическому камертону интересовъ купечества. До сихъ поръ влияние этого своего рода tiers état, выросшаго органически, а не созданнаго искусственно, какъ за границей, чувствительно отражалось на культурной жизни города. Москва, съ ея великимъ прошлымъ, съ ея великими людьми, съ ея славнымъ патриотизмомъ — не имѣетъ еще памятниковъ этимъ людямъ: кромѣ монументовъ Минину

съ Пожарскимъ, Пушкину да строящегося теперь грандіознаго мавзолея Царю-Освободителю, въ Москвѣ нѣтъ никакихъ памятниковъ. Москвичи не увѣковѣчили въ бронзѣ не только образа такого исполина, какъ Петръ Великій, не только десятковъ другихъ героев славнаго прошлаго, но и великихъ людей послѣдней эпохи, родившихся, выросшихъ или жившихъ на ея почвѣ, какъ Грибѣдовъ, Лермонтовъ, Гоголь и Тургеневъ. Москва Грибѣдова и Москва Островскаго до сихъ поръ еще не исчезла. Но на смѣну ей нарождается, заслоняя ее, цѣлая галлерея московскихъ людей новаго типа, такихъ же искреннихъ, но еще болѣе глубокихъ и сознательныхъ патріотовъ. Они вносятъ обновленіе въ купеческую среду и потокъ общественныхъ идеаловъ болѣе широкаго патріотическаго размаха. Это—Третьяковы, Алексѣевы, Морозовы, Бахрушины, Солдатенковы, Боткины, Рукавишниковы и тѣ «неизвѣстные», которые жертвуютъ по шестисотъ и семисотъ пятидесяти тысячъ на разные дѣтскіе пріюты и благотворительныя учрежденія, не желая даже увѣковѣчить свое имя добрымъ дѣломъ. Что-то совсѣмъ стихійное по размаху, размѣрамъ и великодушію.

Москва славится своей филантропией. Въ ней до двухсотъ разныхъ благотворительныхъ учреждений, 26 пріютовъ, 7 убѣжищъ, 9 богадѣленъ, множество лѣчебницъ, ночлежныхъ домовъ, сорокъ три больницы, вмѣщающихъ до десяти тысячъ человѣкъ. И, несмотря на это, нѣтъ, кажется, у насъ города, въ которомъ была бы такая масса нищихъ и бѣдняковъ, живущихъ на благотворительный счетъ. Главную массу пролетаріата даютъ фабрики и алкоголь. Въ Москву непрерывно стекаются со всѣхъ центральныхъ губерній тысячи деревенскаго люда. Это все народъ, который или не можетъ прокормиться дома, или рвется къ городской жизни. Деревенская натура не всегда выноситъ фабричную жизнь, доведенную до точности механизма и пунктуальности, съ которыми не можетъ ужиться широкая русская душа; человѣкъ порабощается, порабощается, а потомъ гляди—его и выбросило изъ колесъ. Очугился онъ прямо на улицѣ и безъ куска хлѣба; въ деревню не хочется, пестрота и шумъ жизни большаго города приковываютъ; деревенскій человѣкъ не требователенъ, перебитъ кое-какъ можно; случайно подвернется заработокъ, а то и такъ на благотворителя попадетъ; проходитъ время, глядишь—онъ и вовсе отъ работы отбился, а тамъ, смотришь, и окончательно распился. Тутъ ужъ наступаетъ полная гибель и нищенство.

Главное скопленіе пролетаріата—на Хитровомъ и Смоленскомъ рынкахъ, гдѣ цѣлые кварталы заняты почтенными притонами; на Хитровѣ шесть громаднхъ домовъ въ нѣсколько этажей составляютъ особую группу пріютовъ. Хитровскийъ абитуріентъ имѣетъ даже свою кличку «хитровца». Рядомъ съ храмомъ Спасителя, почти въ центрѣ города—огромный мрачный пріютъ пролетаріата, называемый въ простонародіи «Сережниковой крѣпостью». Кромѣ того, по всему городу разбросаны еще десятки притоновъ, въ которыхъ, какъ и въ главныхъ скопищахъ нищеты, разыгрываются одинаково мрач-

ныя сцены «Петербургскихъ трущобъ», со всѣмъ ужасомъ пороковъ, вырожденія, паденія, голода, безпросвѣтной нужды и тысячи всяческихъ ухищреній несчастной голытьбы въ попыткѣ раздобыть грошъ и прокормиться лишній день.

Народъ любить Москву и рвется къ ней. Онъ то нѣжно называетъ ее «матушкой бѣлокаменной, златоглавой, хлѣбосольной, православною, словоохотливою», то пронизываетъ надъ ней въ своихъ поговоркахъ: Москва бьетъ съ покла, Питеръ—бока повытеръ, Питеръ женится—Москва замужъ идетъ, была правда у Петра и Павла (въ застѣнкѣ, гдѣ пытали), московскіе люди землю съютъ рожью, а живутъ ложью, въ Москву итти—голову нести, въ Москвѣ толсто звонять, да тонко дѣлать, Москва—что доска: снѣтъ широко, да кругомъ мететь, въ Москву брестъ—послѣднюю копейку нести, живучи въ Москвѣ—пожить и въ тоскѣ.

Складъ жизни въ Москвѣ попроще, чѣмъ въ Петербургѣ, да и самъ москвичъ попроще петербуржца. Прежде всего, онъ здоровѣе и молодцеватѣе, свѣжѣе, не успѣлъ еще приобрѣсти нервно-перманентнаго лица петербургскаго чиновника, всегда подтянутаго, всегда на-сторожѣ и въ погонѣ за карьерой, непремѣнно съ катарромъ легкихъ и желудка. Москвичъ—практикъ, но не скептикъ, петербуржецъ, сравнительно съ нимъ,—вольтерьянецъ; москвичъ видитъ чаще солнце и на жизнь глядитъ бодрѣе, петербуржецъ имѣетъ прокислый отъ сырости видъ и успѣлъ проникнуться эстонской флегмой. На петербуржца Европа наложила печать космополитической нивелировки, москвичъ—типичный «руссакъ», сохранившій всѣ особенности русской души, съ ея ширью, съ ея достоинствами и недостатками.

Вечеромъ, гуляя, пытаюсь резюмировать свои московскія впечатлѣнія.

Чувствую, что Москва съ каждой минутой все больше и больше чаруетъ меня. Москва—это какой-то кошмаръ, и сладкій, и томительный, въ которомъ тайна прошлаго и настоящее, востокъ и западъ, фантазія и дѣйствительность слились и переплелись въ чудовищномъ контрастѣ; это—страстное первое обаяніе Азии и Европы, это—хороводъ тѣней прошлаго на фонѣ современности, это—отраженіе старой и новой Россіи, со всѣми ея недостатками и всѣмъ ея величіемъ, это—чуждый памятникъ сильной духомъ расы, въ которомъ каждая пядь земли впоена кровью жертвъ человѣческихъ, создавшихъ могучее русское море, разлившееся на полмира и дѣлающее русскихъ какими-то мировыми гражданами. До сихъ поръ Москва представлялась мнѣ «большой деревней», и я подозревалъ въ отзывѣхъ о ней что-то подогрѣтое и раздутое шовинизмомъ. А теперь я какъ будто чувствую даже досаду, что къ ней не умѣютъ относиться у насъ съ должнымъ благоговѣніемъ. И въ ея разброшенности, и въ ея некултурности есть что-то не установившееся и дикое, какъ и въ русской натурѣ, но есть и смѣлый размахъ, полный силы и будущности. Я не могу ни на минуту отдѣлаться отъ обаянія прошлаго. Что-то неуловимое, какъ смутныя силуэты памят-

никовъ старинны, будто выступаютъ изъ каждаго уголка веренищъ тѣней; предо мной разворачивается исторія великой страны, записанная здѣсь кровью и желѣзомъ на камнѣ, и съ каждой странички слетаютъ могучіе образы, продолжающіе жить и шептаться о чемъ-то въ темныхъ сводахъ, въ тѣни дворцовъ, воздвигнутыхъ потоками...

11-е августа.

Просыпаюсь. Вспоминаю, что сейчасъ надо укладываться, что сегодня я непременно долженъ ѣхать дальше; испытываю малодушіе: не хочется расстаться съ Москвой.

Съ утра еще разъ заглядываю въ Третьяковскую галерею, откуда отправляюсь въ пассажи дѣлать покупки. Лубянской пассажъ, Солодовниковъ, Александровскій, Поповскій, Постниковскій — все это огромныя зданія, въ которыхъ беспрерывно и внизу, и вверху, на балконахъ, жужжитъ толпа. Но всѣ они ступенчатые предъ развѣсами, красотой и великолѣпиемъ новыхъ торговыхъ рядовъ, выросшихъ изъ старыхъ, стройнымъ бѣлымъ дворцомъ во всю Красную площадь. Несмотря на громадныя размѣры и длинный фасадъ, все зданіе необыкновенно стройно и пропорціонально; нигдѣ ничего громоздкаго, неуклюжаго и лишняго; отъ этого оно такъ легко и такъ изящно въ цѣломъ, такъ чаруетъ глазъ гармоніей. По-моему, въ новѣйшей архитектурѣ Москвы это — самое красивое, самое удачное и величественное сооруженіе, которому можетъ позавидовать любая европейская столица. Внутри оно роскошно. Отдѣлка, мозаика, балюстрада вдоль второго яруса, висячіе мосты, перекинутые съ одной стороны на другую легкими арками, стеклянная крыша, магазины — все это, верхъ изящества и вкуса. Зимой здѣсь играетъ военная музыка и при потокахъ электрическаго свѣта гуляетъ вся Москва.

Завтракаю на Тверской у Филиппова, въ большомъ зеленоматомъ залѣ, съ художественной лѣпной работой. Днемъ и вечеромъ, при электрическомъ освѣщеніи, здѣсь беспрерывная разношерстная толпа. Масса провинціаловъ, которые первымъ дѣломъ являются отвѣдать филипповскихъ пироговъ и калачей. Дешевизна соблазняетъ, и многіе объѣдаются: пирогъ съ сочнымъ фаршемъ, весь какой-то пуховой — пятачекъ, калачъ — тоже; стаканъ чаю — пять или семь копѣекъ. А почти напротивъ, въ гастрономическомъ магазинѣ Бѣлова, десятокъ янтарныхъ сливъ, рейн-кюль, величиной въ абрикосъ, — два рубля пятьдесятъ копѣекъ! Это — въ самый разгаръ фруктоваго сезона.

Счетъ въ гостиницѣ, противъ всякаго ожиданія, оказывается очень добросовѣстнымъ. Обыкновенно по вечерамъ на дверяхъ каждаго номера здѣсь вывѣшиваются своего рода «бюллетени», въ которыхъ записано все, что вы потребовали въ теченіе дня. «Это-съ для памяти», объяснилъ мнѣ лакей. Удобно въ томъ отношеніи, что ничего не припишутъ, какъ въ нашихъ бѣлорусскихъ «гостеляхъ». У насъ обыкновенно въ самую минуту отъѣзда недоразумѣніе: вы усматриваете въ счетѣ, непосредственно написанномъ гіероглифами и въ

кляксахъ, какія-то совершенно непонятныя «тоже», которыя въ итогѣ составляютъ лишній рубль въ чей-то бенефисъ. Указываете лакею; читаетъ и недоумѣваетъ: выходитъ, какъ будто вы три раза въ день пили кофе; разъ стаканъ кофею, а два раза «тоже». Иванъ не помнитъ и зоветъ Михайлу; Михайло тоже не помнитъ, чтобы онъ подавалъ «тоже», и зоветъ Ицку; Ицка старается что-то припомнить, но въ концѣ концовъ соображаетъ, что объ этомъ, вѣроятно, долженъ знать посланный мальчикъ Гершко; бѣгутъ за Гершкой, но онъ въ воду канулъ. А минутная стрѣлка все ползетъ, а гдѣ-то далеко упрямо повсвистываетъ и зоветъ паровозъ. Вы вспоминаете «чорта» и торопливо бѣжите къ извозчику, чтобы не опоздать.

Зато здѣсь меня ждетъ другой сюрпризъ: въ восемь часовъ лакей докладываетъ, что мнѣ пора ѣхать; какъ бы не опоздать. Гляжу не безъ подозрѣнія: вѣроятно, номеръ понадобился — и онъ нарочно торопитъ меня.

— Да вѣдь поѣздъ отходитъ въ десять? говорю.

— Въ десять-съ. Только до нижегородскаго вокзала полтора часа ѣзды-съ.

— Какъ полтора часа?

— Вѣрно-съ! Одиннадцать верстъ считается.

Недурно. Это отъ центра-то города! Значитъ, тому, кто живетъ въ противоположномъ концѣ, приходится три часа ѣхать и отмахать двадцать двѣ версты. Изъ трактира, что напротивъ, доносятся звуки органа, наигрывающаго:

Эхъ, Москва, Москва, Москва
Бѣло-ка-а-аменная!

Въ корридорѣ въ ожиданіи вытянулась цѣлая шеренга. Есть даже такія фizioноміи, которыя я вижу въ первый разъ въ жизни.

На улицѣ темно. Однокошый ванька нагруженъ багажомъ; на козлахъ чмолданы подъ самый его подбородокъ; ноги онъ какъ-то умудряется свесить по бокамъ, надъ колесами, напоминая лягушку, собирающуюся прыгнуть. До нижегородскаго вокзала по таксѣ рубль. Но извозчикъ высказываетъ надежду, что «его сѣятельство» прибавитъ на чакѣ, потому что съ кого же въ Москвѣ заработать, ежели не съ господъ «прижающихся», — купчина не больно тароватъ.

Бѣду и жѣду, кажется, конца не будетъ этому пути. Минуту одинъ губернский городъ, потомъ другой и третій; чѣмъ дальше — дома все меньше, видъ совсѣмъ провинціальный, булыжная мостовая все плоше; того и гляди — разговоривая, языкъ откусишь. Наконецъ — мы за городомъ. Впереди полная темнота. Подъѣзжаемъ къ вокзалу. Не вѣрится, что онъ въ столицѣ. Низенькое одноэтажное деревянное зданіе, окрашенное охрой. Совсѣмъ какой-нибудь минскій вокзалъ на московско-брестской дорогѣ, совсѣмъ провинціи. И публика тоже провинціальная. Дорожные степенные купцы-бородачи, нѣкоторые еще въ кафтаныхъ и ботфортахъ. Уже замѣтна примѣсь посторонняго элемента, какихъ-то не русскихъ типовъ. Нѣсколько смуглыхъ восточныхъ лицъ, большихъ восточныхъ носовъ, острыхъ

и горбатиых, которые особенно рѣзко выдѣляются рядомъ съ широкими и расплюснутыми русскими носами. Должно быть, какіе-нибудь Теръ-Агаповы или Теръ-Кафеджанцы. Есть и нѣсколько плоскихъ, съ узкими черными шелочками вмѣсто глазъ, калмыцкихъ лицъ. Поѣздъ специально нижегородскій, ярмарочный, и публика тоже ярмарочная. Выходить онъ въ десять, а въ девять утра—въ Нижнемъ. Четыреста десять верстъ въ одиннадцать часовъ.

Вся дорога имѣетъ какой-то сомнительный и подозрительный видъ. Вагоны низкіе, старомодные, съ короткими диванами, такъ что двоимъ только сидѣть можно. Оберъ-кондукторъ—отставной становой приставъ, огромный дѣтина, будто нарочно приставленный сюда, чтобы присматривать за купцами, которые вздумаютъ проявить «надрывъ». Онъ все о чемъ-то шепчется съ пассажирами. По вагону то и дѣло шмыгаютъ, шурша шелковыми юбками, сомнительныя дамы; ихъ цѣлый пансионъ. Какой-то купецъ, уже подвыпившій, зоветъ кондуктора. Онъ подходитъ заискивающе-предупредительно.— Вотъ что, братъ! Возьми мнѣ въ буфетѣ бутылку вина.—Какого прикажете?—Все равно, какого-нибудь, чтобы на три рубля бутылка была... И онъ небрежно бросаетъ скоманную десятирублевку.

Звонокъ. Поѣздъ ползетъ. Стою на площадкѣ. Душно. Темно. Вдали за нами вдоль всего горизонта располагается, точно млечный путь, матовое сіянье... Миріады огоньковъ пронизываютъ мглу.

Прощай, матушка Москва!

ГЛАВА X.

Въ вагонѣ.—Дорожные разговоры.—«Парижскіе фрукты».—Въ Нижнемъ.—Толпа.—Переселенцы.—Гостиница.—На скачкахъ.—Ярмарка.

Вагонъ переполненъ. Вѣшалокъ и полокъ не полагается. У дверей, подлѣ печи, цѣлая гора чемодановъ и узловъ. Въ суматохѣ, въ торопяхъ занять мѣсто, навалили все въ кучу. Фигуры копошащихся пассажировъ неясно выступаютъ изъ полутмы. Настроеніе у всѣхъ необыкновенно ворчливое. Ругаютъ и проклинаютъ дорогу даже въ присутствіи кондуктора, контролирующаго билеты. Онъ невозмутимъ.

Въ отвѣтъ на язвительныя замѣчанія, пересыпанныя «безобразіями» и даже эпитетами болѣе остраго свойства, раздается только металлическое чиканье клещей.

Въ рѣчи пассажировъ слышится «оканье», какъ будто наперекоръ бѣлорусскому «аканью». Это—типичный выговоръ волжанина. Въ немъ что-то рѣзкое, грубоватое, немного напоминающее бурсу, но вмѣстѣ съ тѣмъ есть и какой-то задоръ, и нѣчто придающее тонъ силу. Волжанинъ ни одного о не пропуститъ безъ того, чтобы не сгустить звука и не подчеркнуть его.

Мой сосѣдъ справа, типичный нижегородскій экземпляръ, словно нарочно напираетъ на эту особенность, передѣлывая каждое слово. Пароходъ превращается въ пороходъ, поѣхать—въ поѣхотъ, ярмарка—въ ярморку, какой—въ кокой; зато е часто исчезаетъ; вмѣсто не знаетъ выходитъ незначъ, не понимаетъ—непонимаетъ.

Разговоры на темы «пеньково-мочальныя» и тѣ специально-торговые термины, которыми переполнены телеграммы нижегородской ярмарки.

Я сижу противъ сапернаго офицера. Нѣсколько минутъ мы поглядываемъ враждебно и угрюмо другъ на друга. Мѣсто между диванами занято моимъ и его богажомъ, ногъ некуда дѣтъ. Въ проходахъ тѣснятся пассажиры, пытаюсь размѣстить какъ-нибудь вещи. Кондукторъ помогаетъ, подавая практичныя совѣты.

Мнѣ и офицеру онъ предлагаетъ свинуть сидѣнья узкихъ диванчиковъ и лечь рядомъ. Мы переглядываемся нерѣшительно, не безъ оттѣнка подозрительности. Однако приходится выбрать одно изъ двухъ: либо всю ночь просидѣть, задрать ноги на чемоданы, либо лечь рядомъ съ незнакомымъ человѣкомъ. Офицерикъ чистенькій, видно—не пьюшій, виномъ отъ него не несетъ, «купечкинымъ духомъ» обдавать не будетъ, но все-таки какъ-то жутко. Кондукторъ настаиваетъ, убѣждая, что здѣсь всѣ пассажиры спятъ такъ.

Нечего дѣлать. Тащимъ багажъ, сваливаемъ его въ общую кучу, выдвигаемъ сидѣнья.

Вступаемъ въ разговоръ. Офицеръ ѣдетъ изъ Бѣлоруссіи, почти изъ Минска.

Это сразу вызываетъ обоюдное довѣріе.

Устраиваемся, пытаемся лечь. Поѣздъ идетъ неровно, вагонъ будто пошатывается, то меня толкаетъ на моего сосѣда, то его на меня.

— Извините, пожалуйста, я васъ, кажется, толкнулъ?

— Нѣтъ, ничего.

Чтобы удержаться въ извѣстномъ положеніи, приходится все время напрягать мускулы.

Рядомъ купецъ продолжаетъ окать, разговаривая съ компаньонами. Зѣвая, онъ украдкой креститъ ротъ.

— Голантерей хорошо, пушнымъ — тоже, хорошій соболь на полтора выше прошлогодняго; съ Сидоромъ Семеничемъ сладили, на этомъ чистый барышъ будетъ, а съ медвѣдемъ плохо: Лондонъ требовательный сталъ. Видитъ Семеничъ—проворонилъ... А я ему: говоритъ, пошто лѣзешь. — Ну, што-жъ, десять тысячъ изъ кормана вонъ—не бѣда. У Шарлемона, бывать, больше оставилъ. Вонъ Лихолѣзъ на сельдахъ въ часъ полсотни тысячъ потерялъ, — а не тужитъ! И то, говорю...

— Pardon, мсье...

Кто-то, проходя мимо меня, толкаетъ. Легкая ткань женскаго платья скользитъ по моей рукѣ. Привстаю и оглядываюсь. Въ проходѣ стоитъ молодая типичная француженка.

Купецъ смотритъ на меня, потомъ на нее и подмигиваетъ. Офицеръ тоже привстаетъ и оглядывается.

Французенка дѣлаетъ видъ, будто ищетъ что-то въ саквояжѣ. — Тоже—добро,—замѣчаетъ купецъ.—Обойдемся и безъ твоего пордона, береги его для своего Омона.

Онъ говоритъ это не безъ вилимаго раздраженія, хотя глазки его становятся маслянистѣе и плотоядно скользятъ по изящной фигурѣ французенки. Въ воображеніи его, вѣроятно, проносятся параллели между рыхло-холодной благовѣрной «бѣлугой» и задорно-граціозной парижанкой, отъ которой вѣетъ острыми, одуряющими духами.

— Накодила!—ворчитъ купецъ, спокойно заерзавъ.—Бѣдетъ православный народъ одурманивать. Небось, прямо изъ Парижа къ Мамону жарить.

Подъ «мамономъ» купецъ подразумѣваетъ Шарля Омона, содирателя ярмарочнаго «театра-паризьенъ».

— Comment, monsieur?—обращается къ нему французенка, замѣтивъ на себѣ его взглядъ и услышавъ знакомое слово.

— Никакихъ тутъ командовъ нѣтъ, а есть здѣсь Русь православная, вотъ оно что, и говорятъ здѣсь люди по-русски.—Купецъ отворачивается.

— A, russki, russki,—подхватываетъ французенка, не смущаясь.—Ah, c'est tres bon le russki, j'aime la Russie et tout ce qui est russki.

— Ладно, говори,—бормочетъ купецъ, какъ-то ошетиливаясь и продолжая спокойно ерзать.—Што-же, Василь Егорычъ, положимся да и спать будемъ.

— И то,—отвѣчаетъ собесѣдникъ, зѣвая.

Купецъ тоже зѣваетъ, но неестественно, потомъ грузно ложится рядомъ со своимъ сосѣдомъ. Но глаза его нѣтъ-нѣтъ, да и снова останавливаются на французенкѣ съ пытливымъ любопытствомъ.

Офицеръ смѣется. Я вторю ему.

А французенка тараторитъ какъ будто растерянно и безпомощно:

— Mon Dieu, que faire? Pas de place! Et le conducteur qui ne vient pas...

— И вѣдь вотъ—комедію ломаетъ,—обращается ко мнѣ купецъ.—Нарочито пришла сюда и будетъ такъ стоять, пока закричитъ кого... А въ другомъ вагонѣ просторно... Эй, мадамъ, аллѣ, маршъ, нима тутъ мѣста, комса, такъ и знай.

Замѣтивъ, что я заговорилъ съ французенкой и готовъ уступить ей мѣсто, онъ почти съ ужасомъ, полнымъ комизма, кричитъ: — Што вы? Да этакъ она никому спать не дастъ. Не обращайтесь вниманья. Будьте безъ нисхожденія. Я уже знаю ихній характеръ...

— И то,—извить его спутникъ,—въ прошломъ году у Омона сколько катеринокъ за науку выложили.

— Небось, и ты на Самокатахъ кунавинскую цивилизацию пошохалъ?

— Оттого и молчу...

Входитъ кондукторъ. Французенка пристаегъ къ нему.

— А я вамъ въ томъ вагонѣ мѣсто нашель,—говоритъ онъ не безъ скептической улыбки.

Я беру на себя роль переводчика. Французенка разсыпается въ благодарностяхъ и исчезаетъ съ кондукторомъ.

— Въ нынѣшнемъ году Мамонъ удвоилъ, сказываютъ, порцію своихъ парижскихъ фруктовъ,—не унимается купецъ.—Слешально выписываетъ. Къ ярмаркѣ этого товару свыше пяти тысячъ доставлялся. Это ежели за одну прописку ихнюю по трешницѣ брать и то пятнадцать тысячъ...

— А ежели каждая изъ нихъ,—вторитъ ему сосѣдъ,—круглымъ счетомъ по тысячѣ рублей заработаетъ, такъ вотъ тебѣ и пять миліончиковъ на дамскій бенефисъ.

— Налогъ на ярмарку въ пользу ихняго сословія...

Купецъ хохочетъ, хотя и не совсѣмъ искренно.

— Это што!—говоритъ его сосѣдъ.—На той недѣлѣ фхалъ я на Самолетѣ изъ Казани въ Нижній. Дакъ на пороходъ сразу не пансіонъ, а цѣлый батальонъ безъ древнихъ языковъ навалился; до сотни ихъ было, весь пороходъ зафрахтовали, даже музыку свою имѣли.

Въ другомъ углу вагона тоже не спятъ. Слышнѣ разговоръ на какомъ-то непонятномъ нарѣчій, пересыпанномъ исковерканными русскими словами.

Во Владимирѣ мы въ два часа. Пьемъ чай, а потомъ гуляемъ по платформѣ. «Пансіонъ» тоже прогуливается и трещитъ на французскомъ диалектѣ. Публики еще прибываетъ. Заснуть нѣтъ мочи. Я лежу съ краю. Меня то и дѣло толкаютъ. Опять раздается «пардонъ, мосье», опять откуда-то появляются французенки, но уже другія. Кондукторъ таинственно шепчется съ ними въ углу, онѣ выразительно жестикуютъ. Онъ—ни слова по-французски, онѣ—ни слова по-русски, но это не мѣшаетъ имъ столкнуться и прити къ соглашенію. Дарвинъ могъ бы найти въ этомъ интересный случай подтвержденія теоріи языка животныхъ, Иоганнъ Шлейеръ—доказательство, что его міровой «волапокъ» существовалъ ранѣе, чѣмъ онъ его выдумалъ...

— Pardon, monsieur...

И такъ всю ночь.

12-е августа.

Утромъ, за Гороховымъ, минуемъ Владимірскую и въѣзжаемъ въ Нижегородскую губернію. Вся эта равнина отъ Москвы до Нижняго—сплошная фабрично-промышленная полоса съ русскими Шеффилдами и Манчестерами.

Передъ нами разстилается необозримая зеленая степь. Мнѣ кажется, будто я уже выдалъ глѣ-то точъ въ точъ такую же равнину.

— Смотрите, да вѣдь это Бѣлоруссія,—говоритъ мнѣ офицеръ. Мы въ тысячѣ верстъ отъ нея; но природа совсѣмъ та же: тѣ

же луга, та же неяркая сѣровато-зеленая растительность, тѣ же колючатые болота, тѣ же березки, та же синеватая бахрома хвойныхъ лѣсовъ вдоль горизонта, тѣ же темно-сѣрыя тесовыя избы въ разбросанныхъ тамъ и сямъ селахъ.

Пронесимся сквозь желѣзную клѣтку моста надъ Клязьмой, მი-поемъ мѣстечко, какой-то городокъ, еще нѣсколько станцій. Вдали на сизоватыхъ горахъ обрисовываются неопредѣленные силуэты; что-то похожее на неровную полосу вырубленного лѣса, съ одиноко торчащими надъ нимъ высокими тополями и дубами. Чѣмъ ближе, тѣмъ больше силуэты эти свѣтлѣютъ, становясь стройнѣй, выступая опредѣленнѣй изъ тумана. Гдѣ-то на верхушкѣ показывается золотой лучъ, другой, туманъ разлетается, стелется по землѣ, а надъ нимъ, вдали, на изумрудной зелени Дятловыхъ горъ вдругъ показывается, точно изъ-подъ сброшеннаго бѣлаго газа, Нижний, сверкая куполами, сияя бѣлизной церковей и домовъ, раскинутыхъ по склону крутыхъ зеленыхъ береговъ.

Офицеръ, бывавшій здѣсь раньше, помогаетъ мнѣ ориентироваться. Купецъ, навалившійся на меня безъ перерыва и приникшій къ окну, вмѣшивается въ нашъ разговоръ.

— Да вотъ я вамъ проще скажу, вотъ...

Онъ выставляетъ правую руку ладонью внизъ и продолжаетъ:

— Отодвиньте большой палецъ—вотъ такъ. Это—Ока, а указательный—Волга. Конечъ указательный—сѣверъ, конечъ большого—западъ. Мы сейчасъ ѣдемъ съ запада на востокъ, рядомъ съ Окой. Теперь смотрите: по лѣвый берегъ Оки и вдоль лѣваго Волги, значитъ, между большимъ и указательнымъ пальцемъ, и есть тебѣ ярмарка. Съ конца большого пальца начинается (слышь, Никопоръ Федотычъ) Кунавино (Самокатъ), тутъ же и вокзалъ. А какъ разъ въ углу между пальцами, значитъ, между Окой и Волгой—Макарьевна. По ту сторону Оки, тоже въ углу между ней и Волгой, но на правомъ берегу, на горахъ, Нижний. Да вотъ чего лучше: въ Киевѣ изволили бывать? Подолъ знаете? Ну, такъ ежели стая у церкви Ондreja Первозваннаго и посмотреть внизъ, на Подолъ,—это и будетъ ярмарка, Дибиръ будетъ Волгой, между Подоломъ и Ондреевскою церковью—Ока, а гдѣ самая церковь—Нижний.

Я разставляю большой палецъ, пытаюсь уяснить себѣ купеческую географию, когда поѣздъ, влетѣвъ въ Кунавино и оставивъ справа обширную площадь съ лѣсами строящейся выставки, подходитъ къ вокзалу.

На перронѣ тысячная толпа, цѣлая этнографическая галлерей; и каждый типъ въ этой пестрой международной смѣси выступаетъ еще рѣзче, еще оригинальнѣй. Шумъ, стукъ, говоръ, давка.

Немного въ сторонѣ, ближе къ дверямъ третьяго класса, топчется сѣрая неуклюжая группа переселенцевъ съ женщинами и ребятишками. Великорусскій типъ какъ будто испорченъ, глаза поуже, носы приплюснуты; есть монгольскія черточки; должно быть, помѣсь съ мордвой и чувашами; но изрѣдка попадаются и совсѣмъ открытыя добродушныя лица великорусса.

Переселенцы поглядываютъ робко, угрюмо и нерѣшительно, ожидая, должно быть, чтобы ихъ повели къ пристани; въ глазахъ что-то похожее какъ будто на боязнь и окружающаго, и того невѣдомаго будущаго, къ которому несется ихъ судьба.

Здѣсь, въ этой пестрой разноплеменной толпѣ, почти нисколько навязывается мысль о той ассимиляціи, которую призваны разлитъ въ славянскомъ морѣ эти сотни тысячъ невидимыхъ героевъ—«фрагментовъ», исполняющихъ незамѣтно миссію объединенія и «всасыванія» въ русскій организмъ иноплемennыхъ элементовъ.

На сформѣ фонѣ группы переселенцевъ, съ ихъ беззащитно-растеряннымъ видомъ, навѣвающимъ тоску, съ ихъ некультурностью, беспомощностью, нечужествомъ, съ ихъ сѣрыми чуйками и лаптями, съ ихъ сумками, мѣшками на плечахъ, краяхами чернаго хлѣба въ рукахъ, съ ихъ атмосферой пота и махорки,—горсть изящныхъ, веселыхъ, болтливыхъ парижанокъ, въ какихъ-то воздушныхъ, будто съ крыльями, ротовалахъ и шляпкахъ-мотылькахъ, кажется такимъ рѣжущимъ контрастомъ, что я нѣсколько мгновений не могу оторвать глазъ отъ этой картины, будто нарочно выдуманной капризной судьбой. Переселенцы глядятъ почти съ изумленіемъ на молодыхъ элегантныхъ женщинъ, похожихъ на стаю птицъ, ахающихъ, смѣющихся, стрекочущихъ на непонятномъ, неслышанномъ никогда языкѣ.

Къ нимъ навстрѣчу выѣхали подруги.

Начинается обмѣнъ впечатлѣній; объятья, поцѣлуи.

— Laure, Odette! Bonjour!—Eh bien, les russes—ça prend et c'est pas si fort, comme j'le croyais.—Ah, mais par exemple!—J't'assure. Et puis, sais tu, j'ai appris déjà un peu le russe. C'est embêtant tout de même, mais c'est curieux... Sdrastiti maia doucheka, ia katchou vasse patchilouvate na mordotchki.

Раздается смѣхъ.

Особа, успѣвшая изучить русскій языкъ, оглядывается съ торжествомъ и вызовомъ. Какой-то носатый и усатый восточный человѣкъ, въ камилавкообразной бараньей шапкѣ и чесуновомъ кафтанѣ, упорно уставился въ нее большими черными глазами. Два смуглыхъ молодыхъ человѣка, въ легкихъ европейскихъ костюмахъ, туфляхъ и красныхъ фескахъ, подходятъ развязно къ «парижскимъ фруктамъ». Вся эта птичья стая, со своими крылатыми ротондами, напудренными лицами, наведенными бровями и дрожащими кисточками шляпокъ, исчезаетъ въ дверяхъ.

Бѣду. Въ сутолокѣ и хаосѣ все ошеломляетъ и одурманиваетъ; вась сразу захватываетъ какой-то широкій и могучій потокъ, въ которомъ кипитъ коммерческая жизнь, въ которомъ таютъ и вырастаютъ сотни миллионеровъ, раздражая воображеніе, будя алчность и жажду наживы этой возбужденной толпы. Воображенію рисуется дикая схватка страстей и инстинктовъ въ погонѣ за наживой, какая-то бѣшеная скачка, въ которой, подъ возбуждающій звонъ золота, въ чаду и угарѣ, одни теряютъ голову, другіе стаятъ насторожѣ и ловить мгновеніе, когда можно будетъ счастье

глупости и промаха ближнего пострить собственное благополучие. Все это море людских голов, которое движется мимо васъ пестрой рѣкой, тысячи людей, собравшихся сюда изъ разныхъ концовъ міра на время, на мѣсяцъ, на нѣсколько дней, будто проникнуты сознаниемъ важности момента и мечутся въ какой-то лихорадкѣ. Вами овладѣваетъ мимовольное напряженное вниманіе, что-то подкашиваетъ быть насторожѣ, держа къ уху востро. Деньги здѣсь точно не имѣютъ цѣны. Я даю багажному на чай тридцать копѣекъ (тридцать копѣекъ за пять минутъ труда, когда рабочей день въ нормальное время оплачивается не дорожке), — онъ едва благодаритъ меня легкимъ кивкомъ. И онъ, и другія тысячи такихъ же неэтимъ интересуются; всѣ они будто выжидаютъ случая, — того случая, который сразу позволитъ схватить цѣлый кушъ, поймать какого-нибудь самодура, щедрого до глупости или пьяного купца, который не возьметъ сдачи десять рублей, какого-нибудь иностранца или восточнаго человѣка, который не сумѣетъ сосчитать деньги, а то и просто передать по невѣдѣнію.

Багажныхъ мало, и каждый изъ нихъ служить чуть ли не десятку пассажировъ, бросается то къ одному, то къ другому, будто лова тотъ же моментъ. Заработки ихъ въ теченіе двухъ мѣсяцевъ ярмарки опредѣляются сотнями рублей. То же и извозчики. Въ обыкновенное время ихъ пятьсотъ, теперь — свыше двухъ тысячъ. Всѣ, на сотни верстъ вокругъ, ждутъ этой поры и стекаются къ Нижнему алчущей наживы и выжидающей счастливаго случая толпой. Въ вокзалъ до города версты полторы, въ семь разъ меньше, чѣмъ отъ центра Москвы къ Нижегородскому вокзалу, а пароконный фазонъ стоитъ полтора рубля. И то — потогрваться надо.

Несмотря на ранній часъ, ярмарка переполнена народомъ. Онъ плыветъ по тротуарамъ, вдоль мостовыхъ, на которыхъ полицейскіе верхами охраняютъ порядокъ. Кажется, будто вы попали въ самую толчею предиазальнаго базара, гдѣ каждый куда-то спѣшитъ. Въ толпѣ то и дѣло попадаются смуглые кавказцы въ черкескахъ, типичные хивинцы и бухарцы въ халатахъ, персы, татары, даже китайцы. Вдоль улицъ и за ярмаркой, на плашкоутномъ мосту, выступаютъ длинные ряды вывѣсокъ, прикрѣпленныхъ къ столбамъ; анонсы, рекламы, афиши, сажанные адреса разныхъ фирмъ — все это вытягивается въ цвѣтную ленту, которая перекинута и на правый берегъ, окаймляя пестрымъ бордюромъ подножіе горъ и пристани. На мосту сплошная толпа течетъ двумя встречными потоками. Городовые на коняхъ непрерывно движутся въ срединѣ, конвоируя ее.

Одинъ изъ нихъ подсказываетъ ко мнѣ и о чемъ-то говорить. Въ гулъ голосовъ ничего не могу разобрать. Оказывается, что ни на ярмаркѣ, ни на мосту нельзя курить.

За мостомъ начинается легкій подъемъ. Ъду вдоль набережной, надъ пристанями, къ гостиницамъ. Въ одной номеровъ вовсе не оказывается, въ другой — номеръ во второмъ этажѣ — пять рублей въ сутки; въ третьей — единственный номеръ какая-то конурка съ

окномъ во дворъ — три рубля. Наконецъ, въ гостиницѣ Соболева нахожу въ третьемъ этажѣ небольшую комнату съ видомъ на ярмарку и Волгу; полъ грязный, мебель — жалкій, съ растрескавшейся фарфоровой, комодъ, вдавленная кровать, крокодилъ-диванъ съ ободранной клеенкой, два стола, три стула и погнутый умывальникъ. Цѣна — два съ половиной. На стѣнѣ преис-курантъ, табличка раздѣлена на двѣ половины; въ одной обозначены цѣны въ обыкновенное время, въ другой — въ ярмарочное; такса установлена губернаторомъ; въ обыкновенное время номеръ этотъ отдается за рубль. Другая особенность — это большіе висячіе замки на дверяхъ, ведущихъ въ смежные номера; по другую сторону двери — такіе же замки: устроены они, вѣроятно, для безопасности купеческихъ капиталовъ, а можетъ-быть и для огражденія отъ сюрпризовъ со стороны буйныхъ сосѣдей.

Въ корридорахъ непрерывный шумъ и звонки. Прислуга мечется съ оготѣлымъ видомъ.

За кофеемъ пробѣгаю газеты.

Въ Нижнемъ ихъ три: «Волгарь», «Нижегородскій Листокъ» и «Нижегородская Почта». Последняя издается только во время ярмарки. На первой страницѣ объявленія о зрѣлищахъ. Въ большомъ ярмарочномъ каменномъ театрѣ — опера; кромѣ того, есть драматическій театръ, кафе-шантанъ въ залѣ Семенова, «театръ-паризьентъ» Омона, который перекочевываетъ сюда изъ Москвы, циркъ Никитиныхъ, нѣсколько увеселительныхъ заведеній и балагановъ.

Въ пять часовъ отправляюсь на скачки. Ипподромъ за ярмаркой, въ Кунавинѣ.

Публики немного, скачки ведутся вяло; призы берутъ все больше кони мѣстныхъ крезовъ: Рукавишниковыхъ, Переполичевыхъ, Дунаевыхъ, Блиновыхъ, Голубевыхъ. Среди зрителей — большая половина восточныхъ типовъ, нѣсколько халатовъ, нѣсколько фесокъ, нѣсколько смуглыхъ азиатскихъ фizioномій, огарнированныхъ европейскими костюмами, нѣсколько темныхъ личностей, которыя то и дѣло пристають съ предложеніемъ попробовать счастье на тотализаторѣ.

Восточные люди, преимущественно армяне, идутъ парн, но все на небольшой суммы. Какой-то черномазый восточный князекъ, съ сѣмъ юноша, оглядываетъ публику черными и жгучими, какъ у ликаго звѣрка, глазенками; по-русски онъ еле говоритъ, но все-таки играетъ и волнуется. Дамъ мало, большой публики, кромѣ «своихъ», почти никого; нѣсколько кокотокъ, нѣсколько чумахихъ кавалеровъ съ толстыми шеями и животными лицами. Въ общемъ преобладанье какого-то грубого, некультурнаго элемента; чувствуется, что эта толпа собралась сюда не столько ради скачекъ, какъ для того, чтобы обдѣлать дѣла; атмосфера купли, продажи, сдѣлокъ и барышей сквозитъ во всемъ и здѣсь. Предъ вами не фешенебельные спортсмены-любители, а случайные зрители, которые очень мало интересуются въсѣмъ этимъ. И васъ опять невольно охватываетъ чувство, что съ этими господами надо быть насторожѣ.

Смеркается. Со скачекъ отправляюсь на ярмарку. Она залита электрическимъ свѣтомъ. Улицы запружены. Всюду праздничная толпа и толкотня.

Подъ ярмаркой свыше семисотъ двадцати десятинъ. Центръ ея—главный ярмарочный домъ, величественное, красивое зданіе, напоминающее московскіе пассажи и новыя торговые ряды. Построено оно въ 1890 г. Внутри—такіе же магазины, такіе же хоры и перекинутые арками мостики. На время ярмарки губернаторъ поселяется здѣсь, въ специально устроенной для этого квартирѣ. Со всѣхъ сторонъ главный домъ окружаютъ каменные одноэтажные склады, всего шестьдесятъ отдѣльныхъ корпусовъ, вытянувшихся рядами, точно по ротамъ. За ними неуклюжее огромное зданіе театра, нѣсколько улицъ съ двухъ-этажными и трехъ-этажными домами, занятыми разными гостиницами, подворьями, номерами, трактирами, кафе-шантанами, трехъ-этажная коробка—«театръ-паризьенъ» Омона съ отдѣльными кабинетами, нѣсколько пассажей; всѣ они деревянные и построены по типу большихъ балагановъ-сараявъ съ двумя сквозными воротами и двумя рядами лавокъ. Въ главный домъ и пассажиахъ играетъ военная музыка.

Весь этотъ своеобразный городъ, имѣющій какой-то сборный видъ, совершенно обособленъ отъ Нижняго, который высится на горахъ, по ту сторону Оки, сверкая тысячами огней. Жизнь на ярмаркѣ начинается съ половины іюня; открывается она 15 іюля и продолжается полтора—два мѣсяца; въ остальное время здѣсь пустынно, какъ въ какомъ-нибудь городѣ мертвыхъ. Весной, въ половодье, ярмарку заливаютъ водой; главный домъ, театръ, трехъ-этажные зданія—все это въ водѣ, которая иногда поднимается на шесть саженъ, такъ что пароходы могутъ свободно плавать по улицамъ. Послѣ спада водъ, въ маѣ, наводятъ пласкоутный мостъ, и тогда только между ярмаркой и Нижнимъ устанавливается постоянное сообщеніе. Поздней осенью и весной переправа чрезъ Оку и сообщеніе съ вокзаломъ производятъ пароходики и на лодкахъ.

ГЛАВА XI.

Нижний и ярмарка. — Опера и ярмарочная публика. — Кунавинская вакханалия. — Для коммерческаго оборота. — Въ главномъ домѣ и пассажиахъ. — Торговля. — „Верхній“ Нижний. — Видъ на городъ и ярмарку. — На Окосѣ. — Волжская панорама.

Ярмарка и въ административномъ, и въ муниципальномъ отношеніи живетъ своей особенной жизнью. Ею завѣдуетъ ярмарочный комитетъ, во главѣ съ губернаторомъ, доходы съ нея поступаютъ въ ея же пользу, она имѣетъ свой отдѣльный, очень большой штатъ полиціи, свою почтовую контору, свой телеграфъ. Въ ярмарочныхъ барышахъ Нижний остается при пиковомъ интересѣ. Ярмарка кажется въ отношеніи его какимъ-то наростомъ; она пух-

нетъ, раздувается и впитываетъ въ себя всѣ жизненные силы его; онъ будто мертвѣетъ, атрофируется; коммерческій людъ переключивается на ту сторону Оки; нѣкоторые магазины закрываютъ; въ общемъ фizioномія верхняго города имѣетъ запустѣлый провинціальныя видъ губернскаго центра средней руки, да еще въ канікулярное время, когда разъѣзжаются на дачи.

Обыкновенно въ Нижнемъ до 70.000 жителей; но уже съ открытіемъ навигаціи населеніе его возрастаетъ до ста тысячъ; къ ярмаркѣ, сверхъ того, стекается до двухсотъ тысячъ. Нѣкоторые увѣряютъ даже, что четыреста. Какъ бы то ни было, но все это создаетъ совсѣмъ своеобразную особенность нижегородской жизни, полной приливовъ и отливовъ, то кипищей въ ярмарочномъ угарѣ, то совсѣмъ замирающей. Зимой Нижній—заурядный городъ, съ небольшимъ скучающимъ обществомъ, отсутствіемъ движенія и развлеченій, съ плохенькимъ театромъ. И жизни, и прислуги, и квартиры въ это время дешевѣютъ. Но наступаетъ весна—и картина сразу мѣняется. Къ ярмаркѣ кризисъ становится еще острѣе. Мнѣ рассказывали, что за три мѣсяца ярмарочнаго сезона жизнь обходится почти столько же, сколько и въ остальное время года. Изъ верхняго города извозчики и прислуга перебѣгаютъ внизъ, къ ярмаркѣ и пристанямъ, на легкіе заработки; да и не мудрено: женская прислуга—и та въ какихъ-нибудь шесть недѣль зарабатываетъ свыше ста рублей.

Нижегородцы и любятъ свою ярмарку, и гордятся ей, но въ то же время и ворчатъ: она ошеломляетъ, опьяняетъ, перенарачиваетъ всю жизнь, наполняетъ ее чадомъ и лихорадочнымъ напряженіемъ. Все выходитъ шиворотъ на выворотъ: зимой—скука и запусѣнье, въ августовскій зной—драма и опера, пестрота и суетолока, веселье и разгулъ, какихъ не бываетъ даже въ крупныхъ центрахъ жизни въ разгаръ сезона.

Отправляюсь въ оперу.

По улицамъ, залитымъ электрическимъ сіяньемъ, непрерывно плыветъ шумная, густая, праздная толпа. Людской говоръ сливается съ грохотомъ экипажей, военной музыкой, гремѣющей въ пассажиахъ, и звуками органовъ, вылетающими изъ настежь раскрытыхъ оконъ трактировъ. Хаосъ невообразимый, шаша одуряющій; все вокругъ клопочетъ точно въ котлѣ; и чего-чего только нѣтъ въ этой международной европейско-азиатской кашѣ.

Извозчикъ не знаетъ, гдѣ опера. Обращаюсь къ городовому. Полиція здѣсь вся на подборѣ; видъ дюжій, внушительный, молодеватый, расторопный; всѣ подтянуты и «выдерканы» въ строгомъ стилѣ» энергичной административной руки генерала Баранова. Однако, городской тоже не знаетъ, гдѣ опера. Омона знаетъ, пиркъ знаетъ, а оперы не знаетъ. Недалеко стоитъ околоточный; онъ любезно подходитъ и любезно козыряетъ, справляясь, въ чемъ дѣло. Говорю.

— Вамъ, вѣроятно, въ ярмарочный театръ?

— Не знаю, какой онъ, ярмарочный или нѣтъ, но мнѣ нужно въ оперу...

Околоточному тоже неизвестно, где опера. Разговор этот происходит в двух шагах от ярко освещенного подъезда ярмарочного театра. Я кричу и переспрашиваю, так как уличный гуль заглушает голоса. Отправляюсь въ театр справиться; здесь и есть опера. Дают «Свѣтлоручку». Театръ большой, но неудобный. Артисты московской оперы. И партеръ, и ложи биткомъ набиты. Публика разношерстная, ярмарочная. Въ говорѣ преобладаетъ оканье. Особенно рѣзко слышится оно въ буфетѣ, во время антрактовъ; темы разговора тоже ярмарочныя, опять разныя сдѣлки, купля, продажа, сираскиванья. Душная атмосфера пропитана винными парами. Аплодируетъ публика какъ-то стихійно, иногда и съ ревомъ; аплодисменты срываются неожиданно, иной разъ и невольно; это не одобренье проникнутой критическимъ чутьемъ большой культурной публики,—это вихрь безотчетнаго экстаза и «нутреннаго» воспріятія. Хотя опера и московская, но ансамбль не важный; хоры хромаютъ, въ оркестрѣ недочеты. Можно подуматъ, будто ярмарочный утаръ отразился и на исполнителяхъ. Кассиловъ, въ роли бобыля Вакулы, очень удачно копируетъ волжское оканье. Это приводитъ публику въ восторгъ; она изступленно аплодируетъ, требуя повторенія.

Въ полночь на ярмаркѣ уличная жизнь еще кипитъ. Театральная публика разливается потокомъ, истрѣбляясь съ цирковой; у Омона громадный залъ съ сотнями столиковъ и отдѣльные кабинеты переполнены. То же и въ другихъ ресторанахъ и трактирахъ. Въ Кунавинѣ только теперь начинается разгулъ. Въ притонахъ—музыка, хористы и хористки, пытанскіе хоры, артистки, пьяныя пѣсни, полная удали, «тринь-травы», жгучаго зноя страстей и оупьянѣнія разврата.

Кунавинская вакханалія приобрѣла всероссійскую извѣстность; кунавинскіе вертены даютъ неисчерпаемую пищу для уголовной хроники. Но и здѣсь энергичная рука генерала Баранова поднянула дебошъ и сумасшедшую оргію. Купецъ, правда, пытается попрежнему развернуться во всю, но полиція настроенъ; она съ предупредительной любезностью идетъ навестиру купецкому «надрву» и охраняетъ обезумѣвшаго въ разгулѣ Кить Китьча отъ «котируванія» разныхъ пройдохъ и аферистовъ и темныхъ личностей.

Для три-четыре тому назадъ въ Кунавинѣ разыгрался слѣдующій «инцидентъ», который передаю со словъ нижегородскихъ газетъ. Съ ярмарки исчезъ вдругъ арзамасскій купецъ Л. Жена, проживавшая съ нимъ въ номерѣ, бросилась въ логоно. Поиски долго оставались тщетными. Но наконецъ она-таки обрѣла его. На него нашелъ «стихъ», онъ ухалъ на Самокаты и закутилъ въ какомъ-то заведеніи. Жена входитъ въ номеръ вмѣстѣ съ полиціей. Л.—пьянъ. На столѣ, на кровати и на полу разбросаны пакки ассигнацій.

— Извините, ваше благородіе, немножко загулялъ, — говоритъ Л., добродушно улыбаясь. — Сами знаете—ярмарочное время. Деньги собираютъ и считаютъ. Ихъ оказывается до шестидесяти тысячъ. Цѣлое состояніе! Надо только удивляться, какъ не

расхилили это богатство. Лѣтъ двадцать тому назадъ не только капиталъ исчезъ бы, но и самъ купецъ, пожалуй, сталъ бы «мертвымъ тѣломъ», которая такъ часто изрыгаетъ изъ себя Волга, храня тайну смерти и преступленія.

Другой случай. Купецъ выѣзжаетъ изъ Нижняго. Жена провозжаетъ его. На пристани трогательная сцена разлуки. Пароходъ уходитъ. Жена шепчетъ вслѣдъ благословенія. Проходить три-четыре дня, купецъ не возвращается. Жена въ тревогѣ. Телеграммы летятъ за телеграммами, то въ Балахну, то въ Богородскъ, то въ Казань. Купецъ какъ въ воду канулъ. Тогда жена отирается въ поиски. Идетъ на пристань, садится на пароходъ. Звонокъ, другой. Вдругъ—къ пристани подъѣзжаетъ «самъ». Онъ навеселѣ, видъ распаренно-оголтелый. Оказывается, что онъ съ первой же станціи вернулся прямо въ Кунавино—и закутилъ.

Такия сцены и бытовые картинки, во вкусѣ комедіи Островскаго, на ярмаркѣ случаются нерѣдко.

Въ этомъ разгулѣ, часто дикомъ, неожиданномъ для самого виновника, есть что-то въ высшей степени характерное, подчеркивающее какой-то стихійный размахъ русской натуры. Въ самомъ дѣлѣ, сидитъ этотъ самый купецъ годами въ какой-нибудь Балахнѣ или Кинешмѣ, торгуетъ смирно, спокойно, копитъ деньги, даже ближняго не прочь надуть; каждый день его жизни проходитъ въ помислахъ о томъ, какъ бы побольше да скорѣй нажитись. А потомъ глядь—эта трезвая, уравновѣшенная, повидимому, спокойная натура точно съ цѣпи срывается и начинаетъ гулять до безпамятства, до умопомраченія. Человѣкъ теряетъ подъ собой почву; то, въ чемъ онъ видѣлъ все благополучіе своей жизни, деньги, становятся вдругъ «тринь-травой»; онъ будто извѣрился въ томъ, къ чему десятками лѣтъ неслись всѣ его помыслы, онъ будто охваченъ какимъ-то инстинктивнымъ сознаніемъ, налетѣвшимъ сразу, какъ вихрь, что не въ деньгахъ смыслъ и цѣль жизни; и тогда, словно пытаясь сорвать съ себя ихъ цѣпи, онъ начинаетъ самоудурствовать и сорить ими безъ удержу.

Правда, и ярмарочный чадъ хоть кого одурманитъ. Подъ безпрерывный шумъ и праздничный гулъ здѣсь въ нѣсколько часовъ заключаются сдѣлки, приносящія вдругъ сотни тысячъ барыша. И около каждой такой сдѣлки вертятся десятки проницательныхъ маклеровъ, факторовъ, паразитовъ и авантюристовъ, на долю которыхъ тоже перспадаетъ не мало.

Губернаторъ на время ярмарки по необходимости переѣзжаетъ изъ дворца, что въ Кремлѣ, въ главный домъ, въ самый центръ «всероссійскаго торжища». Здѣсь сосредоточены всѣ рычаги административнаго механизма ярмарки, и отъ него нельзя оторваться ни на минуту.

На дняхъ, какъ передатъ «Нижегородская Почта», въ кабинетъ «управляющаго ярмаркой», генерала Баранова, былъ вызванъ какой-то еврей для объясненій.—Вы такой-то? спросилъ генералъ.—

Я-сь.—Дежурный, прочтите вслух телеграмму. Чиновник читает: «Срочная. Переведите немедленно тринадцать тысяч, чтобы скорѣе кончить дѣла; на ярмаркѣ эпидемія холеры страшно усиливается, умираютъ на улицахъ, всѣ разлѣзжаются». —Это вы писали? Я-сь.—Откуда вы взяли эти свѣдѣнія?—Я слышалъ на ярмаркѣ.—Хорошо-сь. Потрудитесь теперь лично провѣрить слышанное вами. Я сейчасъ пошлю васъ въ холерные госпитали. Побѣжайте съ провозкитомъ, осмотрите каждаго больного и тогда скажите мнѣ, есть ли эпидемія, или только нѣсколько больныхъ. —Простите, ваше превосходительство, я телеграфировать это только для «коммерческаго оборота». Никакъ не могу получить денегъ — и выдумалъ, будто холера... По глупости сдѣлать.

Такихъ происковъ, на которыхъ строятся собственные интересы въ ущербъ общему благополучію,—тысячи. Приходится все время быть насторожкѣ, предусматривать, предупреждать. На ярмаркѣ цѣлѣмъ штатъ сыскной полиціи.

Евреевъ совсѣмъ не видно. Я, по крайней мѣрѣ, не замѣтилъ ни одного. Отношеніе къ нимъ не только среди купечества, но и въ печати—враждебное. Сегодня въ одной изъ московскихъ газетъ я прочиталъ: «въ настоящее время этой пархатой саранчи ярмарка имѣетъ, по официальнымъ свѣдѣніямъ, до двухъ тысячъ головъ; 200 евреевъ удалились сами собой, не имѣя права проживать здѣсь».

Купечество, присвоившее себѣ, съ развязностью узурпатора, званіе «всероссійскаго», прекрасно знаетъ, что вся Западная Россія во власти «саранчи». Сознаніе это мутитъ его, но въ единоборствѣ съ ней оно что-то не рѣшается вступить, а только язвить се.

Возвращаюсь въ Нижній гнѣзкомъ. Часть ночи. По плашкоутному мосту движутся темныя тѣни вострѣчными теченьями. Звѣздное небо совсѣмъ черное. Оно сливается съ высокими берегами, усыпанными такими же міриадами звѣздъ; на тысячахъ барикъ, исчезающихъ во мглѣ вдоль лѣваго берега Оки, свѣтятся пестрые, зеленые, красные и синіе огоньки. На правомъ берегу, на пристаняхъ, мачтахъ и въ окошечкахъ пароходныхъ каютъ,—тоже разноцвѣтныя огненныя гирлянды; рѣка отражаетъ и звѣзды, и береговые огни, и электрическіе фонари ярмарки, окутанной снѣгомъ. И отовсюду изъ окружающей мглы, въ которой то замираютъ, то нарастаютъ звуки музыки, мигаютъ пестрыя звѣздочки, исчезая вдали надъ темной, безмолвной бездной Волги, будто притаившейся въ страстномъ ожиданіи съ Окой, отдающей ей всѣ свои силы, всю свою жизнь.

13-е августа.

Съ утра я на ярмаркѣ. Направляюсь сначала въ главный домъ. Толпа такая же, какъ и вчера, но торговля идетъ не бойко. Публика больше присматривается и прищипывается. И здѣсь, и въ пассажахъ раздробительная торговля; а въ складахъ и магазинахъ по всей ярмаркѣ—только оптовая. Тамъ продаютъ и покупаютъ не пуды, не фунты, не аршины, а тысячи пудовъ, десятки тысячъ ар-

шинъ, эти громадныя горы желѣза, хлопка, тканей, яшиковъ, что выросли цѣлыми пирамидами вдоль складовъ, на тротуарахъ, у берега Оки, на баржахъ.

Магазины въ главномъ домѣ—такія же клѣтки, какъ и въ московскихъ пассажахъ.

Нарочно записываю главные предметы торговли: Барилусовъ — восточныя ткани, ковры персидскіе и туркестанскіе, Шапочниковъ — серебряныя и золотыя вещи, Федотовъ — матеріи, Лукашовъ — ювелирные издѣлія, Кечеліевъ — опять восточныя матеріи и ковры, Брокаръ — косметическіе товары, Корниловъ и внуки — образа, Хаджейнатовъ — снова восточныя матеріи; далѣе — пряники, эмальрованная посуда, стеклянная посуда съ вырѣзываньемъ на стеклѣ пиццаловъ заказчиковъ, французскій магазинъ съ платками, на которыхъ любезныя француженки вышиваютъ, по вашему заказу, разныя надписи вроде «souvenir de Nîmes» и т. п., французская «бижутерія и аркантерія» изъ разныхъ композицій и имитаций, казанское мыло съ татарской рожей, какъ бы для доказательства, что никакое мыло не можетъ измѣнить этой рожи, опять пряники, фрукты, галантерейные товары...

Въ общемъ—ничего выдающагося, все это можно найти и видѣть въ любомъ городѣ, на любой выставкѣ. Персы, татары, туркмены и кавказцы имѣютъ видъ восковыхъ фигуръ странствующихъ «музеевъ». Кажется, будто они приставлены для того только, чтобы придать азіатскимъ товарамъ азіатскій букетъ. Публика разсматриваетъ ихъ, шутаетъ и мнетъ ковры, но покупаетъ мало. Видно—приглядѣлось.

Въ шести пассажахъ, огромныхъ деревянныхъ сараяхъ, тѣ же перегородки, тѣ же товары, только попроще; попадаютъ и такіе продукты, которые на фабрикахъ, при сортировкѣ, идутъ въ бракъ и сбываются за четверть цѣны. Они расчитаны на восточныхъ покупателей, не очень-то понимающихъ въ европейской мануфактурѣ. Этого «брака» и «второго сорта» на ярмаркѣ не мало. А между тѣмъ сбывается онъ здѣсь по такимъ же цѣнамъ, какъ и товаръ высшаго качества. Оказывается даже, что на ярмаркѣ нѣкоторыя вещи дороже, чѣмъ въ Нижнемѣ, чѣмъ въ другомъ городѣ.

Мнѣ, напримѣръ, понадобилось купить нѣсколько паръ манжетъ и воротничковъ. Я обошелъ всѣ магазины главнаго дома, всѣ пассажи — и нигдѣ не могъ найти чисто льняныхъ издѣлій. Что ни покажутъ—либо бумага, либо «мадпаламъ», и то въ очень плохой и грубой видѣлкѣ. Но этого мало. Въ поискахъ манжетъ я обошелъ вмѣстѣ съ моимъ знакомымъ десятокъ магазиновъ въ Нижнемѣ — и тоже не могъ найти ничего сноснаго. Куда ни зайдешь — всюду одинъ и тотъ же отвѣтъ: «наши товары на ярмаркѣ; а на ярмаркѣ ничего нѣтъ».

Фактъ этотъ очень характеренъ. Раздробительная торговля на ярмаркѣ ведется «между прочимъ», но она не имѣетъ никакого значенія. Зато оптовая поражаетъ своими размѣрами. Сейчасъ у моста цѣлый островъ, занятый горами желѣза, далѣе начинается

Сибирская пристань съ тысячами баржъ, вытянувшихся вдоль берега тѣсными рядами, амбарами, складами и бараками, расположенными надъ Волгой на двѣ съ половиной версты. Между ними и на баржахъ—цѣлыя груды хлопка, пирамиды ящиковъ, батареи бочекъ, горы арбузовъ и дынь, гигантскія колонны пеньки и канатовъ, кожи, ободья, мѣшки, — и такъ безъ конца. У величественнаго собора, господствующаго надъ ярмаркой, изящные китайскіе павильоны съ баррикадами ящиковъ и цибиковъ съ чаемъ. По другую сторону моста—рыбный рынокъ съ цѣлымъ караваномъ баржъ.

Сдѣлки все крупныя, грандіозныя. Одна фирма сразу закупаетъ шестьдесятъ тысячъ веледь вина, другая—тысячи пудовъ чая, четвертая—сотни тысячъ и миллионы аршинъ ситца.

Коммерческое напряженіе ярмарки отражается и на печати. Въ корреспонденціяхъ и курсовыхъ телеграммахъ чувствуется реклама. Между ярмарочными корреспондентами завывается полемика, полная довольно откровенныхъ намековъ. Въ одной газетѣ корреспондентъ описываетъ настроеніе рыбнаго рынка въ самыхъ радужныхъ краскахъ, въ другой говорится, что никогда этого рынокъ не производить болѣе унылаго впечатлѣнія; одинъ корреспондентъ интервьюируетъ коммерціи совѣтника Щукина, чтобъ опредѣлить положеніе ситцеваго дѣла, выхваляетъ качество ситцевъ фабрики Цинделя, вырабатывающей 1.200,000 кусковъ въ годъ—на десять миллионъ рублей, другой вышучиваетъ его, увѣряя, что «интервьюера», по распоряженію коммерціи совѣтника Щукина, артельщики окатили тремя ведрами воды...

Совѣтъ по-американски, но пока еще въ приличномъ тонѣ.

Обѣдаю у Омона.

Огромный залъ со сценой и грубо написанными кулисами совсемъ почти пустой. Кромѣ меня, два-три посѣтителя да нѣсколько французеночекъ изъ состава кафе-пантанной труппы. И у нихъ, и у лакейскіхъ совсѣмъ заспанный и поношенный видъ. Оркестръ играетъ какой-то маршъ и невозможно фальшивитъ; резонансъ вторитъ этой какофоніи. Оказывается, что днемъ ресторанъ не посѣщается; зато ночью здѣсь негдѣ яблоку упасть. На всей обстановкѣ, отъ грубо наклеиваемыхъ колоннъ и нарисованныхъ на окнахъ драпировокъ до грязнаго пола въ узорѣхъ и измятой скатерти,—печать чего-то пошлаго и кабацкаго. Однако, обѣда изъ четырехъ блюдъ—полтора рубля. И прескверный обѣдъ.

Вечеромъ я опять на ярмаркѣ, а потомъ въ оперѣ.

14-е августа.

Вду въ верхній городъ къ знакомымъ. Онъ соединенъ съ нижней частью и набережной лѣткою «съѣздами». Зеленскій, по которому поднимаюсь, страшно крутой. Лошадь плетется шагомъ, дорога изгибается надъ обрывомъ. По бокамъ—опять столбы съ рекламными, и такъ до самой вершины Дятловыхъ горъ. Выѣзжаю на Благовѣщенскую площадь. Слѣва Кремль съ его дворцомъ, бѣлыми соборами, Аракчеевскимъ кадетскимъ корпусомъ, сѣдыми башнями и

стѣнами, сползающими уступами къ Волгѣ, справа отъ площади расходятся радіусами главныя улицы города.

У подлѣзда звоню напрасно добрыхъ десять минутъ. Наконецъ въ передней раздаются шаги, и двери растворяются.

— Извините, мы остались безъ прислуги.

Спустя полчаса отправляюсь въ компаніи осматривать въ Кремлѣ Спасо-Преображенскій соборъ съ гробницей Минина, Архангельскій, построенный въ одномъ году съ основаніемъ Нижняго-Новгорода, почти семью столѣтіямъ тому назадъ, и крѣпостныя стѣны, заложенныя въ пятнадцатомъ вѣкѣ. Послѣ московскаго Кремля и московскихъ древностей, здѣсь все кажется блѣднымъ. Но историческое обаяніе все-таки очень сильно. Вспоминается понизовая воляница, опять нашествія татаръ и мордвы, оплотъ, которымъ служила нижегородская земля отъ всѣхъ этихъ нашествій для Московскаго государства. И ярче всего изъ фона прошлаго выступаютъ двѣ могучія фигуры нижегородцевъ—Минина и Пожарскаго, съ ихъ захватывающимъ, какъ волжская ширь, призывомъ къ подвигу.

Въ Мининскомъ саду, надъ кремлевской башней, поставлены имъ памятники, небольшой обелискъ.

Отсюда открывается дивный видъ. Купецъ, пожалуй, правъ. Ока и Волга дѣйствительно связаны какъ большой и указательный пальцы. Устье Оки пошире Волги—и вслѣдствіе этого многіе принимаютъ Оку за Волгу.

Дятловы горы изогнуты угломъ у ихъ слиянія.

Кремль гордо высится надъ отвѣсными высокими берегами. Слѣва, съ одной изъ башенъ, открывается видъ на обѣ рѣки, нижній городъ, мостъ, пристани, Куванино и ярмарку съ главнымъ домомъ, двумя соборами и татарской мечетью; вдали, къ сѣверу, надъ Волгой бѣлѣтъ цѣлый убаданный городокъ съ многоэтажными постройками. Это громадный Сормовскій машиностроительный и чугунолитейный заводъ. Ярмарка какъ на ладони. Вдоль нея торговля пристани съ тысячами баржъ и цѣлымъ лѣсомъ мачтъ. Напротивъ, почти подо мной, въ пропасти, у этого берега Оки и Волги, пассажирскія пристани съ сотнями пароходовъ, нестрыми крышами пароходныхъ станцій, мачтами, трубами и флагами. Еще ближе, вдоль набережной, Рождественская улица съ огромнымъ Блиновскимъ пассажемъ, сіяющимъ зеркальными стеклами. Немного выше лѣнятся по склону горъ три церкви; изъ нихъ выдѣляется Строгановская темно-малиноваго цвѣта, въ зеленоватыхъ змѣйкахъ и бѣлыхъ виноградныхъ листьяхъ, съ вычурными колоннами и карнизами, стройная, изящная, легкая, полная фантастичной прелести и граціи. Все это тонетъ въ морѣ зелени. На ярмаркѣ, внизу, на улицахъ, на пристаняхъ и пародокахъ—вездѣ копошится суетливый черный людской муравейникъ. Видъ дѣйствительно очень напоминаетъ кievскій; но ярмарка и пристани придаютъ какой-то практическій и прозаическій отблескъ картинѣ. Вамъ вспоминается Одесса съ ея гаванями и торговлей, съ ея биржей, цѣнами на хлѣбъ и погоней за наживой; вы не можете ни на минуту забыть,

что въ этомъ гигантскомъ трудѣ, въ этой мощной картинѣ человеческой дѣятельности клокочетъ неумолимо жестокая борьба изъ-за существованія. По рѣкѣ безпрерывно, во всѣхъ направленіяхъ, тянутся на буксирѣ веренища коломенокъ, снуютъ катера, бѣгаютъ громадные американскіе пароходы, носятся еле замѣтной скорлупой ялики и лодки, ползутъ, точно уродливые верблюды, караваны баржъ съ прикрытымъ брезентовъ грузомъ. Все это жуужитъ, свиститъ, гудитъ, шипитъ и реветъ... Какой-то безпрерывный концертъ, рѣжущій, но веселый, бодрящий и такой же возбуждающій, какъ неумолчный гулъ ярмарки, какъ грохотъ города, напоминающій шумъ мельничныхъ колесъ или водопада.

Но стоитъ только отойти отъ башни къ югу — и картина мѣняется. Ока, ярмарка, нижній базаръ и пристани исчезаютъ. Предъ нами разворачивается необозримая степь, по которой широкимъ зеркальнымъ озеромъ наползаютъ съ сѣвера Волга. Тамъ и сямъ въ безконечной равнинѣ снѣжуютъ лагуны и змѣйки рѣкъ, зелѣютъ изумрудные заливные луга, усѣянные стогами съ сѣномъ, бѣлѣютъ десятки деревень, изъ которыхъ выдѣляется большое торговое село Борь. Горизонтъ кажется безграничнымъ; даль будто таетъ, сливаясь съ небомъ... И только въ эту минуту вы понимаете всю мощь, все величіе Волги, которая здѣсь, у слиянія съ Окой, разлилась озеромъ верстъ въ пять шириной, а у устья, за Астраханью, расплывается иногда на двѣсти верстъ, въ цѣлое море. Три тысячи двѣсти пятнадцать верстъ ползетъ она по безконечной русской равнинѣ, поглощая до сорока судоходныхъ и до ста шестидесяти несудоходныхъ рѣкъ, пронося ежегодно нѣсколько сотъ миллионѣвъ нудовъ груза, пятнадцать тысячъ судовъ, двѣ тысячи пароходовъ, до двухъ десятковъ тысячъ плотовъ и бѣлянь. Надо только представить себѣ эту флотилію, эти веренища судовъ, разбѣжавшихся нескончаемой лентой на тысячи верстъ и разносящихъ жизнь по этому великому русскому пути...

Почему-то въ эту минуту мнѣ становится особенно понятнымъ порывъ русской души создать что-нибудь такое огромное, подавляющее размахомъ, богатырское, какъ царь-пушка или царь-колоколъ; въ немъ какъ будто сказалося, что-то, навѣянное разстилающейся предо мной величавой и могучей царь-рѣкой.

Еще книжѣ, между кремлевской стѣной и Печерскимъ монастыремъ, выдѣляющимся близкой своихъ колоколенъ на фонѣ темной кудрявой зелени, одинъ изъ самыхъ красивыхъ уголковъ Нижняго — живописный паркъ Откосъ. Начинаясь у стройной бѣлоснѣжной Георгіевской церкви и палатъ Рукавишникова, онъ ниспадаетъ террасами по крутому обрыву до самой Волги. Надъ Откосомъ тянется длинная асфальтовая мостовая съ изыщной балюстрадой, отдѣляющей паркъ отъ улицы; она служить для нижегородцевъ своего рода Champs Elysées. Теперь и ярмарка, и пристани, и Нижній совсѣмъ исчезли. Со всѣхъ сторонъ море зелени, изъ котораго выглядываютъ слѣва утробы башни и стѣны Кремля, опускающіяся гигантскими уступами къ берегу, да пестрая крыши

павильоновъ, ресторана и бесѣдокъ, раскинутыхъ вдоль располагающихся зигзагами дорожекъ.

Здѣсь совсѣмъ тихо. Гулъ города сюда не долетаетъ. Слышимъ только шелестъ листьевъ да какое-то дыханіе, наполняющее воздухъ. Кажется, будто это дышетъ величавая голубая красавица-рѣка, ползущая по залитой солнцемъ безбрежной изумрудной степи, — дышетъ и о чемъ-то шепчется съ высокими берегами, сѣдами скалами и деревьями, кивающими ей своими верхушками.

Какой захватывающій и чарующій видъ! Въ душу нисходитъ глубокой покой; нервы, послѣ возбуждающей ярмарочной сутолоки, будто скованы какимъ-то сладостнымъ изнеможеніемъ. Не хочется ни думать, ни говорить, хочется только оставаться подъ зеленымъ шатромъ деревъ и глядѣть, забывъ житейскую суету со всей ея обманчивой мишурой, глядѣть безъ конца, любясь живописной панорамой Волги съ ея величественнымъ просторомъ...

ГЛАВА XII.

Пароходство по Волгѣ. — На пристани. — «Некрасовъ». — Пароходная обстановка. — Плышемъ. — Панорама Нижняго. — Волжскій просторъ. — Пассажиры. — Споръ казачка и нижегородца о выставкѣ. — Мазутъ и раба. — Волга Некрасова. — Бурлаки. — Типъ волжанина. — Ночь. — «Рѣка времени».

15-е августа.

Ясное утро. Еще разъ заглядываю на ярмарку. Толчея, суматоха, безпрерывный гулъ и грохотъ. И ярмарка, и раскинутый на горахъ Нижній пестрятъ флагами. Надъ городомъ и рѣкой расплывается торжественными переливами колокольный звѣкъ.

Въ главномъ домѣ захожу на телеграфъ. У кассы вытянулся длинный хвостъ подателей телеграммъ. Нарочно считаю: ждетъ очереди свыше тридцати человѣкъ. И такъ здѣсь весь день. Приходится простоять часа два, чтобы подать телеграмму.

Пароходъ отходитъ въ часть.

Гостиничный счетъ — совсѣмъ ярмарочный: три дня жизни въ гостиницѣ обходятся дорожѣ, чѣмъ цѣлая недѣля въ Москвѣ, въ Лоскутной. Справляюсь въ двухъ путеводителяхъ по Волгѣ (гг. Сидорова и Демьянова) относительно пароходства. Обѣ книжки составлены недурно и служатъ практическимъ подспорьемъ для волжскихъ туристовъ. Послѣ отсутствія путеводителя по Москвѣ и Россіи, онѣ являются совсѣмъ приятнымъ и почти неожиданнымъ сюрпризомъ. Впрочемъ, за послѣдніе два-три года нѣкоторыхъ изъ пароходныхъ обществъ, пытаясь привлечь путешественниковъ на Волгу и ознакомить ихъ съ ней, стали издавать справочныя книжки и практическіе гиды.

Буду къ пристанямъ или «конторкамъ».

Ихъ здѣсь больше тридцати и всѣ онѣ вытянулись подъ Нижнимъ вдоль праваго берега Волги. Главная пароходная общества —

«Кавказъ и Меркурій», «Самолетъ», «Зевсеке», «Пароходство по Волгѣ», Курбатова, Любимова, множество товаро-пассажирскихъ и грузовыхъ компаній, туэрное пароходство—всего и не перечести. Первый дебютъ пароходъ сдѣлалъ на Волгѣ еще въ 1818 году, но дебютъ весьма печальный и неудачный. Волжанинъ, привыкшій къ сплоти баркамъ, баржамъ, бѣлянамъ и коломенкамъ, называвъ его «торговой расшивой». Только спустя четверть вѣка паръ съ торжествомъ и разъ навсегда завоевалъ Волгу. Теперь на Волгѣ и съ пригокахъ непрерывно движется до двухъ тысячъ паровыхъ судовъ.

Пароходное дѣло развилось здѣсь только за послѣднія двадцать лѣтъ; впереди у него еще цѣлое будущее—и будущее блестящее, если Волга не обмелѣетъ въ концѣ; есть много судоходныхъ притоковъ, по которымъ пароходы забѣгали еще недавно. И здѣсь, какъ и въ жизни, борьба за существованіе и конкуренція дѣлали свое: пароходы старого типа, сыгравъ свою роль, уступали мѣсто новымъ, болѣе приспособленнымъ, разнымъ американскимъ гигантамъ, цѣлымъ трехъ-этажнымъ гостиницамъ, съ полнымъ комфортомъ и быстрымъ ходомъ. Нѣкоторые пароходы похожи на изящные небольшие дворцы съ балконами и верандами. У каждой пристани ихъ по нѣскольку; всѣ стоятъ, пыхтятъ и ревуть въ ожиданіи; одни вдругъ отдѣляются отъ берега сразу всей своей бѣлой массой и бѣгутъ на сѣверъ, унося сотни пассажировъ, облѣпившихъ борта словно мурашки, другіе упираются на югъ, третьи несутся откуда-то издали, вырастаютъ и, всплывая рѣку, приглатываютъ. Волга колышется и будто кишитъ; а вмѣстѣ съ ней колышутся и то всплываютъ, то исчезаютъ крошечные катера, бойко и сердито попискивая, наярютъ и взлетаютъ ялики съ надутыми парусами, которые на громадной рѣкѣ, среди исполинскихъ судовъ, кажутся крылышками бѣлыхъ мотыльковъ.

На пристаняхъ кишитъ шумная, озабоченная, сбѣгающая толпа пассажировъ; палубной публики масса; носильщики непрерывно проходятъ по мосткамъ, пзгнбаясь подъ тяжестью груза и багажа, сбрасывая съ какимъ-то ожесточеніемъ тюки, ящики, рогожки; голоса сливаются въ какой-то гулъ, который заглушаетъ рычанье пароходовъ.

Это движеніе, эта пестрота жизни, эти ежеминутно пристающие и отдѣляющіеся отъ берега бѣлые дома, то уносящие, то приносящие толпу людей, невольно ошеломляютъ; вы не успѣли отвернуться отъ одного парохода, за которымъ сбѣжали, какъ онъ исчезъ, а на его мѣстѣ вытянулась вереница баржъ, которую тащитъ карликъ-буксиръ, принатуживаясь, пыхтя и сопя; минуто тому назадъ гдѣ-то вдали смутно вырисовывался бѣлый корпусъ пловучаго дома, еще дальше видѣлась стая дымящихъ утокъ; теперь пловучій домъ выросъ въ американскаго исполина «Мисисипи» или «Ориноко» и горделиво проносится мимо васъ, дикія утки уже превратились въ цѣлый караванъ баржъ; а надъ зеркальной далью постоянно вздымаются то струйки, то клубы дыма; можно подуматъ, будто Волга загорѣлась;—то бѣгутъ новыя и новыя па-

роходы. Въ этой картинѣ, полной кипучей дѣятельности, есть что-то захватывающее и бодрящее; становится и легко, и весело, какой-то задоръ, задоръ борьбы и жизни, вызываетъ сильный духовный подъемъ.

На «самолетской» пристани у кассы совѣтъ вокзальная давка. На Казань отходить «Некрасовъ». Самолетскіе пароходы носятъ все либо названія разныхъ наялъ и дріалъ, либо фамилій корифеевъ русской литературы—Пушкина, Лермонтова, Гоголя... Это подкупаетъ, хотя какъ-то не вяжется съ ярмарочной прозой.

«Некрасовъ» изъ лучшихъ пароходовъ. Надпалубная постройка въ два этажа. Первый классъ на носу; внизу—каюты-компанія, гостинная и каюты,верху—столовая; на кормѣ—второй и третій классы; для палубныхъ пассажировъ устроены скамьи; помѣщеніе защищено по бокамъ навѣсомъ. Оба этажа окружены балконами въ видѣ веранды, по которымъ можно обойти весь пароходъ.

Билетъ I класса до Астрахани стоитъ тридцать рублей; весь путь—двѣ тысячи сто шестьдесятъ пять верстъ; на немъ до пятидесяти станцій; пароходъ приходитъ въ Астрахань на пятны сутки. Даже при удешевленномъ тарифѣ путешествіе по желѣзной дорогѣ и дорожке, и утомительнѣе, и безъ такого удобства.

Кюта, которую отводятъ мнѣ,—небольшая комнатка съ двумя крытыми бархатомъ диванами на пружинахъ, зеркаломъ, столикомъ, умывальникомъ, электрическимъ розжкомъ и звонкомъ. Окно выходитъ на веранду; такимъ образомъ—квартирка моя «съ видомъ на Волгу». Можно совершить все путешествіе, не выходя изъ каюты, занимаясь, читая и обѣдая у себя, коли не хочется видать общества. Подушки и постельное бѣлье отпускаются по требованію. Чистота какъ въ каютѣ, такъ и на всемъ пароходѣ—образцовая. Нигдѣ—ни пылинки; все сияетъ бѣлизной и свѣжестью красокъ; вездѣ—и внутри и снаружи, вдоль веранды—пепельницы; кажется, даже некультурный человѣкъ не рѣшится бросить окурка на полъ. Въ корридорѣ, куда выходятъ двери моей каюты и другихъ номеровъ (совѣтъ какъ въ гостиницѣ), на полу каучуковая клеенка, скрывающая шумъ шаговъ. Каюты-компанія и гостинная уставлены мягкой мебелью, стеганной плюшемъ бордо; на полу тоже сверкающая чистой клеенка. Въ верхнемъ этажѣ—общирная столовая. Въ глубинѣ, надъ пьанино, портретъ Некрасова; мебель—краснаго дерева; между окнами—зеркальные простѣлки; въ зеркалахъ отражается пристань, толпа, рѣка съ бѣгущими по ней судами. Столъ сервированъ изяшно, скатерть чистая, безъ карты Африки и оазисовъ соуса. Прислуга расторопная, съ приличнымъ тономъ хорошаго дома. Внизу имѣется ванна и душъ. Послѣ нижегородской гостиницы, да еще во время ярмарки, все это кажется раемъ. Во 2-мъ классѣ обстановка нѣсколько попроще, но въ главномъ соблюденъ тотъ же комфортъ.

Табльдотъ не дорогой. Обѣдъ изъ четырехъ блюдъ—щи, осетрина, рябчикъ и мараскиновый кремъ—рубли. Кухня недурная. Порція икры (цѣлое блюдечко)—семьдесятъ пять копѣекъ. Икра—

совсемъ черный жемчугъ, — такъ вотъ и разсыпется. Для Волги и икрыного парства дорого; но это—вина ярмарки; весной, особенно въ низовьяхъ, за эти деньги можно купить фунтъ, а то и полтора икры.

Выхожу на балконъ. Предо мной панорама высокихъ горъ, по склону которыхъ сползаетъ къ Волгѣ Нижній, Ока съ цѣлымъ лѣсомъ мачтъ Сибирской пристани; вдоль нея, съ сѣвера, разворачивается видъ на ярмарку съ высокимъ соборомъ.

Раздается густой ревъ гудка. Весь пароходъ содрогается. Толпа становится еще суетливѣй. Гдѣ-то совсемъ близко, будто въ отвѣтъ, снова раздается ревъ; не разберешь, на нашемъ пароходѣ или на томъ, что янтинулся рядомъ, свистать; шумъ въ толгѣ и нервное напряженіе возрастаютъ. Кто-то плачетъ, какой-то парень съ арбузомъ бѣжитъ, прокладывая путь локтями, какой-то персянинъ въ халатѣ жестикулируетъ, пытаясь объяснить что-то носильщику; нѣсколько кавказцевъ, въ черкесахъ и бараньихъ шапкахъ, сталкиваются съ публикой, уходящей съ парохода; бородастый купецъ, съ открытымъ лицомъ, снявъ фуражку, крестится широкимъ русскимъ крестомъ; кто-то ахаетъ, кто-то кого-то зоветъ, кто-то бранится, кто-то пищитъ; гдѣ-то подлѣ парохода, внизу, юлитъ, назойливо повсвистывая и призывая кого-то, катеръ; откуда-то, будто изъ-подъ воды, выплываетъ шлюпка. Вся эта пестрая картина залита яркимъ солнцемъ, которое отражаетъ золотая чешуя рѣки.

Нашъ плывучій домъ съ его рестораномъ, кухней, гостинными, ванными, сотнями людей—вдругъ какъ-то сразу, неожиданно отдѣляется отъ берега всей своей массой и, задрожавъ, плыветъ. Сначала кажется, будто не онъ плыветъ, а берега убѣгаютъ. Панорама Нижняго, ярмарка, пристани, пароходы, зеленые берега, флаги—все движется словно въ какомъ-то колоссальномъ калейдоскопѣ и кружится, сверкая на солнцѣ радужой краской. Пароходъ сначала несется вверхъ, потомъ широкимъ полукругомъ заворачиваетъ внизъ. Нижній ужъ очутился справа, ярмарка остается позади. Пароходъ реветъ, грозя встрѣчному пароходу, который вотъ-вотъ вѣрнется въ него, лавируетъ, проносясь мимо вереницы баржъ, снова ренетъ, налетая на катерокъ, который, испуганно попискивая, выскакиваетъ подлѣ самого его носомъ. Волга ослѣпительно сверкаетъ и морщится; по ея поверхности плывутъ, отливая перламутромъ, радужныя полосы. Это—мазутъ, нефтяные отбросы, которые выливаются съ паровыхъ судовъ или просачиваются сквозь наливныя баржи. И справа, и слѣва, то тамъ, то здѣсь, мелькаютъ раскинутыя группами, точно городки бобровъ, сѣрыя широкія цилиндрическія цистерны съ нефтью. Надъ ними колоссальныя вывѣски съ фамиліями главныхъ нефтяныхъ фирмъ—разныхъ Нобелей и Теръ-Акоповыхъ.

Нижній все убѣгаетъ. Малиновыя Строгановскія церкви выросла надъ домами набережной и исчезла; ее заслонилъ Кремль съ сѣдыми башнями и зубчатыми стѣнами, ярмарка съ соборомъ отошла вдалѣ; пестрая зданія сливаются, лѣсъ мачтъ будто сталъ гуще; слѣва зеленѣетъ безбрежная ранина, справа, надъ кудрявымъ От-

косомъ, вздымается къ небу бѣлая Георгіевская церковь, у подножья горы выступаетъ водопроводный дворецъ, домъ и механическій заводъ Курбатова. За Откосомъ на вершинѣ горы выдвигается бѣлый корпусъ Печерскаго монастыря съ группой колоколенъ. Берега сплошь покрыты садами и лѣсомъ; вязъ, кленъ, дубъ, серебристый тополь и липа перемѣшиваются въ зеленую стѣну всѣхъ отбѣнокъ. Виды и виды безъ конца, каждый уголокъ—цѣлая тема для пейзажа или ландшафта.

Есть много общаго съ днѣпровскими видами у Кіева, отъ Межигорья къ Лаврѣ; только въ кіевской природѣ больше лѣги и лѣги, мягче тона; здѣсь природа нѣсколько строже, холоднѣй, но и величавѣй.

Пароходъ огибаетъ берегъ, несется, всплывая воду у подножья горы, и поворачиваетъ. Нижній совсемъ исчезаетъ. Впереди зеркальная гладь рѣки, въ которую глядятся волнистые зеленые берега и степь; на горизонтѣ, то надъ рѣкой, то надъ степью, вздымается дымокъ, потомъ вырастаетъ труба и бѣлый корпусъ парохода; насъ обгоняетъ какой-то пароходъ, весело повсвистывая. И почти каждыя пять минутъ, то навстрѣчу намъ, то догоняя насъ, плывутъ пароходы, баржи, плоты, раздаются свистки и гудки. Картина—полна приволья и захватывающаго простора; душа будто растетъ, ее переполняетъ ощущеніе этого простора и мощи природы. Волга то суживается, тѣснится въ берегахъ, то расширяется въ озеро; и на этой массѣ воды, несущейся величаво-спокойнымъ потокомъ между отдаленными берегами, нашъ пароходъ кажется совсемъ маленькимъ; это не то, что въ верховьяхъ Днѣпра, гдѣ какой-нибудь крошечный паровой плотъ вотъ-вотъ выплеснетъ изъ береговъ всю рѣку.

По склону горъ живописно тянутся большія, богатые села, со стройными, красивыми церквами. Лѣвый берегъ, то песчаный, то буристый и зеленый, извивается лентой, надъ которой серебрится бахрома вербъ.

Въ столовой обѣдаетъ компанія пассажировъ. Нѣсколько дамъ, двѣ-три барышни, пять-шесть офицеровъ, два помѣщика, плотникъ, осанистый и важный коммерсантъ, заложившій салфетку за воротникъ, какой-то старичекъ съ умной бритой физиономіей профессора типа и нервно-живой рѣчью; въ голосъ его слышится свѣжій, задумчивый юношескій тембръ, который бываетъ у людей вѣрующихся и увлекающихся. Коммерсантъ, напротивъ, говоритъ спокойно, цѣдитъ и взвѣшиваетъ безапелляционнымъ тономъ, видимо неприято дѣйствующимъ на «профессора».

— Выказанцы,—произносить онъ густымъ, ровнымъ баритономъ,— всегда будете кричать противъ выставки въ Нижнемъ и дискредитировать ее. Больно ужъ вамъ не по сердцу это.

«Профессоръ» ерзаетъ истергѣливо, нѣсколько разъ пытаясь перерѣбить коммерсанта.

— Позвольте-съ, зачѣмъ дискредитировать, зачѣмъ такіа страшныя слова?—горячится онъ.—Никто не отрицаетъ, что выставка ріа desideria нижегородцевъ, что она подымаетъ ярмарку, городъ, тор-

говлю. Но позвольте-съ, достаточно ли этого для того, чтобы избирать Нижний местом выставки? Коли устраивать ее непременно на востокъ, такъ есть вѣдь и другіе города...

— Казань, напимѣръ,—подсказываетъ коммерсантъ, усмѣхнувшись изъ-подъ густыхъ рижеватыхъ усовъ и схвативъ зубами ножку рюмчика.

— А хоть бы и Казань,—огрызается старичекъ. Почему не Казань, что вы можете имѣть противъ Казани? Во-первыхъ—городъ побольше Нижняго, университетскій, культурный центръ всего Поволжья. И ужъ ежели выбирать, кого поддерживать—Нижний или Казань, такъ, по-моему, скорѣе Казань. Съ Нижняго довольно и того, что онъ имѣетъ уже,—ярмарки. Для чего ему понадобилась выставка? Вѣдь вся эта масса, которая стекается изъ Персиі, Сибири, Индіи, Китая, Туркестана, Кавказа,—вѣдь она и безъ того придетъ къ вамъ... Вы хотите показать себя востоку? Ну, и показывайте. Но вѣдь выставка не ярмарка-съ, выставка должна быть выражениемъ прогресса, культурнаго роста страны, она должна быть устроена въ спокойной обстановкѣ культурнаго центра, а не въ ярмарочной горячкѣ, не для шумной ярмарочной толпы съ ея низменными инстинктами, да-съ. Даже если вы устраиваете выставку съ извѣстными финансовыми соображеніями,—зачѣмъ вамъ непременно смѣшивать ее съ ярмаркой, а не устроить въ другомъ пунктѣ? Ярмарка ничего не потеряла бы: она осталась бы съ ея доходомъ, съ ея оборотами въ сторонѣ, а выставка спокойно расцвѣла бы въ другомъ пунктѣ, ну хоть бы и въ Казани, ожививъ жизнь и торговлю. По-моему, Казань даже болѣе центръ для востока, чѣмъ Нижний. И, вѣрьте, у насъ она удалась бы не хуже, чѣмъ у васъ. Вамъ и теперь некуда размѣстить ярмарочной публики, у васъ нѣтъ гостиницъ, нѣтъ мало-мальски сносной прислуги, никакихъ удобствъ. Что же вы станете дѣлать съ выставочной публикой, куда вы дѣнете ее, откуда достанете тысячи выдрессированной прислуги и, если достанете, во что обойдется это публикѣ? И что вы покажете этой публикѣ? Ярмарку? Эка невидаль! Выставку? Въ этой обстановкѣ, въ этомъ жерлѣ ада, когда и теперь каждый о томъ только и мечтаетъ, какъ бы поскорѣй ударить изъ этого хаоса... А что-то будетъ еще тогда, когда кромѣ двухъ-трехъ сотъ тысячъ ярмарочныхъ гостей къ вамъ нагрянетъ сотня-другая выставочныхъ? Новое Чикаго на американско-нижегородской подкладкѣ? Случа покорный...

— Все это мы слышали и знаемъ-съ,—отрѣзываетъ авторитетно и спокойно коммерсантъ.—И пѣсенки вашихъ «казанскихъ сиротъ», и пророчества тоже слыхивали. Только это все пустое, будьте благонадежны. Нижний такъ обстроится, что и не узнаете его; и публику размѣстимъ, и прислугу дрессированную найдемъ, и гостиницы будутъ... Только приѣзжайте.

— Нѣтъ ужъ, благодаримъ покорно...

— Что-й такъ?

Очень типично и оригинально вырывается у коммерсанта это

«что-й такъ»; въ немъ слышится вулгарная народная нотка, полная недовѣрчивой и скрыто-задорной усмѣшки, которая чуть-чуть выступаетъ и прячется подъ его усами, мелькаетъ въ сѣрыхъ холодныхъ глазахъ.

«Профессоръ» задѣлъ этимъ тономъ; бѣдо улыбнувшись бритыми тонкими губами, онъ нѣсколько мгновений смотритъ на собесѣдника большими умными темными глазами, въ которыхъ свѣтится огонекъ сарказма, и говоритъ довольно небрежно.

— Да болно ужъ надоѣлъ намъ всероссійскій апломбъ вашего кучества и нижегородскій куражъ.

— Это вы про нашу-то старинную поговорку—«мы бы не собрались да не встали, такъ вы бы поганую землю носомъ копали»? спрашивается не безъ язвительности коммерсантъ, намекая на эпоху Минина и князя Пожарскаго.

Старичекъ улыбается.

— И поновѣй поговорки есть,—отвѣчаетъ онъ. Вотъ, напимѣръ, у васъ говорятъ, что «нынѣ пустяки-то позади Оки» (гдѣ Кунавино), а я думаю, что не совсѣмъ-то они и позади остались. Болно ужъ нижегородцы себя величаютъ, а того не примѣчаютъ и не «чаютъ» (намекъ на «чай»), которымъ нижегородцы переспаюютъ свою рѣчку, что весь западъ Россіи совсѣмъ отъ нихъ ускользаетъ.

Разговоръ на этомъ случайно обрывается. Помѣщику, который сидитъ рядомъ съ коммерсантомъ, подають шкуру. Рѣчь переходитъ на положеніе рыбнаго рынка. Коммерсантъ замѣчаетъ, что рыбный промыселъ все больше приходитъ въ упадокъ; съ одной стороны развитіе пароходства, которое тревожитъ рыбу во время «череста», съ другой—отсутствіе строгихъ мѣръ для пресѣченія варварскаго истребленія ея. Старичекъ снова вмешивается въ разговоръ.

— А большъ всего вамъ мазутъ,—говоритъ онъ. Профессоръ. Примѣжь, ихтиологъ, усматриваетъ въ этомъ главную причину. Въ самомъ дѣлѣ, надъ Волгой непрерывно течетъ другая рѣка, нефтяная, изъ разныхъ мазуговъ, керосина, гудрона; отбросы ихъ спускаются въ рѣку пароходами съ нефтянымъ отопленіемъ; баржи даютъ утѣчку. А вѣдь по Волгѣ ежегодно провозится миллионъ семьдесятъ пудовъ этой пакости... Главный нефтяной путь. Не думаю, чтобы рыбѣ это было особенно пріятно. Кромѣ того, ей грозитъ голодь: нефть губитъ на поверхности воды разныя личинки, которыми рыба питается. Надо удивляться, какъ она до сихъ поръ еще не получила керосиновый букетъ, какъ на Пенорѣ...

Общество постепенно знакомится. Послѣ обѣда устанавливается нѣкоторое sans-gêne. Въ столовой душно. Солнце врывается въ окна и отражается въ зеркальных простѣнкахъ вмѣстѣ съ убѣгающими назадъ зелеными берегами.

Офицеръ, съ которымъ я познакомился во время обѣда, рассказываетъ мнѣ о кунавинскомъ омутѣ. Онъ нарочно записалъ нѣсколько поговорокъ и пѣсенъ фабричнаго стиля и читаетъ мнѣ ихъ вполголоса... «Возьму ножикъ, вѣзому вилку и зарѣжу маво милку», «Кунавина слобода въ три дуги меня свела», «у Макарья—

по деньгъ Наталья, а на грошъ—цѣлый возъ». Его знакомая или родственница, смуглая брюнетка, южанка, нѣсколько перезрѣлая, съ осянкой *grande dame* и лорнеткой, подходитъ къ нему. Онъ представляетъ меня. Начинается общій разговоръ. Сообщаю, откуда ъду и куда.

— Ахъ, вы изъ Бѣлоруссии?—говоритъ она. Тамъ, кажется, водятся эти, какъ ихъ, зубры... Вы видали ихъ? Меня всегда почему-то интересовало, какіе они...

Изъ дальнѣйшаго разговора убѣждаюсь, что дама, хотя и бывшая институтка, имѣетъ самое смутное представление о географіи Россіи. Она недоумѣваетъ, почему я не выѣхалъ на пароходѣ прямо изъ Минска, Владикавказъ считаетъ приморскимъ городомъ и даже меня пытается убѣдить въ этомъ. А по-французски говоритъ хорошо и съ французской литературой немного знакома.

Другіе офицеры болтаютъ съ двумя барышнями, упрасившая ихъ сыграть что-нибудь. Одну изъ нихъ имъ удается-таки усадить за пюльну. Она беретъ нерѣшительно нѣсколько аккордовъ, но обрываетъ, утѣряя, что страшно жарко. Офицеры бросаются къ окнамъ и задергиваютъ красноватые шелковые занавѣсы.

Беру въ пароходной библиотекѣ томъ стихотвореній Некрасова и выхожу на веранду.

Пароходъ уже нѣсколько разъ подходилъ къ пристанямъ, высаживалъ и забиралъ пассажировъ, оставилъ за собой Работки, цѣлую группу старообрядческихъ селъ, рѣчку Керженецъ, старообрядческой Ганги, дремучіе лѣса, переполненные раскольниковыми скитами, Лысково съ его 150 вѣтряными мельницами и 9 церквами, с. Исаль и Макарьевъ, прежнее мѣсто ярмарки, которая только съ 1817 года переведена въ Нижній. Слѣдующей станціей будетъ городъ Василь-Сурскъ; это ужъ почти въ 130 верстахъ отъ Нижнего; тамъ мы часовъ въ девять вечера. Ночью пройдемъ мимо Козмодемьянска, столицы черемисовъ, Чебоксаръ, столицы чувашей, и въ девять часовъ утра прибудемъ въ Казань; отъ Нижняго до Казани 381 верста. Пароходъ все время идетъ къ востоку.

Сажусь на скамейку противъ якоря, надъ которымъ развѣвается флагъ. Пароходъ рѣжетъ воду; она разбѣгается двумя пѣнистыми волнами и плещется о бокъ; за нами по фарватеру вытягивается бѣлый следъ; волны распыляются къ далекимъ берегамъ, то нарастая, то исчезая.

Вечерѣетъ. Отъ высокаго праваго берега на рѣку падаетъ тѣнь; она расплывается, становится все гуще. Солнце прячется, но надъ горами еще сияетъ золотой ореолъ.

На носу стоитъ матросъ и, какъ на Днѣпрѣ, то и дѣло погружаетъ въ рѣку полосатый шестъ.

— Се—смъ, кричитъ онъ.

— Се—смъ, какъ эхо повторяетъ за нимъ другой матросъ на капитанской площадкѣ, у руля.

— Восемь.

— Во—осемь.

Свѣжѣетъ. Вѣтеръ крѣпчаетъ. Флагъ развѣвается и трепещетъ

точно крылья спугнутой птицы. Пароходъ чуть дрожитъ, будто отъ напряженія. Волга совсѣмъ покойна. Перелистываю Некрасова...

О, Волга! Послѣ многихъ лѣтъ

Я вновь привнесъ тебѣ привѣтъ.

Я ужъ не тотъ, но ты же свѣтла

И величава, какъ была.

Кругомъ—все та же даль и ширь,

Все тотъ же виденъ монастырь...

И даже трепещъ прежнихъ дней

Я опуталъ въ души моей.

Заслыша звонъ колоколовъ.

Все то же, то же... Только нѣтъ

Убитыхъ силъ, прожитыхъ лѣтъ...

О, Волга!.. колыбель моя!

Любилъ ли кто тебя, какъ я?

Тогда я думать былъ готовъ,

Что не уйду я никогда

Съ песчаныхъ этихъ береговъ.

И не ушелъ бы нискогда,

Когда бѣ, о Волга, наль тобой

Не раздвигался этотъ вой...

Давно, давно, въ такой же часъ.

Его услышавъ въ первый разъ,

Я былъ испуганъ, оглушенъ,

Я знать хотѣлъ, что значить онъ,

И долго берегомъ рѣки

Бѣжалъ. Усталы бурлаки,

Котель съ расшивы принесли,

Усѣлись, развели костеръ

И межъ собою повели

Неторопливый разговоръ.

—Когда-то въ Нижній попадемъ,

Одинъ сказалъ:—когда бѣ попасть

Хоть на Илью...—«Авось придемъ».

Другой, съ болѣзненнымъ лицомъ,

Ему отвѣтилъ:—«Эхъ, напасты!

Когда бѣ зажило плечо,

Тянулъ бы ляжку, какъ медвѣдь,

А кабы къ утру умереть,

Такъ лучше было бы еще»...

Онъ замолчалъ и навзничъ легъ.

Я этихъ словъ понять не могъ.

Но тотъ, который ихъ скавалъ,

Угрюмый, тихій и больной,

Съ тѣхъ поръ меня не покидалъ!

Онъ и теперь передо мной:

Лохмотья жалкой нищеты,

Измороженныя черты

И выражающій укоръ

Спокойно-безнадежный взоръ.

Тридцать пять лѣтъ тому назадъ написанъ этотъ несчастный образъ бурлака, мученика Волги.

Я вспоминаю рѣшисшихъ «Бурлаковъ», горсть запряженныхъ попарно въ бичеву и надсаживающихся, измороженныхъ людей; фронтъ—волжская степь въ полуденный зной; ноги вязнуть въ раскаленномъ пескѣ; а они, обливаясь потомъ, все тянутъ и тянутъ ляжку, тянуть изо дня въ день, цѣлые мѣсяцы, пока дотянутъ до

верховьям рѣки; потомъ — снова и снова каторга; и такъ всю жизнь...

Теперь картина эта измѣнилась. Надъ безбрежною равниною Волги пронесся свистъ парохода, какъ провозвѣстникъ освобождения отъ бурлацкой неволи. Весь трудъ, за которымъ надрывались раньше тысячи жизней, который требовалъ сотни тысячъ рабочихъ рукъ, теперь исполняютъ буксирные пароходы. Каждый изъ нихъ въ пять-шесть дней протаскиваетъ къ верховьямъ сразу по нѣскольку баржей, которые прежде изнеможенные люди волокли мѣсяцами съ «своемъ» и стономъ.

Мнѣ вспоминаются нападки на цивилизацію и прогрессъ, на «машину», сократившую спросъ на рабочія руки, — и всѣ эти теории кажутся теперь, именно здѣсь, гдѣ царь освободилъ рабовъ отъ каторжной лямки, такими наивными...

Схожу въ нижній этажъ, на палубу. Въ машинномъ отдѣленіи, подъ стекляннымъ колпакомъ, движутся гигантскіе рычаги и валы, сверкая сѣрпомъ блескомъ стали. Еще ниже, въ отдѣленіи для топки, — ахъ, я забывалъ когда-то туда. Узкій чугунный корридоръ и два ряда пылающихъ печей... Полунагой истопникъ задыхается, обливаясь потомъ. Я видалъ сегодня одного изъ нихъ. Черный, какъ аришъ, онъ выбѣжалъ на палубу и съ жадностью захватывалъ грудью свѣжій воздухъ... Тоже бурлакъ, только въ другомъ видѣ; да, но одинъ, а не тысячи. И завтра тотъ же техническій прогрессъ замѣнитъ его машиной. На пароходахъ съ нефтянымъ отопленіемъ и теперь тонка производится механически...

Въ третьемъ классѣ публика смѣшанная. Нѣсколько персиянъ, черемисовъ, татаръ и чувашей; но преобладаютъ великороссы — волжане; между ними много старообрядцевъ.

Въ волжанинѣ есть что-то особенное, что сразу выдаетъ его. Фигура нѣсколько топорной работы, напоминающая деревенныхъ бородастыхъ мужичковъ кустарнаго издѣлія. Но за спокойнымъ и малоподвижнымъ лицомъ скрывается сильная натура съ очень сильной индивидуальностью, что-то какъ будто выработанное волжскимъ просторомъ и мощью. Взглядъ у волжанина упорный иногда до дерзости; порой въ немъ вспыхиваетъ что-то пронзительное и отважное; кажется, будто просыпается прежній удалецъ или разбойникъ. Глядя на него въ глаза своимъ стальнымъ взглядомъ — и не сморгнешь. Такъ и угадываешь, что не забылъ онъ еще «понизовой волжницы», что ему ничего не страшно, что сейчасъ вотъ онъ юркнуетъ, улизнетъ и исчезнетъ на расшивѣ или въ утлѣмъ челнокѣ. Волжская ширь какъ будто наполняетъ его натуру жаждой такой же шири.

Волжанинъ — стихійный бунтарь; ни татарское иго, ни бурлацкая лямка не подавили въ немъ энергіи воли; это — тростникъ, который гнется, но не ломается; его широкая русская натура никакъ не можетъ уложиться въ шаблонъ. Дѣйствительно и просторъ малорусскихъ степей выработали запорожца, могуча Волга — съ ся безпредѣльной равниной, — волжанина. Вся его жизнь полна чего-то стихійнаго, всѣ

его легенды, все прошлое дышетъ имъ. Начиная съ Нижняго, съ его легендарными основателями — разбойниками Скворцомъ и Дятломъ, съ двумя кунавинскими преданіями, одно изъ которыхъ послужило темой для «Чародѣйки» Шпажнинскаго, легенды и исторія всего Половляка рисуютъ фигуры, полныя какой-то особенной стихійной силы, мощи и удала. Въ этой обстановкѣ, на волжскомъ просторѣ, выковываются и такія могучія натуры, какъ Мининъ и Пожарскій, съ ихъ великимъ подвигомъ; здѣсь народное воображеніе создаетъ легендарныхъ богатырей, какъ Илья Муромецъ, или героевъ вроде Соловья-разбойника, здѣсь вырастаетъ завоеватель Сибири Ермакъ Тимофеевичъ съ Иваномъ Кольмо, здѣсь пронесся ураганомъ, спустя сто лѣтъ, Стенька Разинъ со своими ватажками, со своими разбоями и дикой казацкой удалью, а еще черезъ сто лѣтъ разгорается бунтъ Пугачева...

Ночь окутываетъ Волгу. Мгла полна тайны. На пароходѣ вспыхиваетъ электричество. Фонари надъ верандой льютъ лунный свѣтъ. Въ столовой раскрыты два зеленыхъ столика. Пассажиры винтятъ. Одна изъ барышень играетъ на пѣяно. Меланхолическіе звуки баркаролы Чайковскаго сливаются съ шипѣньемъ и плескомъ волнъ. Навстрѣчу намъ бѣгутъ пароходы, сияя электричествомъ; теперь они совсѣмъ кажутся двухъ-этажными домами съ ярко-освѣщенными окнами. Иногда полоса свѣта скользнетъ по лѣсу, скалѣ или оврагу — и изъ мглы вдругъ выступитъ какой-то силуэтъ, загадочный, какъ призраки прошлаго Волги...

Мнѣ вспоминается державинская «рѣка временъ», уносящая въ своемъ теченіи «и царства, и царей», — и нашъ пароходъ кажется мнѣ плывущимъ государствомъ, плывущимъ куда-то въ невѣдомую даль. Мѣняются капитаны и лоцманы, пароходъ то бойко плыветъ подлѣ опытной руки, то садится на мель. И неутомимое человѣчество все мечется куда-то впередъ въ погонѣ за жизнью, а тайна жизни остается все такой же великой загадкой...

ГЛАВА XIII.

Судьба народовъ. — Казань, какъ ключъ Камы, Волги, Каспія и Сибири. — Историческіе силуэты. — «Устье». — На пристани. — Казань — кладбище. — Братская могила. — Татарско-русское «столкновеніе» съ финаломъ въ современномъ вкусѣ. — Опять нѣтъ путевода! — Кремль. — Башня Сумбеки. — Видъ Казани. — Прогулка по городу. — Въ циркѣ.

16-е августа.

Просыпаюсь. Солнечные лучи образуютъ ярко-красное пятно на занавѣсѣ; каюта залита красноватымъ туманомъ. Мгновенье не могу отдать себѣ отчета, гдѣ я; слышнѣ плескъ воды; кто-то изъ пассажировъ уже гуляетъ по галлерей. Раскрываю окно. Свѣжій рѣчной воздухъ врывается въ каюту вмѣстѣ съ потокомъ ослабляющаго свѣта. Мимо движется низкій, то желтый, то свѣтло-кирпичный, лѣвый берегъ.

Въ корридорѣ утрення суета большого дома, гдѣ много гостей. Веселая дробь электрическихъ звонковъ и мягкіе, спѣшные шаги прислуги.

Семь часовъ. Въ девять мы въ Казани. Это сразу настраиваетъ меня на особенный тонъ. Я испытываю невольнo нервный толчекъ при мысли, что сейчасъ предо мной развернется сцена, на которой разыгралась одна изъ кровавыхъ трагедій въ жизни двухъ націй, направивъ ихъ на новый путь, полный величія для одной, упадка и забвенія для другой.

Сколько страннаго и загадочнаго въ исторической роли народовъ. Создается и расцвѣтаетъ культура древняго міра; потомъ наступаетъ разложение; Греція и Римъ приходятъ въ упадокъ, варвары разрушаютъ культурныя страны, но сами подпадаютъ влиянію побѣжденныхъ, усваивая ихъ формы жизни. Христіанство все шире и шире разливается по Европѣ. На востокѣ постепенно срастаются изъ гигантскій организмъ славяне, а рядомъ съ ними нарождается новый міръ, магометанскій, мрачная, грозная, багровая туча Золотой Орды, заливающая кровью и скрывающая игомъ весь славянский міръ. Онъ вотъ-вотъ распадется, исчезнетъ, растворится въ монгольскомъ морѣ; кровавая борьба тянется вѣками, но результатъ ей совсѣмъ неожиданный: разложение охватываетъ не побѣжденныхъ, а побѣдителей; побѣжденные вырываются изъ-подъ ига, и начинается обменъ ролей. Распавшійся монгольскій міръ пытается сплотиться въ новые организмы, вырастаютъ Астраханское и Казанское царства, Крымское ханство. Оторванные клочки прежней тучи соединяются въ новыя. Судьба какъ будто готова воскресить опять могущество монголовъ. И кто знаетъ, если бы Московское государство не вынесло на своихъ плечахъ всю борьбу съ нимъ, чѣмъ были бы въ настоящее время и Европа, и христіанскій міръ, что было бы на землѣ вмѣсто современной цивилизаціи? Россія сыграла роль плотины, сдержавшей наводненіе монгольскаго моря. Разлейся оно—и, можетъ быть, вся европейская культура была бы истреблена, какъ александрійская бібліотека. Соки и силы для этой культуры человѣчество черпало въ христіанствѣ. Перевѣсъ ислама отодвинулъ бы Европу на тысячелѣтіе назадъ; въ немъ нѣтъ ничего жизненнаго, онъ не даетъ человѣку живого идеала, не вдохновляетъ его для творческой жизни, подпадаетъ своимъ фатализмомъ.

Въ судьбѣ народовъ есть законъ, который неуклонно создаетъ перевѣсъ въ борьбѣ болѣе сильной духовной индивидуальности. Нація гибнетъ тогда, когда она перестаетъ быть духовно-индивидуальной и національный характеръ обезличивается. Этотъ законъ проходить сквозь всю исторію Россіи; онъ ярко сказался въ ея борьбѣ съ татарами. И если бы въ XVI вѣкѣ эта индивидуальность не вылилась такъ интенсивно, если бы во главѣ Московскаго государства не стояла такая желѣзная и объединяющая національную волю личность, какъ Іоаннъ Грозный, быть можетъ, теперь мы были бы въ положеніи прежней Грузіи или современной Арменіи.

Іоаннъ IV сыгралъ великую роль въ судьбахъ Россіи: какъ

Петръ Первый открылъ ей путь на западъ, такъ и онъ очистилъ его съ востока. Ударъ, нанесенный здѣсь Казанскому царству, былъ ударомъ молота, не только разбивающаго дѣль и замокъ, но и открывающаго сразу двери; этотъ ударъ уничтожилъ навсегда грозныхъ враговъ, освободилъ путь къ покоренію Сибири и отвоєвалъ Волгу, ставшую съ той минуты русской рѣкой.

Враги понимали это. Осада и взятіе Казани — одна изъ ужасныхъ и кровавыхъ страницъ исторіи.

Вонъ на обрывистой горѣ, тонущей въ зелени, дѣлится небольшой уѣздный городокъ Свияжскъ, съ живописно раскинутыми церквями и двумя монастырями. Здѣсь въ 1550 году, послѣ перваго похода на Казань былъ учрежденъ сторожевой пунктъ; отсюда, съ праваго берега, въ тридцати верстахъ отъ Казани, русскіе глядѣли на ту сторону Волги, на другое царство, выжилая и собираясь. А два года спустя русскія войска, во главѣ съ Іоанномъ Грознымъ, хлынули роковымъ потокомъ, заливъ всю равнину. Два мѣсяца тянулась упорная осада, при страшномъ ожесточеніи съ обѣихъ сторонъ. Земля стонала отъ человѣческаго страданія, Казанка стала красной отъ человѣческой крови; грохотъ взрывовъ потрясалъ воздухъ, будто раскаленный отъ зари, наспѣанный дымомъ и запахомъ крови. Подъ этотъ грохотъ, въ пламени пожара, залетали на воздухъ башни и стѣны съ людьми. Пылающая бревна, кипищее масло и смола—все это разливалось огненнымъ моремъ за стѣнами горящаго города... Земля превратилась въ адъ — и въ его пучинѣ рухнуло навсегда Казанское царство.

Татары защищали городъ съ отчаяніемъ людей, которые теряютъ все. Шестидесятъ тысячъ плѣнныхъ состояли только изъ женщинъ и дѣтей; мужья и отцы пали въ битвѣ...

Почти три съ половиной вѣка ушло со дня кровавой драмы. Волга такъ же величаво, покойно катитъ свои воды; но другой міръ, иные люди проносятся по нимъ...

Пассажиры высипали на веранду. Матросъ опять замѣряетъ фарватеръ, выкрикивая число футовъ. Пароходъ осторожно лавируетъ подъ Свияжскомъ, не пристаивая.

Облака то спускаются, то разрываюся; солнце то сверкнетъ яркимъ потокомъ лучей, то спрячется.

За Вязовыми—на востокѣ, далеко впередъ, надъ Волгой вырисовывается темный, почти черныи силуэтъ города. Есть что-то мрачное въ этомъ силуэтѣ, въ багровыхъ переливахъ окутывающей его дымки. Чѣмъ ближе, тѣмъ яснѣе выдѣляются формы башенъ и минаретовъ.

Это—Казань.

Волга здѣсь круто поворачиваетъ къ югу и исчезаетъ. Кажется, будто она кончается или будто пароходъ вошелъ въ огромное озеро. Какъ разъ въ углу, у поворота, пристань, называемая «Устьемъ». Казань въ семи верстахъ отъ берега Волги. Весной, въ половодье, пароходы пристають на Казанкѣ, въ четырехъ верстахъ отъ города. На правомъ берегу, какъ бы замыкая Волгу, высится кру-

тия, угрюмая гора; между ними ютятся Верхний Услонь съ могилой княгини Меньшиковой, умершей тамъ по пути въ Березовъ.

Пристани парохолныхъ обществъ растянулись на версту вдоль берега плывучими бараками. Послѣ Нижняго здѣсь совсѣмъ мало жизни. Лодки и баржи съ арбузами и дынями выстроились у пристани длинными рядами. Толпа на половины татарская. Шапки съ бараньей выпушкой, ермолки, бритая голова, узкіе черные глаза съ острыми взглядами, ломанная русская рѣчь...

Вокругъ пристани грязь, извозчики и экипажи имѣютъ неряшливый видъ. Надъ берегомъ невзаскіе деревянные дома и бараки. Совсѣмъ какое-нибудь глухое мѣстечко. На лоткахъ и въ будкахъ продается вяленая рыба, балыки, икра; тутъ же подводы съ кожами, опять арбузы, дыни, горы яблоковъ. У берега начинается дамба, которая тянется по ровному полю, надъ болотами, камышами и лужками, до самой Казани. Дамба вымощена скверно. Встряхиваетъ порядкомъ. За пристанью Адмиралтейская слобода, напоминающая убогій городъ. Она стоитъ особнякомъ, верстахъ въ двухъ отъ города.

Казань все видѣется яснѣй, вырастая надъ равниною на семи невсѣихъ холмахъ. Видъ совсѣмъ восточный; есть что-то, напоминающее Москву; только здѣсь, кромѣ фабричныхъ трубъ, выступаютъ минареты. Съ лѣвой стороны, на краю города, на холмѣ, возвышается Кремль съ зубчатой стѣною и пятью башнями. Надъ ними, вѣсиваясь въ небо, господствуетъ острокопечная башня Сумбеки, рядомъ съ ней и правѣ вдоль всей панорамы города вырастаютъ купола соборовъ, церквей и монастырей. Всего въ Казани свыше сорока церквей. Лѣвая половина города, сѣверная—русская, къ югу, вокругъ озера Кабана длиною въ 3 версты, расположена татарская часть.

По дамбѣ безпрерывно движется вереница подводъ, грохоча колесами; нагружены онѣ преимущественно кожами; подвозятъ все смуглые татары; то и дѣло слышатся горланные звуки татарской рѣчи. Отъ пристани проведена къ городу конка; вагоны медленно ползутъ рядомъ съ подводами и телѣгами.

Съ болотистой равнины, растilaющейся предъ Казанью, поднимаются гнилыя испаренія. Пахнетъ сыростью, болотомъ, кожами.

Слѣва отъ дамбы надъ водой выступаетъ высокая (то сажень) пирамида, съ надрѣзанной верхушкой и четырьмя низкими колончатыми фронтонами. Видъ громаднѣй и угрюмый. Это «братская могила» убитыхъ при взятіи Казани воиновъ. Внизу памятника, подъ подземнымъ сводомъ—кости, собранныя когда-то на казанскихъ поляхъ. Надо думать—немало среди нихъ и татарскихъ: по скелету не распознаешь, какому Богу молился человѣкъ.

Въ 1836 году, какъ рассказываетъ профессоръ Шпилевскій, памятникъ построилъ Императоръ Николай I. Настоятель Зилантова монастыря, давая объясненія, замѣтилъ, что «чѣмъ глубже, тѣмъ болѣе открывается во всѣхъ направленіяхъ костей православныхъ воиновъ». На вопросъ Государя, чѣмъ подтверждается это, онъ

прибавилъ: «когда-то здѣсь вмѣсто стараго деревяннаго нужно было устроить каменный помостъ; но оказалось, что фундамента заложить нельзя вълѣдствіе массы костей, которыми переполнена почва». Все это поле, изрытое ямами, залитое лужами и болотами, вся эта равнина отъ Волги и до Казани—сплошное кладбище... Въ народной пѣснѣ о покореніи Казани говорится:

Казань-городъ на костяхъ стоитъ,
Казаночка-рѣка кровавая течетъ,
Мелкии ключи—горючіе слезы,
По лугамъ—лугамъ все водосы,
Молодецкіе, все стрѣлцкіе...

Въ душу закрадывается гнетущее, тоскливое чувство. Весь ужасъ минувшаго невольно проносится въ воображеніи, и даже мысль о томъ, что это было три съ половиной вѣка тому назадъ, не примиряетъ съ нимъ.

Извозчикъ останавливается. Подводы запрудили дорогу. Татаринъ, не желая свернуть, зацѣпился колесомъ телѣги за повозку съ высокими челнообразными кузовомъ. На ней сидитъ русскій. Онъ ругается, но изъ повозки не вылезаетъ, хотя она накренилась на бокъ и вотъ-вотъ опрокинется съ дамбы въ болото. Татаринъ тоже огрызается и кричитъ около телѣги, надсаживаясь. Движеніе по дамбѣ приостанавливается. Конка—тоже. Кондукторы энергично звонятъ. Нѣсколько подвозчиковъ-татаръ собираются и горланятъ что-то на своемъ непонятномъ нарѣчьи. Русскій вызывающе и упорно сидитъ.

— Онъ зацѣпился, онъ пушай и вызволяетъ.

Однако, за татарина все-таки заступаются татары, окружая повозку русскаго.

Отсюда и оттуда кричатъ извозчики, требуя дороги. Русскій упорно стоитъ на своемъ и не двигается, ругая татарина. Въ сущности онъ неправъ, такъ какъ долженъ былъ держаться правой стороны.

— А ты чиво сюды ѣхалъ. Сюды нѣ можно. Право дѣрки, знаишь законъ,—гадять татары.

Извозчикъ, обращаясь ко мнѣ, высказываетъ то же мнѣніе; однако, онъ не кричитъ на русскаго, а нападаетъ на татаръ, хотя и въ шутивомъ тонѣ. У татаръ въ глазахъ челочкахъ зловѣще блестятъ черные уголки. Вотъ-вотъ сдѣшятся, вотъ-вотъ изъ-подъ пелла вспыхнетъ старая вражда, бѣшеная, жгучая, неутолимая...

Но дѣло кончается гораздо проще. Откуда-то показывается городской. Кажется, подѣхалъ онъ на встрѣчномъ вагонѣ конки. Соловьиная дробь свистка словно отрезываетъ враговъ, обдавая ихъ атмосферой современности. Русскій нехотя, снисходительно, будто вываливается изъ повозки и своимъ здоровымъ плечомъ сразу сдвигаетъ ее съ мѣста.

— Что, часто это у васъ такъ?—спрашиваю извозчика.

— Нѣтъ, ничего. Онъ народъ смиренный, покойный... Только извѣстно—татары, толку въ нихъ никакого. Огометане!

Татары расходятся, ругаясь на своем волапоку. Руссий садится въ телягу, улыбаясь. Широкое румяное лицо дышет задоромъ: видно—раздражения въ немъ нѣтъ; потѣшился только малость. Подъ воды движутся. Бритые сизые затылки удаляются.

Угрюмая пирамида братской могилы хмуро глядитъ на эту сцену, сверкая золотымъ крестомъ...

Въѣзжаю въ городъ. Невский подъемъ—и я у Кремля съ острокопечной пирамидальной Спасской башней надъ входомъ. Отъ Кремля начинается, заворачивая вправо, къ югу, главная улица, Воскресенская. На ней разные банки и учреждения, университетъ, громадный изящной архитектуры пассажъ, который, говорятъ, обошелся до десяти милліоновъ рублей, лучшие магазины и гостиницы. Кромѣ красиваго пассажа, всё почти зданія шаблонной архитектуры; ничто не поражаетъ ни стилемъ, ни красотой, ни замысломъ. Въ концѣ улицы—длинное двухъ-этажное неуклюжее зданіе университета, съ тремя фронтонами и ионической колоннадой; напротивъ—трехъ-этажный кубъ клиники. Магазины небольшие, но чистенькіе, тротуары то въ плахтахъ, то асфальтовые. На всемъ ощущается лѣтняго застоя. Движенія въ городѣ почти незаметно.

Останавливаюсь, по рекомендаціи «Путеводителя» г. Демьянова, въ Волжско-Камскихъ номерахъ. Въ путеводителѣ г. Сидорова отдается преферансъ другимъ гостиницамъ. Появление мое произвѣдитъ нѣкоторый переполохъ. Видно, туристы рѣдко заглядываютъ въ Казань. Скучная лица прислуги оживляются. Гостиница неважная, номерокъ отводитъ крошечный, цѣна—полтора рубля съ клопами. Старичекъ лакей—что-то среднее между татаринкомъ и черемисомъ; маленький, сѣдые бакки, глаза узенькіе, но сѣрые, услужливо-ликовские. Говорить по-русски еще не научился. На вопросъ, гдѣ книжныхъ магазинъ, объясняетъ:

— Здѣсь, сейчасъ направо, потомъ направо, можить одна фартала болши или менши...

Отправляюсь наудалую, пытаюсь угадать, что собственно онъ понималъ подъ словомъ «фартала». Оказывается—книжный магазинъ въ одномъ ряду съ гостиницей, и никакихъ поворотовъ и «фарталовъ» не требуется. Планъ Казани, изданный еще двѣнадцать лѣтъ назадъ, есть; но путеводителя не имѣется. Вотъ тебѣ и университетскій городъ съ духовной академіей, ветеринарнымъ институтомъ, учительской семинаріей, институтомъ благородныхъ дѣвицъ, тремя гимназіями, реальнымъ училищемъ, двумя женскими гимназіями, инородческой семинаріей, конскімъ училищемъ, двумя газетами и, какъ говорятъ, ста двадцатью, а то и ста сорока тысячами жителей...

Все, что мнѣ удастся раздобыть, это «Указатель историческихъ достопримѣчательностей г. Казани», составленный профессоромъ Шпилевскимъ и изданный комитетомъ по устройству въ Казани съѣзда естественныхъ наукъ еще въ 1873 году, двадцать два года тому назадъ. Въ брошюрѣ 66 страницъ, сбѣить она тридцать копѣекъ. Въ книжномъ магазинѣ знакомлюсь съ планомъ,

ориентируюсь и сейчасъ же отправляюсь прямо въ Кремль или крѣпость.

Выстроены онъ на искусственномъ возвышеніи. Казанка омываетъ его громадскія стѣны съ запада и сѣвера. Вхожу черезъ ворота у Спасской башни въ крѣпость; здѣсь—цѣлая улица съ казармами, конскімъ училищемъ, Благовѣщенскимъ соборомъ, Спасскимъ монастыремъ, Киприановской церковью и архіерейскимъ домомъ. Впередѣ, за небольшою площадью со скверомъ—зеленый дворецъ, губернаторскій домъ, соединенный съ маленькой оригинальной архитектурой церковью. Лѣвѣе башня Сумбеки. Она заперта. У сквера стоитъ городской. Обращаюсь къ нему. Идти куда-то спросить ключъ и немного спустя отпираетъ дверь.

Башня похожа на пять сложенныхъ одинъ на другой уменьшающихся сверху кубиковъ, съ острокопечной верхушкой. Высота—тридцать пять сажень. Внутри что-то напоминаетъ колокольню Ивана Великаго; такіе же узкіе ломанные ходы, истертыя ступени, только вѣсее выше, такъ что ногу приходится поднимать почти горизонтально.

Говорятъ—во времена татарской Казани она служила минаретомъ мечети. У татаръ масса легендъ, связанныхъ съ этой башней; они иногда приходятъ сюда молиться. Одни рассказываютъ, будто съ высоты ея бросился внизъ татарская парца Сумбека, оплакивая гибель Казани; другіе говорятъ, что она не бросилась, а только ужасно много плакала на ней. Вершина башни съ острокопечнымъ шпилемъ надстроена въ позднѣйшее время.

Съ башни открывается видъ Казани и ея окрестностей на десятки верстъ. Гляжу на западъ: внизу располагается изрѣзанная узенькой синей змѣйкой—Казанкой, равнина съ Адмиралтейской слободой, пристанями, Волгой, надъ которой, заслоняя горизонтъ, надвинулись горы, съ Нижнимъ Услономъ у подножія. Дамба изгибается по этой равнинѣ сѣрой лентой, подползая къ самому Кремлю. Справа, къ сѣверу, голое поле, пестрящееся лужами, и вдали, на фонѣ хвойныхъ и лиственныхъ лѣсовъ, бѣлая группа Зилантова монастыря—ближе къ Волгѣ, и Кизитескаго—ближе къ городу. Съ востока—опять зеленая болотистая поля въ синихъ зигзагахъ Казанки и лѣса; къ югу, начинаясь подъ самой башней и все расширяясь, громоздятся пестрыми кубами Казань, расползаясь вдали вокругъ озера Кабана, соединеннаго съ высохшимъ лѣтомъ озеромъ Булакомъ. За городомъ—зеленые дуга и бордюры темныхъ лѣсовъ, матово-синихъ на далекомъ горизонтѣ. Вдоль всего города выступаютъ стройные бусы церквей, а въ концѣ, въ татарской слободѣ, легкіе минареты десятка мечетей, съ граціозной колонной Азимовской мечети. За Кремлемъ, съ его соборомъ и церквами, слѣва возвышается величественный бѣлый корпусъ Казанскаго женскаго монастыря, съ тремя ионическими колоннадами порталовъ и круглымъ центральнымъ куполомъ, тоже съ колоннадой. Предъ нимъ—высокая колокольня съ золотой макушкой. Еще нѣсколько церквей, еще нѣсколько монастырей; но между ними видѣются на Воскресен-

ской уличной кирпичный Воскресенский соборъ, съ пятью серебряными куполами и за ней—Петропавловскій соборъ, оригинальное, красивое здание желтого цвѣта, съ бѣлыми, зелеными и красными карнизами, въ стилѣ трехъ-этажнаго русскаго терема съ осминугольнымъ куполомъ, увѣнчаннымъ китайской крышей и маленькой колокольней.

Въ общемъ—ни видъ Казани, ни ея окрестности не поражаютъ. Восточная типичность, которая издали придавала такую оригинальность ея силуету, здѣсь совсѣмъ скрадывается европейской наружностью города.

Когда-то на этой равнинѣ, еще до нашествія татаръ, процвѣтало другое царство, загадочное и забытое человечествомъ—Волжско-Камское царство болгаръ, появленіе и происхожденіе которыхъ такъ и остается исторической загадкой. Цѣлая нація, пронесшаяся надъ землей безслѣдно... Уцѣлѣли только въ ста верстахъ ниже Казани развалины болгарскаго города съ арабскими зданиями въ мавританскомъ стилѣ X вѣка, Богъ вѣсть какимъ образомъ занесеннаго на берега Волги.

Въ брошюрѣ профессора Шинлевскаго читаю:

«Преемственность между царствами Болгарскимъ и Казанскимъ постоянно воспоминалась въ послѣдующее время: великій князь московскій Василій Дмитріевичъ, при которомъ московское войско, подъ начальствомъ брата его Юрія, разорило въ 1399 году старую Казань, послѣднику Болгарскаго царства носилъ титулъ Государя Болгаріи; одинъ изъ архипастырей казанскихъ въ XVII вѣкѣ) назывался Казанскимъ и Болгарскимъ. Сибирскіе и казанскіе татары называютъ себя иногда «булгарлыкъ».

Вспоминается кратковременное существованіе Казанскаго царства, продолжавшееся около ста пятидесяти лѣтъ и полное непрерывныхъ смутъ и раздоровъ, непрерывной борьбы съ русскими. Улу-Махмета убиваетъ его сынъ Мамутекъ, ногайскій князь Мамукъ изгоняетъ Махмета-Аминя, Махмета изгоняетъ Абдуль-Летифъ, которого вновь замѣщаетъ Махметъ-Аминъ; для разнообразія онъ перерѣзываетъ въ городѣ всѣхъ русскихъ; за нимъ слѣдуетъ Шигъ-Алей, котораго выгоняетъ крымскій ханъ Саинъ-Гирей, а затѣмъ тоже перерѣзываетъ русскихъ; Саинъ-Гирей выгоняетъ Василія Іоанновича, и казанскіе возводятъ на престолъ Сафу-Гирей; по просьбѣ казанцевъ, онъ смѣненъ братомъ Еналеемъ, который былъ вскорѣ убитъ, а на мѣсто его опять водворяется Сафа-Гирей; немного спустя казанскіе вельможи изгоняютъ его и выпрашиваютъ себѣ снова Шигъ-Алея; однако онъ вскорѣ умираетъ, и на престолъ въ третій разъ садится Сафа-Гирей. Этому удается умереть на престолѣ и передать его сыну Утемышу (отъ Сумбеки); его смѣняетъ, спустя годъ, въ третій разъ Шигъ-Алей, но, по старости, выѣзжаетъ въ Свияжскъ. Его мѣсто занимаетъ астраханскій царевичъ Эдигеръ, послѣдній царь послѣдняго акта Казанскаго царства.

Казань становится русской и, начиная съ конца XVI вѣка, выгораетъ основательно по 1859 годъ двѣнадцать разъ.

Отправляюсь обозрѣвать городъ. Катаюсь по татарской слободѣ

съ задумчивыми мечетями и чистенькими домиками, отъ которыхъ вѣетъ замоскворѣцкой замкнутостью, и выѣзжаю снова къ центру города. За Воскресенской—Черное озеро, глубокая продолговатая котловина съ красивыми скверами, цвѣтниками и павильонами; надъ нимъ, предъ площадкой съ театромъ и собраніемъ, державинскій садикъ, выхолонный, приглаженный, совсѣмъ игомѣный. Посрединѣ возвышается памятникъ Державину. Авторъ «Фелицы» сидитъ въ римской тогѣ и смотритъ на небо. Псевдо-классическій стиль памятника рѣзко бросается въ глаза, особенно при сравненіи съ памятникомъ Пушкину. Два поэта, двѣ эпохи, два разныхъ художественныхъ вкуса несвольно навязываются своимъ контрастомъ.

У Чернаго озера—самая элегантная часть Казани. Жизни совсѣмъ мало, особенно послѣ нижегородской толчеи; городъ не выглядываетъ университетскимъ. Правда, теперь канікулярный сезонъ. Войска въ лагеряхъ, студентовъ почти не видать. Одни гимназисты переполняютъ книжные магазины, раскупая учебныя пособія. И въ пассажѣ, и въ гостиномъ дворѣ, что на Воскресенской, грузномъ, мрачномъ зданіи съ тяжелыми колоннами, преисполнѣ татарскомъ караванъ-сарай,—только они и видны.

Торговля Казани въ упадкѣ, несмотря на то, что въ ней до 116 заводовъ и фабрикъ. Чувствуется застой большаго города, оставшагося въ сторонѣ отъ жизни. Ее сравниваютъ съ чиновникомъ, поправшимъ за штатъ. Есть, дѣйствительно, въ ея культурной внѣшности что-то напояминающее приглаженного и старательнаго чиновника, котораго обошли товарищи-карьеристы, но который все-таки не теряетъ надежды сдѣлать карьеру.

Обѣдаю въ гостиницѣ. Обѣдъ изъ пяти блюдъ—рубль, кухня не то казанско-европейская, не то татарско-французская; на третье, къ моему величайшему недоумѣнію, подаютъ холодную бѣлугу подъ хриномъ.

Вечеромъ—проливной дождь съ грозой. Чтобы убить какъ-нибудь время, отправляюсь въ циркъ Никитинныхъ. Дебютъ «феноменально извѣстнаго» Дурова. Циркъ переполненъ. Видъ у публики совсѣмъ провинціальный. Преобладающей элементъ все-таки монгольскій: широкая скулы, узкіе глаза. Много татаръ; и въ райкѣ, и въ первомъ ряду попадаются халаты. Зрители держатъ себя наивно-экспансивно и непосредственно. Въ буфетѣ закусываютъ и пьютъ дружно. Потомки враговъ, сложившихъ кости на казанскомъ кладбищѣ, мирно бесѣдуютъ о стѣняхъ лошадей и балеринъ, беззаботной толпой, съ вѣчнымъ девизомъ—panem et circenses.

Глава XIV.

Вызвал из Казани. — Воспоминанья. — На «Гоголь». — Перекаати. — Новый пассажир. — Мое знакомство сь Дю-Фаром. — Устье Камы. — Француз о Россіи. — Нашъ «аллианс». — Франко-русская параллели. — Французская молодежь. — Разговор о литературѣ. — Самара.

17-е августа.

Льетъ дождь.

Въ номерѣ темно. Наскоро укладываюсь. Въ корридорѣ опять выстроилась шпалерами гостиничная прислуга съ видомъ пріятнаго, но скромнаго ожиданья.

Надъ Казанью будто опрокинулась исполненная поливалница. Городъ исчезаетъ въ мутной дымкѣ. Фэтонъ выѣзжаетъ на дамбу. Начинается тряска и громыханье. Минуемъ Адмиралтейскую слабооду. Все мокро, кисло, хмуро. Горы, навалившіяся надъ Нижнимъ Услономъ, угрюмо насушились. Что-то гнететъ. Вспоминаю судьбу Меньшикова, вспоминаю Арское поле, по которому проѣзжалъ вчера въ Казани. На немъ сосланный въ Пелымъ Биронъ встрѣтился съ Остерманомъ, возвращавшимся изъ ссылки. Трудно представить себѣ болѣе жестокою пробою судьбы.

Враги молча переглянулись. Бываютъ безмолвные взгляды, которые ярче всякихъ словъ передаютъ мысли. Остерманъ выдалъ своего злѣйшаго врага на пути къ тому аду, въ который попалъ благодаря ему. Что чувствовалъ въ это время безсильный временщикъ? И что долженъ былъ чувствовать другой «сильный міра», одинъ изъ «птенцовъ гнѣзда Петрова», «счастья баловень безродный, полудержавный властелинъ», когда вонъ тамъ, на кладбищѣ, что ютится у подножья услоновскихъ горъ, самъ рылъ могилу для своей жены, послѣдовавшей за нимъ въ Сибирь?

Надъ Казанью вообще тяготѣетъ какой-то рокъ: она не только кладбище, она была воротами, у которыхъ начинался главный путь въ макаровскія страны.

Профессоръ Шилевскій приводитъ довольно фадкія слова известнаго путешественника по Россіи, Шнидлера, относительно этого пути: «Nous avons vu le point de la route, où l'imagination place sur un poteau cette inscription: lasciate ogni speranza».

«По этому мосту, — говорить г. Сидоровъ въ своихъ путевыхъ замѣткахъ, — проѣхала телѣга съ несчастной семьей Меньшиковыхъ. Должно быть, мостъ не выдержалъ всѣхъ стоновъ и слезъ, раздававшихся здѣсь на порогахъ къ мраку и гибели, и рухнулъ въ Казань... Увы, если бы это было такъ, Волга отъ слезъ человеческихъ, проливавшихся здѣсь вѣками, давно бы стала океаномъ, и міръ, не выдержавъ этихъ слезъ и стоновъ, давно бы провалился въ бездну...»

Въ «конторкѣ», какъ здѣсь называютъ пароходныя пристани, суетится толпа. Масса татаръ, которые пристають съ предложеніемъ купить разныя мелочи, начиная платками и казанскимъ мыломъ. Обтою нѣтъ.

Отходить самолетскій пароходъ «Гоголь». Онъ поменьше «Никрасова», но такой же чистенькій и того же типа. Въ столовой (на рубкѣ) надъ пьянино — портретъ автора «Мертвыхъ душъ».

Отчаливаемъ. Вихри вѣтра разносятъ туманную пыль. Волга морщится. Она — то темносѣрая, то бурая, почти швѣта кофейя съ молокомъ.

Пассажировъ мало, да и тѣ попятались по каютамъ.

На носу стоитъ матросъ въ кожаной курткѣ и то и дѣло опускаетъ шестъ, выкиривая что-то.

Подъ Богородскомъ начинается перекаать. Перекаатовъ этихъ на Волгѣ очень много; дно рѣки постоянно мѣняется. Человѣкъ борется съ нею; она упорно и капризно создаетъ и сноситъ мели, то нагромождая горы песку, то взрывая ихъ. Невольно, незаметно, она изъ года въ годъ лижетъ и подмываетъ берега, унося каждый день горы ила и песку, разсыпавшагося по ея руслу до Каспия.

Волжскіе берега постоянно оползаютъ, образуя провалы. Въ Нижнемъ когда-то сползла гора, похоронивъ подъ собой развалины домовъ; въ оползняхъ исчезло цѣлое село Ловенское и древній городъ Китешь; въ Чебоксарахъ опускающаяся почва будто втянула въ себя падающую башню; въ Василь-Сурскѣ провалилась церковь и покосились дома; въ Старо-Макарьевѣ Волга поглотила большую гору и подтачиваетъ другую; за Сызранью, въ 1839 году, въ с. Феодоровкѣ провалилось и исчезло семьдесятъ домовъ... Какая-то безконечная борьба двухъ стихій: то земля пытается засыпать рѣку, то рѣка — разрушить землю. Трудно представить себѣ всю энергію, которую растрачиваетъ здѣсь масса воды, несущаяся по этой широкой долигѣ, глубиною отъ 10 футовъ до 8½ саж., а за Камой — до пятнадцати сажень.

И, несмотря на всю мощь этого потока въ три съ половиною тысячи верстъ, Волга въ иные годы становится безсильной: она мелѣетъ до того, что изъ четырехъ плесовъ *) большіе пароходы ходятъ свободно только по четвертому — отъ Камы или отъ Казани до Астрахани; въ такое время пассажиры и грузъ передаются на маленькіе плоскодонные пароходы, которые сравнительно свободно пробираются къ верховьямъ рѣки. Совсѣмъ какъ на Днѣпрѣ, гдѣ въ мелководье между Кіевомъ и Гомелемъ приходится по два-три раза пересаживаться.

Къ завтраку въ столовой появляется еще нѣсколько пассажировъ. Все народъ такой же кислый и угрюмый, какъ и погода.

Перелистываю «Всероссійскій Альбомъ-Путеводитель», издаваемый русскими пароходными обществами. Альбомъ появляется уже пятый годъ; его можно найти на всѣхъ волжскихъ пароходахъ. Изданіе очень роскошное (Леона Декрота въ Москвѣ), съ массою гравюръ, фототипій, справочнымъ отдѣломъ, коммерческими свѣдѣніями, адресами и объявленіями.

*) 1-й плесъ отъ Твери до Рыбинска, 2-й отъ Рыбинска до Нижняго, 3-й отъ Нижняго до Камы, 4-й отъ Камы до Астрахани.

Навстрѣчу, мимо оконъ, отражаясь въ зеркалахъ, все бѣгутъ пароходы. Небольшой «буксиръ» тащитъ баржу съ трехъярусной платформой; на ней цѣлый гуртъ рогатаго скота, штукъ четыреста-пятьсотъ; изъ каждаго яруса недоумѣло-испуганно выглядываетъ рогатая публика.

На правомъ берегу, въ котловинѣ, показывается изъ дымчатой пелены село Богородское. По гребню горъ выстроились крылатая мельница, въ глубинѣ—цѣлый городъ съ хорошенькими церквями и пестрыми крышами зданий.

По одному путеводителю—мы въ 67-ми, по другому—въ семидесяти трехъ верстахъ отъ Казани.

На пристани опять тѣ же татары, мордва и чувашки. Въ среднемъ Поволжьи инородческий элементъ вездѣ перемѣшанъ съ великорусскимъ, какъ перецъ, попавшій въ солонку. Въ Нижегородской и Казанской—черемисы (250 тыс.), въ Казанской и Симбирской—чувашки (500 тыс.); мордва (до 600 т.) раскинулась по правому, татары (1½ мил.) по лѣвому берегу Волги до Астрахани.

Къ намъ прибавляется всего одинъ пассажиръ, молодой, плотный, высокий брюнетъ, лѣтъ двадцати трехъ-четырехъ. Интеллигентное лицо, черные глаза, черная бородка, энергичныя черты. На видъ—не то землемѣръ, не то земскій врачъ; дорожный костюмъ сидитъ мѣшковато, въ манерахъ—увѣренность человѣка бывалаго. За нимъ проносятся желтый кожаный чехолъ и какіе-то инструменты въ черномъ чехлѣ. Кажется—астролябья, а можетъ-быть и фотографическій аппаратъ. Рѣшаю, что фотографъ.

Пассажиръ зоветъ лакея и говоритъ довольно рѣшительно:

— Карточка... обѣдъ.

Лакей подаетъ меню. «Фотографъ» углубляется и долго вертитъ его въ рукахъ.

— Дать мнѣ борщъ э бифстекъ.

Губы его, опущенныя черными усиками, складываются какъ-то странно и старательно, когда онъ выговариваетъ эти слова.

— Водки прикажете?

— Да, да... водка, карашо!

— Какой прикажете?

На лицѣ «фотографа» пробѣгаетъ смущенье.

Онъ начинаетъ интриговать меня. «Фотографъ» бросаетъ на меня вопросительный взглядъ.

— Вы французъ?—спрашиваю я его. Онъ отвѣчаетъ утвердительно, видимо обрадовавшись.

Послѣ первыхъ же словъ онъ встаетъ и рекомендуетъ. Фамилія его Дю-Фаръ; парижанинъ «шюръ-санъ», путешествовать по Россіи.

— Давно?

— Два мѣсяца.

— А теперь откуда ѣдете?

— Дю-гвермантъ де-Пермъ.

— Что-жъ вы дѣлали въ Пермской губерніи?

Дю-Фаръ съ первыхъ же словъ со всей французской экспансив-

ностью рассказывать мнѣ о цѣли своей поѣздки. Путешествіе по Россіи было давно его заветной мечтой. Но онъ не рѣшался ѣхать, не изучивъ языка. Поэтому нанялъ учителя и въ три-четыре мѣсяца научился по-русски. Пиннетъ легко, но въ разговорѣ «затрудняется». Главная цѣль поѣздки—познакомиться съ русской живописью, которая еще въ Парижѣ сильно заинтересовала его. Въ Вѣнѣ онъ встрѣтился со своимъ знакомымъ, извѣстнымъ археологомъ барономъ де-Бай. Тотъ и далъ ему ключъ маршрута, направивъ сначала въ Кіевъ, къ профессору В. А. Прахову. Оттуда Дю-Фаръ поѣхалъ въ Москву, побывалъ въ картинныхъ галлереехъ и студіи Васнецова, а изъ Москвы очутился вдругъ ни дальше, ни ближе, какъ въ Саранульскомъ уѣздѣ, въ имѣніи художника Свѣдомскаго. Оттуда-то онъ и пробрался по Камѣ въ Богородское.

Между нами сразу же устанавливается то сближеніе людей съ общими культурными и духовными интересами, въ которомъ залогъ будущаго сродства и единенія народовъ.

Въ шести верстахъ отъ Богородскаго происходитъ волжско-камскій «аллиансъ». Пробѣжавъ двѣ тысячи верстъ, Кама сливаетъ свои свѣтлыя воды, принесенныя изъ-подъ Урала, съ темными водами Волги, приплывшими изъ-за полуторы тысячи верстъ, изъ Тверской губерніи.

Картина сразу мѣняется. Горы расползаются волнистой грядой и таиотъ на горизонтѣ. Береговъ почти не видать. Они разбѣжались на тридцать верстъ. Рѣка исчезла. Предъ нами цѣлое море или, по крайней мѣрѣ, морской проливъ, какой-нибудь Ламанитъ. Просторъ—необъятный. И нашъ пароходъ, и тѣ, что бѣгутъ по этой водной равнинѣ, становятся вдругъ совсемъ маленькими.

Причаливаемъ къ Спаскому Затону. У пристани раскинулся цѣлый фабричный городокъ. Здѣсь механическіе и машиностроительные заводы общества «Кавказъ и Меркурій», на которыхъ строятся даже корпуса большихъ пароходовъ американскаго типа. Верстахъ въ двадцати отсюда—с. Болгары съ развалинами столицы Болгарскаго царства.

За Спаскимъ Затонкомъ солнце вдругъ прорѣзываетъ тучи и золотитъ впереди Волгу цѣлымъ потокомъ лучей. Тучи разбѣгаются, яркое-синее небо все шире располагается надъ нами.

Берега снова надвигаются, но все-таки они еще очень далеки. Волга огибъ будто жметъ, но это только на время, чтобы проползти своей могучей массой между горъ, въ темной кудрявой зелени вѣковыхъ лѣсовъ, и снова вырваться и разлиться на просторъ зеркальной гладью озера.

Мы гуляемъ съ Дю-Фаромъ по галлерей, то и дѣло останавливаясь, чтобы полюбоваться въ бинокль видами или подѣлиться восторгомъ. Настроеніе все время повышенное. Душа будто растетъ отъ окружающаго простора и величія природы. Какой-то трепетъ, такой же жизнерадостный, какъ трепетъ развѣвающегося и сверкающаго яркими цвѣтами флага, охватываетъ ее.

А тутъ и Дю-Фаръ, словно нарочно, подливаетъ масла своими восторженными отзывами о Россіи.

— Ah, monsieur! La Russie! Mais vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est que cela. Mais c'est énorme, c'est grandiose... Я никогда, никогда не воображал себя ничего подобного. Два месяца, что я в России, прошли как сон. Я пьян от впечатлений и неожиданностей. Ваше искусство, ваша литература, ваше общество, наконец,—все это так свежо и, вместе с тем, так интересно и ново для меня...

И он продолжает в таком же роде. В Киев он прогостил два дня в радушно-гостеприимном семействе профессора Прахова. (Ah, mais c'est une famille des gens bien braves et bien hospitaliers!). Профессор Прахов (он говорит Праковъ, картавя и ударяя на овъ) познакомил его с византийской школой, посвятив во все тонкости древне-византийского письма, показывая ему этот чудный храм Владимира, в котором мастерская рука знатока будто воскресила Византию. Картины Васнецова и Свѣдомского очаровали его. Какие таланты! А Третьяковская галерея! Он нарочно поехал из Москвы в Пермскую губернию, чтобы ближе познакомиться с кистью Свѣдомского.

Два дня он прогостил у них.

Его очаровали и хозяева, и их студия, и русская деревня...

Дю-Фаръ смеется и прибавляет:

— Et aussi la vodka russe. Ah, mais on boit chez vous énormément!

Он рассказывает, как, по неопытности, «хватил» в каком-то доме настой спирта на почках черной смородины—и чуть не умер; хотел показать, что умеет пить русскую водку, и опорожнил залпом рюмку восьмидесятиградусного алкоголя.

Он вдруг срывается.

Attendez, je vais vous montrer quelque chose.

Немного спустя, он тащит на галерею свой фотографический аппарат и большой ящик. В нем целая серия снимков. Там—и киевские виды, и собор св. Владимира, и семья профессора Прахова в нескольких группах, и его дача, и целая компания художников в саду за чайным столом, и нижегородская ярмарка, и усадьба Свѣдомских, и группы саранульских крестьян... Он, видимо, ни минуты не оставался в покое; все, что было интересного в его впечатлениях, он сейчас же схватывал. Я не успеваю оглянуться, как он уже прищелкивается к моей камере-обсcur.

Вечереть. Пароходы заstopоривают. Он беззвучно и как-то бесильно скользит к правому берегу, над которым из волнистой гуши дубового леса выглядывают Тетуши.

Дю-Фаръ, наводя аппарат на пристань, переговаривается со мной. Ему хочется чаю; но он не любит порционного и предпочитает пить его по-русски.

— J'aime bien mieux faire mon petit ménage... дѣлает наше маленькое хозяйство.

Я смеюсь и поправляю его. Он внимает книжке и записы-

вает под мою диктовку. В этой книжке у него целый лексикон русских слов и фраз, черновик какого-то письма, которое он написал по-русски своему учителю в Париже. Ему особенно нравится почему-то слово «теперь».

Он несколько раз произносит его, вставляя после т и п твердый знак и восклицая:

— Ah, mais c'est très-beau, vraiment... ть-есть-ерь...

О русской живописи он хочет написать и уже набросал план; о России и своем путешествии—тоже.

Чай пьем на веранде. Дю-Фаръ «хозяйничает», высказывая в то же время сожаления, что завтра нам придется расстаться в Самарѣ. Его маршрут—Сызрань, Пенза, Харьков, Севастополь, Константинополь, Марсель. Я начинаю искушать его похвалой со мной на Кавказ и в Крым. Быть в России и не видеть Кавказа—то же, что быть в Риме и не видеть папу. Это, видимо, соблазняет его. Но он отбивается: ему необходимо быть в Париже к сроку. Однако, вытащив из бокового кармана Бедкера, он начинает высчитывать. Я беру желѣзнодорожный путеводитель и пытаюсь убить его, что он «почти» не потеряет времени. Но француз не признает моего путеводителя и слѣпо вбрызгивает в своего Бедкера. В конце концов, он меня с торжеством побивает: Бедкеръ гораздо точнее и обстоятельнее знакомит с движением поездов и притом дает массу полезных в пути сведений и справок. Мне совѣтовали застиснуть имя. Но я упрямо отказался: было как-то совѣстно путешествовать в России по французскому путеводителю. Оказывается все-таки, что Бедкеръ лучше, полнее и обстоятельнее всех наших путеводителей.

Дю-Фара все больше и больше искушает заглянуть на Кавказъ.

Еще полчаса—и он вдруг рѣшается.

Мы—компаньоны. Рукопожатие, с высокой температурой аллианса.

Поздно вечером проходим мимо Симбирска, «помѣщичьего города», а ночью—мимо Жегулей, живописнѣйшаго уголка Волги, которая здѣсь выгнулась полковой к востоку, пропоязая девяносто верст между грядой гор в дремучихъ лѣсахъ.

Так и не удается увидеть Жегулей. Привожу художественное описание их изъ путевыхъ замѣток г. Сидорова.

«Жегулевскія горы—это былое царство молодежи удали, гдѣ до сих поръ въ темныхъ обрывахъ звучатъ имена Стенки Разина, Василия Булаева, Феодора Шелудяка и другихъ. Сколько въ этомъ словъ—«Жегули» Волги, а въ самой Волгѣ—Жегулей. Какъ безконечно эти горы и эта рѣка дополняютъ другъ друга! Жегули—одно изъ интереснѣйшихъ мѣстъ для туриста, одна изъ характернѣйшихъ картинъ береговъ русской царственной красавицы. Бывшее разбойниче гнѣздо, царство Булаева и Заметаева, Разина и Шелудяка, этой грозы окрестностей, Жегули наводили неописанный ужасъ на всехъ, кто долженъ былъ проплыть эту часть Волги. Здѣсь между непроходимыми лѣсами, темными оврагами, грозными

скалами, бездонным небом и безбрежной водой сама природа свила страшное, неприступное хищническое гнѣздо...

«Не такъ еще давно Жегули наводили ужасъ, и караваны судовъ съ трепетомъ пробирались этими мѣстами по широкой водной дорогѣ, среди обступившихъ дикихъ горъ. Слова «Сармы на кичку», раздававшаяся съ берега, заставляли всѣхъ бросаться на полъ и лежать безъ движенія, пока подымавшіе разбойники очищали судно. Хозяева судовъ съ приближеніемъ къ Жегулямъ заискивали у рабочихъ, поили ихъ водкой и всячески ублажали. Довольно было малѣйшей жалобы одного изъ нихъ на хозяина разбойникамъ, чтобы онъ живой не выѣхалъ изъ Жегулей... Много предсмертныхъ стоновъ слышали эти берега, много труповъ поглотила здѣсь Волга, много мрачныхъ трагедій разыгралось здѣсь въ полумракѣ, бросаюмъ горами на рѣку, гдѣ вольно купается мѣсяцъ»...

«Жегули—это художественная слава Волги»,—говоритъ г. Демьяновъ. «Истинный волгарь преклоняется предъ Жегулями, какъ индусъ предъ Гималаями». На протяженіи всей Волги нѣтъ красивѣе и живописнѣе мѣстности, какъ Жегулевскія горы»...

Изъ мрака иногда выплываютъ скалистые, шестининые силуэты горъ, которыя сверху сливаются съ чернымъ звѣзднымъ небомъ. Волгѣ какъ-то особенно сильно ощущается таинственная мощь окружающаго насъ міра Волги. Это еще цѣлый дѣйственный дремучій лѣсъ жизни, могучей, дикой и загадочной, полной легендъ, разбойничьей удали, тайнъ раскола, чудесъ и сказочныхъ кладовъ.

Я и Дю-Фаръ далеко за полночь гуляемъ по галлерей.

— Насъ и наше общество,—говоритъ онъ,—обвиняютъ и въ лсткомыслии, и легкости нравовъ. Эту дурную славу создала намъ наша бульварная литература и преобладающая адюльтерная тема беллетристики. Не судите насъ по ней. Французы гораздо нравственнѣе и гораздо выше ставятъ семейныя обязанности, чѣмъ это кажется. И буржуазія, и простой народъ одинаково свято чтятъ семью. Загляните въ деревню, присмотритесь къ жизни средняго класса; вездѣ вы замѣтите, что благо родины и семейныя устои составляютъ главный идеалъ француза. Потомъ—мы гораздо проще, естественнѣе и скромнѣе у себя, чѣмъ вы думаете. Я скажу даже, что русское общество нынѣшняго класса, пожалуй, превосходитъ насъ легкостью нравовъ. Что меня особенно поражаетъ у васъ—это не только широкій разгулъ при извѣстномъ *laissez aller*, но безумное мотанье денегъ и *grands airs*, это презрѣніе къ трудовой копѣйкѣ. Русскіе считаютъ насъ расточительными. А между тѣмъ французы чрезвычайно экономны и расчетливы; никто, какъ мы, не смотритъ на насъ съ удивленіемъ, когда мы сорите у насъ деньгами. Французъ не столько щедръ, сколько кажется такимъ вслѣдствіе умѣнья обдуманно и со смысломъ израсходовать каждый сантимъ. Ваши пурбуары, ваше «на тѣш»—что-то невозможно... Съ тѣхъ поръ, какъ я у васъ, я постоянно недоумѣваю. Бѣжать у васъ въ дорогѣ страшно много и бросаютъ на бѣду массу денегъ; мы въ дорогѣ привыкли наскоро хватить что-нибудь и мчаться дальше;

бѣжать люди не для того, чтобы въ пути устраивать пиры Сарда-напада; прислугѣ бросаютъ по рублю, по три, сдачи не считаютъ...

— У меня независимое состояніе, около милліона франковъ, до сорока тысячъ годового дохода, которыми я вольно свободно распоряжаюсь, такъ какъ отецъ мой и мать умерли. У меня тамъ осталась только замужняя сестра... Больше—никого въ цѣломъ мірѣ. Но, повѣрите ли, я себѣ никогда не позволю ничего такого, что у васъ позволяетъ себѣ даже человѣкъ средняго класса, существующій жалованьемъ... Эта широта русской натуры, безъ мысли о завтрашнемъ днѣ, не укладывается въ наши понятія...

— Наша молодежь,—продолжаетъ онъ немного спустя,—тоже не такова, какой вамъ кажется по нашимъ литературнымъ произведеніямъ. Она полна и вѣры, и жизненной силы; отрицательный типъ конца второй имперіи и семидесятыхъ годовъ вымираетъ; онъ выработался въ разлагающейся атмосферѣ упадка общества эпохи имперіи и отчасти послѣ погрома; это было почти физиологическое оскуднѣе жизненныхъ силъ, какъ послѣдствіе истощенія и сознанія своего безсилія. Наша молодежь теперь гораздо здоровѣе; она спокойно относится къ отрицательнымъ сторонамъ жизни и бодро смотритъ впередъ. Тѣ сомнѣнія, которыми проникнуты герои Зола, Мопассана, Марселя Преву или Поля Бурже, его Сиксты, Греду и Клодъ Ларш—не составляютъ массовое явленіе въ нашей молодежи; это патологическіе типы, которые демонстрируютъ предъ нами только для того, чтобы мы, изучая ихъ, могли бороться съ зарожденіемъ ихъ въ самихъ себѣ. Мы не воспринимаемъ эти отрицательныя идеи съ такой болѣзненной отзывчивостью, какъ ваша молодежь идеи Достоевскаго или Толстого. Мы тоже задумываемся надъ ними, но мы слишкомъ срослись съ идеей долга и гражданственности, которая приковываетъ насъ къ общему дѣлу, отодвигая ихъ на второй планъ; французы слишкомъ давно живутъ культурной жизнью, слишкомъ хорошо помнятъ всѣ пропавшія сомнѣнія и заблужденія, для того чтобы не понимать, что притокъ новыхъ поколѣній интеллигенціи обновляетъ и жизнь, и настроеніе, и міросозерцаніе,—что уныніе это временно, а жизнь страны вѣчна. Не смотрите и на нашъ анархизмъ, какъ на органическую болѣзнь Франціи; это продуктъ соціальной аномалии и горсти больныхъ; большинство нашей молодежи относится къ нему отрицательно...

Отсюда рѣчь переходитъ на русскую литературу. Оказывается, что Дю-Фаръ отлично знакомъ съ произведениями Тургенена, Достоевскаго и Толстого.

— Насъ въ особенности захватываетъ глубина и своеобразное свойство духа вашихъ писателей, это ясновидѣніе, позволяющее художнику улавливать сущность, душу образа и выковывать ее въ безсмертную форму, это умѣнье играть на почти неувидимыхъ клавишахъ души человѣческой, которые сразу создаютъ художественный образъ. Но насъ всегда нѣсколько утомляютъ и охлаждаютъ ваши объективность и слишкомъ суровый, угрюмый анализъ. Мы не отрицаемъ правды въ искусствѣ, но мы хотимъ, чтобы эта

правда была художественна, чтобъ она была смягчена изящной формой.

Я замѣчаю, что наша литература, какъ и вообще русская натура и русская жизнь, еще не отлились въ окончательную, цѣльную форму. Когда сѣверъ и югъ со всѣми ихъ контрастами перестаются и нейтрализуются въ новомъ сочетаніи, литература и искусство достигнутъ у насъ могучаго расцвѣта. Анализъ анатома, разсчитанный съ точностью математика холоднымъ умомъ сѣверянина, пока угнетаетъ непосредственность вдохновения, создающаго красоту въ искусствѣ, не нарушая правды. Югъ, съ его легендами и пылкой фантазіей, вдохнетъ новую жизнь въ литературу, которая, благодаря яркости красокъ и смѣлому полету мечты, обновитъ холодный фонъ литературы сѣвера. Эти два течения и теперь уже замѣтны у насъ; но южанинъ еще робокъ, онъ сдерживаетъ свой полетъ, подлаживаясь подъ вкусъ сѣверянина, благодаря, можетъ быть, его господству въ области искусства...

— У насъ,—говоритъ Дю-Фаръ,—натурализмъ и реализмъ отжидаютъ свой вѣкъ. Мы ищемъ новыхъ формъ, пока неудачно, но мы найдемъ ихъ. Реализмъ слишкомъ утомляетъ своей сѣрой жизненной правдой, слишкомъ приковываетъ къ землѣ духъ человѣчскій, не позволяя ему оторваться отъ ся грязи, забыться отъ дѣйствительности въ міръ грезъ и фантазій, унести, возвыситься надъ самимъ собой, надъ недостатками своей природы, чтобы вѣрять въ возможность своего совершенствованія и, значитъ, чтобы стать выше и чище...

18-е августа.

Утро. Небо и земля, омываемы дождемъ, имѣютъ совсѣмъ свѣжій видъ. Легкій паръ вздымается съ Волги и низкихъ зеленыхъ береговъ. Вдали за нами синѣютъ жегулевскія пирамиды, впереди, на ровномъ лѣвомъ берегу, изъ бордюра зелени вырастаетъ Самара съ надвигающимися на насъ группами пестрыхъ крышъ и домовъ, сверкающихъ яркими цвѣтами. Надъ городомъ господствуетъ стройная красная масса собора со множествомъ серебряныхъ куполовъ. Минуемъ дачи съ красивымъ ажурнымъ бѣлымъ кургаузомъ анаскаго кумисолѣчебнаго заведенія и причаливаемъ. Пристань грязная, въ навозѣ, совсѣмъ—черный дворъ Самары. Пароходъ стоитъ всего полчаса. Отправляемся съ Дю-Фаромъ получить корреспонденцію. Большой городъ съ его стотысячнымъ населеніемъ разворачивается передъ нами широкими, прямыми, но грязными улицами. Едва успеваемъ мелькомъ взглянуть на памятникъ Царю-Освободителю и мчимся на пароходъ, который сердито зоветъ насъ. Отъ Самары вѣетъ свѣжестью и молодостью еще растущаго организма. Жизнь кипитъ, чувствуется пульсъ большого торговаго центра, выросшаго быстро у сѣянна такихъ жизненныхъ артерій, какъ Волга, орнбургская и великая сибирская дорога.

Пароходъ бѣжитъ дальше.

ГЛАВА XV.

За Самарой.—Александровскій мостъ.—Отсутствие русскихъ туристовъ.—Мимо Сызрани.—Столица раскола.—Хвалынскъ.—Саратовъ.—Франко-нѣмекій „инженеръ“.—Па „Новосельскомъ“.—Публика.—Барышня-туристка.—За завтракомъ.—Саратовскій „дезансамблъ“.—Легенда о камышинскомъ „инженерѣ“.—Царство арбузовъ.

Опять убѣгаютъ отъ насъ берега, то располагаясь, то надвигаясь холмистой грядой. Степь сверкаетъ на солнцѣ золотистой соломою убранныхъ хлѣбцовъ; ее точно подстригли подъ гребенку. Отсюда начинается волжская житница—безбрежное хлѣбное море. Высокіе неуклюжіе магазины и амбары, вытянувшись вдоль Самары цѣлой арміей, продолжаютъ появляться у станцій отдѣльными отрядами такъ же часто, какъ и нефтяные городки-дистерны. У амбаровъ—десятки баржъ, въ которыя льется шпепичный потокъ; буксирные пароходы то пыхтятъ подлѣ въ ожиданіи, то ташатъ караванъ нагруженныхъ судовъ къ одной изъ желѣзнодорожныхъ артерій, связывающихъ Волгу съ Чернымъ и Балтійскимъ морями.

Вдали надъ Волгой показывается черное кружево, перекинутое съ одного берега на другой. Это Александровскій мостъ, одно изъ техническихъ чудесъ нашего вѣка, гигантская желѣзная сѣтъ въ полторы версты, подхваченная четырнадцатью бѣлыми устоями. Онъ соединяетъ сызрано-вяземскую и самаро-златоустовскую желѣзную дорогу; каждый путь свыше тысячи верстъ. Говорю объ этомъ Дю-Фару, прибавляя, что златоустовская линия сливается съ безконечной сибирской дорогой.

Онъ какъ-то съеживается, пытается вообразить эти пространства.

Мостъ представляеть величественное зрѣлище. Онъ высоко повисъ надъ Волгой. Издали невольно закрывается сомнѣніе, какъ пройдетъ нашъ пароходъ. Но чѣмъ больше приближаемся мы, тѣмъ больше вырастаютъ и раздвигаются его башни—устои; каждый пролетъ—длиной до 52 сажень. И нашъ, и другіе пароходы, такъ важно пыхтѣвшие вдали, теперь кажутся игрушками. Пожалуй, сквозь такіе пролеты можно протаскать и колокольню Ивана-Великаго, и башню Сумбеки.

Обошелся онъ семь милліоновъ, половину того, что стоитъ храмъ Спасителя.

Душа опять переполнена восторгомъ предъ творческой мощью человѣка. Укралкой поглядывая на Дю-Фара. Онъ ловитъ мой взглядъ.

— Чего вы?

— Да вотъ вспоминаю, что вы, европейцы, все то медвѣдямъ, то казакамъ величаете насъ.

— Ахъ, мосье!—Жестъ протеста. Для большей выразительности, обѣ руки прикладываются къ груди. Онъ напоминаетъ мнѣ о франко-русскихъ празднествахъ. Ему пришлось принимать въ нихъ дѣятельное участіе.

— Мы сами не подозревали, что это может выйти так трогательно, величественно и задумчиво. Бывали такие сцены, что плакать хотѣлось. Жажда братства и беззаветной любви создавала какой-то особенный токъ взаимнаго влеченья; имъ была насыщена вся атмосфера, въ которой пыла миллионная парижская толпа. Кто разъ видалъ это, тотъ никогда не пожелаетъ вражды народовъ...

Рѣчь снова переходитъ на русскія «пространства». Дю-Фаръ и удивляется, и недоумѣваетъ. До сихъ поръ онъ почти не встрѣчалъ русскихъ туристовъ. Я говорю, что тоже не имѣлъ этого счастья.

— Chez nous, en France, вы не найдете человѣка, который не исколесилъ бы свою родину вдоль и поперекъ. Наши крутовые поѣздки даютъ возможность почти за бездѣлицу объѣздить всю страну. Я чуть ли не мальчуганомъ заглянулъ въ каждый интересный уголокъ Франціи, въ прошломъ году побывалъ въ Алжирѣ... Прожить, не зная своей родины, не видавъ ее,—это что-то ужасное.

Еще бы! Вамъ то хорошо, коли вся ваша patrie составляетъ какую-нибудь пятидесятую часть Россіи. А попробуйте-ка у насъ, гдѣ можно набросать маршруты въ двадцать-тридцать тысячъ верстъ.

Французъ не унимается.

— Все-таки можно было бы хоть что-нибудь посмотреть. Правда, это дорого, по вѣдь у васъ не падаютъ деньги. Я видалъ, какъ проитриваютъ въ карты, не сморгнувъ, по тысячѣ рублей и больше. Par exemple—le prince Libatcheff, un très-riche propriétaire. И представьте себѣ—только и знаетъ, что Москву и Петербургъ. А за границей вездѣ побывалъ. У насъ, говорить, и интереснаго ничего нѣтъ, и неудобно путешествовать. Nom de Dieu! Но ваши дороги удобнѣе нашихъ, а волжскіе пароходы—полный комфортъ. И, главное, даже качки не бываетъ...

Онъ смѣется, вспоминая что-то.

— Представьте себѣ, когда я спросилъ одну вашу даму, почему она не ѣздитъ по Волгѣ, она отвѣтила, что боится качки. Это на Волгѣ-то!

— Въ устьѣ, за Астраханью, бываетъ все-таки качка, особенно весной.

— Ахъ, но вѣдь тамъ море!.. И потомъ, посмотрите, любоваться этимъ просторомъ, дышать этимъ воздухомъ—чего ужъ это одно стоитъ.

Воздухъ, дѣйствительно, чудный, чистый, прозрачный, бодрящій; онъ и освѣжаетъ, и повышаетъ настроеніе. У меня почти волчий аппетитъ. Это всегда испытываютъ путешествующіе по Волгѣ. За завтракомъ, кромѣ порцій икры и стерляди, я съѣдаю еще бифштексъ. Дю-Фаръ слѣдитъ за мной съ ужасомъ, полнымъ комизма; черные живые глаза глядятъ весело и задорно; но въ концѣ-концовъ онъ слѣдуетъ моему примѣру, замѣтивъ тономъ оправданія:

— Въ самомъ дѣлѣ, этотъ воздухъ какъ-то особенно дѣйствуетъ на аппетитъ. Вы замѣтили—капитанъ уже третій разъ ѣстъ. Quel brave cosaque!

Капитанъ дѣйствительно выглядитъ казакомъ. Высокій, румяный блондинъ, съ добродушнымъ лицомъ; тѣлосложеніе геркулеа. Угадывается дѣвственная волжская натура. Дю-Фаръ выражаетъ ему свои симпатіи по-русски. Лицо капитана расплывается въ широкую улыбку. Они пытаются понять другъ друга.

Александровскій мостъ уже далеко за нами; онъ кажется черной ниткой.

Пароходъ останавливается у Сызрани, одной изъ главныхъ хлѣбныхъ пристаней Волги. Городъ на правомъ берегу, но его почти не видать. Сызрань и теперь уже соперничаетъ со своимъ губернскимъ начальникомъ, Симбирскомъ, но скоро обгонитъ его. Симбирскъ—просто дворянскій сыночекъ безъ особой протекціи, Сызрань протезируетъ волжскій хлѣбный тузъ—и онъ «сдѣлаетъ» ея карьеру. Съ желѣзной дорогой Симбирскъ уже обошелъ, къ Сызрани, напротивъ, притянули сибирскій путь. Не даромъ Сызрань считается столицей «маргашекъ», особаго типа коммерческихъ плутовъ Поволжья.

Уже ниже Самары, гдѣ Волга заворачиваетъ къ западу, береговая панорама становится скучной. За Сызранью рѣка ползетъ то къ югу, то къ западу. Лѣвый берегъ—песчанья отмели, правый—сѣрые и бурые, обожженные солнцемъ, холмы. Волга еще шире...

Послѣ завтрака кефиреуемъ на галереѣ. Знакомлюсь съ поволжской печатью; цѣлый ворохъ газетъ. И въ нихъ, какъ и въ приволжскихъ городахъ, чувствуется трепетъ и пробужденіе новой жизни. Будто нарочно—въ каждомъ изъ крупныхъ волжскихъ центровъ, начиная Нижнимъ, кончая Астраханью, по двѣ газеты; и, кажется, подписанная цѣна на близнецовъ вездѣ одинаковая.

Дю-Фаръ пробѣгаетъ газеты. Ему попадается въ «Казанскомъ Телеграфѣ» корреспонденція изъ Хвалынска.

— Это мы тамъ сейчасъ будемъ? Раскольниковы—que ça veut dire?

Объясню и читаю корреспонденцію. «Раскольниковы въ Хвалынскѣ даютъ тонъ православному населенію. Живутъ они тихо, мирно; но передъ Пасхой у нихъ произошелъ такой случай: у бѣглопоповцевъ убѣжалъ «исправитель требъ» на страстной недѣлѣ. Праздникъ на дворѣ, а «бѣтка» бѣжала со двора. Избрали комиссію. Начали посылать по глухимъ мѣстамъ Хвалынскаго уѣзда разыскивать пона. Къ свѣчному ящику поставили тетку Акулину, а свѣчного старосту заставили «обѣдно совершать». Въ настоящее время бѣглопоповскихъ поповъ есть довольно. Одинъ изъ нихъ у купца К—на дворникомъ служитъ».

Дю-Фаръ недоумѣваетъ, потомъ достаетъ записную книжку.

Хвалынскъ—центръ поволжскаго раскола, расклинувшагося отъ Сызрани вплоть до Астрахани. Диктую названія раскольниковыхъ толковъ:

— Авиакумовщина, вѣтковское согласіе, діаконювщина, есифановщина, суслово согласіе, черноболыны, акилиновщина, аристовщина, артамоновщина, онисимовщина, осиповщина, адамантово, даниловщина, самокрещенцы, нѣтовщина, استفановщина, странники, титловщина, филипповщина, численники, чувственики, фредосіевщина, духоборцы, молоконы, субботники, штундисты, хлысты, скопы, скакуны, наполеоновщина...

Дю-Фаръ смотритъ съ недовѣріемъ.

— *Voilà, monsieur! Vous plaisancez. C'est du propre, ça!*

Объясню нѣкоторыя черты ученій и обрядности разныхъ толковъ.

— *Mais c'est du tartare, ça!* — восклицаетъ онъ изумленно и, минуто спустя, заявляетъ рѣшительно, что непремѣнно заглянетъ въ Хвалынскъ.

— Попробуйте-ка, говорю. Цѣликомъ не вернетесь во Францію. Онъ съ сомнѣніемъ поглядываетъ на меня.

— И это здѣсь, здѣсь, рядомъ съ этимъ мостомъ!

— Чего здѣсь? У васъ во Франціи рядомъ съ Сорбонной, академіей и сорока безсмертными уживаются вѣдь символисты, декаденты и Саръ-Пелладаны съ «черной мессой» и всякой чертовщиной.

— Что же дѣлаетъ ваше правительство?

— Все дѣлаетъ, что можно. И законы, и ссыла для нѣкоторыхъ сектъ, и каторга... Но таково свойство человѣческой природы: когда ему втемянятся въ голову, что онъ, уродуи себя, скорѣе поймаетъ журавля въ небѣ, такъ онъ и синичку изъ рукъ готовъ выпустить. Образованіе, просвѣщеніе — вотъ главное орудіе для борьбы съ этимъ мракомъ...

Присадемъ къ Хвалынску.

Опять пѣлые ряды неуклюжихъ хлѣбныхъ амбаровъ, кажушихся, при наваливающейся вечерней тѣни, черными на фонѣ мѣловыхъ горъ. Настроеніе ли, рѣзкій ли переходъ послѣ живописныхъ береговъ, но и городъ съ его церквями, и пристань, и толпа на ней носятъ какой-то угрюмый отпечатокъ. На лицахъ что-то строгое, сухое, даже жесткое; въ движеніяхъ спокойная сосредоточенность; въ глазахъ свѣтится чуждый, загадочный духовный міръ, полный тайны.

Дю-Фаръ срывается и заявляетъ капитану:

— *Eh bien, je vais voir votre Akoulina.*

Я перевожу. Капитанъ смѣется.

— Они, вѣрно, хотѣли познакомиться съ печатью большой и малой звѣзды, — шутитъ онъ, наираи на о, по-волжски.

Опять перевожу. Дю-Фаръ хохочетъ.

— *Oh, non, jamais! Chez nous, en France, n'alla. У насъ, —* объясняетъ онъ капитану, — за дѣти награла.

За Хвалынскомъ опять вырастаютъ горы, потомъ снова исчезаютъ, сливаясь съ окутавшей землю мглой.

Мы съ столовой. Я играю, Дю-Фаръ напѣваетъ то отрывки изъ оперъ Массеня, то баркароллу Чайковского, то Вагнера; потомъ

мы вмѣстѣ поемъ Марсельезу. Дю-Фаръ непремѣнно требуетъ русскій гимнъ, который и исполняетъ подъ аккомпаниментъ.

Въ концѣ концовъ онъ заявляетъ, что завтра мы обязательно должны пересѣсть въ Саратовъ на «Кавказъ и Меркурій». Въ доказательство вытаскивается Белекертъ, гдѣ на такой-то страницѣ говорится, что пароходы этого общества предпочитаютъ избранной публикой.

Срывается вихрь. Пароходъ дрожитъ.

Мнѣ рисуется переѣздъ по Каспійскому морю, и я предлагаю моему спутнику измѣнить маршрутъ: изъ Парицына повернуть на Калачъ, оттуда по Дону до Ростова и затѣмъ на Владикавказъ. Онъ и слышать не хочетъ. Я изображаю мрачными красками перспективу морской болѣзни, всякая опасности плаванья по морю — ничего не помогаетъ.

Прямой, почти квадратный упрямый лобъ бретонца морщится. Вся его энергичная фигура дышетъ этимъ упорствомъ.

— *Eh bien, moi, je suis à deux milles lieues de ma patrie, je ne connais pas assez votre langue, je suis tout seul — et je n'ai pas peur...*

Сдаюсь.

19-е августа.

Ночью мы прошли мимо Вольска, большого уѣздного города, тоже хлѣбной пристани и тоже гнѣзда раскола. Какъ и въ Хвалынскѣ, здѣсь большинство горожанъ — раскольники. Они орудуютъ и общественной, и коммерческой, и муниципальной жизнью.

Утромъ, оглябая группу острововъ, причаливаемъ къ Баронску или Екатеринштадту. Пошли уже нѣмецкія колоніи. Онѣ раскинулись по Самарской и преимущественно Саратовской губерніи вдоль Волги. Нѣмцевъ-колонистовъ свыше полутора тысячъ. Они поселились здѣсь въ прошломъ вѣкѣ, перенесли съ собой и нѣмецкую культуру, и строй жизни родного фатерлянда, и свое гернгутерское братство, и нѣмецко-швейцарскія названія. У волжскихъ береговъ, съ ихъ бурлацкой жизнью и русской ширью, выросли вдругъ чистенькіе, гладенькіе, вытянутые въ лицію, съ готическими башенками кирхъ, разные Унтервальдены, Базели, Цюрихи, Цуги, Люцерны, Сузентали и Шафгаузены. Цѣлый вѣкъ нѣмцы жили сплоченной, религіозной, необыкновенно трудолюбивой и дѣятельной общиной. Теперь, какъ говорятъ, прежняя замкнутость и обособленность исчезла, но вмѣстѣ съ тѣмъ исчезло и прежнее трудолюбіе и аккуратность. Въ нѣкоторыхъ колоніяхъ строгій режимъ жизни нарушенъ, колонисты распались. Многие, нажившись, уѣзжаютъ на родину.

Вдали снова вырастаютъ горы, и у подножія ихъ, надъ Волгой, бѣлѣетъ Саратовъ. Горы, угрюмые и каменистыя, будто нагнулись на городъ, мѣшая ему развернуться. Это придаетъ виду его что-то неуютное. Обнаженные, выжженные солнцемъ склоны горъ и холмистые, песчаные берега. Одна изъ горъ,

Соколова, несколько раз оползала, вызывая страдания катарфы.

По одному путеводителю в Саратов 165, по другому—123 тысячи жителей. Очевидно, волжская статистика основывается преимущественно на теории «вѣроятности» и «приблизительности». По одному—онъ именуется волжской столицей, по другому—волжскимъ красивѣмъ, центромъ Поволжья, наряднымъ и благоустроеннымъ городомъ.

Нашъ пароходъ начинаетъ выдѣлывать какія-то совершенно непонятныя оловянки. Онъ осторожно пробѣгаетъ внизъ мимо острововъ, мелей и длинной песчаной косы, потомъ опять направляется вверхъ и медленно пробирается между косой и лѣвымъ берегомъ. Мы въ недоумѣніи. Саратовъ то остается позади насъ, то снова разворачивается на буромъ фонѣ горъ панорамой пестрыхъ громадъ, съ краснымъ старымъ соборомъ, высокой колокольней Александро-Невскаго собора, двумя красными готическими башнями католической церкви, стройной башней лютеранской и еще нѣсколькими церквями. Городъ имѣетъ скученный и запыленный видъ степныхъ южныхъ городовъ; недостатокъ зелени и опаленныя солнцемъ горы придаютъ ему какой-то сухой и безжизненный колоритъ.

Цѣлый часъ насъ тормозитъ мимо Саратова. Волга, какъ говорить, выкинула саратовцамъ штуку: она отодвинула свое русло версты на двѣ въ сторону, и городъ остался при заливѣ, образовавшемся между берегомъ и косой.

Наконецъ «Гоголь» таки добирается до своей конторки, миновавъ наливныя нефтяныя станціи, лагерь нефтяныхъ цистернъ и массу баржъ, на которыхъ здоровенные крючички и батраки разгружаютъ мѣшки съ хлѣбомъ.

Берегъ обрывистый, грязный, песчаный. Деревянные лачуги, будки, лавчонки и конторки облѣпили его сѣрыми кубиками. Опять груды кулей, пирамиды мѣшковъ подъ брезентовъ, ряды бочекъ.

Саратовъ—центръ хлѣбной торговли для всей приволжской черноморской полосы. Историческія достопримѣчательности почти никакихъ. Выдающіяся событія—нашествіе Пугачева да грабежи Разина. Городъ гордится своимъ Радищевскимъ музеемъ, въ которомъ до четырехъ тысячъ предметовъ, богатый отдѣлъ нумизматики, коллекція старинныхъ вещей и оружія, «тургеневскій кабинетъ» и смѣшанная картинная галлерея русской школы и иностранныхъ мастеровъ.

Я и Дю-Фаръ перебираемся въ конторку «Кавказа и Меркурія». У пристани вытянулся большой пароходъ «Новосельскій». На берегу масса нищихъ. Они бросаются къ нашему багажу и отвоёвываютъ его у матросовъ.

Спѣшимъ. Сдаемъ багажъ, беремъ билетъ и ѣдемъ осматривать городъ. Обыкновенно въ Саратовѣ пароходы останавливаются часа на четыре. Но мы запоздали. «Новосельскій» отходитъ черезъ два часа. А тутъ на бѣду Дю-Фару понадобилось размѣнять золото; русскія деньги у него почти совсѣмъ вышли.

Торопимъ извозчика. Дрожки встряхиваетъ порядкомъ. Выѣзжаемъ на какой-то холмъ, минуемъ какую-то церковь, и мы на театральной площади съ большимъ зданіемъ театра и Радищевскимъ музеемъ. Здѣсь центръ города. Ничего «столичнаго» и «блестящаго» нѣтъ. Въ общемъ, Саратовъ, какъ и почти всѣ приволжскіе города, имѣетъ видъ молодого, еще формирующагося организма. И тутъ, и въ Самарѣ, и въ Нижнемъ—одинаково вѣетъ пробуждающейся и вдругъ закипѣвшей жизнью. Дуновение культуры хлынуло сразу цѣлымъ потокомъ; но города еще не успѣли вполне примѣниться къ ней и приспособиться. Масса новыхъ зданій, много начатыхъ построекъ, вытѣсняющихъ старыя поколѣнія зданій, много начатыхъ и лачужекъ. Асфальтовые тротуары, гранитная мостовая, а въ двухъ шагахъ—пустыри, грязныя, немощеныя улицы и навозъ; электричество или газъ въ центрѣ, полный мракъ на окраинахъ. Но работа кипитъ, города растутъ быстро. Еще десять-двадцать лѣтъ—и эти волжскіе гиганты заживутъ совсѣмъ европейской жизнью.

Ѣдемъ въ банкъ. Я—въ роли переводчика. Дю-Фаръ вынимаетъ мѣшечекъ съ золотомъ. Оказывается—не мѣняють.

— Какъ? французское золото?—протестуетъ онъ тономъ, въ которомъ слышится обида. Видимо, это задѣло его за живое.

Въ другомъ банкѣ—та же исторія. До отхода парохода остается полтора часа.

— Возьмите у меня, предлагаю. Въ Тифлисѣ размѣняете—разочтется. Сколько вамъ надо?

— Сто рублей. На пятнадцать наполеоновъ. Вынимаю деньги. Не беретъ: занимать не хочетъ.

— Такъ вы мнѣ дайте ваше золото. Я подержу его до Тифлиса, а вы поддержите у себя мои деньги.

И на эту комбинацію онъ не согласенъ.

— Чего вы хотите, наконецъ?

— Размѣняйте мнѣ ихъ.

На это я не соглашаюсь.

Ѣдемъ еще въ одинъ банкъ. Тоже не мѣняють, но направляютъ въ магазинъ Норблина и Буха. Приказчики, должно быть, изъ саратовскихъ нѣмцевъ. Присматриваются, принимаютъ, взвѣшиваютъ наполеоны—и предлагаютъ по тридцати копѣекъ за франкъ, когда курсъ по тридцати семи. Это значитъ, что на размѣнъ трехсотъ франковъ хотятъ заработать двадцать одинъ рубль. Дю-Фаръ опять протестуетъ. Онъ говоритъ по-нѣмецки но предпочитаетъ объясняться по-русски:

— Французское золото! Но мосель! Въ Лёндартъ, Берлэнъ, Ромъ, Эспанъ, Америкъ—парту французское золото не мѣняютъ за valeur...

Все это, однако, нисколько не трогаетъ нѣмцевъ.

Я тоже начинаю возмущаться.

— Помилуйте, возражаютъ они. Здѣсь мы не размѣняемъ. Ихъ придется отправить для размѣна въ Петербургъ. Сколько времени... Дю-Фаръ негодуетъ, но въ концѣ концовъ сдается нѣмцу.

— Eh bien, au reste—ça m'est bien égal... Берити... Allons.

Онъ подаетъ имъ наполеоны. У приказчиковъ на лицѣ скрытое удовольствіе. Мнѣ ужасно хочется вдругъ испортить его. Я протягиваю руку и удерживаю Дю-Фара.

— Пардонъ, мосье. Вы рѣшили окончательно продать по тридцати копѣекъ франкъ?

— Но вы видите...

— Хорошо. Я у васъ покупаю ихъ. Потрудитесь получить.

— Avez plaisir.

Дю-Фаръ отдаетъ мнѣ наполеоны, я ему — деньги. Нѣмцы глядятъ оторопѣло, видимо подозревая какую-то мистификацію.

Мгновенье — общее молчанье и замѣшательство. Мы любезно раскланиваемся и уходимъ. Нѣмцы совсѣмъ смущены.

На улицѣ даемъ волю смѣху.

— А все-таки, говорю, у нѣмцевъ изъ-подъ носа ушло французское золото.

Дю-Фаръ отъ души хохочетъ.

— Ah, les fichus chouxcroûtes!

Смотрю на часы; до отхода парохода остается часъ. А Радищевскій музей? Обрушиваясь на Дю-Фара. Онъ кипитъ. Я—тоже, отпуская по его адресу шпильки. Дѣлать нечего. Бѣдемъ къ пристани, продолжая ворчать.

Воздухъ то и дѣло прорѣзываютъ гудки пароходовъ. Откуда-то издалека доносится свистокъ, должно быть — съ поѣзда рязанско-уральской дороги.

Саратовъ мелькаетъ мимо широкими улицами и шпалерами домовъ. На «меркуріевскихъ» пароходахъ гудки съ двойнымъ тономъ. Одновременно и ревъ гудка, и свистъ паровоза.

Въ конторкѣ давка. Проталкиваемся на палубу. Всѣ каюты заняты. Нашъ багажъ снесли въ общую. Тамъ всего одинъ пассажиръ, раздѣтый большой генералъ. Чахоточное, восковое, бритое лицо, мутно-изнеможенный взглядъ, руки скелета. Лѣчился кумысомъ въ Самарѣ, ѣдетъ на Узунъ-Ада, въ Самаркандъ или Ташкентъ. До Астрахани еще двое сутокъ. Не особенно приятная перспектива пробыть съ больнымъ, да еще чахоточнымъ. Идемъ къ капитану. По пароходнымъ правиламъ, больные не допускаются въ каютъ-компанію. Ничего не помогаетъ. Обратитесь, говоритъ, къ агенту. Заявляемъ агенту. Просите, говоритъ, капитана. Онъ, можетъ быть, переведетъ генерала въ каюту. Капитанъ опять увѣряетъ, что это не его дѣло. Вспоминаю, что знакомые снабдили меня въ Казани рекомендательной карточкой. Терпѣть не могу прибѣгать къ такимъ «вспомогательнымъ» аргументамъ, но дѣлать нечего. Карточка производить дѣйствіе гоголевскаго полицеймейстера. Черезъ три минуты наши вещи въ особой каютѣ. Оказывается, что генералъ ѣдетъ вмѣстѣ съ дочерью. Онъ занималъ двѣ каюты, но просилъ оставить его въ общей, такъ какъ тамъ больше воздуха.

Устраиваемся и осматриваемъ новую гостиницу, въ которой проживемъ два дня. Типъ парохода—общій съ самолетскими. Первый классъ надъ палубой; тѣ же номера, каютъ-компанія и полу-

круглая гостиная. Бархатная мебель, ковры, пѣнино. Витая лѣстница ведетъ наверхъ. Тамъ—столовая; большой обѣденный столъ чело-вѣкъ на тридцать. Въ верхнемъ этажѣ я второй классъ, такое же просторное помѣщеніе, со столовой. Галлерея вокругъ всего парохода.

Пассажировъ очень много. Въ сосѣдней съ нашей каютой—все-таки женскіе голоса. Оттуда выглядываютъ двѣ барышни и дама. Это, къ нашему удивленію, русскія туристки. Бѣгутъ изъ Петербурга и тоже на Кавказъ круговымъ маршрутомъ. Дама, должно быть, компаньонка или гувернантка; меньшая изъ барышень, блондинка, кажется, съ родственницей; старшая, тоже блондинка, составляетъ центральную фигуру; двѣ ея спутницы будто ступеньваются предъ ней. Вся она какая-то легонькая, воздушная, съ перехваченной въ рюмочку молодой, гибкой таліей. Свѣтло-коричневая ткань нѣжно обнимаетъ ея изящную фигурку; на головѣ кокетливо наброшенный свѣтлый персидскій въ яркихъ полосахъ платокъ. Совсѣмъ бѣлое, нѣсколько птичье личико, зеленоватоголубые глаза и темно-русое облачко волосъ—выдаютъ съверянку. Во взглядѣ—что-то задумчиво-мечтательное. Угадывается натура, склонная къ фантазіи не мирящаяся съ обыденной обстановкой жизни. Въ голосѣ, жест-ахъ и поступи—масса граціи и женственности.

Нѣсколько мгновений мы съ Дю-Фаромъ молча, но многозначительно переглядываемся. Онъ торжествуетъ.

— А что, не говорилъ я вамъ, что общество здѣсь интереснѣе? Вы видите—Бедекеръ опять правъ.

Петербургская барышня производитъ на насъ обоихъ очень сильное впечатлѣніе. Мы сразу рѣшаемъ, что въ ней есть что-то напоминающее «тихую и чистую мечту». Барышня такъ и получаетъ у насъ имя «Мечты». Въ другой каютѣ парочка молодоженовъ, тоже изъ Петербурга: онъ—департаментскій чиновникъ, выше средняго возраста, въ чесунчѣ и форменной фуражкѣ, съ официальнымъ и сдержаннымъ выраженіемъ на сухощавомъ лицѣ; сквозь эту сдержанность проглядываетъ какъ будто навѣянный волжскимъ просторомъ порывъ выскочить изъ своей накрахмаленной официальнойности. Она—молоденькая brunetka, съ нѣсколько утомленнымъ, невыспавшимся и какъ будто недоумѣвающимъ видомъ; не то смущается новой обстановкой жизни, не то озадачена ею. Рядомъ, въ слѣдующей каютѣ, дочь больного генерала, тоже молодая brunetka, съ грустными, симпатичными и встревоженными лицомъ. Въ душу невольно закрадывается тоска: рисуется переѣздъ этого несчастнаго больного по морю до Узунъ-Ада, а тамъ еще почти полторы тысячи верстъ по закаспійской дорогѣ. И она одна, совсѣмъ одна съ этимъ умирающимъ...

Къ завтраку въ столовой собирается почти вся компанія. Душно. Отчаливаемъ. Въ окна виденъ убѣгающій Саратовъ и угрюмая гора. Нѣсколько верстъ еще вдоль пранаго берега выступаютъ изъ зелени дачи, а потомъ снова разворачивается то волнистыми полями, то гладкими нивами голая желто-бурая степь; лѣвый берегъ—без-конечная и такая же буроватая равнина.

Подлѣ меня сидитъ группа саратовцевъ, два помѣщика и пожилой, раскисшій, будто развинтившійся земцъ, съ длинными съдлыми волосами и разочарованнымъ лицомъ художника-неудачника. Онъ ѣсть очень много, пьетъ еще больше и, грязя косточки щипленка, изрѣдка и неохотно отрывается отъ этого занятія, чтобы пробурчать едва внятный отвѣтъ. Разговоры на сельско-хозяйственной и земскія темы, въ угнетенномъ тонѣ кризиса. Жена его — полная, пожилая, но еще молодящаяся брюнетка; напоминаетъ актрису на амплу комическихъ грандъ-дамъ; говоритъ разслабленно-аристократическимъ голосомъ и тожно поводитъ глазами. Видимо, старается обратить на себя вниманіе. Ёсть тоже много и нѣсколько разъ обращается къ «Мишелю», прося заказать ей еще что-то.

— Да, да, ужасныя у насъ дѣла теперь съ этимъ кризисомъ, — говоритъ она. Полное оскудѣніе, какъ сказалъ нашъ Терпигоревъ. Но нигдѣ это не замѣтно такъ, какъ въ нашемъ уѣздѣ. Представьте, на весь уѣздъ у насъ всего четыре дворянина — и тѣ перессорились. Словомъ, ужасный дезансамбль.

Мужъ ее какъ-то досадливо поводитъ плечами и опять, промывавъ что-то, принимается за ножку щипленка.

Дама не унимается, продолжая на ту же тему и еще нѣсколько разъ повторяя очевидно любимое ею словечко «дезансамбль».

Компанія обѣдающихъ наблюдаетъ не безъ любопытства эту парочку. Она служитъ своего рода «le distrait du magasin». Общій тонъ культурности нарушаетъ какой-то рыжеватый, неряшливого вида старикъ, тоже ушедшій въ лѣду. Онъ закладываетъ въ ротъ ножъ по самую рукоятку, не то сопить, не то прихрюкиваетъ и, въ довершеніе всего, чиститъ салфеткой зубы. Барани брезгливо гримасничаютъ.

Дю-Фару удается заговорить съ «Мечтой». Послѣ завтрака онъ уже гуляетъ съ ней и ее спутницами, весело балагура о чѣмъ-то.

За Ровнымъ и равнина, и берега, и села становятся сѣрыми, пыльными и томительно-монотонными; Волга, тоже сѣрая, начинаетъ сердито морщиться. Изрѣдка правый берегъ вырастаетъ то желтой стѣной, похожей на губку отъ массы дыръ съ гнѣздами ласточекъ и стрижей, то надвигается отвѣсной грядой мѣловыхъ, почти совсѣмъ бѣлыхъ уступовъ. Слѣва — низкая, безбрежная степь съ волнующимися ковылемъ и молочаємъ.

«Гоголь» обгоняетъ насъ. Капитанъ, стоя на площадкѣ, кланяется мнѣ и Дю-Фару. «Новосельскій» не хочетъ отстать и мчитъ на всѣхъ парахъ. Частъ оба парохода бѣгутъ почти рядомъ.

На Волгу спускаются сумерки, придавая ей и унылымъ берегамъ меланхолическій видъ. Подъ Камышиннымъ срывается буря. Пароходъ трещитъ, дрожитъ, скрипитъ и, кажется, вотъ-вотъ разсыпется — какъ старая карета. Загорается электричество. Въ уютной гостиной собирается компанія. Дю-Фаръ по уши погрузился во флиртъ. «Мечта» наигрываетъ мендельсоновское «Lieder ohne Worte». Вся ее воздушная фигурка полна самозабвения.

А вѣтеръ все крѣпчаетъ, будто порывався опрокинуть пароходъ.

Изрѣдка въ его потокахъ разносится тревожный, испуганный крикъ гудка.

Одиннадцатый часъ. Во мглѣ загораются надъ рѣкой красные, зеленые и синіе огоньки, отражаясь пестрыми, мигающими полосками въ водѣ.

Подходимъ къ Камышину, столичнѣ баштаннаго царства, арбузовъ и дынь. На баржахъ, на пристани и на пароходахъ ихъ буквально цѣлая гора. Города не видно; да онъ ничего особеннаго изъ себя и не представляетъ. Когда-то здѣсь Петръ Великій мечталъ соединить Волгу каналомъ съ Дономъ. Эта грандіозная работа была поручена какому-то начальнику, вродѣ инженера, который проворовался и загубилъ много солдатъ, назначенныхъ для работъ. Когда дѣло дошло до отчета, «инженеръ», съ отчаянья, велѣлъ запретъ тройку (въ одномъ изъ путеводителей говорится даже, будто въ коляска), помчалъ ее къ обрыву и вмѣстѣ съ конями и возкомъ (кибиткой, «экипажемъ» или «коляской?») исчезъ въ волнахъ Волги. Совсѣмъ по-волжски. Таковъ былъ первый кукуевскій дебютъ русскаго «инженера» на попрѣхъ отечественной канализаціи сто семьдесятъ лѣтъ тому назадъ.

Говорятъ — съ той поры въ Камышинѣ и пошли расти такіе болѣшіе и будто надутые арбузы.

ГЛАВА XVI.

Царицынъ. — Столпотвореніе вавилонское. — Геригутеры, магометане, православные, сектанты, епрси и буддисты плывутъ по русской рѣкѣ на твореніи Фультона. — Монологъ малоросса. — Сарептскій балабай, какъ антихолерное средство. — Волга и степь. — Черный яръ. — Дубинка Петра Великаго. — Мысли, навѣянная Волгой, и великій гений земли русской. — Волжская дельта. — Видъ Астрахани. — Па пристани. — Толпа востока.

20-е августа.

Всю ночь свирѣствовалъ вѣтеръ, сливаясь съ плескомъ и шипѣньемъ рѣки. Гудокъ ревѣлъ почти непрерывно, будя тревогу: такъ и казалось, что пароходъ въ непроницаемомъ мракѣ врѣжется въ бѣгущія навстрѣчу суда.

Къ утру вѣтеръ вдругъ стихъ. И природа, и Волга будто замерли въ изнеможеніи. Яркое-синее небо необыкновенно покойно. Солнце красноватымъ золотымъ шаромъ выкатилось и застыло надъ безбрежной желтой степью.

Пароходъ заворачиваетъ къ царицынской пристани. Почти отвѣсные глинистые берега запружены конторками, баржами съ лѣсомъ и пароходами. Вдоль набережной разбросаны то хорошецкіе европейскіе домики, то лагути, совсѣмъ грязныя и покосившіяся.

Здѣсь Волга связана съ Дономъ желѣзною дорогой, здѣсь же начинается и грязе-царицынская линия. Рыбная и хлѣбная торговля все больше поднимаютъ значеніе города. Онъ растетъ быстро. Еще

десяток—другой лѣтъ—и сорокатысячное население его удвоится, и онъ станетъ однимъ изъ главныхъ коммерческихъ узловъ Поволжья.

На пристани сутолока, гамъ и говоръ на нѣсколькихъ языкахъ. Торговки продаютъ, выкрикивая, какіе-то визанные шали и платки; армяне и греки—ковры, губки и туфли.

Оправляемся съ Дю-Фаромъ въ городъ. Къ каждой пароходной пристани проведены деревянные лѣстницы; нѣсколько площадокъ и сотни ступеней; на площадкахъ—лотки торговцевъ; опять ковры, фрукты, хлѣбъ, рыба.

Городъ беспорядочно располося среди пустырей неправильно разбитыми улицами. Какая-то смѣсь Азии и Европы; видъ захолустно-неряшливый. Грязныя улицы въ навозѣ и коркахъ арбузовъ; ноги вязнутъ въ песокъ. И вдоль такихъ улицъ въ центрѣ возвышаются двухъ- и трехъэтажные изысканные, нарядные дома съ громадными, совсѣмъ европейскими магазинами; точно элегантная барыня, очутившаяся на скотномъ дворѣ.

Базаръ съ деревянными бараками и лавками, скучившимися на грязной площади, совсѣмъ напоминаетъ базаръ любого узбѣдского бѣлорусскаго города; такъ и кажется, что перенесся за тысячи верстъ, въ какой-нибудь Рогачевъ или Оршу. Торгуютъ армяне и русскіе; что ни армянинъ—то типъ, все пучеглазые, черные, носатые, хотя и съ довольно добродушными лицами. Горы овощей и фруктовъ; тѣлги нагружены арбузами и дынями; они же сложены пирамидами вдоль рядовъ; дальше—и капуста, и зеленый перецъ, и синіе баклажаны, и красные помидоры; а рядомъ виноградъ, персики, шапгала, груши... Глаза такъ и разбѣгаются.

Заходимъ въ рыбныя лавки. Хотя теперь и не сезонъ, но рыбы масса. Тутъ же раскладываются доставленные изъ садковъ осетры и выбираютъ икранные мѣшочки. Икра разсыпается—что жемчугъ. Въ резервуарѣ стадо живыхъ стерлядей. Бѣлая, какъ сало, туша бѣлуги въ нѣсколько пудовъ лежитъ на выставкѣ; длинные филей балыковъ висятъ вдоль стѣны; изъ нихъ еще сочтятся янтарный жиръ; головизна—ни по чѣмъ, сельди—тоже. Покупаемъ фунтъ зернистой, только-что очищенной, икры. Стоитъ рубль.

За городомъ, къ западу, вокзалъ. Тамъ только и есть небольшой садъ. Весь городъ имѣетъ совсѣмъ облысѣвшій видъ: ни деревца. Нечѣмъ поливать,—нѣтъ водопровода.

Подлѣ вокзала кладбище, старинное, съ разрушенной и заросшей канавой. Овцы, свиньи и ослы пасутся на немъ. Дальше—голая, бурая, выжженная и растрескавшаяся степь до самаго горизонта. Ярѣдка только попадается зеленый бурьянъ, да гдѣ-нибудь кусты съ калачинки.

На площади, рядомъ съ прекрасными магазинами, собралась группа татаръ. Нѣсколько бурыхъ верблюдовъ, навьюченныхъ разными домашними хламомъ и коврами, переминаются, покачивая своими овечьими головами съ отвислыми губами. Подлѣ нихъ свирѣпаго вида косматые киргизы въ острыхъ шапкахъ и грязныхъ халатахъ.

Должно быть, награбивъ ясакъ, пріѣхали откуда-нибудь изъ киргизскихъ степей закупать товаръ.

Еще дальше встрѣчаемъ татарку въ синемъ ситцевомъ кафтанѣ, верхомъ на ослѣ. Желтое, почти землянистое, сморщенное лицо, черные, злые глаза, сѣдые распущенные волосы. Совсѣмъ въдыма. Азиатскій букетъ такъ и бьетъ въ носъ. Дю-Фаръ то и дѣло толкаетъ меня, указывая на какую-нибудь диковинку.

Въ одномъ изъ трехъэтажныхъ домовъ—«Столичная гостиница». Заходимъ выпить кофею. Гостиница совсѣмъ европейская, большая и чистая. При ресторанѣ огромный залъ, не меньше, чѣмъ у Омона въ Нижнемъ. Открытая смена съ замысловато расписаннымъ занавѣсомъ и около сотни столиковъ. Здѣсь—кафе-шантанъ и биржа парицянскаго купечества; здѣсь истребляются пуды икры, пропащаются сотни рублей подъ звуки французскихъ шансонетокъ, совершаются крупныя сдѣлки на десятки тысячъ пудовъ икры, осетрины, сельдей и сотни тысячъ пудовъ хлѣба. Въ двухъ шагахъ верблюды и киргизы, а тутъ—парижскій каскадъ.

За кофеемъ съѣдаемъ всю икру. Дю-Фаръ, кажется, начинаетъ понимать русскій аппетитъ.

Нагружаемся мѣшечками съ виноградомъ, персиками и грушами и сходимъ къ пристани.

На пароходѣ такое же царство фруктовъ. Пассажиры спѣшатъ запасаться ими. Бокъ-о-бокъ съ «Новосельскимъ» стоитъ «Вѣщій Олегъ». Вся палуба на немъ загромождена арбузами. Прохода нѣтъ. А внизу колышется только-что причалившая шлюпка, тоже съ арбузами. Баба и нѣсколько парней въ кумачевыхъ рубашкахъ, фиолетовыхъ панавахъ и лаптяхъ перебрасываютъ ихъ рабочимъ, что на палубѣ «Олега». Тѣ ловятъ арбузы, какъ мячи. Иной разъ арбузы плепаются и раскалываются. Баба, должно-быть хозяйка, кричитъ на парней. Тѣ, какъ ни въ чемъ не бывало, пересмѣиваются, разламываютъ треснувшіе арбузы и ѣдятъ всю своей загорѣлой рожей въ красное сочное мясо.

Зеленые мячи все летятъ. Въ другомъ концѣ тащатъ корзины съ виноградомъ, помидорами и персиками.

Крикъ, шумъ, перебранка, смѣхъ.

Въ этомъ хаосѣ, подъ ревъ гудка, пароходъ отдѣляется отъ пристани. Чѣмъ дальше—берега становятся все ниже, степь глаже и безжизненнѣе. Берега то совсѣмъ голые, то убрали сѣро-зеленой бахромы тальника. Иногда промелькнетъ островъ съ изумрудной, либо съ рижей шеткой камыша—и опять мертвая степь и степь безъ конца, съ дрожжащимъ маревомъ на горизонтѣ.

Солнце все больше припекаетъ. Пассажиры гуляютъ на галлерей въ легкихъ лѣтнихъ костюмахъ. Дамы прячутся подъ цвѣтные зонтики.

Публика смѣшанная, особенно палубная. Тутъ можно насчитать представителей нѣсколькихъ религій и десятковъ сектъ. Старообрядцы разныхъ толковъ, православные, католики, протестанты, аргорианцы, евреи, буддисты-ламайцы, магометане... Такая же смѣсь

и въ національномъ отношеніи. Вонъ нѣсколько солдатъ—блондиновъ, совсѣмъ блондиныхъ, еще не успѣвшихъ загорѣть сѣвянъ-великороссовъ, подлѣ — группа смуглыхъ татаръ, тараторящихъ что-то непонятное; дальше—армяне и персы въ синихъ курткахъ, туфляхъ и грязныхъ платкахъ на головахъ; потомъ опять русскіе, кажется раскольниковъ, въ бархатныхъ жилетахъ поверхъ ситцевыхъ рубахъ на выпускъ; напротивъ — нѣсколько калмыковъ, и среди нихъ калмыченокъ лѣтъ десяти, должно быть—воспитанницъ какой-нибудь иновѣрческой школы; онѣ въ ученической блузѣ и форменной фуражкѣ съ зеленымъ околышкомъ. Лицо у него желтое, болѣзненное, глазки узенькіе, уши оттопыренные, носъ совсѣмъ расплюснутый. Калмыки вырождаются и, говорятъ, совсѣмъ вымираютъ, преимущественно отъ чахотки. И не мудрено: вся калмыцкая степь, что расплзается по правому берегу, — сплошное море пыли и песку. У калмыченка глаза такъ и сверкаютъ, когда глѣ-нибудъ на берегу покажется лошади. Должно быть, сынъ какого-нибудь найона или зайсанга. Везутъ его учиться, а онъ рвется въ степь, къ родному улусу, къ его войлочнымъ конусообразнымъ кибиткамъ, къ его хурулу, гдѣ калмыцкіе священники, гелонги, учили его молиться ихъ буддистскому богу—Далай-Ламѣ.

Еще дальше видна группа нѣмцевъ-колонистовъ, въ соломенныхъ шляпахъ и синихъ курткахъ, съ типичными рыжеватыми и сосредоточенно-глубокомысленными фizioноміями нѣмецкихъ бюргеровъ. Ихъ здѣсь много. Они и въ третьемъ, и во второмъ классѣ. Есть и дамы-колонистки. Видъ у нихъ совсѣмъ презентабельный, «интеллигентный», одна даже въ *pinse-nez*. Вязжутъ, шьютъ и ведутъ чинно, совсѣмъ ширлихъ-манирлихъ, разговоры исключительно на нѣмецкомъ. По-русски почти не понимаютъ.

Одинъ изъ нѣмцевъ, котораго спрашиваю, какое село видно впереди, ничего не отвѣчаетъ, а только отрицательно мотаетъ головой.

Повторяю мой вопросъ.

Та же пантомима. Береть досада. Не можетъ быть, чтобы не понималъ! Притворяется нѣмчурой или хочетъ выказать презрѣніе къ русскимъ. Нарочно, рѣшительно и настойчиво, въ третій разъ задаю мой вопросъ. Онъ опять качаетъ головой и, наконецъ, говоритъ:

— Nein, ich bin ein Bennicher... Я Праха... Тшехъ...

Должно быть, ѣдетъ въ Сарепту къ своимъ «братьямъ». Говорятъ, гергутеры, или евангелическое братство послѣдователей Гусса, сплотились въ очень дружную братскія общины въ нѣсколькихъ колоніяхъ. Больше другихъ расцвѣла сарептская община. Строго корпоративный духъ, братскіе принципы въ общежитіи, безукоризненная честность, неуклонный режимъ въ трудовой жизни, высокая нравственность—все это изъ поколѣнья въ поколѣнья сковывало въ дружную религиозную семью колонистовъ. Но въ послѣднее время и здѣсь возникъ расколъ. Духъ наживы проникъ въ ихъ среду. Нѣкоторые успѣли сколотить миллионныя состоянія, нача-

лась эксплуатация своихъ же колонистовъ, а съ ней и конкуренція, и разладъ. Старики и теперь еще, обращаясь къ ближнему, говорятъ «братъ»; но молодежь уже не признаетъ старины и прежней чистоты нравовъ.

Кромѣ нѣмцевъ, на пароходѣ есть и нѣсколько евреевъ. Они сѣли въ Паричанѣ, гдѣ ихъ не мало. Еврейскій элементъ постепенно проникаетъ къ Волгѣ. Г. Демьяновъ, отмѣчая въ своемъ путеводителѣ попытку евреевъ завоевать приволжскій край, предсказываетъ, что они разольются страшнымъ потокомъ... Ротшильдовъ, и приводитъ довольно жестокой монологъ одного хохла, который увидалъ, какъ на царичинскомъ вокзалѣ высадились цѣлая переница представителей этого несчастнаго племени: «Що се мои очи бачуть? Оце-жъ хмара — такъ хмара! Якъ саранча! А сколько каждая жидивка тягне подушокъ! А сколько за каждой жидивкой бжикъ жидынятъ! И куды вона йде, ся нечиста сьма?... Прошай, Паричанъ, прощай Волга! Отъ пей хмары жидивской и въ домовини нѣ сковаешься!..»

Но здѣсь евреи совсѣмъ незамѣтны. Они не носятъ халатовъ, одѣты по-европейски и почти сливаются съ армянами и цвѣтомъ лица, и восточнымъ профилемъ, и даже акцентомъ.

Есть затѣмъ на пароходѣ и хохлы-переселенцы, и поляки. Мысленно перебираю всѣ національности пассажировъ... Какое-то столпотвореніе вавилонское. Не вѣрится даже, что это все Россія... Что-то совсѣмъ непонятное... Культурныя колоніи гергутеровъ и рядомъ кибитки ламайцевъ-калмыковъ...

Пароходъ огибаеетъ островъ и причаливаетъ къ сарептской пристани. Колоній не видно. Берегъ пустынный. Кромѣ конторки, въ нѣсколькихъ саженьяхъ одиноко выглядываетъ будка. Туда бѣгутъ пассажиры. Справляюсь, въ чемъ дѣло. Оказывается, тамъ продается сарептскій балзамъ и горчица. Иду вмѣстѣ съ Дю-Фаромъ. Песокъ по колѣни, ноги вязнутъ. У будки толпится все больше палубная публика. Балзамъ раскупается нарасхватъ. Нѣмецъ спешитъ, съ необыкновенно важнымъ видомъ, едва успѣваетъ передавать пузатые глиняные кувшинчики и штофы. Штофъ—полтора рубля, кувшинчикъ—семь съ половиною гривенъ. Пароходъ зоветъ. Публика гурьбой бѣжитъ къ конторкѣ.

— Да что въ немъ, въ этомъ балзамѣ-то?—спрашиваю на ходу у русскаго въ ситцевой рубахѣ и съ голенищами гармоніей. Онъ нѣжно прижимаетъ къ груди цѣлый штофъ и блаженно улыбается.

— А какъ же-съ! Помилуйте, это—съ всѣмъ извѣстно. Очипано польительно-съ для желудка.

— Какъ холера была, — поясняетъ его товарищъ, — въ окрѣдъ люди какъ мухи вымирали, а въ Сарептѣ ихней ни одинъ нѣмецъ не подохъ. Всѣ дивились. А они говорятъ: пейте нашъ балзамъ, и у васъ холеры не будетъ. Съ этихъ поръ ему и слава такая пошла.

— Да вѣдъ нынче холеры-то нѣтъ?

— Богъ миловаль... А все же польительно.

Мируемъ Каменный Ярѣ, заходимъ во Владимировку, одну изъ главныхъ соляныхъ пристаней. Она соединена желѣзнодорожной вѣтвью съ Баскунчакскимъ озеромъ. Эльтонское солѣное озеро осталось выше, противъ Царева.

Острова показываются все чаще. Лѣвый берегъ изрѣзанъ рѣчками и лагунами. Вдоль него на сотни верстъ параллельно съ Волгой тянется рукавъ ея, Ахтуба; иногда она бѣлѣетъ далеко на горизонтѣ, иногда подходит совсѣмъ близко, почти сливаясь.

Пятый часъ. День прекрасный, хотя и душно. Дю-Фаръ занимаетъ петербургскихъ барышень, возится съ фотографическимъ аппаратомъ, выставляетъ на солнце стекла. «Мечта» записываетъ что-то въ изящный альбомъ. Она очень часто заноситъ свои впечатлѣнія. Головка ея задумчиво склоняется надъ тетрадкой. Персидская накладка развѣвается. Легкій порывъ вѣтра такъ, кажется, и унесетъ ея фигурку.

Сажусь на самое посу парохода, противъ бѣлаго якоря. Предомной—ничего, кромѣ водной равнины, надо мной вѣетъ и трепещетъ флагъ. Кажется, будто летишь. Пароходъ рѣжетъ воду, бороздя ее и вздымая бѣлые гребни волнъ. Рѣка вдали сливается съ синимъ небомъ.

Справа пески и безконечная степь, слѣва изрѣдка показывается кустарникъ. Десятки верстъ картина эта не мѣняется. Иногда только гдѣ-нибудь далеко выступитъ оазисомъ станица въ зелени садовъ, сверкнетъ крестъ на зеленомъ куполѣ желтой или розовой церкви, выглянутъ уютные, крытые камышомъ домики—и снова исчезнутъ, и снова безмолвіе степи, и снова впереди только синее небо, вода да желтая равнина.

Вечерѣетъ. Пароходъ бѣжитъ на югъ. Солнце закатывается; по рѣкѣ стелется красноватая полоса, дрожа на искрящейся глади.

Порой изъ камышей срываются стаи утокъ, въ неподвижномъ воздухѣ бѣлыми мотыльками проносятся чайки; показываются пеликаны или бабы-птицы съ отвисшими мѣшками подъ клювомъ, выплываютъ красавцы-лебеди. На берегу стоитъ журавль, задумавшись о чемъ-то съ видомъ философа, погрузившагося въ вельшмеритъ.

По временамъ, когда машину застопориваютъ, пароходъ будто замираетъ и неслышно, безвольно несется по теченью. Тишина становится еще глубже. Сладкій покой охватываетъ все существо. Только камышъ шепчетъ о чемъ-то на островахъ, колыхая свои пушистыя верхушки.

Подходимъ къ Черному Яру, небольшому уѣздному городку. Онъ будто застылъ надъ берегомъ и глядится въ зеркальную гладь своихъ небольшими домами и группой деревь.

На берегу у пристани рыбаки развѣшиваютъ сѣти. Я какъ-то прочиталъ сегодня въ астраханскихъ газетахъ о хищнической ловлѣ рыбы гигантскими сѣтями почти въ двѣ версты длины, съ провѣтомъ не болѣе вершка. Захватывая огромное пространство рѣки, такимъ неводомъ сразу вытягиваютъ до тысячи пудовъ рыбы и болѣе.

Крупную отбираютъ, а мелочь выбрасываютъ на берегъ, гдѣ она и гниетъ, заражая воздухъ.

И эта груда сѣтей, которую рыбаки волокутъ, вѣроятно, не меньше двухъ верстъ. Воздухъ пропитанъ насквозь запахомъ рыбы и солью.

Недалеко отсюда—знаменитая, по неудачному дебюту чумы, станица Ветлянка.

На землю какъ-то сразу надвигается глубокая, теплая южная ночь.

Пассажиры третьяго класса укладываются спать. Какой-то татаринъ, развернувъ коверъ и положивъ подлѣ туфли, стая на колѣни и совершаетъ свой намазъ. Семья переселенцевъ-малороссовъ пристраивается на скамьѣ. Мать кормитъ грудного ребенка, отецъ заботливо подкладываетъ свитку подъ голову дремлющаго мальчугана.

Первоклассная публика собирается въ гостиной. Барышни пишутъ письма, дама занята какимъ-то рукодѣліемъ. Департаментскій чиновникъ, несмотря на медовый мѣсяцъ, ищетъ партнеровъ для вишты. Я пишу замѣтки. Дю-Фаръ отрываетъ меня, спрашивая, что значить дубинка. Въ одномъ изъ путеводителей говорится о царинскихъ памятникахъ старины—дубинкѣ и шапкѣ Петра Великаго. Царь, дая ихъ царыцнамъ, сказалъ:

«Вотъ вамъ моя дубинка. Какъ я управлялся ею съ моими друзьями, такъ и вы обороняйтесь ею отъ враговъ вашихъ. Вотъ вамъ мой картузь. Какъ никто не смѣлъ снять его съ моей головы, такъ пусть никто не посмѣетъ васъ вывести изъ Царыцына».

Отсюда разговоръ нашъ незаметно переходитъ на личность этого великаго генія земли русской, этого гиганта, такого же величественнаго, какъ и исполинская рѣка, по которой мы плывемъ. Вся она полна имъ, будитъ воспоминанія о немъ. Въ Казани онъ основалъ адмиралтейство, создавшее Каспійскій флотъ, въ Астрахани есть его домикъ и два ботика, сооруженныхъ имъ; по Волгѣ проплылъ онъ во время войны съ Персіей, сто сѣмидесятъ два года тому назадъ, и вернулся побѣдителемъ, завоевавъ Дербентъ, Баку и Астрабадъ...

Я говорю Дю-Фару, что въ исторіи всего человѣчества нѣтъ почти болѣе великаго, могучаго и захватывающаго генія-реформатора. Что-то изумительное и по энергіи, и по желѣзной волѣ, и по размаху натуры, и по силѣ духа, что-то такое, что намъ, современникамъ, отравленнымъ сомнѣніями и мировой скорбью, кажется и недостижимымъ, и непонятнымъ, что-то и стихійное, и божественное, что-то почти необъятное. Прель неустойчивой энергіей и силой этой натуры—мы просто лигиси. Все въ немъ величественно и чудесно, начиная его появленіемъ, его порывомъ къ новой жизни. Въ замкнутой атмосферѣ Московскаго государства вдругъ нарождается эта душа, съ ея страстнымъ, неодолимымъ стремленіемъ къ обновленію жизни, съ сѣ безграничной любовью къ родинѣ, съ ея желаніемъ отвоєвать ей мѣсто въ семьѣ другихъ европейскихъ народовъ. И какъ все это у него чудно, просто до величія и величественно

до необходимости. Молодой царь, властелин могучаго царства, онъ отправляется въ Европу изучать жизнь другихъ народовъ простымъ мастеромъ Петромъ Михайловымъ, онъ самъ становится и матросомъ, и рабочникомъ, не гнушаясь трудомъ, показывая своему народу, что счастье жизни и благоденствие его — въ этомъ трудѣ и знаніи. Два года длится эта наука первого работника государства въ самой простой обстановкѣ, со страстными, ненасытимымъ желаніемъ все узнать, все изучить, все хорошее передать своему народу. Онъ возвращается домой опытнымъ, полнымъ энергіи молодости, любви и жажды скорѣе открыть родному народу тотъ свѣтъ, который охватилъ его душу. На первомъ же шагу онъ сталкивается съ измѣной и враждой; онъ нещадно давитъ ее и, заглушая въ себѣ муки разочарованія въ окружающихъ, принуждая себя, можетъ быть по необходимости, быть жестокимъ, стремится впередъ... Дальше — нѣтъ дня, нѣтъ часа почти въ его жизни, когда бы онъ оставался въ покоѣ, когда бы онъ не думалъ о своей Россіи, о ея благѣ, когда бы онъ съ пыломъ неутомимаго вадника не стремился мчать ее впередъ, — такого могучаго, гордаго вадника, какимъ онъ увѣковѣченъ въ бронзѣ на берегу его рѣки. Четверть вѣка длится безпрерывно эта работа гиганта, сегодня — какъ завоевателя, завтра — какъ законодателя или преобразователя, и всюду, гдѣ онъ показывается, его появленіе вдыхаетъ жизнь и призываетъ къ жизни. Во всемъ онъ одинаково великъ, самобытенъ и непосредственъ. Онъ ни минуты не колеблется предъ тѣмъ, во что вѣрится; онъ гнетъ все, что мѣшаетъ ему и его народу пройти дальше; онъ выбираетъ своихъ сотрудниковъ, чутко угадывая въ нихъ тѣ силы, которыя нужны ему; онъ не задумывается надъ тѣмъ, что одинъ — простой пирожникъ, а другой — уличный мальчишка; онъ знаетъ, что для подвига нужны умъ и сила души, и что этого ни богатствомъ, ни знатностью не купишь; и подъ его властной волей изъ ничего вырастаютъ герои, изъ нѣдръ народныхъ — его сподвижники. Онъ словно хочетъ показать своему народу, какія силы таятся въ немъ, на что онъ способенъ. Вся его исторія — это пробужденіе, самознание и зарожденіе новой жизни въ русской душѣ, такъ ярко сказавшейся въ немъ, — это одна изъ самыхъ рѣшительныхъ эпохъ, которая выковала ея судьбу. И онъ настолько удивительно могучъ и великъ, что мы до сихъ поръ еще не можемъ понять его, не научились достаточно любить его...

Дю-Фаръ, довольно хорошо знакомый съ русской исторіей, указываетъ на заточенные Софьи, казни стрѣльцовъ и тѣ жестокости, въ обстановкѣ которыхъ Петръ кажется холоднымъ, безпощаднымъ, чуждымъ человѣческой любви къ ближнему.

Это не только у западныхъ историковъ, но и у насъ довольно холодный взглядъ. Мы забываемъ эпоху, въ которой разыгрывалась величайшая страница русской исторіи, забываемъ напряженіе и обстановку борьбы, гдѣ будущее Россіи ставилось на карту и малѣйшее колебаніе могло погубить дѣло, которому посвящена вся жизнь, всѣ помыслы души. Развѣ можетъ быть чуждъ любви отецъ, кото-

рый, ради блага родины, рѣшается принести въ жертву своего сына, — царь, который, не колеблясь ни минуты, бросается спасать утопающихъ, жертвуя собственной жизнью?.. Когда въ нации нарождаются такіе герои, жизненные силы ея неизсякаемы...

Я не знаю, почему именно сегодня, именно теперь я весь охваченъ обаяніемъ этого могучаго образа... Потому ли, что въ волжскомъ просторѣ онъ какъ-то понятнѣе, потому ли, что Волга, накануне разлуки съ ней, шепчетъ мнѣ о чемъ-то таинственномъ и сильномъ, какъ мочь, создавшая его

21-е августа.

Утро. Пассажиры суетятся, укладывая багажъ. Выхожу на перанду. Меня обдаетъ теплымъ дыханіемъ земли. Пароходъ подходитъ къ волжской дельтѣ, съ ея двумя-стами рукавовъ и семидесятью устьями. Вся безбрежная равнина изрѣзана расположенными во всѣ стороны широкими рѣками. Степь и сипучіе пески почти не прерываются. Издали кажется, будто впереди разстилается море волнующейся зрѣлой пшеницы. Цвѣтъ песка золотой. Онъ то стелется грядой валовъ, то вырастаетъ въ цѣлые холмы, похожіе на мурaveйники или кротовины. Точно выгоя намела эти песочные сугробы, каждая песчинка которыхъ принесена Волгой изъ-за тысячъ верстъ.

Гдѣ-то на горизонтѣ синѣетъ, совсѣмъ неожиданно для этой пустыни, лѣсокъ, потомъ вырастаетъ стѣна камышей. За поворотомъ, надъ однимъ изъ рукавовъ, показывается вдругъ зеленый кудрявый оазисъ, и въ немъ село съ русскими бревенчатыми избами, будто перенесенное сюда откуда-то изъ далекаго сѣвера.

День необыкновенно ясный. Небо и земля залиты сіяньемъ. Въ воздухѣ, напоенномъ запахомъ моря, нѣга и покой. Опять поворотъ — и мы скользимъ по застывшему озеру, мимо Калмыцкаго базара, улуса калмыковъ. Посреди возвышается хурулъ, что-то въ родѣ китайской пагоды съ башнями и легкими, повисшими одна надъ другой, крышами. Лачуги, землянки и черныя съ конусообразными верхушками кибитки, похожія на нефтяныя цистерны, раскинулись вокругъ хурула большимъ лагерею.

Вдали показывается Астрахань... Она выступаетъ будто изъ воды въ легкомъ розоватомъ туманѣ, вся какая-то воздушная и бѣлая, точно засыпанный снѣгомъ городъ, съ ярко-бѣлыми стѣнами домовъ, на которыхъ почти не видно крышъ.

Пароходъ огibtаетъ острова, лавируетъ со стороны въ сторону между рукавами, то приближаясь, то будто поворачивая назадъ; Астрахань показывается то справа, то слѣва обманчивымъ миражемъ, то вырастаетъ, то исчезаетъ за игольчатой стѣной мачтъ.

Видъ города фантастичный; молочно-бѣлый фонъ водной равнины, окружающей его, придаетъ ему какой-то прозрачный и легкой колоритъ. Онъ будто выплылъ изъ моря на невидимомъ островѣ. Надъ бѣлыми громадами выдѣляется все яснѣе величественная,

высокая кубическая масса Успенского собора, построенного при Петре Великомъ, съ пятью зелеными куполами въ формѣ звонковъ и золотыми макушками. Дальше—еще нѣсколько церквей, пугающая крыша мечети съ четырьмя тонкими минаретами, высокая бѣлая стѣна Кремля съ широкими зубчатыми краями, опять мечеть и караванъ-сарай.

Древній Итилъ, столица хазаръ, потомъ Цитраханъ, столица Золотой Орды или Кипчакскаго царства, разрушенная въ XIV вѣкѣ Тамерланомъ, позже столица Астраханскаго царства, завоеваннаго Иоанномъ Грознымъ три года спустя послѣ взятія Казани,—Астрахань, какъ и Казань, пережила много мрачныхъ эпохъ, служила сценой жестокихъ человѣческихъ трагедій, заливавшихъ ее кровью изъ вѣка въ вѣкъ. Последнимъ актомъ былъ погромъ Стѣнки Разина и бунтъ стрѣльцовъ.

Теперь Астрахань—большой городъ, съ семидесятигласнымъ населеніемъ, еще съ азиатской фizioноміей, но съ огромнымъ будущимъ. Торговля съ Персіей, Кавказомъ и Азіей съ каждымъ годомъ расширяетъ ся роль, какъ главнаго порта Каспійскаго моря. Это уже чувствуется и угадывается за нѣсколько верстъ отъ города. Такой массы судовъ, такого лѣса мачтъ нѣтъ ни въ Нижнемъ, ни въ Одессѣ. Три-четыре версты вдоль береговъ тянется непрерывная флотилия; мачты вырастаютъ со всѣхъ сторонъ будто шестина штакетовъ и сливаются вдаль въ прозрачно-синюю стѣну. На рѣкѣ такое же безпрестанное движеніе, какъ и въ Нижнемъ.

Баржи съ пирамидами хлопка, баржи съ рыбой, наливныя нефтяныя баржи, выстроившіяся вдоль нефтяныхъ станцій, бочки съ кунжутномъ, бочки съ сахаромъ и сельдями, кипы мѣлководъ, горы яшиковъ, груды арбузовъ—все это выставилось вдоль береговъ безконечнымъ базаромъ. То и дѣло бѣгутъ огромные пароходы, переполненные публикой, тянутся вереницы баржъ, качаются бѣлокрылые ялики. У берега выстроились десятки пароходныхъ конторокъ, окаймляя городъ рядомъ изящныхъ пестрыхъ навильоновъ.

Панорама Астрахани разворачивается надъ рѣкой извилистой лентой, будто заслоняя выходъ изъ нея. Волга кажется огромной морской бухтой; не видно, гдѣ она заворачиваетъ и пробирается къ морю.

Пароходъ подходит къ пристани.

Толчея и пестрота левообразная. Настоящая Азія. Персы, армяне, греки, турки, татары, ибнцы, бухарцы, калмыки, кавказцы, киргизы и русскіе—перемѣшались въ удивительномъ международномъ калейдоскопѣ. Хивинцы и бухарцы въ пестрыхъ халатахъ и чалмахъ; толстогубые киргизы, кажется, стащили откуда-то колпаки отъ сахарныхъ головъ, выкрасили ихъ въ черный цвѣтъ и надѣли на свою косматую шевелюру. Кавказцы угрюмо сверкаютъ глазами изъ-подъ бахромы бараньихъ шапокъ; персы не то въ чалмахъ, не то въ грязныхъ, намотанныхъ калачами, платкахъ, синихъ курткахъ, раскрытыхъ на бронзовой груди, и тусякахъ на босую ногу; турки—кто въ красной фескѣ, кто въ чалмѣ, армяне—то въ европейскихъ

костюмахъ, то въ легкихъ ситцевыхъ халатахъ и камлавкахъ; татары въ бараньихъ шапочкахъ, изъ-подъ которыхъ выглядываютъ бритые затылки. Цвѣтъ кожи или бронзовый, или темно-киргичинный, глаза черные, острые, либо очень большіе, либо маленькіе и узенькіе, носы то длинныя и крючковатые, то совсѣмъ расплоснутые, съ раздвоенными ноздрями. Вся эта толпа толкается, жестикулируетъ и галдитъ на непонятныхъ нарѣчьяхъ.

Едва приставляютъ сходни, какъ я съ Дю-Фаромъ бѣгу въ агентство справиться насчетъ настроенія Каспія.

Агентъ, привыкшій къ этимъ надобливымъ пассажирскимъ вопросамъ, говоритъ съ усмѣшкой.

— Да, волненіе есть порядочное.

Бхатъ или переждать здѣсь?

Дю-Фаръ убѣждаетъ бхатъ.

Я молча «бхатъ» его глазами.

ГЛАВА XVII.

На «Кавосѣ». — Въ дельтѣ. — Природа. — Дамская тревога. — За обѣдомъ. — На взморьѣ. — Двѣнадцатифутовый рейлъ. — «Константино» или «Корниловъ»? — Пообѣдали и пообѣдены. — Южная ночь на морѣ. — Буря. Качка начинается. — Морская болѣзнь. — Все пропало. — Кавказъ.

Пароходъ отходитъ на взморье черезъ часть. Пересаживаемся съ «Новосельскаго» на «Константина Кавоса». Впереди предстоитъ еще одна пересадка, за Бирючей косой, у двѣнадцатифутовой стани. Это почти въ ста верстахъ отъ Астрахани, въ открытомъ морѣ. Морскіе гиганты не подходятъ къ городу: устье Волги слишкомъ мелко.

Посмотрѣть Астрахань такъ и не успѣваемъ; достопримѣчательностей особенныхъ нѣтъ; но, говорить, очень интересенъ караванъ-сарай—типичное азиатское торжище, на которомъ востокъ щеголяетъ своими шелками, коврами и воздушными кашемировыми платками.

Противъ пристани—стройная аллея тополей, посаженная вдоль набережной Варварцева канала. Здѣсь, въ глубинѣ этой аллеи, домикъ Петра Великаго съ двумя шлюпками, на которыхъ онъ когда-то катался. Тутъ было адмиралтейство и докъ, но вслѣдствіе обмѣлѣнія Волги они переведены въ 1868 г. въ Баку.

Въ хаосѣ и давку, лавиру среди тюковъ и яшиковъ, которые персы тащатъ по сходнямъ, кое-какъ перебираемся на пароходъ. Персы здоровые и сильные. Почти обнаженные мускулистые бронзовые босые, круглыя головы съ вылитыми изъ бронзы чертами и кроткими лицами, но которымъ струится потъ, — напоминаютъ почему-то рабовъ-веноловниковъ древняго міра и будятъ въ памяти какую-то забытую библейскую картину изъ жизни востока. Такими должны были быть прикованные пѣнями къ триремамъ и римскимъ

галерам гребни-невольники. Работают они удивительно быстро, перетаскивая на могучих плечах, точно выюнные животные, груди ящичков и тюков и почти исчезая под ними; только и видишь пару ног, то босых, то в туфлях, да индиговые панталоны.

Палубной публики масса. Здесь и малороссы-переселенцы, что бьхали сь нами, и артель турков-рабочих, и артель персов. Переселенцы бдутъ въ Петровскъ, турки и персы—въ Энзели и Ленкорань. Кавказцы—кто въ Петровскъ, кто въ Дербентъ или Баку.

Классныхъ пассажировъ тоже очень много. Надъ рубкой, на капитанской площадкѣ, растянутъ брезентовый навѣсъ. Тамъ укрылась отъ жгучихъ солнечныхъ лучей публика. Къ волжскимъ пассажирамъ прибавилось много новыхъ. Есть красивые смуглые греки и итальянцы изъ Одессы, есть какіе-то кавказскіе милиционеры въ топкихъ верблюжьихъ черкескахъ, съ патронными пѣздами («газирями») на груди и въ черныхъ съ позументами шапочкахъ, есть и три англичанина-туриста, типичные сыны Альбіона, которые сразу выдаютъ себя и клѣтчатыми легкими костюмами, и шлямами съ широкими лентами, и прозрачно-румяными, съ рыжеватой растительностью, лицами, и своей англо-саксонской невозмутимостью. Рядомъ съ ними—два офицера: одинъ пѣхотный, грузинъ, бдетъ изъ Петербурга въ Дагестанъ, другой саперъ, маленкій, рябоватый, круглоголовный блондинъ, съ почти дѣтскимъ лицомъ и кроткими сѣрыми глазами сѣверянина, — въ Тифлисъ, чтобы проститься съ родными предъ выѣздомъ во Владивостокъ.

Большого генерала проносятъ на креслѣ въ каюту. За нимъ идетъ дочь. Ея скорбный видъ напоминаетъ фигуру Антигоны.

На площадку является армянинъ съ туфлями, потомъ армянинъ съ коврами на плечахъ, наконецъ—армянинъ съ колыбами и бирюзой. Пассажиры присматриваются, прищипываются, но не покупаютъ. Армянинъ соблазняетъ, не безъ эффекта выставяя руку въ перстняхъ.

Персы все тащатъ и сбрасываютъ на палубу ящики и тюки; на пристани все галдитъ шумная азиатская толпа.

Одиннадцатый часъ. Ревъ гудка. Съ пристани и парохода машутъ платками, перекликаются и кланяются. Конторка, толпа, берегъ и пирамидальные тополи отодвигаются.

Волга колыхнется, отливая перламутромъ и радугой. Это мазутъ, покрывающій рѣку сплошной перламутровой пленкой.

Вдоль берега опять нескончаемая флотилія, опять пирамиды хлопка, горы желѣза и нефтяныя пистерны Нобеля, Шибазева и Теръ-Акопова. Надъ ними вырисовываются черные лѣса въ видѣ не то башни, не то трехэтажной клѣтки съ колесомъ; это туземная водокачка, съ которой разливается вода по арыкамъ.

Панорама Астрахани разворачивается и уходитъ назадъ. Мимо Кремля съ его башнями будто проплыла какая-то церковь, за ней надвинулась мечеть, ее заслонилъ величественный бѣлый соборъ съ пятью куполами, подъ нимъ выросла громада зданій и окружила его тѣсными рядами, потомъ они исчезли за лѣсомъ махачъ.

Вода становится все спокойнѣе и глаже. Еще поворотъ—и сразу

вдоль рукава, по которому будто прокрадывается пароходъ, вырастаютъ шпалеры зеленого камыша съ золотыми шеточками верхушекъ. Камышъ разстилается точно степь, скрывая десятки рукавовъ, расплзающихся въ немъ. Мы только видимъ бѣлые паруса рыбацкихъ шкутъ, которые скользятъ, чуть надувшись, въ этихъ рукавахъ. Они кажутся крыльями бѣлыхъ мотыльковъ въ зеленомъ газонѣ.

Справа изъ камыша вдругъ вырастаетъ великорусская деревня съ тесовыми сѣнями, камышевыми крышами и синей церковью. Слышенъ праздничный звонъ колоколовъ. Дальше показывается рыбацья ватага, въ одномъ изъ рукавовъ закидываютъ двухверстный неводъ. Рыба, спугнутая пароходомъ, то и дѣло плещется. Говорятъ—весной, когда рѣка залиываетъ острова, здѣсь творится что-то неообразимое. Сразу слетаются со всѣхъ концовъ Волги и Каспія рыбацья ватаги—тысячъ шестьдесятъ-семьдесятъ рыбаковъ, пѣлый губернский городъ или четыре-пять армейскихъ корпусовъ; и вся эта масса народа запруживаетъ сѣнями двухсотверстное устье Волги, нещадно и коварно вылавливая обитателей рѣки какъ разъ въ любовную пору. Лососи, севрюги, осетры, громадная бѣлуга, стерляди—все это гибнетъ въ разставленной человѣкомъ западнѣ. Но больше всего достается селечнымъ обывателямъ Волги. Ихъ вылавливаютъ свыше двухсотъ миллионовъ. Побережье и острова, не затопленные рѣкой, забаррикадированы бочками, горами соли, затянута паутиной сѣтей. Воздухъ на сотни верстъ пропитывается запахомъ рыбы и соли. Даже и теперь въ немъ есть что-то напоминающее закусочный столъ съ балыками и селедкой.

Еще поворотъ—и мы осторожно обходимъ рукавъ, въ которомъ сидятъ на мели полуопрокинутый корпусъ большой шкуны; а дальше такъ же мертво и неподвижно стоитъ, вѣшавшись въ песокъ, баржа. Аварія—это обыкновенное явленіе въ дельтѣ Волги. Фарватеръ постоянно и быстро мѣняется. Тѣ холмы песковъ, которые остались за Астраханью, служатъ какъ будто складомъ для капризовъ рѣки. Она то прорываетъ острова, прочиняя себѣ путь, то воздвигаетъ новые острова, то запруживаетъ устья. Поэтому здѣсь пѣлыя артели опытныхъ лопмановъ, которые знаютъ русло рѣки и постоянно сдѣлать за нимъ.

Въ Астрахани къ намъ тоже съѣзъ такой лопманъ, армянинъ. Держитъ онъ себя, несмотря на запыленный костюмъ, важно, съ капитаномъ говоритъ фамильярно и, не взирая на его форму, галуны и дисциплину, куритъ въ его присутствіи. Это импонируетъ и намъ; мы невольно проникаемся импортированностью его особы.

Наконецъ и камыши остаются за нами. Астрахань еще бѣлѣтъ вдали; надъ ней выдвигается стройная, величественная масса собора, но уже неясно. А впереди, насколько глазъ хватитъ, до самого горизонта, безбрежная водная равнина. Но это все-таки еще не море, это все-таки Волга. Несмотря на яркое солнце, вода почти молочно-бѣлая и такъ удивительно покойна, такъ неподвижна, что

нигда на ней морщинки не видать. Пароходъ нашъ даже не врѣзывается въ нее, а какъ-то скользитъ надъ ней.

Картина въ общемъ захватываетъ. День—великолепный. Тревога сменяется покоемъ и доверіемъ къ молочной дали.

Даже дамы храбрятся.

— Что-жъ это насъ пугали качкой? Вѣдь это прелесть что такое.

У капитана, браваго бакенбардиста, по лицу пробѣгаетъ тонкая усмѣшка.

— На взморьѣ, за Бирючьей косой, на двѣнадцати футахъ, не такъ будетъ.

— Развѣ это не взморьѣ?

— О, нѣтъ еще.

И онъ любезно разъясняетъ дамамъ, что и рѣка, и море почти на сто верстъ отъ Астрахани все такой же глубины. У сѣверныхъ береговъ дно Каспія такъ же песчано и мелко, какъ и дельта Волги. Съ тѣхъ поръ, какъ устье ея мелѣетъ, Астрахань все больше удаляется отъ своего порта. Теперь морскіе пароходы не подходятъ и къ Бирючьей косѣ, а стоятъ верстахъ въ десяти ниже. Тамъ рейдъ.

— Значитъ, пересадка въ ста верстахъ отъ Астрахани?—спрашиваютъ дамы.—Почти.—Но тамъ все-таки есть какая-нибудь гавань, какая-нибудь твердая почва или точка опоры, къ которой пристають корабли?—Ничего. Просто на якорахъ стоять.—А если вдругъ буря?—Такъ и стоять.—И качаются?—И качаются.—Капитанъ, но это ужасно!

Дамы глядятъ совсѣмъ испуганно. Одна «Мечта» замѣчаетъ со спокойной увѣренностью.

— Миѣ кажется—можно всегда превозмочь себя, побороть въ себѣ эту «слабость» при морской болѣзни, какъ люди подавляютъ себя вообще въ жизни.

— Ну-ну! Посмотримъ!

Раздается звонокъ къ обѣду. Такъ какъ пассажировъ слишкомъ много, то для половины столъ накрытъ внизу, въ темной каютѣ-компаніи. Человѣкъ тридцать обѣдаетъ въ рубкѣ, построенной надъ палубой въ видѣ фонаря, съ зеркальными окнами.

Обѣдъ еще больше настраиваетъ насъ на мажоръ. Роскошная бѣлогрудая, съ прослойками янтарнаго жира, паровая стерлядь такъ и таеетъ. Икра—одинъ восторгъ. Недурны астраханское вино и игристыя донскія. Пароходъ скользитъ такъ незамѣтно, что забываешь о морѣ. Порой неловко кажется, будто мы попали на именитый обѣдъ въ хорошій барскій домъ. Душно только. Термометръ показывалъ тридцать, это—въ рубкѣ. А на солнцѣ и всѣ сорокъ есть.

За столомъ армянская, французская, англійская и итальянская рѣчь перемеживаются съ русской. Преимущественно обсуждается вопросъ, на которомъ изъ двухъ пароходовъ, поджидающихъ насъ, ѣхать. Одновременно идутъ на Петровскъ «Адмиралъ Корниловъ»

и «Великій Князь Константинъ», но затѣмъ первый сворачиваетъ на Баку и Энзели, а второй—на Узунъ-Ада. «Корниловъ» больше, поше и комфортабельнѣе, но «Константинъ», говорятъ, ходитъ быстрѣе и меньше качаетъ. Это я узналъ у агента—и перелезаю по секрету, чтобы не «навалилось» слишкомъ много пассажировъ. Такъ и рѣшаемъ, что русская компанія поѣдетъ на «Константинъ».

За обѣдомъ случается маленький инцидентъ, вызывающий улыбки на раскраснѣвшихся лицахъ. Во-первыхъ, какой-то генералъ, полный и добродушный старикъ, выѣхавшій прокатиться до взморья, только во время десерта, за виноградомъ и сочными персиками, замѣчаетъ, что сидитъ цѣлый часъ на фетровой шляпѣ Дю-Фара. Извиняясь, онъ передаетъ ему совсѣмъ сплюснутый блинъ при общемъ взрывѣ смѣха. Во-вторыхъ, компанію приводитъ въ игровое строеніе какая-то веселая и довольно милостивая дамочка безъ опредѣленныхъ занятій. Она заявляетъ капитану, что ѣдетъ дальше, но куда дальше,—въ Баку, Ленкорань или Тифлисъ, и сама не знаетъ. Видъ у нея растрепанно-недоумывающий и тонъ такой искренней и серьезной, что неловко вызываетъ улыбки.

Мы съ Дю-Фаромъ чокаемся и пьемъ за алліансъ. «Мечта» тоже чокается съ нимъ.

Выходимъ на капитанскую площадку. Вечеръ. Жарко. Легкій, но совсѣмъ теплый вѣтерокъ. Кто-то будто шепчетъ на ухо, обдавая горячимъ дыханьемъ.

Солнце закатывается справа отъ насъ красноватымъ дискомъ, утопая въ морѣ. Астрахань давнымъ-давно исчезла, исчезла и берега. Оглядываюсь на безбрежную водную равнину. Тамъ, въ ея массѣ, Волга слилась и растворилась въ Каспій, отдавшись ему. Что-то будто тянетъ назадъ. Такъ не хочется разстаться съ могучей красавицей рѣкой, со сказкой жизни, рассказанной ею...

Въ воздухѣ, необыкновенно покойномъ, рѣютъ чайки и бакланы, парятъ беркуты. Бакланы иногда скользятъ надъ водой, ныряютъ и улетаютъ снова, унося добычу.

Море все больше принимаетъ синевато-прозрачный оттѣнокъ.

Минуемъ Бирючью косу съ нѣсколькими пловучими бараками; въ одномъ—станція, въ другомъ—таможенный постъ. Оттуда вылетаетъ баркасъ съ таможенными чиновниками и пограничной стражей и бѣжитъ за нами.

Семь часовъ. Мы на взморьѣ, въ «порту». На рейдѣ раскинулась цѣлая флотилія судовъ. Тутъ и баржи, и шкуны, и пароходы, и яхты. Вдали, вдоль всего горизонта, точно летаетъ, подывая крылья, вереница бѣлыхъ птицъ, не то чаекъ, не то баклановъ. Это все судна рыбаковъ, выѣхавшихъ на ловлю. Все море усыпано ими.

Какъ разъ въ центрѣ этого «порта» выстроились рядомъ—массивный, высокій корпусъ «Корнилова» и узкій «Константина». Мы проходимъ между ними, и «Кавось», будто взявъ «Корнилова» на abordажъ, сцѣпляется съ нимъ. Палубная публика пестрой, шумной гурьбой валитъ туда.

Матросы, стоя по бокам мостка, то и дѣло внушительными жестами призываютъ къ порядку «азіатовъ». На «Корниловъ» и безъ того толпа раньше доставленныхъ пассажировъ. Теперь тамъ совсѣмъ какая-то каша и гулъ голосовъ, въ которыхъ ничего не разобрать. Фески, халаты, чалмы, обнаженные кирпичныя руки и груди, бронзовыя потныя лица. Что ни физиономія, что ни фигура, то тигъ; нескончаемая тема для наблюденій этнографа и антрополога. На фонѣ этихъ смуглыхъ лицъ, то бородатыхъ, то голыхъ, какъ-то нарочито рельефно, красиво и симпатично выдѣляются русскія лица матросовъ, особенно блондиновъ. Даже бронеты—малороссы—и тѣ какъ будто стали «блондинистѣй». У азіатовъ въ искрящихся черныхъ глазахъ точно таится грозовая туча, у русскихъ во взглядахъ—спокойный и добродушный свѣтъ, у побѣжденных—угрюмо-озлобленные вспыхи молніи, у побѣдителей—полная увѣренности въ себѣ и простосердечія усмѣшка; они наблюдаютъ этотъ рѣдкостный ассортиментъ азіатскаго музея какъ бы съ внутреннимъ удивленіемъ: ну, и набрали же мы въ нашу семью уродевъ!

Откуда-то взялось даже нѣсколько китайцевъ. На «Корнилова» собираются по трапу таможенные досмотрщики и солдаты визировать паспорта ѣдущихъ въ Энзели и осматривать грузы.

Большинство классной публики перебралось на «Корнилова». Онъ выглядитъ куда лучше и новѣе «Константина». Сравнительно съ волжскими пароходами, это гигантъ. И теперь на немъ шестьсотъ-семьсотъ пассажировъ.

Департаментскій чиновникъ измѣняетъ нашей компаніи и перѣбѣгаетъ туда съ женой. Еще кое-кто соблазняется этимъ.

«Кавось» придвигается къ «Константину». Капитанъ—добренѣйшій и привѣтливый старичекъ, но совсѣмъ партикулярнаго вида. И пароходъ тоже старичекъ, похожій на оставшихъ, которые пристроились на приватной службѣ, хотя и получаютъ пенсію. Общество «Кавказъ и Меркурій» самое богатое и заслуженное на Волгѣ; по этому оно и вольничаетъ. Рядомъ, на «Корниловъ», электрическое освѣщеніе и благоустройство по послѣднему слову пароходной техники; «Константинъ» освѣщается масломъ и, должно-быть, не передѣлывался со дня его рожденія, т.-е. съ пятидесятихъ годовъ.

Первый классъ на кормѣ, каютъ-компанія—совсѣмъ какой-то склепъ съ двумя ярусами темныхъ дивановъ. Каюты крошечныя и тоже старомодныя. Атмосфера банная. Мрачно. Становится жутко. Дамы опять справляются насчетъ качки. Капитанъ говоритъ какъ-то неопредѣленно и смущенно. Онъ самъ какъ будто удивленъ наплывомъ классной публики. Кто-то справляется въ буфетѣ насчетъ ужина и закусокъ, говорятъ—есть только чай.

Капитанъ сконфужено, извиняющимся голосомъ объясняетъ, что его рейсъ на Петровскъ и Узунт-Ада самый скучный; почти не бываетъ пассажировъ, особенно до Петровска: всѣ предпочитаютъ «Корнилова». Совсѣмъ какая-то забытая почтовая станція, на ко-

торую вдругъ нахлынула масса проѣзжающихъ. Компанія переглядывается молча, но взгляды очень выразительны: не ударить ли?

Въ воздухѣ что-то роковое, предчувствіе какого-то несчастья. Будто нарочно подвернулся и этотъ старенькій капитанъ, и его инявалидъ-пароходъ. А тутъ еще матросы, въ надвинувшейся мглѣ, проносятъ большого генерала мимо рубки внизъ: точно въ склепъ опускаютъ... И этотъ стукъ сапоговъ по мѣдному ребру ступеней, и эта коптящая лампа... Совсѣмъ что-то погребальное.

Опять переглядываемся и, словно сговорившись, гурьбой высыпаемъ на палубу.

«Корниловъ» заливъ электрическими огнями. Толпа галдитъ точно на базарѣ. Такъ и манитъ туда. Но поздно. Надъ моремъ проносятся звонъ и густой, яростный ревъ чудовища.

Лѣземъ по узкой лѣстницѣ на капитанскую площадку. Она надъ рубкой.

Картина совсѣмъ волшебная.

Надъ бездной моря раскинулась шатромъ бездна южной ночи; шатеръ совсѣмъ будто черный бархатъ, мириады звѣздъ сверкаютъ на немъ траурными блестками. Вокругъ насъ, куда ни оглянешься, изъ мглы выступаютъ тысячи пестрыхъ огоньковъ. Они горятъ на мачтахъ баржъ, въ каютахъ пароходовъ, они горятъ гдѣ-то далеко-далеко въ пространствѣ, на невидимомъ горизонтѣ, на рыбачьихъ судахъ. Не можешь разобратъ, гдѣ кончается небо, гдѣ начинается море, небо ли слилось съ моремъ, море ли отражаетъ звѣзды, звѣзды ли это или блуждающіе огоньки.

Порой вѣтеръ приноситъ знойныя, какъ дыханье страсти, волны воздуха. Подъ нами что-то начинаетъ шевелиться и пароходъ чуть наклоняется. Огоньки, окружающіе насъ, и близкіе, и далекіе, все время въ движеніи; они то слегка опускаются, то поднимаются. Глядишь на небо—и звѣзды тоже движутся.

Не вѣрится, что сотни судовъ, окружающихъ насъ,—въ открытомъ морѣ, въ ста верстахъ отъ Астрахани. Кажется, что мы въ гавани, что Астрахань гдѣ-то здѣсь, за этой линіей иллюминацій; никакъ не можешь отдѣлаться отъ сознанія близости города, слышится даже гулъ мостовыхъ...

«Корниловъ», всклубивъ воду винтомъ, уходитъ. У насъ продолжаютъ грузить.

Подъ нами, на палубѣ, пассажиры собираются спать. Опять какой-то татаринъ молится на коврѣ, дальше укладывается въ кучу семья переселенцевъ; рядомъ изъ мглы выдвигается бѣлая фигура солдата, задумчиво прогуливающегося у борта. Кто-то наигрываетъ на гармоникѣ.

Вотъ и «Кавось» покидаетъ насъ. Становится жутче. «Константинъ» реветъ. Слышнень язвъ цѣпей. Якорь поднимаютъ. Пльвемъ! Долго-долго позади насъ горятъ огоньки и, наконецъ, сливаются въ млечный путь.

Чѣмъ дальше, тѣмъ порывы горячаго вѣтра становятся сильнѣй. Какой-то ропотъ, гулъ и шипѣнье слышатся во мглѣ. Полъ подъ

нами начинается то опускаться, то подниматься, медленно и мягко. Чувство безотчетной тревоги закрадывается в душу.

Сходимъ въ рубку.

Дю-Фаръ храбрится, замѣчая, что надо «faire bonne mine au mauvais jeu». Офицерикъ-грузинъ такоже куражится, увѣряя, что качка на него не дѣйствуетъ. Саперикъ задумчивъ и, видимо, крѣпится. Ему предстоитъ удовольствие полтора мѣсяца плыть во Владивостокъ. По его дѣтскому и совсѣмъ доброму рябоватому лицу пробѣгаютъ легонькой волной судороги. Дамы начинаютъ нервничать. Сажусь за пьянино. Качка усиливается. Качаетъ то направо, то налево. Клавиши убѣгаютъ изъ-подъ пальцевъ. То пьянино опускается, а я надъ нимъ поднимаюсь, то стулъ опускается куда-то, а пьянино вырастаетъ. Это начинаетъ раздражать.

Капитанъ любезно справляется у дамъ, какъ онѣ себя чувствуютъ. Дамы отвѣчаютъ, что ничего, но какъ-то странно глотаютъ. Капитанъ пытается утѣшить.

— Это что! Совсѣмъ пустяки! Бываетъ такая качка, что на койкѣ удержаться нельзя.

Будто нарочно пароходъ сразу проваливается въ бездну, потомъ опрокидывается на бокъ. Бутылки со стола летятъ. Лакей бросается удерживать ихъ, но падаетъ на капитана. Дамы ахаютъ, потомъ, зѣвая, что пора спать, сходятъ въ каюты; мужчины тоже.

Я вмѣстѣ съ капитаномъ выхожу на площадку. Онъ становится у слуховой трубы. Я сажусь на скамью. Надъ вентиляционной трубой, что проведена внизъ, къ каютамъ, развѣвается парусиновый крылатый призракъ—вентиляторъ, раздуваясь подъ напоромъ вѣтра.

Небо стало еще темнѣй, морская пучина вокругъ насъ совсѣмъ исчезла. Слышно только, какъ хлопочетъ и шипитъ море, какъ нарастаютъ волны и мечутся въ какой-то дикой схваткѣ, слышно, какъ онѣ цѣшутся и ползутъ по борту парохода.

Гдѣ-то далеко-далеко свѣтится огонекъ. Это «Корниловъ». Онъ идетъ параллельно съ нами, но перстахъ въ десяти отъ насъ.

Эта звѣздная бездна надо мной, эта черная бездна подо мной наполняютъ душу чувствомъ одиночества и глубокой тоски. И жизни, и человѣкъ кажутся теперь такими ничтожными и безсильными въ окружающемъ мракѣ, во власти разъяренной стихии.

Вѣтеръ растетъ, свирѣпѣетъ, заываетъ въ дымовой трубѣ и вентиляторахъ. Черный силуэтъ капитана, стояшаго у мачты, начинаетъ покачиваться. Старичекъ колышется точно «ванька-встанька», но будто приросъ ногами къ мостику. Сколько ему пришлось на своемъ вѣку перенести этихъ бурь, и какъ онѣ, должно-быть, надѣли ему! То и дѣло слышится его дребезжащій голосъ:

— Полный ходъ впередъ...

Онъ нажимаетъ кнопку звонка. Я подхожу. Внизу видна топка; огонь пылаетъ точно въ жерлѣ ада. А подъ стекляннымъ колпакомъ ворочаются гигантскіе стальные рычаги, движутся колеса. Пароходъ, точно чудовище, шипитъ, дрожитъ въ напиреющей энергіи и мечется въ борбѣ съ яростными волнами, то опрокидываясь отъ изне-

моженія, то опять взлетая на высокіе гребни. Маленькій, старенькій человѣкъ твердо стоитъ на своемъ посту; онъ продолжаетъ нажимать пуговку электрическаго звонка, и чудовище, словно одухотворенное его волей, снова набирается силъ и снова, точно живое существо, рвется впередъ, разрывая грудью волны...

Завтра старичекъ исчезнетъ мигомлетнымъ призракомъ, на его мѣсто станетъ другой и такъ же будетъ возить по этому морю неутомимаго человѣка, и такъ же будетъ раздаваться команда «впередъ» надъ этой бездной, въ этомъ мракѣ, полномъ вѣчной и глубокой тайны.

Слѣва отъ насъ vyplываетъ свѣтъ электрическаго фонаря. Влали проносятся пароходы; огоньки вспыхиваютъ и постепенно таютъ. На душѣ становится тепло отъ сознанія, что мы не такъ одиноки, что гдѣ-то въ этой тьмѣ есть еще люди, носится еще жизнь человѣческая.

Начинаетъ укачивать. Опять охватываетъ тоска. Что-то мутитъ. Держусь за спинку скамейки, чтобы не упасть.

— Хотите, я велю принести сюда тюфякъ и подушки?—предлагаетъ капитанъ.—Здѣсь легче перенести качку.

Благодарю. Рѣшаю лечь спать.

— Ничего, — говоритъ капитанъ. — Зато мы обгонимъ «Корнилова». Я васъ доставлю въ Петровскъ часа на два раньше.

Что-то не вѣрится. Черныя тучи заволакиваютъ звѣзды. Горячій вѣтеръ все усиливается, пароходъ все глубже опрокидывается подъ напоромъ волнъ.

Схожу на палубу. Въ черной кучѣ спящихъ кто-то копошится. Слышенъ не то стонъ, не то икотка. Голова начинаетъ кружиться. Какъ-то тошно и противно жить. Добираюсь до каюты, кое-какъ раздѣваюсь и ложусь на койку. Офицеры и Дю-Фаръ не спятъ. Саперикъ рассказываетъ какой-то анекдотъ. Дю-Фаръ хохочетъ, но какъ-то неестественно. Грузинъ тоже говоритъ что-то, но съ паузами и тошно. Потомъ всѣ сразу умолкаютъ. Дю-Фаръ вдругъ срывается, заявляя, что душно, и уходитъ на рубку. Какъ ни тяжело мнѣ, я не могу не позвать его:

— Ah, tu l'a voulu, Georges Dandin!

— Вы думаете—меня укачиваетъ?—отвѣчаетъ онъ.—Нисколько.

Этакій злокозненный француз! Подвѣлъ—и еще куражится. И вѣдь неправда! Навѣрно и ему скверно. Нарочно уходитъ, чтобы наединѣ аллиансъ съ Фридрихомъ заключить. Офицеры тоже что-то начинаютъ ворочаться и встаютъ.

— Здѣсь душно. Хуже укачаетъ. Пойдемъ лучше на площадку,—предлагаетъ саперикъ. Грузинъ молча, но стремительно выбѣгаетъ.

Я остаюсь одинъ.

Моя койка у наружной стѣны, подъ иллюминаторомъ. Все время слышно, будто по борту метутъ вѣтрикомъ. Это волны хлещутъ. Качаетъ все сильнѣй. Койка поднимается все выше и выше, потомъ сразу проваливается. Духъ захватываетъ. Сердце замираетъ испу-

ганно, какъ на качеляхъ. Только успѣшь вздохнуть—опять тоже, опять опускаешься въ пропасть, опять инстинктивно цѣпляешься за край койки. Пароходъ трещитъ. Гдѣ-то надобливо визжитъ желѣзный болтъ. Вѣникъ все ползаетъ по стѣнѣ и хлещетъ. Въ раскрытыя двери каюты, завѣшенная портьерой, слышится чей-то стонъ. Кто-то не то икаетъ, не то рыдаетъ. Генераль безпрерывно кашляетъ сухимъ, пронзительнымъ и удушливымъ кашлемъ.

Мутитъ все больше и больше.

Какая-то злая сила точно подзадориваетъ, безпрерывно, неутомимо, упорно, то поднимая, то опуская каюту, то наклоняя ее направо, то налево. Въ груди что-то копошится и ползетъ, словно змѣя. Должно-быть—стерлядь. Пытаюсь встать—мочи нѣтъ. Полное безсиліе. Голова кружится, руки парализованы. Мозгъ точно поетъ и болѣзненно дрожитъ; будто не мозгъ тамъ, а холодецъ какой-то.

Вдругъ темная портьера отодвигается и въ нее просвѣивается худая, сѣдая голова женщины. Она устремляетъ на меня пылливый, жескій взглядъ. Я не могу отлатъ себя отчета, галлюцинація это или дѣйствительность. Привстаю. Голова безпомощно падаетъ на подушку. Тошнота усиливается, змѣя заползла уже въ горло. И почему-то въ эту минуту вспоминается жестокая мелодрама—«Убийство Коверля» на пароходѣ.

Женщина, крадучись, идетъ прямо на меня.

— Что вамъ? Пытаюсь крикнуть, но голосъ замираетъ.

— Хочу получше завянуть илюминаторъ.

— Оставьте, не надо.

Женщина, пошатываясь, исчезаетъ.

Проходитъ часъ. Пароходъ рветъ и мечетъ во всѣ стороны. Ни минуты покоя. Тошнота, головокруженіе, отращеніе. Крѣплюсь, но сознаю, что бесполезно, къ горлу все больше подступаетъ что-то. Изъ каюты доносится чей-то вошь и икотка. Кто-то кричитъ «то-немъ». Мнѣ и самому кажется, что мы тонемъ. Пароходъ все глубже проваливается, точно падая на дно моря. Слишно журчанье воды... Заливается... Но мнѣ все равно; только бы скорѣй какъ-нибудь кончилась эта мука...

Портьера снова отодвигается, медленно, но все больше. Мнѣ видны раскрытыя двери другой каюты. Тамъ какая-то пожилая расстрепанная дама вся въ бѣломъ стоитъ на колыняхъ на койкѣ и держитъ у самаго рта какую-то чашку. Слышно противное каканье... Проклятіе! Все пропало!... Нѣтъ силъ! Почти ползкомъ пробираюсь къ дверямъ. Устоять нельзя. Ноги сгибаются, мускулы потеряли упругость; а злая сила все время поднимаетъ каюту, опускаетъ, наклоняетъ направо, налево; духота нестерпимая.

Въ изнеможении падаю на койку, но и лежать нѣтъ мочи. Задыхаюсь... Привстаю и безсознательно раскрываю илюминаторъ. Струя соленого воздуха освѣжаетъ; но вдругъ врывается потокъ волны и заливаютъ меня съ ногъ до головы, заливаютъ каюту, чемоданы. Хочу закрыть илюминаторъ—рука не повинуется... Чья-то другая рука захлопываетъ его.

Это опять страшная женщина.

Приходитъ Дю-Фаръ. Онъ тоже шатается, какъ пьяный, и ловитъ руками воздухъ; но крѣпится и меня старается подбодрить.

— *Voyons! Du courage!*

Хорошій куражъ! Задаль бы я тебѣ куражу... Смотрѣть на него не могу, такъ онъ противенъ. Кажется, растерзалъ бы въ другое время. И капитана—тоже. Не умѣетъ управлять пароходомъ! Другой навѣрно изловчился бы направить его такъ, чтобы не качало... Охъ! Опять каюта опускается, еще и еще!... И такъ всю ночь.

Къ утру кое-какъ, съ большими паузами, одѣваюсь и выхожу. Полъ шатается, онъ точно на пружинахъ; ноги подкашиваются. Совсѣмъ будто пьяный или больной, вставшій послѣ долгой болѣзни. Меня бросаетъ въ одну сторону, потомъ въ другую; ловлю руками воздухъ. Удастся ухватиться за мѣдныя перила. Съ трудомъ, безконечно долго поднимаюсь по ступенямъ на палубу, потомъ на капитанскую площадку и ложусь на скамью. Пока лежишь—ничего, какъ только встанешь—мутитъ. На полу нѣсколько туфликовъ. Тамъ пластомъ лежатъ дамы, тамъ и «Мечта» съ спутницами...

Сперъ садится подлѣ и подкашиваетъ мнѣ подъ голову резиновую подушку. Дю-Фаръ опять поддаетъ «куражу». Лица и у нихъ, и у капитана, и у дамъ мертво-зеленныя.

Въ глазахъ ходятъ желтые круги. Пахнеть англійскою солью. Надо мной движется синее небо, сливающееся съ синей въ бѣлыхъ гребняхъ клочущей раниной. Пароходъ все опрокидывается то въ одну, то въ другую сторону, все ныряетъ. Проходитъ еще часа два въ этомъ томленіи...

Далеко на горизонтѣ обрисовывается волнистая, синева-желтая линия горъ. «Земля! Земля!»...

Это—Кавказъ...

ГЛАВА XVIII.

На твердой почвѣ.—Петровскъ.—Въ персидской банѣ.—«Торшикъ».—«Горчаковъ».—Ауль.—Кавказская равноплеменность.—Судъ и ираны.—Кровавая мѣсть.—Русская «вендетта».—Психологическая и историческая загадка.—На вокзалѣ.—«Въ полдневный жаръ въ долині Дагестана».

22-е августа.

Горы все приближаются, вырастая холмистой грядой вдоль горизонта. Яркіе лучи скользятъ по снѣжнымъ гребнямъ высокихъ волнъ, серебра ихъ. Онѣ все надвигаются, все яростно мечутся вокругъ парохода, то поднося его, то накренивая.

Соленый запахъ моря становится нестерпимо противнымъ. Но на душѣ легче. Ждешь не дожدهшься берега, который колыхнется вмѣстѣ съ пароходомъ.

Въ дамскомъ лагерѣ, на туфлякахъ, замѣтно оживленіе. Трупы воскресли. Они еле шепелятъ, но уже говорятъ. Только «Мечта» «превозмогла» себя. Она сидитъ на скамьѣ.

— Eh bien,—обращается ко мнѣ Дю-Фаръ,—я сейчас узналъ отъ капитана, что поѣздъ отходитъ вечеромъ. Завтра утромъ мы во Владикавказѣ.

О нѣтъ! Слуга покорный! Шестой день я на пароходѣ... Очертѣю. Заявляю категорически, что остаюсь въ Петровскѣ. Только бы добраться. Дю-Фаръ протестуетъ.

— Но что вы будете дѣлать въ Петровскѣ? Тамъ нечего смотреть. Теперь полдень. Къ вечеру намъ надоѣстъ даже. Я стою на своемъ. Онъ заявляетъ, что сегодня же ѣдетъ дальше. —А «Мечта» тоже сегодня ѣдетъ? —Да. —То-то! —Дю-Фаръ смотритъ на меня подозрительно.

— Vous, вы не станете ли воображать, что я увлекся? Конечно, j'aime beaucoup les femmes russes. «Русская джентльмена мнѣ отънюдь симпатична». Но, nous autres, французы, мы далеко не такъ легкомысленны. Я даже иногда, признаюсь, мечтаю жениться на русской...

И онъ продолжаетъ убѣждать меня ѣхать сегодня же.

— Ни за что! И такъ я изъ-за васъ прозвѣвалъ Радичевскій музей и Астрахань.

Дю-Фаръ задѣтъ.

— По вы видали «Заризинъ». «Астраканъ»—это совсѣмъ то же.

Онъ прогуливается насчетъ русской медлительности и нашего неумѣнья путешествовать. Я непоколебимъ. Одна мысль, одна мечта, которой и весь охваченъ, это скорѣй почувствовать себя на твердой почвѣ, очутиться въ номерѣ гостиницы. Дю-Фаръ тоже не соглашается остаться. Комбинируемъ, какъ намъ вѣстрѣтятся. Онъ пробудетъ на минеральныхъ водахъ двое сутокъ, я—сутки.

Сѣдемъ во Владикавказѣ, а оттуда по военно-грузинской дороге дальше.

У подножія голыхъ горъ, надъ самымъ берегомъ, лѣжится Петровскъ. Зелени очень мало, но бѣлые домики, выдѣляясь на желто-песчаномъ фонѣ, заманчиво улыбаются. Справа, на холмѣ, надъ городомъ, выступаютъ сѣдые бастіоны и стѣны форта, лѣвѣе—соброръ. Съ сѣвера вдоль берега бѣжитъ поѣздъ; море, кажется, вотъ-вотъ залетѣтъ его молочной пѣной.

«Константины» входятъ на рейль. У мола еще нѣсколько пароходовъ. Застопориваютъ машину, и мы пристаемъ.

Чувство невыразимой радости охватываетъ все существо. Легко и весело. Миръ, жизнь, люди—все это сразу, вдругъ становится необыкновенно милымъ, кажется необыкновенно хорошимъ. Мы ходимъ еще пошатываясь, какъ пьяные. Я спѣшу стать на моль и оглядываюсь съ торжествомъ. Совсѣмъ хорошо! Легкое опьянѣнье. Хочется обнять этого милого капитана, который благополучно доставилъ насъ, хочется обнять матросовъ, обнять даже эту страшную сѣдую чухонку, которая ночью закрыла иллюминаторъ. Капитанъ кажется просто героемъ. Борьба человѣка со слѣпой стихіей, его побѣда надъ ней, этотъ славный старикъ, который всю ночь стоялъ на своемъ посту, защищая нашу жизнь, и превозмогъ ди-

кую, злую силу,—все это повышаетъ духовный подъемъ и вмѣстѣ съ нимъ будто возрождаетъ упавшую вѣру и въ жизнь, и въ человѣка, и въ прогрессъ.

Цѣлая ватага персовъ набрасывается на меня. Они и здѣсь, какъ и въ другихъ портахъ Каспійскаго моря, захватили ампула «кули». Мой багажъ, несмотря на внушительный видъ русскаго родового, они вырываютъ другъ у друга точно добычу. Еле успѣваю за ними, лавируя среди грудъ камней. Гавань строится, моль еще не кончена. Да и весь Петровскъ имѣетъ какой-то стройный видъ. Физиономія усталая. Печать захолустнаго неглиже; пустири, заросшіе бурьяномъ, немощенныя улицы. Рядомъ катится мягко, глубокой песокъ скрипитъ подъ колесами. Фазонтъ катится этажными домами—лачуги, рядомъ съ хорошими магазинами—азіатскія лавчонки съ широкими отверстиями вмѣсто оконъ и лотками подъ ними. На порогахъ, на тротуарахъ, на лоткахъ сидятъ потурецки смуглые бородачи восточнаго типа. Торговцы преимущественно армяне. Мимо, вздымая клубы пыли, проносится всякая группа всадниковъ въ черкесахъ и лапахъ; это — лезгини. На углу собралась толпа горцевъ. Подлѣ—солдатики въ бѣлыхъ блузахъ. Полосатая трехцвѣтная вывѣска питейнаго заведенія дополняетъ эту картину.

Извозчикъ—татаринъ. По-русски почти не понимаетъ. Издаетъ какіе-то гортанные звуки въ стилѣ вейнберговскихъ анекдотовъ. Говорю ему везти меня въ «самую первую гостиницу». Оглядывается, мотая головой, но, видимо, не знаетъ, чего я требую. Однако, у подъѣзда «Франціи», когда я даю ему двугривенный, протестуетъ и бормочетъ что-то про «сороки». Гостиница въ нѣсколькихъ шагахъ отъ пристани, у самаго моря. Татаринъ настаиваетъ на прибавкѣ, повторяя безсвязно «сороки, мало, такса». Таксу, небось, знаетъ. Изъ гостиницы выбѣгаетъ какой-то парень въ красномъ архалукѣ и бараньей шапкѣ. Должно-быть—лезгинъ. Спрашиваю швейцара. Еле понимаетъ по-русски и заявляетъ, что онъ и есть швейцаръ. Вслѣдъ за нимъ показывается другой парень, армяшка, но уже въ европейскомъ костюмѣ. По виду очень напоминаетъ какого-нибудь могилевскаго «мишуриста». Также ломаетъ русскій языкъ, но изъясняется понятно. Содержатель гостиницы русский, Прохоровъ; живетъ во Владикавказѣ. Гостиница новенькая, двухэтажная, относительно чистенькая, даже съ электрическими звонками. Однако номеръ, правда «съ видомъ на море»,—два съ половиной. Зато кровать съ пружиннымъ матрасомъ и свѣжая. Клопоть еще не успѣли завести. Этотъ комфортъ почти поражаетъ послѣ рогачевскаго отеля «Золотой Ярморъ». Къ сезону морскихъ купаній сюда сѣзжаются довольно много народу.

Послѣ шести сутокъ пароходной жизни и качки,—всѣ помыслы сводятся къ ваннѣ. При гостиницѣ нѣтъ; русская баня закрыта; но говорятъ, есть персидскія бани. Номерной увѣряетъ, что очень хороши, и что всѣ господа ходятъ туда.

«Швейцаръ» въ красномъ архалукѣ ведетъ меня. Пытаюсь раз-

говориться съ нимъ—ничего не выходитъ; опять гортанные звуки и пантомима. Черные глаза глядятъ косо изъ-подъ бараньей шапки. Въ нихъ есть что-то, вызывающее подозрѣніе. Идемъ довольно долго, выходимъ на какой-то пустырь. Въ глубинѣ старый каменный домъ особнякъ, но безъ оконъ. Вместо крыши—усѣченный конусъ изъ камня. Что-то похожее на юрту.

— Стой, да ты туда ли меня ведешь?

— Ага, ага! Мотаешь головой, показывая пальцемъ на узенькія двери и ступеньки. Совсѣмъ какъ будто входъ въ подземелье или погребъ. Стучитъ. Никто не откликается. Бѣжить въ сосѣдній домъ искать хозяина. Жду. И любопытно, и хочется уйти. Чего добраго—огрѣбать. Нашупываю карманъ: револьверъ со мной. Только, говоря, они такіе кинжальные артисты, что и ахнуть не успѣшь, какъ всадятъ тебѣ ножъ по самую рукоятку.

Въ это время за мной раздается грохотъ экипажа. Оглядываюсь—Дю-Фаръ съ фотографическимъ аппаратомъ.—Куда вы?—Въ аулъ.—Это далеко? спрашиваю извозчика. Онъ бормочетъ что-то непонятное. Татаринъ или прирученный дагестанецъ—кто его разберетъ. Рожа тоже совсѣмъ подозрительная. Дю-Фаръ говоритъ, что аулъ въ четырехъ верстахъ. Укоряю его за неосторожность: безъ полицейскаго, безъ проводника, безъ языка. Того и гляди—укокошатъ. Записываю на всякій случай номеръ извозчика и внушаю ему, чтобы онъ везъ осторожно.

— Большого начальника везешь, изъ Петербурга везешь, знаешь? Смотри, вези хорошо, а то съжмемъ-башка будетъ.

Онъ киваетъ головой, Дю-Фаръ безпечно смѣется. Фазтонъ ѣдетъ въ гору.

Является содержатель бани, здоровенный персіянинъ, съ морщинами, обросшимъ, совсѣмъ разбойничьимъ лицомъ. На немъ тоже баранья шапка и полосатый оборванный халатъ; вокругъ тали обмотанъ широкій красный турецкій поясъ. Слѣва онъ странно оттопыривается. Должно-быть, кинжалъ. Отворяетъ двери, сходить внизъ и манитъ меня. Взглядъ пронзительный. Была-не-была. «Швейцару» приказываю ждать и схожу въ какое-то подземелье по каменнымъ ступенямъ. Рука въ карманѣ, въ рукѣ револьверъ. Узенькій, тускло освѣщенный корридорчикъ.

Узенькія двери ведутъ въ «номеръ». Голыя стѣны, каменный полъ, деревянные лавки, потолокъ куполомъ, сверху матовое окошечко; это—«предбанникъ». Бани такая же; у стѣны двѣ каменные глыбы, въ нихъ высѣчены углубленія. Что-то грубое, первобытное, похожее на тѣ каменные желоба, въ которыхъ скотъ поятъ. Беретъ сомнѣніе. Не надо. Богъ съ нимъ, съ его баней и со всѣмъ...

— Чиво ни нада? Нибось! Харошъ, харошъ! увѣряетъ хозяинъ.

И для большей убѣдительности треплетъ меня по плечу. Рука огромная, волосатая, жилистая; съ такой рукой и кинжала не надо. Двери совсѣмъ исчезаютъ за его фигурой.

— Торщикъ хочишь?

— Что?

— Торщикъ, торщикъ надо?

— Какой торщикъ?—Пытаюсь понять—и ничего не понимаю.

— Ну, торщикъ, запинь... такъ?

Онъ вдругъ кладетъ мнѣ на спину свою громадную ручищу и начинать тереть.

Теперь догадываюсь. Рѣчь идетъ о парщикѣ или банщикѣ. Опять разбирать любопытство.

Является «торщикъ», сухой, черномазый персъ. Выбритая лысина—сизая, ногти на рукахъ и ногахъ выкрашены желтой краской; это придаетъ имъ мертвенный пѣтъ трупа.

— Здравствуй. —Здравствуй.—Хочишь мица?—Хочу мыться.—Ну, ложись.

Ложусь, но подозрительно слѣжу за каждымъ движеніемъ «торщика». Этого не такой страшный, какъ его хозяинъ. Тонкій, худой, со смугло-желтой кожей, онъ похожъ на замореннаго голодомъ индуса. Своему «искусству» отдается сосредоточенно, серьезно. Мнѣ вспоминается «Путешествіе въ Эрзерумъ» Пушкина и его описаніе тифлискихъ банъ. Злѣсь—тѣ же приемы, та же жесткая перчатка, которой онъ мягко водитъ по тѣлу, обливая его теплой водой, тотъ же мыльный мѣшокъ. Онъ мочитъ его, намыливаетъ, потомъ, дунувъ, быстро закрываетъ. Мѣшокъ, наполненный воздухомъ, распадается, какъ пузырь. Тогда онъ сжимаетъ его, и легкая пѣна, просачиваясь сквозь ткань, теплымъ пухомъ обдаетъ тѣло. Послѣ этого начинается массажъ. Третъ онъ довольно ловко и мягко, а потомъ вдругъ, къ моему ужасу и изумленью, влезаетъ на меня совсѣмъ съ ногами.

— Стой, говорю, куда ты лѣзешь? Убирайся...

— Хорошо, хорошо,—увѣряетъ онъ. Надо, здоровъ!

Я вскакиваю. У «торщика» оскорбленный видъ непризнаннаго таланта.

У выхода ждешь хозяинъ. Спрашиваю, сколько слѣдуетъ. Говоритъ—семь гривенъ. За этакую-то пакость!—Всѣ господа, увѣряетъ, такъ платятъ. Даю полтинникъ. Благодаритъ, протягиваетъ руку и со смиренно-заискивающимъ видомъ проситъ «на чай».—Да въдь ты самъ хозяинъ?—«Нѣтъ, нѣтъ, хозяинъ другой, нима хозяинъ». Мотаешь головой. Зову «швейцара».—Это его баня?—Ага, ага! Киваетъ утвердительно своей бараньей башкой.

Однако восточный разбойникъ нисколько не смущается. Этакій народъ! По-руски говорить не научились, а «на чай» знаютъ.

Захожу въ магазинъ. Вездѣ армяне, вездѣ армянскій жаргонъ. По возвращеніи въ номеръ заказываю обѣдъ. Въ карточкѣ значится борщъ по-флотски, бадриджаны (баклажаны) и чехобили, соусъ изъ пыленка или баранины съ помидорами.

Въ раскрытыя окна видно море. Оно теперь почти неподвижно. Бирюзовая необятная даль съ бѣлѣющими парусами такъ и манитъ своимъ чарующимъ просторомъ. Не вѣрится, что это то самое море, которое ночью металось такъ яростно, казалось такимъ ненавистнымъ. Но приборъ продолжается. Невидимо откуда у самого бе-

рега, почти подползая къ гостиницѣ, вырастаетъ вдругъ на этой синевѣ бѣлый гребень, стремительно бѣжитъ, пересыпаясь серебряными кудрями, и съ грохотомъ разбивается. А на смѣну уже неслетъ новая волна и опять слышится глухой пушечный раскатъ. Онъ то слабѣетъ, то, усиливаясь, снова проносится грохотомъ. Это—девятый валь. Слухъ настолько основанъ съ нимъ, что весь организмъ передъ девятымъ валомъ охваченъ ожиданіемъ; и чувства, еще подъ впечатлѣніемъ недавней качки, переживаютъ ее въ иллюзии. Я сижу и вдругъ вижу, какъ стѣны и окна опускаются. Инстинктивно хватаюсь руками за столъ.

Во время обѣда за моей спиной раздается вдругъ вопросъ на чистомъ русско-мъ языкѣ. Оглядываюсь. Прело мной высокій блондинъ, съ открытымъ русскимъ лицомъ, что называется кровью съ молокомъ, русой борошкой ярославца и добрыми, ясными, какъ море, глазами. Что-то хорошее, умное и душевное во всей его наружности. Глаза такъ и отдыхаютъ на немъ послѣ всѣхъ этихъ черно-мазыхъ, обросшихъ, угрюмыхъ азиатскихъ рожи.

— Здравствуйте. Вы это откуда такой взялись здѣсь?

Широкая улыбка освѣщаетъ его лицо.

— Мы коммиссіонерамъ при гостиницѣ состоимъ.

Зовутъ его Гаврило Михайловъ Горчаковъ. Уроженецъ Тамбовской губерніи, села Просинныя Поляны. Дома—тѣснота, земли мало, семья большая. Оставилъ женку и дѣтей, пріѣхалъ на Кавказъ счастья искать. Заработокъ есть, только къ своимъ тянется; здѣсь не съ кѣмъ словомъ обмѣняться: азиаты, ничего не понимаютъ.

Я съ удовольствіемъ бесѣдную съ Горчаковымъ. Въ немъ такъ ярко, такъ типично сказались народная русская душа, которая завоскала весь русской просторъ и теперь какъ будто недоумѣваетъ, не зная, какъ справиться съ нимъ, что сдѣлать.

Послѣ обѣда заглядываетъ Дю-Фаръ. Привѣтствую нашего франко-русского Стэнли съ благополучнымъ возвращеніемъ. Онъ спѣшитъ подлѣзть своими впечатлѣніями. Ауль въ ущельѣ, по дну котораго журчитъ какая-то рѣченка. Сакли то одностаянныя, то двухъэтажныя, съ плоской, намазанной глиной крышей. Въ нижнемъ этажѣ живутъ хозяева, тамъ же и кухня, и яма, въ которой разводятъ огонь; надъ ней—труба; по стѣнамъ оружіе, въ стѣнахъ окна какъ въ конюшняхъ, безъ стеколъ. Вверху—кунацкая. Въ ней довольно чисто; топчаны, покрытые коврами, какія-то тумбы или куски бревенъ. Это помѣщеніе для гостей. При куначкѣ—балконъ съ навѣсомъ. Видъ унылый, ауль бѣдный, — вездѣ сѣрый камень, глина и пепельная земля.

— И это здѣсь, здѣсь, въ этомъ богатомъ краѣ, при этой почвѣ, при этомъ климатѣ, на этомъ плоскогогорьѣ, будто созданномъ для виноградныхъ плантацій!

Дю-Фаръ разочарованъ. Онъ вспоминаетъ кievскую деревню, потомъ сарапульскую, и добавляетъ не безъ паоса:

— Что же они сидятъ тамъ, почему же не идутъ сюда? Въдѣ эти вотъ тысячу лѣтъ живутъ здѣсь, въ этомъ богатомъ краѣ—и ничего извлечь изъ него не могутъ...

Мало того, даже жизни своей не сумѣли устроить сколько-нибудь сносно. Весь Кавказъ мнѣ кажется какимъ-то междоусобнымъ шляхетскимъ хозяйствомъ. Такъ бываетъ, гдѣ на одномъ фольваркѣ заховийничаютъ десятки наслѣдниковъ-шляхтичей. Что ни шляхтичъ—то панъ, со своей заядлостью, со своей претензіей и гонимомъ, со своимъ «нихъ твою на моемъ не старче». Шутка ли сказать, на 8,500 миляхъ кавказской территоріи—десятки разныхъ народцевъ; на площади, меньшей нѣкоторыхъ русскихъ губерній, умѣщалось нѣсколько царствъ, девять ханствъ и множество княжествъ, съ разными лоскутными царьками, ханами, князьками и беками. И у каждого народа свой языкъ, свои обычаи, нравы и законы; тутъ казнятъ, а перелѣзъ черезъ заборъ—милуютъ.

Одинъ Дагестанъ чего стоитъ. Здѣсь на площади, немногимъ меньшей Московской губерніи, около шестисотъ тысячъ лезгинъ, и эти шестисотъ тысячъ распадаются на пятьдесятъ пять племенъ, говорящихъ на множествѣ нарѣчій, на разныхъ аварскихъ, даргинскихъ, цоргинскихъ, кизикумскихъ, хунзаскихъ, анцукскихъ и другихъ языкахъ; вихляющихся кавказскихъ арга, въ которыхъ сохранились горланно-шипящіе звуки младенческаго лепета человѣчества эпохи пещернаго медвѣдя. Всѣ они молятся Магомету. И надо удивляться, какъ онъ справляется съ переводомъ всѣхъ этихъ нарѣчій, докладывая Аллаху просьбы дагестанскихъ правовѣрныхъ. Если бѣ вавилонской башни не было, то Кавказъ могъ бы дать тему для нея.

Офицеръ-грузинъ, который пьетъ у меня чай, несмотря на всю свою любовь къ Кавказу, порицаетъ эту спутанную, дикую жизнь. Лезгины въ пятнадцать лѣтъ считаются совершеннолѣтними и вступаютъ въ бракъ. Безправіе полное. Гражданскія дѣла разбираются по шариату, уголовныя—по адату; гражданскія дѣла ведутъ кадіи, уголовныя—депутаты. Въ Дагестанѣ что ни набитство или община, то свои адаты, писанные вилами. Судьи, конечно, руководятся обычнымъ правомъ, но населеніе смотритъ на адаты довольно оригинально: онъ имѣетъ значеніе тогда, когда стороны удовлетворены рѣшеніемъ суда; если же потерпѣвшему рѣшеніе не по вкусу, то онъ, хотя и не знаетъ, вѣроятно, о существованіи Америки, сейчасъ же прибѣгаетъ къ закону Линча и пускаетъ въ ходъ кинжалъ. Канлу, кровавая месть, выше всякаго закона и суда: непонятно только, зачѣмъ они еще судятся. Но и кровавая месть тоже имѣетъ свои градаціи. Если преступникъ неловокъ и поймается на мѣстѣ преступленія, то его убиваютъ, безъ права родственниковъ мстить за него; если, напротивъ, его не поймали на мѣстѣ преступленія, то, въ случаѣ его убійства какъ-нибудь, родственники имѣютъ право на канлу; если бекъ убьетъ простого человѣка, то онъ изгонится всего на три мѣсяца, послѣ чего платитъ «протори и убытки» родственникамъ убитаго. Такимъ образомъ, бекъ можетъ убивать ежегодно не болѣе четырехъ «простыхъ» людей. Зато если простой человѣкъ, «быдло», убьетъ бека или узденя, то онъ становится рабомъ семьи убитаго.

Кромѣ общинныхъ судовъ, есть еще туземные окружные суды,

въ которыхъ председательствуютъ начальники округовъ, а затѣмъ дагестанскій народный судъ, высшая судебная инстанція. Надо только представить себѣ, въ какомъ юридическомъ хаосѣ туземнаго общаго права и произвола приходится разбираться начальникамъ округовъ.

Въ этой обстановкѣ воспитывается и подрастающее поколѣние горцевъ. Суфи, муллы и алимы учатъ мальчишковъ арабской грамотѣ, основами Ислама и Корана. (Женщина—раба и батрачка горца, для нея не полагается эта роскошь). Съ такой наукой почва для мюридизма и газавата, священной войны, со всѣмъ ея фанатизмомъ, для ненависти и кровавой мести—остается въ прежней силѣ.

Мнѣ вспоминается эпизодъ на тему русскаго «канлу». Года два-три тому назадъ, въ декабрѣ, подъ вечеръ, подъѣзжалъ я къ нашему Пошехонью. Въ верстѣ отъ города вижу—на снѣгу лежить безъ шапки, въ кумачевой рубашкѣ, какой-то человекъ; подлѣ—лука крови. Человекъ пытается встать, но не можетъ и безпомощно плачетъ. —Что это съ тобой, откудова ты? Говорить невнятно. Видно—выпивши, но не очень; больше ошеломленъ побоями; голова поранена; изъ ранъ сочится кровь. Далеко впереди виденъ обозъ. Ока-зывается — подрался, его поколотили, отняли шапку и тулугъ, да такъ и оставили на дорогѣ, въ степи, при десятиградусномъ морозѣ. Кое-какъ вдвоемъ съ ямщикомъ садимъ его на перекаланую; я держу его, прикрываю буркой; голова шатается, кровь сочится, капаетъ мнѣ на пальто. Догоняемъ обозъ.

— Стой. Кто это сдѣлалъ?

Выходитъ хозяинъ, блѣдный бородатый руссакъ, брехуновскаго типа. Во взглядѣ какъ будто и страхъ, и раскаянье, и еще не улегшійся гнѣвъ.

— Я его побилъ. — «Поѣзжай за мной». Онъ покорно отпрягаетъ лошадей и ѣдетъ рядомъ со мной. Избитый парень, которого я продолжаю держать, кланяется своему хозяину и говоритъ плаксивымъ голосомъ: «Да, братъ, Митричъ, спасибо, спасибо тебѣ, братъ, за твою хфантазію». — А ты не лѣзь, — отвѣтываетъ тотъ. «Спасибо тебѣ за твою хфантазію», повторяетъ несчастный, «разодолжилъ»... Въѣзжаемъ въ городъ, останавливаемся у квартиры надзирателя. Передаю ему парня, рассказываю, въ чемъ дѣло, прошу записать меня свидѣтелемъ и, главное, послать за врачомъ. Парень жестоко избитъ, чего добраго помретъ. Спустя часа два захожу въ часть. Пристава не застаю; спрашиваю у городового, гдѣ побитый. — Пошелъ въ трактиръ мириться. Просто не вѣрится. Захожу нарочно. Въ одной изъ комнатъ вижу хозяина, Митрича, артегъ и Гришку, побитаго, за общимъ столомъ. Голова у него повязана тряпьемъ. Пьютъ. У Митрича на глазахъ слезы. Извиняется. Гришка лжетъ и плачетъ. — Больно, охъ, какъ больно ты обидѣлъ меня, Митричъ. Голову проломилъ, мочи нѣтъ—болитъ. — Прости ужъ ты мнѣ...

Гришка прощаетъ. Цѣлуются. Такіе жестокіе побои даромъ ему не пройдутъ. Но онъ простилъ—и все тутъ, завтра помретъ, можеть-

быть, отъ этого, но ужъ не будетъ требовать суда и вендетты для Митрича за его «хфантазію».

Здѣсь дѣло такъ не кончилось бы, пошли бы въ ходъ кинжалы, за убитаго мстили бы родственники, «канлу», занѣтъ смерти и самоистребленія, передавался бы изъ поколѣнья въ поколѣнья.

Вся почти семидесятилѣтняя исторія покоренія Кавказа служить яркой иллюстраціей психологіи двухъ народовъ. Съ одной стороны волыные, независимые горцы, съ другой—русскій народъ, бывшій, въ теченіе всей эпохи завоеванія Кавказа, крѣпостнымъ. Горцы боролись какъ львы, отстаивая свою свободу, русскій народъ, мечтавшій о свободѣ, извѣдавшій всѣ муки рабства, отдавалъ свою жизнь для того, чтобъ отнять эту свободу у горцевъ. Но странно: здѣсь народъ свободный ничего не сумѣлъ создать изъ своей свободы, кромѣ вражды, раздоровъ и нищеты, приведшихъ къ паденію націи,—тамъ народъ подъ гнетомъ рабства какъ будто слился еще плотнѣй въ единую національную массу, чтобы стать сегодня могучимъ обладателемъ полуміра, свободнымъ, но кроткимъ и миролюбивымъ. Тамъ свобода выработала въ національномъ характерѣ необузданный эгоизмъ личности, подорвавшій общественные устои, здѣсь рабство какъ будто слило отдѣльныя личности въ единую національную индивидуальность. Любопытная историческая и психологическая загадка...

Вечеромъ я провожаю Дю-Фара. Поѣздъ отходитъ въ девять. Вокзалъ еще не готовъ. Платформа не вымощена, пассажирскій залъ не оштукатуренъ. Движеніе открылось только въ октябрѣ прошлаго года. Картина пестрая, европейско-кавказская. Группа пассажировъ, что ѣхала изъ Астрахани, кажется невѣроятно рѣзкимъ диссонансомъ рядомъ съ кавказской толпой. Папахи, черески съ газырями на груди, архадуки, бешметы и бурки, легкіе бараньи шапочки съ позументомъ на донышкѣ, шапки и кинжалы, кинжалы безъ коня. Не разберешь, кто военный, кто казакъ, кто горрецъ. У типичнаго дагестанца - бородача на верблюжьей черескѣ нашиты какіе-то эполеты, но безъ знаковъ. Есаулъ—не есаулъ, казакъ—не казакъ; военнымъ чести не отдаетъ. На другомъ никакихъ эполетовъ нѣтъ, видъ у него дикій, большущіе черные глаза мечутъ молніи изъ—подъ бахромь папахъ; а проходить мимо какой-то черескѣ, тоже безъ эполетъ, онъ козырнетъ ему. Офицеръ съ поручичьими эполетами ѣдетъ въ третьемъ классѣ, не пользуясь обыкновенной льготой. Это кавказскій миллионеръ. Горцы глядятъ сумрачно, исподлобья на выгнавшійся вдоль вокзала поѣздъ. Въ толпѣ туземцевъ что-то мрачное; черныя бороды и черныя сверкающіе глаза придаютъ ей какой-то дикій колоритъ. Въ вагонъ третьяго класса быстро, почти крадучись, проходитъ нѣсколько леггинговъ. Шелковые шаровары и пестрые бешметы шуршатъ; маленькія ноги въ чевкамахъ ступаютъ легкой козьею походкой. Изъ-подъ чадры таинственно и испуганно выглядываютъ черныя миндалины глазъ.

У европейцевъ во взглядахъ пробѣгаетъ задоръ и любовитство;

у горцев сверкает злой огонек, полный сарказма: они, видимо, недовольны этой «эмансипацией» рабынь, ршившихся бжать пожелбанной дороге.

«Мечта» и ее спутницы проходят въ вагонъ. Департаментскій чиновникъ имѣетъ совсѣмъ изнеможенный видъ. Его жена какъ будто разочарована. Онъ сейчасъ говорилъ мнѣ, что ихъ страшно начало на «Корниловъ», и они на два часа прибыли позже насъ. Нельзя сказать, чтобы свадебное путешествие представляло особенную прелесть во время качки.

Дю-Фаръ прощается. Взаимныя пожеланія. На всякій случай обмѣниваемся карточками и адресами. Поѣздъ уходитъ. Дю-Фаръ, высунувшись въ окно, кланяется, въ другомъ окнѣ мелькаетъ и исчезаетъ, какъ загадка, симпатичное личико «Мечты», въ третьемъ—какая-то разбойничья физиономія кавказца.

Въ гавани видны пестрые огоньки и красный свѣтъ маяка. На улицахъ темно—и эта тьма полна чего-то таинственнаго. Прохожу мимо трактира. Играетъ органъ. У оконъ группа солдатъ въ бѣлыхъ блузахъ. Слушаютъ музыку, разговаривая то по-русски, то по-малорусски. Не знаю почему, но они мнѣ кажутся заѣхъ совсѣмъ одинокими и заброшенными. Дальше изъ мглы выступаютъ три черныхъ фантастичныхъ силуэта въ черескахъ и папахъ; они о чемъ-то шепчутся. Изъ-за угла выѣзжаетъ всадникъ, вдругъ испуганно прищипываетъ коня и мчится по улицѣ по направлению къ горамъ.

Захожу въ садъ, что при клубѣ. Освѣщенъ, но публки почти нѣтъ. Растительность чахлая, все больше акаціи; листки свернулись отъ засухи. Вдоль аллеи арыки, чрезъ нихъ перекинуты мостики. Въ глубинѣ на скамьѣ лежитъ какой-то туземецъ. Опять череска и кинжалъ, опять молніи во взглядѣ. Привстаешь, угрюмо поглядываешь на меня и свиститъ; въ кустахъ, въ тѣни, копошатся еще три такихъ же разбойничьихъ фигуръ. Поворачиваю назадъ, чувствуя, что шаги невольно становятся длиннѣе. Просто не уйти отъ этихъ кинжаловъ!..

Въ номерѣ душно. Раскрываю окна. Меня еще глубже охватываетъ таинственная атмосфера и прошлаго, и Кавказа, и чуждой жизни. Здѣсь, на этомъ берегу, возвращаясь изъ персидскаго похода, высадился когда-то Петръ Великій. Тридцать пять лѣтъ тому назадъ въ нѣсколькихъ десяткахъ верстъ отсюда, въ Гунибѣ, разыгрался одинъ изъ самыхъ ршительныхъ актовъ покоренія Кавказа, капиугалія имама Шамиля. Дагестанъ и Чечня напоены русской кровью. Кавказъ не даромъ называется «погибельнымъ». Десятки лѣтъ онъ поглощалъ изъ покоренны въ поколѣнья потоки русской жизни и русскихъ слезъ.

Въ нашей памяти уже изгладился образъ нашихъ героевъ—дѣдушекъ, которыхъ манила сюда жизнь, полная удали и отваги, которые оставляли за собой столько влюбленныхъ, разбитыхъ сердецъ, образъ нашихъ бабушекъ, меланхолично напѣвавшихъ за кадыкордами или старомоднымъ роелемъ знаменитый тогда романсъ:

Въ полдневный жаръ въ долину Дагестана
Съ спиномъ въ гуды лежалъ недвижымъ я;
Глубокая еще дымилась рана,
По капль кровь сочилась моя.
И снился мнѣ, сияющій огнемъ,
Вечерній пиръ въ родимой сторонѣ...

Во мглѣ раздается неугомонный, мѣрный прибой моря, слышится не то ропотъ, не то глухой вздохъ.

ГЛАВА XIX.

Море. — Дагестанскіе пейзажи. — Горцы, солдаты и казаки. — Чиръ-Юртъ и Хасав-Юртъ. — Разговоръ на кавказскія темы. — Кинжалный край. — Кавказскіе разбойники. — Сомнительное купанье. — Неистовый миръ. — Бабій бунтъ казачекъ. — Грошны. — Евреи въ роли горцевъ. — Демонстрація ингушей. — «Проклятые армяне изъ Кизляра». — Владикавказъ. — Панорама горъ.

Теплое южное утро.

23-е августа.

Въ окна глядитъ нѣжно-бирюзовое море, ровное, покойное, мающееся. Оно сегодня необыкновенно хорошо. Эта голубая даль, безконечная, съ бѣлыми, раздувающимися на фонѣ ярко-синяго неба, парусами, легкими, воздушными, какъ мечта,—полна чего-то чарующаго и волшебнаго. Справа, надъ самымъ берегомъ, изъ зелени сада выступаетъ бѣлое зданіе клуба, слѣва приставъ съ темной рѣшеткой эстокады, башенкой маяка, мачтами и трубами пароходовъ, дальше желѣзная дорога съ рядами кубиковъ — вагоновъ; напротивъ—купальни. Тамъ уже барахтаются въ голубой влагѣ купающіеся. Волны крадутся по камешкамъ къ краснымъ рубашкамъ и синимъ брюкамъ солдатъ, разбросаннымъ вдоль берега. Солдаты ныряютъ, плаваютъ, кувыркаются; молодня, какъ будто мраморная, тѣла то исчезаютъ, то всплываютъ въ бѣлой пнѣ прибой.

Въ душу спускается такой же нѣжный, какъ этотъ чистый, теплый воздухъ, такой же убаюкивающий, какъ шопотъ моря, глубокий, какъ его просторъ, покой,—покой до изнеможения. Мочи нѣтъ оторваться. Хочется смотрѣть и смотрѣть безъ конца, ни о чемъ не думая, все забывъ, отдавшись этому сладостному общенію съ природой.

Несмотря на девятый часъ, солнце начинается припекасть. Тѣмъ болѣе кажутся непонятными эти папахи, бурки и даже тулупы. Въ микстѣ перваго и втораго класса я — единственный пассажиръ. Въ третьемъ—смѣшанная толпа малоросовъ-переселенцевъ и туземцевъ. Переселенцы откуда-то изъ Черниговской или Полтавской губерніи. Бабы въ чоботахъ, синихъ кафтаныхъ-безрукавкахъ и «намиткахъ». Переселенцы въ хорошемъ настроеніи; смѣхъ, шутки, критическія замѣчанія насчетъ туземцевъ. Арбузы истребляются въ массѣ; у дѣтвры мордочки совсѣмъ перепачканы.

Поѣздъ бѣжитъ, оставляя за собой нефтяныя цистерны и на-

ливные цилиндрические вагоны. Справа море; оно плещется у самой насыпи. Слева цѣпь пепельно-желтыхъ холмистыхъ прихотливыхъ группъ горъ. Онѣ не высоки. Это еще отроги Кавказскаго хребта. Голые, выжженные солнцемъ склоны имѣютъ мертвый, безжизненный видъ; почти никакой растительности. Изрѣдка въ ущельѣ или надъ обрывомъ покажется сѣрая куча камней; это аулъ. Каменные заборы, каменная или глиняная сакли; вмѣсто оконъ—квадратныя отверстія; крышъ нѣтъ; зелени вокругъ никакой. Кажется, будто это развалины или пожарнице; сѣро, угрюмо, мертво. Не вѣрится, что тамъ человеческое жилье. Море все отодвигается, его заслоняетъ степь, ровная буроватая новороссійская степь, словно перенесенная сюда откуда-нибудь изъ Херсонской или Бессарабской губерний. На западѣ раздвигаются горы, вырастаютъ высокій песчаный холмъ.

Паровозъ сердито гудитъ и дрожитъ, обдавая поѣздъ черными клубами густого дыма. Отопленіе нефтяное. Въ вагонѣ пахнетъ керосиномъ и копотью лампы.

Минуемъ станцію Шамхаль и Тимиргос. И горы, и степь совсѣмъ безлюдны. Только порой гдѣ-нибудь высоко надъ скалой выступитъ аулъ, да въ степи изъ зелени садовъ выглянетъ деревушка, весело улынется своей бѣлой церковкой, низенькими, бѣленькими, совсѣмъ малороссійскими или бессарабскими домиками, желтымъ лѣсомъ подсолнуховъ, и исчезнетъ. Это все либо поселенія старовѣровъ, либо станціи гребенскихъ казаковъ. Слева отъ поѣзда, въ горахъ—побѣжденные, справа, въ степи—побѣдители.

Подходимъ къ Чиръ-Юрту. Здѣсь и въ Денлагарѣ полковы штабъ—квартиры, въ которыхъ сгруппировано тысячъ пять—шесть дагестанскаго войска.

У подножія горъ съ синѣющимъ въ глубокомъ ущельѣ лѣсомъ раскинулась большая станица. Послѣ пустынныхъ полей глазъ отдыхаетъ на обильной зелени. Изъ кудристыхъ садовъ уютно выглядываютъ хорошенькая церковка, двухэтажныя казармы, еще нѣсколько кирпичныхъ, крытыхъ желѣзомъ, зданій. Напротивъ, справа отъ полотна, располагается село старообрядцевъ.

На вокзалѣ толпа солдатъ, пришедшихъ поглядѣть на поѣздъ. И для нихъ, и для поселенцевъ желѣзная дорога—это цѣлое счастье: она связала ихъ съ остальной Россіей, она внесла жизнь въ этотъ мертвый покой пустыни.

Солдатки—народъ все рослый, здоровый, съ загорѣлыми, почти смуглыми лицами. Такъ и видно, что растутъ на солнцѣ, на богатомъ воздухѣ юга, а не чахнутъ гдѣ-нибудь въ промозглой отъ сырости Бѣлоруссин.

Тутъ же въ сторонѣ и группа горцевъ. Несмотря на дикій видъ, и въ ихъ костюмѣ, и въ гордой осанкѣ есть что-то художественное, полное красоты и граціи. Поступь мягкая, легкая, важная, нѣсколько птичья, взглядъ гордый, властный, ястребинный. Не то князь, не то вождь какого-нибудь индѣйскаго племени, не то атаманъ разбойниковъ. Горцы какъ будто дополняютъ природу Кавказа; они

кажутся здѣсь необходимымъ декоративнымъ аксессуаромъ; и если бы ихъ не было, ихъ, кажется, пришлось бы выдумать для дополненія картины, какъ искусственныхъ швейцарскихъ горцевъ или тирольскихъ пастуховъ. Обиліе кинжаловъ просто изумительное; нѣкоторые, кромѣ шашки, носятъ у пояса по два, по три кавказскихъ ножа съ рукоятками и ножами въ черни. Совсѣмъ какой-то кинжалный край.

На платформу откуда-то появляется молоденькій, стройный, какъ тополь, офицеръ въ блестящей гвардейской формѣ. И смуглое лицо, и взглядъ, и походка—выдаютъ горца. Должно-быть—изъ туземныхъ князьковъ. Горцы поглядываютъ на него и перешептываются.

Проѣзжаемъ мостъ, перекинутый надъ быстрой горной рѣчкой Сулакомъ, вырвавшейся шумнымъ потокомъ изъ ущелья, и мы у станціи Хасавъ-Юртъ. И здѣсь квартируютъ войска.

Вокзала нѣтъ еще. Буфетъ въ балаганѣ, станція—тоже. Въ вагонъ входитъ плотный, смуглый, среднихъ лѣтъ, офицеръ. Бритая синія щечки, черные глаза южанина. Обрусѣвшій кавказецъ или окказившійся русскій?

Нѣкоторое время оглядываемъ другъ друга молча. Хочешь—не хочешь, а заговорить надо: насъ всего двое въ вагонѣ. Въ рѣчи его слышится акцентъ. Должно-быть—грузинъ, а похожъ на малоросса. Ыдетъ во Владикавказъ. Полкъ переводятъ въ Кутаисъ. Только-что осѣлъ на мѣстѣ, обзавелся домкомъ, а теперь приходится все продавать, разорить гнѣздо, перетаскивать семью.

Поѣздъ останавливается. Жарко. Томитъ жажда. Реомюръ показываетъ 30 градусовъ. Выхожу. Вокзала нѣтъ. У полотна два товарныхъ вагона. На одномъ дощечка съ надписью «станція Кади-Юртъ», у другого звонокъ. Больше ничего. Вблизи—аулъ Кади-Юртъ, съ саклями, обмазанными глиной и похожими на землянки безъ крышъ. На окраинѣ кладыбище, съ каменными высокими тумбами, которыми утрамбовываются дороги. Это памятники.

Мы уже въ Терской области. Большая и Малая Чечня входятъ въ ея составъ. Чеченцевъ свыше двухсотъ тысячъ; у нихъ тоже нѣсколько нарѣчій и племенъ. Мнѣ вспоминается пушкинская черкесская пѣсня:

Не спи, казакъ, во тѣмъ ночной—
Чеченецъ ходитъ за рѣкой.

— Что, какъ они теперь, успокоились?—спрашиваю офицера.

— Не скажете,—говоритъ онъ.—Конечно, не то, что десять—пятнадцать лѣтъ тому назадъ. Тогда здѣсь была бѣда. Но и теперь понаивляютъ. Черкесы—и во время, и послѣ турецкой кампаніи—выселились, къ счастью, въ Турцію. Теперь ихъ осталось немного, тысячъ пятьдесятъ, да и тѣхъ динули въ Кубанскую область. Лезгины и чеченцы смирились ихъ; но они все-таки враждебны намъ. Колонизація идетъ туго. Все говорятъ у насъ о ней, а дѣло почти не подвигается. Тѣ станціи, что вы видели въ Дагестанѣ и здѣсь,—съ незапамятныхъ временъ; новыхъ переселенцевъ мало. Прибавите нѣсколько тысячъ войскъ—вотъ намъ и все рус-

ское население Дагестана и восточной половины Терской области. Горцы всегда наготовѣ; они не проявляютъ теперь массовой вражды, но для этого нужна только искра. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, когда шла рѣчь о введеніи воинской повинности, возстаніе чуть-чуть не вспыхнуло. Съ желѣзной дорогой они и теперь еще не могутъ помириться. Поперекъ горла она имъ стала. Вотъ ингуши, напримѣръ, какъ только завидятъ поѣздъ, сейчасъ надѣваютъ кинжалъ да берданку и устраиваютъ безмолвную враждебную демонстрацію. Поговаривали о разоруженіи, да ничего съ ними не подѣлаешь. По ихней поговоркѣ—«берданка мѣй и жены мѣйбѣ».

— А вообще насчетъ «сѣннихъ башки» и разбоекъ какъ у васъ?

— Да ничего, теперь меньше, слава Богу. Вотъ не хотите ли газетку. Сегодня получили...

Въ одной корреспонденціи читаю:

«Вамъ уже извѣстно объ убійствѣ фотографа и его жены, случившемся въ ночь на 11-е августа между желѣзнодорожной станціей Елисаветполь и городомъ».

Фотографъ возвращался въ одиннадцать часовъ ночи съ вокзала; дома осталось трое дѣтей. Въ него было слѣзано три выстрѣла, въ жену его одинъ. Убійцы—Садыхъ Али-Баба-оглы и Алакперъ-Наби-оглы, татары.

«Несчастныя жертвы злодѣянны были настолько бѣдны, что на похороны ихъ г. полицеймейстеру Ибрафилбекову пришлось прибѣгнуть къ собранію среди своихъ знакомыхъ пожертвованій. Въ пользу сиротъ собрали двѣсти рублей, да въ Аджикентѣ состоялся спектакль». Корреспонденція заканчивается очень трогательно: «свѣтъ, стало-быть, не безъ добрыхъ людей».

Дальше читаю:

«Убійства. Намъ сообщаютъ, что въ послѣднее время въ Кунакскомъ уѣздѣ слишкомъ участились случаи убійства. Въ продолженіе всего одной недѣли убили трехъ человѣкъ въ м. Квирилы и трехъ въ сел. Чкентіи. Очень недурно и совсѣмъ по-кавказски это «слишкомъ участились». Еще бы: по одному человѣку въ день, не считая воскресенья. Пожалуй, одно убійство на два дня въ двухъ смежныхъ мѣстечкахъ по-кавказски не было бы слишкомъ».

Но еще лучше кавказскіе Ринальд-Ринальдины въ Кубинскомъ округѣ. Это ужъ что-то совсѣмъ въ турецкомъ вкусѣ. Шайка разбойниковъ безнаказанно совершаетъ набѣги не только на аулы, но и на города. Все населеніе въ паникѣ. Разбойники по усмотрѣнію облагаютъ данью и поселянъ, и горожанъ. Устраиваются облавы, устраиваются охоты, цѣлые походы. Какъ въ «Тысячѣ и одной ночи» вызываются смѣльчаки, вербуются отряды волонтеровъ. Разбойники продолжаютъ убійства и грабежи. Головы ихъ отсѣиваются, ихъ объявляютъ «виновъ закона». Это самый рѣшительный способъ борьбы съ бандитами, къ которому прибѣгаютъ на Кавказѣ. Каждый имѣетъ право убить разбойника безнаказанно, гдѣ бы онъ ни встрѣтилъ его. Противъ шайки выступить цѣлый отрядъ, во главѣ

съ начальникомъ округа; смѣльчаки изъ туземцевъ примыкаютъ къ нему, устраиваютъ засаду—и, наконецъ, полтора десятка разбойниковъ, послѣ жестокой осады и перестрѣлки, взяты. Населеніе города, во главѣ съ администраціей, муниципалитетомъ и товарищемъ прокурора, торжественно встрѣчаетъ побѣдителей. Имъ устраиваютъ раутъ, пьютъ шампанское, говорятъ спичи. Что-то совсѣмъ сказочное, восточное и чуждое девятнадцатому вѣку.

Становится жутковато.

Я вспоминаю, что въ нѣсколькихъ вагонахъ третьяго класса есть десятка два-три такихъ же разбойниковъ.

— А что, на поѣзда они не нападаютъ?

— На закавказской дорогѣ случается. Здѣсь пока этого нѣтъ. Но все-таки пакостить стараются. Машинисты тутъ всегда на чеку. Много вредили, когда строилась дорога... Да, за Кавказъ намъ слѣдуетъ приняться посерьезнѣе. Купленъ онъ дорогой цѣной, много крови пролито. Надо хоть теперь поставить дѣло такъ, чтобы не пришлось ее вновь проливать. Изъ Петербурга къ намъ заглядываютъ и чиновники, и журналисты, проѣзжаютъ на воды по желѣзной дорогѣ, потомъ по военно-грузинской въ Тифлисъ... Видають, все такъ благоустроено, вездѣ порядокъ. Помилуйте, да Кавказъ нашъ, совсѣмъ нашъ. Зачѣмъ же мы содержимъ здѣсь такую массу войскъ, расходуетъ столько денегъ, почти пятьдесятъ миліоновъ, на управленіе мирнаго края. А вотъ попробовали бы они заглянуть туда, вглубь этихъ горъ, попробовали бы ближе ознакомиться съ горами,—тогда бы и узнали, мирный онъ или не мирный. Есть такіе уголки, гдѣ русская нога не ступала, такія дебри, о которыхъ мы поняты не имѣемъ... Шамилъ умудрялся и порохомъ, и артиллерійскіе заводы имѣлъ, а кто поручится, что и теперь ихъ нѣтъ гдѣ-нибудь тамъ въ недоступныхъ ущельяхъ, куда одинъ горецъ проникнуть можетъ. Вѣдь вотъ, говорятъ, они съ голоду мрутъ въ горахъ; однако скорострѣлками обзавестись сумѣли... Въ прошлую кампанію сколько они намъ зла надѣлали. Всѣ планы испортили, нѣсколько дивизій парализовали, обезсиливъ авангарды. Вы думаете—теперь они не повторятъ этого? Да если бы они и не хотѣли, въ нихъ разожгутъ фанатизмъ для новаго газавата. Кунакомъ-то онъ васъ назоветъ и зазоветъ къ себѣ, и чурекъ, и хинкаломъ угоститъ, виномъ или луди напоитъ, а все-таки въ душѣ смотритъ на васъ какъ на «сулдуся», котораго, чуть вы переступили порогъ, не грѣхъ и пристрѣлить: все-таки однимъ гяуromъ меньше будетъ. Если бы ихъ не сдерживала еще круговая отвѣтственность аула за всякое злодѣйство,—посмотрѣли бы, что у насъ было бы.

Опять остановка и развѣздъ. Опять вмѣсто вокзала—вагоны. Вообще вся дорога здѣсь имѣетъ видъ американскаго колонизаторскаго пути, раскинутого наскоро гдѣ-нибудь въ преріи. На вокзалахъ, небольшихъ каменныхъ домикахъ, нѣтъ надписей, водокачки еще строятся, вмѣсто платформъ—земляная насыпь.

Подходить встрѣчный поѣздъ. Въ одномъ окнѣ точно изъ рамъ выступаетъ суровая оброслая рожа чеченца съ пронзительнымъ

взглядомъ, въ другомъ—бритое загорѣвшее лицо русскаго мастера-вого, какого-нибудь калужанина или орловца. Чеченецъ что-то говоритъ ему ломаннымъ языкомъ, поясняя рѣчь пантомимой.

Кубанскіе и терскіе казаки вынесли на своихъ плечахъ всю тяжесть нескончаемаго покоренія Кавказа. Запорожскіе «лыцари», донскіе и волжскіе казаки, крѣпостные, бѣжавшіе сюда отъ неволи, всѣ тѣ широкія, жаждущія свободы и удалы натуры, которые не могли уложиться въ узкія рамки русской жизни эпохи крѣпостного права,—все это сыграло здѣсь колонизаторскую роль американскихъ пионеровъ, пережило ту же жестокую борьбу изо дня въ день съ кавказскими «краснокожими». Такая жизнь, закаляла человека, вырабатывала въ немъ своеобразную натуру, для которой борьба составляла стихійную потребность, которая гдѣ-нибудь и на чемъ-нибудь должна разметать накопившуюся энергію. Кавказъ покоренъ, развернула свою казачью силу негодѣ. Она думаетъ въ мирной обстановкѣ станичной жизни, изрѣдка проявляясь въ какомъ-нибудь дикомъ порывѣ.

Въ прошломъ июлѣ въ станицѣ Боргустанской произошли чудные безпорядки. Карантинныя мѣры примѣнялись здѣсь и раньше, казаки не протестовали; а теперь вдругъ сразу вся станица забунтовала, какъ одинъ человекъ. Ни уговоры начальника области и наказаннаго атамана генерала Каханова, ни другія мѣры—не подѣйствовали. Больше всего шумѣли казачки, и на требованіе своего атамана—разойтись кричали хоромъ «не согласны». Бабы смѣло и заразительно дѣйствовала на казаковъ. Для усмиренія былъ вызванъ полкъ. Регулярная войска стали противъ иррегулярныхъ. Послѣ долгихъ увѣщаній, которыя не подѣйствовали на упрямую толпу, были пущены въ ходъ драгуны; казаковъ посямля немного прикладами. Это заставило ихъ очнуться и уступить требованіямъ своего атамана.

— Однако, этакъ они, пожалуй, и совсѣмъ изъ рукъ могутъ выбиться!

— Да, наши казаки диковаты. Съ ними сладить не легко,—говоритъ офицеръ. Побуждать они побуждали, но во многомъ ассимилировались съ горцами. Есть такіе, что больше льнутъ къ нимъ, чѣмъ къ намъ. А казачки—бѣдовны. Подрастающія поколѣнія воспитываются въ воинственномъ духѣ. Эту массу нужно образовать, связать ее съ родиной болѣе сознательнымъ единеніемъ.

Слѣва отъ насъ аулъ и станица Гудермессъ, справа, черезъ дорогу, станица Захатъ-Юртъ, совсѣмъ малороссійская деревушка, съ хорошенечкой деревянной церковкой, черешневыми и вишневыми садами. Слѣва—голая каменная сакля безъ крыши, стадо овецъ, осла, буйволы, двухколесныя высокія арбы съ верхами почтовыхъ кибитокъ, какія-то двухколесныя повозки съ плетенымъ кузовомъ, справа—уютные бѣлые домики, баншаны, кукуруза, плугъ, запряженный тремя парами воловъ, русскія телѣги; слѣва у полотна видны жены горцевъ въ бешметахъ, справа—бабы въ сарафанахъ или малороссійскихъ «спиднищахъ». Воздухъ насыщенъ дымомъ кизя-

ка, нарѣзаннаго кирпичиками и сложеннаго въ пирамидки у ауловъ. На платформахъ—казаки въ лиловыхъ и синихъ съ полосками ситцевыхъ халатахъ. Видъ распаренный, лѣнивый, меланхолично-хохлацкій. Тутъ же бѣгаетъ группа смуглыхъ, какъ цыгане, и оборванныхъ мальчиковъ-чеченцевъ. Они предлагаютъ дубковыя корзиночки съ лѣсными орѣшками, выкрикивая:

— Два шауръ, дуо шауръ. (Десять копѣекъ).

Горы все больше и больше вырастаютъ, видъ ихъ становится суровѣй и внушительнѣй; справа—холмится голая, волнистая степь табачнаго цвѣта; рѣдко-рѣдко гдѣ зажелтѣютъ жнива да полоски кукурузы. Всѣ этотъ просторъ еще, кажется, такъ и ждетъ, такъ и зоветъ своего работника...

Переѣзжаемъ Сунжу—и мы у Грознаго, съ крѣпостью, построенной при Ермоловѣ. Городъ похожъ скорѣе на станицу. Говорятъ, у него большое «нефинное» будущее. Недавно открыты неисчерпаемые резервуары нефти. Масса истерикъ и наливныхъ вагоновъ. Верстахъ въ двадцати отъ города горячеводскіе минеральные источники, температура которыхъ достигаетъ девяноста градусовъ. Кавказскій Гейзеръ.

Вообще на Кавказѣ обиліе минеральныхъ источниковъ, цѣлебныя свойства которыхъ еще малоизвѣстны. Въ одномъ Дагестанѣ ихъ насчитываютъ до двадцати.

На вокзалѣ группа кабардинцевъ и еще какихъ-то горцевъ. Офицеръ указываетъ на послѣднихъ.

— Узнаете?

На видъ—черкесы или чеченцы. Папахы, газыри на черкескахъ, кинжалы, черныя бороды, острый, воинственный взглядъ.

— Лезгинъ? Ингуши? пытаюсь я угадать.

Онъ смѣется.

— Евреи.

Не вѣрится просто! Совсѣмъ молодцы. Какой-то странный и непонятный капризъ ассимиляции. Съ христіанами они не пошли дальше сюртука европейскаго покроя, а здѣсь, говорятъ, совсѣмъ сблизились съ горцами, перенявъ не только ихъ костюмы, но и обычаи, и мужество.

Въ Грозномъ обѣдаю. Скверный «вокзальный» борщъ и бифштексъ. Зато вино очень хорошо. Офицеры, тоже народъ здоровый, загорѣлый, не чета бѣлорусскому, пьютъ его какъ воду.

Пассажировъ прибываетъ. Нѣсколько военныхъ, нѣсколько дамъ. Минуютъ Слѣпшовскую станицу съ бѣлѣющимъ на окрѣпшій памятникомъ генерала Слѣпцова, одного изъ кавказскихъ героев. Вечерѣетъ. Солнце закатывается. На долины спускается голубоватая дымка. Изъ-за горъ наваливаются сизыя грозовыя тучи. Душно. Тучи все выползаютъ, все опредѣленнѣй вырисовываются волнистымъ ребромъ надъ гридой высокихъ горъ.

— Кажется, будетъ гроза,—говорю я офицеру, указывая на тучи.

Онъ улыбается.

— Вы думаете это тучи? Это горы. Вон та острокопечная глыба—Казбек, а эта почти кубическая масса—Столовая гора.

Мы еще въ пятидесяти верстахъ отъ Владикавказа, а онѣ кажутся совсѣмъ близко, совсѣмъ надъ нами, онѣ до половины заслонили небо своей грозной сизой массой.

Между Карбулакомъ и Назраномъ проѣзжаемъ аулъ ингушей, раскинувшийся на холмахъ по обѣимъ сторонамъ дороги. Поѣздъ быстро мчится мимо холмовъ. Тревожный свистокъ, другой, толчекъ тормоза—и онѣ останавливаются. Оказывается, ингуши перегоняютъ черезъ полотно стадо овецъ, не признавая никакихъ сторожей и шлагбаумовъ, прямо по насыпи. Наѣхать, перерѣзать овецъ—значило бы вооружить противъ себя весь аулъ, вызвать месть этихъ дикарей.

Ингуши, дѣйствительно, высыпали цѣлою толпой человекъ въ шестьдесятъ, съ кинжалами и берданками черезъ плечо. Они расположились на холмѣ, подъ которымъ проходитъ поѣздъ, въ воинственныхъ, нѣсколько театральныхъ и вызывающихъ позахъ. Во взглядахъ сверкаетъ злой огонекъ, угадывается глухая ненависть. Тутъ же и дѣтвора, и тоже съ кинжалами. Нѣсколько карапузовъ въ однихъ рубашонкахъ, разорванныхъ спереди; но на голенькомъ животѣ торчатъ кинжалъ, привязанный на веревочкѣ. Они, здѣсь, должны-быть, рождаются съ кинжалами.

Смеркается. Горы все вырастаютъ. Надъ ихъ громадой, высоко-высоко выплываетъ золотой рогъ. Силуэты ихъ становятся темносиними. Сколько ни ѣдешь—онѣ все растутъ. Не разобрать, гдѣ кончаются горы, гдѣ начинаются облака, настолько синева, заволакивающая даль, дѣлаетъ контуры ихъ воздушными.

Въ девять мы во Владикавказѣ. На вокзалѣ, исчезающемъ въ шпалерахъ винограда, европейско-кавказская шумная толпа. Много военныхъ, но преобладаютъ все-таки туземные костюмы. Черные глаза, острые, блестящие, пронзительные, сверкающие глаза, черныя бороды, черныя папахи, и кинжалы, кинжалы безъ конца.

Останавливаюсь во «Франціи» Прохорова. Выхожу погулять. На бульварѣ, что противъ гостиницы, киоски съ фруктами. Горы винограда, персиковъ, чудныхъ алаирскихъ грушъ, яблоковъ, сливъ, арбузовъ и дынь. Тутъ же висятъ на ниткахъ малиновые колбасы; это чушкала, восточная сладость вродѣ рахатлокума. Торгуютъ армяне. Спрашиваю, нѣтъ ли сегодняшняго номера газеты.

— Сводный нѣма. Завтрашній есть, хочишь—бѣры завтрашній. Дать мнѣ номеръ «Терскихъ Вѣдомостей» уже за 24-е августа.

Утро. За чаемъ записываю въ книжку:

Я уже отмахалъ по Россіи пятую тысячу верстъ, а все-таки не могу убѣжать отъ клоповъ. Несомнѣнно, владикавказскіе клопы проявляютъ болѣе настойчивости, чѣмъ московскіе и нижегородскіе, менѣе толерантности, чѣмъ казанскіе.

Зову номерного. Маленькій, старенькій армянинъ съ мигающими

глазками, которыми пытается смотрѣть прямо. Предъявляю вещественное доказательство, такъ какъ вчера, когда я напомнилъ о персидскомъ порошокѣ, онъ увѣрялъ, что ихъ «у насъ не полагается». Береть и разсматриваетъ съ видомъ ученаго энтомолога и не безъ сомнѣнья, потомъ восклицаетъ съ негодованіемъ:

— Проклятые армяне изъ Кизляра! Тольки одну ночь переночевали—и уже напустили клоповъ!

Въ гостиницѣ на углу устроена башня специально для того, чтобы любоваться видомъ на горы. Взираюсь по винтовой лѣстницѣ наверхъ. Картина сказочная.

Владикавказъ ютится у подножія тысячеверстнаго Кавказскаго хребта. Горизонтъ загроможденъ безконечной грядой горъ. Убранная по склонамъ зелеными лѣсами, онѣ упираются холмистыми шарчатыми вершинами въ синее небо. Одна группа выдвигается надъ другой, за ней вырастаетъ третья, еле обрисовываясь въ дымкѣ, которая легла синей кисеей на пропасти и ущелья, на далеке лѣса, придавая фантастичный видъ силуэтамъ. Что-то и чаруетъ, и подавляетъ. Ощущеніе необытнотной красоты и творческой мощи природы, развернувшей здѣсь всю свою силу, всю свою фантазію, захватываетъ. Эти гиганты, вздымающіеся къ небу, сверкающие серебромъ вѣчныхъ снѣговъ, подпирающие бѣлыми шапками синій куполъ, манятъ своимъ величіемъ и заставляютъ васъ чувствовать особенно ярко всю вашу микроскопичность предъ могучей природой. Но въ то же время они какъ будто приближаютъ къ вамъ небо, они будятъ смутное желаніе какого-то подвига, желаніе проникнуть ближе къ небу, къ этимъ снѣжнымъ вершинамъ, сияющимъ заманчивой и холодной улыбкой.

Смотришь—и не налюбуешься.

Вонъ серебряная острокопечная шапка Казбека, вонъ сѣрая грозная каменная глыба Столовой горы, еще десятки снѣжныхъ вершинъ и горъ, названій которыхъ никто не знаетъ. Глазъ совершенно не можетъ ориентироваться, сознаніе пространства теряется. Столовая гора верстахъ въ тридцати, а ее отъбѣсная стѣна, изрѣзанная синими полосами ущельй, висится надъ самымъ городомъ; до Казбека почти пятьдесятъ верстъ, а онъ сверкаетъ совсѣмъ надъ вами, такъ что, глядя на него, приходится запрокидывать голову. Одно, что еще даетъ возможность сколько-нибудь сообразить высоту, это облака. Они плывутъ бѣлыми барашками ниже снѣговыхъ вершинъ, иногда опускаются до половины горъ. Облака воздушныя, легкія, совсѣмъ будто живыя. Вотъ одно остановилось неподвижно въ ущельѣ, другое, точно клокъ цупистой ваты, зацѣпилось за острый утѣсъ и повисло на немъ, третье отстало отъ группы товарищей, улетѣвшихъ впередъ, и сѣло одиноко на верхушку лѣса... Къ нему плыветъ другое облачко; они сливаются и уносятся дальше. Въ глубинѣ ущельй извивается синій дымокъ; опять летитъ стая облаковъ, опускается все ниже и садится на скалу, потомъ плыветъ дальше... Небо уже чисто, облака исчезли, одно лишь изъ нихъ неподвижно застыло надъ пропастью, въ тѣни, и пробудетъ тамъ весь день...

На Александровском проспекте—европейские магазины. Очень интересны восточная и кавказская лавки. Персидские ковры, шали, кавказские бурки, серебряная издѣлка кавказской чеканки съ чернью, разная туземная утварь и посуда—эффектно выглядываютъ въ большіе витрины. Масса винныхъ магазиновъ разныхъ кавказскихъ фирмъ и складовъ земледѣльческихъ орудій.

Движенья мало.

Извозчики пеголенатые, все съ русскими лицами, фаятоны чистенькие, пароконные. А рядомъ двухколесная съ крытымъ верхомъ арба, которую тащить осель.

На бульварѣ одиноко и меланхолично прогуливаются военные старички. Владикавказъ называютъ городомъ оставшихъ военныхъ и пенсионеровъ. Ихъ здѣсь очень много. Жизнь стоитъ дешево, величественная панорама горъ напоминаетъ о героическомъ прошломъ, оживляя воспоминанія; пристань тихая и поэтичная для отдыха послѣ пережитыхъ бурь.

Черезъ улицу отъ бульвара ворочить и мечется Терекъ. Русло его почти обнажено и устья огромными валунами, принесенными изъ глубины ущелій бышеной въ весеннюю пору рѣкой. Теперь Терекъ не шире пяти-шести сажень; но все-таки онъ яростно рвется и плыветъ. На берегу нѣсколько туземцевъ. Одни купаются, другіе полунагие, чинятъ одежду, третьи откровенно и неприужденно углубились въ истребленіе на ней насѣкомыхъ.

Иду берегомъ.

Надъ нимъ нѣсколько двухэтажныхъ живописныхъ мельницъ. Терекъ со страшной быстротой вертитъ колеса.

Тутъ же, на берегу, хорошенькій садикъ съ «трѣкомъ» общества велосипедистовъ и изысканнй цвѣтникъ на небольшомъ островкѣ. Дальше выступаетъ типичный восточной архитектуры задумчивый домъ, съ черепичной крышей и висющими балконами.

Городской садъ не важный. Есть и ресторанъ, и кумысное заведеніе, но все имѣетъ неряшливый и поношенный видъ.

И здѣсь въ травѣ, сожженной солнцемъ, валяются кулесты, черномазые туземцы въ грязныхъ и оборванныхъ архаикахъ.

Въ концѣ проспекта, ближе къ горамъ, громадное зданіе почтовой станицы, словно перенесенной сюда съ московскаго Николаевскаго шоссе. Напротивъ—кавказские торговые ряды, лѣвый арсеналъ старинныхъ ружей, шашекъ и кинжаловъ, лавки со стариннымъ кавказскимъ серебромъ, чевяками и туфлями, со складами готовыхъ горскихъ костюмовъ и другихъ бутафорскихъ вещей изъ «Демона» или «Хаджи-Мурата». Тутъ уже совсѣмъ Азія. Каждая лавка—музей или магазинъ антикварія; археологъ могъ бы подобрать здѣсь цѣнную коллекцію. Какіе-то совсѣмъ допотопные карабины, съ трубами вмѣстѣ дулъ, кремневые пистолеты, гнутыя сабли, тысячи кинжаловъ разныхъ размѣровъ и формъ; а подлѣ—серебряные ажурные пояса, кушаки съ чернью, серебряные газыри, серебряные флакончики, кольца, кольца съ бирюзой; серебро старое, тусклое и сѣдого цвѣта. Дальше—бараньи шапки разныхъ

калибровъ, пестрая женскія шапочки, шаровары, бешметы, черкески, бурки. Лавки безъ оконъ. Армяне и грузины тутъ же, на виду, на улицѣ, чистятъ все это, шьютъ и передѣлываютъ или, сидя по-турецки и флегматично посасывая трубки, ждутъ покупателей.

Поворачиваю назадъ. Горы остаются за мною. Стройная перспектива топей сливается вдали. Справа—хорошенскій скверъ съ изысканной воздушной бесѣлкой, а дальше, на холмѣ, на фонѣ тѣнистаго сада выдѣляется розовый дворецъ начальника области.

На улицахъ то и дѣло встрѣчаются горцы, терскіе и кубанскіе казаки. Слева отъ проспекта—синій и неуловимый маленюкій театръ, а дальше садъ «Роскошъ». На огромной вывѣскѣ такъ и начертанъ твердый знакъ. Захожу въ «Роскошъ». На палисадникѣ и на веревкахъ просушивается бѣлье.

Проспектъ замыкаютъ большіе корпуса штаба и реального училища.

Противъ нихъ—памятникъ штабсъ-капитану Лико и рядовому Архипу Осипову, погибшимъ во время осады Михайловскаго укрѣпленія. Небольшой гарнизонъ защищался съ геройствомъ львовъ противъ одиннадцати тысячъ горцевъ. Впереди предстояла голодная смерть. Тогда рѣшились сдѣлать вылазку и прорваться сквозь неприятельскую цѣпь. Когда горцы ринулись въ атаку, интеръ-офицеръ Архипъ Осиповъ, пока товарищи уходили, бросился съ фтилемъ къ пороховому погребу. И укрѣпленіе, и онъ, и горцы взлетѣли на воздухъ. На одномъ изъ медальоновъ памятника изображенъ моментъ, когда Осиповъ, отжавшись на этотъ подвигъ, идетъ съ фтилемъ въ рукѣ къ погребу, говоря своимъ товарищамъ полныя величія и простоты слова:

«Братцы, помните мое дѣло!»

Какъ въ нихъ сказались русская народная душа, сколько въ нихъ, въ этихъ вылившись изъ чистой души простого человѣка словахъ, глубокаго смысла. Какой-то внутренней голосъ такъ будто и досказываетъ ихъ, мысль: вся задача человѣческой жизни въ томъ вѣдѣ и состоитъ, чтобы передать себя, свое я, свою личность въ дѣлѣ для другихъ, какъ бы ни было оно незамѣтно, чтобы другіе помнили насъ, и, значитъ, чтобы мы продолжали жить въ нихъ и въ общемъ дѣлѣ человечества.

И въ гимназій, и здѣсь, въ реальномъ училищѣ, воспитываются теперь дѣти многихъ «мирныхъ» горцевъ; нѣкоторые изъ нихъ оканчиваютъ высшія учебныя заведенія. Есть во Владикавказѣ и общество распространія образованія среди горцевъ.

Будетъ время—потомки Осипова сольются въ дружную братскую семью съ потомками тѣхъ горцевъ, которые погибли вмѣстѣ съ нимъ, и, быть можетъ, запылаютъ человечеству другой, безкровный подвигъ, повторивъ за Осиповымъ: «Братцы, помните наше общее человеческое дѣло»...

Оглядываясь на горы. Онѣ измѣнили свой цвѣтъ, стали сизыми и повисли надъ городомъ грозными тучами. Никакъ не можешь отдѣлаться отъ несвольнаго ожиданія грозы.

Вечером выѣзжаю на минеральные воды. Отъ Владикавказа до Кисловодска и обратно—пятьсотъ верстъ. Благодаря сезонному тарифу, проѣздъ туда и обратно стоитъ очень дешево.

Въ вагонѣ все больше курсовая публика, прѣхавшая поглядѣть на горы и прокатиться до Казбека. Мой визави — молодой, очень озабоченный и нервный офицеръ, который то и дѣло достаетъ изъ чемодана китель, обдумываетъ что-то и снова прячетъ его. Напротивъ—худой, съ желтымъ, болѣзненнымъ лицомъ, господинъ и довольно миловидная дѣвица или дама, которая изрѣдка многозначительно поглядываетъ на офицера. Ей не сидится; тоже, должно быть, нервы взвинчены. Въ сѣрыхъ глазахъ, когда она смотритъ на своего спутника, пробѣгаетъ тревожный вопросъ и какая-то скрытая мысль. Заговариваю съ больнымъ господиномъ. Оказывается, онъ изъ Бѣлоруссии. Я почти угадалъ это раньше по его отсырѣлому виду и голосу катаррика. Дамочка или барышня изрѣдка, хотя разсѣянно и неудачно, принимаетъ участіе въ разговорѣ. Между ними какія-то неопредѣленные отношенія; нельзя понять, что она ему: сестра, жена или что-нибудь въ этомъ родѣ.

На станціи Бесланъ, гдѣ дорога развѣтвляется на Петровскъ и Ростовъ, они идутъ пить чай вмѣстѣ съ офицеромъ. Я—тоже.

Послѣ второго звонка возвращаюсь въ вагонъ. Ихъ нѣтъ. Третій звонокъ. Поѣздъ уходитъ. Вещи ихъ остались. Больной господинъ и дамочка сказали, что ѣдутъ въ Кисловодскъ. Входитъ кондукторъ и сообщаетъ съ торжествомъ Бобинскаго:

— Господа, а вы знаете, у насъ въ поѣздѣ романъ?

Курсовые, привыкшіе къ «водянымъ» романамъ, превращаются въ слухъ.

— Да, господа, романъ!—подтверждаетъ тѣмъ же тономъ кондукторъ.—Этотъ офицеръ и барынька, которые ѣхали въ этомъ вагонѣ, остались въ Бесланѣ. И какъ они тонко это продѣляли. Послѣ второго звонка вышли вмѣстѣ съ этимъ господиномъ. Онъ сталъ на площадку, а они сказали, что еще придутъ. Поѣздъ такъ и ушелъ безъ нихъ. Господинъ теперь ищетъ ихъ: думаетъ, что они попали въ другой вагонъ. Говоритъ—сестра; только очень что-то разстроены...

— Лонко!—отзывается кто-то изъ пассажировъ.—Значитъ, они махнули на Петровскъ?..

— А откуда по Каспью въ Туркестанъ, и поминай, какъ звали,—фантазировать другой.

— Ну, офицеръ-то, видно, не дуракъ: она ничего изъ себя не представляетъ.

— Не скажите, напротивъ, она очень интересна. Во-первыхъ—эта свѣжестъ, глаза...

Какой-то браваый есаулъ или хорунжий нервно покручиваетъ усь и издаетъ однозвучное «м-да».

— А можетъ быть, она и въ самомъ дѣлѣ сестра его?—замѣчаетъ кто-то.—Какая тамъ сестра?—возражаетъ увѣренно кондукторъ.—Знаю ужъ я, не въ первый годъ ѣзжу. Извѣстно: прѣлудитъ

изъ разныхъ Петербурговъ, солнце пригрѣетъ, а тутъ подвернется «ерой». «Черный вусъ, кровь кипить».

Кондукторъ, неожиданно выдавъ свое казацко-хохлацкое происхожденіе, лукаво подмигиваетъ. Пассажиры смѣются.

Входитъ больной господинъ, и смѣхъ сразу смолкаетъ. Онъ, видимо, еще не можетъ притти въ себя. Лицо стало еще желтѣй, на немъ выступилъ потъ, худыя руки дрожатъ. Онъ машинально, судорожно перебираетъ тонкими пальцами цѣпочку. Видъ жалкій, сконфуженный, растерянный. Онъ употребляетъ страшныя, нечеловѣчскія усилія, чтобы подавить волненіе; и хочется крикнуть отъ боли, и совѣстно выдать себя постороннимъ людямъ. Въ глазахъ какая-то мучительная мысль, полная отчаянія. Онъ зачѣмъ-то смотритъ на часы, потомъ теревитъ жидкую рыжеватую бородку и, наконецъ, говоритъ прерывающимся голосомъ:

— Представьте, какой случай. Моя... сестра и вотъ тотъ военный опоздали, не успѣли съѣсть... Боюсь, не попали ли они подъ поѣздъ.

Онъ осматриваетъ и зачѣмъ-то перебираетъ вещи офицера. Чемоданъ довольно легкій.

— Вотъ и вещи его остались, — прибавляетъ онъ нехотая, должно-быть пытаюсь отвѣтить на внутренній мучительный вопросъ.

На слѣдующей станціи онъ телеграфируетъ, на другой спрашивается глаза. Я чувствую, что онъ не спитъ, что на душѣ у него адъ. Изрѣдка у него вырывается сухой, короткій спазматическій кашель, похожий скорѣй на глухое рыданье. Эта чужая мука, эта оторванная страничка чужого романа невольно мучаетъ и меня. Нервы ноютъ, не могу заснуть.

Поѣздъ идетъ неровно. Толчки и скачки непрерывно; паровозъ то и дѣло тревожно свиститъ, сбѣгая по склону Кавказскаго хребта. Вдругъ сразу останавливаемся. Станціи не видно.

Полный мракъ. Что-то случилось.

— Семафоры закрыты,—говоритъ кондукторъ,—должно-быть порча пути.

Нѣсколько минутъ стоимъ. Вдали свѣтятся огоньки на вокзалѣ. На станціи дѣло разясняется: просто проспали. Дорога вообще какія-то неспокойная и такая же подозрительная, какъ и нижегородская.

Въ четвертомъ часу мы у станціи «Минеральные воды». Больной господинъ бѣжитъ опять справиться насчетъ телеграммы. Я пересаживаюсь на «минеральный» поѣздъ. Эта вѣтъ въ пятьдесятъ семь верстъ связываетъ всѣ минеральныя группы. Движеніе открыто недавно. Вагоны большіе, высокіе, имѣютъ совсѣмъ дачный видъ, скамьи съ деревяннымъ сидѣньемъ и спинками тоже похожи на дачную или вѣскую мебель. Твердовато, лечь немилосиво; зато шельма микробъ не заберется.

6 часовъ утра. Облачно. Поѣздъ у кисловодскаго вокзала. Видъ довольно унылый. На сѣверѣ бѣлѣютъ голыя каменистыя горы, къ югу тоже невысокія лѣсныя горы и холмы.

25-е августа.

«Группа» расположена къ сѣверу отъ вокзала, параллельно съ полотномъ, въ котловинѣ, задрапированной темной, кудрявой чашей парка.

Проѣзжая величественной тополевой аллеей Нарзана. Сейчас у воротъ—галерея Нарзана съ арками и громоздкой колоннадой. Въ концѣ ея—колодезь, окруженный шестигульной рѣшеткой. Это и есть «богатирскій» Нарзанъ. Влага шипитъ и играетъ, выбрасывая пузырьки. Вкусъ селтерской воды. Въ этомъ же зданіи и ванны, и газовая комната для дѣченія газомъ. У галереи площадка, вокругъ которой раскинуто нѣсколько хорошенекъхъ бесѣдокъ, буфетъ и раковина для музыки. Дальше начинается паркъ. Протягивъ галерею, черезъ улицу, рядъ двухъэтажныхъ и трехъэтажныхъ домовъ. Тамъ и магазины, и гостиницы, и дачи. Есть нѣсколько живописныхъ зданій съ кокетливыми фасадами и изящными балконами. Вокругъ парка раскинуто много дачъ, а за ними по склону горы ползетъ казачья станица.

Тѣйный паркъ угромо задумался. Все спитъ; только сторожа метутъ аллею; шорохъ метлы сливается съ шопотомъ листьевъ и чирканьемъ воробьей.

Цѣлебныя свойства кавказскихъ минеральныхъ водъ были извѣстны еще во времена персидскаго похода Петра Великаго. Въ концѣ прошлаго столѣтія сюда стали стекаться больные. Хотя на Кавказѣ до семисотъ минеральныхъ источниковъ, но этой группѣ какъ-то особенно повезло. Долгое время здѣсь не было жилья челоуѣческаго, и больные располагались цыганскимъ таборомъ въ калмыцкихъ кибиткахъ, доставлявшихся сюда изъ орды по особому приказу. Въ двадцатыхъ годахъ герой Кавказа и отечественной войны, генералъ Ермоловъ, упрочилъ существованіе курорта. Съ тѣхъ поръ воды поглотили нѣсколько милліоновъ рублей, то подъ управленіемъ казны, то въ рукахъ частныхъ предпринимателей.

Нельзя сказать, чтобы за это время онѣ сдѣлали особенно блестящую карьеру. Кипанье на заграничные курорты и жалобы на наши слишкомъ хорошо извѣстны. Такое дѣло сразу требуетъ рѣшительной постановки и большихъ капиталовъ; съ грошевыми затратами далеко не уѣдешь. За границей при каждомъ цѣлебномъ источникѣ воздвигаются милліонныя зданія, съ роскошными курзалами. Здѣсь ничего этого нѣтъ. Вложить въ такое дѣло пятьдесятъ милліоновъ казна не рѣшается, а частная инициатива у насъ не кленится.

Теперь все-таки дѣло идетъ живѣй. Построена желѣзная дорога, введенъ удешевленный тарифъ, проектированы новыя зданія ваннъ, желѣзнодорожная компанія строитъ гостиницу и кургаузъ. Горнымъ департаментомъ изданъ краткій, но довольно обстоятельный путеводитель, чувствуется хозяйская рука.

Деятельная часть. Я сижу въ кондитерской за кофе. Предо мной площадка, установленная столиками, слѣва—галерея Нарзана, подлѣ нея—раковина для музыки, павильонъ минеральныхъ водъ, правѣе, подлѣ дерзвьями парка, бесѣдка, гдѣ расположились трубачи

Сунжинскаго казачьяго полка, ближе—другая кондитерская и кіоскъ съ кавказскими вещами. Трубачи въ черныхъ черкескахъ, черныхъ шапочкахъ съ вышитыми галунами дюметъ; пояса кавказскіе, съ чернью, на нихъ, конечно, кинжалами; всѣ чистенькіе, шеголеватые и такіе же блестящіе, какъ отливающія золотомъ трубы.

За рѣшеткой, на улицѣ, толпится «плѣбсъ», собираясь наслаждаться музыкой.

Курсовые постепенно начинаютъ показываться. У Нарзана, подлѣ куполомъ, уже стоятъ наготовѣ дѣвочки и дѣвушки въ бѣлыхъ передникахъ; въ рукахъ у нихъ стаканы съ проволоочными прутьями. Онѣ черпаютъ ими воду изъ колодца.

Оркестръ играетъ маршъ.

Наблюдаю и, отхлебывая кофе, записываю. Мнѣ кажется, будто предо мной пантомима. Всѣ эти люди, съхвачшіеся сюда изъ разныхъ концовъ Россіи, представляють очень оригинальный водяной сборный букетъ. Я никого не знаю. Для меня это—марionетки, но все-таки очень типичныя; въ двухъ-трехъ взглядахъ, манерѣ, жестѣхъ, походкѣ, выраженіи—такъ и угадывается и жизнь ихъ, и внутренний міръ, и положеніе. Ровно въ восемь съ четвертью появляется, прихрамывая, генералъ. Онъ, видимо, бодрится и крѣпко вѣрится въ Нарзанъ. Китель свѣжій, сверкающій, сѣдая борода и усы «выправлены». Онъ смотритъ на часы. Нѣтъ, не опоздалъ! Военная пунктуальность и режимъ соблюденъ. Это, очевидно, доставляетъ ему удовольствіе. Онъ дѣлаетъ рукой неопредѣленный легкій жестъ и подходитъ къ Нарзану. Дѣвочки поспѣшно черпаютъ воду. Маршъ продолжается. Изъ-подъ зеленого свода аллеи выходитъ пожилой, довольно плотный господинъ въ чесунчѣ и шексолодномъ котелкѣ; черезъ плечо элегантно и небрежно перекнутъ ремешокъ со стаканомъ; походка увѣренная, лицо нѣсколько одутловатое, пергаментное, съ фаворитками департамента сѣваго фасона; взглядъ сановно-нисходящій. Несмотря на партикулярный видъ, это тоже генералъ, пріѣхавшій отдохнуть послѣ спасительныхъ просектовъ, полѣчить печень и заморить разочарованнаго карьернаго червячка. За нимъ показывается какой-то чиновникъ въ формѣ лѣснаго вѣдомства; худой, лицо желтое, кожа обтягиваетъ выступившія скулы. Это—настоящій больной. Пьетъ воду энергично и съ какой-то жадной надеждой, словно бы хотѣлъ скорѣе кончить курсъ, опасаясь, что средствъ не хватитъ дотянуть его. Публика прибываетъ и первымъ дѣломъ направляется къ водопое. Женскій полъ запаздываетъ. Генералъ успѣваетъ сдѣлать ровно тридцать туровъ по площадкѣ, чтобы «уловить» воду, когда появляются дамы. За рѣшеткой и желтой мамашей степенно и не безъ граціи выступаютъ двѣ барышни. Это, должно-быть, курсовыя невесты и весьма интересныя, такъ какъ проходящій мимо кавалеристъ, необыкновенно изящно изогнувшись, кланяется, молодецкаго шаркнувъ и задевъ бѣлье пирами. Изъ парка появляется еще нѣсколько генераловъ, статскихъ и военныхъ, много офицеровъ, много черкесокъ, еще группа дамъ и барышень. Общество распадается на феисебелную суб-

лику и среднюю; въ первой больше здоровыхъ, во второй больше больныхъ; у первой — увѣренный тонъ людей съ положеніемъ и со средствами, у второй такъ и сквозитъ расчитанная до копѣйки жизнь и заштопанная нужда; предъ первой лакейскія спины гибки, какъ камышъ, предъ второй онѣ становятся камнемъ. Впрочемъ, публики второго сорта здѣсь немного; она держитъ себя очень скромно и почти ступенывается на общемъ фонѣ respectability и фешенебельности.

Позже всѣхъ появляется пыльная брюнетка бальзаковского возраста въ голубоватомъ «матинэ», съ прощичками, сквозь которыя проглядываютъ ослѣпительной бѣлизны... пудра. Каштановые волосы взбиты и вырываются изъ-подъ кокетливо накинутаго шляпки «бержэръ». Черные глаза глядятъ сквозь роговой лорнетъ мягко, томно и маянце. Лицо полное, пудро-матовой свѣжести. Выходъ ея производитъ въ публикѣ движеніе. Переглядываются и шепчутся. Что-то въ ней очень напоминаетъ Кондорову изъ «Нищихъ духомъ». Или жена какого-нибудь петербургскаго сановника, приростаго къ своему курьелю креслу, или московская купчиха послѣдней формации. Во всякомъ случаѣ, одна изъ героинь сезона или водяная львица. Ее сейчасъ же окружаютъ — сначала старенькій генералъ и петербургскій чиновникъ, потомъ лермонтовскій «montagnard au grand poignard» и нѣсколько офицеровъ. Дамы шепчутся и завистничаютъ, изучая въ то же время ея манеры и grands airs. Три-четыре «пуньяра», покрывшая черные усы и метая черными глазами молнии, то прогуливаются мимо, то бѣгутъ тушить пожаръ славы души Нарзана.

Буду осматривать кисловодскія достопримѣчательности: Лермонтовскую скалу, «долину очарованія» и «замокъ коварства и любви». Интереснѣе всего, конечно, поѣздка на Бермамутъ; высота его — 8.400 футовъ надъ уровнемъ моря; съ вершины открывается чудный видъ на Эльбурсъ, отъ подножія до макушки. Но, во-первыхъ, Бермамутъ въ сорока пяти верстахъ и тамъ надо переночевать, а во-вторыхъ, хотя солнце и показалось, но Эльбурсъ можетъ быть закрытъ облаками. Довольствуюсь тѣмъ, что ближе. Извозчикъ спрашиваетъ два рубля за объѣздъ достопримѣчательностей. Въ общемъ это составитъ верстъ десять. Увѣряетъ, что беретъ дешево потому, что кончается сезонъ.

Извозчикъ совсѣмъ молодецъ на видъ, здоровый, загорѣлый, такъ что люблю даже смотрѣть, особенно послѣ курсовой публики.

— Ты, братъ, вѣрно, по недру воды изъ Нарзана каждый день днешъ спрашиваю.

Смѣется. Говоритъ, что разъ только попробовалъ, потому — «противъ настоящей воды гадко», и прибавляетъ не безъ самодовольства — «намъ въ этомъ нѣтъ надобности».

Чувствую всю справедливость его словъ. Онъ кисловодскій, сынъ казака. Когда проѣзжаемъ слободой мимо его чистенькаго домика, весело выглядывающаго изъ сада, онъ говоритъ съ гордостью:

— Отъ здѣсь я хазяю. Это моя жонка, а это дѣти.

Во дворѣ молодая женщина и двое мальчугановъ лѣтъ пяти-шести перетаскиваютъ сѣрые пучки конопли. Жена улыбается ему, дѣти бѣгутъ къ воротамъ. Онъ грозитъ кнутомъ.

На меня вѣсть чѣмъ-то хорошимъ, здоровымъ, свѣтлымъ. Справлюсь насчетъ заработка. Говоритъ — «нѣтъ, нѣтъ, годъ плохой». Это «плохо» — триста рублей за два мѣсяца чистаго дохода, триста рублей, заработанныхъ имъ и этой парой неважныхъ лошадокъ. «Ниче», прибавляетъ, «нѣтъ настоящихъ господъ». Спрашиваю, что онъ понимаетъ подъ «настоящими» господами. — А вотъ ежели дама съ кавалеромъ какимъ или офицеромъ въ проѣздку отправляются и тамъ гдѣ-нибудь заночуютъ или въ лѣсъ зайдутъ, такъ потомъ, смотришь, десять рублей на чай и дадутъ. — Да за что же? — Ну, извѣстно... Оглядывается и довольно хитро и пошло улыбается.

Водяная «цивилизация» начинаетъ развѣдать деревню.

Обыкновенно на всѣхъ группахъ бываетъ тысячъ восемь-десять человекъ. Къ этому времени сюда стекается столько же разнаго люда, ищущаго наживы, извозчиковъ, прислуги, дачниковъ, славящихся отъ себя комнаты, содержателей ресторановъ и шашлычныхъ. Три мѣсяца эта толпа ловитъ каждый удобный случай разжиться на счетъ прѣзжихъ. Сезонъ кончается, всѣ разлетаются, жизнь замираетъ.

Бдемъ узкимъ ущельемъ. Сѣрые отлѣсныя невысокія скалы сплошной стѣной тѣснятся вдоль него. Шумная рѣченка несетъ по дну, образуя небольшой водопадъ. Въ глубинѣ ущелья, надъ каменнымъ обрывомъ, выступаетъ сѣрая глыба.

Это и есть Лермонтовская скала. Извозчикъ поясняетъ: здѣсь Лермонтовъ проживалъ.

Кто его знаетъ, «проживалъ» или не проживалъ, только ничего интереснаго нѣтъ.

Подъ скалой плетенный шалашъ. Изъ него выходитъ баба съ самоваромъ. Извозчикъ киваетъ ей отрицательно головой и замѣчаетъ:

— Здѣсь господа чай пьютъ. Дамы суды тоже ѣздютъ съ офицерами въ два-три часа ночи...

Выбираемся изъ скучнаго ущелья, выѣзжаемъ на голую гору, спускаемся въ другое ущелье. Бдемъ долго. Скалы и скалы; по дну журчитъ ручеекъ. На высокомъ зеленомъ холмѣ, окруженномъ скалами, показывается «замокъ». Это дѣйствительно причудливая игра природы. Большая скала, будто выросшая на островѣ, очень похожа на замокъ. Даже что-то вроде двухъ башенъ возвышается надъ ней. На нихъ развѣваются жиденькіе флажки. Внизу бѣжитъ веселый ручеекъ. Сколько тайнъ водяныхъ барынекъ, сколько глупо-антиконтентальныхъ исторій могъ бы поразсказать онъ! Можетъ-быть, объ этомъ и шепчется онъ теперь съ кустарникомъ, облѣпившимъ скалу...

У подножія ея — балаганъ съ флагомъ и палатка. Подлѣ балагана на столбѣ вывѣска; бѣлая буква на черномъ фонѣ. Вывѣска гласитъ: «Здѣсь замокъ любви и коварства. При замкѣ находится

чайный буфетъ. При семъ можно получить *туземскія* закуски и живую фарель. Содержатель Кокшвиля.

Название замка объясняютъ различно. Одна версія такова: во время покоренія Кавказа какой-то бей или горскій князь былъ окруженъ здѣсь русскими войсками. Долго онъ не сдавался, можетъ-быть потому, что съ нимъ была молодая, прекрасная жена. Она часто глядѣла сверху внизъ, на осаждавшихъ, и увидала однажды тамъ красиваго русскаго офицера. Между тѣмъ на «замкѣ» настала голодъ. Бей не сдавался. Онъ предлагалъ броситься со скалы внизъ тормашками и предложить женѣ поддержать компанію. Она согласилась. Только, говоритъ, бросайся сначала ты, а то мнѣ первая страшно. Бей-то, не будъ дуракъ, и бросился. А она, не будъ дура, сейчасъ же и сошла внизъ, къ русскому офицеру. Другая версія, извозчика, гораздо проще:

— Здѣсь, — говоритъ онъ, — когда-то три офицера стрѣлялись изъ-за барынь на этомъ самомъ замкѣ, потому замкомъ коварства и прозвали.

И онъ не безъ резона высказываетъ сожалѣніе, что вѣсто офицеровъ не застрѣлились дамы: «потому дама — что: одинъ пухъ. Вона сколько ихъ каждое лѣто налетаетъ; а офицеръ — все же человѣкъ и Царю служить...»

Всѣ эти «доисторическія» настолько удовлетворяютъ меня, что я отказываюсь заглянуть въ «долгую очарованія».

На обратномъ пути встрѣчаю кавалькады курсовыхъ и экипажи. Должно-быть, ѣдутъ заниматься коварствомъ, любовью и «туземскими» закусками, при благосклонномъ содѣйствіи господина Кокшвиля.

Предо мной вдали вырастаетъ Бештау, заслоняя Манукъ и Пятигорскъ. Отсюда онъ очень похожъ не то на сѣрую баранью шапку съ остроконечной верхушкой, не то на форму для бланжее.

У Нарзана продолжается водопадъ.

Теперь барышень появилось больше. Казаки въ черкесахъ, съ перетянутыми въ рюмочку талиями, упираются за ними. Въ глубинѣ аллей группы и парочки, военные, просто лѣтатскіе, монтаньяры и пушьяры. Надъ площадкой, на фонѣ зелени вырисовывается крыша и фронтонъ кургауза, похожего корабля на помѣщичій домъ средней руки. Подъ нимъ гротъ. Подлѣ, въ тѣни, три зеленыхъ століка. Больные винтятъ. Отъ этого ужъ, кажется, и Нарзанъ не выльчитъ. У многихъ видъ совсѣмъ не болѣзненный, а скорѣе томпно-меланхолическій, сообразованный съ обстановкой. Углубляясь въ паркъ. Сквозь узорчатая кружева зелени, выдвигается ярко-синее небо. Аллеи змѣются во всѣхъ направленіяхъ, пересѣкая Ольховку, горный ручей, черезъ который перенесены мостики. Тихо. Только эхо парка вторитъ шумному ручью. По складчатымъ, по извилистымъ тропинкамъ сбѣгаютъ дачницы съ «легкостью» и граціей газели. Обѣдаю въ казенномъ ресторанѣ. Обѣдъ изъ четырехъ блюдъ —

рубль; приготовленъ плохо. Рюмка обыкновеннаго кахетинскаго вина — двугривенный. Такихъ рюмокъ въ бутылкѣ наберется десять, а пѣна такой бутылки — полтинникъ. Справляюсь въ буфетѣ о причинѣ такой высокой таксы. Буфетчикъ «по секрету», немного смущенно, немного таинственно, сообщаетъ мнѣ, будто эта пѣна назначена для того, чтобъ и больные, и публичные «не очень пили». Не углубляясь въ дальнѣйшія дипломатическія тонкости водяной политики, ѣду на вокзалъ.

На платформѣ двѣ пожилыхъ дамы и барышня; онѣ въ глубокомъ траурѣ. Видъ у нихъ утомленный, скорбный и будто ошеломленный. Онѣ откуда-то издалека. У нихъ много багажу, который онѣ спѣшатъ слать. Судя по багажу, люди совсѣмъ небогатые: большой потертый чемоданъ въ заплаткахъ, старые сундуки, связки съ постелью, плетеное кресло на колесахъ, тоже старое и съ поломанными прутьями. Но это кресло, на которое всѣ онѣ то и дѣло поглядываютъ, представляетъ для нихъ что-то необыкновенно дорогое. Пожилая сѣдая дама проситъ артельщика почти умоляющимъ голосомъ помѣстить его въ вагонъ осторожно, чтобъ оно какъ-нибудь не сломалось. Кто на этомъ креслѣ исчезъ для нихъ навсегда? Отецъ, сынъ, братъ? Давно ли онѣ пріѣхали сюда и жадно глотали цѣлебную воду Нарзана, а три любящихъ женщины съ надеждой и молитвой въ душѣ глядѣли на него? Но Нарзанъ обманулъ, какъ обманываетъ и жизнь. — Ахъ, это старое, старое, потертое кресло, сколько оно говоритъ...

Поѣздъ, изгибаясь, весело бѣжитъ въ Ессентуки.

ГЛАВА XXI.

Докторскій разговоръ. — Ессентуки — Пятигорскъ. — Призраки прошлаго. — Кавказъ и Лермонтовъ. — Видъ Пятигорска. — Памятникъ. — Пятигорскіе «курсовые». — Большая Россія. — Вокругъ Манука. — Лермонтовскій гротъ. — Тамбовскіе помѣщики превзошли курскихъ. — Проваль. — Мѣсто дуэли. — Обратный путь.

Въ вагонѣ разговоръ на злобу дня, новый каптажъ Нарзана. Мои сосѣди — два доктора, одинъ статскій, другой военный. Первый — молодой человѣкъ новой формации, съ золотымъ *pince-nez*, приподнятымъ носомъ, открытымъ, лысыющимъ уже лбомъ и самоуверенно-проницательнымъ выраженіемъ, тѣмъ выраженіемъ, которое гипнотизируетъ больныхъ, особенно въ хорошей пріемной и при профессорскіи-пророческомъ тонѣ, внушая вѣру въ непогрѣшимость. Второй, военный, старичекъ, но еще крѣпкій, маленький, съ узкими, но живыми глазами и простовато-дѣтскимъ выраженіемъ на кругломъ лицѣ съ подстриженной сѣдой бородкой и усами. Онъ говоритъ прямодушно, почти съ наивною откровенностью; искренній тонъ его подкупаетъ, и ему можно было бы вѣрить, если бы изрѣдка во взглядѣ его, особенно когда онъ отворачивается, не проблѣкала какая-то смѣющаяся искорка. Кажется, будто и тонъ этотъ,

и некоторые скачки у него умышленны, именно для того, чтобы пощупать своего молодого коллегу. Молодой слишком уверен в себе и не замечает этого; в речи его слышится некоторое снисхождение к человеку «другого поколения», поотставшему уже от науки. Однако, несмотря на это, старичек два-три раза ловит его ошибки и поправляет, но мягко, замечая: «виновать, вы, кажется, хотели сказать»...

Во взгляде его опять пробегает смущающаяся искорка.

— А знаете, — заявляет он вдруг, — я вот двадцать лет живу здесь, а не вбрю в водичку.

— То-есть как же это? Молодой поправляет prince-nez как бы для того, чтобы лучше рассмотреть собеседника.

Старичек смеется.

— Да так просто — не вбрю, и конец. Режим, климат, отдых — да, это другое дело. Поистрепали себя нервы — ну, и укажишь от жены, занятий, переутомления, лечишься солнцем, воздухом, ведите здоровую жизнь — вон, как наши казаки или солдаты, попробуй поработать как они, весь день на открытом воздухе — и, право, такой аппетит, такой обильный вестив, такое обновление организма получится, что и богатырского Нарзана не надо. А то доведут себя до полного истощения, да потом приедаются сюда и начинают жлокать эту водичку. А хочешь водичку — и дома можно. Современная химия приготовит вам великолепный Нарзан, да еще до последнего каптажа.

Молодой опять поправляет prince-nez и приподнимает брови.

— Но позвольте-ся!

Завязывается спор на медицинскую тему с аллопато-гомеопатическими вариациями.

В окнах разворачивается бурая холмистая степь, на которой вырастают, то приближаясь, то убегая от поезда, Бештау с мфоловой вершиной, оригинальная масса Верблюда, похожая на горб, Зибинная гора с ее расползающимися вниз, будто змьи, волнистыми ребрами, и Машук, вздымающийся гигантским холмом. Горы не жмутся, а выступают отдельно, красиво вырисовываясь своими контурами над степью. У подножия Машука льются по склону, бѣлые домами, Пятигорск. Издали что-то очень напоминает Везувий и Неаполь.

Ессентуки в полумерси от вокзала. Парк раскинулся у окраины казачьей станицы в неглубокой котловине. Вдоль осматривать станицу. Извозчик — старый казак — старообрядец, в бараньей шапке и лиловом с бѣлыми полосками архауке. Мазанки и веселые бѣлые домики утопают в зелени садов; тѣ же черешни, вишни, подсолнечники да стройная цветущая мальва в палисадниках. Станица — копия скатеринославской или херсонской деревни, с тѣм же малороссійским отпечатком лѣни, идиллии и покоя.

Ессентукская группа выглядит уютнее и симпатичнее кисловодской. Мѣстоположение открыто, парк не слишком жмет и не заслоняет перспективы, больше освѣщен. В лошине, под

уступом, бѣлое одноэтажное здание кургауза с мавританской колоннадой; предъ ним широкая площадка с цветниками, дальше вдоль всего парка раскинуты живописные павильоны, бесѣдки над источниками, kiosки с «бюветами». Всѣх источников двадцать. Надъ каждым затѣйливый kiosk то в русском стилѣ, то в видѣ желѣзной ажурной клѣтки, то китайской башенки. Особенно изящны источники № 17, у самого курзала, и № 18, с гротомъ и воздушной бесѣдкой надъ ним. Ванны, ресторанъ и гостиница — у воротъ; в глубинѣ парка выступает большой корпусъ Компанейской гостиницы. Въ общемъ — и красивые цветники с выхолощенными газонами, и павильоны, разбросанные вдоль парка, очень напоминаютъ сельско-хозяйственную выставку.

Надъ источниками № 18, в глубинѣ — тоже какая-то гостиница, а недалеко — бесѣдка и чайная. Стаканъ чаю, недурного и очень опрятно поданного, — что-то пять или семь копѣекъ. Завѣдуетъ чайной какая-то старушка, нѣмка или чухонка. Но что хорошо, такъ это хоръ Кубанскаго казачьяго полка. Трубаки в тѣх же черныхъ шапочкахъ, черескахъ и при кинжалахъ. Между ними есть и мальчуганы. Капельмейстеръ, нѣмецъ или чехъ, сумѣлъ однако выработать изъ нихъ прекрасныхъ музыкантовъ. Игра чистая, изящная, съ художественной отдѣлкой даже такихъ вещей, какъ «Евгений Онегинъ», «Нибелунги» и «Вильгельмъ Тель». Одинъ изъ казачковъ артистически исполняетъ соло на пиколу въ концертной полкѣ Рудольфи, вызвавъ аплодисменты.

Публики мало. Она попроче, чѣмъ в Кисловодскѣ. Многіе уже разѣхались. Сезонъ близится къ концу.

Надвигаются сумерки.

Внизу, подъ бесѣдкой, гдѣ играетъ музыка, влажные волны воздуха вздымаются съ только-что политыхъ цветниковъ. Паркъ, выросшій зеленой стѣной противъ цветника и кургауза, будто дремлетъ, убаюканный сладкой музыкой.

Спусти полчасъ въѣжаю въ Пятигорскъ. Темно. Огоньки загадочно горятъ въ пыльной дымкѣ. Слѣва изъ тѣмъ надвигается на городъ тучей черная масса Машука.

Лучшая гостиница — казенная «Минеральные воды», подъ самымъ Машукомъ. Но тамъ всѣ номера заняты.

Въ другихъ — тоже.

Въѣжаю въ номера Туликова. Комнатка во второмъ этажѣ, съ балкономъ на улицу — рубль съ четвертакомъ.

«Проклятые армяне изъ Кизляра», несомнѣнно, почувствуютъ здѣсь очень часто.

Выхожу на балконъ.

Черная, совсѣмъ черная и душная ночь окутываетъ городъ. Черезъ улицу въ какомъ-то садикѣ играетъ военная музыка. Сначала раздается маршъ «Птичка», потомъ какой-то минорный, меланхолическій вальсъ. Грустные, за душу хватающие звуки распыляются въ знойномъ воздухѣ, то нарастая, то замирая. Въ этой мглѣ, въ горячихъ порывахъ вѣтерка я чувствую чѣ-то дыханье, такое же

таинственное, какъ тѣни, скользящія по тротуарамъ. Атмосфера, полная чего-то загадочнаго, ощущение какой-то неуловимой связи прошлаго и настоящаго, другой жизни, исчезнувшей, но оставившей послѣ себя что-то, что чувствуется, но не понимается, что-то не постижимое, какъ тайна бытія,—охватываетъ все существо.

Образъ Лермонтова выступаетъ во всемъ своемъ неотразимомъ обаяніи. Онъ носится тутъ, въ этой мглѣ, полной шопота и дыхания жизни. И за нимъ выплываетъ хороводъ другихъ образовъ, созданныхъ имъ и вылитыхъ здѣсь въ безсмертныя формы. Демонъ, Тамара, Мишри, Исмаиль-бей, Зоримъ и Ада, Печоринъ, Бѣла, Максимъ Максимычъ, Вѣра, Грушницкій, княжна Мэри—вся эта вереница призраковъ, одухотворенныхъ имъ, кажется особенно яркой здѣсь, на фонѣ могучей кавказской природы. «Поэтъ брать цвѣты у радуги, лучи у солнца, блескъ у молніи, грохотъ у грома, гулъ у вѣтровъ, вся природа сама несла и подавала поэту матеріалъ», говорить о немъ Бѣлинскій, называя Кавказъ его поэтической родиной.

Никогда, какъ теперь и какъ здѣсь, я не чувствовалъ всю правду этой красиво выраженной мысли, не создавалъ, что природа никогда не имѣла другого такого же могучаго и гениальнаго художника, который чудной властью слова выразить бы такъ ея вѣчную красоту, ея тайную силу и прелесть, ея душу. Только здѣсь, среди этой природы, полной фантазіи и творческаго величія, можно понять всю творческую ширь лермонтовскаго гения. Здѣсь и сѣбѣжныя вершины, и облака, и ручейки, и горы—будто подсказываютъ, будто шепчутъ лермонтовскіе стихи. Вы чувствуете, что эти стихи, эти образы, навѣянные его поэзіей въ дѣтствѣ и юности, теперь пробуждаются въ васъ съ особенной силой потому именно, что они роятся въ окружающей васъ природѣ. Чтобы понять всю творческую мощь Лермонтова, надо выдать Кавказъ; чтобы понять красоты Кавказа, надо знать Лермонтова. Въ его гениальной натурѣ была какая-то таинственная связь съ этой дивной природой; онъ самъ съ пророческимъ ясновидѣніемъ говорилъ:

Отъ юныхъ лѣтъ къ тебѣ мечты мои
Прикованы судьбою неизбѣжно;
На сѣверѣ, въ странѣ тебѣ чужой,
Я сержусь твой, всегда и всюду твой...

Я вижу его здѣсь десятилѣтнимъ мальчикомъ съ душою гения, уже окрыленной смутными, но великими мечтами,—душою, которой «звукъ» небесъ замѣнить не могли скучныя пѣсни земли. Я вижу его юношей, уже томящимся пошлостью жизни и пытающимся сорвать съ себя ея пѣны... Сколько въ этомъ томленіи перечувствовалъ онъ здѣсь, брода, можетъ-быть, въ такую же ночь по этимъ улицамъ, въ разладѣ съ собой, въ глубокой тоскѣ отъ сознанія своего одиночества въ толпѣ другихъ людей... И какія сомнѣнья онъ долженъ былъ переживать здѣсь же накануне роковой встрѣчи? Вся почти его жизнь была впереди, жизнь гения, жизнь, которая не принадлежала ему, а его родинѣ... И вдругъ такой ужасный конецъ, такое дикое убійство.

Есть въ этомъ что-то такое леденящее и жестокое, съ чѣмъ мы никогда не сможемъ примириться, что всегда будетъ наполнять сердце негодованіемъ и проклятьемъ. Душа вопіетъ отъ сознанія, что гдѣ-то въ окружающемъ мракѣ человѣческаго гонимъ была обграна кровью гения. И этотъ мракъ кажется еще страшнѣй. Онъ давитъ душу. Хочется крикнуть и отъ нестерпимой боли, и отъ ужаса предъ человѣческимъ зломъ. Грустные, стонущіе звуки вальса, то стихающіе и умирающіе, то выплывающіе изъ мглы родемъ минорныхъ нотокъ, говорятъ о чемъ-то утраченномъ и невозвратномъ, вливая въ душу щемящую, томительную до слезъ тоску...

26-е августа.

Если стать лицомъ къ сѣверу и къ Машуку, то слѣва отъ него выступитъ Бештау, а справа—Горячая гора, невысокій отрогъ Машука, проросшій къ нему. Пятигорскъ раскинулся по склону Машука и Горячей горы, сползая къ долинѣ, по которой змѣится Подкумокъ. Въ ущельѣ между Машукомъ и Горячей горой помѣщается пятигорская группа. Вдоль хорошенкаго бульвара, врывающагося клиномъ въ ущелье, и надъ нимъ, на отвѣсныхъ бокахъ Машука и Горячей горы, сосредоточены почти всѣ бальнеологическія заведенія. Въ углу красная галлерея Елизаветинскаго источника, Товиенское ванное зданіе, ниже Николаевское и Ермоловское, Николаевскій «вокзалъ». Подлѣ бульвара Николаевскій скверъ и городской. Надъ послѣднимъ возвышается каменная стѣна. На ней, рядомъ съ новымъ соборомъ, похонимъ на храмъ Спасителя, Лермонтовскій скверъ и памятникъ поэту.

Лермонтовъ сидитъ на скалѣ облокотившись, спиной къ Машуку и лицомъ къ Кавказскому хребту съ бѣлѣющимъ на югѣ Эльбурсомъ. Пова хороша и естественна, сходство есть. Но какая-то массивность чѣлаго и угловатость линий нарушаютъ художественную гармонию. Голова слишкомъ ужъ велика и лицо слишкомъ ужъ неподвижно. Нѣтъ ни въ этомъ лицѣ, ни въ тяжелой фигурѣ жизни; формы не одухотворены. Спасибо, впрочемъ, и за это. Не столько русскому обществу и русской литературѣ, сколько пятигорцамъ: они, главнымъ образомъ, поставили ему этотъ памятникъ. Совѣстно признаться, но на открытіи его почти не было представителей не только русской поэзіи, но и русской печати вообще. Еще одна жестокая обида русскому гению.

Памятникъ со скверомъ обошелся что-то свыше пятидесяти тысячъ рублей. Скверъ, какъ ни малъ онъ, и теперь уже имѣетъ запущенный видъ. Клумбы безъ цвѣтовъ поросли высохшимъ бурьяномъ. Недалеко отъ памятника бесѣдка въ видѣ каменнаго гота. На ней, какъ говорится, мѣста живого нѣтъ: весь камень изрѣзанъ инициалами, датами и разными надписями.

Подъ террасой, на которой стоитъ памятникъ, въ городскомъ скверѣ, взлетаетъ высокая струя фонтана. Она можетъ достигать пятнадцати сажень. Пятигорскъ обзавелся водопроводомъ. Это уже отражается на его благоустройствѣ. Горюль растетъ и строится. Въ

немъ считаютъ тысячу пятнадцать жителей. Во время сезона население увеличивается еще на нѣсколько тысячъ—и Пятигорскъ тогда переживаетъ что-то вроде нижегородской лихорадки и погони за наживой. У бульвара и городского сквера выстроили рядъ балагановъ ярмарочнаго типа. Здѣсь опять разныя канкавскія вещи и кустарныя издѣлія. На бульварѣ—длинная линия витринъ фотографовъ и столики съ фотографіями; это все виды минеральныхъ группъ и Кавказа.

Курсовая публика въ Пятигорскѣ имѣетъ нѣсколько ную физономію, тѣмъ въ Кисловодскѣ или Ессентукахъ. Въ Кисловодскѣ видныя симптомы болѣзни большей частью какъ-то скрадываются: не разберешь сразу, боленъ ли человекъ или онъ блажитъ и мнительничаетъ. У иныхъ видъ такой молодцеватый, что лучшей рекламы Нарзану и не надо. Въ Ессентукахъ другое: туда стекаются страдающіе желудочнымъ несвареніемъ, болѣзнями печени, желчными камнями и разными катаррами. Народъ все раздражительный, сердитый, желчный. Кажется, ни въ одной группѣ не бываетъ такъ много недоноленныхъ, какъ тамъ. Въ Желѣзноводскѣ преобладаютъ нервно-больные, малокровные, неврасценники и истерички. Въ Пятигорскѣ другое: здѣсь преимущественно больные подтверждаютъ всю справедливость поговорки: если бѣ молодость знала, если бѣ старость могла; позднимъ раскаяньемъ и строгимъ режимомъ они пытаются искупить ошибки и грѣшки юности. Здѣсь же и другая категория больныхъ, «дѣтей этихъ отцовъ», разныхъ золотушныхъ, рахитиковъ и паралитиковъ.

Публики на бульварѣ немного. Преобладаютъ военные. У нѣкоторыхъ видъ угнетенный. Кое-кто опирается на костыли, кое-кто на палочки. Къ ваннамъ провозятъ въ креслахъ двухъ разбитыхъ парализованныхъ стариковъ, у которыхъ голова пошатывается, какъ у китайскихъ куколъ, и юношу съ мутнымъ взглядомъ и восковымъ лицомъ; прислуга, должно-быть—гостиничная, со скупающимъ видомъ подталкиваетъ кресла.

Вспоминается Лурдъ. Въ душу невольно закрадывается чувство страха при мысли о больной Россіи. Восемь тысячъ больныхъ, стекающихся сюда ежегодно, нѣдъ это капля всей больной Россіи, это десятая часть, а можетъ-быть и меньшая, только одной немощной интеллигенціи, да и то такой, которая имѣла средства пріѣхать сюда. А сколько чахнетъ, искореняетъ свою жизнь, и умираетъ дома, а сколько больныхъ, вырождающихся и жакново-гниющихъ среди городского пролетариата... А сколько ихъ въ деревнѣ, куда тоже начинаетъ проникать ядъ разложения?..

У зданія Николаевскихъ ваннъ стоятъ двѣ тройки съ наборной упряжью.

На тротуарѣ, у садика, остановилось пять-шесть гуляющихъ. Изъ зданія ваннъ выходитъ плотный, плечистый, средняго роста бронецъ въ форменномъ сюртукѣ и фуражкѣ. Это министръ земледѣлія А. С. Ермоловъ. За нимъ идетъ правительственный комиссаръ д-ръ Бертенсонъ и директоръ одного изъ департаментовъ министерства.

Они входятъ въ садикъ. Любопытные приближаются. Рѣчь идетъ о постройкѣ новаго зданія ваннъ. Докторъ Бертенсонъ говоритъ о предполагаемой длинѣ его. А. С. Ермоловъ замѣчаетъ, что площадь мала. Докторъ Бертенсонъ измѣряетъ ее шагами. Оказывается, что мала. А. С. Ермоловъ предлагаетъ построить фасадъ въ другомъ направленіи и затѣмъ самъ измѣряетъ пространство. Все это онъ дѣлаетъ спокойно, покуривая, просто и по-хозяйски. На умномъ и симпатичномъ лицѣ въ эту минуту написанъ живой интересъ хорошаго хозяина къ своему дѣлу, которое онъ старается поставить по-лучше, выикнуть въ самую суть его. Вокругъ—никакой суеты, никакой помпы и накрахмаленности, ни одного городского, который бы «честью говорилъ съ публикой».

Бду на Машукъ. Всю гору кольцомъ огорабаетъ дорога. По крутому подъему възбужаю къ Елизаветинской галлерей. Подлѣ нея, на Машукѣ, Лермонтовскій гротъ. Узкая дорожка змѣйкой ползетъ къ нему. Съ площади открывается чудный видъ. Въ ущельѣ, между зданіями группы, разстилается зеленый коверъ бульвара, дальне по склону спускается къ Подкумку въ бахромѣ садовъ Пятигорскъ. Къ югу, за Подкумкомъ, выступаетъ Жукая гора, у подножія которой версты на двѣ растянулись бѣлыя палатки лагеря и корпуса казармъ. Надъ Жукой горой синѣетъ холмистая гряда Кавказскаго хребта. Но Эльбурса не видать. Онъ слился съ облаками.

Гротъ высѣченъ въ скалѣ и похожъ на келью, въ которыхъ спасались схимники. Здѣсь тоже и стѣны, и косяки, и арка испещрены надписями. Нѣтъ, кажется, вершка, который не былъ бы исцарапанъ или переначканъ карандашомъ. Въ одну изъ стѣнъ въдѣлана доска сѣраго мрамора вышиной почти въ сажень и шириной аршина въ полтора. На ней крупными золотыми буквами начертаны стихи и слѣдующая надпись:

«Сія доска сооружена Тамбовской губерніи Козловскаго уѣзда помѣщикомъ Ильей Васильевичемъ Алексѣевымъ 20 іюля 1870 года.

Стихи таковы, что если бы бѣдный Лермонтовъ могъ воскреснуть, то онъ умеръ бы отъ нихъ вторично.

Записываю первый попавшійся куплетъ, сохраняя орфографію:

«Но кровь родная не забыла
Поэта брата своего,
И у Монарха испросила
Вѣнчикъ отсюда прахъ его».

И такихъ «стиховъ» болѣе ста строкъ на цѣломъ сажнѣ мрамора! Спасибо, конечно, за добрая чувства и желаніе почтить здѣсь память великаго поэта. Но все-таки врядъ ли можно было придумать болѣе жестокуя иронию, какъ эти напыщенные и безграмотные стихи, высѣченные на мраморѣ въ Лермонтовскій гротѣ. А говорятъ еще, будто только курсіе помѣщики хорошо пишутъ! Съ 20 іюля 1870 года славу ихъ несомнѣнно затмили тамбовскіе.

Тутъ же, на мраморѣ, нацарапана, должно-быть перочиннымъ ножикомъ, такая эниграма:

„Илья, помѣщикъ изъ Тамбова,
Стихами мраморъ изрубилъ,
Какъ жаль! Въ нихъ смысла нѣтъ ни слова.
Себя и грѣхъ онъ погубилъ“.

Подписано: А. Самаринъ. (?)

Грибоѣдовъ говоритъ въ одномъ изъ своихъ писемъ: „Людское самолюбіе любить бумажъ и стѣны“. Про людскую глупость онъ умалчиваетъ; должно-быть, она въ счетъ не идетъ.

Надъ гротомъ, въ Эмануэлевскомъ паркѣ, виситъ воздушная бесѣдка—„Золота арфа“, а лѣвѣе изъ зелени выступаетъ другая граціозная бесѣдка.

Вдоль аллеи, обрамляющей дорогу, выѣзжаю къ Провалу. Онъ на противоположной Пятигорскую сторонѣ Машука, съ сѣвера. Въ отвѣсной каменной стѣнѣ высѣчена дверь. Темный туннель ведетъ въ куполообразную высокую пещеру съ отверстіемъ вверхъ. Слѣва отъ входа, подъ сводомъ, источникъ стѣнной воды, справа—горячій воды. Температура—+32 градуса. Горячій источникъ называется „глазнымъ“; его водой промываютъ глаза. Потолокъ пещеры, надъ которымъ растетъ лѣсъ, постепенно обрушивается, отверстіе увеличивается. Въ него виденъ клочекъ синяго неба. Воздухъ спертый, удушливый.

Подлѣ Провала надъ обрывомъ построены рестораны. Преду мной необозримая панорама. Весь склонъ Машука задралированъ лѣсомъ и скалами. Подъ нимъ глубокая холмистая долина. На днѣ ея, изрѣзанномъ рѣченкой, пестрѣетъ станція Горичеводская и тѣмешкая колонія Николаевская, а дальше виднѣется маленькій вокзалъ станціи Каррасъ. Надъ этой пропастью, вдоль необятнаго горизонта, возвышаются опять Змѣева гора, Верблюды, Желѣзная и Бештау.

Дальше дорога все время извивается лѣсомъ, изрѣдка только выѣзжая на поляну.

Вотъ и площадка, гдѣ разыгралась эта ужасная драма... Она на склонѣ Машука, надъ пропастью, которая раздѣляетъ его и Бештау. Къ югу видна долина съ Подкумкомъ, казармами и лагеремъ, лѣвѣе—Пятигорскъ.

На лужайкѣ поставленъ небольшой бѣлый, изъ простого камня, обелискъ, высотой аршина въ полтора—два. Недалеко—другой, очерченный отъ времени, камень вросъ въ землю.

Трава на лужайкѣ совсѣмъ истоптана. Все-таки „народная гропа“ не зарастаетъ. На камнѣ высѣчена аляповатыми буквами фамилія поэта. И опять надписи!

Одна изъ его же стихотворенья „На смерть Пушкина“:

Убить! Къ чему теперь рыданья,
Похвалъ и слезъ ненужный хоръ
И жалкій лепетъ состраданья?
Судьбы свершился приговоръ.

Другая:

„О, дорогой поэтъ! Какъ глубоко мнѣ заронилъ ты въ душу зерно любви къ тебѣ и ненависти къ...“ Слѣдуетъ многогочинѣ.

Третья:

„Очень жаль, что камень пачкаютъ своими надписями! И самъ же скорбящій пачкаетъ его!“

Біографъ поэта говоритъ, что онъ не относился къ дуэли серьезно и предполагалъ выстрѣлить въ воздухъ. Мартыновъ долго цѣлся, вызывая даже со стороны секундантовъ протестъ, рѣдкій въ практикѣ дуэлей. Ему вынуждены были крикнуть: „стрѣляйте, или мы васъ разведемъ“.

У одного изъ біографовъ вырывается такая полная претензіи на безапелляционность и непогрѣшимость фраза: „очень правы тѣ, которые говорятъ, что если не Мартыновъ, такъ другой сыгралъ бы роль палача по отношенію къ Лермонтову“. Почему это? Въдѣ Лермонтовъ въ томъ же стихотвореніи „На смерть Пушкина“ такъ пророчески и ясно опредѣлилъ и свой взглядъ на тѣхъ, кто подымаетъ руку на *народноіе іеніе*, и на ихъ отношеніе къ нему.

Его убилъ хладнокровно
Навелъ ударъ... Спасенія нѣтъ!
Пустое сердце бьется ровно,
Въ рукѣ не дрогнетъ пистолетъ...
... Не могъ поднять онъ нашей славы,
Не могъ понять въ тотъ мигъ кровавый,
На что онъ руку подымалъ!

Лермонтовъ, можетъ-быть, именно объ этомъ думалъ въ послѣднюю минуту, собираясь выстрѣлить въ воздухъ: онъ не могъ допустить, что его хотятъ убить. Предъ нимъ стоялъ обыкновенный армейскій офицеръ, фатъ и фанфаронъ; а въ его личности былъ воплощенъ недостижимый гений русскаго народа. Какъ ни былъ бы строптивъ и неуживчивъ Лермонтовъ, какъ человекъ,—въ немъ было нѣчто, возвышавшее его надъ человекомъ, и это нѣчто толпа должна была „считать“.

Мартыновъ шлится спокойно, смакуя, какъ цѣлятся не въ чело-вѣка даже, а въ мишень...

Ужасно, ужасно это!

Домикъ Лермонтова и такъ и не успѣваю посмотреть. Да и что смотрѣть: онъ, оказывается, совершенно перестроенъ. Въ стѣнку, правда, вѣлана мраморная доска съ надписью, что здѣсь когда-то жилъ поэтъ; но она помѣщена *со двора*; и развѣ одинъ хозяинъ дома, отдавая квартиру, указываетъ на нее нанимателямъ, больше для того, чтобы оправдать высокую цѣну...

Обѣдаю на вокзалѣ. Въ вѣмени отхода поѣзда на Кисловодскъ прибѣгаетъ министръ А. С. Ермоловъ, въ сопровожденіи доктора Бергенсона и директора департамента. Въ пассажирскомъ залѣ все спокойно, никакой суеты. Никто услужливо не бѣгаетъ, не расталкиваетъ толпы, не растворяетъ дверей. А. С. Ермоловъ проходитъ со своими спутниками на платформу. Я жду, что подадутъ спеціальный поѣздъ. Ничего подобнаго. Проходитъ пять—десять минутъ. А. С. Ермоловъ прогуливается по платформѣ, на солнышкѣ, поку-ривая и оживленно бесѣдуя о чемъ-то. Наконецъ подходитъ по-

По расписанию, остановка десять минут. Смотрю нарочно на часы. Думаю, авось хоть поезд отойдет раньше. Пассажиры бьются в вагоны. А. С. Ермолов проходит в общий вагон первого класса. Ни особого вагона, ни особого купе. Въ то же отделение входит и занимает места посторонняя публика. А. С. Ермолов, сидевший у раскрытого окна, пересаживается на противоположную скамейку, уступая место какой-то дам. Первый звонок. Поезд все-таки не уходит. Министр и его спутники оживленно беседуют. В разговор принимают участие и другие пассажиры. Второй звонок. Нѣтъ, и теперь поезд не проявляет никакой экстренности. Третий звонок. Смотрю опять на часы. Поезд простоял ровно десять минут. Все это выходит совсѣм просто и мило.

Мой поезд врывается въ ущелье между Машукомъ и Бештау. Отсюда видна площадка, гдѣ убитъ Лермонтовъ. Бѣлый камень стоитъ такъ одиноко. Огибаемъ подножіе Бештау по живописной Бештаугорской лѣсной дачѣ. Почти непрерывный паркъ тянется до самого Карраса, за нимъ начинается железнодорожскій паркъ и лѣсъ, а надъ нимъ высится, то приближаясь, то удаляясь, Желѣзная гора, у подножія которой, почти исчезая въ лѣсу, едва виднѣется желѣзнодорожская группа; дальше Верблюдъ и Змѣиная гора. Онѣ показываются то съ одной, то съ другой стороны полотна, которое здѣсь изгибается въ разныхъ направленіяхъ; поездъ то тонетъ въ массѣ зелени, то вылетаетъ на холмистую равнину; горы все время бѣгутъ то къ намъ, то отъ насъ, поворачиваются то одной, то другой стороною, словно въ какой-нибудь подвижной панорамѣ.

Отъ Минеральныхъ Водъ до Владикавказа стелется скучная степь, иногда гладкая, чаще волнистая. Оазисами мелькаютъ по ней казакскія станицы. Воздухъ насыщенъ пылью и дымомъ. Душно.

Машукъ, Бештау, Желѣзная и Змѣиная гора еще долго видны. Онѣ вздымаются на равнинѣ, точно передовые сторожа Кавказскаго хребта, бѣгутъ за нами, исчезаютъ, потомъ гдѣ-то на полпути отъ Владикавказа снова догоняютъ насъ. Онѣ кажутся еще такъ близко, что поездъ точно кружится на одномъ мѣстѣ.

Пыльная, горячая мгла скрываетъ ихъ. Ночью я во Владикавказѣ. Завтра дальше, по военно-грузинской дорогѣ.

Глава XXII.

Новый спутникъ. — Военно-грузинская дорога въ пушкинскія времена и теперь. — «Не убожай, голубчикъ мой». — Картины горъ. — Въ Ларсѣ. — Дарьяльское ущелье въ лунную ночь. — Замокъ Тамары. — Тѣни древняго міра. — У подножія Казбека. — Дарьяль днемъ. — Кавказъ и три русскихъ генія. — Коби. — Крестовый перевалъ.

27-е августа.

Входитъ комиссіонеръ, что-то среднее между армяниномъ и евреемъ. Смуглый, съ лицомъ восточнаго типа, въ пиджакѣ, въ-

то ха говорить кха, во изгладѣ услужливость, за которой прячется плутоватость.

Наканунѣ я поручилъ ему прискаты попутчика. Отсюда ежедневно въ опредѣленное время отходятъ огромныя дилижансы, чепуховскія кареты и коляски. Сообщение удобное и, сравнительно, недорогое: за двѣсти верстъ въ 1-мъ классѣ, т.-е. внутри кареты, 18 рублей, во 2-мъ классѣ, въ омнибусѣ, 11 рублей, въ 3-мъ классѣ, на козлахъ кареты или омнибуса, 5 рублей. Въ 1-мъ и 2-мъ классѣ приходится пробѣжать весь путь закупореннымъ и ничего не увидать; отмахать эту дистанцію на козлахъ тоже не представляетъ ничего привлекательнаго. Кромѣ того, и въ каретѣ, и въ дилижансѣ можно попасть или на непріятныхъ компаньоновъ, или на дамское общество, — перспектива тоже невеселая: либо придется сидѣть рядомъ съ какимъ-нибудь антипатичнымъ субъектомъ, либо, при обилии дамъ, чувствовать себя нѣкоторымъ образомъ въ тѣсномъ салонѣ и невольно толкать своихъ визави колѣнками, всю дорогу извиняясь. Но самое непріятное, что и дилижансы, и кареты ѣдутъ день и ночь по расписанию почти желѣзнодорожному, съ короткими остановками для чая и обѣда, тоже въ опредѣленныхъ расписаніемъ время и пунктахъ. Выѣзжая изъ Владикавказа утромъ, карета или омнибусъ на другой день вечеромъ въ Тифлисъ. Это значитъ — проглотить самый живописный уголокъ Кавказа.

Комиссіонеръ заявляетъ вполнѣ рѣшительно, что попутчика не нашелъ, и предлагаетъ мѣсто 1-го класса, въ каретѣ, даже со скидкой: какой-то господинъ, взявшій наканунѣ билетъ, не можетъ выѣхать и продаетъ его. Между тѣмъ въ сосѣднемъ съ моимъ номеромъ я нѣсколько минутъ тому назадъ слыхалъ голосъ этого же самого комиссіонера, но болѣе сдвленный. Онъ тоже предлагалъ моему сосѣду мѣсто въ каретѣ и со скидкой; сосѣдъ отказался. Это наводитъ меня на подозрѣніе. Говорю, что поѣду одинъ въ коляскѣ. Комиссіонеръ удаляется съ разочарованнымъ видомъ, заявивъ, впрочемъ, что все-таки постарается найти мнѣ попутчика. Дю-Фаръ, съ которымъ я рассчитывалъ вмѣстѣ поѣхать въ Тифлисъ, оказывается, еще вчера утромъ выѣхалъ туда.

Стучать. Въ номеръ входитъ незнакомый господинъ, высокій, худощавый, въ сѣромъ костюмѣ, съ сѣрыми волосами и бородакой, съ сѣрыми глазами и сѣрой шляпой въ рукахъ. Такъ и угадывается неэкспансивная и сдержанная натура человѣка, который много перенесъ, перестрадалъ, извѣрился и успокоился, уйдя въ себя. Въ глазахъ блескъ, но тоже какой-то сѣроватый, будто изъ-подъ пепла.

— Извините, — говоритъ онъ спокойнымъ тономъ, — вы, кажется, собираетесь въ Тифлисъ? Я слыхалъ вашъ разговоръ, я сосѣдъ вашъ по номеру... — Да, я собираюсь въ Тифлисъ и тоже слыхалъ вашъ разговоръ. — Вы, кажется, хотите ѣхать въ коляскѣ? — Да, а вы? — Я же тоже.

Пауза, колебанье и взаимное оглядыванье. Въ душѣ у насъ

обоих, должно-быть, копошится общее сомнѣніе: кто его знаетъ, съ какимъ человѣкомъ свяжешься. Рекомендуюсь. Фамилія его Лужановъ. Живетъ онъ въ Кіевѣ, человѣкъ состоятельный, недавно продалъ огромное имѣніе и ѣдетъ на Кавказъ отчасти какъ туристъ, отчасти, чтобъ облюбовать себѣ какой-нибудь живописный уголокъ. Мать и сестра остались въ Θεодосіи.

Проѣхать въ коляскѣ вдвоемъ, оказывается, и дешевле, и удобнѣе, чѣмъ въ каретѣ. Временемъ мы не стѣсняемся, и потому рѣшаемся ѣхать не спѣша и только днемъ.

Пообѣдавъ въ два, отправляемся по Александровскому проспекту къ почтовой станціи. При ней и гостиница, и буфетъ. Во дворѣ—цѣлый ассортиментъ экипажей, начиная кибитками и телѣгами, кончая каретами, кочь-каретами и громоздкими омнибусами. Что-то вродѣ большой каретной мастерской. Одни экипажи закладываютъ, другіе выпрягаютъ. Развѣздъ огромный и безпрерывный; на станціяхъ свыше ста лошадей. Охватываетъ атмосфера эпохи сороковыхъ годовъ. Долетающій издали свистъ паровоза звучитъ какой-то ироніей.

До Тифлиса двѣнадцать перегоновъ. На каждой станціи такіе же вокзалы. Ремонтъ дороги стоитъ ежегодно двѣсти тысячъ. Она раздѣлена на дистанціи съ нѣсколькими инженерами; на всемъ пути разбросаны рабочіе казармы.

Шоссе окончательно устроено въ 1863 году, и только послѣ покоренія Кавказа сообщеніе по немъ стало регулярнымъ. Вдоль всего пути построены сторожевые форты и казачьи пикеты. Но теперь движеніе безопасно. Даже почту не конвоируютъ. Только въ долину Терека ее «на всякій случай» сопровождаютъ нѣсколько казаковъ. У военно-грузинской дороги живутъ осетины, народъ по преимуществу «мирной», да грузины, населяющіе Карталиню и Кахетию, вдоль которыхъ проходитъ вторая половина пути.

Какой-то почтовый чиновникъ, добродушный старичекъ, сообщающій мнѣ эти свѣдѣнія, конечно, не упускаетъ случая прибавить: «посмотрѣли бы вы, что въ прежнее время здѣсь творилось...» И при этомъ, украдкой запуская пальцы въ табакерку, онъ, отвернувшись, набиваетъ носъ табакомъ.

Какъ ни вѣсѣть отъ этой дороги анахронизмъ, но въ сравненіи съ тѣмъ, что было здѣсь полвѣка тому назадъ, она кажется послѣднимъ словомъ прогресса. Тогда почти весь путь приходилось совершать на волахъ; на подъемахъ въ коляски впрягали по десяти паръ воловъ; громоздкіе омнибусы, вродѣ этихъ, нечего было и думать возить; дѣткія коляски—и тѣ иногда превращались въ щепки. Теперь весь путь—гладкое шоссе; не только бугорка на немъ нѣтъ, камешекъ нигдѣ не торчитъ, даже подмечаютъ его, какъ алленъ въ немецкомъ паркѣ. Вотъ какъ Пушкинъ рисуетъ картинку кавказскаго путешествія въ 1829 году: «Дается конной, казачій и пѣхотный, и одна пушка. Почта отправляется два раза въ недѣлю и пріѣзжіе присобираются къ ней: это называется оказіей».

«На сборномъ мѣстѣ соединился весь караванъ, состоявшій изъ пятисотъ человѣкъ или около. Пробили въ барабанъ. Мы тронулись. Впередъ поѣхала пушка, окруженная пѣхотными солдатами. За нею потянулись коляски, брички, кибитки солдатокъ, переѣзжающихъ изъ одной крѣпости въ другую; за ними заскрипѣлъ обозъ двухколесныхъ арбъ. По сторонамъ бѣжали конскіе табуны и стада воловъ. Около нихъ скакали нагайскіе проводники въ буркахъ и съ арканами. Все это сначала мнѣ очень нравилось, но скоро надоѣло. Пушка ѣхала шагомъ, фитиль курился и солдаты раскуривали имъ трубки».

Такую же почти картину рисуетъ Лермонтовъ въ «Герое нашего времени».

Прошло полвѣка—и какъ все это измѣнилось, какимъ далекимъ кажется теперь.

Отходитъ дилижансъ. Онъ переполненъ публикой и картонками. Сверху багажъ. На козлахъ кондукторъ. Онъ въ бѣлой фуражкѣ, бурой черескѣ съ газетками, при шашкѣ, револьверѣ и даже книжкѣ. Видъ бравый, но это такъ себѣ, больше для блеску и для того, чтобъ импонировать публикѣ. Пассажиры—пестрые, типа второго класса. Шестерка лошадей съ форейторомъ уноситъ вскачь омнибусъ. Кондукторъ трубить.

Намъ подають легонькую двухмѣстную коляску, запряженную русскою тройкой. Стоитъ это удовольствіе до Тифлиса тридцать рублей съ копѣйками на двоихъ. Если взять кондуктора, то за это приплачивается особо три рубля; кромѣ того, и ему приходится ять на чай. Въ кондукторѣ собственно надобности намъ нѣтъ. Ямщикъ—татаринъ, въ бараньей шапкѣ. Полъ себя онъ кладетъ тулупъ. Жара страшная.

Передъ нами все небо заложено грядой горъ; и, глядя на нее, невольно задаешь себѣ вопросъ, какъ переберешься сквозь эту неприступную стѣну. Переѣзжаемъ по мосту, перекинутому черезъ kloкоущій Терекъ, на лѣвый берегъ. Кудрявая листва съ зелеными минаретами топлей надъ ней, красныя крыши и купола владикавказскихъ церквей дрожатъ въ раскаленномъ воздухѣ. Изумрудный коверъ долины Терека, бѣлая, пѣнящаяся, какъ водопадъ, рѣка, темнозеленые лѣса по склону горъ, сѣдые гиганты—скалы, утесы и мѣловыя кручи надъ ними, голубыя пропасти и сверкающіе снѣга еще выше, на фонѣ ярко-синяго неба,—все это напоминаетъ тѣ чудные альпійскіе ландшафты, которые на полотнахъ кажутся болѣе вымысломъ, чѣмъ дѣйствительностью. Подозрѣваешь, что художникъ пересолитъ, что краски слишкомъ ярки. И только теперь, глядя на эту дивную панораму, чувствуешь, что фантазія человѣка безсильна преувеличить всю игру красокъ, весь капризъ переливовъ и тоновъ въ ней.

За городомъ останавливаемся у одиноко стоящаго въ виноградныхъ садахъ духана, чтобъ утолить мучительную жажду. На дуканѣ вывѣска съ такой «аллегоріей»:

„Не уйзжай, голубчик мой,
А забзжай повеселится
Вь садекъ мой“.

Видъ у сидѣльцевъ подозрительный. «Садекъ» очень попахиваетъ лопушкой.

Вьѣзжаемъ въ «горныя ворота». Коляска катится мягко по гладкому шоссе, змѣняющемуся по бархатной зелени долины, надъ Терекѣмъ. Владавказа исчезъ. Да и весь міръ какъ будто исчезъ. Мы окунулись съ головой вглубь природы, въ море яркой, свѣжей зелени и горъ. Онѣ обступили насъ со всѣхъ сторонъ, до неба, то надвигаясь, то раздвигаясь своими темно-сѣрыми скалистыми громадами и утесами. Снѣжныхъ вершинъ уже не видно; только Столовая гора наползаетъ своей грозной отвѣсной стѣной, заслоняя небо. Становится прохладно, глубокая, какъ вечернія сумерки, тѣнь падаетъ на долину. А наверху, надъ горами, утесами, скалами и лѣсами стоитъ сіяніе яснаго дня. Воздухъ необыкновенно прозраченъ, и это придаетъ какую-то особенную прелесть и чистоту краскамъ. Дорога изгибается, и съ каждымъ поворотомъ открываются новые ландшафты и пейзажи безъ конца. Что ни уголокъ—то картина, полная чарующихъ красокъ, гармоній, дѣйственной свѣжести и величія природы. И такія картины нагромождены одна надъ другой до самаго неба. Точно великій художникъ хотѣлъ сразу очаровать и ослѣпить всей силой своей фантазіи и творчества. Смотришь на эти голубяя пропасти, на фантастическіе силуэты скалъ и утесовъ, то висящихъ совсѣмъ надъ головой, то выстроившихся тѣснымъ рядомъ съдыхъ великановъ, то прячущихся въ непроходимой чаще лѣса будто въ засаду, смотришь на эти величественныя массы горъ—и не успѣваешь налюбоваться, какъ уже декорация смѣнилась и развернулась новая панорама, съ новымъ сочетаньемъ красокъ и освѣщенія. Лѣса вдругъ становятся темными, вершины горъ сверкаютъ, потомъ онѣ темнѣютъ, а лѣса вдругъ освѣщаются невидимо откуда хлынувшимъ потокомъ лучей.

Природа здѣсь будто щеголяетъ своимъ роскошнымъ нарядомъ. Она дышитъ чѣмъ-то ласкающимъ, иѣжнымъ, полнымъ жизни и любви. Но чѣмъ дальше, тѣмъ больше ущелье суживается, тѣмъ больше наваливаются на него, тѣсняя, громады. Лѣса постепенно исчезаютъ съ вершинъ, сползаютъ все ниже, и наконецъ только легкой каемкой оглаживаютъ дорогу; а надъ ними голыя горы, сѣдые, угрюмыя, сплошныя глыбы камня. Вверху одиноко и безпомощно приросла къ утесу жиденькая сосна и замерла будто въ страхъ предъ пропастью, надъ которой виситъ. Подъ ней плыветъ облако, а рядомъ по отвѣсной стѣнѣ стремительно мчится внизъ бѣлая змѣя горныхъ ручей.

Въ Балтѣ, гдѣ намъ перепрыгаютъ лошадей, мы у подножья Столовой горы. Она всей своей громадой навалилась на пріотивущуюся подъ ней станию и вотъ-вотъ рухнетъ. Смотришь вверхъ, на небо, точно со дня какого-нибудь гигантскаго котла. Шея начинается побаливать.

Чѣмъ ближе къ Ларсу, тѣмъ природа становится суровѣе и сумрачнѣе. Зелени уже совсѣмъ мало. Горы еще больше выросли, еще тѣснѣй обступили насъ. Иногда ущелье суживается до того, что кажется, будто одна сторона горъ срослась съ другой и выхода нѣтъ. Проѣзжаемъ подъ одной полуразрушенной башней, стоящей угрюмо на уступѣ, потомъ подъ другой, минувъ казачій фортъ съ двумя круглыми башнями, напоминающими керосиновые чистерны, и мы у станицы Ларса.

Пьемъ чай. Надъ нами разстлалась лоскутъ неба. Горы подпираютъ его, скрывая величавой неподвижностью смерти. Природа обята глубокимъ и строгимъ покоемъ. Только Терекъ неутомимымъ шумомъ водопада оглашаетъ безмолвный міръ. Здѣсь онъ еще яростнѣй, еще быстрѣй; рѣки нѣтъ, несется сплошная бѣлая пѣна, которая шипитъ, хлопочетъ, лижетъ валуны, приросшіе къ каменистому дну, и мчится дальше.

У станиц артель рабочихъ расположилась вокругъ костра, надъ которымъ виситъ котелъ; все турки и персы, починающие шоссе. Сумерки надвигаются, небо темнѣетъ, тѣни падаютъ на горы таинственнымъ покрываломъ. Костеръ разгорается все ярче, Терекъ реветъ все грознѣй.

Смотритель совѣтуетъ намъ переночевать. Восемь часовъ. До станицы Казбекъ еще пятнадцать верстъ, часа три ѣзды. Въ двухъ верстахъ отъ Ларса начинается Дарьяльское ущелье, самая интересная картина въ панорамахъ горъ. Староста прибавляетъ нѣсколько пугающимъ тономъ, что обыкновенно по ночамъ ѣздить только срочные omnibuses и кареты, «а такъ господа не ѣздить, потому нехорошо». Ямщикъ-татаринъ, запрягающій у подъѣзда лошадей, тоже ворчитъ что-то, кутаясь въ тулупъ и нахлобучивая баранью шапку. Мой спутникъ поглядываетъ вопросительно. Меня искушаетъ посмотреть на Дарьяль при лунномъ освѣщеніи.

Вдѣмъ. Лошади плетутся рысью, потомъ все время шагомъ; начинается подъемъ. Дорога ползетъ надъ пропастью, по дну которой бѣжитъ Терекъ, то по одной, то по другой сторонѣ ущелья. Темнѣетъ. Погружаемся въ какой-то таинственный міръ. Иногда нельзя разобратъ, ни гдѣ мы, ни куда насъ везутъ. Грозные черные силуэты навливаются и срastaются, совсѣмъ заслоняя дорогу. Вѣтеръ свиститъ и воетъ, въ безднѣ ему вторитъ Терекъ. Порой изъ-за утеса, выросшаго вдругъ предъ нами какимъ-то грознымъ призракомъ, выглядываетъ лунъ и соскользнетъ въ пропасть. Она вдругъ синѣетъ; Терекъ несется по ней потокомъ расплавленного серебра. Дорога все суживается, она изгибается лентой по отвѣсной каменной стѣнѣ надъ самой пропастью, она высѣчена въ самой скалѣ. Справа—отвѣсная глыба до самаго неба, слѣва—бездна. Вглядя не можетъ соразмѣрить ея глубины, но инстинктивно чувствуешь ее, чувствуешь какую-то опасность, и сердце испуганно жемется. Кажется—вотъ сейчасъ кони шарахнутся, и полетишь внизъ.

Бываютъ такіе страшные кошмары: снятся бездны и кручи, по

которым карабкаешься, пытаешься удержаться над пропастью; душа объята ужасом пред неминуемой опасностью, что-то роковое и неотвратимое, как судьба, давит сердце.

Такое впечатлѣніе производит и Дарьяль ночью. Вамъ все время кажется, что вы провалились на дно узкой трещины двухверстной глубины и пытаетесь выбраться изъ нея. Хаосъ разрушенія, груды навалившихся глыбъ и громадь, что-то дикое, роковое и грозное, полное мрака, тайны и смерти. Почти двѣ версты луны не видно. Ее заслонили совѣтъ отвѣсныя стѣны ущелья, онѣ нависли надъ дорогой, надъ нами, закрыли небо; а внизу, освѣщенный хлынувшимъ откуда-то фосфорическимъ свѣтомъ, мечется Терекъ. Дорога виситъ надъ нимъ. Кромѣ дороги, негдѣ ступить: бездна и бездна. Небо иногда показывается узкой полоской высоко-высоко вверху. Одинокія звѣзды сверкнутъ надеждой на острой вершукѣ утеса, и спрячутся. Порой, когда выѣзжаемъ изъ полосу свѣта, откуда-нибудь изъ синей пропасти выплываетъ бѣлымъ легкимъ призракомъ облачко и легко, неслышно садятся на скалу. Звонкомъ то звучитъ тревожно, то замираетъ въ меланхолическихъ, дрожащихъ, чуть слышныхъ перебивахъ. Эхо бездны обманчиво переключается съ нимъ.

Проѣзжаемъ «Чортовъ» и Кистинскій мосты, перекинутые черезъ Терекъ и бѣлую рѣчку Девдораки, вырвавшуюся съ Казбека, изъ Девдоракскаго ледника. Все вокругъ кажется заколдованнымъ. Ощущение глубокой, необъятной тайны жизни и прошлаго охватываетъ душу.

Представляется древній міръ и картина переселенія народовъ. Здѣсь, по этому ущелью, плыли непрерывнымъ потокомъ полчища «переселенцевъ» изъ Азии въ Европу. Чего-чего, какихъ племенъ ни видали эти безмолвныя, угрюмыя громады, сколько дикихъ стѣнь изъ прошлаго человечества размыгалось здѣсь. Народы шли этимъ главнымъ путемъ, соединявшимъ двѣ части свѣта, въ поискахъ лучшей жизни, шли непрерывной толпой призраковъ и расплывались въ европейскомъ морѣ; многие оставались здѣсь и селились отдѣльными племенами. На востокѣ Кавказъ называютъ «горами языковъ». Его семьдесятъ нарѣчій—остатки младенческаго лепета народовъ, прошедшихъ по этому пути, по этимъ горамъ, колебеля фантазіи и легендъ. И кто знаетъ, сколько унесли они отсюда чудныхъ легендъ и преданій, ставшихъ основой новаго культа и религии. Эти горы въ грозу, въ блескѣ молніи и при раскатахъ грома, должны были повергать въ мистическій ужасъ младенческой умъ человека; эти вершины, окутанныя облаками, казались ему путемъ къ небу и Богу. Народы проходили, но горы съ ихъ тайной запечатлѣвались въ ихъ душѣ глубоко, рисуя воображенію таинственный міръ другой жизни, полной загадочныхъ, божественныхъ силъ...

Ямщикъ какъ-то съежился и весь ушелъ въ тулупъ и баранью шапку. Слова не выронить, по-русски почти не понимаетъ. Изрѣдка только, когда впереди послышится гулкой топотъ копытъ или

скрипитъ колесъ въ арбѣ, онъ будто просыпается и вдругъ кричитъ не своимъ голосомъ:

— Эй, кабарда, кабарда!

Въ сумракѣ вырастаютъ силуэты всадниковъ въ папехахъ и черескахъ. Это—осетины. Становится какъ-то жутко. Оглядываемся, пока они исчезнутъ. Правда, въ коняхъ Дарьяля, который тянется одиннадцать верстъ,—казачьи шкеты, а въ самомъ ущельѣ некуда повернуть и скрыться. Но что стоитъ ограбить, да и выбросить въ пропасть вѣстѣ съ экипажемъ; доискивайся потомъ на днѣ ея. Ямщикъ и всадникамъ, и бѣдущимъ въ арбѣ кричитъ: камарджебъ. Они отвѣчаютъ ему тѣмъ же. Спрашиваемъ у него объясненія этихъ массонскихъ словъ. Кабарда—значитъ что-то вроде «пади» или сворачивай съ дороги, камарджебъ—здравствуй. — А какъ по-твоему чортъ?—Ешмакъ. Выѣзжаемъ въ полосу свѣта. Татаринъ не то рычитъ, не то глухо смѣется и оглядывается. У самого глаза, какъ у чорта, такъ и сверкаютъ изъ-подъ бакрамы бараньей шапки. — А ты шайтана своего, ешмака, боишься?—спрашиваемъ мой спутникъ.

— Угу, — рычитъ онъ. Шортъ есть тамъ, шайтанъ, большой ешмакъ, тамъ-о... Та-а-а-а, знаешь? Онъ показываетъ кулакомъ вперѣдь.—Надъ пропастью вырастаютъ, отдѣлившись отъ горы, высокій утесъ. Терекъ обгибаетъ его, воя у подножія. На утесѣ—высокая черная башня. Ея силуэтъ таинственно вырисовывается въ лунномъ сіяніи. Это «замокъ» или башня Тамары.

Въ глубокой тѣни Дарьяля,
Гдѣ роется Терекъ во мгло,
Старинная башня стояла,
Черныя на черной скалѣ...

вспоминаются мнѣ лермонтовскіе стихи. И въ голубомъ сумракѣ, въ полномъ фантазіи полетѣ легкихъ тѣней, бѣгущихъ вдоль ущелья, тайна кажется еще глубже и загадочнѣе.

Около одиннадцати мы у подлѣзда станціи, въ глубокой, темной котловинѣ, обложенной громадами горъ. Надъ ними, слына отъ Терека, отражаетъ лучи невидимой луны серебристая вершина Казбека, вся въ лунномъ сіяніи. Кажется, будто луна упала на горы.

Холодно. Вѣтеръ востъ. Двухэтажный фасадъ станціи такъ и манитъ своими огоньками. Мы продрогли.

Ресторанъ внизу. Большой залъ со стойкой и нѣсколькими обѣденными столами, уставленными чѣбтами и горками бутылочекъ съ винами, имѣетъ совѣтъ вокзальный видъ. Есть даже шампанское. Спѣшимъ согрѣться и чаемъ, и ужиномъ.

Гостиница въ верхнемъ этажѣ. Амбразуры оконъ—какъ въ крѣпости; номера не особенно чисты, но есть электрическіе звонки. Зато въ окно виденъ Казбекъ. Мы долго еще не можемъ уснуть. У меня лихорадка. Я потрясенъ величьемъ протесшейся предо мной картины. Что-то невообразимо дикое и невообразимо прекрасное въ этой своей волшебной дикости, какая-то легенда хаоса, тайны и разрушенія.

28-е августа.

Пробудимся рано. Котловина въ сумеркахъ и туманѣ. Но вверху, на небѣ, на облакахъ виситъ залитая сіяніемъ солнца серебряная вершина Казбека. Она совсѣмъ близко, мы у самаго подножія горы, а между тѣмъ, чтобы пробраться къ ледникамъ, надо карабкаться верстъ семь. Цѣлый день уйдетъ на одно восхожденіе. Самая станція Казбекъ—на высотѣ пяти тысячъ футовъ надъ уровнемъ моря. Это значитъ, что всѣ минераловодскія горы, казаншіяся мнѣ гигантами, всѣ эти Машуки и Бештау (3,000 фут.) уже на 2,000 футовъ ниже насъ,—это значитъ, однако, что до вершины Казбека осталось еще одиннадцать съ половиной тысячъ футовъ, т.-е. почти четыре Машука. При станціи есть проводники—татары и горцы. Они живутъ у тропы, по которой начинается восхожденіе, въ земляничкѣ. За подъемъ на ледникъ берутъ по полтора рубля отъ лошади. Подъемъ крутой, опасный и изнурительный. Однако—охотниковъ и любителей сильныхъ ощущеній не мало. Сюда прѣзжаютъ къ вечеру, ночуютъ, а утромъ начинаютъ восхожденіе. И сейчасъ въ сосѣднемъ номерѣ какіе-то два господина, а въ слѣдующемъ дамы, всходяшіе вчера на ледники. Вернулись они, говорятъ, въ полномъ изнеможеніи. На самую вершину Казбека проникли только въ 1868 году три англичанина—Фрешвилль, Токсеръ и Муръ, члены лондонскаго альпійскаго клуба.

Насъ тоже начинатьъ искушать эта экскурсія, но въ концѣ концовъ мы предпочитаемъ сдѣлать другое—взглянуть еще разъ на Дарьяльское ущелье при дневномъ освѣщеніи. Мы оба почти разомъ высказали эту мысль, сознавшись, что чувствуется какая-то непонятая впечатлѣнія.

Спусти полчаса садимся въ коляску. Намъ запрягли одну лошадь, хотя взяли за тройку. Спрашиваемъ объясненія. Говорятъ—все время приходится ѣхать подъ гору. Лошадь, дѣйствительно, бѣжитъ полнымъ аллюромъ. Теперь только намъ становится понятнымъ весь разбѣръ бездны, надъ которой мы пронеслись ночью. Дорога виситъ надъ страшною пропастью. Порой, когда въ низкомъ каменномъ барьерѣ, обрамляющемъ шоссе, мелькнетъ просвѣтъ, устроенный для стока воды, душа невольно замираетъ. Гдѣ-то въ глубинѣ бездны скачетъ рядомъ съ Тереккомъ остинѣ. Отсюда онъ вмѣстѣ съ лошадью едва виденъ и кажется чернымъ полевымъ кузнечикомъ. Надъ этой пропастью висятъ отвѣсныя каменные глыбы, безмолвныя, грозныя, мрачныя, тѣснятыя надъ нами до самаго неба, нависающія такъ близко, что, кажется, стоитъ разставить руки—и можно упереться въ нихъ. Двѣ версты шоссе высѣчено въ самой скалѣ, висящей надъ пропастью; а надъ дорогой, точно потолокъ галлерей, выступаетъ край скалы. Горы—слошная масса камня; онѣ то табачныя, то сѣдныя, то покрыты ржавчиной, то аспидныя съ зеленоватымъ отливомъ. Иногда скалы принимаютъ причудливыя формы, то напоминаютъ глыбы кристалловъ, то похожи на гигантскую колоннаду, вырубленную въ стѣнѣ какими-нибудь исполинами. Вокругъ все безжизненно, мертво; ни деревца, ни травки, ни былинки; все полно

мрачнаго и величаваго покоя смерти. Только Терекъ напоминаетъ своимъ шумомъ о жизни и движеніи, да гдѣ-то на поворотѣ вырывается изъ скалы высокой фонтанъ, обдающій насъ брызгами. Солнечные лучи изрѣдка только прокрадываются въ эту долину смерти и тѣней.

Въ Ларсѣ намъ опять запрягаютъ тройку. Снова начинается подъемъ. Я оглядываюсь. Мы все выше и выше, по шоссе проведено такъ искусно, что подъемъ почти незамѣтенъ. Казармы, мимо которыхъ мы недавно проѣзжали, уже подъ нами; еще нѣсколько поворотовъ—и онѣ уже глубоко внизу, въ пропасти, еле видны.

Я не знаю, бывалъ ли когда-нибудь Густавъ Доре въ Дарьяльскомъ ущельѣ, но оно почему-то будитъ въ воображеніи его «Хаосъ» и «Страшный Судъ».

По бокамъ шоссе, почти отъ самаго Владикавказа, скалы исписаны фамиліями туристовъ и русскихъ художниковъ. Буквы все большія, выведены масляными красками; попадаются имена нашихъ знаменитыхъ пейзажистовъ и маринистовъ, цѣлый почетный списокъ академіи художествъ. Кавказъ вдохновлялъ, давая безконечныя темы и представителямъ живописи, и представителямъ литературы. Творческая мощь природы будто вливалась въ ихъ души творческія силы и смѣлый полетъ фантазіи. Три генія земли русской, Пушкинъ, Лермонтовъ и Грибоѣдовъ, пронеслись по Кавказу, черпая въ его красотахъ и величіи природы свое вдохновеніе. Пушкинъ—мимолетно; но кто знаетъ, какъ глубоко въ его гениальную душу могло запасть даже мимолетное видѣніе этой сказочной природы. Лермонтовъ весь слился съ Кавказомъ и отдался ему; Грибоѣдовъ какъ будто меньше всѣхъ оцѣнилъ его красоты; но онѣ, несомнѣнно, имѣли и на него огромное влияние, вызвавъ въ немъ подъемъ духа; на фонѣ вѣчной красоты и величія природы еще рельефнѣй, еще жалче и ничтожнѣй должны были рисоваться ему герои его великой комедіи, вся пошлая суета и мишура ихъ жизни. Бѣлинскій въ этомъ случаѣ очень мѣтко опредѣлилъ влияние Кавказа на сатирическое настроеніе Грибоѣдова. И странно: въ жизни этихъ трехъ гениевъ есть что-то такое же стихійное, какъ Кавказъ, сильное и роковое, какъ ихъ участь: Лермонтовъ пишетъ свои стихи на смерть Пушкина, пророчески предсказывая себѣ ту же судьбу; Пушкинъ, во время своего путешествія въ Эрзерумъ, встрѣчаетъ гдѣ-то за Тифлисомъ арбу, на которой везутъ изъ Тегерана гробъ съ изуродованнымъ тѣломъ Грибоѣдова, а самъ, нѣсколько лѣтъ спустя, становится жертвой насильственной смерти.

Позже на Кавказѣ побывали и графъ Толстой, начавшій здѣсь свою литературную дѣятельность, и Полонскій, и еще цѣлая группа писателей. Кавказъ—это художественная школа, которая повышаетъ и творческую силу, и полетъ воображенія, и воодушевленіе.

Подлѣ Девдарака на стѣнѣ крупными буквами сдѣлана надпись: «тропа обхода провала, бывшаго въ 1831 году». Выше еще видна узкая тропинка. Ущелье было завалено сползшимъ ледникомъ и обломками скалы. Высота завала достигала пятидесяти саженей,

длина—двух верст. Расчищали его по нескольку летъ, до новаго завала.

Впереди въ коляскѣ ѣдетъ какая-то дама съ дѣтьми. На козлахъ кондукторъ, бравый усачъ-казахъ. Должно-быть, онъ изъ трубачей: выѣсто кондукторской трубы, у него корнетъ. Она играетъ, и играетъ очень хорошо, то «Серенаду» Шуберта, то лермонтовскій романсъ: «Выхожу одинъ я на дорогу». Эхо ущелья прихотливо подхватываетъ грустную пѣсню.

Вблизи Казбека, по крутой, почти отвѣсной тропинкѣ, медленно взбирается на скалу женщина. Она тащитъ на спинѣ мѣшокъ. Не только тащитъ что-нибудь, а и безъ ноши мудроно взобраться надъ такой кручей. Она послѣ каждого шага останавливается, чтобы передохнуть. Ящикъ говоритъ, что это осетинка и что гдѣ-то въ скалахъ, еще выше, есть аулъ. Вотъ на чью долю здѣсь выпало рабство. Жена горца — и раба его, и слуга; она тклетъ коври, выдѣлываетъ для него сукно и полотно, шьетъ череску, папаху и бурку, она и кормитъ его. А онъ въ это время гарцуетъ и джигитуетъ, ломаетъ изъ себя какого-то героя независимости, обрабатываетъ, и очень плохо, клочекъ земли, а больше — лѣнзя и бездѣлничая....

Женщина медленно подымается все выше и выше надъ краемъ пропасти. Страшно смотрѣть.

Опять съѣзжаемъ съ станціи. Рядомъ съ ней выступаетъ аулъ Казбекъ и усадьба генерала Казбека, одностаянн домъ изъ буро-го гранита, окруженный каменной оградой. Подлѣ дома — перковы, такого же цвѣта, какъ и домъ, въ строгомъ древне-грузинскомъ стилѣ. За оградой — духанъ, низкая сакля безъ крыши. Въ немъ распиваетъ пьяная компанія, а у дверей стоитъ горсть осетинъ въ папахѣхъ и тулупахъ.

Вершина Казбека очистилась отъ облаковъ. Они сползли ниже и окружили монастырь «Сминди Самеба» (Успеніа), древній грузинскій храмъ, тоже изъ буро-го гранита. Онъ повисъ высоко надъ пропастью, точно орлиное гнѣздо. Смотришь — и недоумѣваешь, какъ люди пробираются туда. Немного ниже надъ обрывомъ глѣдится аулъ Гергецъ. Въ ущельяхъ вьется дымъ.

Послѣ обѣда ѣдемъ дальше. До станціи Коби семнадцать верстъ. Подъемъ продолжается. Горы, то зеленныя, то табачныя, все раздвигаются. Видъ унылый, лѣсовъ нѣтъ; скалы и скалы безъ конца. Ирѣдка по сторонамъ шоссе показываются угрюмыя аулы и сѣдыя развалины башенъ, прежніе сторожевыя посты, построенныя здѣсь семь вѣковъ тому назадъ. Горизонтъ шире, чѣмъ въ Дарьяль, но облака плывутъ еще ниже, спускаются клочьями ваты и висятъ на скалахъ надъ нами и ниже насъ.

Станція Коби выстроена изъ краснаго гранита. Отсюда до Гулаура шестнадцать верстъ. Подъемъ становится еще круче. Дорога изгибается змѣй по склону горы. Ыдемъ совсѣмъ медленно. Становится все холоднѣй. Я надѣваю зимнее пальто. Руки забнутъ. Ниже насъ, въ ложинахъ, бѣлѣетъ сплошная пелена снѣга. Расте-

тельности никакой, мы въ холодномъ поясѣ, — гдѣ-нибудь въ Архангельской губерніи. Въ одномъ мѣстѣ на шоссе для защиты отъ обваловъ устроенъ тоннель. Выѣзжаемъ на Крестовую гору. Это высшая точка военно-грузинской дороги. На вершинѣ горы каменный столбъ съ надписью: «Крестовый перевалъ. 7694 фута надъ уровнемъ моря».

Оглядываемся...

ГЛАВА XXIII.

«Кавказъ подо мною». — Гулауръ. — Налъ бездной. — Спускаемся по стѣнѣ въ Мзеты. — Волшебный путь. — На днѣ пропасти. — Ночь. — Пассанауръ. — Ночлегъ. — Анапуръ. — Развалины Грузин. — Анапурская крѣпость. — Душетъ. — Михетъ. — Маленькій сюрпризъ. — Подъѣзжаемъ къ Тифлису. — Новый сюрпризъ. — Еще сюрпризъ. — Волевиъ съ азіатскимъ букетомъ.

Мы теперь выше Сень-Бернара, Сень-Готарда и всѣхъ альпійскихъ переваловъ; но мало сказать выше, — болѣе чѣмъ вътрое выше Сень-Бернара и болѣе чѣмъ вдвое выше всего Сень-Готардскаго горнаго узла. Чтобы составить высоту, на которой мы находимся, надо взять два съ половиною Машука или десятка Эйфельскихъ башенъ. И тѣмъ же менѣе мы добрались еще только до половины высоты Казбека (16.500 ф.), и однако намъ надо накинута къ Крестовой горѣ до двѣнадцати тысячъ футовъ, болѣе трехъ верстъ, чтобы получить Эльборусъ (19.000 футовъ).

Горизонтъ безпредѣльный. Къ сѣверу вздымается гряда снѣжныхъ вершинъ; но она видна неясно: ее заслоняютъ гигантскія холмистыя горы, упирающіяся въ ярко-синее небо и разбросанныя у Крестоваго перевала. Это все холмы въ версту — двѣ высоты, выросшіе прихотливо, въ безпорядкѣ, на массѣ Кавказскаго хребта. Къ югу горная цѣпь понижается и расползается, образуя исчезающую вдали бездонную голубую пропасть. Эта пропасть — цвѣтущая Койнаурская долина, по которой проходитъ вторая половина военно-грузинской дороги.

Отсюда нельзя разглядѣть ея и лѣсовъ, раскинувшихся по склонамъ горъ; все сливается въ какое-то голубое туманное море, исчезающее въ голубой безднѣ.

Куда ни оглянешься, вездѣ стремнины, кручи и пропасти съ бѣлѣющимъ въ ложбинахъ и оврагахъ снѣгомъ. Облака перелетаютъ ниже насъ, по скаламъ, съ одного берега пропасти на другой, и садятся на снѣгъ оторванными клочьями ваты. Какая-то сказочная фантазмагорія. Просторъ необъятный. Горизонтъ раздвинулся на сотни верстъ вокругъ; далекая панорама горъ и лѣсовъ кажется какимъ-то маревомъ; пестрые переливы цвѣтовъ придаютъ дали волшебный видъ; не разберешь, что это бѣлѣтъ тамъ, — озеро ли, туманъ ли, снѣжная ли вершина. Насколько въ Дарьяльскомъ ущельѣ душа была подавлена, настолько здѣсь ее захватываетъ духовный подъемъ; насколько Дарьяльское ущелье — мракъ, хаосъ и смерть, настолько здѣсь — свѣтъ, жизнь и свобода. Это величіе и просторъ

наполняют душу таким же простором, она будто окрыляется, какое-то смутное желание подвига, «нечеловчески величественных дѣлъ» овладеваетъ ею. Что-то вдохновляетъ, воодушевляетъ, забываетъ свое личное ничтожество, теряешь ощущение своей материальной оболочки, и человеческая жизнь, которая копошится гдѣ-то тамъ внизу, въ этой безднѣ, кажется такой далекой, чуждой... Хочется глядѣть и любоваться, любоваться безъ конца. Невыразимо хорошо. Мнѣ вспоминаются стихи Пушкина, вдохновленные ему когда-то здѣсь этой дивной картиной:

Кавказъ подо мною. Оди́нъ въ вышнѣй
Стою надъ сѣвѣми у края стремнины.
Орель, съ отдаленной поднявшея вершины,
Паритъ неподвижно со мной наравнѣ...

Внизу, въ этой безднѣ, зрѣть теперь виноградъ и персики, а здѣсь—ярко-зеленый лугъ со свѣжій весенней травой, съ весенними ручейками, выбѣгающими изъ-подъ сѣвѣной коры; тамъ, въ двухъ-трехъ верстахъ подъ нами, августъ Закавказья во всемъ блескѣ южной природы, во всей роскоши его почти тропической растительности, здѣсь—мартъ далекаго сѣвера; тамъ сорокъ градусо́въ жары, здѣсь я въ зимнемъ пальто, да и то вѣтерокъ продуваетъ. А небо все-таки синее, лѣтнее, южное.

Зимой и весной тутъ постоянно бываютъ сѣвѣжные ятели и заносы; иногда сѣвѣжные и каменные завалы прерываютъ сообщеніе на нѣсколько дней; не обходится и безъ несчастныхъ случаевъ.

Несмотря на высоту Крестоваго перевала, шоссе проведено настолько искусно, дорога извивается такой лентой, что подъемъ почти незамѣтенъ, при всей крутизнѣ горы. Это меня все время вводило въ заблужденіе, и я то и дѣло понукалъ ямщика: дорога—хоть шаромъ покати, а кони плетутся шагомъ. Мой спутникъ сдерживалъ меня. — Да вы оглянитесь назадъ... И дѣйствительно — аулы, башни, овраги со снѣгомъ, мимо которыхъ мы сейчасъ проѣзжали, уже были далеко внизу, подъ нами.

Съ Крестоваго перевала начинается наклонъ, дорога скатывается въ Грузію. На Крестовой горѣ, слѣва отъ шоссе, надъ пропастью, стоитъ станція Гудауръ. Рядомъ съ ней казачій постъ и казармы дорожныхъ рабочихъ. Все это лѣпится у самаго края бездны. И какой бездны! Она версты три-четыре ширины, версты десять длины и версты двѣ глубины. Контуры противоположнаго берега сливаются. Со дна этой пропасти поднимается не то островъ, не то отвалившаяся отъ края ея и чуть покинувшаяся глыба; куда ни посмотришь—ея совсѣмъ отвѣсные бока окружаютъ пропасть; а между тѣмъ на плоской вершинѣ этой глыбы, которая все-таки еще далеко внизу, видны сады и аулы.

Мѣловой обрывъ, надъ которымъ стоитъ Гудауръ, почти вертикальный. Подхожу къ самому краю и заглядываю на дно пропасти. Духъ захватываетъ, голова кружится. Совсѣмъ подъ нами, такъ что если прыгнуть, то такъ, кажется, прямо и полетишь туда, не зацепившись, видны на глубинѣ двухъ верстъ аулы и еще какіе-то до-

мики съ красной крышей. Ихъ едва можно разглядѣть. Спрашиваю, что это. Говорятъ—бѣлые домики съ красной крышей—двухъэтажный вокзалъ станціи Млеты, а рядомъ—большіе аулы—Земамлетъ и Квемамлетъ.—Млеты—это слѣдующая станція, куда мы поѣдемъ?—Да. Отъ Гудаура до Млеты пятнадцать верстъ.—Какъ же вы доставите насъ туда? Надо надѣяться, что не «кратчайшимъ путемъ».—А вотъ васъ спустятъ по этой самой стѣнѣ, надъ которой вы стоите... Гляжу—дѣйствительно, по стѣнѣ узкой почти сѣрой лентой зигзагами лѣтится шоссе; оно, кажется, виситъ въ воздухѣ, какъ какой-нибудь брошенный съ парохода трапъ: не видишь, на чемъ оно держится...

— Однако!—говоритъ Лужановъ, опираясь на палку и перегибаясь, чтобы заглянуть въ бездну. Онъ даже шурится.

— Какое тамъ—однако! Просто чортъ знаетъ что такое! Этакую вѣдь штуку выкинула эта неугомонная и смѣлая козявка—человѣкъ!

На станціи скопилось много проѣзжающихъ. Сразу запрягаютъ и омнибусъ, и еще пять-шесть экипажей. Но въ омнибусъ закладываютъ вмѣсто шестерки всего пару, а намъ въ коляску только одну лошадь. Суета; ямщики перекидаются по-русски и по-таарски. И эта полная жизни картина такъ не гармонируетъ съ покоемъ природы, съ пустыннымъ полемъ, окружающимъ станцію. Нигдѣ ни деревца, ни кустика. По двору прогуливается нѣсколько верблюдовъ, Богъ вѣсть откуда и для чего попавшихъ сюда.

Въѣзжаемъ. За нами омнибусъ, потомъ экипажъ съ дамой и кондукторомъ, играющимъ «Серенаду» Шуберта, за тѣмъ коляска съ военными, дальше карета, опять коляска съ какими-то чиновниками, еще карета съ кондукторомъ. Сначала съѣзжаемъ по огибающей холмъ спиралью дорогѣ; за нами вытягиваются гуськомъ другіе экипажи, потомъ они исчезаютъ за выступомъ; но пока они объѣзжаютъ его, мы уже видимъ впереди хвостъ этого «гуська», только выше насъ. Полное недоумѣние. Кажется, будто мы повернули обратно и возвращаемся къ станціи. Наконецъ, объѣхавъ нѣсколько разъ холмъ и покружившись по спирали мимо другихъ экипажей, мы возвращаемся подъ станцію Гудауръ, но ниже ея. Тутъ уже шоссе все время идетъ зигзагами по отвѣсной стѣнѣ. Вверху мы видимъ Гудауръ, а внизу, подъ нами, Млеты. Повороты и зигзаги положительно сбиваютъ; пропасть, надъ которой мы кружимся по лентѣ шоссе, то слѣва отъ насъ, то справа; экипажи, которые были позади насъ, вдругъ очутились какимъ-то образомъ впереди; но это только такъ кажется; поворотъ—и мы впереди нихъ, еще поворотъ—и опять закрывается сомнѣніе, не везутъ ли насъ обратно, новый поворотъ—коляска съ офицерами и дама съ кондукторомъ опять впереди, но на аршинъ выше насъ. Все время мы вертимся по этой отвѣсной стѣнѣ, надъ бездною; но дно ея вырисовывается все яснѣе, верхушка глыбы-горы, торчащей среди трещины—пропасти, уже надъ нами, большое злѣе млетской станціи уже можно разглядѣть. На одномъ изъ поворотовъ шоссе у грота бьетъ высокая струя фонтана, дальше выступаетъ какой-то памятникъ

ники, еще ниже въ гранитную стѣну вѣлана черная доска съ надписью: «Шоссе сооружено княземъ Барятинскимъ 1857—1861 года». Вся эта масса гигантской и удивительно грандіозной работы была выполнена русскими войсками, тѣми самыми скромными, незамѣтными, выносливыми русскими героями-солдатами, которые завоевали этотъ край и гибли здѣсь десятками тысячъ отъ вражескихъ пуль и изнурительныхъ лихорадокъ. Они положили этотъ культурный путь, который, по затраченному на него труду, по замыслу и смѣлости, будетъ всегда на ряду съ другими созданными мировой культуры служить памятникомъ гордой победы и безсмертія духа человека. Я не знаю, можно ли было бы провести шоссе другимъ путемъ и укоротить его; но я знаю, что оно не сравнится по смѣлости и художественности ни съ однимъ «путейскимъ» шедевромъ, что, благодаря этому, путь между Гудауромъ и Млетами не только самый живописный на военно-грузинской дорогѣ, но и самый фантастичный и оригинальный въ мірѣ.

Становится жарко и пыльно. Снимаю пальто. Шоссе все зѣбится зигзагами, экипажи все то будто обгоняютъ насъ, то исчезаютъ, Млеты все показываются то справа, то слѣва, то впереди, то позади. И такъ весь путь, всѣ полчаса часа, которые лошади безостановочно пробѣгаютъ бойкой рысью.

Станція и аулы тонутъ въ зеленой пропасти. Едва прїѣзжаемъ, гляжу вверхъ, загибая голову. Отвѣсная стѣна мѣловой горы съ зигзагами шоссе нагнулась на долину; на вершинѣ ея, у самого неба, едва виднѣется станція Гудауръ. Горы, которая недавно были ниже насъ, теперь опять выросли надъ нами.

На долину уже надвигаются сумерки.

Обыкновенно ѣдутъ съ такимъ расчетомъ, чтобы ночевать въ Млетахъ, такъ какъ здѣсь и станція больше, и ресторанъ лучше. Но на бѣду въ гостиницѣ всѣ номера заняты пассажирами, прїѣхавшими раньше. Въ ресторанѣ вокзальная картинка: торопливый стукъ ножекъ и тарелокъ, сѣпная ѣда, званье къ «человѣку». Смотритель бѣгаетъ съ ошеломленнымъ видомъ начальника узловой станціи, озабоченнаго отправкой нѣсколькихъ срочныхъ поѣздовъ. У крыльца то и дѣло раздаютъ звонки, грохотъ отъѣзжающихъ и прїѣзжающихъ экипажей. А вокругъ дѣвственный лѣсъ, горы до неба и величавый покой природы, уже охваченной вечерней дремотой. Надъ ауломъ разстилается синяя пелена дыма. Пахнетъ кизякомъ.

Ѣдемъ дальше съ тревожнымъ чувствомъ, что и на слѣдующей станціи не найдемъ свободнаго номера. Здѣсь строго соблюдается очередь; и такъ какъ мы были впереди, то намъ и подаются первыми. Однако мы пропускаемъ офицеровъ и чиновниковъ: они ночевать не будутъ вовсе и потому не являются для насъ конкурентами. Кое-кто остается на ночлегъ въ общей пассажирской комнатѣ. Намъ все-таки запрягли только одну лошадь. До Пассанаура восемнадцать верстъ; дорога идетъ все подъ гору. Но здѣсь уже шоссе не изгибается, а сползаетъ ко дну долины почти прямой линіей. Ночь какъ-то сразу окутываетъ и долину, и горы, покрытая

до вершинъ лѣсами. Сначала становится до того темно, что не разглядѣть даже спины ямипка.

— Эй, кабарда!—то и дѣло кричитъ онъ тревожно, слыша звонки или скрипъ арбы.

Гдѣ-то высоко надъ горой небо начинаетъ свѣтлѣть; фосфорическое сіяніе расплывается на немъ все выше, и, наконецъ, надъ черной зубчатой вершиной лѣса выплываетъ мѣсяцъ. Экипажи останавливаются. Лошадь тревожно хрипитъ и фыркаетъ. Чуетъ какого-нибудь звѣря, который прогуливается гдѣ-нибудь вблизи. Насъ обнимаетъ глубокой покой, сковывающій природу. Куда ни оглянешься, всюду дремучій лѣсъ безъ конца. Впереди бѣлѣтъ только узкая полоска шоссе, да надъ нами свѣтитъ узкая полоса неба, которую окаймляютъ вершины горъ. Луна выплываетъ все выше, звѣзды разгораются ярче, вѣсковыя деревья вырастаютъ въ голубомъ сумракѣ, принимая фантастическія формы. Колокольчикъ звенитъ мягко, лѣсное эхо подхватываетъ каждую нотку, будто перекликался съ нимъ, и уноситъ ее; слышно, какъ она замираетъ далеко-далеко въ чащѣ. Гдѣ-то вблизи, около дороги, шумитъ потокъ. Это Арагва. Лѣсъ вторитъ ей, и въ его шопотѣ какъ будто слышатся лермонтовскіе стихи:

Лишь только ночь своимъ покровомъ
Верхи Кавказа обвѣститъ,
Лишь только міръ, волшебнымъ словомъ
Обвороженный, замолчитъ...

Иногда изъ черной массы лѣса или гдѣ-нибудь въ ущельѣ блестятъ привѣтливыя огоньки, робкій, далекий, таинственный, какъ невѣдомая жизнь, зажигающая его. Это, должно-быть, аулы Мохеве, грузинскихъ горцевъ. Огонекъ исчезнетъ—и душу обнимаетъ чувство одиночества въ окружающемъ насъ дѣвственномъ мірѣ, полномъ загадки и тайны.

Около одиннадцати мы въ Пассанаурѣ. Долина еще глубже ушла въ землю, горы еще больше выросли. Станція стоитъ на площадке. Черезъ дорогу низкій духанъ безъ крыши и казармы рабочихъ. Больше никакого жилья вокругъ, ничего, кромѣ стѣны дремучаго лѣса. Надъ нами лоскутокъ неба, который кажется не больше, чѣмъ площадка, расчищенная подъ станцію. Самая полная, самая глубокая тишина и глушь... Листикъ не шевельнется, воздухъ неподвиженъ: ему некуда уйти изъ этого котла.

И здѣсь номера заняты. Кое-кто уже расположился спать въ общей пассажирской. Смотритель говоритъ, что есть одна комната, но уви, эта комната «генеральская», которая специально предназначена для сѣратыхъ генераловъ. А что, если вдругъ да нагрянетъ такой генералъ? Вѣдь онъ—пропалъ! Съ другой стороны—смотритель и содержатель ресторана; а такъ какъ мы собирались было заказать обильный ужинъ, то ему не хочется и выпускать такихъ кліентовъ. Почесавъ затылокъ съ видомъ страшной внутренней борьбы, онъ, наконецъ, приноситъ ключъ и съ рѣшимостью человѣка, бросающагося въ пропасть, отпираетъ генеральскую комнату; въ об-

становкѣ ея, оказывается, ничего генеральскаго нѣтъ, если не считать стараго войлочнаго ковра надъ кроватью, съ очень старыми и продавленными въ нѣсколькихъ мѣстахъ львомъ. Здѣсь на станціяхъ почти всѣ смотрители содержатъ рестораны; и почти всѣ — или грузины, или армяне, которые говорятъ такъ же плохо по-русски, какъ и ямщики. Эти — все татары. Въ «генеральскую» входитъ тотъ, который ѣхалъ съ нами. Рюжа разбояничья, глаза сверкаютъ. Такъ какъ я взялъ на себя обязанности казначея, то даю ему на чай.

— Задній вѣщи ничиво нэ жэлаишь? — спрашивается онъ. Нѣкоторое время пытаемся понять его. Рѣчь идетъ о нашихъ чемоданахъ, привязанныхъ позади экипажа. Вопросъ въ томъ, оставить ли ихъ на ночь на дворѣ, или внести сюда. Въ двора — то собственнорѣчь, лѣсъ со всѣхъ сторонъ; того и гляди какой-нибудь «моховецъ» выползетъ изъ чащи съ кинжаломъ да и отрѣжетъ чемоданы. Ищи его потомъ въ этой Америкѣ. Смотритель увѣряетъ, что у нихъ всегда «все спокойно». Шапилькъ хорошъ, кахетинское тоже. Глаза слипаются отъ усталости.

29-е августа.

Утро. Солнце взошло, но его не видать. Надъ льсомъ, высоко-высоко, сияетъ розовый ореолъ. Въ долинѣ еще темно. Въ духанѣ подъ навѣсомъ пылаетъ и дымитъ огонекъ. Всю ночь какой-то пьяный туземецъ пѣлъ тамъ, и пѣсня, унылая, монотонная, дикая, казалась восемъ собаками. У духана вырисовываются черные силуэты въ черескахъ и папахъ, слышны какія-то чуждыя рѣчи.

Солнце выливается.

Но дрежущій лѣсъ непроницаемъ; онъ застылъ темной массой, сквантой глубокихъ покоемъ. Тишина необитаемой дѣвственной природы. Трудно даже представить себѣ болѣе тихій, уединенный и уютный уголокъ на землѣ.

До Анапура двадцать одна верста; опять у насъ вмѣсто тройки одна лошадь. Долина становится шире, горы раздвигаются, дно долины — изумрудный коверъ, изрѣзанный голубоватой лентой Арагвы, горы въ сплошныхъ лѣсахъ; изрѣдка только на вершинахъ или по окраинамъ дороги выстраиваются грозныя глыбы скалъ, потомъ опять лѣсъ и лѣсъ безъ конца. Во всей этой сказочно-живописной долинѣ почти нигдѣ нѣтъ признаковъ человѣческаго жилья. Только сѣдныя полуразрушенныя башни торчатъ утесами-великанами у опушки лѣса. Вдоль всей военно-грузинской дороги эти башни встречаются каждыя пять-шесть верстъ. Мы уже не спрашиваемъ о нихъ ни у ямщика, ни на станціяхъ, не спрашиваемъ и о тѣхъ развалинахъ, похожихъ на древнѣе замки, которыя иногда выступаютъ изъ ущелій грустными и безмолвными призраками прошлаго. Мы знаемъ уже, что на нашъ вопросъ и отъ ямщика, и отъ смотрителя станціи, и отъ туземцевъ неизбежно послѣдуетъ одинъ и тотъ же отвѣтъ: Тамара. Она построила сторожевыя башни и крѣпости, она построила замокъ въ Дарьяльскомъ ущелѣ. Можно подумать, что за двѣ тысячи лѣтъ существованія Грузіи строились только при Тамарѣ.

— Тамара, знаишь, Тамара, — вылетаютъ у татарина-ямщика горнанные звуки. И больше ничего. Все, вся исторія въ этомъ словѣ. «Интеллигентъ» — грузинъ прибавляетъ только, что Тамара жила въ XII вѣкѣ, что она была очень хорошей царницей и что именно она построила все это.

Природа тутъ совсѣмъ ужъ южная. Насколько до Крестоваго перевала она была угрюмой и суровой, настолько здѣсь она жизнерадостна, ласкова и роскошна. Это — дѣйствительно «счастливый, пышный край земли». Вѣковой лѣсъ представляетъ пеструю смѣсь растительности всѣхъ поясовъ. На вершинахъ — стройная зубчатая стѣна елей, сосенъ и кавказской пихты, ниже — шпалеры бука, граба, липы, ясени, еще ниже — каштаны и кленъ, у дороги — гигантскіе чинары и бахрома крушины, боярышника; все это окутано виноградомъ, кружевными плетя и хмеля, перевязано цѣлой стѣной зеленыхъ веревочекъ smylax'a и разныхъ другихъ вьющихся растений.

А тамъ, въ непроходимыхъ дѣбряхъ — царство оленей, дикихъ козъ, туровъ, кабановъ, медвѣдей и рысей, волковъ и лисицъ, царство нѣсколькихъ сотъ видовъ пернатыхъ, начиная ягнятинками и грифами, кончая фазанами.

Въ Анапурѣ, пока перепрыгаютъ лошадей, идемъ осматривать старинную крѣпость, въ которой въ прошломъ столѣтіи укрывался предпоследній грузинскій царь Ираклій II отъ нашествія турокъ и персовъ. Крѣпость возвышается на холмѣ у опушки лѣса. Древняя полуразрушившаяся стѣна съ бойницами, круглыми башнями по угламъ и четырехугольной въ центрѣ, окружаютъ ее. Внутри маленькая, дряхлая, поросшая мхомъ церковка, сооруженная еще полторы тысячи лѣтъ тому назадъ, въ четвертомъ вѣкѣ, и Успенскій соборъ. Онъ не больше средней деревенской церкви. Стиль строгій, древнегрузинскій: простой, продолговатый четырехугольный корпусъ, съ двумя выступами по бокамъ; въ центрѣ крыши многоугольный куполъ съ конусообразной макушкой. Крыша покрыта какими-то шлифованными плитами, стѣны гранитныя. На нихъ высѣчены кресты и аллегорическія фигуры. Въ соборѣ очень оригинальна каменная гробница князей Эрнстовыхъ. Въ церкви погребены князь Георгій Эрнстовъ. Въсѣтъ глубокой старинной, полнымъ разрушеніемъ и забвеньемъ. Вспоминается прошлое Грузіи, когда-то молодой и цвѣтущей, Грузіи, еще полторы тысячи лѣтъ тому назадъ принявшей христіанство, перенесшей жестокаго нашествія персовъ, борьбу съ турками и монгольскій погромъ, обезсиленной вѣчной враждой, междоусобіями и наконецъ, послѣ двухтысячелѣтняго существованія, отдающейся подъ защиту Россіи. Есть въ исторіи этой страны что-то, напоминающее судьбу способнаго неудачника-скороспѣлки. Была пора, когда Грузія, воспринявъ раньше другихъ народовъ идеи христіанства, гордилась своей культурой, просвѣщеніемъ, имѣла своихъ ученыхъ и поэтовъ еще въ то время, когда половина Европы окутывалась средневѣковой мракомъ, имѣла своихъ героевъ, доказавшихъ жизнеспособность нации и ея могучія духовныя силы. Потомъ вдругъ наступила полоса упадка, и именно тогда, когда борба съ исламомъ,

казалось бы, должна была слотить еще больше нацию. Можно подумать, что въ самой атмосферѣ востока, приведшей къ упадку или застою нѣсколько культурныхъ народовъ, есть какая-то разлагающая сила, парализующая энергію и жизнениность или вызывающая апатию и пресыщение послѣ каждаго напряженія энергіи. И вотъ въ этотъ моментъ національной апатіи и наступаетъ разложение, на которомъ создаются побѣды враговъ, часто даже менѣе приспособленныхъ для борьбы, чѣмъ побѣжденные.

У наружной стѣны крѣпости лѣнится убогій домикъ грузинскаго священника и еще какой-то домъ съ темной верандой, а ниже—цѣлый рядъ разрушенныхъ или пустыхъ лавокъ и заброшенныхъ казармъ. Совсѣмъ какое-то кладбище. Раньше здѣсь стояли войска, и тогда Анапуръ былъ бойкимъ мѣстечкомъ. Солдаты ушли—и жизнь замерла.

Между Анапуромъ и Душетомъ града лѣсистыхъ горъ отодвигается назадъ, ихъ смѣняетъ группа холмистыхъ Душетскихъ горъ, по которымъ шоссе опять извивается лентой, перекинутой съ одной вершины на другую. За нами зеленѣетъ Анапурская долина съ душетскимъ лѣсничествомъ и дремучей арагвской лѣсной дачей. Надъ панорамой лѣсовъ бѣгаютъ снѣжныя вершины Кавказскаго хребта. То и дѣло оглядываешься назадъ: какая-то волшебная сила такъ и манитъ туда, къ этому сказочному міру голубыхъ горъ, синихъ лѣсовъ, таинственныхъ ущелій и чарующихъ картинъ.

И здѣсь, какъ и въ Койшаурской долинѣ, почти не видать селеній. Весь безконечный пейзажъ оживляетъ только изгибающаяся по дорогѣ бѣлой вереницей артиллерія да казачій полкъ, перекочевывающій въ Кутаисъ.

Выѣзжаемъ на гору—и мы у станціи. Съ крылья, увитого виноградомъ со зрѣлыми гроздьями, открывается видъ на Душетъ, маленький городокъ съ изящной церковкой и стройными корпусами казармъ съ розовыми стѣнами и зелеными крышами. За городомъ толка сторожевая высокая башня, конечно—Тамары, а выше опять гора, покрытая лѣсомъ.

Душетъ населенъ грузинами, шшавами и осетинами. Жителей, кромѣ войскъ, двѣ тысячи.

За станціей выступаетъ готическій замокъ съ башенками и зубчатыми стѣнами. Живетъ въ немъ какой-то мѣстный помѣщикъ. Снова съѣзжаемъ въ долину Арагвы, которую мы покинули было подъ Душетомъ, и минуемъ голубое Базалетское озеро. Дальше опять разстилается живописная котловина, обрамленная горами. Справа отъ насъ Карталинія, а слѣва Кахетія. Горизонтъ шире, горы ниже и разбѣгаются далеко по сторонамъ.

Въ Цилканахъ обѣдаемъ. Къ десерту подаютъ инжиръ, персики и виноградъ. Мой спутникъ смотритъ подозрительно и нерѣшительно на фиолетовыя, распухшія винныя ягоды.

За Цилканами по долинѣ тянутся фруктовые сады, виноградники и бахи. Къ намъ то и дѣло выбѣгаютъ оборванные, черныя, какъ цыгане, дѣти грузинъ-карталинцевъ. Въ рукахъ у нихъ корзиночки съ персиками, виноградомъ и грибами.

— Duo абасъ, два абаса,—кричатъ они, пускаясь въ переголку рядомъ съ коляской. Нѣкоторые при этомъ кувкаются и ходятъ колесомъ. Совсѣмъ стая голодныхъ чертенятъ.

За садами—развалины грузинскаго кладбища. Ограда разрушена; вросше въ землю памятники слѣданы въ видѣ гробовъ; они раскрашены то въ синий цвѣтъ, то въ зеленый, то подъ гранитъ.

Полѣзжаемъ къ Михету. Отсюда до Тифлиса еще двадцать верстъ. Шоссе идетъ параллельно закавказской дорогѣ. Здѣсь сразу волшебная панорама военно-грузинской дороги исчезаетъ. Предъ нами—рыжая холмистая степь, бурья горы, мутная Арагва, бѣгущая къ Курѣ подъ отвѣсными желтыми берегами. Такой же бурый и запаленный видъ имѣетъ и Михетъ, расположившійся у рѣки. Надъ нимъ, на обрывѣ—древній монастырь съ копіей анапурской церкви, изъ сѣро-желтаго камня; во Михетѣ—соборъ, построенный въ IV вѣкѣ при св. Нинѣ, просвѣтителѣ Грузин. Въ немъ короновались грузинскіе цари, здѣсь же и ихъ усыпальница. Онъ въ томъ же древне-грузинскомъ стилѣ, какъ и анапурскій, съ тѣмъ же многоугольнымъ куполомъ, съ той же конусообразной макушкой, въ томъ же строгомъ тонѣ и того же сѣробураго фона. Этотъ безжизненный цвѣтъ, мертво-желтый, сливается со степью, съ мертвой степью мертваго грузинскаго царства, навѣвая невольную грусть.

Михетъ до пятого вѣка былъ столицей Грузин; все, что тогда создавало мощь этой страны и властвовало надъ ней, теперь поконитъ прахомъ въ этомъ прахѣ развалинъ, надъ которыми пронеслось полторы тысячи лѣтъ.

На почтовой станціи съ нами случается довольно любопытный инцидентъ. Во Владикавказѣ мы заплатили впередъ полностью за проѣздъ до Тифлиса, причемъ насъ не предупредили, что конечнымъ пунктомъ пути считается станція дилижансовъ, а не гостиница или квартира, гдѣ мы остановились. Подаютъ лошадей. Смотритель любезно справляется:

— Виновать, господа. Вы предполагаете ѣхать до станціи омнибусовъ или прямо въ гостиницу?

Рѣшивъ остановиться въ «Сѣверныхъ номерахъ», что на Головинскомъ проспектѣ, мы спрашиваемъ, далеко ли они отъ почтовой станціи. Говоритъ—близко, всего нѣсколько десятковъ саженъ. Само собой—мы заявляемъ, что ѣдемъ прямо въ гостиницу.

— Тогда я вамъ сейчасъ выдамъ квитанцію. Мы въ недоумѣніи. Нѣсколько минутъ спустя, онъ выноситъ квитанцію и проситъ «доплатить» еще два рубля за доставку *отъ почтовой станціи до гостиницы*, за десятую часть версты, когда за двѣсти верстъ пути заплачено тридцать рублей. Мы, конечно, протестуемъ: не хочется, прѣхивая на станцію, перекладывать весь багажъ на извозника, раснаковываться у самой дѣли, когда гостиница въ нѣсколькихъ шагахъ и до нея отлично можно доѣхать въ томъ же экипажѣ; но не хочется также и платить почтосодержателю *два рубля за доставку отъ станціи до гостиницы, которая въ нѣсколькихъ шагахъ*.

Наконецъ, объ этомъ насъ должны были предупредить еще во Владикавказѣ, а не здѣсь, у самаго Тифлиса. Советуюсь съ Лужановымъ, какъ быть. Я принципиально не могу мириться съ этимъ произволомъ. Онъ говоритъ довольно безразлично: «дѣлайте, какъ хотите». Отъ квитанціи и отъ доставки на квартиру отказываюсь—это во-первыхъ, записываю жалобу—это во-вторыхъ, изливаю въ жалобѣ всю свою скорбь по поводу разныхъ «безобразій»—это в-третьихъ, и, наконецъ, закрываю книгу, исписанную разными подобными жалобами, въ полной увѣренности, что и мою ждетъ участь предшущихъ,—это в-четвертыхъ. Затѣмъ ъдемъ дальше. На душѣ все-таки какъ-то легче отъ сознанія, что хоть словомъ «упекъ».

Пыль и духота нестерпимая. Выѣзжаемъ на гору. Далеко впереди, въ бурой котловинѣ, изрѣзанной мутной Курой, виднѣтъ Тифлисъ. Голыя и тоже бурныя горы обступили его съ двухъ сторонъ. Надъ городомъ носится багровое облако пыли, сквозь которое прорываются лучи заката. Видъ—безжизненный, зелени почти незаметно, каменные кубики домовъ сливаются съ рыжимъ фономъ выжженной степи. Шоссе ползетъ рядомъ съ желѣзной дорогой. Изъ Баку бѣжитъ нефтяной поездъ съ сѣрыми цилиндрическими вагонами-цистернами. Навстрѣчу тянутся безконечной вереницей двухколесныя арбы, скрипя немалыми колесами. Колеса очень высоки и, главное, это—верхъ Азии, вертятся вмѣстѣ съ осью, къ которой прикрѣплены. На арбахъ какіе-то невозможные азіаты, въ какихъ-то чалмахъ, синихъ курткахъ и шароварахъ; лица бронзовые или орѣховыя, черты грубыя и крупныя, глаза черные и огромные, усы и борода—тоже. На нѣкоторыхъ арбахъ видны бабы съ такими же орѣховыми лицами и намотанными на головы бѣлыми тканями. Это грузины, турки, армяне—все, что хотите; и не разберешь. Какой-то калейдоскопъ азіатскихъ типовъ. Ямщикъ то и дѣло кричитъ свое «кабарда», среди мелькающей предъ глазами азіатской галереи, мимо предмѣстья съ маленькими домиками, у которыхъ видны грузинки въ пестрыхъ, живописныхъ костюмахъ, выѣзжаемъ къ центру города. Красивая перспектива Головинскаго проспекта съ громадными домами и бульваромъ сразу обдаетъ насъ европейской атмосферой. Почтовая станція у этого конца проспекта, «Сѣверные номера»—въ противоположномъ. Половина седьмого. Посылаемъ сторожа за извозчикомъ. Багажъ нашъ выгружаютъ во дворѣ. Проходитъ десять минутъ; еще десять минутъ. Ни сторожа, ни извозчика. Наконецъ сторожъ возвращается, заявляя, что извозчиковъ нѣтъ, «потому сегодня воскресенье, и господу всѣ потѣхали въ сады кататься». Это въ центрѣ города съ двухсоттысячнымъ населениемъ. Не вѣрится, невольно подозреваемъ какой-нибудь азіатскій «комплотъ». Выходимъ къ воротамъ. Мимо проѣзжаютъ извозчики; но они либо съ сѣдоками, либо заявляютъ, что заняты. Извозчики важныя, какъ ни въ одномъ городѣ въ мірѣ; фаэтоны чистенькіе и пароконные. Проходитъ полчаса, три чет-

верти, а извозчиковъ все нельзя раздобыть. Лужановъ нервничаетъ, видно, злится. Наконецъ онъ самъ отправляется въ поиски. Проходитъ еще четверть часа. И онъ пропасть. Посылаю опять сторожа, пронизывая его подозрительнымъ взглядомъ. Божится и клянется, что извозчиковъ дѣйствительно нѣтъ, что это всѣмъ извѣстно, всегда здѣсь такъ бываетъ. Я окончательно теряю терпѣніе и уже самъ бѣгу. Уви, и я терплю неудачу. Возвращаюсь и вижу—Лужановъ выѣзжаетъ со станціи; съ нимъ и его маленький чемоданъ. Кричу ему, чтобы сейчасъ же прислалъ за мной извозчика. Утвердительно киваетъ головой. Жду. Полтора часа длится эта исторія! Что-то невѣроятное! Наконецъ сторожъ приводитъ-таки извозчика. Душно, и кажется—въ этомъ раскаленномъ городѣ все такъ же кипитъ, какъ и во мнѣ. Приѣзжаю въ гостиницу. Номерной паренъ—грузинъ, по-русски едва понимаетъ и говоритъ мнѣ «ты». Спрашиваю у швейцара, въ какомъ номерѣ остановился Лужановъ.—Кѣ намъ, говоритъ, такой не заѣзжалъ.—Да какъ не заѣзжалъ? Полчаса тому назадъ сюда приѣхалъ.—Нѣтъ, утверждаетъ, никто не приѣзжалъ.

Вотъ те и па! Новый сюрпризъ. Я взялъ на себя роль «казначея» по его просьбѣ, заплатилъ за дорогу, платилъ за обѣды, ямщикамъ. Въ Тифлисѣ мы должны были расчитаться. Съ него причиталось что-то двадцать пять рублей. Вспоминаю, какъ онъ мнѣ говорилъ безразлично, когда я спрашивалъ его мнѣнія насчетъ того или другого расхода: «пожалуйста, не стѣсняйтесь», вспоминаю, что чемоданчикъ-то у него совсѣмъ легонькій, да и онъ самъ имѣлъ черезчуръ ужъ меланхолическій видъ... Такъ вотъ оно что! Неужели нарвался? Прокатилъ неизвѣстно кого по военно-грузинской дорогѣ, да еще обѣдами угощалъ. «Пожалуйста, не стѣсняйтесь»... Хочется и хохотать, и досада беретъ, что такъ «выпался». Пытаюсь успокоить себя: значить—человѣкъ нуждался, коли рѣшился на это. Но все-таки неприятно чувствовать себя жертвой такой «мистификаціи». Сказалъ бы прямо. Впрочемъ, я какъ будто немножко и радъ. За все время путешествія, это первое мое «приключеніе».

Возвращаюсь въ номеръ и въ темнотѣ натыкаюсь у двери на какой-то громадный сундукъ. Въ такихъ сундукахъ обыкновенно разбойники прячутся. Кричу, зову, звоню. Звонки электрическіе. Является вертлявый грузинъ-номерной. Между нами происходитъ такой діалогъ.—Что это?—спрашиваю я.—Это твой?—спрашиваетъ онъ.—Что твой?—Жиманданъ твой?—Нѣтъ, не мой.—Не твой? А чей?—Откуда мнѣ знать, чей. Убери его отсюда.—Не твой?—удивляется грузинъ и уходитъ. Минуту спустя онъ прибѣгаетъ съ другимъ грузинкомъ, тоже номернымъ. Они вмѣстѣ начинаютъ недоумѣвать, болтаютъ что-то на своемъ непонятномъ языкѣ, потомъ уходятъ. Вдругъ двери растворяются, и какой-то персъ-носильникъ, вродѣ астраханскихъ, вноситъ на плечахъ чемоданъ и, «не говоря ни одного вѣжливаго» слова, «бухаетъ» его рядомъ съ сундукомъ. Я кричу, чтобы онъ убирался, онъ—нуль вниманія. Опять звоню,

выхожу въ корридоръ. На крикъ мой прибѣгаютъ уже цѣлыхъ два швейцара и два грузина. Швейцары русскіе и не могутъ объяснитьсь съ грузинами, грузинъ не можетъ объяснитьсь съ персомъ. Всѣхъ выручаетъ какая-то дама, которая показывается въ дверяхъ и тоже начинастъ кричать раздражительно, что ей багажъ понесли въ чужой номеръ. Я ужъ тутъ окончательно выхожу изъ себя и напускаюсь сразу и на швейцаровъ, и на грузинъ, и на перса.

— Варварры! Азія!

Отвожу душу за чаемъ. Кто-то стучится. Входитъ Лужановъ.

— Слава Богу, что нашелъ васъ. Боялся, что вы ушли. Забѣжалъ разсчитаться и поблагодарить за любезность и компанію.

Мнѣ совѣстно смотрѣть ему въ глаза. Однако, минуту спустя чистосердечно каюсь. Смѣюсь. Спрашиваю, почему онъ не прислалъ за мной извозчика.

— Развѣ онъ не вернулся за вами?—удивляется онъ.—Нѣтъ. Отчего же вы не заѣхали сюда?—Я сказалъ извозчику везти меня въ «Сѣверные номера». Онъ и повезъ. Я вошелъ, занялъ номеръ, потомъ выпилъ чай и, въ полной увѣренности, что я въ «Сѣверныхъ номерахъ», справляюсь насчетъ васъ. Говорятъ—такого у насъ нѣтъ. Оказалось—извозчикъ завезъ меня въ «Дворцовые номера».—А извозчикъ-то русскій?—Настоящій русскій.

Тема для тифлискаго водевилста. Совѣмъ Азія.

Глава XXIV.

Церковь св. Давида. — У могилы Грибоѣдова. — Панорама Тифлиса. — Тринадцать вѣковъ «на смарку». — Видъ европейской части. — Тифлисская тарарабумбѣ. — Азиатскій базаръ и татарскій майданъ. — Восточныя картинки. — Въ мечети. — Караванъ-сарай. — Мушкетѣры. — Уличная жизнь и публика. — «Увеселительные» сады. — Национальная музыка. — О, Армения!

30-е августа.

Сегодня именины безсмертнаго творца «Горе отъ Ума». Съ утра отправляюсь поклониться праху его.

Тифлисъ не даромъ по-грузински называется «Теплой мѣстностью» (Тбилиси), благодаря горячимъ сѣрнымъ источникамъ. Это не только теплое, а прямо раскаленное мѣстечко. Котловина, въ которой онъ раскинулся съ сѣвера къ югу по обѣимъ сторонамъ Куры, окружена каменистыми горами. При тропической жарѣ воздухъ здѣсь накаляется какъ въ чугунномъ котлѣ. Не даромъ туземцы приобрѣли и видѣть, и цвѣтъ заженной дичи.

Съ запада, на каменистой горѣ Мтацминда, выступающей почти надъ центромъ города, лѣжится точно ласточкино гнѣздо въ узкомъ ущельѣ церковь св. Давида.

Пара лошадей еле тащитъ фаязонтъ по тѣсной, кривой, крутой улицѣ, подползающей къ подножію Мтацминды. Отсюда взвизываетъ почти отвѣсная тропинка, по которой приходится карабкаться до самой церкви, бѣляющей вверху на фонѣ угрюмой и голой гранит-

ной скалы. У площадки, опушенной жидкой зеленью акацій, выступаетъ домикъ съ висячимъ балкономъ. Прохожу мимо него къ церкви. Она тоже въ стилѣ анапурскаго собора. Подъ ней въ гранитной стѣнѣ, поддерживающей террасу, темная арка грота съ желѣзной рѣшеткой. По бокамъ ея—лѣстницы, ведущія на террасу. Арка обращена къ Тифлису, и съ площадки, разстилающейся передъ ней до края обрыва, открывается панорама города съ птичьимъ полета.

Въ нишѣ стоятъ рядомъ двѣ кубическихъ гробницы изъ чернаго мрамора. На одной изъ нихъ—скорбная фигура рыдающей женщины, обвившей руками крестъ; у подножія его—двѣ книги. На передней стѣнѣ гробницы—медальонъ съ портретомъ Грибоѣдова. Подъ медальономъ—его фамилія и лаконическая надпись: «родился 1795 года, генваря 4 дня, убитъ въ Тегеранѣ 1829 г. генваря 30 дня». На боковой стѣнѣ: «умъ и дѣла твои безсмертны въ памяти русскій; но для чего тебя пережила любовь моя». Другая гробница попроще, съ гладкимъ чернымъ крестомъ; на ней начертано: «Нина Грибоѣдова. Родилась 4 ноября 1812 года, скончалась 25 іюня 1857 года». И больше ничего. Но эти двѣ могилы рядомъ, скорбная фигура рыдающей женщины и образъ творца Чацкаго и Софьи такъ много говорятъ душѣ... Нина Грибоѣдова потеряла своего друга совсѣмъ молодой, —ей было всего семнадцать лѣтъ; но она до смерти осталась вѣрной его памяти, его идеаламъ. И въ этой вѣрности, въ этой преданности до могилы любящей женщины какъ будто скрывается награда автору «Горе отъ Ума» за всѣ муки сомнѣній, за милліонъ терзаній, которыя онъ самъ переживалъ, изображая пошлый романъ Софьи и страданія Чацкаго, извѣрившись и въ постоянствѣ, и въ прочности женской любви, въ способности женщины возвыситься надъ уровнемъ самки и увлечься духовной красотой человѣка. Нина Грибоѣдова всей своей преданной и самоотверженной любовью точно хотѣла доказать ему, что брошенное имъ зерно не упало на бесплодную почву, что его призывъ къ чистой, осмысленной человѣческой любви и духовному подвигу нашелъ откликъ въ душѣ женщины, что если Софья не могла полюбить Чацкаго и возвыситься до него, то для этого нашлась другая женская душа.

Есть что-то въ этихъ могилахъ навѣшающее тихую грусть при мысли о молодыхъ, разбитыхъ чувствахъ, о грубо и жестоко оборванномъ счастьѣ. Но есть и что-то ужасное, приводящее въ негодованье, когда вспомнишь о судьбѣ русскаго гения, который лежитъ здѣсь. Читаешь и перечитываешь простую, безпощадную фразу: «убить въ Тегеранѣ», и душа не въ силахъ примириться съ ней.

Я думалъ, что сегодня кто-нибудь вспомнитъ его и броситъ на эту печальную могилу хоть горсть цвѣтковъ. Ничего такого. Зато весь гротъ испещренъ фамиліями глупцовъ, которые не шадятъ даже послѣднее его убѣжище. Вотъ ужъ именно—горе отъ ума! И послѣ смерти казнятъ за умъ. Могилы идіотовъ оставляютъ въ покоѣ, могилу гения пачкаютъ. У входа въ церковную ограду вывѣшена дощечка съ просьбой, чтобы «почтеннѣйшая публика» не дѣ-

лала надписей на могилах Грибофдова; мало того, для удовлетворения ея манія увѣковѣчивать свои имена, здѣсь даже заведена особая книга, но и это не помогаетъ.

Праздничный звонъ колоколовъ и гулъ большого города долетаетъ сюда могучими волнами, напоминая о вѣчной суетѣ жизни съ ея неумирными Фамусовыми, Загорѣцкими, блаженствующими Молчалиными, самоуверенными Скалозубами, негодующими и оскорбленными Чацкими. И тѣмъ томительнѣй становится тоска, навѣваемая безмолвнѣею могилою, въ которой покоится прахъ гения, осмѣявшаго мѣткимъ русскимъ умомъ всю пошлость жизни и увѣковѣчившаго типы главныхъ элементовъ, создающихъ комедію этой жизни.

Церковь св. Давида не представляетъ ничего интереснаго въ архитектурномъ отношеніи. Она реставрирована въ семидесятыхъ годахъ почти заново; уцѣлѣли только стѣны старого храма, построеннаго въ IV вѣкѣ, какъ говорятъ одни, въ VI—какъ полагаютъ другіе. Проводникъ, какой-то здоровенный грузинъ въ кофейномъ не то кафтанѣ, не то подрясникѣ, показывая мнѣ просачивающіеся изъ скалы цѣлебный источникъ, потомъ идетъ достать «ключи» (ключи).

Храмъ не великъ и довольно убогъ. Рѣзкій контрастъ съ обстановкой деревенской церкви составляетъ прелестная мозаика на полу. Здѣсь погребенъ одинъ изъ потомковъ династіи Багратидовъ, князь Романъ Ивановичъ Багратионъ, братъ знаменитаго героя двѣнадцатаго года.

Полдень. Раздается пушечный залпъ. Тифлисъ будто дрожитъ въ раскаленномъ воздухѣ. Начинаясь у подножія Мтацминды, онъ сползаетъ своими громадами къ мутной Курѣ и тѣснится вдоль ея обрывистыхъ бурыхъ береговъ на нѣсколько верстъ. Видъ, благодаря отсутствию зелени и бурому фону обнаженныхъ горъ, безжизненъ. Оазисомъ зеленѣютъ сады только на сѣверной и южной окраинахъ; на сѣверѣ городской садъ Муштаидъ и акклиматизаціонный, на югѣ, за развалинами крѣпости, въ ущельѣ, Ботаническій садъ, а дальше, совсѣмъ уже за городомъ, сады Ортачалы, и Дзирсачалы. Въ центрѣ, правда, виднѣется запыленный Александровскій садъ и дворцовый, но они совсѣмъ исчезаютъ въ хаосѣ кирпичныхъ и черепичныхъ крышъ, въ тѣсной толпѣ мертвыхъ каменныхъ громадъ.

Городъ очень большой, много больше и Казани, и Саратова, притомъ страшно скученный. Въ нѣкоторыхъ частяхъ дома сростались въ сплошную массу. Считаютъ, что въ немъ свыше ста тысячъ жителей; считаютъ, конечно, по той «приблизительной» статистикѣ, которой руководились и при опредѣленіи населенія въ волжскихъ городахъ. Надо думать, что здѣсь свыше двухсотъ тысячъ жителей, если не больше. Посмотримъ, что скажетъ перепись.

Параллельно съ Курой вытянулся Головинскій проспектъ, лучшая улица города, съ громадными многоярусными домами и роскошными магазинами. Онъ начинается на сѣверѣ, у станціи военно-

грузинской дороги. На немъ военно-окружный судъ, за которымъ выступаетъ кадетскій корпусъ, великолѣпное зданіе строящагося театра въ мавританскомъ стилѣ, съ башнями и величественной аркой, военно-историческій музей, гимназія, публичная библиотека, дворецъ, новый соборъ въ клѣткѣ лѣсовъ, кавказскій музей, банки, лучшія гостиницы и редакціи газетъ. Южнымъ концомъ онъ упирается въ Дворцовую улицу съ площадью, окруженную громаднымъ зданіемъ думы, множествомъ магазиновъ и гостинными дворами, или, какъ здѣсь ихъ называютъ, караванъ-сараями Сараджіева, Арипуни, Лубалова, Тамашова и другихъ. Это все большіе дома съ пассажирами. Здѣсь шегольская, европейская часть Тифлиса, которую можно перенести въ любой столичный городъ. Зато въ нѣсколькихъ шагахъ за Дворцовой и Пушкинской улицей, на которой въ небольшомъ скверѣ поставленъ поэту миниатюрный памятникъ-фонтанъ, начинается азиатская часть города, азиатскій базаръ и караванъ-сарай; кучи домовъ тѣснятся въ невообразимомъ хаосѣ по обѣимъ сторонамъ Куры, обступаютъ урюжью, высокія стѣны Метехскаго замка, лѣбятъ вокругъ холма съ развалинами крѣпости и загромаздуютъ всю южную окраину города. Ничего, кромѣ навалившихся одинъ на другой кубиковъ съ верандами, висячими балконами, съ низкими крышами, а то и безъ крышъ. Не разберешь, гдѣ начинается одно зданіе и кончается другое.

На лѣвомъ берегу Куры раскинулась другая, почти такая же половина города; нѣсколько мостовъ соединяютъ обѣ части. И тамъ—въ центрѣ торговая часть со множествомъ магазиновъ, къ югу—азиатская часть, къ сѣверу—цѣлая сѣтъ улицъ, Муштаидъ и загородные сады. Желѣзная дорога обигаетъ эту часть города. А за ней по склону горъ, надъ панорамой Тифлиса, разбросаны отдѣльными городками казармы, арсеналы, артиллерійскіе и пороховые склады, бараки, лагеря и далеко на югѣ громадные корпуса военныхъ госпиталей.

Въ общемъ видъ города имѣетъ что-то особенное, своеобразное, придающее ему, несмотря на европейскія зданія, восточный колоритъ. Есть въ немъ и еще что-то, что сразу дѣлаетъ его непохожимъ на другіе русскіе города. Вы чувствуете какой-то недостатокъ во всей картинѣ, но не вдругъ схватываете его. Это—почти полное отсутствіе русскихъ церквей, строгіе сверкающіе купола которыхъ придаютъ всегда жизнерадостный видъ панорамѣ русскаго города. Правда, тамъ и сямъ разбросаны скромныя грузинскія церкви, въ азиатской части виденъ небольшой, построенный въ VII вѣкѣ, Сионскій соборъ, будто забаррикадированный массой окружившихъ его домиковъ, надъ стѣнами Метехскаго замка высится одинъ изъ древнѣйшихъ храмовъ Тифлиса; но все это построено по общему типу безвѣстнаго, строгатаго грузинскаго стиля, изъ сѣро-бурого камня или гранита; колокольни съ темными, гладкими конусообразными куполами почти сливаются съ массой другихъ построекъ. Къ югу, въ азиатской части, виднѣются минареты двухъ мечетей—сунитской и шиитской, но и они не выдѣляются изъ группы зданій.

Тифлисъ основанъ еще въ V вѣкѣ царствовавшей въ то время въ Грузіи персидской династіей Сасанидовъ. И эта котловина, и голыя горы были покрыты тогда лѣсами, но за тринадцать вѣковъ они исчезли, какъ и миллионы жизней, пронесшихся здѣсь толпой враждующихъ призраковъ. Чего-чего, какихъ только ужасовъ человеческой ненависти не выдали эти угрюмыя горы! Каждый вѣкъ тутъ разливался непрерывнымъ кровавымъ потокомъ одно нашествіе за другимъ... До Рождества Христова здѣсь побывали войска Александра Македонскаго, потомъ римляне во главѣ съ Помпеемъ; позже, послѣ основанія города,—персы, армяне, аравитяне, хазары... Кончался одинъ погромъ—начинался другой, являлись сельджукскіе турки, сарацины, египтяне, за ними пронеслось грознымъ ураганомъ нашествіе монголовъ, ихъ смѣняли опять турки и персы, которые совсѣмъ опустошили, и наконецъ въ 1795 году городъ нѣскольکو вѣковъ терзали страну, и наконецъ въ 1795 году городъ, не оставивъ камня на камнѣ, уведя въ плѣнъ двадцать тысячъ жителей и истребивъ почти всѣхъ остальныхъ. Уцѣлѣло всего нѣсколько десятковъ семействъ. И за сто лѣтъ мирнаго существованія Тифлисъ не только возродился изъ пепла, но и разросся какъ никогда, ставъ цвѣтущимъ центромъ богатаго края.

Какой обидно-жестокой ироніей надъ безуміемъ вражды человеческой кажется эта исторія. Одно поколѣніе враждующихъ смѣняло другое, націи и царства проносились и исчезали, оставляя за собой развалины и ненависть; а «геній рода» продолжалъ свое дѣло, сливая жизнь побѣдителей и побѣжденных въ новыхъ существованьяхъ съ тѣмъ же наслѣдственнымъ зародышемъ ненависти и разрушенія. Борьба снова завязывалась въ ней проходили вѣка, и миллионы людей мелькали надъ землей стадомъ ожесточенныхъ животныхъ, не оставивъ почти никакихъ слѣдовъ своей духовной, человеческой жизни, не слившись съ вѣчной жизнью человеческого духа.

Отсюда отправляясь къ Лузанову. Мы рѣшили вмѣстѣ осмотрѣть городъ; магазины на Головинскомъ проспектѣ и Дворцовой улицѣ нарядные, большіе, торговля идетъ бойко. Она вся въ рукахъ армянъ. Они составляютъ половину тифлискаго населенія, другая половина состоитъ изъ грузинъ и русскихъ. Несмотря на культурный видъ, на чистые асфальтовые тротуары, на европейскіе костюмы армянъ-приказчиковъ, восточный букетъ постоянно бьетъ въ нозъ. Прежде всего въ толпѣ преобладаютъ все-таки черкески и кинжалы, слышится чуждая рѣчь; вся масса публики—почти сплошная галерея смуглыхъ кавказскихъ типовъ; глазаща все большіе и пронзительные, черты лица выразительныя, растительность обильная, черная; даже у женщинъ часто верхняя губа отгнѣнена пушкомъ, а иногда и усиками. Блондины съверяне попадаютъ рѣдко, да и то чаще это офицеры или солдаты. Вывѣски—на русскомъ языкѣ, но фамиліи всѣ туземныя и какъ будто располагающія къ чиханью.

— А ну-ка, прочтите эту вывѣску,—то и дѣло останавливаетъ меня мой спутникъ, посмѣиваясь.

Нарочито записываю:

Энфаджиджанъ, Мнацканъ, Читаховъ, Мартиросянцъ, Чарахчидановъ, Нерсесъ Худжанянцъ, Аствацатуридзе, Начепетваридзе, Микертчянцъ, Худаверянцъ, Сузанаджянъ и опять разныя *адзе, адзе, адзе, анцы* и чиритахирхачиданцы. Нескончаемая тарарабумбия.

Говорятъ на вейнбергскомъ жаргонѣ, но все-таки старательно. Народъ умный и энергичный. Въ глубокихъ черныхъ глазахъ не читаешь затененной племенной вражды евреевъ къ русскому «гою», зато увѣренный взглядъ такъ и говоритъ: «мы здѣсь хозяева, мы—побѣдители». Стараются даже проявить нѣкоторую галантерейность, не тикаются и называютъ васъ «мусю». Это такъ здѣсь, въ европейскомъ Тифлисѣ.

Но стоитъ только пройти нѣсколько шаговъ, повернуть за уголъ—и начинается такая Азія, что невольно оторопь беретъ. Неловко вѣшь, какъ это здѣсь, рядомъ съ Европой, бокъ-о-бокъ съ ней, можетъ уживаться такой типичный, грязный, закорюзлый и дикий востокъ.

Прежде всего улицы. Во всей азиатской части ихъ почти нѣтъ; вмѣсто улицъ—темныя зигзаги вродѣ Дарьяльскаго ущелья; не только негдѣ развѣхаться, негдѣ двумъ толстымъ московскимъ купчикамъ разойтись. И эти зигзаги застроены двухъэтажными и трехъэтажными домами восточной архитектуры, съ лавками внизу и высящимися балконами вверхъ. Балконы, съ точеными мавританскими колонками, арками и ажурной кружевной рѣзбой, выступаютъ надъ улицей, бросая на нее тѣнь и заслоняя небо.

Лавки все открыты, съ широкими отверстиями вродѣ пенсінскихъ оконъ, но безъ стеколъ. И чего-чего только тутъ нѣтъ. Прежде всего, конечно, масса оружейныхъ мастерскихъ, лавокъ кавказскихъ серебряныхъ издѣлій и кавказскихъ костюмовъ; повтореніе владикавказскихъ азиатскихъ рядовъ, но en grand. Переулки ружей и кинжаловъ, переулки кавказскаго серебра, переулки театральныхъ кавказскихъ костюмовъ. Работа производится тутъ же, на виду у прохожихъ и покупателей. Въ лабиринтѣ закоулковъ непрерывный металлическій стукъ серебра и желѣза, визженье напильника, жужжанье топы и крикъ носильщиковъ.

Толпа—какой-то невозможный національный калейдоскопъ. Фески, персидскія шапочки, чалмы, бритыя голыя головы, пашахи, бронзовыя лица, иногда совсѣмъ звѣрскія, грубыя черты, дикия взгляды, въ которыхъ сквозитъ варваръ и азіатъ, полная этнографическая коллекція Кавказа и Азіи. Каждая фигура полна своеобразной типичности и оригинальности, въ каждой черточкѣ, въ каждой складкѣ то неподвижнаго, то энергическаго и оживленнаго лица лежитъ тайна чуждой души, созданной магометанскимъ міромъ. Непринужденность полная. Расплахнушіеся халаты выказываютъ орховую, поросшую волосами, грудь и грязное бѣлье; туфли надѣты на босую ногу. У лавокъ на лоткахъ сидятъ торговцы, выставивъ на улицу голыя ноги; и вы должны лавировать, чтобы не задѣть ихъ.

За оружейными рядами идутъ съѣстные, фруктовые и галанте-

реинные, съ курильнями, кухмистерскими, кофейнями и парикмахерскими. И все это ёсть, брестея, пьеть и курить рядомъ съ вами, на улицѣ, у этихъ широкихъ оконъ безъ стекла. Вотъ туземная парикмахерская. Какой-то азіатъ сидитъ на узкомъ диванчикѣ, наклонивъ голову. «Парикмахеръ», не обращая вниманія на остановившихся прохожихъ, невозмутимо-сосредоточенно водить бритвой по синей лвой башкѣ своего клиента; мыло грязной пѣной стекаетъ съ нея на грязную простыню и засаленный халатъ. Рядомъ «кухмистерская». У окна плита. На ней нѣсколько кипящихъ котловъ и горшковъ; сковорода съ пипящимъ шашлыкомъ стоитъ на лоткѣ, на улицѣ.

Паръ и дымъ отъ горящаго масла бьетъ въ ность. Посѣтителитутъ же и обѣдаютъ за грязными столами, бросая обѣдки на мостовую. Подлѣ, во фруктовой, публика ёсть арбузы и виноградъ, усная переулочъ корками и шелухой.

Дальше—восточная курильня. На столикахъ кальяны. Восточные человѣки, то въ фескахъ, то въ бараньихъ шапкахъ, то съ обнаженными бритыми головами, сидятъ на низкихъ турецкихъ диванахъ и, устремивъ въ пространство меланхолично-квѣтической взглядъ, флегматично посасываютъ эмбю кальяна. Желтая вода клокочетъ и булькаетъ въ стеклянномъ резервуарѣ. Рядомъ, на улицѣ же, пекутъ мѣстный хлѣбъ — «саджы», что-то вродѣ большихъ коржей или еврейскихъ «плясковъ». Предъ этой картиной мы невольно останавливаемся. Печи нѣтъ. Въ лавкѣ, у самаго тротуара, глубокая круглая яма, вродѣ колодца; надъ ней выведенъ изъ камня высокій ободъ. Внутри, въ стѣнахъ колодца, устроены углубленія, а на днѣ горятъ уголья; стѣнки раскалены. Одинъ изъ пекарей, голый, съ повязанной грязной тряпкой щекой, рѣжетъ и раскатываетъ руками тѣсто, придавая ему форму кружка; другой, съ головой, покрытой платкомъ и чернымъ отъ грязи передникомъ, беретъ эти лепешки, весъ залазитъ въ колодезь, такъ что только ноги его торчатъ, быстро прилѣпляетъ лепешку къ одному изъ углубленій и такъ же быстро вылазитъ, весъ багровый, съ налитыми кровью глазами и потнымъ лицомъ. Затѣмъ онъ хватаетъ прутъ, къ концу котораго прикрѣпленъ кусокъ мокрой пожелтѣвшей тряпки, мочить ее въ ведро съ водой, снова наклоняется къ колодезю и смазываетъ коржи, которыми облѣплена внутренность печки. Это дѣлается для того, чтобы придать хлѣбу «румяный видъ».

Дальше проносятся каніе-то коржи вродѣ еврейской мацы, появляются воловоты, «тулукхи», верхомъ на ослахъ или мулахъ, съ пузатыми кувшинами или боченками, висящими по бокамъ задумчиво и лѣниво плетущагося животного.

А вотъ и «кинто», персъ-носильщикъ. Синяя блуза, панталоны до щиколки, на ногахъ туфли; шапочка—черная кистрюлька. Онъ тащитъ огромный ящикъ, подъ тяжестью котораго согнулся вдвое. Вся его фигура исчезаетъ за нимъ; кажется, будто ящикъ ходитъ на человѣческихъ ногахъ. Дальше показывается другой «кинто», но уже грузинъ, съ пузатыми кувшинами на плечахъ, за нимъ уголь-

щикъ ведетъ мула, навьюченного черными мѣшками съ углемъ, рядомъ—опять носильщикъ; на спинѣ бурдюкъ, похожій на надутую свиную тушу; потомъ персы въ черныхъ камилавкахъ и халатахъ, увѣшанные персидскими коврами и платками.

Проходимъ къ Курѣ. По высокому холму съ развалинами крѣпости сползаютъ амфитеатромъ къ грязнымъ берегамъ скученныя азіатскія постройки. Дома узкіе, съ плоскими крышами, все въ четыре-пять этажей. Балконы и галереи въ нѣсколько ярусовъ, какъ ложи въ театрѣ; ихъ подпираютъ легкія колонки. Мы въ «татарскомъ майданѣ». Здѣсь все расположены громадные азіатскіе караванъ-сарай и подворья; пестрая толпа востока шумитъ у мрачныхъ воротъ; во дворахъ мулы, верблюды, арбы съ товарами. На грязныхъ тротуарахъ развалилась въ живописныхъ позахъ группа азіатовъ. А подлѣ, въ какой-то лавчонкѣ, туземный артистъ наигрываетъ на какомъ-то диковинномъ инструментѣ. На палкѣ дискъ со струнами; онъ держитъ его какъ виолончель и водитъ смычкомъ; раздаются глухіе, тягучіе звуки, напоминающіе «лиру».

Надъ крутымъ берегомъ рѣки, у моста, возвышается мечеть. Въ памяти встаютъ версатинскія картины съ туркестанскими сюжетами. Сроинный, легкій, круглый минаретъ выложенъ мозаикой изъ желтыхъ и зеленыхъ изразцовыхъ плитокъ. Невысокій куполъ съ золоченымъ полумѣсяцемъ похожъ на половину глобуса; онъ тоже въ клѣткахъ зеленой и желтой мозаики. Внутри фонтанъ и бассейны для омовенія. На стѣнѣ арабскія изреченія изъ корана. У высокихъ раскрытыхъ дверей, подлѣ рѣшетки, вытянулись перенгой туфли. Въ мечети и персы, и татары, и турки совершаютъ свой намазъ. Одни изъ молящихся лежатъ неподвижно, уткнувшись головой въ мозаичный полъ, другіе воздѣваютъ руки и молятся громко. Плескъ фонтана сливается съ гуломъ голосовъ, высокие своды звучно вторятъ имъ.

Отсюда отправляемся на конкѣ въ сѣверную часть города, къ Муштаиду. По кривымъ и узкимъ переулкамъ, среди густой толпы, кое-какъ выбираемся къ центру города. Послѣ толкотни, мрака и смрада азіатской части, опять проносимся по элегантному Головинскому проспекту, минуемъ Александровскій садъ, два моста, перекинутыхъ черезъ Куру, между островами,—и мы въ другой половинѣ Тифлиса. На площади, окруженной высокими домами со множествомъ магазиновъ, возвышается памятникъ князю Воронцову. Отсюда линія трамвая расходится паутиной во всѣхъ направленьяхъ. Вагонъ бѣжитъ по Михайловскому проспекту, обрамленному тѣнистой аллеей. Изъ зелени выступаютъ красивые дома то въ стилѣ ренессанса, то махитанскомъ. Воздушные висячіе балконы съ ажурной рѣзбой украшаютъ изящные фасады. Надъ заборами зеленѣютъ шалеры савовъ. Бѣдемъ долго, конепъ совѣтъ московскій. (Въ Тифлисѣ десять полицейскихъ частей). Подлѣ Муштаида, по бокамъ улицы—небольшіе садики съ ресторанами. Надъ воротами пестрая вывеска. Здѣсь есть и «Стрѣльна», и «Ваза», и «Грузія», и «Бѣлая Лебедь». Это—любимое мѣсто гуляній тифлискихъ бур-

жуевъ и приказчиковъ. Рѣшетка Муштайда замыкаетъ проспектъ. Садъ большой, но растительность неважная; чаще всего попадаетъ акація; вдоль аллеи—арки съ перекинутыми черезъ нихъ мостками. Въ центрѣ—площадка съ павильономъ, раскрашеннымъ на манеръ театральныхъ декораций, ресторанъ, открытая сцена, бесѣдка для музыки, все—какъ въ любомъ губернскомъ городѣ.

Рядомъ съ Муштайдомъ изъ зелени роскошнаго сада выступаютъ зданіе кавказскаго шелководства, очень красивая вилла съ кирпичными стѣнами, выложенными мозаикой изъ глазированнаго кирпича, и огромными окнами. Въ глубинѣ—павильонъ шелководства, изящный, маленький замокъ съ бѣлой стройной мавританской башней. Дальше—еще нѣсколько построекъ для выводки и кормленія шелковичныхъ червей, сущія коконовыя и храненія яичъ.

Подлѣ—акклиматизаціонный садъ и школа садоводства. Зеленые газоны съ темнозеленой бархатной бахромой туи ласкаютъ глаза. Выхоленные деревья и кустарники живописно разбросаны среди клумбъ. Здѣсь—и темные стройные кипарисы, и цвѣтущій рододендронъ, и китайская роза, мимоза и плачущая ива, фиговое дерево и магнолія.

На обратномъ пути заходимъ въ одинъ изъ магазиновъ. Толстый и усталый старикъ-армянинъ торгуется и ссорится съ «тулухчи». Муль съ боченками на спинѣ стоитъ у дверей въ задумчивомъ ожиданіи. Оказывается, что водовозы повысили цѣну на воду. Въ Тифлисѣ есть водопроводъ, но домовладѣльцы неохотно пользуются имъ. Армянинъ объясняетъ намъ, что вода «тулухчи» обходится имъ гораздо дешевле, чѣмъ водопроводная. Вообще въ жизни города замѣтна какая-то безалаберность, въ хозяйствѣ—неустроенность. Угадывается работа гигантскаго городского организма, но онъ еще какъ будто не можетъ отрѣшиться отъ азіатскаго халата и напяливаетъ поверхъ него европейскій костюмъ. Это отчасти объясняется слишкомъ быстрымъ ростомъ, отчасти некультурностью туземцевъ, съ которой приходится считаться. При полумиллионномъ бюджетѣ, Тифлисъ расходуетъ ежегодно свыше милліона на благоустройство. Городъ въ долгу, какъ въ шелку. Поэтому, можетъ-быть, въ его хозяйствѣ такъ много прорѣхъ, которыхъ не скрываютъ даже европейскія заплаты. Впрочемъ, въ общемъ все это не мѣшаетъ Тифлису быть однимъ изъ лучшихъ провинціальныхъ городовъ.

Уличная жизнь придаетъ ему очень оживленный видъ. Вагоны конки переполнены публикой. Чиновники и военные переѣзжаютъ съ армянами и грузинами. Разговоры на армянскомъ и грузинскомъ, но чаще на русскомъ языкѣ. Иногда туземцы даже между собою изыскиваютъ на немъ, хотя и коверкаютъ его отчаянно. Въ публикѣ преобладаютъ мужчины; это объясняется не только сравнительно замкнутой жизнью армянскихъ и грузинскихъ женщинъ, но и тѣмъ, что въ Тифлисѣ женскаго населенія въ пять разъ меньше, чѣмъ мужскаго. Благодаря этому, Тифлисъ—Эльдорадо для незамужнихъ дѣвицъ. Однако, въ послѣднее время грузинки и армянки становятся меньше замкнутыми. Въ нашемъ вагонѣ—компанія грузинъ и грузинокъ въ на-

циональныхъ костюмахъ. Грузины въ оранжевыхъ шелковыхъ рубашкахъ и кофейныхъ «чохахъ», похожихъ на черески. Рубахи опоясаны серебряными кушаками, на которыхъ болтаются кинжалы. Черныя острокопечныя шапки молодёжи закинута на бекрень. Лица красивыя, энергичныя, съ крупными чертами, глаза черные, бархатные, съ поволокой; щеки бритыя, усы—то тонкіе, то широкіе, казакіе. Вообще грузины очень смахиваютъ на малороссовъ, только носы у нихъ подлиннѣй. У грузинокъ какъ-то рѣже скрывается восточный типъ. Черты лица тоже крупныя, выразительныя, но въ черныхъ, иногда миндалевидныхъ глазахъ больше покоя, поволоки и кротости; порой на нихъ налетаетъ какое-то облачко истомы и нѣги. «Тавсакрави», малиновая бархатная повязка, вышитая пестрымъ узоромъ или мишурой, почти скрываетъ лобъ; отъ нея расходятся «лечаки», что-то вроде фаты, эффектно отбѣивающіе смуглое, продолговатое лицо съ прядями выющихся волосъ. Костюмъ нѣсколько театральный, съ длинными вышитыми полосами поверхъ юбки. У старухъ черты лица рѣзкія, строгія, во внѣшности есть что-то напоминающее римскую матрону. Черный головной уборъ похожъ на клобукъ и придаетъ имъ видъ монахинь.

Вечеромъ городъ иллюминированъ. Въ Александровскомъ саду народное гулянье. Главный элементъ публики—солдаты, лускающие сѣмьячки; это, кажется, необходимый аксессуаръ всѣхъ народныхъ гуляній. Въ общемъ—праздничная картинка любого губернскаго города. Мысленно уносимся на сѣверъ, за двѣ-три тысячи верстъ отсюда; и тамъ, и на всемъ необятномъ пространствѣ земли русской зажглись такіе же огоньки, играетъ такая же музыка, гуляетъ шумная толпа, солдаты лускаютъ сѣмьячки...

Отправляюсь опять въ Муштайдъ. Мгла знойной ночи окутала городъ. Съ мостовыхъ еще вздымается горячій воздухъ. Черныя тѣни деревьевъ ползутъ по Михайловскому проспекту, придавая таинственный видъ молчаливымъ фасадамъ домовъ и высичимъ балконамъ. Тамъ и сямъ надъ ажурной рѣзбой бѣлѣтъ загадочнымъ призракомъ женская фигура, по тротуарамъ скользятъ неслышно и исчезаютъ въ воротахъ силуэты женщинъ. Что-то и интригуешь, и дразнить воображеніе.

Въ Муштайдѣ публики немного, да и та уныло слоняется по кругу и въ темныхъ аллеяхъ. Зато въ сосѣднихъ «увеселительныхъ» садахъ гремятъ оркестры, сливаясь въ какофонію. Со всѣхъ сторонъ во мглѣ налетаетъ рой звуковъ. Кажется—всѣ тифлискіе обыватели музицируютъ. Захожу въ «Стрѣльну». На вывѣскѣ объявленъ «лучшій» турійскій оркестръ. Садикъ маленький и узенькій, всего съ одной аллеей; по бокамъ ся два ряда небольшихъ будокъ, вроде купаленъ. Это «отдѣльные кабинеты». По аллеѣ прогуливаются «эти дамы», большей частью еврейки, переодѣтыя грузинками и малороссійянками. Онѣ бросаютъ мѣняющіе взгляды на восточныхъ челоуѣковъ въ халатахъ и черескахъ. Нѣкоторые уже попали въ калканы—купальни. «Лучшій» оркестръ турійцевъ играетъ невозможное. Трубы ревутъ, кларнеты врутъ, барабанъ сердито пытается

заглушить этот диссонанс, но ему никак не удастся его благо-родная попытка. Напротив — другой, таких же разноречивых с такими же «кабинетами», сад «Белая Лебедь». Публика тоже состоит из туземцев. У ворот — балаган. В нем играют туземные музыканты — «сазандеры», в национальных костюмах. Один «дует» на «дудук», какому-то подобии кларнета, другой — на зурну, похожей на трубу, третий водит смычком по пазутой «чонгур», четвертый бьет в «дари» (бубень), пятый аккомпанирует на какой-то продолговатой гитаре, совсем тоненькой, щупленькой, будто в последнем градусе чахотки. Музыка томит и своей какофонией, и унылыми, ноющими звуками. Однако халаты и черески, попивая вино, слушают ее глубокомысленно. В другом саду, «Грузия», под аккомпанимент такой же музыки поет слепой армянин, похожий на «лирика» или «бандуриста». Это — «ашиг», странствующий певец.

Его окружила горсть армян. Есть и сюртуки. Музыка бречит только для формы, так как артист поет «совсем» из другой оперы. Слова армянские; каждый куплет заканчивается плаксивым припевом: О, Армения, о, Армения!

Кое-кто из публики, сидящей за столиками, подтягивается за певцом:

— О, Армения, о Армения.

Из «купальни» доносится женский визг. Четвертый сад называется «Вазой». Освещение тусклое. Пустынно. Гдето вниз, в глубины, над самой Курой, ресторан. Нисколько фонарей освещают площадку. Группа туземцев, очень подозрительных, сидит вокруг стола, уставленного бутылками, и поет. Что поет — один Бог вѣдает. Совсем какой-то кошачий концерт. Я только и успеваю рассмотреть черные пьяные глаза да разинутые рты, и торопливо направляюсь к выходу. Помилуй Бог — что за уголки! Дальше — еще какой-то сад «с отделенными номерами», но я уже не рѣшаюсь больше заглянуть туда. Ночь — темная-претемная; и вся эта мгла полна тайны чуждой жизни, дикой азиатской музыки и дикой тишины.

ГЛАВА XXV.

В Ботаническом саду. — Вид на Тифлисс с вершины Сололаки. — В «храме Славян». Картина Рубо «Плѣнь Шамиля». — Современник гунибской капитуляции. — В кавказском музее — Кавказская фауна. — Фрески «Прибытие Аргонатов в Колхиду». — Этнографический калейдоскоп Кавказа. — Тифлисская интеллигенция и печать. — Тифлисская «анархистка». — Грузинская и армянская печать. — Турецкая баня.

31-е августа.

С утра отправляюсь в Ботанический сад. Экипаж опять едва пробирается по тѣсным переулкам армянского базара сквозь густую азиатскую толпу. Извозчик кричит, грозит, бранится. Гул голосов заглушает его. Обѣждаем по крутой улице вы-

сокий холм Сололаки со скалой, окруженной развалившимися башнями и стѣнами крѣпости. Ботанический сад расположен между этим холмом и западной грялой горь, в узком ущелье, открытом к югу. Уголок совсем глухой. Сад сползает по террасам крѣпостной стѣны до самого подножия голы горы, на котором ютится татарское кладбище.

Тишина полная. Гул города не долетает сюда. Синий купол неба необыкновенно глубок. Жаркий воздух неподвижен. Слышно только журчанье воды, перебѣгающей по арыкам с одной террасы на другую вдоль тѣнистых аллей, изгибающихся по склону холма. Ярко-зеленое кружево листьев точно замерло в воздухе под жгучими лучами южного солнца. На одной из террас, на площадке под тѣплицей, разбиты цвѣтники. Шпалеры тропических растений окружают светло-зеленый ковер газона, будто вышитый букетами роскошных цвѣтов. Темная съ бархатными отливами бахромы тут обрамляет клумбы, еще больше оттеняя яркие краски цвѣтов. Этот газон с чудным цвѣтником, узорчатая фантастическая зелень всѣх переливов, роскошная тропическая растительность и опьяняющий аромат — чаруют. Мне кажется, точно я перенесся в какой-то сказочный, заколдованный мир, в какой-то уголок из «Тысячи и одной ночи». Там, за этим холмом, грязь и суета азиатского базара, дикой хаос жизни, — здесь, в этой тишинѣ, волшебница-природа разлила всѣ чары и нѣгу своей прелести словно бы для того, чтобы дать почувствовать человѣку еще больше власть своей вѣчной красоты и всю ложь, всю мишуру его жизни.

Цвѣты и деревья разных поясов и климатов, разных пород дружно обнялись своими вѣтвями, точно очарованные общей гармонией. Здесь — тисы обыкновенный с мелкими листочками, берсклет японский, фотиния зубчатая, маслина с пенельно-серебристой листвою, магнолия крупноцвѣтная, огромное дерево с листьями фикуса, только помельче, и бѣлые большими цвѣтами съ добрую кофейную чашку; а рядом елочка и сосна; онѣ будто ежатся, смущенные пышным народом своих южных сосѣдок. Дальше — коляда съ темно-зелеными гигантскими бархатными листьями величиной съ дамский зонтик, куст китайской розы съ большими красными цвѣтами, бамбук золотистый, бѣлая пампасная трава съ высокими серебристыми кистями, похожими на камыш, можжевельник и кавказская пихта. Подлѣ — канна индича, та самая канна, которую мы холимъ въ горшках; здесь она въ грунтъ и зимует; высота ея — сажени полторы. Еще дальше — аукуба японская и дивный абиссинский банан. Листья его шириной почти въ аршинъ и длиной въ два аршина.

Над цвѣтником ступени, съ увитой плющомъ балюстрадой и вазами, ведут въ тѣсную аллею. На лѣстницѣ плещет фонтанъ; по бокам — шпалеры темныхъ пирамидальных кипарисовъ; на фонѣ ихъ красиво выдѣляются шелковистые вѣра зонтичныхъ пальмы и грандіозные листья банана, переплетаясь съ кружевной

криптомерией, под которой пушится евлалія пестрая, похожая на полосатую шелковую травку. Тутъ же каштаны, громадный темный кустъ блестящаго мелколистнаго падуба, японская стеркулія съ желтыми или полосатыми листьями, опять тиссъ и вьющійся ломоносъ жгучій, перекинувшійся черезъ трельяжъ и обнявшій нервно съежившуюся лимозу и японскій бересклетъ съ дрожащими колокольчиками. Въ отдѣленіи для опытовъ есть и нѣсколько небольшихъ кустиковъ чайнаго дерева. Въ павильонѣ для сортировки и сушки сѣмянъ—цѣлая лабораторія со стеклянками, трубками и банками, разставленными батареями на столахъ и въ шкафахъ.

На террасѣ, выступающей надъ цвѣтникомъ, чайный буфетъ и напильная. Отсюда къ крѣпостной башнѣ взвивается зигзагами дорожка. Прохожу въ крѣпость и по крутому обрыву взбираюсь на верхушку скалы. За мной, внизу, остался Ботаническій садъ; предо мной, къ сѣверу, начинаясь у крѣпостной стѣны, разворачивается панорама Тифлиса. Вспоминается башня Сумбеки и Казань. Но здѣсь перспектива города не заслопена, какъ въ Казани, холмами,—онъ весь открытъ. Мутная Кура, змѣющаяся между крутыми, тѣсными берегами, пробѣгаетъ посреди города подъ мостами и между островами, обгибая мрачній обрывъ, на которомъ возвышаются угрюмыя зубчатая стѣны Метехскаго замка. Отсюда особенно хорошо видна и старинная церковь, и грозныя башни каземата, и торенный дворъ, по которому мѣрно шагаютъ часовые, виденъ весь азіатскій базаръ и татарскій майданъ съ караваномъ верблюдовъ на площади, видны вдали громады Головинскаго проспекта, къ западу Мташминда съ лѣнящейся на ней церковью св. Давида, на востокъ горы съ казармами и вокзаломъ у подножій, далеко на сѣверѣ кудрявая зелень Муштайда и Михайловскій проспектъ.

Говорятъ—вечеромъ, когда въ городѣ зажигаютъ огни, видъ Тифлиса съ этой скалы становится волшебнымъ.

Отсюда отправляюсь на Головинскій проспектъ, въ «Храмъ Славы», или военно-историческій музей. Онъ еще не открытъ для публики, отдѣлка зданія не вполне окончена. Однако, благодаря любезности полковника, заведующаго музеемъ, мнѣ удастся осмотрѣть его. Возникъ онъ недавно и предназначенъ для собранія картинъ, сочиненій и разныхъ предметовъ, относящихся къ покоренію Кавказа.

Зданіе большое, одноэтажное, стройное. Фасадъ безъ оконъ. Въ стѣнахъ ниши съ изящной арматурой. Между ними черныя мраморныя плиты, на которыхъ, какъ въ храмѣ Христа Спасителя, будутъ высѣчены главныя событія изъ эпохи завоеванія Кавказа. Очень хороша высокая рѣшетка, отдѣляющая зданіе отъ тротуара. Вѣсто колонокъ въ ней пушки съ орлами наверху.

По гранитнымъ ступенямъ вхожу въ музей. Въ немъ всего одинъ огромный залъ съ облицованными мраморомъ стѣнами. Освѣщеніе скромн. Мой проводникъ—старенный унтеръ-офицеръ, бывшій ординарецъ, одинъ изъ героевъ покоренія Кавказа; на ветхонъ мундирѣ цѣлый рядъ медалей и георгиевскій крестъ. Современникъ

Шамиля и, какъ говорить, былъ при взятіи Гуніба. Старичекъ, видимо, бодрится и молодцевато расправляетъ сѣдые баки.

На стѣнахъ батальныя картины на темы кавказской войны и портреты кавказскихъ героевъ. По угламъ турецкія знамена съ полумѣсяцемъ и персидскія—съ рукой вверхъ дрепка.

Старичекъ радъ вспомнить блое и охотно болтаетъ:

— Это вототъ грузинскій царь Ираклій II, а это послѣдній икнй царь Георгій XIII-й, тутъ генералъ Тотлебень, а подлѣ генералъ Лазаревъ. А этотъ... о, этотъ молодецъ былъ, это и есть онъ самый, нашъ Алексій Петровичъ Ермоловъ... Вотъ здѣсь свѣтлѣйшій князь Воронцовъ... Это тоже былъ молодецъ.

— А это кто?—спрашиваю я, указывая на одинъ изъ портретовъ.

— Который?—Правосланговый или лѣвосланговый?

— Правосланговый,—отвѣчаю ему въ тонъ.

— Правосланговый—князь Паскевичъ Эриванскій, а лѣвосланговый—графъ Муравьевъ... А вотъ это-съ нашъ Александръ Ивановичъ князь Барятинскій, съ нимъ мы штурмовали Гунибъ... Да-съ, было времячко... Боже ты мой, Боже...

Есть здѣсь и двѣ картины Айвазовскаго. На одной изъ нихъ изображено прибытіе Императора Николая I въ Сухумъ-Калэ. Батальныя картины почти всѣ работы французскаго художника Рубо и исполнены имъ въ Парижѣ. Благодаря этому, можетъ-быть, и русскіе солдаты на нихъ лишены жизненности и типичности, да и кавказская природа слишкомъ ужъ монотонно освѣщена. Нѣтъ верещагинской экспрессіи, жизни и plein air'a.

Лучшая картина—это «Плѣнь Шамиля». На большомъ полотнѣ масса фигуръ, освѣщенныхъ желтоватымъ закатомъ. Фонъ—голая каменистая гора съ бѣлыми кубиками аула. Слѣва, подъ деревомъ, сидитъ князь Барятинскій, окруженный штабомъ. Дальше видны фигуры солдатъ, обступившихъ холмъ, въ центрѣ котораго нѣсколько мюридовъ, а ближе къ Барятинскому—«владыка горъ», имамъ Шамиль. Поза его схвачена удачно, она полна гордаго вызова и недоумѣнія. Правая рука заложена за поясъ, на которомъ виситъ, конечно, кинжалъ; лѣвая—на эфесѣ шашки. На головѣ бѣлая чалма съ мѣховою выпушкой. Закаленное дикое лицо, обрамленное длинной рыжей бородой, полно энергіи и скрытой ненависти.

Вспоминается жестокая, упорная, двадцатилѣтняя борьба, боевая жизнь изо дня въ день въ горахъ Кавказа, и невольно задлеетъ себѣ вопросъ, что долженъ былъ чувствовать въ эту минуту «владыка горъ».

— Вотъ, это онъ самый и есть, Шамиль,—говоритъ за мной старичекъ.—Такой онъ былъ—рыжий и сердитый. Ну, а все же супротивъ русскаго оружія и онъ не устоялъ. Много крови нашей выпилъ... Двадцать лѣтъ плылъ!

Недалеко отъ «Храма Славы», на углу Головинскаго проспекта выступаетъ небольшой двухэтажный домъ кавказскаго музея. Таб-

личка на дверях гласить, что сегодня музей закрыт для публики. Однако—звоню. Дверь открывается и въ ней показывается полный пожилой блондин профессорского типа, въ очкахъ. Это—директоръ музея, докторъ Радде. Спрашиваю разрѣшенія осмотрѣть музей.

— Но вы видите,—говоритъ онъ, показывая на таблицу и рѣшительно собираясь затворить дверь. Настоячиво прошу, ссылаюсь на то, что я прїѣзжій, что завтра надо ѣхать дальше. Докторъ неумолимо повторяетъ:

— Но вы видите. Въ рѣчи его слышится нѣмешкій акцентъ.

Тогда я прибѣгаю къ послѣднему средству,—говорю, съ какой цѣлью желаю осмотрѣть музей. Докторъ сдается и любезно проситъ меня пожаловать, потомъ такъ же любезно даритъ мнѣ «на память» составленный имъ «Путеводитель по музею», извиняясь въ то же время, что онъ «безъ галстука» вслѣдствіе страшной жары.

Музей помѣщается въ нѣсколькихъ залахъ верхняго и нижняго этажа. Основанъ онъ лѣтъ 25 тому назадъ. Для лѣтъ, желающихъ наглядно познакомиться съ Кавказомъ, онъ представляетъ большой интересъ. О научномъ его значеніи я ужъ и не говорю. Коллекція подобрана хорошо и не безъ эффекта. Конечно, послѣ московскаго историческаго музея онъ кажется миниатюрнымъ, но все-таки поражаетъ прїятно, особенно здѣсь, на окраинѣ, гдѣ мы едва только успѣли устроиться.

Первый залъ занятъ коллекціями по геологій Кавказа. Минеральная богатства края еще далеко не изслѣдованы и не разработаны, но все-таки кое-какой починокъ уже сдѣланъ. Вотъ образцы кубанскаго каменнаго угля и ріонскаго, изъ Тквибульскихъ копей, загликскіе квасцы, сода, дагестанская сѣра, чатахская желѣзная руда, мѣдная и кобальтовая руда изъ Кедабега и Карабага, кулинская соль. Золота и серебра пока не нашли, хотя въ руслѣ Ріона и Терека есть золотой песокъ; но промыска выдѣлки не стоитъ. Кавказъ и безъ того—золотое руно; надо бы только умѣть пользоваться имъ.

Хорошо и художественно сгруппированы коллекціи по зоологій. Въ нихъ кавказская фауна демонстрирована наглядно. И когда взглянешъ на эту массу разнообразныхъ птицъ и звѣрей въ чучелахъ, то невольно удивляешься пестротѣ кавказскаго міра животныхъ столько же, сколько и племенной пестротѣ людей. И здѣсь сѣверине и южане, какъ и въ кавказской флорѣ, живутъ въ сообществѣ, хотя и не особенно дружно, болѣе приближаясь въ этомъ отношеніи къ homo sapiens, чѣмъ къ растеніямъ.

Въ коллекціи птицъ выдѣляются кавказскіе орлы, большой грифъ, ягнятникъ и бѣлохвостъ, затѣмъ группа разныхъ видовъ фазановъ и лунь. Въ нишѣ, расписанной ландшафтомъ камышей, цѣлая семья водяныхъ птицъ, разставленныхъ очень художественно. Здѣсь цапли, утки, кулики, ибисы, пеликаны, лебеди, фламинго. Дальше—бѣлый павлинъ, черный аистъ, пурпуровая цапля. Рядомъ стоятъ стервятниковъ, терзающихъ чучело верблюда. Тутъ же и компаньоны ихъ, шакалы.

Въ другомъ залѣ—группа кавказскихъ альпійскихъ животныхъ: дикий баранъ, нѣсколько туровъ, черные козлы. Дальше чучело кавказскаго зубра. Музей гордится этимъ экземпляромъ, такъ какъ онъ единственный; и только въ академіи наукъ имѣется еще шкура кавказскаго зубра, называемаго туземцами «домбе» и «адомбе».

Правѣе—три гіены изъ окрестностей Тифлиса и три оленя, тоже изъ-подъ Тифлиса. За ними—дикіе кабаны, барсы, семья королевскихъ тигровъ, убитыхъ въблизи Ленкорани, пантеры, подстерегающія козулю, компанія изъ шести медвѣдей, опять кабаны, дикая копка, куница, пятнистая и кошачья рысь, горностаи, лисичи (между ними двѣ чернотурхы съ Казбека), барсуки, антилопа и даже каспійскій тюлень.

Дальше порядочная масса маринованныхъ змѣй, скорпионовъ въ банкахъ и всякихъ такихъ «гадостей».

Изъ рыбъ выдаются—форель, стерлядь да лососина съ севрюгой, заглядывающія въ Куру изъ Каспійскаго моря. Есть тутъ и остовъ кита, понавшаго случайно въ Черное море, можно подумывать—специально для кавказскаго музея. Недурна и бѣлуга, помѣщенная въ центрѣ одной изъ залъ. Ее поймали въ устьѣ Куры; вѣсила она шестьдесятъ пудовъ; одной икры въ ней было пудовъ шесть.

Надъ лѣстницей, ведущей въ верхній этажъ, большіе фрески, исполненные художникомъ Зимомъ изъ Рима. Здѣсь—и грузинскій царь Давидъ Возобновитель, и царица Тамара, написанные по оригиналамъ, сохранившимся въ Гелатскомъ монастырѣ, и Ной, сажающій виноградную лозу, и амазонки верхомъ. Недурно написаны «Прометей, прикованный къ скалѣ Кавказа и оплакиваемый океанами», «Язонъ и Медea въ храмѣ Гекаты» и «Прибытіе Аргонавтовъ въ Колхиду». Вотъ какъ художественно докторъ Радде описываетъ послѣднюю картину въ путеводителѣ:

«Картина представляетъ тотъ моментъ, когда они вступаютъ на берегъ. Одинъ изъ гребцовъ старается остановить быстро плывущую по волнамъ Фазиса Арго и привязываетъ ее канатомъ къ берегу столбу. Высоко на корму стоитъ самъ Язонъ (портретъ Великаго Князя Николая Михайловича), указывающій вооруженною шитою рукою въ ту сторону, откуда онъ прибылъ. Навстрѣчу чужеземцамъ ѣдетъ Аэръ въ сопровожденіи двухъ дочерей своихъ, въ двухколесной колесницѣ, запряженной двумя бѣшеными конями, которыхъ возничій съ трудомъ удерживаетъ. Выраженіе у Аэра злобное, вопрошающее, недоверчивое и упорствующее. Влѣво отъ него сидитъ прекрасная Медea (портретъ грузинской княжны), которая успѣла уже испытать влияние проникающихъ взоровъ Язона. На Арго, у ногъ Язона—Орфей, и позади греческій воинъ со племемъ на головѣ. У мачты—Касторъ и Поллуксъ. Настроенію общества въ этой сценѣ соотвѣтствуютъ колоритъ неба; темныя тучи висятъ надъ Колхидой; на западѣ и югѣ, откуда прибыли Аргонавты, небо—ясное».

Въ двухъ залахъ верхняго этажа—этнографическія коллекціи и составленные изъ большихъ фигуръ группы кавказскихъ народно-

стей. Потолки расписаны узорами ковровой живописи туркменских и кубинских образцов. Полы устланы кавказскими коврами, въ центръ зала—тахты, покрыты туземными матеріями. Драпировки на дверяхъ изъ разныхъ кавказскихъ матерій и ковровъ.

Тутъ грузины, имеретины, мингрельцы и гурійцы, танцующіе лезгинку «въ колхидскомъ саду», пшавы, хевсуры, тушины, сваны и осетины. Напротивъ—абазехи и кабардинцы, а дальше—евреи и армяне. Въ другой группѣ—курды и духоборы, лѣвѣ—персіане и татары.

Здѣсь же и модели жилыхъ строеній кавказскихъ народностей, и домашняя утварь, оружіе и музыкальные инструменты.

Стоитъ только взглянуть на коллекцію оружія, на разные старинные фальконеты и кремневые ружья, или на современное вооруженіе хевсуровъ—щиты, кольчуги, шинны для рукъ и ногъ, металлическія перчатки и «головные покрываши», на щиты курдовъ, пики или пистолеты гурійцевъ, чтобы представить себѣ весь дикій міръ кавказскихъ народовъ, чуждый девятинадцатому вѣку, вѣку Крупновъ, Машинеровъ, Пибоди, мелепита, динамита и бездымнаго пороха.

Еще лучше музыкальные инструменты, разные грузинскіе и курдскіе зурны, скрипки — «саламури», турецкая скрипка «кѣкаманча», осетинскіе цитры и балабайки, мингрельскій рогъ «горотото» для созвнанія народа во время опасности или глиняные барабаны «дипилипото». И это—рядомъ съ городомъ, переполненнымъ американскими и беккеровскими роялями, органами и фисгармоніями новѣйшей конструкціи, рядомъ съ миллионнымъ опернымъ театромъ.

Хороша и домашняя утварь, сосуды изъ тыквы, бокалы изъ туркнхъ роговъ или большой вертелъ для жаренія цѣлыхъ барановъ «при грузинскихъ пиришествахъ».

Зато очень изящны выпиванья шелкомъ на сукнѣ и золотомъ на шелку. Въ нихъ такъ ярко сказывается художественная натура женщины-рабы, которая пыталась въ замкнутомъ мірѣ семейной жизни скрасить свой досугъ изящнымъ трудомъ, пока ея господинъ поевалъ или бездѣльничалъ.

Въ слѣдующемъ залѣ—ботаника съ обширной дендрологической коллекціей и энтомологія. На стѣнахъ—«картины, представляющія главнѣйшія фазисы растительности въ вертикальномъ направленіи».

Затѣмъ слѣдуетъ еще шесть небольшихъ залъ съ археологическими коллекціями, древними орнаментами, нунизматикой и разными предметами, найденными при раскопкахъ.

Въ путеводителѣ такъ описывается «маршрутъ» въ эти залы: «Отъ большой лѣстницы, прямо къ изображенію Ноя, поднимаея вверхъ по винтовой лѣстницѣ, проходя мимо картины Ноя, посетитель входитъ въ отдѣленіе орнаментовъ и древностей, расположенныхъ въ шести отдѣльныхъ комнатахъ».

Я уйду изъ музея совѣтъ ошеломленный пестротой кавказскаго калейдоскопа.

Сравнительно съ другими провинціальными городами, тифлисская интеллигенція проявляетъ рѣдкую жизнѣдѣтельность. И это особенно неожиданно здѣсь, въ кавказской обстановкѣ. Въ Тифлисѣ есть общества сѣльского хозяйства, географическое, техническое, исторіи и археологіи, музыкальное, изящныхъ искусствъ, медицинское. Нѣкоторыя общества, какъ Императорское медицинское, насчитываютъ по нѣскольку сотъ членовъ. Но самое обширное изъ нихъ — это общество возстановленія православнаго христіанства, имѣющее свыше тысячи членовъ и располагающее огромными средствами. Въ нѣкоторые годы поступленія пособій и сборовъ достигаютъ полутора ста тысячъ. Суммы эти расходуются на содержаніе миссіонеровъ въ горахъ, постройку церквей и школы для горцевъ.

Въ Тифлисѣ издаются три русскихъ газеты. Но въ то время, какъ одесскія, кіевскія и поволжскія газеты растутъ не по днямъ, конкурируя со столичными, тифлисскія газеты не пользуются особеннымъ успѣхомъ въ мѣстной публикѣ. Кажется, нигдѣ, какъ здѣсь, и краевая нужда, и обывательская жизнь не даютъ столько животрепещущаго матеріала для газеты. Чего стоитъ одна тифлисская дума, давно затмившая своими бурными дебатами славу французской палаты депутатовъ и англійскаго парламента. А какой интересъ, какую нескончаемую тему для обывательской литературы представляеть вся эта туземная дикость и некультурность. Однако, въ номерахъ, которые я пробѣгаю, она почти не отражается. Въ одной газетѣ, правда, какой-то обыватель обличаетъ, но... городского. «Когда я подозвалъ его и сказалъ ему, что, благодаря его безопасности, люди чуть не попали подъ экипажи, то онъ съ насмѣшкой мнѣ отвѣтилъ: «Ну, и слава Богу, что не попали, и того довольно». Прошу васъ дать мѣсто моему настоящему заявленію, *свидѣтельствующему о безопасности означеннаго блюстителя порядка и общественной безопасности*».

Въ другой читаю о слѣдующемъ обывательскомъ кунштѣукѣ:

«Ради курьеза приводимъ здѣсь письмо, полученное по почтѣ вчера старшимъ торгово-хозяйственнымъ смотрителемъ: «Если ты будешь обращаться грубо со свои починами, то будешь убитъ, какъ собакъ». Для пушгаго устрашенія, должно-быть, подѣ письмо мѣсто стоитъ подпись: «Онорхистъ».

Счастливый край, гдѣ даже анархисты еще прописываютъ себя чрезъ два о и воины носятъ щиты и кольчуги въ вѣкъ разрывныхъ пуль.

Вотъ именно тифлисскій-то «онорхизмъ» и есть та гидра, съ которой должна бы бороться мѣстная печать. Правда, у этой гидры вмѣсто головы миллионъ кинжаловъ.

Объявленій въ газетахъ много. Между ними особенно бросаются въ глаза розыски убійцъ, разныхъ Сло-Мусафаръ-оглы и Амо-Калаперъ-оглы.

Грузинская и армянская печать относительно процвѣтаетъ. Здѣсь издаются на армянскомъ языкѣ «Мшакъ», «Норъ-Даръ», «Ардаганъ», «Ахшюръ» и «Мурчъ», на грузинскомъ — «Иверія», «Меурне»,

«Джеджили», «Пискар», «Дрозба» и друг. Изъ нихъ «Иверія» самая распространенная.

Грузинская литература—одна изъ древнѣйшихъ. Грамота у грузинъ распространилась еще въ V вѣкѣ, а въ XII, при Давидѣ Возбोधителѣ и царѣ Тамарѣ, грузины отправлялись для образованія въ Афины. Это была эпоха расцвѣта литературы, съ писателями Шавтели, Хонели, Тмогвели и Шота Руставели, авторомъ народной поэмы «Барсова Кожъа». Затѣмъ наступила полоса упадка, продолжавшаяся шесть вѣковъ. И только въ началѣ нынѣшняго столѣтія грузинская литература возродилась, отрѣшившись отъ восточной поэзіи подъ влияніемъ европейскихъ писателей. Поэты Ал. Чавчавадзе, князь Орбелиани и Баратовъ пользуются въ Грузіи большою популярностью. Но всѣхъ ихъ затмилъ современный поэтъ князь Илья Чавчавадзе, котораго называютъ грузинскимъ Лермонтовымъ. Нѣкоторыя изъ его стихотвореній дѣйствительно написаны лермонтовскими красками, другія проникнуты скорбною патристическою ноткой въ некрасовскомъ духѣ.

Князь Чавчавадзе воспитывался въ петербургскомъ университетѣ, въ эпоху Костомарова, Кавелина, Спасовича и друг., былъ затѣмъ на роднѣ мировымъ посредникомъ и судьей, а теперь состоитъ редакторомъ-издателемъ «Иверіи», управляющимъ тифлисскимъ дворянскимъ земельнымъ банкомъ и предсѣдателемъ общества распространения грамотности среди грузинскаго населенія.

Я не знаю, насколько грузинская литература проникнута патристическими тенденціями національной самобытности. Князь Чавчавадзе, одинъ изъ главныхъ ея представителей, скорбитъ о томъ, что его «родина не расцвѣтаетъ», поетъ свои пѣсни народу, «чтобъ плачь его утихъ», молитъ Бога, «чтобъ скорбь настало пробужденіе родного края». Это все темы, которыми обыкновенно вдохновляются народные поэты. Вся дѣятельность автора ихъ, проникнутая общечеловѣческими идеями и единеніемъ съ русскимъ міромъ, служитъ, мнѣ кажется, знаменіемъ болѣе близкаго сліянія грузинъ съ русскими и далека тенденцій сепаратизма, которая могутъ заподозрить въ его патристическихъ пѣсняхъ.

Армянская литература такая же древняя. Армянская азбука изобрѣтена въ IV вѣкѣ, одновременно съ распространеніемъ въ Арменіи христіанства. Уже въ V вѣкѣ на армянскомъ языкѣ писались религиозныя и философскія сочиненія. Это время считалось золотой эпохой армянской литературы. Но затѣмъ въ теченіе тринадцати вѣковъ она оставалась односторонней, ограничиваясь религиознымъ и научно-историческимъ направленіемъ. Только въ половинѣ нынѣшняго вѣка народилась, подъ влияніемъ европейской литературы, группа романистовъ: Абовіанъ, Агалянъ, Прошіанъ и Раффи, да драматургъ Сундукянъ. Недавно умершій Григорій Ариуни, редакторъ самой распространенной газеты «Мшакъ», былъ выдающимся публицистомъ съ общечеловѣческими идеалами и замѣчательной личностью. Армяне, конечно, мечтаютъ о возрожденіи Арменіи. Но это—только мечта. Практическая народная жизнь, сказавшаяся и въ одно-

сторонней сухости армянской литературы, чуждой фантазіи, и въ тяготивші къ торговлѣ, выработала натуру, не особенно проникнутую общечеловѣческими идеалами и быстро акклиматизирующуюся на всякой почвѣ. Въ семейномъ быту армяне, сравнительно съ другими кавказскими племенами, уже отрѣшаются отъ патриархальности, проникаясь общевропейскимъ строемъ жизни. Женщина въ высшихъ классахъ сорвала уже съ себя игиши востока. Но въ народѣ она еще остается въ прежнемъ положеніи, укутывается по выходѣ замужъ, не имѣетъ права говорить съ мужемъ до рожденія перваго ребенка, а объясняется только пантомимой. Очень интересна эта супружеская пантомима. Надо только представить себѣ положеніе бездѣтныхъ или тѣхъ матерей, которая вынуждены, вслѣдствіе опозданія первенца, продолжать разыгрывать нѣсколько лѣтъ роль «Нѣмой изъ Портичи».

Вечеромъ отправляюсь въ бани. Онѣ всѣ въ азіатской части города, у сѣверныхъ источниковъ. Въ сумеркахъ какія-то женщины, закрытыя покрываломъ, таинственно пробіраются Армянскимъ базаромъ, должно-быть въ бани или церковь. Совсѣмъ будто привидѣнья. Голова и шея укутаны, нижняя часть лица завѣшена сѣрымъ кускомъ сукна; только большіе черные, точно испуганные, глаза видны, да и то не у всѣхъ: у нѣкоторыхъ они прикрыты черной вуалью. Настоящій маскараль. Такъ и ждешь, что откуда-нибудь изъ-за угла выскочитъ фракъ и, подавъ руку калачикомъ, скажетъ стереотипную фразу: «маска, пойдемъ ужинавъ».

Восточные человѣки или разступаются, или дѣлаютъ видъ, что не обращаютъ на нихъ никакого вниманія. А онѣ все торопливо идутъ и кутаются, точно боясь, что ихъ осквернятъ любопытные взгляды.

Бани тѣсятся у подножія крѣпостного холма, подлѣ маленькой мечети. Онѣ большей частью построены въ мавританскомъ стилѣ, съ легкими колонками, узкими стрѣлчатými окнами и узорчатыми арками. Здѣсь и Ираклевскія бани, и Мизроева, и князей Орбелиани, Бебутовыхъ и Сумбатовыхъ.

Лучшими считаются Ираклевскія.

Въ длинномъ съ мраморнымъ поломъ корридорѣ двери въ номера. Какія-то женщины въ бѣлыхъ покрывалахъ сидятъ на скамьѣ въ ожиданіи. Однако, нѣкоторые изъ нихъ бросаютъ въ щелочки довольно смѣлые взгляды. Вхожу въ номеръ. Потолокъ—куполкомъ, съ круглымъ окошечкомъ вверхъ. Полъ въ мраморной мозаикѣ, стѣны выложены изразцами съ ибико-голубыми арабесками. Въ банѣ обстановка совсѣмъ какого-то сераля. Стѣны тоже въ изразцахъ, съ пестрыми и тонкими восточными арабесками, куполь въ ибикныхъ цвѣтныхъ узорахъ, полъ въ мелкой шахматной мозаикѣ, лавки мраморныя. Цвѣтной фонарь льетъ мягкій полусвѣтъ. Въ полу небольшой бассейнъ, выложенный бѣлыми мраморомъ. Надъ нимъ урна. Въ нее изъ пасти льва льется широкой струей вода и стекаетъ въ бассейнъ. Чувствуется тяжелый запахъ сѣры. «Горщикъ», вылитый портретъ петровскаго, открываетъ край съ теплымъ паромъ. Воздухъ серф-

ается, становится влажнымъ. Но все-таки не то, что русская баня. Что-то разбѣживаешь и вызываетъ истому.

«Торщикъ» моетъ по системѣ петровскаго артиста.

Возвращаюсь. Азіатскій базаръ будто замеръ. Узкіе темные переулки совсѣмъ безмолвны, полны тѣны и тайны. Удушливый, знойный воздухъ насыщенный міазмами. Въ углахъ, въ темныхъ сводахъ переулковъ копошатся какіе-то силуэты и стаи собакъ. Контуры тѣней разрастаются, принимая загадочныя формы. Изрѣдка, въ полость свѣта, выступитъ носатый профиль какого-нибудь азіата въ чалмѣ или бараньей шапкѣ.

Отовсюду вѣетъ чуждой атмосферой глубокаго востока.

ГЛАВА XXVI.

Вѣзды изъ Тифлиса. — На вокзалъ. — Грузинская княгиня и тифлисскій «Плевако». — Грузинское дворянство — Кавказскій университетъ. — Улицы-шхис. — Гори. — Михайлово. — Катастрофа. — Мимо Боржома. — Въ волшебной долині Ріона. — Сурамскій перевалъ и тунель. — Ковхидскій рай. — На станціи Ріонъ. — Кавказскій костюмированный балъ. — Приѣздъ въ Батумъ.

1-е сентября.

Подаютъ счетъ. Сюрпризъ: хозяинъ гостиницы — Вольфензоупъ. Я вспоминаю гоголевскую «Коляску». — «А, такъ вы здѣсь?».

Въ Тифлисѣ евреи совсѣмъ незамѣтны, несмотря на то, что ихъ тутъ довольно, если судить по нѣсколькимъ синагогамъ. Они совершенно сливаются и по языку, и по костюму, и по восточному типу съ армянами, какъ настоящее серебро съ издѣліями Фражс или Норблина. А мнѣ казалось, что содержатель гостиницы непременно армянинъ: въ меню, написанномъ на французско-кавказскомъ волапоку, среди «жиго де валий» и «пулэ сось аляндст» изобиловали шампанки, «бадриджаны» и «разныя чехохбили».

Кормятъ здѣсь скверно, хотя и не дорого. Лучшие рестораны въ гостиницахъ Лондонъ и Кавказъ. Въ послѣдней — хорошая французская кухня и за буфетной стойкой стрекочутъ французенки, разливая «водка рюсъ». Отъ нихъ я узналъ, что Дю-Фаръ пробылъ дальше.

Съ Лукановымъ расстаюсь.

Онъ будетъ въ Батумѣ третьяго. По морю поѣдемъ въ компаніи.

Запасаюсь фруктами. Дешевизна для сѣверянъ совсѣмъ невѣроятная и непонятная. Я ужъ не говорю про великолѣпный, крупный виноградъ и груши, въ которыхъ только сокъ да нѣжный кремъ, но идеальныя «исвиннаго» цвѣта персики, величиной съ яблоко, такіе, какіе въ Петербургѣ продаются по рублю штука, здѣсь гривенникъ фунтъ. Это во фруктовомъ магазинѣ. А на базарѣ я видалъ вчера цѣлый возъ такихъ же персиковъ, и пудъ ихъ (120 штукъ) продавался по восьми гривенъ. Маленькая задача: если въ

Тифлисѣ купить тысячу пудовъ персиковъ, а продать ихъ въ Петербургѣ, сколько можно заработать? Тема для спасительныхъ проектовъ.

Вѣтеръ. Надъ Тифлисомъ облака пыли. Въ ушахъ и во рту песокъ. Дома, экипажи, кони, лица — все сѣро отъ пыли.

Толпа зѣвакъ запрудила мостъ. Сорвались плоты. Кура со страшной быстротой мчитъ ихъ на мельницы и купальни. Голые туземцы бросаются впасть, пытаются схватить канаты; но поздно. Раздается одинъ залпъ, другой, трескъ, купальни разбиваются. А съ сѣвера мчатся по бурой рѣкѣ другіе плоты.

Вокзалъ переноситъ немножко въ Кишиневъ, немножко въ Кіевъ или Нижній. Такъ и кажется, что разлестся — «первый звонокъ на Москву или на Одессу». Жельзнодорожная архитектура удивительно шаблонна: она не признаетъ ни климата, ни гармоніи зданія съ декорацией природы, ни обстановочнаго колорита... Начнутъ строить тысячесверстную линію съ сѣвера, такъ и на южномъ концѣ, при сорокаградусной жарѣ, воздвигнутъ закупоренную грузную коробку; начнутъ строить съ юга, такъ и на сѣверѣ окажется зданіе съ мавританской тѣнью и мавританской прохладой.

У перона короткій поѣздъ съ маленькими вагонами; всего по три окна въ вагонѣ. Это дачный поѣздъ на Боржомъ, благодаря чему съ меня берутъ за билетъ до Михайлова вѣсто четырехъ лишь два рубля. Движеніе по боржомской вѣтви открылось только вчера.

У вагона третьяго класса стоитъ пожилая маленькая грузинка съ большой головой, которая кажется еще больше отъ малиновой шапочки тапсакави и чернаго клобука. Крупныя черты, большіе черные глаза и тонкія сжатія губы полны строгости; на неподвижномъ, будто вырубленномъ изъ камня лицѣ читается нравственная сила и привычка женщины востока подавлять свои страсти.

Съ ней бесѣдуетъ шегольски одѣтый бронетъ адвокатаго типа, въ пенснэ и цилиндрѣ. Должно-быть, какой-нибудь тифлисскій Плевако.

— Просю васъ, просю васъ, — говоритъ грузинка, и голосъ ея неожиданно оказывается мягкимъ, ласковымъ и нервно вибрирующимъ, тогда какъ лицо продолжаетъ оставаться неподвижнымъ. — Ай! Ви сибѣ представитъ ни можно, какъ я ни спажоюса. Сѣ давай, сѣ давай. Много дэнги, мала дѣла.

Господинъ «Плевако» какъ-то сжился, переминается, изгибается, сладенко улыбается и говоритъ поспѣшно, предупредительно, тономъ человѣка, желающаго оборвать неприятный разговоръ:

— Что-жъ дѣлать, княгиня! Конечно, конечно, какъ же — какъ же, да — да, я самъ понимаю это. Но въ Россіи безъ этого невозможно. Не безпокойтесь, княгиня.

Вѣроятно, рѣчь идетъ о какомъ-нибудь нескончаемомъ земельномъ процессѣ. Княгиня смотритъ на него строго. Онъ, видимо, чувствуетъ себя неловко полъ этимъ взглядомъ и вдругъ начинаетъ говорить что-то по-армянски конфиденціальнымъ тономъ.

Звонок. Книгиня садится в вагон третьего класса. «Плебако» из арийского ряда галантно поддерживает ее. Она высовывается в окно, он подходит, она опять твердит свое «просю вась», он свое «как? же, как? же, не безпокойтесь», а в глаза так и бьет свое «как? бы скорбе третей звонок».

Бдемъ. Голы, то рыжия, то бурая скалистая громада смѣняются холмами, за которыми опять вырастаютъ горы.

Минуемъ Авчалы и Михетъ, показывается какое-то село съ домиками, высѣченными въ скалѣ, тамъ и сямъ на горахъ и въ долинахъ разбросаны развалины замковъ.

Эти утрумя развалины феодальной эпохи, эта книгиня въ третьемъ классѣ, эта безжизненная долина, по которой носятся бурые тучи пыли, эта пыль, въ которой вмѣстѣ съ прахомъ Грузин летятъ все надвигающихся мертвыхъ степей, когда-то шествующихъ житиинъ Кавказа, а теперь пустынь,—навѣваютъ невольную тоску.

Въ одной Тифлисской губерніи насчитывается шестнадцать тысячъ потомственныхъ дворянъ, а въ Кутаисской—ихъ до семидесяти тысячъ. Вспоминаю жалобы саратовской дамы. Тамъ всего четыре дворянина на уѣздъ. Въ Кутаисской—десять тысячъ на уѣздъ. Выходитъ, что кутаисскіе дворяне такъ же цѣнились бы въ Саратовской губерніи, какъ... тифлисскіе персикки въ Петербургѣ.

Надо думать—этотъ переизбытокъ дворянъ и послужилъ, вмѣстѣ съ крѣпостнымъ правомъ, главной причиной разложенія и упадка Грузіи. Соціальныи строй проченъ, пока онъ стоитъ въ видѣ пирамиды, иначе нижніе слои не выдерживаютъ тяжести и весь организмъ распадается. Здѣсь рабство дошло до апогея. Здѣсь не только господа имѣли рабовъ, но и у рабовъ въ свою очередь были рабы.

Повторилась съ нѣкоторыми варіаціями исторія Рѣчи Посполитой, гдѣ всѣ почти были панями, а кто паномъ не могъ быть, тотъ хотъ въ «нидпанки» лѣзъ, гдѣ государственное единство было немислимо вслѣдствіе крайней индивидуализаціи личности, гдѣ каждый шляхетскій пунъ, ничего не дѣлая, только и былъ занятъ своей амбиціей и ясновельможностью.

Въ вагонѣ—военный докторъ съ семьей и еще два-три курсовыхъ, ѣдущихъ въ Боржомъ. Докторъ и его жена когда-то жили въ Минскѣ. Начинаются воспоминанія и разспросы. Они уже лѣтъ пятнадцать на Кавказѣ. На меня смотрятъ, какъ на какого-нибудь обитателя Марса. Идутъ параллели между сѣверомъ и югомъ. Они спросили съ Кавказомъ настолько, что никакъ не могутъ собраться на сѣверъ, чтобы родныхъ провѣдать.

— Да и что тамъ! — говоритъ докторъ. — У насъ вонъ какой рай.—Онъ показываетъ на здороваго мальчика и дѣвочку, которые успѣли уже до половины опустошить корзины съ персиками и виноградомъ.—Плохо вотъ только, что туго какъ-то подвигается у насъ русское дѣло и русскіихъ совсѣмъ мало. Повѣрите ли, встрѣтишь новаго своего человѣка—и на душѣ какъ-то сѣжешь. Глушь,

совсѣмъ чувствуюсь себя оторваннымъ ломтемъ. И потомъ—мучаетъ еще и то, что край-то здѣсь такой богатый, что всего-то въ немъ въ обилии, а мы-то вотъ все медлимъ и собираемся. Намъ нужны интеллигентныя силы для разработки всѣхъ этихъ сокровищъ, и не каіля такая-нибудь, командированная изъ департамента для разныхъ свѣдѣній и изслѣдованій, а цѣлая интеллигентная армія, которая могла бы здѣсь постоянно работать. Поговаривали было объ университетѣ, да такъ на томъ дѣло и стало. А Кавказу нуженъ, необходимъ университетъ. Это сразу двинетъ и русское дѣло, подыметъ и интеллигентный уровень края. Тогда черезъ какой-нибудь десятокъ лѣтъ посмотрите, что мы сдѣлаемъ. Наносная интеллигенція, чиновники и разные случайные слетки, въѣзъ это все придти и уходить, а ядро-то остается безъ измѣненія, культурная шифовка идетъ только съ вишней стороны. Конечно, многіе кавказцы ѣдутъ въ наши университеты, потомъ заносятъ оттуда кое-что и домой, но все это затѣмъ сглаживается здѣсь, такъ какъ окружающая среда чужда этихъ хорошихъ началъ, такъ какъ нѣтъ на мѣстѣ такого культурнаго рычага, который могъ бы постоянно поддерживать интеллигентный уровень университетскихъ центровъ. А разработка нашихъ природныхъ богатствъ на мѣстѣ и мѣстными силами, мѣстными учеными? Чего ужъ одно это стоитъ. Пока—Кавказъ обходится очень дорого и очень мало даетъ намъ. И такъ будетъ, пока мы не поставимъ рационально эксплуатацію его. Вотъ вы путешествуете здѣсь... А скажите, много ли вы встрѣчали на Кавказѣ русскихъ интеллигентныхъ людей, кромѣ чиновниковъ, конечно, да военныхъ? Такихъ интеллигентныхъ людей, которые вращались бы въ самомъ ядрѣ населенія, вносили бы именно туда начала слиянія, единенія и повысили общественную инициативу?

На станціи Каспи опять пристаеетъ дѣтвора туземцевъ, выкрикивая свои абасы. На платформѣ какое-то шестіе фруктовъ. Чудные персики, яблоки, груши, виноградъ—въ корзиночкахъ, гирляндами, цѣлыми вѣтками.

За Грахалами надъ лѣвымъ берегомъ Куры выступаетъ высокій желтый утесъ. У подножія его лѣпится деревушка. Въ утесѣ зияютъ отверстія. Это—ворота въ городъ, высѣченный въ самой скалѣ, городъ съ цѣлыми улицами, лавками, комнатами, каменными лѣстницами и скамьями, подземными ходами къ рѣкѣ. Египетскій трудъ кавказскихъ троглодитовъ. Въ древности здѣсь была крѣпость Уплис-цихе.

Вдали, на равнинѣ вырастаетъ темный холмъ. Онъ кажется островомъ на фонѣ бурой степи. На вершинѣ его громадная, круглая, точно бочка, черная масса полуразрушенной крѣпости съ бастіонами. Она очень напоминаетъ корпусъ римскаго замка Сантъ-Анджело. Вокругъ нея по холму амфитеатромъ тѣсятся кубики небольшого азиатскаго городка. Это—Гори. Видъ безжизненный; ни зелени, ни красокъ.

Докторъ прощается со мной.

— Будете въ Гори—милости просимъ.

Опять справа надвигается гряда высоких гор со сверкающими снежными вершинами; слева выступает пик Малого Кавказа, покрытая дремучими лесами. Облака снова плывут низко, висят на деревьях, иногда будто сливаются с дымом паровоза. Не знаешь, облако ли пронеслось, бросая густую тень, или дым паровоза застил вдруг над лесом.

Вечером поезд влетает в живописное боржомское ущелье, залитое золотым сиянием заката. Горы до неба задрاپированы волнистым темнозеленым бархатом лесов. Там и сям на нем выступают пурпурными пятнами зарумяненные листья кустарников и винограда.

За большим вокзалом с крытым пероном раскинулось в долине местечко Михайлово. Вдали, в глубине ущелья, виден Боржом, «перл Кавказа». У подножия гор кое-где выглядывают грузинские села. Природа дышит необыкновенным покоем. Остроконечные вершины с зубчатой линией лесов величаво выступают в ореол заката.

Сумерки напозаюют сразу. Становится свежо. Мы на высоте трех тысяч футов над уровнем моря, или на самой верхушке Машука. Пять часов тому назад в Тифлисе было сорок градусов, а здесь в восемь часов вечера—всего одиннадцать градусов тепла.

На вокзал какое-то волнение. Служащие и кондуктора тревожно бьются. Говорят об отправке паровоза, о телеграммах, о несчастии. Поезд на Боржом должен отойти через час; но кондуктор сообщает мне, что вряд ли отойдет и через три часа. Оказывается, где-то под Боржомом паровоз зарылся в насыпь. А сейчас отправился другой очередной поезд с пассажирами. Несчастий с людьми, говорят, не было; но кто их разберет. Курсовые нанимают экипажи. Отсюда до Боржома двадцать семь верст. Обыкновенно фаянз стоит рублей шесть, а теперь спрашивают двенадцать. Решаю жалеть, пока исправлять путь. Начальник станции объявляет, что поезд пойдет только утром; ночью не успеют очистить путь.

Около одиннадцати возвращается поезд с пассажирами, недождавшимися до Боржома. Курсовые взволнованной толпой высыпают в зал. Их продержали шесть часов в пути на месте катастрофы и теперь вернули обратно. Все набрасываются с жаждою—кто на чай, кто на ужин. Толкотня, стук посуды, возбуждение; разговоры на тему о катастрофе. В нервных голосах дрожит радостная нотка, какая слышится у людей, миновавших опасность. Вся публика имеет курсовой, фешенебельный и, пожалуй, даже столичный вид. Несколько военных генералов, несколько статских; угадывается присутствие важных мира сего, чувствуется напряженность и подтянутость маленьких. Какой-то коротенький инженер, державший себя раньше так важно, теперь бегает все в тушском, а ля Бобчинский, то и дело юлит под маленького дрожащего старика с пальто на зеленой подкладке и говорит сладко-заискивающе:

— Если ваше высочество изволите, можно несрочный поезд № 5 пустить очередным.

В дамском обществе тоже заметно что-то такое «дистинг» большого света. И, надо думать, вся эта компания порядочно проголодалась, если может истреблять с таким аппетитом в одиннадцать часов почти скверный борщ (многие не объедали) и скверные подогреты котлеты («провизия вышла-сь»).

Эта столичная публика, с ее аристократическим видом и французской речью, кажется рвущим диссонансом в трагичной обстановке вокзала, на фоне ливственной кавказской природы, кавказских типов, служащих на станции и кондукторов, смуглых, чернородых армян и грузин, говорящих на ломанном русском языке с пассажирами и по-грузински или армянски между собой. Ка передвигается в хха, и—в еры. Служащие здесь, от начальников станций до смазчиков и стрелочников, армяне или грузины. На платформе собралась группа железнодорожников, и все они говорят по-армянски. Перед вокзалом маневрирует паровоз, и машинист перекликается со стрелочником тоже по-армянски.

Подъезжает гостиница. Отправляюсь туда на ночлег. Маленький номер, еще не опутатуренный, совсем без мебели; только распанная, с провалившимся тюфяком, койка и стул. Хозяйка грузин, однако, с необыкновенным aplomb заявляет, что цена этого номера «руль тризист пять».

2-е сентября.

Утро. Над местечком синяя пелена тумана сливается с дымом. Кое-где в ущельях дымятся облака. Требуя счет. «Номерной», тоже грузин, какой-то оборванец в ватной кофточке, подранных на коленях штанах и босой, приносит сдачу на блюдечек, затѣм кланяется, отходить к дверям и становится в позу почтительного ожидания.

Прогуливаюсь по местечку. Оно совсем похоже на херсонское или бессарабское. Есть буфет и «сад с нумерами», есть фонари. На одном из них—афиша, извещающая обывателей, что «оперный артист Дартили (грузинский «итальянец») даст проездом концерт с военно-грузинским хором».

Вчерашняя катастрофа разрушила мой план: времени мало, не придется заглянуть ни в Боржом, ни в Абастуман. Беру билет до Батума.

Поезд отходить в полдень. По зеленой долине быстро мчится Кура, вырывающаяся из синяго ущелья, в глубине которого блещет Боржом. Высокая лесистая гора вырастает слева от полотна и заслоняет эту картину. Дальше—горы и горы, покрытые сплошными лесами, да изумрудный ковер, по которому мчится поезд. У опушки лесов то и дело показываются деревушки. Местность здесь населенная. Поезд всползает все выше по ребру горы, бьжить над зеленой пропастью, изгибается в узком ущелье, покрытом скалами и лесами. Я не могу оторваться от бинокля.

Каждый уголок—дивный пейзаж; и такие пейзажи разворачиваются и убагуют бесконечной панорамой. Ярко-синее небо над нами, море зелени вокруг и бездна зелени под нами; она сползает до самого дна пропасти, по которой стремится горный поток. Я теперь не знаю, что лучше, живописней: фантастическая военнотружинская дорога или эта сказочно-волшебная долина. Тамь прихода величественней, здсь — нѣжнѣй и наряднѣй; но и тамь, и здсь она одинаково художественна, одинаково неотразимо чаруеть. Иногда поѣздъ подымается на такую высоту, мнится по узкому, змѣящемуся пути надъ такой пропастью, что духъ захватывается. Впереди виденъ конецъ насыпи, а за нимъ синяя бездна. Поѣздъ несется къ ней. Сердце невольно замираетъ. Кажется — вотъ-вотъ полетишь въ бездну. Но вдругъ надъ самой стремниной онъ круто поворачиваетъ направо. Паровозъ исчезаетъ за скалой, ее медленно огибаетъ хвостъ поѣзда надъ краемъ пропасти, которая видна до самого дна. За поворотомъ паровозъ выѣзжаетъ на мостъ, перекинутый надъ бездною, и выбирается на новую гору, потомъ поворачиваетъ опять къ пропасти и по краю ее огибаетъ другую гору, дальше — снова онъ мчится надъ пропастью, снова впереди открывается синяя бездна, снова кажется, что онъ полетитъ туда. Панорама чудныхъ видовъ мелькаетъ съ ослѣпляющей быстротою; точно переливаются страницы какого-то гигантскаго художественнаго альбома. Не успѣваешь очнуться отъ одного впечатлѣнія, притти въ себя отъ одного ощущенія, какъ на слѣну въ яркомъ потоцкѣ лучей хлынула новая картина, еще живописнѣй, еще оригинальнѣй и заманивлѣй. Глаза разбѣгаются, зрѣніе утомлено отъ этой массы ландшафтовъ и яркихъ, сочныхъ красокъ.

Между станціями Варварино и Ципа—знаменитый Сурамскій перевалъ и тунель. Поѣздъ ползетъ медленно, безконечными зигзагами огибая гору, по которой раньше, на высотѣ трехъ тысячъ футовъ, проходилъ Сурамскій перевалъ. Теперь устроена обходная линія и сквозь гигантскій горный крижъ, вздымающійся вдоль всей границы Тифлисской и Кутаисской губерній, прорытъ четырехверстный тунель. Этотъ тунель, одно изъ грандіознѣйшихъ сооружений нашего вѣка, обошелся около пяти съ половиною миллионъ рублей. Матеріаль, употребленный на постройку его, и грунтъ, вывезенный изъ тунеля, вѣсили свыше восьмидесяти миллионъ пудовъ. Надо вообразить всю массу этого труда, чтобы понять колоссальную мощь человѣчества и смѣлость его гения.

Вдоль края пропасти подлѣзжаемъ къ тунелю. Здсь—Карталина, Тифлисская губернія, а по ту сторону — Имеретія, Кутаисская губернія.

Второй часть дня. Солнце свѣтитъ необыкновенно ярко. Кондукторъ входитъ въ вагонъ и зажигаетъ въ фонаряхъ свѣчи. Впереди, заграждая путь, вырастаетъ отвѣсная скала, покрытая сверху льдомъ. Въ стѣнѣ чернѣетъ арка тунеля, на ней лакоиническая надпись: 1886—1890 годъ. Этотъ гигантскій трудъ выполненъ въ четыре года. Поѣздъ врывается въ подземелье, стуча на скрѣпахъ рельсъ.

Этому стальному стуку вторить глухое эхо каменныхъ сводовъ, обшитыхъ желѣзною рѣшеткой. Вдругъ становится темно; темнота все усиливается; это не темнота глубокой ночи, когда человѣкъ все-таки ощущаетъ пространство и воздухъ, это—полный, безнадежный, мертвый мракъ могилы, мракъ безъ воздуха, мракъ въ каменномъ гробу. Свѣчи еле мерцаютъ, не разгораются, память блѣдно-желто; въ окна врывается густой нефтяной дымъ. Пассажировъ съ трудомъ можно разглядѣть. Лица точно у покойниковъ. Что-то гнететъ. Становится и душно, и жутко. Все существо охвачено инстинктивной тревогой. Невольно пробѣгаетъ вопросъ: а что, если такъ и не выберемся отсюда? Несмотря на всю его нелѣпость, онъ мучаетъ, мучаетъ безотчетно. Каково же было тѣмъ, которые, не будучи ни каторжниками, ни злодѣями, четыре года копались въ этой могилѣ, чтобы провести для другихъ путь?

Смотрю на часы. Проходитъ минута. Пассажиры молчатъ. Мракъ становится еще безнадежнѣй. Проходитъ другая минута, третья, четвертая, наконецъ пятая. Все тотъ же мракъ. И такъ нѣлыхъ во-семь минутъ...

Вдругъ сразу мелькнула и расплылась по своду сѣрая, болѣзненная, дрожащая полоса свѣта. Поѣздъ будто поѣбжалъ бодрѣй. Еще мгновенье — и онъ вылетаетъ отъ смерти къ жизни, изъ могилы къ свѣту. Этотъ свѣтъ ослѣпляетъ. Онъ хлынулъ сразу жизнерадостнымъ потокомъ, обдавъ дыханіемъ жизни. Вдохъ облегченія вылетаетъ изъ груди. Волшебный міръ, окружающій насъ, кажется еще прекраснѣй, краски еще ярче. Мгновенье — и мы опять несемся прямо въ какую-то пропасть. Кажется, одинъ толчекъ — и мы полетимъ въ нес. Голова кружится. Черезъ пять минутъ показывается новый тунель, высѣченный въ скалѣ, но короткій, за нимъ начинается большой уклонъ зигзагами и тоже надъ бездною, и тоже по самому ея краю. Всѣ пассажиры у оконъ.

Скалъ настолько великъ, что кажется, будто змѣйка полотна ползетъ въ пропасть. Кондукторъ у тормазовъ.

Обманичивое эхо горъ и ущелій подхватываетъ непрерывные свистки, повторяетъ и переливаетъ ихъ, точно подраживая. Голова поѣзда каждую минуту видна то съ одной, то съ другой стороны, хвостъ изгибается дугой.

Справа отъ насъ—отвѣсная, излучистая каменная стѣна, слѣва—пропасть; дно—сказочно-живописная долина Рюна; горы въ яркомъ, нарядномъ уборѣ льсовъ; изъ нихъ выступаютъ сѣдые глыбы утесовъ. Нѣкоторые висятъ надъ полотномъ, грозя ему. Впереди вырастаетъ на пути скала. Въ ней небольшое отверстіе, какъ разъ столько, сколько нужно, чтобы поѣздъ прошелъ. Онъ пробѣгаетъ сквозь нее, и мы сразу на изогнутомъ дугой мосту со стрѣлочными арками.

Не успѣваю записать эти строки, какъ слѣва опять развернулось ущелье, надъ нимъ выдвинулась колоссальная пузатая скала и на ней—огромная гора.

Свистокъ, поворотъ, поѣздъ опять перескочилъ по мосту на но-

вую гору; пропасть уже справа. Подходимъ къ станціи. Я недоумѣваю, гдѣ она можетъ пріютиться въ этихъ отвѣсныхъ горахъ, надъ этими пропастями. Гляжу — маленький вокзалъ приросъ спиной къ горѣ, будто пятясь отъ края бездны, которая раскрывается передъ нимъ у крошечной площадки.

Дальше — новая картины...

На верхушкѣ скалистого уступа, изъ зеленого кустарника выглядываетъ небольшой бѣлый крестъ... Кому онъ поставленъ, какому герою и борцу, проложившему вмѣстѣ съ тысячами другихъ этого смѣлый, чудный путь культуры для своихъ братьевъ?

Вспоминается некрасовская «Желѣзная дорога».

«Все претерпѣли мы, Божіи ратники,
Мирный дѣти труда» ..

И здѣсь, какъ на военно-грузинской дорогѣ, что-то вызываетъ духовный подъемъ, вдохновляетъ на подвигъ, наполняетъ душу и любовью къ человѣчеству, и гордостью при мысли объ этой культурной побѣдѣ.

За Марелисами опять тунель; ушелье становится все тѣснѣй и тѣснѣй, поѣздъ проходитъ подъ каменной аркой, проползаетъ подъ скалой; впереди загромождаетъ путь высокая глыба, ушелье еще уже, горы сливаются съ небомъ, скалы висятъ надъ нами, заслоняя его. Невольно спрашиваешь себя, какъ проберемся дальше. Вдругъ справа показывается узкая трещина, поѣздъ змѣей вползаетъ въ нее, потомъ шумитъ въ желѣзной клеткѣ моста, надъ зеленой горной рѣчкой Чирибеллой. Зигзаги продолжаются; снова стукъ моста; надъ нимъ на утесѣ развалины крѣпости или замка («Тамара»). Промелькнулъ мостъ — дорога опять высѣчена въ скалѣ съ гигантской колоннадой, потомъ въ ней показываются закопченные пещеры. Въ нихъ жгутъ уголь. Ниже, подъ нами, возводятся вдоль насыпи каменную стѣну; русскіе въ красныхъ рубахахъ и имеретинцы въ бараньихъ шапкахъ работаютъ вмѣстѣ. Опять тѣсины и тунель, опять скалы, слѣва въ колоннадѣ, а справа въ граненыхъ глыбахъ.

На полустанціи Шарапанъ горы изрѣзаны пластами и террасами; подлѣ вокзала баракъ рабочихъ. Вокругъ — груды черной марганцовой руды. Въ ушелье проведенъ узкоколейный путь. Маленькіе паровозики тащатъ цѣпъ вагонетокъ, нагруженныхъ рудой. Ежегодно въ окрестностяхъ добывается свыше пяти миллионъ пудовъ марганца.

Минувемъ Квирилы. Горизонтъ становится шире, горы раздвигаются, но панорама живописной Колхиды все такъ же дивно хороша, природа такъ же дѣйствительна, какъ, вѣроятно, и во времена Аргонатовъ. Лѣса и лѣса безъ конца. Надъ темными, острыми ребромъ гряды, въ синей дали выступаетъ снѣговая вершина Тквибульской горы. Она въ нѣсколькихъ десяткахъ верстъ, но кажется совсемъ близко. Тамъ тквибульскія каменноугольные копи.

Маленькіе вокзалы точно тонутъ на днѣ зеленой корзины лѣсовъ. Подлѣ нихъ садики. Надъ палисадникомъ гроздья винограда, согнувшійся подъ тяжестью плодовъ вѣтикъ съ румянными персиками, гранаты, миндаль, лапчатые темные листья фигового дерева (смоковницы) съ багровымъ «инжиромъ» (винными ягодами).

И на каждой станціи обиліе плодовъ и ягодъ всѣхъ поясовъ и сезоновъ. Отъ черномазой, полунагой дѣтвора туземцевъ отбою нѣтъ.

— Би шауръ, сами шауръ! — кричатъ они, предлагая огромные гроздья винограда, связанные гирляндами, корзиночки съ лѣсными и волошскими орѣхами, очищенными отъ скорлупы, жареными каштанами, винными ягодами, персиками, грушами, яблоками, ежевикой и малиной. Все это — въ сентябрѣ. Совсѣмъ обжитая земля. Ученые, считающіе Кавказъ колыбелью человѣчества, можетъ-быть и правы. Трудно придумать другой такой рай.

Подходимъ къ станціи Рюнь. На перонѣ густая пестрая толпа. Отсюда путь развѣтвляется на Кутаисъ. Слышатся десятки разныхъ нарѣчій. Мнѣ кажется, будто я попалъ на костюмированный балъ или въ какую-то кавказскую Испанію. Тутъ полный ассортиментъ кавказскихъ костюмовъ. Кромѣ черкесокъ, папахъ, красныхъ фесокъ, синихъ куртокъ, маленькихъ черныхъ шапочекъ и ермолокъ, здѣсь цѣлая коллекція новыхъ нарядовъ. Група абхазцевъ въ черкескахъ съ газырями и черныхъ, надѣтыхъ на голову, капюшонахъ совсѣмъ похожа на маскарадныхъ капуциновъ. Недостаетъ только масокъ. Гурійцы въ шапочкахъ съ кисточками и красныхъ вышитыхъ пестрыми узорами курткахъ, перевязанныхъ широкими шелковыми поясами, ни дать ни взять — тореадоры. Нѣкоторые поверхъ этого костюма носятъ легкія черкески съ башлыками; башлыки надѣты на голову, какъ у абхазцевъ. У мингрельцевъ-бородачей на роскошной шевелюрѣ узорчатая «папаника», какіе-то лоскутки въ видѣ мотыльковъ, прикрывающіе только темя; они привязаны тесемкой, стянутой у подбородка. Въ третій классъ дѣзетъ пошатый, съ ястребинымъ бронзовымъ лицомъ, курдъ въ черной буркѣ и чалмѣ. Тутъ же нѣсколько татаръ и грековъ, нѣсколько евреевъ въ черкескахъ и опять имеретинцы и грузины въ національных костюмахъ, армяне и турки. Среди нихъ съ какимъ-то затеряннымъ видомъ толкается русскій солдатъ въ бѣлой блузѣ и фуражкѣ. Куда ни оглянешься — всадѣ типы и типы, кинжалы и кинжалы, — кинжалы на поясахъ, кинжалы и молнии во мрачныхъ взглядахъ. Знойный воздухъ будто наэлектризованъ. Въ толпѣ чувствуется нервный токъ и какое-то напряжение. Въ черныхъ глазахъ то и дѣло вспыхиваетъ, словно зарница, огонекъ. Обѣдаю въ этой костюмированной компаніи, чувствуя себя нѣсколько въ роли благороднаго иностранца. Съ лѣкшемъ-грузиномъ едва могу столковаться.

За Самтреди переѣзжаемъ Рюнь. Вечерѣтъ. Надвигаются тѣни. Силуэты ближнихъ горъ темнѣютъ, отдаленные таютъ въ голубомъ туманѣ. Они становятся все меньше, разбѣгаются воднистой грядой все дальше.

Въ одной половинѣ микста, кромѣ меня, только какая-то молодая болная армянка. Она все время мечется въ бреду, стонетъ и борется что-то на непонятномъ языкѣ. Въ другой половинѣ офицеръ и туземецъ въ красной фескѣ. Они разговариваютъ «на иностранномъ», по-грузински или армянски. Русской рѣчи почти не слышно.

Темно. Надъ горами изъ голубого тумана выплываетъ оранжевая луна.

Полное одиночество, глубокое одиночество, которое охватываетъ человѣка вдали отъ родины. Вспоминаю кровавые сны, которыя разыгрались здѣсь, въ этой волшебной долинѣ, всего семнадцать лѣтъ тому назадъ. Становится тяжело. А армянка все стонетъ и стонетъ. Паровозъ спокойно свиститъ — и это будитъ тревогу. Кондукторъ — какой-то подозрительный, вагонъ нашъ въ самомъ концѣ поѣзда. Того и гляди — нападутъ эти азіатскіе разбойники.

Минуемъ Кабулеты. До Батума еще двадцать верстъ. Слева лѣсъ и горы, справа безконечная темно-синяя равнина моря, залитая луннымъ сіяніемъ. Поѣздъ все время бѣжитъ надъ моремъ, по краю обрывистаго берега. Слышенъ ропотъ волнъ, вздымаются бѣлые гребни прибой, распылая серебристыми брызгами. Далеко впереди надъ моремъ горитъ огонь батумскаго маяка.

Подъ самымъ Батумомъ поѣздъ опять влетаетъ въ тунель; луна, лѣсъ, горы и море на мигъ исчезаютъ. Еще поворотъ — и опять, обогнувъ нефтяныя пристани съ темными лѣсомъ мачтъ, подходитъ къ вокзалу. Толпа такая же пестрая, какъ и въ Рюмъ; но здѣсь еще чаще попадаются фески турокъ и чалмы курдовъ. Картина совсемъ восточная.

Отсюда нѣсколько часовъ ѣзды до Азіатской Турніи.

ГЛАВА XXVII.

Батумскій дождь. — Въ гостиницѣ „Имперіаль“. — Русская Ницца. — Родина Демосфена. — Видъ города. — Бульваръ. — Александровскій паркъ. — Флора. — Отказъ отъ „бакшиша“. — Кто онъ? — Финансовыя размышленія на тему о старинной свѣчѣ. — На „Цесаревича“. — Пассажиры. — Береговая панорама Кавказа. — Океаніири. — Сухумъ — Кале. — Опять качка. — Новый Аонъ. — Гудать. — За обѣдомъ. — Пассажирскіе разговоры. — Адлеръ.

3-е сентября.

Просыпаюсь. Страшная канонада. Безпрерывный залпъ пушекъ. Кажется, будто турки бомбардируютъ Батумъ. Ударъ раздается почти мгновенно за каждой вспышкой молніи, ударъ отрывистый, безъ раската.

Тучи черныя, тяжелыя опустились совсѣмъ низко надъ городомъ. Летѣть тропическій дождь; густыя сѣрыя нити заволокли и горы, и море. Въ окно видна восьмиугольная мечеть съ высокими минаретами да часть улицы, по которой проѣзжаютъ извозчики, закутанные въ черныя резиновые плащи. На головахъ ихъ черныя круглыя и тоже резиновыя шляпы. Въ такихъ же плащахъ и шляпахъ прохожіе. Точно факельщики, сбѣгавшіе на похоронную процессію. Свѣжо. Пахнетъ осенью и Бѣлоруссіей. Батумъ давно конкурируетъ съ ней своей сыростью и дождями. Природа избрала его, какъ и Минскъ, излюбленнымъ мѣстечкомъ для мокрыхъ надобностей.

Входитъ номерной, молодой армянинъ, и, не говоря ни слова,

смотреть на потолокъ. Спрашиваю, что это значитъ. — «Сматру, если нѣтъ дождя». — Гдѣ? — «Здѣсь, сверху».

Я стою въ гостиницѣ „Имперіаль“, содержимой г. Бердзенишвили, или г. Бердзеневымъ, какъ онъ именуетъ себя въ объявленіяхъ, предназначенныхъ для туристовъ. Къ Бердзенишвили, пожалуй, не заѣдутъ русскіе, а къ Бердзенеvu — съ распростертыми объятіями. Гостиница большая, трехъэтажная, комфортабельная, на манеръ заграничныхъ. Ресторанъ помѣщается въ срединѣ зданія; освѣщеніе сверху; вокругъ — галерея и номера. Комнаты просторныя, свѣтлыя; обстановка почти роскошная. И, что удивительнѣе всего, клоповъ нѣтъ. Это, какъ говорятъ корреспонденты, нельзя не признать «отраднѣмъ явленіемъ», особенно имѣя въ виду близость Азіатской Турніи. Номеръ изъ двухъ комнатъ съ передней, полнымъ комфортомъ и видомъ на море стоитъ три рубля. Сравнительно съ цѣнами другихъ курсовыхъ городовъ — недорого: въ Батумѣ ежегодно бываетъ тысяча до двадцати пріѣзжихъ. Зданіе каменное, крыша желѣзная. А что дождь даже сквозь нее проникаетъ, въ виду мѣстныхъ архитекторамъ ставить нельзя: таково свойство батумскаго дождя.

Кромѣ „Имперіаль“, здѣсь еще нѣсколько такихъ же большихъ и хорошихъ гостиницъ, да столько же попроче и поменьше. Семнадцать лѣтъ тому назадъ, когда мы получили Батумъ отъ турокъ, въ немъ была тысяча жителей. Теперь насчитывается до двадцати пяти тысячъ. Портофранко въ нѣсколько лѣтъ создало изъ Батума очень приличный городъ. Портофранко закрыли, но другіе экономическіе рычаги продолжаютъ развивать ростъ города. Онъ „подходитъ“, какъ тѣсто на хорошихъ дрожжахъ, по часамъ. Закавказская дорога доставляетъ сюда десятки миллионѣвъ пудовъ груза; ихъ уноситъ въ море свыше тысячи судовъ. Здѣсь — главный передаточный резервуаръ для всей закавказской нефти. Какъ климатическая станція, Батумъ съ каждымъ годомъ привлекаетъ все больше больныхъ, несмотря на сырость, болота, которыя „осушаютъ“, и дождь, проникающій сквозь желѣзныя крыши.

Населеніе города очень пестрое. Кромѣ русскихъ и кавказцевъ, здѣсь до тридцати шести народностей, всего понемногу. Есть арабы и швейцарцы, нѣмцы и турки, датчане и греки, персіане и голландцы, итальянцы и шведы, англичане и евреи. Торговля въ рукахъ армянъ.

Городъ раздѣленъ на четыре полинейскихъ части, которыя продолжаютъ носить турецкія названія: Азизіе, Ахмедіе, Нуріе и Муфти-Меелесіе. Это приводитъ меня въ удивленіе. Нѣмецко-колонисты строятъ въ Россію свою колонію и сейчасъ же называетъ ее Лейпцигомъ или Мюнхеномъ; а русскіе, завоевавъ турецкій городъ, оставляютъ въ немъ турецкія названія (въ честь мечети и представителя турецкаго знатія), продолжая коверкать свой языкъ разными „муфти-меелесіи“.

Батумъ — это: русская Ницца или Соренто. Коронисъ — цикаи, живописный уголокъ въ окрестностяхъ города, признанъ профессо-

ромъ Вирховымъ одной изъ лучшихъ санитарныхъ станцій, даже сравнительно съ европейскими. Самымъ благоприятнымъ сезономъ для купанья считается осень; но можно купаться и круглый годъ: минимумъ температуры морской воды $+10^{\circ}$, максимумъ $+25^{\circ}$, средняя годовая $+14^{\circ}$. Наиболее сухое и тихое время года — съ октября по январь включительно, какъ разъ, когда на сѣверѣ Россіи свирѣствуютъ морозы. Отъ февраля до половины апрѣля — сезонъ дождей.

Въ срединѣ февраля воздухъ напоенъ ароматомъ фиалокъ. Къ полудню дождь унимается. Сажусь на извозчика-факеельщика и ѣду осматривать городъ. На время изъ черныхъ тучъ, будто подзадоривая, выглядетъ чудный синий клочекъ неба, брызнетъ снопы лучей — и опять спрячется. Городъ, окруженный живописными лѣсистыми горами, скрытыми до половины тучами, улыбнется и снова насупится. Сѣро-зеленое море колыхнется въ бухтѣ, покачивая корпусъ пароходовъ, врѣзавшихся носомъ въ самую улицу. Вокругъ бухты тѣснится старый городъ съ узкими переулками и низкими азиатскими домами. Онъ очень напоминаетъ уголокъ тифлискаго армянскаго базара. Тѣ же «кухмистерскія», курильни и кофейни. Этихъ кофейенъ здѣсь до сорока. Въ одной изъ прибрежныхъ улицъ мечеть и турецкая баня съ черными куполами въ видѣ усѣченныхъ ядеръ. Рядомъ со старымъ городомъ высятся стройные шпалеры домовъ новаго города; зданія все въ два-три этажа. Улицы мощенныя, видъ европейскій, магазины большіе. Дальше, вплоть до мыса съ Михайловскимъ укрѣпленіемъ, стѣны и башни котораго врѣзаются угломъ въ море, разворачиваются широкія улицы съ одноэтажными домами-особняками, тонущими въ роскошной зелени садовъ. Среди нихъ очень скромно выступаетъ единственная православная церковь. (Соборъ строится). За Михайловскимъ укрѣпленіемъ начинается бульваръ, раскинувшійся на цѣлую версту вдоль самаго берега моря. Я не видалъ лучшаго приморскаго бульвара. Главная прелесть его въ томъ, что онъ стелется въ уровень съ моремъ; оно подползаетъ почти къ его асфальту, лижетъ песокъ у его рѣшетки. Кажется даже, будто море выше бульвара, будто вся эта величественная водная равнина, повышающаяся къ горизонту, вѣругъ хлещетъ всей своей массой и заливаетъ его, и городъ.

А море сегодня, какъ нарочно, совсемъ бѣшеное. Грохотъ прибоя безпрерывный.

Волны вздымаются почти въ уровень съ молодой растительностью бульвара и разлетаются бѣлой туманной пылью по мягкому песчаному берегу. Не разберешь, прибой ли грохочетъ, громъ ли гремитъ. Вся kloкочущая пучина въ бѣлыхъ гребняхъ и пѣнѣ; вся она въ движеніи, то вздувается и пухнетъ, то опускается и морщится. На горизонтѣ море зеленого цвѣта; этотъ цвѣтъ, на фонѣ сизыхъ тучъ, получаетъ какой-то грозный и холодный колоритъ воды зимой.

Вблизи бульвара Александровскій садъ, устроенный лѣтъ пятнадцать тому назадъ вице-адмираломъ Греемъ по плану садовода д'Альфонса. Это — огромный паркъ, раскинувшійся у берега лимана Мееде, цѣлаго озера, отдѣленнаго отъ моря дамбой.

Зеленые газоны окаймлены широкими зигзагами дорожекъ. Въ этой благодатной, роскошной природѣ уживается альпійская флора вмѣстѣ съ японской, австралійской, гималайской и американской. Масса тропическихъ растений. Въ Батумѣ вѣчная зелень. Флора могучая, какъ и вообще въ Закавказьи; ростъ исполинскій. (Въ Кутаисѣ, напримѣръ, есть чинаръ пятнадцати аршинъ въ окружности). Подлѣ Батума — пальмовыя лѣса, апельсиныя и лимонныя роши, плантаціи хлопка, оливковъ и чайнаго дерева. Смоковница и гранаты съ румяными ядрами виднѣются въ каждомъ саду. Олеандры здѣсь «въ амплуа» живой изгороди. На берегу озера они разрослись точно верба.

Чинары, кипарисы, туи, лавры, мирты, айва, маслина, пальма, буксъ, эйкалиптусъ, ель, драцена, юка, бананъ, кедръ, мимоза, лагуа съ огромными, широкими темнозелеными бархатными листьями, магнолія — все это переплелось здѣсь въ такой чудный букетъ пышной зелени, такъ красиво обрисовывается фантастическими узорами, что чаруетъ даже на фонѣ пасмурнаго дня, подъ этимъ надоѣдливымъ дождемъ.

Агава, тотъ самый кактусъ съ длинными сѣро-зелеными толстыми листьями, который на сѣверѣ лезетъ въ теплицахъ, здѣсь достигаеъ въ грунтъ, на поляхъ, колоссальныхъ размѣровъ. Мой чичероне, маленький молодой грузинъ, говоритъ, что отъ нихъ не могутъ избавиться; срѣжутъ, а они опять растутъ. Нѣсколько экземпляровъ оставлено такъ себѣ, больше «для пріѣзжихъ». Недурна и дагура. Здѣсь она изъ небольшого дурмана, растущаго въ степяхъ Новороссіи, выросла въ цѣлое дерево; листья гигантскіе; цвѣты съ одуряющимъ ароматомъ. Но еще лучше бурьянъ, обыкновенный степной бурьянъ, похожій на свеклу; тутъ онъ превратился въ саженный кустъ съ малиновымъ стволомъ и зелеными гроздьями.

Есть и три чайныхъ кустика съ листьями, похожими на лавровые, и маленькими бѣлыми цвѣтками. Кустики зацвѣли; было раньше больше, да вымерли почему-то. Цвѣты пахнутъ парнымъ чаемъ.

Въ центрѣ сада — нѣсколько кедровъ и магнолій, посаженныхъ собственноручно покойнымъ Императоромъ Александромъ III и Царской Семьею въ 1888 году. Нынѣ царствующимъ Государемъ посажена *Cuniagamia langeolata*, стройное молодое дерево, похожее на ель. Дальше бигонія, гигантская канна, кустики іонимуса и букса (*buxus*), съ мелкими темнозелеными листиками мирты. Буксъ подстрижены въ видѣ шаровъ и конусовъ. Такими же красивыми овальными фигурами вырастаетъ изъ газона *ипірега*, похожая на можжевельникъ.

Магнолія обыкновенно цвѣтетъ въ іюнѣ. Но на огромномъ деревѣ, посаженномъ покойнымъ Государемъ, бѣлѣютъ два цвѣтка, величиной съ чайный стаканъ.

Грузинъ срываетъ ихъ и любезно преподноситъ мнѣ. Бѣлые фарфоровые съ серебристыми искорками цвѣтки издають опьяняющій ароматъ, напоминающій лилію, но болѣе острый и экзотическій.

У воротъ вынимаю нѣсколько серебряныхъ монетъ, чтобы поблагодарить моего проводника. Онъ смущенъ; денегъ не беретъ. Настаиваю. Отказывается. — Почему? — «Намъ нельзя». Убѣждаю его. Все напрасно. Я настолько пораженъ, что не могу скрыть своего изумления. За все мое путешествие по Россіи это первый проводникъ, который не только не изобразилъ на лицѣ ожиданья «чая или бакшиша», но прямо отказался. — Вы сами, можетъ-быть, садовникъ? — спрашиваю его. — «Нѣтъ, я такъ... работникъ».

Снимаю фуражку, благодарю и кланяюсь. Отѣхавъ, оглядываюсь. Онъ стоитъ неподвижно у воротъ подъ могучимъ платаномъ. Его приземистая фигура въ перешитой землей блузѣ и смуглое, обрамленное черной бородкой лицо, съ большими, не то печальными, не то смущенными глазами, врѣзаются въ память какой-то загадкой. Кто онъ? Одинъ изъ семидесяти тысячъ кутаисскихъ дворянъ, какой-нибудь князь, въ которомъ не умерла гордость предковъ? Или простой, съ еще не испорченной, дѣвственной душой горрецъ, сохранившій въ постоянномъ общеніи съ этой дивной природою чистоту духовную и презрѣнныя къ деньгамъ? Или безвольный рабъ, привыкшій изъ поколѣнья въ поколѣнья безропотно исполнять все, что ему прикажутъ?...

А природа, дѣйствительно, сказочно хороша. Несмотря даже на эту несносную погоду, она уноситъ воображеніе въ волшебный міръ «Тисячи и одной ночи».

У Батума устье рѣки Чорохъ, мчащей свои воды изъ Турціи въ Понтъ. Нѣкоторые доказываютъ, что въ древности не Ріонъ, а именно Чорохъ назывался Фазисомъ, и что къ его устью пристали аргонавты, стремившіеся въ Колхиду за золотымъ руномъ. Когда-то, какъ говорятъ армянскіе лѣтописцы, вблизи Чороха были золотые рудники. Течение его настолько быстро, что въ половодье нагруженный каюкъ, если вѣрнѣе разскажутъ туземцевъ, пролетаетъ въ три часа свыше восьмидесяти верстъ.

Все прошло. Теперь на территории древней Колхиды, по батумскимъ улицамъ прогуливаются потомки аргонавтовъ и Демосоена, который, какъ предполагаютъ нѣкоторые историки, былъ уроженецъ Батума, существовавшего еще въ V вѣкѣ до Р. Х.; но эти потомки ужъ не задаются героической цѣлью—добывать колхидское золото. Имъ, какъ и другимъ народамъ, явившимся въ этотъ райскій уголокъ, довольно и русскаго золота. Новые аргонавты — въ европейскіхъ костюмахъ и красныхъ фескахъ—трусся бокомъ-о-бокомъ съ турками въ синихъ курткахъ и чалмахъ. А рядомъ толкуются русскіе солдаты, со скукой гарнизонной жизни на загорѣлыхъ лицахъ.

Въ одиннадцать часовъ ночи собираюсь на пароходъ. Подаютъ счетъ. Въ этомъ счетѣ господишъ Бердзенева обнаруживается, что онъ настоящий Бердзенишвили. Двѣ свѣчи, которыя, кстати сказать, только надгорѣли, такъ какъ я сейчасъ же по приѣздѣ легъ спать, оценены въ сорокъ копѣекъ. Это тогда, когда фунтъ свѣчей стоитъ двадцать двѣ копѣйки и когда рядомъ по батумскимъ улицамъ развозятъ керосинъ въ сорокаведерныхъ бочкахъ съ надписью: «пудъ—двадцать пять копѣекъ».

Буду на пристанѣ подъ тропическимъ дождемъ, размышляя на тему о тифлисскихъ персикахъ, кутаисскихъ дворянахъ, невольномъ стегариновомъ товариществѣ, саратовской дамѣ, съ ея жалобой на недохватъ дворянъ, и нашемъ экономическомъ «дезансамблѣ».

Черный корпусъ «Цесаревны» колыхнется у гранитной набережной. Сходни пошатываются, палуба то опускается, то подымается и пухнетъ подъ ногами. Якорная цѣпь надоѣдливо стучитъ и визжитъ. За бухтой слышится грозный ревъ и шипѣнье моря.

Лужановъ здѣсь. Онъ сейчасъ прибылъ съ поѣздомъ. Беру билетъ.

До Ялты круговымъ рейсомъ въ первомъ классѣ—тридцать рублей съ продовольствіемъ. Это не дорого. Плыть придется почти четверо сутокъ вдоль береговъ Кавказа и Крыма. Перспектива морской болѣзни не такъ пугаетъ меня: укачаетъ—высажусь въ какомъ-нибудь попутномъ портѣ. Кромѣ того, у меня флакончикъ съ мятнымъ масломъ. Я рѣшилъ испытать это средство. Отъ тошноты оно помогаетъ отлично.

«Цесаревна»—одинъ изъ большихъ пароходовъ русскаго общества пар. и торг., но спс не ремонтированный со времени постройки, т.е. съ начала семидесятыхъ годовъ. Это общество забрало Черное море въ такую же монополію, какъ «Кавказъ и Меркурій» Каспійское. Оба они одинаково «важны», одинаково смотрятъ на публику, какъ на нѣчто побочное, и устраиваютъ отъ поры до времени катастрофы; въ послѣднемъ, впрочемъ, пальма первенства все-таки остается за черноморскимъ обществомъ. Юньская трагедія съ «Владиміромъ» окончательно упрочила за нимъ эти лавры.

Длина «Цесаревны»—около тридцати семи саженей, безъ малаго колокольня Ивана Великаго; ширина—семь саженей, высота—до четырехъ. Пароходъ трехпалубный. Въ первомъ классѣ пятьдесятъ восемь пассажирскихъ мѣстъ, во второмъ—пятьдесятъ шесть, въ третьемъ—пятьсотъ.

Первый классъ въ среднемъ этажѣ, на второй палубѣ. Занимаю каюту вмѣстѣ съ Лужановымъ. Звонковъ нѣтъ. Освѣщается пароходъ масломъ. Официантъ, типичный хохоль въ ливрейномъ сюртукѣ, говоритъ по этому поводу невозмутимо:

— А онъ дѣлался еще тогда, якъ звонковъ не было. Зимой будутъ передѣлывать, все новое дадутъ, и звонки, и паръ.

Плѣты магноліи разливаютъ въ каютѣ одуряющій ароматъ. Лужановъ протестуетъ и нервничаетъ. Отдаю ихъ на храненіе лакею.

Въ первомъ классѣ публики немного, человѣкъ двадцать. Въ рубкѣ—штабной офицеръ-кавказецъ, владѣлецъ нефтяныхъ источниковъ, пожилой господинъ въ шпатскомъ и бѣлой фуражкѣ съ кокардой, на видъ—отставной чиновникъ пятого класса, и какой-то среднихъ лѣтъ шушлый брюнетъ съ окладистой бородкой и въ темныхъ очкахъ, не то художникъ, не то «спеціальный» корреспондентъ; черная фетровая шляпа и накинутый на плечи плащъ какъ будто подчеркиваютъ эту его «художественность». Говорить, впрочемъ, о какихъ-то своихъ тамбовскихъ имѣніяхъ. Подлѣ него си-

дять два армейских офицера. Немного погодя сюда же является сѣдой, оранжистый адмиралъ и полная, величественная адмиралыша. Это нѣсколько подтягиваетъ компанію. Офицеры «оправляются». Еще позже черезъ рубку проходитъ въ каюты молодой грузинка, въ национальномъ костюмѣ, со старухой матерью.

На палубѣ темно. Тамъ одиноко прогуливается помощникъ капитана.

— Что, покачать-таки насъ? спрашиваю. Угрюмый морякъ цѣдитъ безразлично, сквозь зубы:— Да, покачать немного.— А въ Поти зайдемъ?— Это смотря... Трудно отсюда выбраться. Таковъ этотъ портъ. Негдѣ повернуться. Восемь милліоновъ убухали на него, а проку никакого. При нордъ-вѣстѣ и входить опасно; проходъ узкій, наѣзаться можно.

Ревъ гудка. На пристани движутся силуэты, у канатовъ суетятся матросы. Раздается команда. «Цесаревна», колыхнувшись, отодвигается отъ набережной. Бухты обступили черныя массы горъ, обрисовываясь загадочными волнистыми линиями на фонѣ неба. Лучу заволокли тучи. Огненные гирлянды огней движутся вдоль города, убѣгая во мглу.

4-е сентября.

Звонять. Вспоминается пансіонъ, когда приходилось вставать подъ такой же надоедливый звонокъ. Это зовутъ къ чаю. Онъ подается отъ семи до девяти.

Ночью миновали Поти. Теперь подходимъ къ Очамчирямъ. Море темно-синее съ зеленымъ отливомъ. Маленькій поселокъ ютится у берега на песчаной равнинѣ. За нимъ отвѣсная стѣна зеленыхъ горъ; выше горъ ярко-бѣлая гряда снѣговыхъ вершинъ. Она заслонила весь востокъ и особенно рельефно выдѣляется на фонѣ зеленыхъ береговъ и синяго неба. Контуры вершинъ вырисовываются легкими фантастичными формами, разворачиваются безконечной панорамой. Кажется—весь Кавказскій хребтъ повисъ въ воздухѣ, холода и смерти, величественнымъ и неприступнымъ, и глядитъ отсюда съ ледяной и торжествующей улыбкой на покоренное человѣкомъ море. Въ сіяніи снѣговыхъ вершинъ есть что-то напоминающее другой міръ, чуждый землѣ, мертвый міръ луны. Но, все-таки, какъ онѣ хороши въ своихъ причудливыхъ формахъ, похожихъ то на сказочные замки, то на города, засыпанные снѣгомъ. Даль придаетъ имъ воздушность, и вершины, видимыя за сто верстъ, нельзя даже вооруженнымъ глазомъ отличить отъ облаковъ. Двигутся зеленые берега, движутся горы, плывутъ снѣговые вершины, а навстрѣчу имъ несутся такія же бѣлыя и легкія облака. Полная фантазморія.

Машину застопориваютъ. Пароходъ пошатывается. Качка сильная. Но на меля она почти не дѣйствуетъ. Мутитъ только немного. Изъ Очамчиръ къ намъ плывутъ баркасы. Турки въ красныхъ фескахъ и абхазцы, съ намотанными на головы черными башлыками, дружно гребутъ. Баркасы взлетаютъ высоко на гребни и вдругъ

исчезаютъ въ пучинѣ. Съ парохода подають трапъ и бросаютъ канатъ. Одинъ изъ гребцовъ отважно и ловко ловить его. По трапу, пошатываясь, сходятъ пассажиры. Баркасы то прибиваетъ, то отгонитъ. Они бьются бортами о бокъ парохода, ныряя и накрениваясь. Гребцы напрягаютъ всѣ силы, чтобъ удержаться. Волны яростно мечутся, заливая баркасъ.

Плывемъ. Баркасы уже далеко. Бурная стихія то выбрасываетъ, то поглощаетъ ихъ. Они кажутся уже крошечной скорлупой.

Береговая панорама разворачивается въ нѣсколькихъ верстахъ отъ насъ. Серебристыя вершины Абхазскихъ горъ то приближаются, то отодвигаются, исчезая въ дымкѣ. Зеленые ппалеры береговъ изгибаются углами, въ которыхъ синѣютъ глубоіиыя ущелья. Надъ лѣсами вырастаютъ неприступной твердией грозныя скалы, похожія на крѣпости, висятъ утесы-великаны. А еще выше опять выплываютъ снѣговія вершины, опять строятся въ какіе-то бѣлые сказочные замки и города.

Въ полдень мы у Сухумъ-Кале. Но къ берегу не подходимъ. Въ бухтѣ тихо. Вода зелено-голубого цвѣта. Горолокъ имѣетъ очень уютный видъ. Онъ раскинулся амфитеатромъ у подножія горъ, обступившихъ его и бухту съ трехъ сторонъ. Въ центрѣ его возвышается красный съ зеленымъ куполомъ соборъ; правѣ, къ окраинѣ, казармы и бѣлыя палатки лагеря. Надъ городомъ изъ зелени садовъ заманчиво выглядываетъ нѣсколько хорошенекихъ дачъ. Флора здѣсь почти батумская, но зима свѣжѣе. Зато климатъ здоровѣе. Вблизи города источники съ цѣлебными свойствами Нарзана; но пока они еще мало изслѣдованы. Въ послѣднюю войну турки разрушили городъ бомбардировкой.

Плывемъ вдоль береговъ дальше. Снѣжныя вершины все бѣгутъ за нами нескончаемой серебристой грядой.

Останавливаемся у Нового Аона. Монастырь ютится въ ущельѣ высоко надъ берегомъ. Бѣлые корпуса церквей ярко выдѣляются на темной зелени дремучихъ лѣсовъ, покрывающихъ сплошными ковромъ горы. Главный корпусъ у скалы; это—большое сѣрое зданіе съ бѣлой крышей и нѣсколькими куполами. Ниже, ближе къ берегу, гостиницы и еще груша какихъ-то построекъ; на берегу часовни. Горы, горы и горы; всѣ онѣ сверху и до низу, до самаго моря, задрапированы зеленью. Слѣва на высокой горѣ тоже виденъ монастырь и сѣдая развалина генуэзской башни. Паконецъ-то и на Кавказѣ оказалась хоть одна башня, постройку которой не приписываютъ Тамарѣ.

Облака плывутъ ниже горъ, висятъ на утесахъ и ущельяхъ.

За Новымъ Аономъ снѣговія вершины вдругъ исчезаютъ.

Сегодня игра моря не поддается описанію, и даже кисть Айвазовскаго была бы безсилна справиться съ капризными переживаниями его красокъ. Если бы художникъ рѣшился изобразить эти краски на картинѣ, ему бы не повѣрили, его осмѣяли бы. А между тѣмъ вся водная равнина кажется полосатымъ шелкомъ, то зеленымъ, то

бирюзовымъ, то синимъ, то прозрачно-изумруднымъ, то, наконецъ, почти чернымъ съ серебристой бахромой гребней.

За парохомъ бѣлѣтъ вспѣнный широкій слѣдъ, искрся на солнцѣ.

Въ Гудаутѣ море становится вдругъ молочнымъ съ зеленымъ отливомъ. Волнение продолжается. Къ берегу, благодаря этому, опять не пристаеиъ. Къ намъ плывутъ три баркаса. Картина борьбы человѣка со стихіей захватываетъ. Гребцы дружно опускаютъ весла, видимо напрягая всю энергію. Четверть часа баркасы бьются у парохода; ихъ то уноситъ, то прибываетъ волной, то опрокидываетъ. Съ парохода кричатъ, бросаютъ канаты. По трапу надъ kloкоучей бездной сходятъ пассажиры. Какая-то баба-грузинка ссорится съ матросомъ. Крикъ, перебранка, суета. Внизу гребцы употребляютъ нечеловѣческія усилія, чтобы удержать баркасы на мѣстѣ; ихъ stalkиваетъ, потомъ уноситъ, канатъ ускользаетъ изъ рукъ, волна залиываетъ. Двухъ пассажировъ укачало. Головы ихъ безсилно свѣсились за борть баркаса. Вотъ-вотъ ударить о пароходъ. Мы отсюда кричимъ, чтобы ихъ берегли. Шумъ и ропотъ моря заглушаютъ голоса. Грузинка все визжитъ и ссорится. Ее насильно ташатъ по трапу матросы. Цѣлые полчаса продолжается этотъ адъ надъ сверкающей подъ яркими солнечными лучами пучиной.

Звонко. Зовутъ къ обѣду. Въ салонѣ, со стѣнами, облицованными краснымъ деревомъ и зеркалами, собралось всего человѣкъ восемь. Это придаетъ пустынный видъ огромному помѣщенію, уставленному нѣсколькими столами, стеганными малиновымъ бархатомъ диванами вдоль стѣнъ, пьянино и буфетомъ у входа.

Изъ дамъ появилась одна адмиральша. Изъ мужчинъ—адмиралъ, два офицера, «отставной чиновникъ» 5 класса, оказавшійся помѣщикомъ изъ-подъ Новочеркаскъ Вышкинымъ, «художникъ», Лукашовъ да я. Капитанъ предсѣдательствуетъ. Адмиральша, какъ морская дама, не признаетъ качки. При ея полнотѣ и дебелости, это даже удивительно: говорятъ, полныхъ и здоровыхъ укачиваетъ легче, чѣмъ худыхъ. Компания мужчинъ, сидящихъ за столами, какъ будто подтверждаетъ это правило: ни одного полного. Лица утратили свой здоровый цвѣтъ: они блѣдно-зеленыя. Качка томитъ даже тѣхъ, кто не подверженъ морской болѣзни. Ветераны-моряки—и тѣ не легко выносятъ ее. Отъ этого, можетъ-быть, ипохондрическое настроеніе такъ свойственно записнымъ мореходамъ. Нашъ капитанъ, бравый, представительный старикъ, десятки лѣтъ плаваешь, а и онъ сегодня къ завтраку не вышелъ, извинившись нездоровьемъ. И теперь, видимо, крѣпится. Очертѣло, я думаю, всю жизнь ходить и дѣйствовать на вѣчно колеблющейся площади. У лакеевъ тоже лица сѣро-зеленыя, съ вытянуто-серьезнымъ, безстрастнымъ выраженьемъ.

Кормятъ на «Цесаревнѣ» прекрасно. Завтракъ—изъ двухъ блюдъ съ десертомъ; обѣдъ—изъ пяти, съ закуской, пирожками, водкой, десертомъ, сырами, конфетами и кофе. Кухня французская.

На столѣ рамка изъ красного дерева. Толстыя, тяжелыя тарелки,

бутылки и стаканы помѣщены въ перегородкахъ точно въ футлярѣ погребца. Несмотря на это, супъ проливается, бутылки опрокидываются. Лакеи лавируютъ, пошатываясь и неестественно шагая. Хорошая школа для акробатовъ и эквилибристовъ.

Адмиральша сидитъ противъ меня. Она то опускается, то подымается. Однако, это нисколько не смущаетъ ее. Меня мутитъ.

Штабной офицеръ оказывается нефтенпромышленникомъ и винодѣломъ. Въ имѣніи его недавно открылся нефтяной фонтанъ. Бѣднъ съ какимъ-то французомъ показатъ ему и продать.

— Ахъ, у насъ иностранцы, на Кавказѣ вездѣ все забираютъ иностранцы,—говоритъ адмиральша.

— Что-жъ подѣлать! Наши нижегородскіе спасители отечества знать насъ не хотятъ... Вотъ и вино свое я продаю французамъ... И все такъ будетъ. Выбора другого нѣтъ: или французы, или скупщики-армяинъ...

— А вамъ и подѣломъ,—отзывается «художникъ».—Надо самимъ сдѣлать починъ, повѣсить культуру винодѣлія, придумать какой-нибудь синдикатъ, что ли. Посмотрите на сахарозаводчиковъ. Вѣдь выскочили въ люди. А вы вотъ свое чудное вино продолжаете въ этихъ безобразныхъ бурдюкахъ развозить.

На палубѣ дѣйствительно лежитъ нѣсколько бурдюковъ съ кахетинскимъ. Ихъ доставили въ Сухумъ. Они совсѣмъ похожи на голыя свиньи туши съ растопыренными ногами.

— Развозимъ-съ потому, что иначе не выносить перевозку и кинуть-съ,—отрѣзываетъ офицеръ.

— А вы бы научились выдѣлывать его такъ, чтобы не кисло-съ,—отвѣчаетъ не безъ аллюба «художникъ».

— А вы бы вотъ устроили у насъ училища винодѣлія, горные институты, университеты—мы бы и научились. Шутка ли сказать: Кавказъ производитъ ежегодно до двѣнадцати миллионъ ведеръ вина, почти на шестьдесятъ миллионъ рублей,—и не имѣетъ школы, гдѣ бы можно было поучиться, какъ выдѣлывать это вино; Кавказъ на десятки миллионъ рублей вывозитъ хлѣба—и не имѣетъ своей сѣльско-хозяйственной школы; Кавказъ снабжаетъ и Россію, и всю Европу своей нефтью на десятки миллионъ, своими минеральными богатствами—и не имѣетъ горнаго института...

— Ахъ, вы совершенно правы,—отзывается адмиральша.—И все у насъ такъ. Ничего мы сами не умѣемъ сдѣлать. Или вотъ хоть бы возьмите эти шведскіе складные домики. Сколько у насъ своихъ лѣсовъ, а мы и тутъ не догадались. Вотъ мы съ мужемъ нынѣшнимъ лѣтомъ кушили такую дачу и сложили ее себѣ въ Батумъ. И что-жъ? Очень удобно. Въѣсто того, чтобы платить каждый сезонъ за квартиру, мы имѣемъ собственную складную дачу изъ четырехъ комнатъ. Приѣхали—сложили, уѣхали—разобрали, приѣхали—опять сложили. Главное—гигіенично, чисто, ни этихъ наскомохъ, ничего, и все это удовольствіе стоитъ восемьсотъ рублей... Не правда ли—остроумно? А мы вотъ не догадались—и шведы успѣли получить привилегію. Устроившись на этой напей

дачѣ, я какъ-то писала своей подругѣ: ma chère, я пишу тебѣ среди индiйской флоры Батума, на грузинской землѣ, сидя на вѣтскомъ стулѣ, въ гнѣздышкѣ, събѣданномъ пиведами... n'est-ce pas?

— Совершенно вѣрно!—подхватываетъ художникъ въ тонъ.—Или вотъ наши горы, этотъ Казбекъ или Эльбрусъ. Никакихъ удобствъ для туристовъ. А посмотрите, что дѣлается въ Швейцарiи, напри- мѣръ—на Юнгфрау...

— Ахъ, Юнгфрау!—восклицаетъ адмиралыша, вырастая надъ сто- ломъ.—Вы тамъ были?

— Какъ же! Я выходилъ на Юнгфрау. Два съ половиной дня всходилъ... Знаете, съ альпенштокомъ и въ альпiйскихъ сапогахъ. Какъ же. Внизу, знаете, въ отелѣхъ, вся Европа смотритъ: слѣдятъ за вами въ бинокли, потомъ отмѣчаютъ на картахъ булавками. Какъ же, даже пари идутъ на того или другого ходока, все равно—какъ на скачкахъ. Ну, я поднялся, былъ уже у самой вершины—и вдругъ съ пятидесятисаженной высоты полетѣлъ...

— Съ пятидесятисаженной высоты?—ужасается адмиралыша.

— Представьте себѣ! Къ счастью, скала была не совсемъ отвѣсная... И потомъ снѣгъ... Даже довольно мягко, какъ же! Что-жъ, я, не унывая, началъ карабкаться вторично. И таки до самой верши- ны добрался.

— До самой вершины?

— Какъ же! Ну, конечно, потомъ, когда я сошелъ внизъ, меня встрѣтили съ помпой, всѣ вышли изъ гостиницъ, впереди оркестръ... Тамъ у нихъ всегда это такъ дѣлается...

Какъ ни качаетъ, у нѣкоторыхъ по лицу пробѣгаетъ улыбка, довольно, впрочемъ, кислая. Павосъ художника, однако, вдругъ исче- заетъ, когда штабной офицеръ начинаетъ довольно скромнымъ то- номъ рассказывать адмиралу о своей командировкѣ на Памиры, о подъемѣ на памирскiе ледники и съемкѣ плановъ. Художникъ по- глядываетъ на него подозрительно, какъ на конкурента, пытающагося отнять у него пальму первенства.

Вечеромъ мы у Адлера. Опять подлѣ парохода безпомощно ныряютъ баркасы. По ясну, прозрачному небу плыветъ луна. На волнистой береговой линiи, подернутой голубой дымкой, мигаютъ огоньки.

Локочущая необозримая даль моря до самаго горизонта залита расплавленнымъ серебромъ.

ГЛАВА XXVIII.

Кавказъ исчезаетъ. — Новороссiйскъ. — Еленаторъ. — На керченскомъ рейдѣ. — Керчь. — Призраки Пантикалеи и Босфорскаго царства. — Новые пассажиры. — За завтракомъ. — Разговоры. — Осодосiя и ея «добрый гений». — Гдѣ готовится Черное море? — Вдоль крымскихъ береговъ.

5-е сентября.

Ночью мы минули Сочи, Туансе и Джубгу. Абхазскiя горы исчезли. На смѣну имъ выросла снѣговая гряда другихъ вершинъ

Кавказскаго хребта. Дивная береговая панорама продолжаетъ раз- ворачиваться нескончаемыми картинками.

День свѣтлый, море все клокочетъ, переливая радугой красокъ, и только когда солнце прячется за тучи, оно вдругъ становится чернымъ и грознымъ, яростно шипя и заливая колышущийся паро- ходъ высокими волнами.

«Цесаревна» то приближается къ берегамъ, то удаляется. Кав- казъ то вырастаетъ надъ нами, то исчезаетъ въ голубой дали, заман- чиво улыбаясь и будто подзадоривая. Что-то неотразимо влечетъ туда, къ этимъ нѣжнымъ, воздушнымъ, какъ мечта, контурамъ, ка- жущимся легкимъ голубымъ покровомъ, за которымъ прячется ска- зочный мiръ Кавказа. Этотъ мiръ промелькнулъ предъ мною какъ какой-то волшебный сонъ, который снится иногда человѣку точно для того, чтобы смутить его несбыточной мечтой и пробудить въ душѣ жажду какой-то иной, еще невѣдомой жизни. Я чувствую, будто Кавказъ, съ его могучей фантастической природой, съ его красотой и величiемъ, съ его тайнами и сказками горъ, съ его яр- кимъ племеннымъ калейдоскопомъ, заслонилъ и русскую степь съ ея раздольемъ, и красавицу Волгу, и Каспiй... Есть въ иныхъ кни- гахъ страницы, написанныя такими яркими красками, что предъ ними все остальное блѣднѣетъ и невольно хочется перечитывать ихъ. Кавказъ—одна изъ такихъ страницъ въ книгѣ природы. Если мiръ былъ сотворенъ въ шесть дней, на созданiе этого волшебнаго края ушелъ по крайней мѣрѣ одинъ день.

«Цесаревна» входитъ въ новороссiйскую бухту. Здѣсь—полное затишье; бухта кажется какимъ-то швейцарскимъ озеромъ; со всѣхъ сторонъ ее окружаютъ горы, то голыя, то въ лѣсахъ и скалахъ. Но затишье это обманчиво и портъ очень опасенъ, когда свирѣп- ствуетъ «бора», съверо-восточный вѣтеръ. Онъ не разъ прераспалъ въ шепки суда, стоявшiя здѣсь на рейдѣ. Теперь два мола огибаютъ портъ двухверстной дугой, защищая его отъ бора.

Справа отъ бухты, къ востоку, въ ущельѣ лѣпится крошечный городокъ съ виноградниками и фабричными зданiями. Это черно- морской цементный заводъ. Ниже его—паровой бондарный заводъ со сложенными въ сѣрые конусообразные стоги клепками. Противъ входа въ бухту, за эстокадою, выступаетъ громадное зданiе элевато- ра съ грандиознымъ центральнымъ корпусомъ въ шесть-семь эта- жей. Подлѣ него гѣсится «новый городъ», группа большихъ до- мовъ; они принадлежатъ французскому обществу «Русскiй Стан- дартъ», занимающемуся эксплуатацией нефти. Вдоль французскаго го- рода длинныя ряды амбаровъ и складовъ, примыкающихъ къ эсто- кадѣ. Слева отъ бухты у подножiя горы раскинулся Новороссiйскъ. Видъ—небольшого уѣзднаго городка, съ маленькими домами, пылью, немногими улицами и бѣдной растительностью. Что-то напоминаетъ Петровскъ. Въ центрѣ небольшая и единственная церковь. Соборъ, конечно, «еще строится». Сразу угадываешь, что рычагъ жизни не тамъ, а здѣсь, во французскомъ городѣ и у элеватора, за кото- рымъ виситъ вокзалъ.

Собираемся командией осматривать Новороссийск. Сначала отправляемся в старый город. Он имеет совсем заштанную и захолустную физиономию. Улицы грязны, ноги вязнут в песке; магазины маленькие; торгуют армяне, но уже вперемежку с русскими. Туземцев, папах и чересок не видать. Зато на улицах, несмотря на пошлѣнникъ, попадаются пьяные. Это все рабочие с пристани и заводов. Сориризомъ в этой обстановкѣ является перепачканный ваксой мальчуганъ, «чистильщикъ» сапоговъ, выскочившій откуда-то изъ-за угла. Это—въ Новороссийскѣ, гдѣ шагъ нельзя ступить, чтобы не перепачкаться пылью и болотомъ. Новороссийскій комфортъ и цивилизация настолько поражаютъ насъ, что мы приносимъ ей дань и отдаемъ свои ноги в распоряженіе «наводителя культурнаго лоска». Онъ съ необыкновеннымъ усердіемъ плюетъ на щетку и треть, треть, треть до изнеможения.

Зато французскій городъ, или «новый», несмотря на то, что существуетъ всего нѣсколько лѣтъ, имеетъ и мостовыя, и телефонъ, и почтово-телеграфную контору, и первоклассную гостиницу съ рестораноми. Все это, конечно, сколочено тоже на скорую руку, по-американски, но еще голѣ-другой—и городъ, весь въ новыхъ постройкахъ, станетъ однимъ изъ уютныхъ культурныхъ уголковъ Кавказа.

Главнымъ залогомъ будущности Новороссійска является все-таки элеваторъ, построенный по проекту инженера Шенсновича и обошедшійся что-то до десяти милліоновъ. Это житница, чрезъ которую направляется хлѣбъ почти всего Сѣвернаго Кавказа. Въ прошломъ году изъ новороссійскаго порта вывезено до тридцати милліоновъ пудовъ только зерновыхъ продуктовъ.

Чтобы судить о размѣрахъ этого грандіознаго сооруженія, надо не забывать, что онъ вмѣстѣ съ сѣбью рельсъ, окружающей его, занимаетъ нѣсколько десятковъ десятинъ. Зданія, примыкающія къ главному корпусу, представляютъ такой лабиринтъ, забаррикадированный со всѣхъ сторонъ цѣлою товарныхъ вагоновъ, что намъ приходится употребить чуть не полчаса времени, чтобы пробраться къ центру, къ этой многоэтажной громадѣ. Подлѣ нея виситъ гигантская труба отъ электрическаго отдѣленія. Вокругъ—двухъ-этажные и трехъэтажные дома-особняки. Это—разныя запасныя отдѣленія, конторы, помѣщенія для служащихъ. Отъ элеватора тянется на полторы версты, до самой пристани, крытый рукавъ, то деревянный, то каменный, со множествомъ окошечекъ; по этому рукаву зерно пересыпается изъ центрального корпуса прямо на пароходъ, за полторы версты отсюда. Весь громадный и сложный механизмъ элеватора приводится въ движеніе электричествомъ. Освѣщеніе во всѣхъ зданіяхъ тоже электрическое.

Проводникъ-сторожъ сначала ведетъ насъ въ подземелье, гдѣ помѣщается машинное отдѣленіе. Сходимъ по лѣстницамъ, пробираемся какими-то узкими, мрачными переходами. Свѣча еле освѣщаетъ круглыя ступени. Въ мудреной системѣ механизма и не разбираешься; шестерни, стержни, рычаги, блоки, передающіе двигатель-

ную силу снизу до самой крыши,—похожи на желѣзный скелетъ какого-то чудовища. Карабкаемся наверхъ, минуемъ одинъ этажъ съ громадными залами, другой, третій, входимъ въ отдѣленіе для сыпч. зерна. Полъ цементный; въ немъ тянутся рядами небольшія отверстія; подъ каждымъ—цистерна для зерна, цѣлый резервуаръ, вмѣщающій нѣсколько тысячъ четвертей хлѣба. И такихъ отдѣленій нѣсколько, не считая особыхъ помѣщеній для взвѣшиванія, чистки и сушки зерна, разныхъ вентиляторовъ съ гигантскими ремнями, снабженными жестяными коробочками, въ которыхъ хлѣбъ перетаскивается изъ нижнихъ этажей въ зернохранилища или сушильни. Милліоны пудовъ зерна, поступающіе въ элеваторъ, взвѣшиваются, очищаются, сортируются и распределяются по этажамъ механическимъ двигателемъ. Въ длинномъ рукавѣ—корридорѣ, проведенномъ къ пристани, тянется безпрерывная ременная лента. По ней зерно переносится прямо на пароходъ нескончаемымъ потокомъ. Еще выше—опять машинное отдѣленіе, опять сложная система рычаговъ, колесъ и лентъ, движущихся по приводу, передающему силу откуда-то снизу. Весь элеваторъ кажется какимъ-то живымъ организмомъ, съ такой сложной циркуляцией и системой артерій, что невольно становишься втупикъ. И этотъ организмъ во власти нѣсколькихъ человекъ, нажимающихъ электрическія кнопки, производя въ одинъ день работу, которую тысяча людей не могла бы выполнить въ нѣсколько дней.

6-е сентября.

Утро. «Цесаревна» колыхается въ Керченскомъ проливѣ. Слѣва отъ насъ—берега Крыма, справа—Кавказа, слѣва Керчь и Еникале, справа полуостровъ Тамань. За мысомъ, который облѣпили каменные кубики Еникале, начинается Азовское море, злѣсь—Черное.

Въ пристань мы не заходимъ, а стоимъ на рейдѣ въ верстѣ отъ города. Къ намъ выѣзжаетъ небольшой юркій пароходъ «Баба», который забираетъ пассажировъ и грузы.

«Цесаревна» запоздала противъ расписанія; благодаря этому, и въ Керчь не удастся заглянуть.

Кое-кто изъ пассажировъ ворчитъ, заявляя помощнику капитана протестъ.

— Помилуйте, что-жъ это такое? Скажите, почему вы этотъ рейсъ круговымъ называете?

— Потому, что во всѣ порты заходимъ,—отрѣзываетъ угрюмо помощникъ капитана.

— Хорошо—во всѣ! До сихъ поръ изъ десяти портовъ зашли только въ одинъ Новороссійскъ. Даже въ Сухумѣ не приставали.

— Мнѣ надо было въ Анапу,—жалуется другой пассажиръ, спѣша на «Бабу»,—а меня высаживаютъ въ Керчь.

— Вы знаете, что въ Новороссійскѣ было получено штормовое предостереженіе, и въ Анапу мы не могли зайти.

— Вѣрно груза не было,—замѣчаетъ кто-то.—Теперь жди въ Керчи другой круговой пароходъ. А если опять получится шторм-

мовое предостережение, то снова вместо Анапы очутишься в Новороссийск.

— А тамъ опять предостережение, и опять мимо Анапы въ Керчь...

— Очень ужъ облыблись здѣсь, вотъ что, — говоритъ пассажиръ, успѣвши перебраться на «Бабу» и очутиться въ власти начальства «Цесаревны». Кажется, даже телеграмками извѣщаютъ объ этомъ. Есть грузы — заходить, а нѣтъ — что за интересъ! Что какой-нибудь тамъ одинъ пассажиръ пострадаетъ — имъ что! Зато ихніе интересы соблюдены и угля меньше выйдетъ. А тамъ, гдѣ груза много, пробарахтаются и два-три часа лишнихъ. — Не бѣда. Пассажиры должны все терпѣть. Штормовое предостереженіе! Да вы мнѣ позвольте сюда это штормовое предостереженіе. А то мало ли что можно выдумать... да-съ!

«Баба» свиститъ, заглушая голосъ протестанта и унося его къ берегамъ Крыма, на которыхъ онъ никакъ не предполагалъ быть сегодня. Обыкновенный маленький сюрикъсъ господина Понта Эвксинскаго и Р. о. п. и. т.

Керчь раскинулась маленькимъ Неаполемъ у подножія горы Митридатъ, бѣлѣя каменными кубиками на фонѣ обнаженныхъ окрестностей, то песчаныхъ, то буроватыхъ. Отсутствие растительности придаетъ городу безжизненный видъ. На вершинѣ горы Митридатъ высится красивая колоннада, нѣсколько похожая на Гесеевъ храмъ въ Акрополѣ. Ниже виднѣются какія-то руины. Несмотря на большіе европейскія зданія и лѣсъ махтъ у пристани, городъ кажется выросшимъ изъ пепла, на развалинахъ прошлаго. Таинственная атмосфера этого прошлаго какъ будто носится въ тепломъ утреннемъ воздухѣ вмѣстѣ съ прахомъ тысячелѣтій, слетающимъ съ песчаныхъ холмовъ, кажушихся какой-то ободранной, выщѣпшей декорацией исторіи человеческой. Кто только не перебивалъ здѣсь, въ этой Пантикапѣ, когда-то блестящей столицѣ могучаго Босфорскаго царства, за двадцать пять вѣковъ ея существованія, какихъ народовъ не выдѣла только здѣсь эта безмолвная гора, — народовъ, вѣчно враждовавшихъ изъ-за этого уголка земли, отнимавшихъ его другъ у друга и потомъ исчезавшихъ вмѣстѣ со своимъ могуществомъ, со своими царями и великими полководцами-побѣдителями въ безднѣ всеобъемлющей смерти и забвѣ, не оставивъ потомству ничего, кромѣ грудъ развалинъ, наследственной вражды и звуковъ — именъ, перевранныхъ историками. Были тавры, были киммеріане, ворвались за полторы тысячи лѣтъ до Р. Х. скифы и поработили ихъ; семь вѣковъ киммеріане оставались подъ игомъ, но при скинскомъ царѣ Гигесѣ перекочевали въ Азію, а побѣдители, слившись съ побѣжденными, стали тавро-скинами. Этихъ тавро-скиновъ завоевали въ VI вѣкѣ до Р. Х. эллины, основавъ по всему побережью Крыма свои колоніи, начиная Пантикапеей. Выросло на тавро-скинскомъ пеплѣ Босфорское царство съ древне-греческою культурой и просуществовало восемь вѣковъ, въ теченіе которыхъ смѣнялись династіи разныхъ Археантидовъ, Спартакти-

довъ, Археменидовъ, Зенонидовъ и Аспургіановъ... Звуки, звуки и звуки... Въ первомъ вѣкѣ до Р. Х. явился понтійскій и парфянской царь Митридатъ Великій, покровитель наукъ и искусствъ, говорившій на двадцати двухъ языкахъ, тотъ самый Митридатъ, каменный тронъ и гробница котораго утѣбли еще на вершинѣ этой горы, у развалинъ акрополя; его побѣдили римляне, затѣмъ сюда хлынули сначала полчища гунновъ, готовъ и угровъ, позже — хазаръ печенѣговъ, руссовъ и половцевъ и, наконецъ, монголовъ; одно побережье еще осталось во власти грековъ, а потомъ венеціанцевъ и генуэзцевъ, основавшихъ здѣсь цвѣтущія колоніи; въ XV вѣкѣ пришли турки, разрушили колоніи, увели сорокъ тысячъ геноуэцевъ въ плѣнъ — и исламъ воцарился на всемъ полуостровѣ, христіанская культура рухнула, все превратилось въ прахъ, и на развалинахъ культуры выросло могучее, дикое крымское ханство, заливавшее потоками крови христіанскій міръ и теперь тоже превратившееся въ развалины.

Вспоминаешь эту трехтысячелѣтнюю исторію самоистребленія человѣческаго рода — и недоумѣваешь, точно ли о немъ, о разумномъ существѣ, созданномъ «по образу и подобию Божию», сложилась эта исторія, или о какихъ-нибудь керченскихъ селедакахъ, которая ежегодно истребляется здѣсь человѣкомъ въ количествѣ семи-восьми миллионъ штукъ.

Къ «Цесаревнѣ» подошелъ грузовой пароходикъ, притащившій ящики и бочки съ сельдями. Трупы селедочнаго народа, потомковъ тѣхъ самыхъ сельдей, которая питались здѣсь когда-то человѣчскимъ мясомъ побѣжденныхъ и побѣдителей, почему и приобрѣли, можетъ-быть, такой отличный вкусъ (нѣтъ худъ безъ добра), тысячами перегружаются съ одного парохода на другой.

Лебедка работаетъ точно какой-то чудовищный журавль, вытаскивая добычу изъ трюма одного парохода и перетаскивая ее въ трюмъ другого.

— Вира (поднимай)! — командуетъ помощникъ капитана, и цѣпь быстро звиззываетъ по блоку журавля, вытаскивая нѣсколько десятковъ пудовъ. Лебедка поворачиваетъ свой клювъ съ ношей надъ пастью трюма. — Майна (опускай)! — раздается новая команда; цѣпь разворачивается, и грузъ мягко и осторожно опускается на самое дно парохода. Ящики и бочки перелетаютъ подъ лягъ цѣпи и визгъ блоковъ въ теченіе цѣлаго часа.

Движеніе на рейдѣ небольшое. Подлѣ пастъ выступает корпусъ англійскаго гиганта, мимо проходитъ, исчезая въ глубинѣ Керченскаго пролива, нѣсколько пароходовъ, далеко-далеко въ розоватомъ туманѣ бѣлѣютъ паруса рыбацкихъ шкунь.

«Баба» прибѣгаетъ изъ Керчи, притащивъ массу пассажировъ. Публика ужъ не кавказская и не астраханская. Палубные пассажиры все больше типичные русскія или хохлы; русская рѣчь пересыпается съ малорусскою; татары показываются изрѣдка; зато есть фески грековъ и несомнѣнная еврейскія фizioноміи, впрочемъ — въ гарнизѣ европейскихъ костюмовъ.

Въ классной публикѣ тоже преобладаетъ русскій элементъ, но не фешенебельной курсовой публики, а преимущественно новороссійской. Кромѣ двухъ генераловъ, къ намъ садится одинъ князь, нѣсколько степняковъ-помѣщиковъ, нѣсколько керченскихъ дамъ съ немножко провинціальной *sans-gêne*, какой-то тучный миллионеръ-рыбопромышленникъ, на манеръ волжскихъ, парочка стариковъ, высохшихъ, какъ вяленая тарань, и будто выкопанныхъ изъ керченскихъ катакомбъ, да какой-то французъ съ молодой, краснощекой и волнующейся женой.

На пароходѣ мойка. Изъ помпы пущенъ потокъ воды, залившій палубу. Матросы, съ завороченными по колѣни брюками, энергично трутъ полъ швабрами, шлепая босыми ногами въ лужахъ.

Плывемъ. Песчаные берега съ горой Митридатомъ и Керчью въ глубинѣ бухты, крѣпостью сѣвѣ и Еникале справа, на высокоомъ мысѣ, начинаютъ кружиться и убѣгать. Съ крымскими берегами переглядываются такіе же безжизненные кавказскіе берега. Они все удаляются, сливаются и таютъ въ розовой дымкѣ.

Кавказъ исчезаетъ какъ сонъ, какъ чудная сказка. А справа разворачивается волнистая лента крымскихъ береговъ, желтыхъ, совсѣмъ мертвыхъ; ни деревца, ни травки. Чѣмъ дальше, они все становятся ниже и, наконецъ, разстилаются песчаной степью, напоминая берега Волги въ устьѣ.

Море мѣняетъ цвѣта непрерывно. Мертвая зыбь то подымаетъ, то опускаетъ огромныя водныя площади. Пароходъ, не колебнувшись, не дрогнувъ, сразу взлетаетъ всей своей массой.

За завтракомъ время проходитъ весело. Новая публика внесла оживленіе. Старые пассажиры чувствуютъ себя нѣсколько въ роли деревенскихъ хозяевъ, къ которымъ сразу нагрянули гости.

Въ дополненіе ко всему—и завтракъ прекрасный. Идеально свѣжія маслянистыя кефали, величиной со щуку, тонутъ въ красномъ сокѣ изъ помидоръ. За ними слѣдуютъ рыбчики, прекрасный чистеръ, огромные батумскіе персики и виноградъ изабелла. Кавказское и крымское вино дополняютъ эту кулинарную музыку.

Лакеи тоже повеселѣли. Пассажировъ прибавилось—больше работаютъ. Прислуга на «Цесаревнѣ» образованная, вышколенная въ строгомъ стилѣ хорошаго барскаго дома. Ничего холопскаго, самое полное вниманіе, похожее скорѣе на хозяйскую предупредительность. Занимаете каюту—сейчасъ же на вашей койкѣ мѣняютъ постельное бѣлье; ложитесь—портъера неслышно отодвигается и лаской осторожно забираетъ ваши вещи и сапоги, не дожидаясь вашего приказанія почистить ихъ. Пароходъ качается во всѣ стороны, съ пассажирами «Фридрихъ», а они знай себѣ чистятъ вещи, подтираютъ полъ, накрываютъ на столъ и къ обѣду и завтраку являются въ новенькихъ ливреяхъ и свѣжихъ перчаткахъ, съ манжетками и манжетами болѣе чистыми, чѣмъ у многихъ пассажировъ. Правда, и зарабатываютъ они много: въ одинъ какой-нибудь круговой рейсъ, за недѣлю, выручаютъ рублей сорокъ-пятьдесятъ, не считая жалованья.

За все время моей поѣздки я только въ европейской комфортабельной обстановкѣ черноморскихъ пароходовъ и отдохнулъ отъ гостиничной грязи, скверныхъ ресторановъ и клоповъ.

Качка, которой я такъ боялся, совсѣмъ теперь не дѣйствуетъ; можетъ-быть, привычка взяла свое, а можетъ-быть, мятное масло помогло. И, главное, благодаря чистому и здоровому морскому воздуху, аппетитъ просто мучительный.

Мертвая зыбь дѣйствуетъ на дамъ. Моя сосѣдка, волнующаяся француженка, объѣдается кефалью, потомъ вдругъ говорить мужу, отчаянно картавя и съ необыкновеннымъ трескомъ выговаривая *эри*: «ты знаешь, мнѣ сейчасъ будетъ скверно. Ахъ, *c'est très très bon*, но... я не могу». Она бросаетъ вилку и исчезаетъ. Одна изъ керченскихъ дамъ тоже начинаетъ съ брезгливой миной ковырять кефаль, замѣчая: «они, кажется, готовятъ здѣсь на маргарины», и удаляется по столамъ француженки. Скоро и другія дамы исчезаютъ. Одна адмиральша невозмутима.

«Гвоздь» общества составляетъ князь, высокій, красивый, осланистый брюнетъ, одинъ изъ крупныхъ крымскихъ винодѣловъ. Онъ какъ-то сразу, съ появленіемъ на пароходъ, обратилъ на себя вниманіе и своей фигурой, и барскимъ тономъ, и десятирублевой, которую подарилъ провожавшему его человѣку, сказавъ снисходительно-небрежно:

— На, Георгій, возьми себѣ...

Съ княземъ, видимо, хороши смуглый брюнетъ армянскаго типа, извѣстный крымскій табачный фабрикантъ. Онъ сейчасъ же знакомитъ его съ полнымъ блондиномъ-боролачемъ, своимъ пріятелемъ. Близорукіе голубые глаза, очки и спокойное румяное русское лицо придаютъ его распывшейся фигурѣ что-то профессорское. Оказывается, это владѣлецъ нѣсколькихъ десятковъ тысячъ десятинъ земли и крупный овцеводъ, притомъ чистопробный хохоль.

— Я васъ помню, князь, еще въ шестидесятыхъ годахъ въ кievскомъ университетѣ,—говоритъ онъ добродушно.

— Ахъ, да-да, и я теперь васъ припоминаю! — восклицаетъ князь.—Какъ это давно, Боже мой, было...

Начинаются разныя воспоминанія. Но «хохоль» сейчасъ же добродушно признается, что и фамиліи профессоровъ, и вся университетская жизнь—почти забыты.

— Только и остались въ памяти изъ университета двѣ вещи,—говоритъ онъ:—это—какъ стаканомъ сахаръ колоть и въ лексиконъ Рейфа свѣчи закладывать.

Эта откровенность вызываетъ общія улыбки. Князь тонко усмѣхается, расправляетъ сѣдую бороду и, надѣвъ роговое пенснэ, переводитъ разговоръ на хлѣбный кризисъ.

— Ахъ, князь, кстати,—раздается сразу съ нѣсколькихъ сторонъ. Что намъ, въ самомъ дѣлѣ, дѣлать? Вѣдь выхода нѣтъ...

— У васъ какія гѣны? — спрашиваетъ оеодосійскій помѣщикъ керченскаго.

— Тридцать пять—сорокъ копѣекъ пудъ пшеницы.

— Сегодня въ Керчи,—говоритъ «малороссъ», — четверть продавали по шести рублей.

— Это еще хорошо.

Раздается смѣхъ. Нѣкоторые переглядываются вопросительно.

— Да какъ не смѣяться, помилуйте!—отвѣчаетъ кто-то.—Вѣдь въ горячую пору за одну жатву съ десятины приходится платить двадцать рублей. Только и остается смѣяться.

— Я въ этомъ году двѣсти десятинъ банатки такъ и оставилъ на выпасъ. Даже косить не пытался,—заявляетъ «малороссъ».

— Да, господа, да, плохо,—замѣчаетъ князь.—Что-жъ, я вѣдь говорилъ... (Называется крупное имя). Мои cher, что вы дѣлаете, вѣдь для насъ это—пестля, надо знать мѣстныхъ условій. Не послушалъ. Ну—что-жъ! Потеряли заграничные рынки. Конечно, они нашли другихъ поставщиковъ. Не ждате же имъ и съ голоду поморать, пока мы смилуемся. Теперь извольте-ка отвоевать рынки. Что въ одинъ годъ потеряли—и въ десять не вернешь. А вѣдь все наше хозяйство и такъ на волоскѣ, вся Новороссія на волоскѣ. Это надо знать, съ этимъ нельзя не считаться.

— Но, все-таки, что же дѣлать-то?—раздаются голоса.

— А вотъ бросайте шеницу, да насаждайте виноградники, какъ я. Вѣдь вы знаете—у меня одно прошлогоднее каберне дало семьдесятъ пять тысячъ чистаго дохода. Пино, какъ ни малъ былъ сборъ, и то двадцать тысячъ рублей чистоганчикомъ далъ.

— Такъ-то такъ, а что скажете госпожа филоксерра?

Море становится спокойнѣе, переливая то зеленымъ, то нѣжно-голубымъ нѣбѣмъ. Берега все разворачиваются желтой лентой мертвой пустыни.

Впереди вырастаютъ, приближаясь къ намъ, бѣлые вздутые паруса. Это камни-корабли, громадные утесы, кажущіеся парусами. Иллюзия полная.

На всемъ пути до Феодосіи ничто не привлекаетъ глаза. Безбрежная степь моря, поднимающаяся до горизонта, и пустынные берега.

Въ шестомъ часу вечера у подножія невысокой горы показывается Феодосія, древняя греческая колонія, основанная въ V вѣкѣ до Р. Х., ставшая позже нѣбѣнкой генуэзской Каффы и затѣмъ въ XV вѣкѣ тоже завоеванная турками.

Берега такіе же желтые или бурые, видъ города совсѣмъ безжизненный. Кое-гдѣ изъ мертвыхъ каменныхъ кубиковъ выглядываетъ жилищная, чахлая растительность. Слѣва, на окраинѣ, надъ портомъ выступаютъ угрюмыя развалины стѣнъ и башенъ древней крѣпости, справа, на противоположной окраинѣ, такіе же мрачные бастіоны генуэзской крѣпости. Въ центрѣ, надъ городомъ, высятся колоннада музея древностей. Соборъ и купола восьми церквей, разбросанныхъ тамъ и сямъ, да минаретъ мечети нѣсколько скрадываютъ однообразіе феодосійской панорамы. У бульвара выдвигается красивая вилла Айвазовскаго и еще нѣсколько живописныхъ дачъ, а дальше—вокзалъ.

Портъ строится. Вся гора у крѣпости изрѣзана террасами, съ которыхъ сносится на моль земли и камни.

Солнце закатывается за крѣпостныя башни, обливая крыши и купола красноватымъ свѣтомъ.

Городъ застраивается. Всюду видны лѣса, новыя зданія, свѣжія краски. Улицы обрамлены то старинными, низкими, еще турецкими постройками, съ тяжелыми колоннами вдоль фасадовъ, то новыми европейскими зданіями. Въ центрѣ—нѣсколько большихъ гостиницъ и красивыхъ домовъ съ величественными фасадами и прекрасными магазинами. На молодомъ бульварѣ—фонтанъ Айвазовскаго и небольшой памятникъ съ бронзовой статуей и надписью: «Доброму Генію города Феодосіи».

Этимъ «добрымъ геніемъ» города явился знаменитый маринистъ И. К. Айвазовскій, уроженецъ Феодосіи. Здѣсь онъ наблюдалъ это непокорное море еще мальчугомъ, уловивъ тайну его красокъ, здѣсь онъ впервые вдохновился его могучей красотой, которую по томъ властью таланта перенесъ на полотно. Для города онъ сдѣлалъ очень много. Его студія, Мекка маринистовъ, привлекаетъ не только художниковъ, но и туристовъ. Онъ же подарилъ городу право пользоваться богатымъ источникомъ воды изъ его имѣнія и устроить водопроводъ, ежедневно дающій свыше 50,000 ведеръ воды. Чтобы понять, что значитъ такой даръ для Феодосіи, надо вспомнить, что недавно, въ 1887 году, во время засухи воду доставляли сюда изъ Севастополя въ бочкахъ, на парохлодахъ.

Только съ устройствомъ водопровода и желѣзной дороги городъ ожилъ. Куда дѣвалась вода генуэзской Каффы—тайна прошлого и земли; когда-то здѣсь было болѣе ста фонтановъ. Остатки ихъ и теперь еще видны кое-гдѣ на улицахъ, но воды нѣтъ; это трупы.

Отправляюсь въ картинную галерею Айвазовскаго. Слѣва отъ красиваго подъѣзда—большой залъ. Освѣщеніе сверху. При входѣ опускаютъ въ кружку двугривенный въ пользу бѣдныхъ.

Въ галереѣ до тридцати большихъ картинъ. Швейцаръ зажигаетъ нѣсколько лампъ съ рефлекторами. Какъ ни теряютъ нѣкоторыя картины отъ этого освѣщенія, какъ ни высоко онѣ помѣщены, все-таки эффектъ поразительный. То море, которое я сейчасъ покинулъ, опять предо мной, на полотнѣ, но такое же живое, такое же могучее, то яростное и дикое, то нѣжно-голубое и манящее, то съ прозрачной зеленоватой волной. Эта прозрачность, придающая столько жизни и правды klokoчущей стихіи, вызываетъ полную иллюзію. Надо было съ дѣтства расти у моря, наблюдать изо-дня въ день прибой, капризные переливы волны, ея измѣчивые тона, чтобъ умѣть такъ живо схватить ихъ. Не то въ рамку вставлены куски моря, не то оно готовится въ студіи Айвазовскаго.

Нѣкоторыя картины мнѣ пришлось видать нѣсколько лѣтъ тому назадъ на выставкѣ въ Петербургѣ. Но теперь, въ сосѣдствѣ съ оригиналомъ, который стоитъ предо мной три дня, онѣ захватываютъ еще больше. Особенно хороши: «Пушкинъ у гурзуфскихъ»

скаль», «Островъ Капри», будто плывущій по голубой, необыкновенно покойной равнинѣ, «Зыбь послѣ кораблекрушенія», «Предъ стрижкой овецъ на берегу Чернаго моря», «Прибой въ Біариза», «Шторжъ во время плаванія Императора Николая I въ 1828 году» и «Погибающее судно».

«Зыбь послѣ кораблекрушенія» — это цѣлая поэма на нересачинскую тему — «На Шипкѣ все спокойно». Какъ тамъ солдата-часового заноситъ метель и изъ снѣжнаго сугроба виденъ только одинъ штыкъ да кончикъ башлыка, такъ и здѣсь — надъ моремъ еще виднѣется только верхушка мачты. Но и здѣсь, какъ и тамъ, васъ охватываетъ ощущение безпомощности человѣка въ борьбѣ съ дикой и безпощадной стихіей. Море не бушуетъ, не клокочетъ отъ ярости, оно точно замираетъ въ нѣгѣ изнеможенія послѣ борьбы съ человѣкомъ, послѣ того, какъ поглотило свои жертвы. На томъ мѣстѣ, гдѣ исчезъ корабль, видна воронка воловорота; а вокругъ колышется пластами водная равнина, но колышется спокойно, безъ волнъ и гребней, какъ какой-то злой геній, который кончилъ злое дѣло и которому больше нечего дѣлать...

Что-то напоминающее адажіо патетической сонаты Бетховена. Вечеромъ надъ моремъ выплываетъ луна, и Θεодосія, съ ея бѣлыми домами и тысячами огней въ окнахъ и фонаряхъ, принимаетъ совсѣмъ волшебный видъ. Огни отражаются въ бухтѣ пестрыми точками и полосками, которыя дрожатъ и морщатся отъ легкой ряби.

Къ намъ на пароходъ садится цѣлая рота солдатъ со знаменемъ и хоромъ трубачей. Знамя помѣщаютъ на кормѣ, подлѣ рубки перваго класса. Къ нему приставляютъ часового.

Трубачи играютъ маршъ. Опять «Штичка», которую я слыхалъ мѣсяцъ тому назадъ въ Могилевѣ и еще гдѣ-то на сѣверѣ, за тысячи верстъ отсюда, потомъ въ Питигорскѣ, «Цесаревна» мягко и легко отодвигается отъ мола. Мириады огоньковъ, тѣни береговъ, звѣзды на небѣ — все это движется въ голубомъ сіяніи лунной ночи. Звуки музыки разлетаются стройными волнами надъ серебрящейся бездной, сливаясь съ плескомъ воды, которую пароходъ рѣжетъ своей грудью.

Ночь совсѣмъ волшебная. Я сижу на палубѣ. Что-то убаюкиваетъ и ласкаетъ. Море почти спокойно; изрѣдка только серебряная змѣйка скользитъ по немъ и разбѣгаются рѣзвой стаей. Надъ моремъ вырастаютъ бѣлые контуры Яйлы. Луна подымается все выше. Музыка играетъ какой-то нѣжный романсъ. Такъ хочется жить и любить...

У знамени все стоитъ часовой. Онъ будто приросъ къ ручью. Его неподвижная фигура въ бѣлой шапкѣ и блузѣ кажется на синемъ фонѣ неба и моря изваянной изъ мрамора.

Глава XXIX.

Ялта. — Крымская природа. — Гостиницы. — Въ кондитерской Верне. — О чемъ говорить воробей. — Ялтинскіе проводники. — Массандра. — Никитскій садъ. — Гурзуфъ. — Публика. — У палата Пушккина. — Тамъ, гдѣ море вѣчно плещетъ...

Подходимъ къ Ялтѣ.

7-е сентября.

Ночью мы минули Судакъ и Алушту, пріютившуюся у подножія Чатырдага, утромъ прошли мимо Гурзуфа. Яйла, начавшаяся за Θεодосіей, выросла теперь въ высокій береговой хребетъ, сползающій къ морю террасами и холмами, надъ которыми, точно гигантскія ширмы, направились сѣрыя каменистыя вершины.

Слѣва отъ насъ, врѣзываясь въ море, смутно вырисовывается загадочный силуэтъ мыса Ай-Тадоръ, справа выступаетъ громада мыса Никита.

Впереди, въ долинѣ, надъ которой выплываетъ изъ тумана конусообразная Могоби и двуперстый утесъ Ай-Петри, разворачивается на темномъ фонѣ зелени и скалистыхъ горъ панорама Яйлы. Надъ моремъ вырастаютъ стройные корпуса гостиницъ, шпалеры домовъ вдоль набережной, раскинутыя амфитеатромъ дачи и двѣ церкви. Все это движется, приближаясь къ намъ. Лучи восходящаго солнца играютъ на пестрыхъ крышахъ и горахъ, обступившихъ Ялту съ трехъ сторонъ.

Море, нѣжно-голубое, необыкновенно покойно. На всей бирюзовой дали, будто отдыхающей послѣ бури, нигдѣ ни морщинки. Легкій голубоватый — молочный туманъ окутываетъ ее и горы, придавая ихъ контурамъ какую-то воздушность.

«Цесаревна» подходитъ къ молу. Городъ такъ близокъ, что кажется, будто пароходъ врѣзался въ улицу.

Что-то напоминаетъ картинку изъ «Нивы», въ воображеніи встаютъ десятки иллюстрацій съ ялтинскими видами, но только раскрашенными.

Уголокъ заманчиво-уютный. Городъ еще будто нѣжится въ утренней дремотѣ, мирно улыбаясь. Миромъ вѣетъ отовсюду: и отъ сѣрнхъ, застывшихъ надъ пропастью, утесовъ, подъ которыми плывутъ облака, и отъ великановъ-горъ, окружившихъ городокъ словно для защиты, и отъ виднующейся въ глубинѣ Ялтинской долины татарской деревни, и отъ живописныхъ дачъ, пестрящихся по склопу холмовъ надъ Ялтой.

Тепло. Мягкій воздухъ какъ будто насыщенъ дыханіемъ жизни.

Что-то пѣжитъ и умиротворяетъ. Природа полна покоя и лѣни. Въ ней не чувствуется страсти и силы кавказской природы, ни ея творческой мощи. Тамъ — какой-то заколдованный міръ титановъ, величавый, могучій и необъятный, полный чего-то и дикаго, и чарующаго; здѣсь — иной міръ, — міръ земной, полный ласки и тихихъ грѣзъ, такихъ же нѣжныхъ и безмятежныхъ, какъ безбрежная голубая гладь. Тамъ что-то поражаетъ духъ и дразнитъ воображеніе, тревожа его, будя жажду какой-то иной, призрачной жизни и не-

вдохомых ощущений; здесь что-то убаюкивает душу, наполняя ее сладким томленьем, когда и желания, и мечты будто растворяются в общей гармонии с природой. Ничто не волнует, ничего не хочется; только бы жить, дышать и глядеть на мир.

Послѣ Кавказа, Крымъ не поражаетъ ни величіемъ, ни красками, ни фантазіей природы. Есть лица очень симпатичныя, очень милыя и хорошенькія, которыми вы, кажется, готовы любоваться безъ конца и вѣрить, что они красивы; но стоитъ только вамъ увидеть настоящую красоту — и вы чувствуете, что милое и симпатичное лицо, которое казалось такимъ прекраснымъ, какъ будто поблекло и потеряло для васъ навсегда свое прежнее обаяніе. Видѣть Крымъ послѣ Кавказа — это видѣть милое и симпатичное личико послѣ лица необыкновенной красоты.

Хороші вершины Яйлы, живописна синѣющая гряда далекихъ горъ, красиво и дико вырастаетъ утѣс Ай-Петри... Но все это только мило, все это блѣднѣетъ предъ величавой красотой Кавказа, который неотвязно, какъ образъ любимого существа, преслѣдуетъ, заслоняя все.

Крымъ живописенъ только въ береговой полосѣ между Феодосіей и Севастополемъ. Здесь вдоль моря раскинулась коллекція чудныхъ картинокъ, прелестныхъ, какъ художественныя миниатюры. Но всѣ онѣ затерялись бы въ массѣ кавказскихъ шедевровъ, гдѣ въ каждомъ уголкѣ могла бы умѣститься вся панорама крымскихъ миниатюръ.

Я даже досадую на себя за нѣсколько неудачный маршрутъ: Крымъ надо было посмотреть до Кавказа.

Отправляюсь вмѣстѣ съ Вышкинымъ «искать номеръ». Въ Ялтѣ всегда «ищутъ номера». «Россія», развернувшая вдоль набережной свой величественный фасадъ, переполнена; изъ 150 номеровъ — ни одного свободнаго; то же и во «Франціи», и въ «Грандъ-Отелѣ». Только въ «Центральной», выдвинувшей надъ пристанью свой четырехэтажный корпусъ, удастся найти два номера, да и то гдѣ-то въ поднебесьи. Комната маленькая и низкая, окна прорѣзаны въ крышѣ, цѣна — два рубля. На обояхъ, у кровати, пятна. Невольно начинаешь мнительничать. Можетъ-быть, не дальше, какъ вчера, здесь лежалъ чахоточный, выплевывая эти свои проклятыя палочки вмѣстѣ съ виноградной шелухой, лежалъ и глядѣлъ умирающимъ взглядомъ въ окно, на клочекъ неба и голубой лоскутокъ моря, мечталъ о томъ днѣ, когда выздоровѣетъ и вырвется изъ этой клітки. А вокругъ вертѣлись здоровые люди, чуждые этому пришельцу, явившемуся сюда съ далекаго и сурого сѣвера въ надеждѣ оттянуть роковую развязку, въ надеждѣ, что живительный воздухъ и синее небо возродятъ его; и всѣ эти люди, начиная содержателемъ гостиницы, кончая официантами, только о томъ и мечтали, какъ бы побольше урвать съ умирающаго, какъ бы нагрѣть руки у этого почти трупa. Совсѣмъ какая-то мародерская картинка.

Дерутъ невозможно и невозможно, дерутъ всѣ, кто можетъ и что можетъ. Уже довольно сказать, что въ странѣ винограда, въ

виноградномъ курортѣ, фунтъ винограда продается по пятнадцати, восемнадцати и двадцати пяти копѣекъ. Это въ сентябрѣ, въ то время, когда въ Кіевѣ пудъ винограда, немного, правда, попроче и покислѣй, — три рубля, когда въ нѣсколькихъ десяткахъ верстъ отъ Ялты тотъ же виноградъ можно имѣть по 2—3 к. фунтъ.

Отправляемся обозрѣвать городъ. Отъ улицъ и подметенныхъ тротуаровъ вѣетъ утренней свѣжестью. Набережную обгибаютъ шпалеры домовъ съ парадными магазинами и пестрыми вывѣсками. Здесь городъ имѣетъ совсѣмъ приглаженный и европейскій видъ. Къ западу, проползая между дачами, извивается шоссе въ Ливадію. Она за горой.

Заходимъ въ городской садъ.

Зеленый газонъ, обрамленный бахромой туй, причесанъ; темные, стройные кипарисы отчетливо выделяются на его яркомъ фонѣ. Ресторанъ, театр и нѣсколько павильоновъ красиво выступаютъ на кружевѣ южной зелени. Садъ содержится съ нѣмной аккуратностью; усыпанные гравіемъ дорожки будто приглажены шеткой. Тамъ и сямъ уже видны курсовые. Въ рукахъ корзиночки или бумажные мѣшечки съ виноградомъ. Глотаютъ ягоды и молча плещутся.

У гостиницы «Франція» надъ самымъ моремъ изысканный кіоскъ, въ которомъ помѣщается кондитерская Верне. Заходимъ выпить кофею. Море плещется подъ нами, плѣна приборъ взлетаетъ на набережную, на перила балкона, покрытаго парусиной. Близость моря, его неумолчный, но теперь нѣжащій прибой, покойная голубая равнина и этотъ живописный городокъ, выглядывающій изъ зелени корзины и залитый сіяніемъ южнаго солнца, неотразимо чаруютъ.

Къ намъ слетаетъ стая воробьевъ. Ихъ приручила публика. Они здесь совсѣмъ нахалы и разбойники. Чирикаютъ, переговариваются, воровски поглядываютъ и подбираются все ближе и ближе. Одинъ сорванецъ, недовольный крошками, которая я бросилъ ему, не долго думая, садится на столъ. Его дерзость приводитъ въ неописанный восторгъ всю воробьюню компанію. Его пріятели смѣются, весело помахивая хвостиками; нѣкоторые, болѣе опытные, кричатъ ему что-то тревожно. Должно-быть, совѣтуютъ не довѣряться «этому крокодилу — человѣку». А онъ, разбойникъ, стуча по подносу цѣпкими лапками, устался въ меня своими бисерными глазами и, чирикавая, такъ, кажется, и говоритъ:

«Вѣдь миръ такъ хорошъ, вѣдь ты такъ охваченъ теперь этимъ обаяніемъ жизни, что не станешь обижать меня. Вѣдь и ты, какъ и я, мы прилетѣли сюда только на мигъ, чтобы полюбоваться этимъ чуднымъ міромъ, насладиться его гармоніей. Не мѣшай же мнѣ жить, какъ я тебѣ не мѣшаю. Позволь мнѣ воспользоваться этой крошечкой. Она вѣдь не нужна тебѣ»...

Вспоминается Надсонъ...

Такъ вотъ оно море!.. Горитъ бирюзой, жемчужною плѣной сверкаетъ.

На влажную отмель волна за волной тревожно и тяжело взбѣгаетъ...

Взгляни, онъ живеть, этотъ зыбкій хрусталь...
А даль-то какая!.. О, какъ эта даль.
Усталые взоры чаруютъ...
Синь края метелей, тумановъ и вьюгъ,
Синь хмурой и блѣдной природы,
Какъ пылко, какъ жадно я рвался на югъ,
Къ вамъ, мѣрно шумящая воды!...

Въ концѣ города, по пути въ Гурзуфъ, у шоссе бѣлѣютъ памятники кладбища. Подлѣ него стоитъ дача Цыбульского. Тамъ умеръ большой пѣвецъ большого поколѣнья подлѣ отдаленный гулъ неумолчнаго и вѣчнаго, какъ жизнь, прибоя.

Полдень. Движеніе на улицахъ все усиливается. Публика пестрая. Преобладающій элементъ курсовыхъ — сѣверяне. Много военныхъ, много эlegantныхъ нарядовъ, полныхъ кричащаго шика, несмотря на дѣланную простоту. Столичный доскъ и французскій говоръ рядомъ съ провинціальнымъ «санфасономъ» и туземнымъ жаргономъ. На тротуарахъ—греки, итальянцы и татары съ губками, раковинами, ятинскими сувенирами и виноградомъ.

По набережной мчатся щегольскіе экипажи и легкіе кабриолеты съ кузовами въ видѣ плетеныхъ корзиночекъ. Надъ ними раскрыты парусиновые зонтики. Это специально ятинскій экипажъ.

У кондитерской, заложивъ руки назадъ или играя хлыстами, стоитъ нѣсколько рослыхъ татаръ. На нихъ маленькія каракулевья шапочки, черныя куртки, обшитыя галуномъ, какъ у швейцаровъ или старшинъ, и широкіе шаровары, у однихъ на выпускъ, у другихъ—въ ботфортахъ. Татары поглядываютъ пристально и, пожалуй, даже презрительно.

— Это—дамскіе мальчики,—говоритъ мнѣ Вышинскій.

Народъ—цельзя сказать, чтобы интереснѣй. Узкіе, совсѣмъ татарскіе глаза, неуклюже выточенные носы, скуластыя, смуглыя лица и во взглядѣ нахальная самоуверенность мужнины, который хочетъ нравиться. Даже той чисто животной, самческой красоты, которая должна бы составлять бестѣльный атрибутъ татарскихъ альфонсовъ, не видать.

Только извращенный вкусъ питерскихъ истеричекъ и психопатокъ могъ облюбовать такихъ «проводниковъ».

— Вотъ подите-жъ,—замѣчаетъ мой спутникъ.—А вѣдь изъ-за этого самого тупоумнаго Мустафы онѣ чуть не на стѣну лѣзутъ. Курсовая мода. И, главное, ничего этого татаринъ выдумать не можетъ, а до этой профессіи додумался. Говорятъ—она такъ прибилына, что даже наши пытаются конкурировать. Уже начинаютъ наѣзжать сюда и столичные альфонсы: только имъ приходится поддѣлываться подлѣ мѣстный колоритъ, копировать татаръ и гримироваться иначе—никакого успѣха. Разсказываютъ—одного изъ этихъ маргаритовыхъ проводниковъ, пытавшагося конкурировать, абдулки отодрали: не отбивай, молъ, татарскій хлѣбъ, не твоихъ это рукъ дело. Въ оны времена въ Сибирисѣ очень въ модѣ были обезьяны, а теперь—въ Ялтѣ татары.

Между Ялтой и Гурзуфомъ ежедневно курсируетъ паровой ка-

теръ. Съ моря открывается чудный видъ на береговую панораму съ Массандрой, Никитскимъ садомъ, Гурзуфомъ и Аю-Дагомъ. Но катанье по морю намъ надоѣло. Нанимаемъ дрожки-корзиночку. Туда и обратно—восемь рублей. До Гурзуфа считается четырнадцать верстъ.

Корзиночка съ раскрытымъ надъ ней зонтикомъ легко несется по ятинскимъ улицамъ къ востоку. Подъемъ становится все круче, шоссе извилистѣй. Оно проведено такими же зигзагами, какъ и на военно-грузинской дорогѣ. Но нѣтъ тѣхъ высотъ, тѣхъ стремнинъ и бездонныхъ пропастей, той нескончаемой толпы исполнителей со снѣжными макушками, которые обступаютъ васъ тамъ со всѣхъ сторонъ, то убѣгая, то надвигаясь.

Высокая отвѣсная дикаго цвѣта стѣна Яйлы, изъ-подъ которой рассыпаются холмы, исчезаетъ за поворотомъ. На мигъ шоссе врывается въ аллею акацій, сквозь кружево которыхъ виднѣются дачи, потомъ внизу подъ нами, въ котловинѣ, вдругъ показывается Ялта, гдѣ-то глубоко на днѣ долины, у зеркальнаго голубого залива. Еще поворотъ—опять стѣна Яйлы съ темной зеленью хвойныхъ деревьевъ, хилой крымскій сосной и пихтой. Растительность все бѣднѣй и рѣже, чинары и кипарисы остались внизу. Шоссе змѣится все выше, потомъ начинается спирально огибать высокую гору. Мы объѣзжаемъ вокругъ негнѣскольکو разъ. И съ каждымъ поворотомъ величественная и безбрежная голубая равнина моря, опускаясь все ниже, разворачивается шире и шире, на необозримое пространство, маня своимъ бирюзовымъ просторомъ и ясностью.

Теперь передъ нами разстилается холмистый скатъ отрога Яйлы до самого моря. Весь онъ въ зеленыхъ кудрявыхъ буграхъ, на которыхъ разсыпаны живописныя, хорошенькія, какъ игрушки, дачи. За нами—Горная Массандра съ дворцомъ у сѣдой стѣны Яйлы и легкой колоннадой церкви на темномъ фонѣ дубовой рощи, передъ нами—Нижняя Массандра, сплзающая къ самому морю, у котораго виденъ Магарачъ съ училищемъ винодѣлія, рядомъ съ Массандрой—постройки Никитскаго сада, училище садоводства, дача министра государственныхъ имуществъ, еще какія-то зданія.

Все это то показывается, то исчезаетъ за зеленой декорацией садовъ и холмовъ. Ялта и татарская деревушка съ темными верандами и навѣсами выглядываютъ со дна пропасти еще нѣскольکو разъ, ихъ заслоняютъ горы въ скалахъ и виноградникахъ: шоссе все змѣится спирально вокругъ утеса, потомъ совсѣмъ неожиданно взвизгиваетъ на другую гору и начинается сползать внизъ по аллеѣ вѣковыхъ чинаръ и орѣховъ. За поворотомъ вырастаетъ столбъ съ надписью: Императорскій Никитскій Садъ.

Онъ расположенъ на террасахъ, спускающихся къ морю. Клѣтки виноградныхъ плантацій и роскошная зелень деревъ кажутся какими-то испанскими коврами, раскинутыми подлѣ синимъ шатромъ неба будто для того, чтобы любоваться съ нихъ голубымъ привольемъ моря.

Сейчасъ же у воротъ стелется изумрудный овалъ газона, съ пры-

домъ, фонтаномъ, гладкой дугой дорожкой, статуями и скамьями. Этотъ изъясный газонъ, стройные, какъ тополи, темные силуэты кипарисовъ, исполнискій камышъ, шарообразные и овальные кусты золотистой биоты восточной, похожей на тую, темный, вырванный фигурами, то въ видѣ глобусовъ, то митры, буксъ—необыкновенно отчетливо и красиво выделяются на лазури моря. Зеленъ кажется еще ярче, лазурь равнина еще чище.

И здѣсь, какъ въ тифлисскомъ ботаническомъ саду, растенія всѣхъ покровъ сплетаются въ дружную семью, и строгіе представители далекаго сѣвера растутъ рядомъ съ изгибными, изящными дѣтми тропической флоры.

Надъ прудомъ—ива и хурма японская, у фонтана—серебристая пампасовая трава съ серебряными дрожжащими колосьями, вездѣ розы въ цвѣтѣ. Надъ мостикомъ въ стилѣ rustique, перекинутомъ черезъ ручей, задумчиво прислушивается къ его журчанью высокая пальмовидная муза, ее окружаютъ группа магнолій, за ними—огромная вѣтерная пальма, дальше—похожая на ель криптомерия японская, цвѣтущій фернанбухъ съ желтыми кистями цвѣтовъ, напоминающихъ акацію, калина японская, агерстремія восточная съ листьями сирени и букетами лиловыхъ цвѣтовъ, юка цѣлыми группами, нектенъ американскій съ бѣлыми крапинками и полосками на листьяхъ, опять юка, но коротколистная, съ чудными, громадными гроздьями бѣлыхъ цвѣтовъ, бипония, кедръ африканскій, похожій на ель, пихта кефалонская и кедръ гималайскій съ распластанными вѣтвями. Дальше—мирты, цѣлый лавровый лѣсокъ съ кругомъ и скамейками, шпалеры изъ гранатника, стеркулія, большой пробковый дубъ съ надрызаннымъ стволомъ, роскошные развѣсистые восточные чинары, оливковая роща, падубы и опять лавровишня, магноліи, смоковница и кипарисы...

Растительность такъ же роскошна, такъ же выхожена, какъ и въ тифлисскомъ ботаническомъ саду; но тамъ она скучена и сжата въ узкой, тѣсной котловинѣ, здѣсь пышно развернулась на просторѣ, на этомъ длинномъ голубомъ фонѣ моря, которое глядитъ сквозь зеленое ажурное покрывало листьевъ, сквозь своды аллей, подпирающіе синий куполъ неба.

Въ Гурзуфѣ ѣдемъ по прежнему пути. Опять шоссе извивается спиралью. Минуемъ Ай-Даниль и круто поворачиваемъ къ морю. Гурзуфъ виднѣется внизу; но до него еще нѣсколько перестѣй. Шоссе сползаетъ съ одной террасы, покрытой шелковистыми коврами виноградниковъ, на другую. Яйла все разворачивается надъ нами сѣрными пирами, съ уступами, отвѣсными скалами и черными ущельями. Облака дымятся, сползая съ вершинъ, плывутъ надъ глубокой котловиной, въ которой ютятся Гурзуфъ, несутся къ Ай-Дагу, Медвѣдь-горѣ. Она всей своей массой выступила въ море и дѣйствительно очень напоминаетъ медвѣдя, который будто лежитъ, посямая лапу. Волнистый скатъ, по которому змѣится шоссе, весь въ зелени садовъ и виноградниковъ. Зигзаги продолжаются, мы то поворачиваемся лицомъ къ морю, то къ Яйлѣ, все опускаясь, и, на-

конецъ, у самаго берега, свернувъ влѣво, проѣдемъ сквозь зеленый туннель съ гроздьями винограда, висящими надъ нами. Навстрѣчу и за нами движутся экипажи съ курсовой публикой и кавалькады, гарцуютъ татарскіе проводники рядомъ съ амазонками.

Курзалъ и гурзуфскіе гостиныя расположены группой у площадки съ чуднымъ цвѣтникомъ, отъ котораго, изрѣзывая змѣйками газонъ, разбѣгаются въ паркъ дорожки. Гостиницъ семь; это все красивыя двухъ-и трехъэтажныя зданія съ сѣрными стѣнами, окаймленными бѣлыми рамами, дверями, полуоткрытыми маркизами и прелестными ажурными висячими балконами у каждой двери. Эти балконы, легкіе, какъ корзиночки, придаютъ зданію живописный видъ швейцарскихъ палатъ.

Цвѣтникъ со статуями, художественной группой фонтана и затѣливыми узорами клумбъ—шедевръ. Все выхолено и подчищено до педантизма. Не рѣшаешься даже бросить на дорожку окурочекъ.

Гостиницы, рестораны и паркъ освѣщаются электричествомъ.

Съ площадки открывается чарующій видъ на горы, убранныя виноградниками, лѣсами и скалами, и на море съ массой Ай-Дага и двумя исполнами-камнями, точно сторожащими дремлющій заливъ.

У берега изъ зелени выглядываетъ хорошенкяя, нарядная византийская церковь; противъ кургауза, у подножія пригорка, выступаетъ вилла Губонина. Тамъ въ двадцатыхъ годахъ гостилъ у Раевскихъ Пушкинъ.

За паркомъ, надъ моремъ, на крутомъ, скалистомъ и обнаженномъ бугрѣ лѣжится амфитеатромъ мѣстечко Гурзуфъ. Татарскіе домики съ плоскими крышами, тѣнистыми верандами и навѣсами тѣнятся у скалы, на вершинѣ которой видны развалины древней генуэзской крѣпости.

Тамъ и сямъ въ паркѣ и на горахъ раскинуты живописныя павильоны и бесѣдки.

Вездѣ, куда ни заглянешь, образцовый порядокъ и чистота; но всемо, отъ вантъ, почтово-телеграфной конторы, до магазина и аптеки, до мелочей—видна заботливая хозяйская рука и желаніе предоставить публикѣ возможно больше удобствъ. Губонинъ средствъ не щадилъ и, благодаря этому, не «испортивъ природы», превратилъ Гурзуфъ въ одинъ изъ уютнѣйшихъ уголковъ Крыма, въ самый лучший и благоустроенный русскій курортъ. Неудивительно, что публика, несмотря на относительную дороговизну, наперебой стремится сюда, еще зимой запасаясь квартирами на лѣто. Нарочно заходимъ поочередно во всѣ семь гостиницъ. Изъ двухсотъ номеровъ—ни одного свободнаго.

Ресторанъ помѣщается въ центрѣ группы. Огромный, прекрасный залъ въ два свѣта, съ арками, легкими колоннами, зеркальными окнами, лѣпной работой и фресками, сияетъ чистотой. У веранды—павильонъ для оркестра. Звуки музыки влетаютъ въ раскрытыя окна мягкими, ласкающими волнами.

Цѣны, несмотря на фешенебельность курорта, нельзя сказать, чтобы совсѣмъ разбойничьи. Обѣдъ изъ четырехъ блюдовъ—рубль съ

четвертакомъ. Приготовлено вкусно и опрятно, кухня французская, сервировка безукоризненная.

Къ объединенному часу залъ наполняется курсовой публикой и приѣзжими изъ окрестностей. Общество не такъ разношерстно, какъ на кавказскихъ водахъ и въ Ялтѣ, но все-таки группируется кружками. Замѣтна какая-то подтянутость и напряженность, которая чувствуется, когда среди обыкновенныхъ людей появляются «персоны», и болѣшія персоны. Говоръ сдержанный, прислуга бѣгаетъ съ чрезвычайной быстротой и почти безплотной легкостью. Типъ у публики все больше столичный, преобладаютъ суховатая желчно-геморроидальная или малокровная физіономія, со слѣдами переутомления отъ безсонныхъ ночей или бездѣлья, съ тѣмъ безжизненнымъ пѣвтомъ кожи, который бываетъ у людей, живущихъ въ комнатной атмосферѣ, при электрическомъ или газовомъ освѣщеніи, безъ живительныхъ лучей солнца.

Появление сухоощаваго пожилаго господина сановнаго вида, со строго-задумчивымъ лицомъ и слѣдами департаментскими котлетками, производитъ движеніе. Публика шепчется, поглядывая на него, легкой изгибающейся въ дугу, дѣлается какимъ-то маленькимъ и глядитъ снизу вверхъ. Почти сенсацио вызываетъ появленіе другого господина, не высокаго, но массивнаго, съ необыкновенно элегантной походкой, отъ которой его округленный корпусъ подпрыгиваетъ будто на рессорахъ. За нимъ идетъ его семья—дама, двѣ барышни и сухоточнаго вида подростокъ. Публика еще чаще оглядывается и шепчется, лаксы дѣлаются еще гибче и меньше, голоса становятся еще угодливѣй и слашавѣй, какъ прикажете-съ и чего изволите-съ будто скользнуть по тройному экстракту мыла № 4711.

Военныхъ совѣтъ почти не видать. Рѣчь не только французская, но болѣе даже французская, чѣмъ въ самой Франціи. Картавятъ и грасируютъ какъ парижанки, унаслѣдовавшія этотъ порокъ.

Послѣ обѣда выходимъ въ пѣтистикъ и садимся на скамейку противъ ресторана. Оркестръ играетъ веселенькую полку, и мой карандашикъ какъ разъ въ тактъ ей отплясываетъ по записной книжкѣ. Предо мной—прекрасная группа фонтана, кургаузъ, раковина для оркестра, фасады гостиницъ съ облѣпившими ихъ, какъ гнѣзда ласточекъ, балконами, живописными зеленыя горы и утесистая стѣна Яйлы съ темными ущельями, въ которыхъ курится дымокъ взлетающихъ къ небу облаковъ.

Сладкій покой охватываетъ все существо. Волпистыя, задернутыя голубой кисеей очертанія далекихъ горъ, безбрежное ясно-лазурное море, синее небо и яркіе узоры зелени—все будто замерло, чуть дыша, въ чарующей гармоніи природы.

Какой-то «проводникъ» въ бархатной курткѣ, синихъ брюкахъ и черной шапочкѣ прогуливается мимо насъ, заложивъ руки въ карманы и поглядывая на одно изъ оконъ верхняго этажа. Должно-быть, татарскій Ромео, поджидающій питерскую Жюльету.

Это настолько нарушаетъ картину общей гармоніи, что мы уходимъ въ верхній паркъ.

У виллы Губонина, противъ балкона, стоитъ могучій развѣсистый платанъ. Къ стволу прибита дощечка съ надписью: «Платанъ Пушкина».

Здѣсь, подлѣ стѣны этого платана, сидѣли онъ двадцатилѣтнимъ юношей; и кто знаетъ, сколько думъ, сколько образовъ навѣяла ему эта чудная природа, напечаталъ этотъ вѣчный приборъ волнъ...

Рѣдѣть облаковъ летучая грядя,
Звѣзда печальная, вечерняя звѣзда!
Твой лучъ осеребрилъ увядшія равнины,
И дремлющій заливъ, и черныя скалы вершины...
Люблю твой слабый свѣтъ въ небесной вышинѣ;
Онъ думы разбудилъ уснувшій во мнѣ.
Я помню твой восходъ, знакомое свѣтило,
Надъ мирною страной, гдѣ все для сердца мило,
Гдѣ стройно тополя въ долину вознеслись,
Гдѣ дремлетъ нѣжный миртъ и темный кипарисъ
И сладостно шумятъ таврическія волны.
Тамъ нѣкогда въ горахъ, сердечной думы полный,
Надъ моремъ я влечалъ задумчивую тѣнь..."

Надвигаются сумерки, море и горы все глубже охватываетъ покой. Очертанія ихъ сливаются. Экипажъ медленно выѣзжаетъ по зигзагамъ шоссе. Мѣрное громохканье рессоръ убаюкиваетъ по движущимся огнямъ. Гурзуфъ залилъ электрическимъ сіяньемъ. Окутывшую землю тьму изрѣдка прорѣзываетъ свѣтъ, мелькающій въ окнахъ дачъ. Въ пропасти, въ дымчатой пеленѣ, показываются мириады огней Ялты. Кажется, будто это море отражаетъ млечный путь и звѣзды.

Спустя нѣсколько минутъ, мы въ гостиницѣ. Въ номерѣ душно. Раскрываю окно. Гавань и набережная окаймлены гирляндой огней. На молѣ сияетъ зеленый электрической свѣтъ маяка. Изъ садика «Россія» доносятся явственно звуки военной музыки. Играютъ вальсъ «Герольдъ». Барабанная дробь и нарастающее крещендо страстныхъ звуковъ сливаются съ неумолчнымъ прибоемъ волнъ въ общій аккордъ. Кажется, будто во мглѣ кто-то стонетъ въ сладкомъ изнеможеніи страсти.

Глава XXX.

Мимо Ливадіи, Ореанды и Ай-Тодора.—Алупка.—Замокъ и парки.—Хаосъ.—Береговая панорама.—Байдарскія ворота.—Въ Байдаркахъ.—Балаклава.—Кладбища.—Видъ Севастополя.—Бульваръ и бухта.—На яликѣ.—Братское кладбище.—Закатъ солнца.

8-е сентября.

Отъ Ялты до Севастополя около девятиста верстъ. Прекрасное шоссе, прорѣзывая Ливадію, Ореанду, Ай-Тодоръ, Алупку и Мисхоръ, извиляется лентой вдоль берега и только у Байдарскихъ воротъ круто поворачивается, углубляясь въ полуостровъ.

Изъ Ялты ежедневно отправляются дилижансы. Проездъ до Севастополя стоитъ 4—5 рублей.

Договариваю извозчика. Легонькій фаэтонъ-корзиночка и тройка лошадей. Спрашивается пятнадцать рублей. Швейцаръ убѣждаетъ согласиться. Увѣряетъ, что дешево, что надо пользоваться случаемъ, такъ какъ извозчикъ — севастопольскій. Сходимся все-таки на двѣнадцать. Швейцаръ получаетъ отъ меня рубль на чай специально за то, что «насилу уговорилъ» извозчика уступить.

Выѣзжаемъ. Извозчикъ — хохолъ, съ добродушнымъ лицомъ; но за добродушіемъ проглядываетъ малорусское «себѣ на умѣ», съ плохо скрытой и простоватой хитрецой.

— Ты сколько заплатилъ швейцару за то, что онъ привелъ тебя? — спрашиваю.

— Два рубля.

Высказываю сомнѣніе. Божится.

— Я радъ былъ, потому думалъ уже порожнякомъ вернуться. Учерась двухъ пассажировъ сюда привезъ.

— Значить, тебѣ всего десять рублей остается?

— Ага.

Говорю ему, что я тоже далъ швейцару рубль. Смѣется, хотя, видимо, чувствуетъ себя довольно глупо, такъ какъ почесываетъ спотылицу.

Что я плачу двѣнадцать рублей — это понятно: я ѣду; что извозчикъ получаетъ эти 12 рублей — тоже понятно: его экипажъ, его лошади, онъ везетъ. Но за что швейцаръ въ теченіе десяти минутъ заработалъ три рубля — могли бы объяснить развѣ только ялтинцы.

Набережная, пристань съ колышущейся на ней бѣлой, легкой какъ птица, Императорской яхтой «Эрикликъ», гостиницы и магазинъ — все это проносится мимо, исчезая за мной. Шоссе изгибается вдоль садовъ и хорошенькихъ, заманчиво улыбающихся дачъ. Оглядываюсь. Ялта пестрѣетъ въ зеленой корзинѣ надъ голубымъ заливомъ.

Предъ нами столбъ съ золотыми гербами и двуглавымъ орломъ.

Это — граница Ливадіи.

Шоссе заворачиваетъ къ берегу; внизу, на террасахъ, изъ роскошныхъ садовъ, изумрудныхъ газоновъ и раскинутыхъ коврами цвѣтниковъ, выступаютъ ливадійскіе дворцы, церкви, оранжереи и службы.

Проѣзжаемъ нижней дорогой въ Ореанду. Паркъ усыпанъ скалами; шоссе смѣняется во всѣхъ направленіяхъ подъ темнымъ сводомъ зелени, теряясь въ чащѣ, потомъ выбѣгаетъ на обрывъ. Внизу видны руины сгорѣвшаго дворца; справа, надъ нами, на скалѣ вырастаетъ бѣлая колоннада портика. Одинъ живописный ландшафтъ смѣняется другимъ; природа величественная, но строгая, сурового тона; угрюмая скалы и лѣсъ, перевитый выходящими растениями, имѣютъ дѣйствительный видъ. Еще мгновенье — и мы углубляемся въ темный тунель;

сквозь зеленое кружко виднѣется голубое море, надъ нами вырастаетъ громадная грозная скала, гдѣ-то на поворотѣ открывается вдругъ видъ на Ялту и Аю-Дагъ съ синѣющей котловиной у подножія.

Изъ нея выступаетъ на холмѣ Гурзуфъ.

Скалы, точно какое-то грозное полчище, надвигаются къ берегу, подступаютъ къ самому морю, словно бы пытаясь загородить ему путь, защитить землю отъ набѣга его волнъ. А оно все ближе подкрадывается къ ней, вздымается высокими гребнями и яростно реветъ въ безилии.

Ай-Петри, отвѣсная зубчатая каменная стѣна, высотой въ 578 саженъ, болѣе версты, мрачно и будто съ вызовомъ глядитъ на море, господствуя надъ этимъ авангардомъ скалъ.

Впереди выступаетъ Ай-Тодорскій мысъ съ тремя обрывистыми утесами. На мысѣ надъ обрывомъ высится башня маяка, замокъ и еще нѣсколько зданій. Живописныя дачи выглядываютъ отовсюду, лѣбятъ по склону горы, неожиданно показываются изъ чащи, у аллеи, вдоль которыхъ все время стелется шоссе. На пятнадцативерстномъ разстояніи между Ялтой и Алушкой виноградники, парки и лѣса не прекращаются. Не разберешь, гдѣ начинается одна дача и кончается другая.

Иногда изъ зелени, врѣзываясь въ синее небо, все ближе надвигаются утесы Ай-Петри. Сѣзжаемъ въ тѣнистую долину, застроенную дачами; изъ группы кипарисовъ, тополей и платановъ выступаютъ темносѣрые стѣны алупинскаго замка. Минусъ одинъ дворъ, окруженный башнями и увитый плющемъ и дикимъ виноградомъ, затѣмъ второй. Строгий стиль и видъ средневѣкового готическаго замка. Угрюмые своды воротъ, подъемные мосты, стрѣлчатая амбразура оконъ — все это придаетъ замку суровый и таинственный колоритъ. Въ звонкомъ эхо, подхваченномъ сводами, какъ будто еще слышатся шаги тѣхъ людей, которые прошли здѣсь когда-то.

Замокъ построенъ въ 1837 году. Фасадъ его, обращенный къ морю, въ мавританскомъ стилѣ. Большая величественная арка, съ двумя легкими минаретами надъ ней, тѣнистая веранда въ два яруса, съ ажурной балюстрадой и башнями по бокамъ, — все это сливается въ необыкновенно гармоничное архитектурное цѣло и полно той граціи и легкости, которыя составляютъ главную прелесть мавританскаго стиля.

Мой проводникъ — старый, приземистый, коренастый татаринъ. На немъ баранья шапочка, куртка, перепосанная краснымъ широкимъ поясомъ, мѣшковатые шаровары и туфли. На бородатомъ лицѣ и въ черныхъ глазахъ — строго-сосредоточенное и важное выраженіе. Видимо — ему надоѣло водить всю эту праздную вереницу людей, твердить одно и то же, десять разъ на день проходить по длинной анфиладѣ пустынныхъ залъ, гдѣ эхо вторитъ какимъ-то загадочнымъ откликомъ иного міра шагамъ и голосамъ пришельцевъ.

Онъ и еще три татарина составляютъ теперь весь штатъ прислуги замка, когда-то такого шумнаго, полнаго блеска и жизни ма-

ленького двора. Старикъ служилъ еще при князѣ Воронцовѣ и до сихъ поръ какъ будто не можетъ примириться съ мыслью, что прошлое исчезло, что вмѣсто минувшаго величія здѣсь воцарилось запустѣніе и забвеніе.

Князь завѣщалъ алупинскій дворецъ со всѣмъ имуществомъ въ пожизненное пользованіе княгини, своей супруги. Самое имѣніе вошло въ маоратъ, доставшійся по наслѣдству графу Шувалову. Это поставило наслѣдниковъ въ совершенно исключительное положеніе: княгиня не пользуется замкомъ потому, что у стѣнъ его начинаются владѣнія графа Шувалова; и паркъ, и цвѣтники, и дворъ—все это принадлежитъ графу и находится въ вѣдѣніи его управляющихъ. Живя въ Алупкѣ, княгиня, уже переступая порогъ замка, входила бы въ чужое владѣніе. Она поселилась въ Италіи, куда вывезла драгоценную мебель, рѣдкія коллекціи картинъ и сокровища, которыя собирались изъ поколѣній въ поколѣнія, составляя фамильную гордость. Уцѣлѣла только громадная бібліотека. Съ другой стороны—и графъ Шуваловъ, со времени полученія этого наслѣдства, почти не заглядывалъ сюда. Въ паркѣ есть небольшой живописный домъ съ башней; но помѣщеніе это слишкомъ мало, а дворецъ принадлежитъ пожизненно княгинѣ. Благодаря этому, такимъ райскимъ уголкамъ, какъ Алупка, его владѣльцы не пользуются. И во дворцѣ, и въ паркѣ уже замѣтна запущенность.

Становится грустно. Кажется, ужъ гдѣ бы человѣкъ могъ жить привольнѣе, безпечнѣе и счастливѣе, какъ не здѣсь, въ этомъ чудномъ паркѣ, надъ этой дивной янжно-голубой, чарующей равниной, подъ этимъ синимъ небомъ юга...

— И давно здѣсь никто не живетъ?—спрашиваю проводника.

— Ишо какъ, князь умираетъ. Княгиня ухалъ можить болши, можить нимножка мѣнши, какъ пѣтинасать годъ.

Надъ величественной мавританской нишей съ расписаннымъ арчбесками сводомъ—какая-то арабская надпись. Спрашиваю татарина, что она значитъ.

— Эта значитъ,—говоритъ онъ,—кроми Бохъ никто ни можна эта дворцъ разрушить, такъ чито ана крѣпка строэна.

Замокъ, несмотря на его архитектурную стройность и легкость, дѣйствительно кажется высѣченнымъ изъ одного массивнаго темносѣраго куска трахита.

Татаринъ вводитъ меня во дворецъ. Проходимъ длинную анфиладу залъ, зимній садъ и множество комнатъ. Ихъ болѣе двухсотъ, но показываются только парадные покои. На стѣнахъ передней и въ залахъ—фамильные портреты съ гербами Воронцовыхъ; надъ портретомъ графа Браницкаго, отца старой княгини, соединенный гербъ Воронцовыхъ и Браницкихъ съ девизомъ *semper immita fides*; въ спальнѣ еще уцѣлѣли кое-какія картины; изящный фонтанъ въ мавританскомъ стилѣ безмолвствуетъ у одной изъ стѣнъ. Мебели почти никакой; голыя стѣны, въ лѣпныхъ карнизахъ и фрескахъ, да изрѣдка портреты—вотъ и все убранство дворца.

Верхній паркъ, раскинувшійся за замкомъ, подымается къ са-

мому подножію Ай-Петри, растающему надъ нимъ неприступной и такой же сѣрой стѣной, какъ и замкомъ. Видъ запущенный и дикий. Тамъ и сямъ изъ темной листвы, надъ зигзагами дорожекъ, выступаютъ скалы съ гrotтами. Въ одномъ изъ нихъ—могила любимой собаки князя Воронцова; надъ гrotтомъ на скалѣ высѣчено «Chemlek». Дальше дремлетъ подъ тѣнистыми сводами зелени застывшій, точно стекло, прудъ. Въ центрѣ его пирамидальный утесъ, изъ котораго бьетъ струя фонтана, лѣбно журча въ окружающемъ безмолвіи.

Ближе къ грозному Ай-Петри начинается знаменитый «хаосъ». Это—цѣлая гора изъ глыбъ, скалъ, утесовъ и осколковъ обвала, перепутавшихся въ невообразимомъ безпорядкѣ. Точно какая-то толпа гигантовъ, борющихся въ изступленной схваткѣ и вдругъ окаменѣвшихъ; одни исполины навалились сверху, тысячи другихъ обступили холмъ, словно осаждая его, и въ самый рѣшительный моментъ битвы вдругъ застыли навѣки въ полныхъ напряженія позахъ атакующихъ.

Между навалившимися на узкій проходъ скалами карабкаемся наверхъ, пробираемся, согнувшись, подъ громаднымъ утесомъ и выходимъ на макушку его, въ самый центръ «хаоса». Вокругъ, на протяженіи полуверсты, цѣлая полчища камней и скалъ, нагроможденныхъ одна на другую, точно изверженныхъ откуда-то изъ пресисподней.

Сажусь на каменную скамейку. Эта картина разрушенія и смерти подавляетъ. За нами—такое же мертвое и величественное Ай-Петри съ плывущими подъ двуперстыми утесомъ облаками и глыбы «хаоса», предъ нами, за грудой разсыпавшихся къ подножію холма камней, кудрявая зелень парка, ниже татарскія мазанки аула, утroomья и безъ крышъ, изящная мечеть со стройнымъ минаретомъ, дальше—сѣрая башня и стѣны замка, выглядывающія изъ бахромъ парка, совсѣмъ внизу—голубое море, на фонѣ котораго особенно рельефно выдѣляются стройныя, какъ минареты, темныя иглы кипарисовъ. На морѣ, точно крылья мотыльковъ, колышутся и трепещутъ ярко-бѣлые паруса. Слѣва, надъ голубой гладью, выдвигается Ай-Тодоръ съ замкомъ и башней маяка.

Нижній паркъ спускается къ морю уступами. У мавританской арки дворца начинается лѣстница; на каждой площадкѣ—мраморныя фигуры львовъ. Внизу львы спятъ, вверху, на террасѣ предъ замкомъ, они стоятъ во весь ростъ, какъ бы защищая входъ во дворецъ.

Нижній паркъ не имѣетъ того дикаго вида, какъ верхній; онъ разработанъ, расчищенъ; цвѣтники въ зеленомъ газонѣ досмотрѣны, но нѣтъ все-таки той вхоленности, что въ Гурзуфѣ. Подлѣ лѣстницы—грузинскій садъ съ фонтаномъ въ скалѣ, дальше—«фонтанъ слезъ Маріи Погоцкой», бесѣдка, обитая виноградомъ съ гроздьями душистой изабеллы, еще скала со скамейкой и бесѣдкой въ видѣ порттика, въ глубинѣ—обрывъ и водопадъ.

Растительность такая же чудная, какъ и въ Никитскомъ саду.

Столѣтніе дубы и платаны, перевитые плющем, шпалеры вьющихся розъ, роши громаднѣхъ магнолій, роши лавровъ и цѣлый лѣсъ кипарисовъ. Ихъ темныя силуэты выстроились группами, неподвижными и мертвенно-безмолвными, точно кака-я-нибудь толпа сторожей у могилы прошлаго.

Въ замкѣ на одной изъ башенъ раздается мягкій и меланхолическій бой часовъ. Для чего и кому они напоминаютъ о времени? Въ окружающемъ безмолвіи этотъ бой кажется тоже какимъ-то отзвукомъ прошлаго.

За оградой парка, выше замка, гостиницы, дачи и татарская деревня.

Обѣдаю въ ресторани. Это небольшой открытый балаганъ, устроенный вблизи одной изъ гостиницъ. Говорятъ, будто лучшій въ Алушкѣ. Содержательница — дама строгая, раздражительная и очень негостеприимнаго вида. Неряшливо и неуютно, обстановка чересчуръ ужъ трактирная. Изъ Ялты прѣзжаетъ компанія курсовыхъ. Нѣсколько папашъ, мамашъ и много барышень. При нихъ какой-то крымскій «эффенди». Мамаша почему-то ухаживаютъ за нимъ. На немъ длинный чессунчевый сюртукъ и баранья шапочка.

— Видите, какой вы нехорошій, Мустафа Сюлеймановичъ, — укоряетъ его одна изъ мамашъ довольно сладенькимъ голосомъ. — Мы къ вамъ лѣчиться, а вы даже и не показываетесь.

— Выдышь, мы не знаемъ, — оправдывается онъ. — Нэкада, патаму дома...

Около трехъ вѣдъ дальше. Дорога ползетъ въ гору, вдоль татарскихъ мазанокъ. Деревья выглядятъ безжизненно. Изрѣдка показывается татарка, въ туфляхъ и синемъ съ красными цвѣтками бешметѣ, да по узкой, кривой улицѣ пробѣжитъ черномазая дѣвора. Изъ садовъ выглядываютъ дачи, построенныя по типу гурзуфскихъ; Алупка и дворецъ опускаются все ниже.

Шоссе все время вьется по холмистому берегу, надъ обрывами, подъ которыми стелется море. Справа и слѣва то сады, то шелковистыя виноградныя плантаціи. Кудрявые кусты съ подернутой пурпуромъ листвою увѣшаны то янтарными, то черными гирляндами винограда.

За станціей Мисхоръ подъемъ становится круче. Надъ шоссе разворачивается безконечными сѣрами ширмами стѣна Яйлы, къ морю разсыпается скалы и бугры, вырастающіе въ цѣлыя группы холмовъ. Растительности меньше и она бѣднѣй. На скалахъ краснѣютъ ярко-коричневые стволы арбутуса и темно-коричневые — крымской сосны. Тамъ и сямъ кустится дубовый молоднякъ, попадаетъ можжевелникъ, на сѣромъ фонѣ Яйлы вырисовываются шпалеры дубоваго, буковаго и грабоваго лѣса. Плющъ и ломоносъ темнымъ кружевомъ покрываютъ скалы.

Дачи и усадьбы попадаютъ все рѣже, да и то онѣ далеко отъ насъ, внизу, у моря. Мѣстность кажется необитаемой, природа имѣетъ дикій и суровый видъ.

Солнце закатывается гдѣ-то за стѣной Яйлы. Тѣни все стано-

вятся длиннѣй и подползаютъ ближе къ морю. Оно теперь уже не голубое, а темно-синее, почти такого же цвѣта, какъ и небо, съ которымъ сливается далеко на горизонтѣ. Дорога змѣится надъ обрывомъ, пропасть подъ нами становится все глубже, берега отвѣснѣй. Мѣстами охватываетъ такое же жуткое ощущеніе, какъ между Гудаутомъ и Млетами. Шоссе кажется какимъ-то карнизомъ, который лѣзится зигзагами вдоль гигантской стѣны; иногда оно спирально огибаетъ выступъ Яйлы и снова ползетъ по стѣнѣ. Море уже такъ далеко внизу, что пароходъ, vyplывающій изъ-за мыса, кажется чернымъ жукомъ. Быстрота его хода отсюда незамѣтна; онъ точно стоитъ на мѣстѣ.

Минувемъ Симензъ, Лимены и Кикинеизъ, надъ которыми начинается гряда Яйлы, громоздящейся вдоль берега до самой Феодосіи. Ущелья и пропасти завлекаются легкой дымкой. Справа отъ шоссе — неприступная, совсемъ отвѣсная гигантская стѣна, слѣва — бездна, потомъ оврагъ, заросшій лѣсомъ. Въ этомъ оврагѣ — Меравень, «чортова лѣстница», путь, по которому жители побережья сообщались съ полуостровомъ, проникая въ него сквозь какое-то ущелье, прорѣзывающее гдѣ-то здѣсь неприступный горный хребетъ. Въ «Чортовой лѣстницѣ» насчитываютъ отъ 800 до 1000 крутихъ ступеней. Подъемъ по ней иногда совершаютъ верхами.

Впереди показывается покрытый лѣсами и скалами мысъ Сарычъ, на фонѣ его, на берегу, бѣлѣтъ дача Форосъ. Высокая гора, окруженная нѣсколькими холмами, точно колокольня куполами, выдвигается надъ Форосомъ. На вершинѣ ея, необыкновенно ярко выдѣляясь на темной зелени лѣсовъ, высятся прелестная бѣлая церковь, построенная владѣльцемъ Фороса. Шоссе подымается все выше, то проползаетъ между холмами, то опять вдоль каменной стѣны, то подбѣгаетъ къ бѣлой церкви, то уходитъ отъ нея. Прѣзжаемъ небольшой тунель, впереди снова вырастаетъ отвѣсная стѣна, но она изогнулась угломъ. Шоссе круто направляется туда. Море, Форосъ и церковь уже за нами, мы ѣдемъ прямо на неприступную каменную стѣну. Въ ней темнѣетъ арка воротъ. Надъ ней — шпиль.

Это Байдарскія ворота. Отсюда открывается величественный видъ на море. Туристы обыкновенно ночуютъ въ Байдаркахъ, чтобы любоваться чарующей и захватывающей картиной восхода солнца. Осенню огненный шаръ выплываетъ какъ разъ противъ воротъ, изъ-за края безбрежной синей дали, заливая золотымъ потокомъ весь этотъ просторъ, эти живописные берега въ горахъ, скалахъ и лѣсахъ.

По ту сторону воротъ начинается холмистая, убранныя жидковатыми лѣсами Байдарская долина. Ворота кажутся вырубленными въ исполинской стѣнѣ окномъ. Стоишь въ нихъ, надъ пропастью, и не можешь налюбоваться этой чудной панорамой съ безграничнымъ горизонтомъ.

Рѣшаю переночевать здѣсь, чтобы посмотрѣть завтра на восходъ солнца. Сейчасъ же за воротами почтовая станція и гостиница, жалкая лачуга. Два номера заняты туристами, третій «номеръ» —

какая-то кухонька. На станции, в комнатах для проезжающих, на диванах расположились пассажиры. Есть и два художника. Так и знаешь! Кажется, и есть мариниста и пейзажиста, который не побывал бы в этом уголке и не попытался бы изобразить «восход солнца» из Байдарских ворот. Даже оскомину набило.

Как ни искушает меня желание полюбоваться этой картиной, но перспектива почлега в грязной конуре не особенно улыбается. Местечко Байдары в пяти верстах. Буду тула, с расчетом завтра, кь восходу солнца, быть у ворот.

Темно и свѣжо. Висреди, вь долинь, горят байдарскіе огоньки. «Лучшая» гостиница оказывается пресквернымъ заѣзднымъ домомъ. Матрацъ — надгробная плита; холодно и сыро. Выхожу на балконъ. По улицамъ бродятъ татары. Изрѣдка вь ворота шмыгаютъ сидѣтцы татарокъ. Слишно блеяніе овецъ, дымъ князя бьетъ вь нось.

9-е сентября.

Утро. Восходъ проспалъ. Байдарская панорама пропала. Тему ея я видалъ. Пытаюсь дорисовать воображеніемъ, какъ все это должно быть необыкновенно красиво, какъ откуда-то изъ-подъ края моря, зарумяненного каймой пурпура, вдругъ вырывается ореолъ ослѣпительныхъ лучей, и по зеркальной голубой или синей глади разливается розовое сіяніе. Но все-таки не удается убавлять чувство досады. Вь довершеніе всего, хозяинъ гостиницы, какой-то крымскій баши-бузукъ съ малороссійской фамиліей, предъявляетъ невозможный счетъ. Эта конурка оцѣнена вь полтора рубля, скверное вино и невозможный ужинъ — тоже что-то около этого. Спрашиваю, не ошибся ли онъ. Смотрить безстыжими глазами и даже не сморгнетъ. Прошу его написать мнѣ еще одинъ экземпляръ этого счета для памяти. Пусть хоть поупражняется. Идетъ, пишетъ и такъ же спокойно вручаетъ его мнѣ.

Надъ долиной, вь которой раскинулось мѣстечко, стелется дымъ. Свѣжо. На улицахъ показываются крупные, здоровые татары вь курткахъ, повязанныхъ красными кушаками, широкихъ шароварахъ и бараньихъ шапочкахъ. Изъ раскрытыхъ воротъ выгоняютъ овецъ; спугнутыя собаками, онѣ разбѣгаются, вздымая пыль. Какая-то татарка, съ липомъ, повязаннымъ платкомъ, вь красномъ халатѣ, шароварахъ и туфляхъ, робко выглядываетъ изъ калитки.

Выѣзжаю. Изъ разговора съ извозчикомъ узнаю, что хозяинъ гостиницы бесплатно отвелъ для его лошадей помѣщеніе и отпустилъ ему сѣно и овесъ.

— У насъ это всегда такъ полагается, за то, что мы пассажировъ ему доставляемъ, — объясняетъ онъ откровенно.

Теперь понятно, почему съ меня содрали. У колодца, пока онъ поитъ лошадей, кь нему подходитъ паренъ, типичный руссакъ, и заговариваетъ. Должно-быть — мастеровой. Развязности, какую русскій человекъ чувствуетъ среди своихъ, незамѣтно. Видно — неволя загнала сюда. Идетъ вь Севастополь мѣста искать. Рѣчь хорошая, бойкая, отчетливая. Спрашиваю — откуда. Оказывается — тулякъ.

Предлагаю подвезти. Хохолъ охотно уступаетъ ему мѣсто подлѣ себя, но относится не безъ ироніи, и когда тулякъ, на вопросъ мой, отвѣчаетъ, что былъ вь военной службѣ, спрашивается его не безъ схиства:

— Разли кацаповъ берутъ вь солдаты?

«Кацапы» смѣются добродушно, не обижаясь. Онъ, видимо, доволенъ, почти счастливъ, что ему представился такой случай — отмахать вь рессорномъ экипажѣ двадцать пять верстъ. Вь годосѣ его, чистомъ и звонкомъ, звучитъ хорошая, ласкающая нотка благодарности. Онъ разспрашиваетъ извозчика, гдѣ бы ему пріютиться, какъ бы устроиться, и вь этихъ вопросахъ слышится тревога чужого человека, истратившаго послѣдній грошъ вь пути и сомнѣвающегося вь завтрашнемъ днѣ.

Шоссе разворачивается узкой сѣрой лентой вдоль Байдарской долины. Тамъ и сямъ по склону холмовъ и невысокихъ горъ темнѣютъ надъ выжженной солнцемъ степью лѣса, низкорослые и рѣденькіе. Море совсѣмъ исчезло, оно осталось позади, за грядой горъ. Только на время вь ущельѣ, гдѣ ютятся Балаклава, показывается голубая гладь залива. Маленькій городъ лѣпится бѣлыми кубиками вдоль каменныхъ береговъ. На холмѣ видны бани и развалины древней генуэзской крѣпости. Нѣкоторые историки предполагаютъ, что Балаклава именно и есть древній «портъ Лестригоновъ», вь которомъ вь оны времена, если вѣрить Гомеру, побывалъ хитроумный Улиссъ.

Несподалеку отсюда, на берегу моря, вь одномъ изъ самыхъ живописныхъ уголковъ Крыма, стоитъ древній Георгіевскій монастырь. Справа отъ него, на мысѣ Фолентѣ, былъ нѣкогда, какъ тоже предполагаютъ историки, храмъ знаменитой Ифигеніи, приписывшей богамъ человѣческія жертвы, героини Эврипида, Расина и Гете. Такъ ли это или нѣтъ, но каждая пядь земли Крымскаго побережья полна праха, — праха тысячелѣтій, пронесшихся такъ же безстыдно и здѣсь, какъ и вь памяти потомства.

Противъ ущелья, вь которомъ глядится вь зеркальный заливъ Балаклава, бѣлѣетъ маленькая пирамида, обнесенная низкой каменной оградой. Это памятникъ англичанамъ, павшимъ вь «Балаклавскомъ дѣлѣ» вь 1854 г.

Захожу посмотреть. Тулякъ тоже слазитъ и идетъ за мной.

На памятникѣ опять слѣды туристовъ, — имена, фамилии и разныя надписи. Между ними куплетъ изъ Надсона:

„Миръ устанетъ отъ мукъ, захлебнется вь крови,
Утомится безумной борьбой“...

Тулякъ спрашиваетъ, кому поставленъ этотъ памятникъ, потомъ снимаетъ шапку и ослѣняетъ себя широкимъ русскимъ крестомъ. Напротивъ, справа отъ шоссе, итальянское кладбище.

Вокругъ вся степь, бурая, безжизненная степь, изрыта рвами и траншеями, усыпана буграми и курганами. Чѣмъ ближе кь городу, тѣмъ больше этихъ кротовинъ и канавъ. Вь шести верстахъ

отъ Севастополя, слѣва отъ шоссе, французское кладбище, справа—англійское.

Вдали, вырастая на холмѣ, увѣнчанномъ храмомъ Владимира, называется сверкающей бѣлыми кубиками Севастополь. Правѣ—надъ городомъ выступаетъ темная пирамида. Она очень напоминаетъ памятникъ воинамъ, павшимъ при взятіи Казани, только величественнѣй и стройнѣй.

Это церковь на Братскомъ кладбищѣ.

Изъ города доносится непрерывная пушечная канонада.

Шоссе подходитъ къ Севастополю съ юга. При въѣздѣ—Историческій бульваръ. Подлѣ него на площади нѣсколько ротъ солдатъ обучаются стрѣльбѣ.

Бѣлый городъ красиво выступаетъ надъ заливомъ, спускаясь къ нему невысокимъ амфитеатромъ. Съ сѣвера его омываетъ обширный, не замерзающій севастопольскій портъ, съ востока—южная бухта. Растительности очень мало, и это придаетъ городу какой-то обнаженный видъ. Изрѣдка на красивыхъ улицахъ съ большими, прекрасными зданіями попадаются развалины, слѣды бомбардировки. Но ихъ совсѣмъ уже мало. Городъ возродился изъ пепла и растетъ не по днямъ. Широкія улицы вымощены гранитными кубиками, тротуары—плитами или асфальтомъ. На главныхъ улицахъ прекрасные европейскіе магазины. Нахимова проспектъ, соединяющійся съ Екатерининской и Большой Морской въ трехверстный элипсисъ, кажется уголкомъ столицы. Красивые многоэтажные дома, огромныя зеркальныя витрины, грохотъ мостовыхъ, шумная толпа—все это сразу переноситъ насъ въ какой-то крупный центръ жизни. И какъ-то не вѣрится, что именно здѣсь сорокъ лѣтъ тому назадъ разыгралась такая жестокая трагедія человѣческой жизни.

Съ сѣвера, на полуостровѣ, врѣзывающемся въ Большую бухту, разбитъ Приморскій бульваръ. Растительность еще молодая. Мѣстоположеніе чудное. Съ юга вдоль него высятся шпалеры дворцовъ, съ запада, сѣвера и востока онъ окруженъ моремъ. Всѣ суда, входящія въ севастопольскій рейдъ, проносятся мимо. Съ него открывается видъ и на просторъ моря, и на противоположный берегъ залива, и на Южную бухту.

Вблизи бульвара, рядомъ съ красивымъ фасадомъ отеля Киста, выступаетъ колоннада и лѣстница Графской пристани, обращенной къ востоку. Дальше—пристани Русскаго общества и доки. Южная бухта переполнена судами. На восточномъ берегу Малаховъ курганъ и корпуса морскихъ казармъ; предъ ними памятникъ адмиралу Лазареву. Черный силуэтъ громадной фигуры величественно выстается на пьедесталѣ. У Графской пристани цѣлая стая яликовъ. Сажусь на яликъ и ѣду къ Братскому кладбищу. Легкій вѣтеръ вздуваетъ парусъ. Яликъ быстро и легко скользитъ надъ темной колышущейся пучиной, лавируя среди пароходовъ и гигантовъ-броненосцевъ, выстроившихся своими темными корпусами вдоль рейда. Навстрѣчу летятъ такъ же легко и неслышно другіе ялики, бѣгутъ, весело посвистывая, катера.

Выскакиваю на сѣверномъ берегу, въ Панаіотовой бухтѣ. Отсюда до кладбища еще съ полверсты. Вдоль бухты—рыбачьи лачуги; тамъ и самъ на заборахъ развѣшены невода и сѣти. Ко мнѣ подбѣгаютъ два мальчугана, лѣтъ шести-семи, и вызываются проводить на кладбище. Яличникъ гонитъ ихъ. Онъ самъ взялся быть моимъ проводникомъ. Мальчуганы недовольны и что-то ворчатъ по адресу яличника.

Идемъ. Степь, покрытая порывѣвшей и высохшей травой, совсѣмъ мертвая. Изрѣдка она изрыта канавками. Впереди, на холмѣ, выступаетъ пирамида церкви, окруженная длинной оградой. У воротъ старикъ въ ветхомъ военномъ покроя сюртукѣ. На груди георгіевскій крестъ и медали. Должно-быть, одинъ изъ героевъ севастопольской обороны. Предлагаетъ показать кладбище. Благодарю, говоря, что у меня есть уже проводникъ. Смотритъ недовольно на яличника и что-то бормочетъ.

Сейчасъ подлѣ воротъ стоитъ группа памятниковъ севастопольскихъ героевъ. На высокой бѣлой колоннѣ мраморный бюстъ генерала Хрулева; это скульптурный шедевръ; типичное лицо живетъ, мраморъ кажется одухотвореннымъ. Дальше—роскошный мавзолей графа Тотлебена съ бюстомъ въ нишѣ, памятникъ адмирала Спицына, тоже съ бюстомъ, памятники Кумани и Новикова, красивый, еще совсѣмъ новый памятникъ генерала Мольскаго съ портретомъ въ овальномъ медальонѣ, дальше, вдоль аллеи, еще десятки памятниковъ и мавзолеевъ другихъ героевъ и цѣлая масса большихъ надгробныхъ плитъ въ видѣ крышки гроба съ лаконической надписью:

«братская могила».

Надо всѣмъ кладбищемъ господствуетъ массивная, высокая темносѣрая пирамида церкви, увѣнчанная золотымъ крестомъ. Вокругъ нея разставлены орудія, отвоеванная у неприятеля. Образа въ церкви—изъ прелестной итальянской мозаики.

Сажусь на ступени площадки, окружающей храмъ. Кладбище разворачивается предо мной по склону холма; за нимъ стелется бурная долина, дальше синѣетъ бухта, а надъ ней тѣнятся амфитеатромъ бѣлая громада Севастополя, залитая розовато-золотистымъ сіяньемъ заката.

Вспоминается ужасная драма, которая разыгралась въ этой обставкѣ, и не вѣрится, что все это было, что надъ этимъ бѣлымъ, сверкающимъ городомъ стояли стонъ и проклятье, немолчно грохотали орудія, разрушая трудъ человѣческой, превращая все въ груды пепла, неся смерть и страданье.

Эти могилы, такіе безмолвные, какъ тайна смерти, сколько жизней, и какихъ жизней, поглотили онѣ! Въ иной день сюда вонъ по той бухтѣ, которая такъ заманчиво синѣетъ теперь, провозили на шаландахъ или паромахъ по тысячѣ труповъ, изувѣченныхъ, обезображенныхъ и всего еще нѣсколько часовъ тому назадъ полныхъ энергіи и жажды жизни. Здѣсь приготавлились широкія, огромныя ямы, всѣ эти общія «братскія» могилы, въ которыя потомъ сваливались сотнями люди, истребленные другими людьми, никогда ранѣ-

ше не знавшими ихъ, не выдавшими, не имѣвшими съ ними ничего общаго,—людьми, дѣти и внуки которыхъ сегодня бросаются другъ другу въ объятья...

И изо дня въ день, пока тамъ грохотала неумолчная разрушительная канонада, здѣсь толпа арестантовъ, угрюмая сѣрая толпа людей, лишенныхъ даже права умереть за родину, рыла эти могилы для своихъ братьевъ. Могилы наполнялись и наполнялись; веренища «можарей» тянулись сюда непрерывно, доставляя новые транспорты труповъ... Сто тысячъ труповъ лежитъ въ этихъ могилахъ, сто тысячъ жизней поглотила здѣсь земля!..

Сто тысячъ!..

Что-то гнететъ нестерпимо...

Ухожу. У воротъ старикъ-сторожъ, таки не выдержавъ, замѣчаетъ яличнику:

— А ты чего провожаешь? Это не твое дѣло! Только и знаютъ перехватывать кусокъ хлѣба.

На пристани, къ которой мы причалили, камни покрыты охажкой скользящей морской травы. Мальчуганы, просившіе взять ихъ проводниками, стоятъ въ сторонѣ и поглядываютъ ожидаательно, съ видомъ заговорщиковъ. У ялика стоитъ какой-то мальчишъ, должно-быть знакомый яличника.

— Это они, дяденька, нарочно траву положили на камни, чтобы вы поскользнулись и упали,—говоритъ онъ.

— За что-жь это они такъ?

— А за то, дяденька, что баринъ ихъ проводниками на кладбище не взялъ.

Тоже конкуренція!

Плывемъ. Парусъ надувается. Яликъ летитъ съ бесплотной легкостью. Панорама Севастополя и береговъ залива разворачивается пестрыми картинами.

Въ глубинѣ бухты, подлѣ устья Черной рѣчки, виденъ Инкерманъ, дальше выступаютъ Малаховъ курганъ, морскія казармы, памятникъ Лазареву, доки и, наконецъ, весь городъ съ возвышающимися надъ нимъ колоннадой Петропавловскаго собора, въ стилѣ храма Тезея, и куполомъ храма св. Владимира. Въ глубинѣ Южной бухты, вырвавшись изъ тунеля, бѣжитъ вдоль берега побѣдъ. Катеръ тащитъ къ Графской пристани огромный плашкоутъ, на которомъ, точно муравьиная куча, чернѣетъ толпа изъ нѣсколькихъ сотъ рабочихъ, возвращающихся съ доковъ.

На броненосцахъ, расцвѣченныхъ флагами, суетливо бѣгаютъ матросы. Миноноски окружаютъ ихъ, точно пылаютъ курицу. На «Синюль» нѣсколько сотъ матросовъ выстроились черными рядами. На флангъ сверкаютъ мѣдныя трубы хора.

Солнце закатывается за море огненнымъ дискомъ. Уже видна только половина его. Золотыя нглы лучей скользятъ по колышущейся поверхности залива.

Солнце исчезаетъ. Надъ моремъ еще только краешекъ его и золотой ореолъ.

Вода чуть-чуть журчитъ у скользящаго надъ ней ялика. Вдругъ, какъ разъ въ то время, когда мы подплываемъ къ «Синюлю», на палубѣ вспыхиваетъ, какъ молнія, огонь, и изъ пучечнаго жерла вмѣстѣ съ дымомъ вылетаетъ оглушительный раскатъ выстрѣла. Парусъ ялика, дрогнувъ, накренивается...

Солнце зашло...

На мигъ въ природѣ воцаряется торжественная и величественная тишина. Со стороны Братскаго кладбища проносится волна теплаго, легкаго, какъ вздохъ, вѣтерка. Почти въ ту же минуту на «Синюль» слышится бой стеклянокъ, и сразу изъ сотни молодыхъ грудей и мѣдныхъ трубъ оркестра плавно раздаются звуки «Коль славенъ», разливаясь нарастающими и ласкающими волнами въ пурпурномъ сіяніи моря.

ГЛАВА XXXI.

Приморскій бульваръ вечеромъ.—Музей севастопольской обороны.—Храмъ св. Владимира.—Публика.—«В. К. Константинъ».—Пассажиры.—Переселенцы.—Отчаливаемъ.—За обѣдомъ.—У Евпаторіи.—Мимо Тарханкута.—Прѣздъ въ Одессу.

Вечеръ заканчиваю на Приморскомъ бульварѣ.

Изящное зданіе яхтъ-клуба съ мавританской башней и легкими ажурными арками сіяетъ огнями.

На площадкѣ пестрая толпа гуляющихъ. Изъ раковины льются ласкающіе звуки музыки, которые иногда заглушаетъ прибой моря.

Въ сумракѣ загадочно вырисовываются волнистые контуры зелени и стройные, совсѣмъ черные силуэты кипарисовъ.

Ропотъ моря доносится со всѣхъ сторонъ, и порой мнѣ кажется, что я на островѣ, который незамѣтно упирается куда-то, или опять на пароходѣ. Вокругъ, куда ни оглянешься, гирлянда фонарей. За мной, къ югу, городъ, окутанный сіяньемъ и выступающей надъ шпалерами зелени, предо мной рейдъ съ его мириадами огньковъ, отражающихся бѣгающими змѣйками на волнуемой поверхности залива.

Громадные корпуса эскадры, выстроившейся противъ бульвара, кажутся какими-то чудовищами. Съ нихъ то и дѣло льется широкій, какъ хвостъ кометы, потокъ электрическаго свѣта. Фонари поворачиваютъ то въ одну, то въ другую сторону, освѣщая берега и бухту. Яркій хвостъ лучей заливаютъ свѣтомъ сѣверный берегъ съ батареями и бѣлыми домиками, потомъ перелетаетъ на бульваръ, обдавая сіяньемъ каждый листикъ узорчатой зелени, толпу, бѣсѣдки и фасады домовъ, сверкающіе вдали длинными рядами оконъ. Минуту спустя съ другого броненосца вырывается такой же потокъ свѣта, скользящій по бухтѣ и берегамъ, иногда скрепящийся съ первымъ. Эти хвосты движутся по небу, поднимаются, опускаются, исчезаютъ и снова появляются. Потокъ лучей ласкаютъ, вызывая

какое-то странное ощущение слияния и материального общения с этими волнами света. А внизу, почти у ног, продолжаете колоколато серебристо-белая пѣна прибоя, принимая загадочныя формы каких-то привидѣній.

Картина полна волшебства, и въ этихъ переливахъ свѣта и тѣней, въ этомъ полетѣ лучей, будто сливающихся съ волнами звуковъ, чувствуется какой-то невѣдомый еще миръ,—миръ иллюзий и гармонии, за которымъ исчезаетъ дѣйствительность жизни съ ея настоящей суетой и еще не замершимъ стономъ ужаснаго прошлаго.

10-е сентября.

Ясное утро; синее небо, синее море. Городъ еще ярче выдѣляется на ихъ фонѣ, сверкая своей бѣлизной надъ этой равниной, вспоенной кровью и засыпанной пепломъ.

Осматриваю музей севастопольской обороны. Онъ на Екатерининской, въ небольшомъ помѣщеніи. Но напротивъ для него строится новое зданіе съ величественнымъ фасадомъ, арматурами и пушками вдоль фронтона.

Коллекція музея не богата, и далеко не все, что относится къ эпопее защиты Севастополя, собрано здѣсь. Но и то, что есть, очень интересно и будитъ много священныхъ воспоминаній. Планы, карты, ружья (еще кремневые!), тесаки—пили, давно вышедшія изъ употребленія, тяжелая амуниція, по плечу какимъ-нибудь геркулесамъ, французскія картечныя ружья, опять рисунки, чертежи и модели, портреты главныхъ дѣятелей обороны—Нахимова, Корнилова, Тотлебена, Истомина и Хрулева, ихъ вещи, одежда Корнилова, бывшая на немъ въ день смерти на Малаховомъ курганѣ, этомъ роковомъ курганѣ, на которомъ столько русскихъ героевъ гибло за родину съ величественной простотой и мужествомъ древнихъ, коллекція орденовъ, адресовъ и подарковъ, поднесенныхъ генералу Тотлебену, еще сотни предметовъ, принадлежавшихъ другимъ сподвижникамъ, бомбы, картечь, патроны, шашки, штыки, ружья, ибѣный арсеналъ.

Здѣсь же модели «Трехъ Святителей» и «Двѣнадцати Апостоловъ», а надъ ними, на стѣнѣ, картина потопленія кораблей. Въ ночь съ 10 на 11 сентября, сорокъ лѣтъ тому назадъ, эти два гиганта исчезли на днѣ залива вмѣстѣ съ пятью фрегатами и однимъ корветомъ.

Въ воображеніи еще ярче встаетъ картина разрушенія и смерти, царившихъ здѣсь въ теченіе одиннадцати мѣсяцевъ обороны Севастополя. Бывали дни, когда непріятель бомбардировалъ одновременно изъ 1364 орудій, выбрасывавшихъ до 59 тысячъ снарядовъ. Генералъ Тотлебенъ высчиталъ, что за время осады непріятель выпустили до двухъ съ половиной миллионъ снарядовъ и сорокъ пять миллионъ пуль. Вся равнина была засыпана свинцовымъ градомъ, и подъ этимъ смертельнымъ градомъ погибло до ста шестидесяти тысячъ жизней, гибли осаждавшіе, пришедшіе сюда съ разныхъ концовъ Европы, гибли защитники, собранные со всѣхъ

уголковъ земли русской, и вѣлкороссы, и поляки, и малороссы, и финны, и десятки инородцевъ, предки которыхъ враждовали между собой, истребляя другъ друга для того, чтобы потомки ихъ, слившись подъ общимъ знаменемъ, легли костями въ эту общую братскую могилу.

Отсюда отправляюсь по узкой, высокой лѣстницѣ къ храму св. Владимира. Это тоже памятникъ севастопольской обороны. Онъ построенъ въ центрѣ города, на вершинѣ горы, въ строгомъ византийскомъ стилѣ, слишкомъ массивномъ и нѣсколько громоздкомъ. Въ соборѣ усыпальница адмираловъ Нахимова, Корнилова, Истомина и Лазарева. Снаружи въ стѣны вставлены черныя мраморныя доски съ ихъ именами. Внутри соборъ облицованъ желтымъ мраморомъ. Богатая живопись, изысканная отдѣлка и величественные своды придаютъ торжественный видъ храму.

Съ площадки, гдѣ разбитъ совсѣмъ жалкій и запущенный пафетникъ, открывается прелестная панорама и на Южную бухту, и на большой рейдъ, и на сползающій къ нему амфитеатромъ бѣлый городъ, и на море, разворачивающееся на западѣ безбрежной синей степью.

Остальное время до отхода парохода гуляю по городу.

Преобладающій элементъ въ уличной толгѣ—военные и типичные моряки, съ энергичными, загорѣлыми лицами и переваливающейся, специально-морской походкой. Много грековъ и армянъ, изрѣдка попадаются и турки. Но въ общемъ преобладаютъ русскіе, и рядомъ съ ломанной рѣчью инородцевъ слышится бойкій, отчетливый великорусскій говоръ.

Моряки придаютъ своеобразный колоритъ городской жизни. Тысячи людей, приплывающихъ сюда изъ разныхъ уголковъ міра, иногда всего на нѣсколько дней, вносятъ какую-то нервную торопливость и беззаботность въ общій потокъ людского муравейника. На улицахъ то и дѣло встречаются группы матросовъ, пришедшихъ съ пароходовъ погулять. И все, что заработано было въ долгое плаванье, спускается здѣсь въ нѣсколько часовъ въ притонахъ, въ чадъ широкого, полного удали и запорожской безпечности морского разгула.

Въ публикѣ много курсовыхъ изъ крымскихъ курортовъ. Большинство ихъ главнымъ образомъ направляется на Севастополь. Да и въ городѣ ихъ не мало.

Прекрасная климатическая условія съ каждымъ годомъ привлекаютъ сюда все больше больныхъ для лѣченія купаньями и морскимъ воздухомъ. Средняя годовая температура здѣсь $+12\frac{1}{2}^{\circ}$. Вѣлководная бухта никогда не замерзаетъ.

Севастополь славится своими окрестностями.

Въ трехъ верстахъ отсюда развалины Херсонеса (Корсуни), гдѣ въ X вѣкѣ принялъ крещеніе великій князь Владимиръ,—колыбель христіанской Россіи, въ двѣнадцать верстахъ—Георгіевскій монастырь съ его величественнымъ видомъ на бездну моря, въ глубинѣ бухты—Инкерманскій монастырь, въ нѣсколькихъ часахъ ѣзды по желѣзной дорогѣ—Бахчисарай.

Страшно искушаетъ посмотреть все это, но времени нѣтъ. Скрѣпя сердце, около трехъ отправляюсь на пароходъ.

На пристани Русскаго общества густая толпа.

Пароходъ пыхтитъ и реветъ. По перекинутымъ въ двухъ мѣстахъ сходящимъ плыветъ безпрерывный потокъ пассажировъ. «В. К. Константины» только-что прибылъ съ Кавказа. Это огромный трехпалубный пароходъ до сорока пяти саженъ длины, на семь саженъ длиннѣе колокольні Ивана Великаго. Въ первомъ классѣ помѣщается до 100 пассажировъ, во второмъ около девяноста; палубныхъ—шестьсотъ, да команды до семидесяти человекъ. Принимаетъ тридцать тысячъ пудовъ груза. Пароходъ новый, построенъ всего два года тому назадъ.

Отдѣлка роскошная.

Столовая—огромный залъ. Стѣны въ мраморѣ и зеркалахъ, диваны обиты дорогимъ штофомъ. Восемь обѣденныхъ столовъ разставлены въ два ряда. За ними помѣщается сто человекъ.

Въ каютахъ все блещетъ новизной и безукоризненной чистотой. Мѣдныя койки съ проволочными тюфяками сверкаютъ. Едва занимаю каюту, какъ прислуга приноситъ свѣжее бѣлоснѣжное бѣлье и застилаетъ постель. Комфортъ почти идеальный. Вездѣ электрическое освѣщеніе.

Пассажировъ въ первомъ классѣ человекъ семьдесятъ. Много знакомыхъ лицъ, которая промелькнули гдѣ-то раньше. Три-четыре генерала (двухъ изъ нихъ я видалъ въ Пятигорскѣ), нѣсколько моряковъ, нѣсколько гвардейскихъ офицеровъ, нѣсколько кавказцевъ, которыхъ я, кажется, встрѣчалъ въ Тифлисѣ, много дамъ изъ Ялты и другихъ крымскихъ курортовъ, группа важныхъ чиновниковъ, несомнѣнно петербуржцевъ. Осенній перелетъ курсовыхъ на сѣверъ начинается. Вся эта публика расположилась на палубѣ перваго класса, подъ парусиновымъ навѣсомъ.

Толкотня и суета на пароходѣ и пристани невообразимая. Съ парохода сходитъ галерея кавказскихъ типовъ, на пароходъ валитъ вереница смѣшанныхъ крымскихъ типовъ. Малороссы, великороссы, татары, армяне и евреи, артель рабочихъ и группа солдатъ, опять кавказскіе экземпляры, въ рендентъ къ нимъ греки въ красныхъ фескахъ, итальянцы въ синихъ блузахъ, потомъ снова великороссы. Все это гудитъ, нервно и спѣшно проталкивается, таща узелки и ящики. А надъ толпой движется гигантская лебедка, захватывающая въ одинъ приемъ и поднимающая по сто-двѣсти пудовъ груза. Вокругъ парохода снуютъ катера, и по всей бухтѣ летаютъ, точно бѣлые мотыльки съ дрожащими крылышками, десятки яликовъ.

Картина полна жизни и захватывающей суеты. Подъ этотъ гулъ ко мнѣ доносится рѣжущимъ диссонансомъ чей-то жалобный, ноющий, молящій о помощи голосъ.

Оглядываюсь. У рубки, гдѣ на скамьѣ сидятъ пассажиры перваго класса, стоятъ двое мужчинъ и три бабы; бабы въ пестрыхъ деревенскихъ юбкахъ и намотанныхъ на голову платкахъ; у двухъ—грудныя дѣти. Одинъ изъ мужчинъ пожилой, въ обыкно-

венномъ «мужикомъ» костюмѣ, другой—молодой, въ поношенномъ пиджакѣ и заложенныхъ въ сапоги брюкахъ. У всѣхъ видъ жалкій, утомленный, голодный и растерянный.

— Ваше—ство, явите божеску милость. Переселенцы мы, изъ Пензенской губерніи. Помогите, Христа ради. Вѣкъ не забудемъ, Бога будемъ молить.

Пассажиры притворяются, что не слышатъ, отворачиваются или задумчиво глядятъ на синее небо. А переселенцы все приближаются, повторяя свою мольбу.

— Ступайте, ступайте отсюда,—раздается вдругъ голосъ капитана, вышедшаго изъ рубки.—Переселенцы, понуривъ голову, угрюмо переминаются.

— Смилуйтесь, явите божеску милость...

— Куда вы ѣдете?—спрашиваю.

— Въ Одессу,—отвѣчаетъ молодой, напирая на о. И всѣ останавливаются. Во взглядѣ мелькаетъ надежда. Все-таки—заговорили съ ними.

Обращаюсь къ капитану:

— Нельзя ли какъ-нибудь помочь имъ? Можно было бы собрать что-нибудь. Вѣдь имъ-то, я думаю, не много надо.

По лицу капитана пробѣгаетъ тѣнь скуки и досады.

— Набоѣдаютъ они. Каждый разъ являются. Находятся разные сердобольные пассажиры, которыхъ они эксплуатируютъ только. Побираются въ надеждѣ даромъ проѣхать. А то получать что-нибудь, и въ городъ уходятъ пропить.

— Никакъ нѣтъ,—говоритъ дрожащимъ голосомъ младшій переселенецъ—мы истинно нуждающіе люди, ваше-скобродіе.

— Бумаги-то у васъ есть?—спрашиваю.

— Такъ точно,—есть.

А бабы въ это время продолжаютъ кланяться и причитать.

— Явите божеску милость...

Изъ документовъ оказывается, что молодой переселенецъ—младшій военный фельдшеръ, находится въ запасѣ, идетъ къ роднымъ въ Измаилъ; двѣ бабы пробираются къ мужьямъ, пожилой перекочевываетъ туда же съ женой.

— Сродственники у насъ тамъ,—поясняетъ онъ.—Значить, эта мы по чужинкѣ прѣехали сюда, а тутъ намъ и мать.

— И вовсе у васъ денегъ нѣтъ?

— Не то, чтобы вовсе, а окончательно израсходовались на путевыя надобности, ваше-скобродіе,—говоритъ фельдшеръ.—Потому какъ мы это только сюда прибыли, у ево дитѣ заболѣвши было, два дня потеряли. И теперь тойсъ не ѣвши мы, а на билеты до Одеса деньги есть, только для всѣхъ не хватаетъ.

— Вотъ мы и думаючи, какъ быть,—вмѣшивается другой переселенецъ,—и порѣшили, что не всѣмъ пропадать и кто-либо остаться тутъ должнъ. Авось Богъ поможетъ—тоже проберется.

— Сколько жъ вамъ не хватаетъ на билеты?

Фельдшеръ вынимаетъ порывчатый, измятый кошелекъ и счи-

тасть. Онъ—кассиръ всей компаніи. Весь капиталъ ея—одиннадцать рублей съ копѣйками.

Поглядываю вопросительно на пассажировъ. Авось уловлю на чьемъ-нибудь лицѣ хоть искорку сочувствія. Мою затаенную мысль, видимо, угадываютъ и отворачиваются. Хочу предложить собрать что-нибудь для несчастныхъ—языкъ не поворачивается.

— Можеть-быть,—говорю капитану,—для переселенцевъ у васъ существуетъ удешевленный тарифъ? Нельзя ли какъ-нибудь устроить это, дать имъ какую-нибудь льготу, сдѣлать скидку?

— У насъ нѣтъ для нихъ удешевленного тарифа,—возражаетъ онъ недовольно.

— Это у Русскаго-то Общества пароходства и торговли,—вырывается у меня невольно,—у общества, которое загребаетъ здѣсь такіа страшныя деньги, сто на сто.

Капитанъ отворачивается. Еще разъ поглядываю на пассажировъ. Одинъ смотритъ на небо, другой встаетъ и уходитъ, третій еще глубже склонилъ носъ въ газету.

Этакій народъ! Евреи такъ, небось, не поступили бы. По копѣйкѣ, по пятачку собрали бы, сдѣлали бы раскладку, но вызволили бы своего человѣка изъ бѣды.

Разбираетъ злость. А переселенцы все стоятъ неподвижно, съ робкой надеждой на голодныхъ лицахъ. Схожу вмѣстѣ съ ними на берегъ. Справляюсь въ конторѣ, у кассира, нельзя ли что-нибудь сдѣлать, воспользоваться какой-нибудь скидкой. Просто не вѣрится, чтобы при разныхъ льготахъ и мѣрахъ для облегченія участи переселенцевъ нельзя было бы помочь имъ. Кассиръ даетъ такой же отрицательный и категорическій отвѣтъ. Съ парохода доносятся яростный ревъ. Онъ сейчасъ отойдетъ.

Даю имъ деньги на билеты и бѣгу, протискиваясь сквозь толпу, шагая черезъ ящики и корзины съ фруктами. Они загромаждаютъ палубу; почти нѣтъ пассажира, который не запасся бы корзиночкой съ персиками, великолѣпнымъ виноградомъ и лимоннаго цвѣта грушами. Севастополь въ это время представляетъ изъ себя какую-то фруктовую кладовую; воздухъ насыщенъ запахомъ яблоковъ, грушъ и винограда. Здѣсь главный путь, черезъ который провозятся на сѣверъ плоды благословенной Колхиды и Тавриды.

Въ гамъ и суетѣ «Константинъ», задрожавъ, отваливается отъ берега всей своей громадной массой. Мы начинаемъ кружиться. Пароходъ сначала заворачиваетъ носомъ въглубь бухты, гдѣ пассажирскій вокзалъ. На пристани движутся сотни зонтиковъ и платковъ. «Константинъ» яростно реветъ, грозя снующимъ вокругъ него крошечнымъ, какъ скорлупа, яликамъ. Панорама Севастополя разворачивается бѣлымъ амфитеатромъ, надъ которымъ высится, сверкая золотой митрой, храмъ Владимира. Мимо движутся, удаляясь, доки, морскія казармы, памятники Лазарева, берега Южной бухты, сѣрая пирамида Братскаго кладбища, батареи. Слѣва—Графская пристань, Приморскій бульваръ съ киосками и театромъ, яхтъ-клубъ.

Еще минута—и «Константинъ», быстро мчась мимо идущихъ навстрѣчу пароходовъ, величественно выплываетъ изъ залива въ открытое синее безпредѣльное море. Съ юга долго еще въ золотомъ ореолѣ бѣлѣетъ надъ синей равниной Севастополь и наконецъ исчезаетъ, какъ какой-то миражъ.

— А гдѣ же ваши переселенцы?—спрашиваетъ меня одинъ изъ пассажировъ, замѣтившій, что я хлопоталъ насчетъ нихъ.

Въ суетѣ передъ отходомъ я не обратилъ вниманія, сѣли ли они съ нами.

— Развѣ ихъ нѣтъ на пароходѣ?

— Что-то не видать.

У пассажира на лицѣ довольно язвительная улыбка. Я чувствую себя совсѣмъ скверно. Порываюсь спросить кого-нибудь, послать официанта узнать, ѣдутъ ли они съ нами—и раздумываю. Просто малодушие какое-то беретъ: не хочется окончательно разочаровать себя. Авось они и здѣсь, а можеть-быть, опоздали и остались до слѣдующаго парохода.

— А можеть-быть, этотъ самый фельдшеръ,—подсказываетъ мнѣ скептической пассажиръ,—поймалъ ихъ и пустилъ въ оборотъ, чтобы «жалобить» публику, какъ нищие—дѣтей.

Однако, въ концѣ концовъ, не выдерживаю. Прогуливаясь вдоль палубы третьяго класса, обхожу гигантскую трубу, почти въ полторы сажени діаметромъ, заглядываю въ трюмъ, гдѣ на нарахъ скучилась густая толпа. Пензенцевъ не видать.

Звонятъ къ обѣду. Стѣны, облицованныя бѣлымъ мраморомъ съ золотыми арабесками, и зеркала въ простѣнкахъ отражаютъ яркій свѣтъ электрическихъ лампъ.

Большое элегантное общество расположилось за восемью столами. Посрединѣ салона стоитъ метръ-д'отель въ форменномъ синемъ сюртукѣ и бѣлыхъ брюкахъ. На лицѣ его строгое и наблюдательное выраженіе. Шесть лакеевъ, тоже въ форменныхъ сюртукахъ и бѣлыхъ брюкахъ, неслышно и легко ступаютъ по коврамъ.

Опять невольно забываешь, что ѣдешь, что сидишь на пароходѣ.

Изящныя туалеты дамъ, безпечный разговоръ, веселый смѣхъ и этотъ легонкій туманъ благодушія, который обыкновенно за корриномъ и длиннымъ обѣдомъ какъ-то заволакиваетъ мозгъ и скывываетъ мысли лѣнью, дополняютъ иллюзію.

Подлѣ меня два совсѣмъ молоденькихъ гвардейскихъ офицера, обомъ лѣтъ сорокъ, одинъ совсѣмъ блондинъ, другой брюнетъ, оба безусые и постоянно краснѣютъ. Стараются быть необыкновенно серьезными и ведутъ разговоры на служебныя темы.

— Когда я буду полковникомъ, я никогда не допущу у себя этого,—говоритъ рѣшительно брюнетикъ.

— А что-жъ, еще два-три года—и ты будешь непремѣнно полковникомъ,—такъ же серьезно замѣчаетъ блондинъ.

Визави сидитъ княжна, прехорошенькая княжна, румяночка изъ Бессарабіи. Прелестные большіе сѣро-зеленые глаза, съ влагой и огонькомъ, немного похожіе на глаза дикой козы, сверкаютъ за-

дорожъ и весельемъ, когда она поглядываетъ на офицериковъ. Ей страшно хочется пошалить и пошутить, но чопорный видъ матери сдерживаетъ ее. Офицерики тоже не рѣшаются заговорить, но къ концу обѣда знакомство завязывается. Офицерики волнуются и дѣлаются совсѣмъ махровыми. Княгиня лорнируетъ ихъ и общество. Нѣсколько мужчинъ то и дѣло оглядываются, чтобы посмотреть на княгиню. Она приковываетъ всеобщее вниманіе. Ея глаза дикой козы смѣются все больше, и ямочки на щекахъ становятся все глубже отъ задорной улыбки. Будущіе полковники имѣютъ видъ совсѣмъ побитыхъ поручиковъ.

Въ девять часовъ вечера мы у Евпаторіи. Къ пристани не подходимъ. «Константинъ» останавливается на рейдѣ. Изъ тьмы со всѣхъ сторонъ мигаютъ огоньки, отсвѣчиваясь полосами на гладкой поверхности моря. Не разберешь, гдѣ кончается городъ, гдѣ начинается пристань; свѣтящіеся точки то приближаются, то удаляются. Къ намъ подходитъ катеръ. Начинается разгрузка. Вокругъ, вдоль рейда, скользятъ невидимо ялики; на нихъ горятъ фонари, бѣгающіе огоньки которыхъ движутся въ водѣ.

Вспоминаются Астрахань и Бирючья Коса. Такая же черная звѣздная ночь, такая же бездна подо мной. А какъ я далеко отъ туда...

И здѣсь на палубѣ молится какой-то турокъ. Постлалъ коврикъ, приготовилъ постель, снялъ туфли, сталъ на колѣни, прочелъ молитву, а потомъ досталъ свертокъ съ провизіей и началъ закусывать. Дальше видна группа солдатъ и мастеровыхъ, располагающихся ко сну. Въ трюмѣ какая-то каша. И тамъ кое-кто молится и крестится.

Гигантскіе сверкающіе рычаги машины точно отдыхаютъ. Заглядываю въ топку. Опять картинка изъ Дантова ада. Всего двѣнадцать печей. Изъ нихъ дѣйствуетъ девять, подогрѣвая три котла и поглощая каждый часъ пятьдесятъ, а при усиленномъ ходѣ и сто пудовъ угля. Пятнадцать котелгоровъ смѣняются постоянно.

Пароходъ будто дремлетъ. Слышенъ только безпрерывный лягъ цѣпи да визгъ блоковъ на лебедкѣ. Какая-то невидимая сила подлѣ команду «майна» и «вира» безпрерывно подымаетъ и опускаетъ въ трюмъ громадныя ящики и тюки.

Вдругъ пароходъ, точно очнувшись, реветъ, дрожитъ и уноситъ сразу тысячи жизней въ непроглядную мглу ночи.

Огоньки удаляются, и вмѣстѣ съ ними удаляются невидимые берега Крыма, промелькнувшаго предо мной своей живописной береговой панорамой и исчезающаго, какъ исчезъ и Кавказъ, какимы-то мимолетнымъ видѣньемъ.

Въ рубкѣ, сверкающей огнями, играютъ въ карты. На палубѣ, освѣщенной луннымъ свѣтомъ электрической лампы, гуляютъ.

Около часа ночи проходимъ мимо Тарханкута. Вспоминается ужасная трагедія, разыгравшаяся здѣсь «такъ недавно». «Владимиръ» былъ почти такихъ же размѣровъ, какъ и гигантъ, на которомъ мы плывемъ. Такъ же плавно мчался онъ надъ

бездной, такъ же спокойно спали на немъ и видѣли сонъ, послѣдній сонъ предъ вѣчнымъ сномъ, сотни людей. Здѣсь, гдѣ-то на днѣ, лежить онъ. Можетъ-быть, въ эту минуту мы плывемъ надъ нимъ. Становится жутко отъ сознанія роковой стихійной силы, тяготеющей надъ человѣкомъ.

Справа показывается Тарханкутскій маякъ. Онъ кажется какимы-то факеломъ, зажженнымъ надъ могилой.

11-е сентября.

Одиннадцатый часъ утра. Дуетъ жестокой порля-вѣстъ. Небо облачно. Море клочочетъ; гребни волнъ поднимаются косматими сѣдыми гривами, заграждая путь пароходу. «Константинъ» дрожитъ и пыхтитъ отъ напряженія, взлетаетъ на волны, наклоняется то на одинъ, то на другой бокъ и снова несется впередъ.

Многихъ укачало. Вдоль рубки на скамейкахъ лежатъ дамы. У пассажировъ лица позеленѣли, палуба пухнетъ подъ ногами. Всѣ поглядываютъ съ нетерпѣніемъ впередъ, на горизонтъ, гдѣ у края пѣнавейшей равнины вырисовывается кайма берега и надъ ней снзый силуэтъ, похожій на зубчатую стѣну лѣса.

Иногда изъ-за тучъ прорывается яркій снопъ лучей. Даль вырисовывается яснѣй. Теперь явственно выступаютъ очертанія большого города, растянувшагося на нѣсколько верстъ вдоль горизонта.

Онъ вырастаетъ изъ дымки минаретами фабричныхъ трубъ, высокими колокольнями и пестрыми фасадами домовъ, рельефно вырисовывающихся надъ зеленой лентой береговъ.

Это Одесса.

Пароходъ приближается къ бухтѣ, которую городъ оглаиваетъ подковой. Слѣза волнистая линия кудрявыхъ береговъ, съ разсыпанными по склону ихъ вилами и дворцами. Тамъ предмѣстья Одессы—Большой, Малый и Средній Фонтаны. Противъ насъ центръ города съ массой громадъ, надъ которыми господствуетъ огромный корпусъ театра, острокопечная башня собора и бѣлая колокольня церкви. На невысокомъ берегу шпалеры дворцовъ, отъ которыхъ спускается къ морю уступами гигантская лѣстница. У подножія ея черная рѣшетка эстокады, извивающейся вдоль трехъ гаваней: Карантинной, Новой и Практической. Въ гаваняхъ цѣлый лѣсъ мачтъ, сотни пароходовъ и черныхъ трубъ. По эстокадѣ движется пестрая лента вагоновъ. Справа—предмѣстье Пересыпь, а въ глубинѣ залива лиманы Хаджибейскій и Куяльницкій съ корпусами грязелѣчебныхъ заведеній.

«Константинъ» оглаиваетъ длинный, врѣзавшійся въ море молъ съ чернымъ лѣснымъ эстокадомъ, проносится мимо гранитной стѣны волнолома и входитъ въ гавань.

На пристани оглушительный гулъ толпы, который сливается съ ревомъ десятковъ пароходовъ, свистомъ мчащихся по эстокадѣ паровозовъ и грохотомъ мостовыхъ. Шумный потокъ жизни ошеломляетъ, вызывая невольную тревогу и нервное возбужденіе: чувствуется, что вы попали въ могучій водоворотъ, гдѣ борьба за су-

ществование дошла до высшего напряжения, где никому нѣтъ дѣла до вась и каждый занятъ собой, захваченъ азартномъ житейской скачки, думаетъ о томъ, какъ бы самому уцѣлѣть и пробиться впередъ въ этой уносящей его пучинѣ. Куда ни оглянешься—вездѣ клокочетъ кипучая дѣятельность людского муравейника. Надъ аркой моста бѣжитъ, оглушая грохотомъ, поѣздъ съ нагруженными хлѣбомъ вагонами, изъ-подъ арки тянется, громыкая колесами, вереница ломовыхъ извозчиковъ, дальше черные, какъ трубочисты, угольщики возятся у горъ каменнаго угля. На нѣсколькихъ судахъ идетъ нагрузка; одинъ пароходъ только-что прибылъ, другіе режутъ, отчаливая отъ берега, къ третьимъ мчатся десятки извозниковъ. Какая-то невообразимая каша. Кажется, будто вся эта масса куда-то стремящихся и спѣшащихъ людей убѣгаетъ отъ какого-то татарскаго нашествія.

Гигантская работа одесскаго порта съ его эстокадами, конвейерами, нефтепроводами, наливными станциями, эллингами и элеваторами, съ его гаванями, которыя загромождены сотнями каботажныхъ судовъ и иностранныхъ пароходовъ, гдѣ англичанцы, французы, турки, итальянцы и американцы выстроились своими бортами бокъ-о-бокъ и рядомъ съ океанскими исполинами Добровольнаго флота,—невольно захватываетъ. Вы сразу чувствуете, что очутились у могучаго рычага экономической жизни страны, на какомъ-то мировомъ рынкѣ.

Бѣду. Грохочущій потокъ экипажей, обгоняющихъ и мчащихся навстрѣчу, оглушаетъ. Рядомъ плыветъ толпа палубныхъ пассажировъ. Кто-то кланяется мнѣ. Присматриваюсь — пензенскіе переселенцы съ котомками и узлами на плечахъ. Фельдшеръ, по привычкѣ ли, или въ силу особенной галантерейности, послѣ поклона козыряетъ по-военному. На душѣ становится легко, какъ бываетъ въ такіа минуты, когда отравленная сомнѣньемъ вѣра въ близкаго снова воскресаетъ. Они сливаются съ толпой и теряются въ этомъ морѣ жизни.

Предо мной разворачиваются шпалеры широкихъ, нарядныхъ улицъ «южной красавицы», столицы хлѣбородныхъ золотыхъ степей Новороссіи, «парини Чернаго моря».

ГЛАВА XXXII.

Одесса.—Общее впечатлѣніе.—Улицы.—Ростъ населенія.—Городской бюджетъ.—Благоустройство.—Культурность.—Народное образованіе.—Одесская печать.—Общественная благотворительность.—Г.Г. Марзали.—Пасхальныя розговы.—Пролетаріатъ.—Народная аудитория.—Памятники.—Путеводитель по Одессѣ.—Гостиницы.—Видъ съ Николаевскаго бульвара.—Торговля.—Музей и бібліотека.—Театръ.

Я знаю Одессу давно.

Я увидалъ ее впервые въ началѣ семидесятыхъ годовъ, и въ воспоминаньяхъ дѣтства она всегда проносится предо мной какимъ-

то сказочнымъ, лучезарнымъ городомъ, съ блестящими дворцами и пестрой праздничной толпой. Я помню ее позже, въ концѣ семидесятыхъ годовъ, въ разгаръ русско-турецкой войны, когда одесситы, въ ожиданіи бомбардировки, покидали городъ и по улицамъ тянулася безконечная вереница подводъ съ мебелью, а поѣзда подвозили непрерывно транспорты раненыхъ; когда я самъ, уже юношей, переживалъ здѣсь весь ужасъ войны, жестокой, леденящей ужасъ, безъ ея треска и опьяненія, потому что видалъ только жертвъ войны, когда бараки и лазареты, гдѣ я бывалъ ежедневно, переполнялись новыми и новыми изувѣченными людьми съ разбитой жизнью, доставлявшими съ невидимаго театра человѣческой трагедіи, а на улицахъ каждый день расклеивались телеграммы, извѣщавшія, что всего наканунѣ нашихъ выбыло изъ строя нѣсколько тысячъ; когда на бульварѣ всегда толпились кружокъ любителей, тревожно поглядывавшихъ на море въ ожиданіи турецкихъ мониторовъ и бомбардировки. Я помню Одессу въ срединѣ восьмидесятыхъ годовъ и позже, когда экономической кризисъ сталъ подтачивать ее жизненные силы.

И потому ли, что я самъ южанинъ (а всѣ южане горятся Одессой), или потому, что съ ней связано много свѣтлыхъ юношескихъ дней моей жизни, но я люблю этотъ цвѣтущій, молодой и жизнерадостный городъ.

Ростъ онъ сказочно быстро, какъ растутъ могучіе организмы на привольѣ южныхъ степей, у простора синяго моря, и выросъ цвѣтущимъ гигантомъ, такимъ же мощнымъ, какъ и страна, создавшая его. Въ ростѣ Одессы есть какая-то связь съ ростомъ Россіи. Сто лѣтъ тому назадъ, когда русское море разлилось потокомъ по югу, здѣсь, у турецкой крѣпости Гаджибея, былъ основанъ этотъ городъ. Росла Новороссія—и всѣ жизненные силы юга текли сюда по широкому руслу. Колонизаторская работа кипѣла съ американской быстротой. Русскій человѣкъ, перенесенный на просторъ плодородныхъ новороссійскихъ степей, проявилъ и здѣсь свою жизненную силу, создавъ въ этой богатой окраинѣ, еще недавно пустынной, множество цвѣтущихъ городовъ: Николаевъ, Херсонъ, Елизаветградъ, Кишиневъ, Екатеринославъ, Ростовъ — все это совсѣмъ какія-то американскія скоростѣлки. Но особенно посчастливилось Одессѣ, столицѣ Новороссіи. Сюда стремились и скатеринославцы, и херсонцы, и бессарабы, отсюда разливалась по всей окраинѣ европейская культура, здѣсь степняка малороссъ, великороссъ и бессарабецъ терлисъ бокъ-о-бокъ съ иностранцемъ, и въ этой мировой толпѣ, на этомъ мировомъ рынкѣ «чумацкая» размашистая натура южанина слилась съ европейцемъ.

Въ Одессѣ есть что-то, напоминающее свѣжесть и жизнерадостность юности. Это, можетъ-быть, потому, что она выросла не на насиченномъ человѣкомъ мѣстѣ, а на новомъ, что у нея нѣтъ прошлаго и исторіи съ ея жестокими страницами, нѣтъ асповенной человѣческой кровью земли. За сто лѣтъ жизни Одессы, она не служила сномъ для братоубійственной войны, и только чума да

легкая бомбардировка города в 1854 году составляют единственную мрачную эпоху в ее истории.

Другое, что придает ей жизнерадостный вид, это простор ее прямых улиц, обрамленных бесконечными гирляндами деревьев. Эти широкие улицы с гранитной чешуей кубиков, выложенных точно шахматная доска, с просторными асфальтовыми тротуарами и огромными, блестящими витринами магазинов, с их стройной перспективой, в концѣ которой вырастает синяя стѣна моря, залиты ярким потокомъ свѣта и воздуха. Стоит только вспомнить какой-нибудь старинный, с извилистыми улочками вмѣсто улицъ, германскій городъ, старую Варшаву или Вильну с ее мрачными зигзагами и закоулками, гдѣ темно, какъ въ тюрьмѣ, гдѣ никогда не бываетъ ни солнца, ни воздуха, чтобы понять причину этой юношеской свѣжести и жизнерадостности Одессы. Какъ-то даже не вѣрится, что и тамъ, и здѣсь живутъ люди, имѣющие между собой что-нибудь общее.

Правда, въ Одессѣ мало оригинальнаго. Городъ раскинулся на гладкой равнинѣ, которая холмится только вдоль береговъ. Нигдѣ ни одной горки, на которой бы живописно лѣпились дома, выступая надъ громадами другихъ зданій. Все ровно, вытянуто въ линію, фасады большей частью вырастаютъ сплошной стѣной, не выдвигаясь изъ общей массы; и это придаетъ городу нѣсколько монотонный видъ. Зато въ прямизнѣ улицъ есть другая прелесть—прелесть простора перспективы. Лѣтъ громадныхъ параллельныхъ артерій, Ришельевская и Преображенская, пересѣкающія весь городъ по направленію къ бухтѣ, податъ любой петербургской или московской улицѣ. Тѣ же тающіе въ дымкѣ палатеры дворцовъ, тотъ же величественный видъ, тотъ же грохотъ и потокъ кипучей жизни. Параллельно съ ними еще десятокъ такихъ же прямыхъ и оживленныхъ улицъ. Ихъ прорѣзаетъ сѣтъ другихъ артерій, сѣ Дерибасовской, одесскимъ Певскимъ, въ центрѣ. Здѣсь главный потокъ городской жизни. Грохотъ экипажей заглушаетъ. На широкихъ тротуарахъ плыветъ нескончаемая толпа пѣшихъ. Роскошные магазины съ зеркальными витринами во весь этажъ, а то и на два этажа, могутъ конкурировать съ лучшими европейскими магазинами. Гостиныхъ дворовъ и пассажей нѣтъ, но зато есть фирмы, занимающія цѣлые дома, вродѣ московскихъ Мюра и Мериза, съ громадными двухэтажными залами. Что-то похуже въ миниатюрѣ на парижскіе «Лувръ», «Du Printemps» или «A Quatre Saisons». На вывѣскахъ попадаются то русскія, то иностранныя фамиліи; послѣднихъ, правда, больше.

Говорятъ, будто Одесса не русскій городъ. Это не такъ. Одесса—несомнѣнно русскій городъ, но городъ, который обверопленъ и гдѣ русскія національности окраины подъ европейской нивелировкой отлились въ новую формацию русскихъ людей, имѣющихъ мало общаго по внѣшности съ русскими центральными губерніями, утратившихъ чисто русскую типичность въ международной ассимиляціи, но русскихъ и по сердцу, и по складу натуры, и по чув-

ствамъ. Словомъ, Одесса не то, что какая-нибудь Рига, Варшава или Тифлисъ, гдѣ русскій элементъ какъ-то тонетъ въ массѣ нерусскаго городского населенія.

Какъ пунктъ средоточія коммерческаго флота и первый портъ Россіи, городъ, конечно, обилуетъ иностраннымъ элементомъ, придающимъ населенію какой-то международный налетъ. Но это не больше, какъ внѣшность. Изъ трехсотъ пятидесяти тысячъ жителей—до двухсотъ тысячъ православныхъ, двадцать тысячъ католиковъ и восемь тысячъ протестантовъ. Кромѣ того, сто двѣнадцать тысячъ евреевъ, которыхъ нельзя причислять къ иностранцамъ. Послѣ русскихъ и евреевъ мѣсто принадлежатъ грекамъ, итальянцамъ, полякамъ и французамъ. Всѣхъ иностранцевъ 21 тысяча.

Какъ сказочно быстро росло населеніе Одессы—могутъ дать нѣкоторое понятіе слѣдующія цифры: въ 1795 году, т.-е. въ первомъ году жизни города, въ немъ числилось 2,349 душъ, въ 1807—14,000, въ 1829—52 тысячъ, въ 1854—90,000, въ 1873 году—уже 193,513 душъ, т.-е. въ теченіе девятнадцати лѣтъ населеніе увеличилось на *сто три тысячи*. Въ послѣднее же двадцатилѣтіе приростъ этотъ гораздо больше: онъ составляетъ приблизительно до 150 тысячъ. Еще лучше евреи: въ 1882 году ихъ было 68 тысячъ, а за одиннадцать лѣтъ число ихъ почти удвоилось. Совсѣмъ какая-то Америка. Чѣмъ вызвано это плодородіе,—особенностями ли одесскаго климата или какими-нибудь исключительными свойствами одесситовъ, слѣдуетъ ли главной причинѣ его видѣть въ ненормальномъ притокаѣ со всего юга пришедшаго люда,—но если такой ростъ будетъ продолжаться въ той же степени, то еще чрезъ десять—двадцать лѣтъ населеніе города удвоится.

Даже какъ-то не вѣрится, что этому гиганту всего сто лѣтъ. Росту города много способствовало бывшее здѣсь въ теченіе сорока двухъ лѣтъ, до 1859 года, порто-франко. Оно упрочило за Одессой ее значеніе мирового рынка.

Городъ богатѣлъ не по димѣ. Въ настоящее время ежегодный бюджетъ его превышаетъ три съ половиною милліона. На благоустройство его затрачены десятки милліоновъ, и въ этомъ отношеніи онъ конкурируетъ со столицами, опередивъ во многомъ Москву. Отличная канализація, водопроводъ, рынки, газовое и электрическое освѣщеніе, великолѣпныя мостовыя и роскошный театръ ставятъ его на ряду съ самыми благоустроенными европейскими городами.

Университетъ, нѣсколько мужскихъ и женскихъ гимназій, реальныхъ училищъ и прогимназій, множество частныхъ учебныхъ заведеній, коммерческое и юнкерское училища, техническія школы, женскій институтъ, шестьдесятъ народныхъ училищъ, публичная бібліотека, музей древностей, разныя ученыя общества, десятковъ клубовъ, масса филантропическихъ учрежденій—все это придаетъ городу культурную физиономію большого центра умственной жизни.

Многіе ставятъ Одессѣ въ укоръ ее коммерческую и меркантиль-

ную жилку, указывая на то, что доминирующая нотка общественной жизни — гешефт и нажива. Вряд ли это так. Несомненно, что в портовом городѣ, торговля которого составляет ежегодный оборот около двухсотъ миллионѣвъ, общій ви́шній тонъ жизни не можетъ не носить коммерческаго характера, но онъ не составляетъ все-таки преобладающаго элемента въ ней. Ядро мѣстнаго общества безусловно культурно, просвѣщенно и проникнуто широкими общественными идеалами. Если поставить въ параллель «космополитической» Одессѣ чисто русскую Москву или отчасти и Петербургъ, то одесская культурность будетъ поражать тѣмъ болѣе, что создавалась она не искусственными мѣрами, а вылилась непосредственно, какъ естественная потребность мѣстнаго общества. Уже одинъ тотъ фактъ, что изъ $3\frac{1}{2}$ миллионѣвъ дохода городъ тратитъ ежегодно 700 тысячъ рублей на содержаніе благотворительныхъ учреждений и *триста тысячъ на дѣло народнаго образованія* (немного менѣе третьей части дохода — на благо всего населенія и удовлетвореніе его духовныхъ потребностей), показываетъ, насколько въ этомъ отношеніи Одесса опередила другіе русскіе города. Одесскій муниципалитетъ сажалъ себѣ давно репутацію передового, а это можетъ служить мѣриломъ и самого общества, изъ среды котораго онъ пополняется. Если вспомнить еще, что третью часть населенія составляетъ еврейская масса, чуждая общественныхъ интересовъ, то культурная завоеванія Одессы тѣмъ болѣе слѣдуетъ поставить ей въ заслугу. Въ этомъ случаѣ роль могучаго рычага выпала на долю мѣстной печати, необыкновенно отзывчивой на злѣбы дня и запросы жизни, всегда стоящей насторожѣ общественныхъ интересовъ. Одесская печать завоевала себѣ совсѣмъ своеобразное мѣсто въ русской прессѣ. Это по преимуществу боевая печать, не только отражающая жизнь, но и постоянно воюющая съ ея злѣбами. Въ каждомъ номерѣ изо дня въ день мѣстныя газеты захватываютъ такіа темы, разрабатываютъ ихъ, обличаютъ, протестуютъ, полемизируютъ; это придаетъ имъ особенный жизненный интересъ, въ этомъ, главнымъ образомъ, кроется и успѣхъ одесскихъ газетъ, конкурирующихъ и по содержательности, и по формату со столичными. Одесситѣ привыкъ прислушиваться къ голосу печати, привыкъ и къ гласности.

Городъ работалъ сознательно, работалъ энергично и, несмотря на всю свою молодость, показалъ многимъ отечественнымъ «старичкамъ», что можно сдѣлать и какъ можно устроить общее благополучіе при добромъ желаніи.

Одесса, какъ курортъ, куда стекаются тысячи больныхъ, пользующихся морскими и лиманными купаньями, представляетъ единственное въ Россіи мѣсто по постановкѣ лѣчебнаго дѣла. Городъ не щадилъ средствъ на устройство разныхъ лѣчебныхъ учреждений. Кромѣ множества больницъ и доступныхъ бесплатныхъ лѣчебницъ, кромѣ частныхъ лѣчебницъ и гидропатическихъ заведеній, Одесса имѣетъ прекрасное лѣчебное заведеніе на лиманѣ. Это цѣлый лабиринтъ зданій, обомедленный нѣсколькими сотъ тысячъ, обставлен-

ный роскошно, съ полнымъ комфортомъ и по послѣднему слову современныхъ техническихъ приспособленій.

По своей благотворительности «меркантильная» и «торгашеская» Одесса занимаетъ въ Имперіи первое мѣсто послѣ столицъ. Въ отношеніи шири и размаха частной благотворительности она можетъ потягаться и съ миллионной Москвой. Кромѣ нѣсколькихъ ночлежныхъ пріютовъ, сиротскихъ домовъ, городскихъ богадѣленъ, инвалиднаго дома, убѣжищъ, дешевыхъ столовыхъ, устроенныхъ городомъ, есть много частныхъ благотворительныхъ учреждений, свидѣтельствующихъ о широкой отзывчивости одесситѣвъ на общественныя нужды. Въ этомъ отношеніи пальма первенства принадлежитъ одесскому городскому головѣ Г. Г. Маразли, одному изъ симпатичнѣйшихъ дѣятелей и филантроповъ Одессы. Почти нѣтъ добраго дѣла, нѣтъ благотворительнаго учрежденія, которое за послѣднее время возникло бы безъ его почина или широкой поддержки. Зданіе городской публичной библиотекы и музея древностей, зданіе художественнаго музея, бесплатная народная читальня, зданіе школы садоводства съ фермой, обширная богадѣльня, дешевая и дѣтская столовая, ночлежный пріютъ — все это построено на средства, пожертвованныя Г. Г. Маразли.

И въ каждомъ дѣлѣ, созданномъ имъ, проглядываетъ искренняя любовь и къ человечеству, и къ родному городу, а не желаніе шеголнуть менсатской щедростью. На дачѣ Маразли, при школѣ садоводства для учениковъ выстроена небольшая церковь; на ней краткая, но краснорѣчивая надпись: «любящій — любимымъ».

Въ этихъ простыхъ и теплыхъ словахъ сказала главная черта благотворительной дѣятельности Г. Г. Маразли — любовь къ ближнему и сердечность. Обладая состояніемъ въ нѣсколько миллионѣвъ, имѣя два десятка домовъ въ Одессѣ и много имѣній въ Новороссіи, онъ около двадцати лѣтъ поработалъ на пользу родного города, неся безвозмездно труды и безпокойныя обязанности головы.

Въ числѣ другихъ благотворительныхъ учреждений, созданныхъ на средства частныхъ лицъ, выдаются строящаяся теперь громадная богадѣльня Валиха, Павловскія дешевыя квартиры Ямчтскаго и Когановскія учрежденія для бѣдныхъ жителей, съ двумя-стами дешевыхъ квартиръ, вмѣщающихъ до тысячи квартирантовъ. Средства, завѣщанныя жертвователями на каждое изъ этихъ добрыхъ дѣлъ, превышаютъ полмилліона. Сравнительно съ другими городами, и еврейская благотворительность въ Одессѣ процвѣтаетъ. Кромѣ сиротскаго еврейскаго дома, земледѣльческой фермы, еврейской богадѣльни, дешевой кухни, больницы и училищъ, здѣсь есть выдающееся своей широкой дѣятельностью «Общество взаимнаго вспоможенія приказниковъ - евреевъ», имѣющее собственный домъ и основной капиталъ около 120,000 р. Члены общества пользуются бесплатными совѣтами врачей и лѣкарствами, дѣти и сироты воспитываются на счетъ общества, престарѣлые члены получаютъ пожизненныя пенсіи изъ спеціального пенсіоннаго капитала. Девизъ общества — «да окажемъ другъ другу милосердіе и состраданіе».

Еще одна особенность благотворительности «меркантильной» и «не русской» Одессы — это пасхальные разговоры на бѣдняхъ. Такой заботливости о бѣдномъ братѣ въ свѣтлые дни Пасхи не проявлялъ у насъ ни одинъ городъ. Въ теченіе великаго поста ежегодно собирается здѣсь для этой цѣли свыше десяти тысячъ рублей. Въ пожертвованіяхъ принимаютъ участіе наравнѣ съ христианами и евреи. Въ списокъ рядомъ съ фамиліями крупныхъ negociantovъ — христианъ — фамиліи еврейскихъ коммерсантовъ, жертвующихъ по сто, двѣсти и триста рублей.

Зато нигдѣ нужда такъ не сильна, какъ здѣсь, благодаря наплыву пролетаріата, нигдѣ не увидишь столько здоровыхъ и сильныхъ людей, сидящихъ въ гаваняхъ, на бульварахъ и по окраинамъ города безъ всякаго дѣла и безцѣльно глядящихъ на море. Иногда на скамьѣ, въ какой-нибудь глухой аллеѣ, вы видите бѣдняковъ, спящихъ или дремлющихъ сиди. При вашемъ приближеніи они пробуждаются. Беспокойный, усталый взглядъ, худыя, изурнеченныя лица, просьба о помощи, готовая сорваться съ блѣдныхъ губъ, — все говоритъ о ихъ отчаянномъ положеніи. Чувствуешь, что человѣкъ тонетъ, но не рѣшаешься крикнуть о помощи... Въ Одессѣ насчитывается до сорока тысячъ только однихъ «золоторотцевъ», «босоножекъ» или рядовыхъ «босой команды». Это все пришлый людъ, винившій сюда въ надеждѣ найти работу и перебивающійся тѣмъ, что ему дасть кормилецъ портъ. Обыкновенно въ горячую пору на пристаняхъ десятки тысячъ людей находятъ заработокъ. Но наступаютъ кризисы, замерзаютъ рейды или прекращается навигация — и вся эта масса людей остается буквально безъ куска хлѣба. Въ крутныя минуты, какъ, напримеръ, въ время лютой зимы, городъ по возможности пытается помочь этой бѣдѣ.

Вообще отзывчивость Одессы и ея попытка облегчить участь простаго люда, улучшивъ условія его жизни, ставятъ ее впереди другихъ городовъ. Взять бы хоть городскую аудиторію для народныхъ чтеній, единственную въ Россіи послѣ Нарышкинской. Заніе и устройство ея обошлось до ста тысячъ рублей. Въ огромномъ зрительномъ залѣ, вмѣщающемъ тысячу человѣкъ, большая спена и паркетный полъ; отопленіе — калориферомъ; освѣщеніе электрическое. Вентиляция прекрасна. Въ трехъ фойѣ, длинной въ 17 саженъ, и вестибюлѣ — полы мозаиковые. Только въ первые два съ половиной мѣсяца послѣ открытія въ аудиторіи перебивало на чтеніяхъ, музыкальныхъ и литературно-драматическихъ вечерахъ до 32,000 посѣтителей.

При аудиторіи имѣется библіотека; книги для чтенія выдаются даромъ. Здѣсь пока книги читаются мало, преимущественно дѣтскими. Но въ народной читальнѣ Маразли въ теченіе перваго года было выдано для чтенія до 75,000 книгъ, число посѣтителей нерѣдко доходило до 300 въ день.

Одесса, несмотря на свою молодость и «меркантильность», имѣетъ все-таки пять памятниковъ: Царю-Освободителю, герцогу Ришелье, князю Воронцову, генералу Радецкому и Пушкину. Въ день празд-

нованія столѣтія, на Екатерининскомъ скверѣ заложены величественный монументъ основательницѣ Одессы, Екатеринѣ II. На памятникѣ въ числѣ сподвижниковъ Императрицы не забыты и адмиралъ де-Рибасъ, основатель и устроитель города. Въ Москвѣ, несмотря на то, что она въ шесть разъ старше Одессы, пока всего два памятника.

Еще лучше съ путеводителемъ. Въ Москвѣ, если помните, я еле досталъ жиденькую брошюрку крохотнаго формата въ сотню страницъ. Это и есть единственный путеводитель по Москвѣ. Стоитъ онъ сорокъ копѣекъ. Сейчасъ предо мной лежитъ одесскій путеводитель — толстая книга почти формата и объема «Русской Мысли». Обложка съ видами Одессы отпечатана въ нѣсколько красокъ. Всего въ книгѣ свыше семисотъ страницъ, восемь плановъ и картъ, сто двадцать рисунковъ и гравюръ, историческій очеркъ и иллюстрированный путеводитель, масса справочныхъ свѣдѣній и объявленій. И этотъ путеводитель, издаваемый г. Коханскимъ, путеводитель въ двадцать разъ обширнѣе и обстоятельнѣе московскаго, стоитъ всего *шестидесять копѣекъ*! Кромѣ того, къ столѣтію Одессы издано еще нѣсколько книгъ и брошюръ съ иллюстраціями, раздававшихся бесплатно народу.

Я нарочно подчеркиваю здѣсь все это, чтобы отмѣтить могучій ростъ русской жизни, ростъ ея духовныхъ силъ и самосознанія на одной изъ окраинъ, которая всего сто лѣтъ тому назадъ была завоевана нами и представляла пустыню.

12-е сентября.

«Крымская гостиница», гдѣ я остановился, — не изъ первоклассныхъ, однако очень приличная и въ центрѣ города. Большой, свѣтлый номеръ, который я занимаю, въ первомъ этажѣ. Высокія окна выходятъ на улицу. Цѣна — два рубля. При гостиницѣ дешевый и недурной табуль-д'отъ. А напротивъ, черезъ улицу, Restaurant français, славящійся своей кухней. Обѣдъ изъ пяти блюдъ, съ хорошо составленнымъ меню и легкой, какъ обѣды французской кухни, полбутылки бессарабскаго или крымскаго вина и чашка кофе, при безукоризненной сервировкѣ, — рубль двадцать пять копѣекъ. Въ Одессѣ свыше сорока гостиницъ. Цѣны относительно очень невысокія, обстановка прекрасная, комфортъ европейскій и, главное, «армянъ изъ Кизляра» нѣтъ.

Съ утра отправляюсь на Николаевскій бульваръ. Онъ въ нѣсколько шагахъ отъ гостиницы. Подлѣ исплинской лѣстницы изящный кіоскъ съ рестораномъ и площадью, заставленная десятками столиковъ.

Въ лѣтнее время, по вечерамъ, когда играетъ музыка, здѣсь собирается толпа гуляющихъ въ нѣсколько тысячъ, сливаясь въ такую массу; что движеніе иногда прекращается. Публика, несмотря на лоскъ и европейскіе костюмы, представляетъ рѣдкую космополитическую галерею типовъ. Вся Европа имѣетъ здѣсь своихъ представителей. Сидите ли вы у ресторана въ тѣсной толпѣ, занявшей всѣ столики, гуляете ли вы — къ вамъ доносятся отрывочныя фразы то

на греческомъ, русскомъ, молдавскомъ, французскомъ, итальянскомъ или англійскомъ языкахъ, то на другихъ нарѣчьяхъ, которыхъ вы не можете опредѣлить. Международная масса жизней плыветъ непрерывнымъ потокомъ подъ звуки музыки, заглушаемой говоромъ; снизу, изъ порта, залитого электрическимъ сіяньемъ, доносится грохотъ поѣздовъ, свистъ паровозовъ и ревъ пароходовъ. Миріады пестрыхъ огней мигаютъ въ безднѣ, раскинувшейся предъ вами, бѣгаютъ по ней, то угасая, то разгораясь. А надъ городомъ расплывается то нарастающими, то замирающими волнами неугомонный гулъ жизни, похожий на отдаленный шумъ водопада или мельничныхъ колесъ.

Утро ясное. Публики мало. Платановая аллея почти безлюдна. Я стою у исполниской лѣстницы, люблюсь величественнымъ и чарующимъ видомъ. За мной—шпалеры дворцовъ и небольшой въ псевдо-классическомъ стилѣ памятникъ герцогу Ришелье. Слѣва въ одномъ концѣ бульвара—бѣлый фронтонъ дворца князя Воронцова, справа сквозъ аллею выглядываетъ величественная античная колоннада думы и фонтанъ съ бюстомъ Пушкина. Даже издали непропорціональность дѣлаго и непомерно большая голова бюста бросаются въ глаза.

Внизу разворачивается панорама порта съ его гаванями, эстакадой, элеваторомъ и элингами, съ его сотнями судовъ, лѣсомъ мачтъ и трубъ, съ непрерывнымъ движеньемъ. Всюду кипитъ работа суетливого людского муравейника. Куда ни оглянешься—вездѣ копошатся люди, которые отсюда, съ высоты, кажутся черными козявками. Вспоминается Нижній-Новгородъ. И здѣсь клокочетъ такая же дѣятельность, такъ же непрерывно снуютъ катера, отдѣляются отъ пристани гиганты и уплываютъ въ море. А тамъ, на этой синей степи, поднимающейся къ горизонту и сливающейся съ нимъ, показываются черныя точки, клубятся дымъ еще невидимаго парохода, выплываютъ, расправивъ свои бѣлыя крылья, баржи, появляются откуда-то изъ-подъ края моря какіе-то продолговатые жучки, которые, приближаясь, разрастаются въ цѣлыхъ гигантовъ.

Есть въ видахъ приморскихъ городовъ какая-то свѣжесть, ясность и, если хотите, чистота, которая придаетъ краскамъ картины особенную прелесть и освѣщеніе. Дѣйственная свѣжесть моря, его сіянье и просторъ какъ будто отражаются въ душѣ, наполняя и ее чѣмъ-то бодрящимъ и свѣтлымъ, окрыляя ее, чаруя и маня.

Смотришь и на безбрежную даль, и на суету людского муравейника—и оторваться нѣтъ мочи.

Въ теченіе года въ портъ приходитъ до десяти тысячъ судовъ и уходитъ столько же. Однихъ пароходовъ бываетъ ежегодно три съ половиной тысячи. Вся эта масса приноситъ и уноситъ отсюда миллионы жизней, сотни миллионы пудовъ груза. Кромѣ портовой торговли, свыше трехсотъ фабрикъ съ десятками тысячами рабочихъ производятъ ежегодно разныхъ предметовъ на 30 миллионъ рублей.

Рядомъ съ думой небольшое, но красивое съ коринтскимъ фронтономъ зданіе музея и публичной бібліотеки. Музей, основанный

еще въ 1839 году, обладаетъ богатыми коллекціями египетскихъ, эллинскихъ, римскихъ, византийскихъ, монгольскихъ и русскихъ древностей. Отдѣлъ по нумизматикѣ состоитъ изъ десяти тысячъ номеровъ. Въ бібліотекѣ, занимающей правую половину зданія,—до 40,000 названій книгъ и до 77,000 томовъ.

Дальше, за площадью, на небольшомъ возвышеніи выступаетъ грандіозное зданіе театра. Это одинъ изъ лучшихъ театровъ не только въ Россіи, но и въ Европѣ. Обошелся онъ почти полтора милліона. «Спиной» онъ обращенъ къ морю, боковымъ фасадомъ къ Театральной площади, главнымъ фасадомъ къ Ришельевской улицѣ. Это испортило видъ зданія. Оно слишкомъ стѣснено, перспектива закрыта. Издали имъ нельзя полюбоваться, вблизи трудно разсмотрѣть всю массу, подавляющую своей громадностью. Насколько зданіе кажется легкимъ на картинкахъ, настолько оно тяжело въ дѣйствительности. Нѣтъ той пропорціональности частей и гармоніи, которая составляютъ единство дѣлага.

Театръ построенъ въ стилѣ Возрожденія. Чувствуется переизбытокъ деталей и, какъ говорятъ французы, «trop chargé». Закрытыя арки балкона придаютъ ему закупоренный видъ. Нѣтъ отѣнка легкости и граціи, какая должна быть въ архитектурѣ южанъ, выросшихъ подъ открытымъ синимъ куполомъ неба, на «вольномъ воздухѣ» и въ теплѣ. Такое зданіе умѣстно на сѣверѣ. Боковой фасадъ развернулся просторно, но его портитъ несимметричность; на немъ, надъ сценой, громоздится треугольная и совсѣмъ грубая крыша, ничѣмъ не замаскированная, а самъ онъ кажется склееннымъ изъ трехъ непропорціональныхъ зданій съ разными окнами и неодинаковымъ числомъ этажей.

Очень хорошъ и изященъ фронтонъ главнаго фасада, украшенный художественными скульптурными группами, изображающими музу въ колесницѣ, танцы и музыку, трагедію и комедію.

Строили театръ нѣмецкіе архитекторы, кажется—Фельснеръ и Гельмеръ, которымъ принадлежитъ и проектъ вѣнскаго «Рингъ-Театра». Нѣмецкая аккуратность, старательность и положительность сказались и здѣсь.

Зато внутри онъ не оставляетъ желать ничего лучшаго. Все устроено по послѣднему слову техники и сценическихъ требованій. Великолѣпная вентиляция, просторъ, электрическое освѣщеніе, паркетъ, мраморъ, мозаика и фрески, колоннады и арки, величественныя лѣстницы, украшенныя статуями,—все это красиво, изящно, эффектно, полно вкуса и гармоніи. Зрительный залъ вмѣщаетъ 1600 человѣкъ. Онъ весь отдѣланъ краснымъ бархатомъ и радужной позолотой. Потолокъ въ золотѣ и фрескахъ. Ложи, выступающія раковинами, кажутся хорошенькими бонбонерками съ пунцовою атласной отдѣлкой.

Это—дѣйствительно храмъ искусства, въ которомъ «черствые» одеситы, страстные любители музыки, имѣющіе, кстати сказать, одну изъ лучшихъ оперъ, отрѣшаются отъ своей «меркантильности».

ГЛАВА XXXIII.

Александровский парк и Новый бульвар. — Страничка изъ прошлого. — „Трофеи“ войны и мира. — Герои минувшей войны. — Одесская публика и уличная жизнь. — Выставка плодородства. — Картины Лагорио. — Проклятый англичанинъ. — На вокзалѣ. — Въ вагонѣ. — Бонапартистъ. — Въ Подольской губерніи. — Климатическая станція Каменка.

Къ югу отъ города на обширной площади раскинулся Александровскій парк и Новый бульваръ.

Паркъ разбитъ по-англійски; растительность разнообразная и роскошная; рядомъ съ экземплярами южной флоры — группы хвойныхъ сѣверянъ. Почти въ центрѣ парка виситъ холмъ съ памятникомъ Царю-Освободителю. Величественная коринфская колонна изъ лабрадора увѣнчана шапкой Мономаха. Четыре бронзовыхъ орла, распустивъ крылья, защищаютъ ея подножіе съ гранитными ступенями. Внизу, въ изящной рѣшеткѣ, украшенной коронами, дерево, посаженное Александромъ II въ 1875 году.

Съ холма открывается видъ на Одессу, съ нескончаемой, поднимающейся къ горизонту грядой фасадовъ и чешуей крышъ. Кроме береговой панорамы, это чуть ли не единственный видъ на городъ. Масса громадъ, надъ которой видѣются колокольни, острая башня собора, фабричныя трубы и корпусъ театра, сливается въ какой-то окованный желѣзной броней организмъ гиганта. Гуль жизни, то нарастая, то замирая, наполняетъ воздухъ безпрерывнымъ жужжаньемъ, смѣняющимся раскатами. Иногда кажется, что гдѣ-то вблизи гудитъ молотилка.

На западъ отъ парка начинаются живописныя предмѣстья Одессы — Ланжеронъ, Малый, Средній и Большой Фонтаны, сплошной коверъ зеленыхъ садовъ, въ которомъ, выступая изъ трельяжей, увитыхъ розами и виноградомъ, на изумрудномъ газонѣ, въ цѣтникахъ и кружевѣ растительности разбросаны сотни живописныхъ виллъ, замковъ и теремовъ. Дачи тянутся вдоль берега верстъ на двадцать-двадцать пять. Конка и паровой трамвай соединяютъ ихъ съ городомъ. Дорога проходитъ то сквозь тѣнистыя аллеи, за которыми улыбаются, маня своей уютностью, дачи, то надъ берегомъ, у разстилающагося безконечной синей степью моря. Сообщение дешовое. Поѣздка на Малый Фонтанъ стоитъ что-то копѣекъ пять, на Большой, лежащій въ четырнадцати верстахъ отъ города, — двугривенный. И въ этомъ отношеніи Одесса пережоголяла Москву, не собравшуюся до сихъ поръ устроить сноснаго, сколько-нибудь комфортабельнаго сообщенія съ такимъ тиннымъ уголкомъ, какъ Воробьевы горы.

Новый бульваръ — часть Александровскаго парка, примыкающая къ морю. Отсюда открывается видъ и на городъ, и на Николаевскій бульваръ, и на бухту съ ея стаями судовъ въ гаваняхъ, и на лиманы, и на кайму далекихъ береговъ. Здѣсь тоже красивый павильонъ съ рестораноми и рядами столиковъ подъ открытымъ небомъ. Есть и нѣсколько отдѣльныхъ будокъ, какъ въ тифлис-

скихъ «садахъ съ нумерами». Цвѣтники, бархатистая бахрома темно-зеленой тѣи вдоль аллей и молодая растительность придаютъ бульвару особенную прелесть. Тутъ не жмутся надъ вами громады дворцовъ, какъ на Николаевскомъ бульварѣ, море не заслонено судами. Съ юга отъ бульвара выступаютъ ломанной линіей невысокія стѣны старой крѣпости. Во время чумы, свирѣпствовавшей въ Одессѣ нѣсколько разъ (въ 1802, 1812—13 и 1830 годахъ), здѣсь были учреждены карантинъ.

Въ 1877 году во время русско-турецкой войны во всѣхъ зданіяхъ и во дворѣ крѣпости, въ баракахъ, помѣщались военные лазареты. Восемнадцать лѣтъ тому назадъ, въ это же время мнѣ пришлось часто бывать здѣсь. Въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ я постоянно заходилъ въ лазареты и палялся на жертвъ войны, наслаждался разказовъ о всѣхъ ужасахъ и жестокостяхъ ея изъ устъ русскаго народа, простого, кроткаго и вѣрнѣй великаго героя — русскаго солдата. Предо мной пронеслась цѣлая толпа этихъ героевъ, скромныхъ, добродушныхъ и наивныхъ, какъ дѣти, съ такимъ же открытымъ и открытымъ сердцемъ. Сюда большей частью доставляли выздоравливающихъ. Но бывали и тяжело раненные, искалѣченные, которыхъ раны сводили въ могилу. Каждый день въ лазаретъ прѣзжали изъ города дамы, приходилъ простой людъ, и все это несло — кто что могъ, и деньги, и коршю, и бѣлье, чтобы хоть чѣмъ-нибудь облегчить участь героевъ, хоть чѣмъ-нибудь утѣшить ихъ. Въ захватывающей волнѣ всеобщаго милосердія и состраданія, когда подъемъ русскаго общества достигъ высшаго напряженія и воздухъ точно былъ наэлектризованъ жаждой подвига, — не только молодыя, открытыя для любви сердца, но черствыя натуры были увлечены этимъ потокомъ.

Солдатики съ первыхъ же дней назвали меня «братцемъ», а затѣмъ приспособили въ качествахъ своего секретаря и повѣреннаго по сердечнымъ дѣламъ. Мой стиль особенно понравился имъ, и вскорѣ за мной упрочилась репутація секретаря «внѣ конкуренціи». Сколько разъ, сидя за столикомъ, у изголовья раненаго, мнѣ приходилось невольно улыбаться, примѣняясь къ понятіямъ простаго человека, къ шаблону солдатскихъ писемъ; и сколько интимныхъ, то трогательныхъ до слезъ, то наивныхъ сердечныхъ изліяній чужой души изображалъ я въ этихъ письмахъ.

Обыкновенно я приходилъ въ опредѣленную часть. Во дворѣ бродили группы выздоравливающихъ, въ старыхъ полосатыхъ халатахъ и форменныхъ фуражкахъ. Нѣкоторые опирались на палку, нѣкоторые передвигались на костыляхъ. Въ саду тоже были раненые; они сидѣли на скамейкахъ по цѣлымъ часамъ, то въ компаніи, то одиноко, устремивъ неподвижный взглядъ на синюю безграничную даль моря. Тамъ, за этимъ моремъ, въ чужой сторонѣ, остались товарищи и братья, которые въ эту минуту, можетъ-быть, погибали въ схваткѣ съ врагомъ. Сколько жестокихъ картинъ и тяжелыхъ воспоминаній проносило здѣсь предъ ними подъ вѣчный прибой и ропотъ моря.

Въ высокихъ бѣлыхъ палатахъ на койкахъ, разставленныхъ двумя рядами, лежали тяжело больные и раненные. Здѣсь былъ великороссъ и полякъ, молдаванинъ и малороссъ, еврей и татаринъ, казакъ изъ донскихъ степей и полѣшукъ, волжанинъ и остзеецъ.

Изъ всей этой толпы пронесшихся предо мной тогда жертвъ войны, нѣкоторые особенно глубоко вѣшали въ память.

Помню одного малоросса съ круглой головой, смуглымъ лицомъ и густой, остриженной подъ гребенку шапкой черныхъ волосъ. Половина лба и лица была забинтована. Пуля попала ему въ глазъ и осталась въ головѣ. Онъ какимъ-то чудомъ уцѣлѣлъ. Потеря глаза, однако, нисколько, повидимому не огорчала его. Вопреки малороссийской флегмѣ, онъ былъ необыкновенно подвижной и веселый парень. Раненные любили его; онъ считался у нихъ первымъ комикомъ. Его почему-то прозвали «султаномъ». Онъ такъ и былъ извѣстенъ подъ этимъ именемъ. Бывало, когда ни придешь, и блѣднѣе неспрѣмѣнно встрѣтитъ улыбкой и разными каламбурами или прибаутками; единственный черный глазъ глядѣлъ съ веселымъ задоромъ. Тяжело раненныхъ онъ постоянно старался подбодрить, подавая имъ «скуражу». Если кто стоналъ, онъ подходилъ и уговаривалъ: «Пу, чего, чего? не поможе. Вачъ у мене якъ. А пуля такъ ажъ булькаетъ въ голову—и то мовчу». При этомъ онъ покачивалъ головой, прося присутствующихъ послушать, какъ у него «булькаетъ пуля»...

Помню худого парня-бѣлорусса изъ Минской губерніи, съ блѣдно-зеленой кожей, обтянувшей, точно перчатка, выдающийся скулы, и будто поблѣвѣвшими отъ испуга глазами. Онъ былъ подъ Плевной. Во время одной изъ атакъ въ рядахъ произошло замѣшательство. Нѣсколькими ротами овладѣла паника. Онъ пустился бѣжать. И вотъ именно въ эту минуту пуля ранила его въ мизинецъ. И легко ранила, оторвавъ только кончикъ. Но вслѣдствіе потрясенія съ нимъ сдѣлалась первая горячка, отъ которой онъ третій мѣсяцъ не могъ оправиться. Доктора говорили, что у него чахотка и что онъ не выживетъ. Я ему часто писалъ письма домой. Обыкновенно грустный, молчаливый, онъ тогда вдругъ ожилился, а потомъ, уткнувшись въ подушку, начиналъ тихо плакать. Разказовъ его объ этой атакѣ я никогда не забуду. Онъ говорилъ о ней съ ужасомъ, задыхаясь, словно бы предъ нимъ проносилась снова эта картина.

Помню другого раненаго, тоже молодого солдата, которому пуля попала въ грудь, но, не пробивъ грудной кѣтки, прошла подъ кожей вокругъ спины и груди, точно опоясавъ ихъ швомъ. Помню Андрея Тихонова, донского казака, высокаго красавца блондина, съ синими, какъ небо, глазами и румянымъ лицомъ. Онъ былъ подъ Рущукомъ въ отрядѣ Насѣдника Цесаревича. Во время долгаго и мучительнаго перехода, отрядъ истомился отъ жажды. У перваго коллота Тихонова жадно выпилъ воды и вдругъ почувствовалъ себя плохо, а потомъ и слегъ. Отъ переутомленія ли, отъ того ли, что у него раньше была какой-нибудь органиче-

скій порокъ, но сердце его пережѣстилось въ правый бокъ. Этотъ рѣдкій въ медицинской практикѣ случай нѣсколько одесскихъ врачей констатировало при мнѣ въ присутствіи тогдашняго одесскаго градоначальника, графа Левашова. На видъ Тихонова былъ совсѣмъ богатырь; плечи—въ косую сажень, грудь выпуклая, точно кираса, лицо свѣжее, здоровое. И, однако, онъ почти не покидалъ постели. Бывало, подойдешь къ нему, онъ просіяетъ, скажетъ привѣтливо слабымъ голосомъ: «а, братецъ, не забываете насъ», и сейчасъ же проситъ «письменно составить». Чуть не каждый день домой писалъ. Въ станицѣ, надъ тихимъ Дономъ, у него осталась «жонка и двое малышей». И все-то онъ дожидаться не могъ, чтобъ его выписали, раздражался, ворчалъ на врачей, а то вдругъ самъ пугался своей болѣзни, просилъ выслушать его. Приложишь ухо къ груди—слѣва—ничего, а справа—сердце то стучитъ, то вдругъ замираетъ. Позже его повезли въ Москву, чтобы демонстрировать передъ московскими профессорами. Я думаю, этотъ случай занесенъ въ хронику московской университетской клиники. Тихонова я такъ больше и не видалъ, и что съ нимъ стало—не знаю.

Прошло семь лѣтъ.

По странному капризу судьбы, здѣсь же, въ карантинѣ, была устроена одесская сельско-хозяйственная и промышленная выставка. Во дворѣ возвышалось красивое зданіе главнаго павильона, въ саду въ зеленомъ газонѣ были живописно разбросаны вплоть до берега моря изящные кіоски. Въ большихъ бѣлыхъ палатахъ, гдѣ семь лѣтъ тому назадъ помѣщались раненные, стояли витрины и столы съ плодами, овощами и цвѣтами. Праздничная толпа посетителей, достигавшая въ иные дни тридцати тысячъ, проходила какимъ-то жизнерадостнымъ потокомъ по заламъ, гдѣ когда-то раздавался стонъ умирающихъ и раненныхъ, по аллеямъ, гдѣ прогуливались выздоравливающіе.

Въ золотомъ сіяніи сентябрьскаго южнаго дня стоялъ какой-то гулъ, въ которомъ говоръ толпы и шумъ молотилокъ и машинъ сливался съ музыкой двухъ оркестровъ въ оглушительный ярмарочный хаосъ. Казалось—человѣчество собралось на праздникъ мира, на какое-то торжество братскаго развитія народовъ. По вечерамъ, когда выставка, залитая электрическимъ свѣтомъ, принимала волшебный видъ, и душистые цвѣты въ клумбахъ, приподнявъ головки, будто упивались лѣтнимъ свѣтомъ и сладкими звуками музыки, а море плескалось у берега, нашептывая что-то,—мнѣ особенно ярко вспоминались тѣ герои войны, которые пронесли здѣсь еще такъ недавно толпой мучениковъ. Мнѣ казалось, будто что-то отъ нихъ, легкое какъ тѣнь, осталось здѣсь, и въ голубомъ сумракѣ, надъ колышущимся моремъ, мнѣ мерещилась толпа изувѣченныхъ призраковъ со страдальческими лицами, на которыхъ читалась братская мольба о чемъ-то... Можетъ-быть, о томъ, чтобы человѣчество, во имя общаго блага, отреклось отъ безумнаго братоубійства.

И теперь, вспоминая эти два мгновения, полных такого контраста, я переживаю прежние чувства.

13-е сентября.

Весь день идет проливной, совсѣмъ тропическій дождь.

Вечеромъ отправляюсь въ театр. Роскошный, залитый электрическимъ свѣтомъ залъ полонъ.

Въ публикѣ преобладаютъ южные типы. На пунцовомъ фонѣ ложъ особенно красиво выдѣляются туалеты и матовыя лица южанокъ.

Одесская публика очень нервная, чуткая и требовательная. «Верхи», по обыкновенію, со студенческимъ темпераментомъ университетскихъ городовъ. Труппа прекрасная, не безъ изъяновъ, но въ общемъ подѣ статьи и столикамъ.

Обстановка не оставляетъ желать ничего лучшаго. Даютъ «Первую Муху».

14-е сентября.

Ясный день. Вчерашній дождь точно промылъ куполь неба; синева его стала еще ярче. На улицахъ и тротуарахъ безукоризненная чистота; сухо; даже не вѣтрится, что вчера былъ такой ливень.

Всюду кипитъ жизнь, вездѣ куда-то спѣшащая толпа.

Одеситы, какъ и вообще южане, живутъ на улицѣ. Въ кондитерскихъ и кофейняхъ подѣ полотняными навѣсами и завтракаютъ, и пьютъ, и читаютъ, и занимаютъ дѣлами. Типичная черта одесита—дѣловитый видъ, размахистые жесты и торопливая походка. Онъ вѣчно куда-то стремится. И эта его нервная торопливость сообщается и пріѣзжимъ. Смотришь—рядомъ съ вертлявымъ одескимъ дѣльцомъ и увалень степнякъ-помѣщикъ начинаетъ шагать быстрымъ, захваченнымъ общимъ нервнымъ токомъ.

«Конка» переполнена; тѣснятся на площадкахъ, стоятъ на ступеняхъ, обляблили вагонъ со всѣхъ сторонъ, какъ мухи сахаръ. Публика смѣшанная и очень типичная; средній классъ горожанъ все-таки выглядитъ культурнѣе, чѣмъ въ другихъ городахъ. Много, впрочемъ, евреевъ; но и одесские евреи считаются цивилизованнѣе другихъ русскихъ евреевъ. Общій потокъ европеизма захватилъ и ихъ; лапсердаковъ почти не видать.

Отправляюсь на выставку плодородства. Она въ помѣщеніи прежняго благороднаго собранія. Въ нѣсколькихъ комнатахъ разставлены фрукты, овощи и группы экзотическихъ растений. Выставка совсѣмъ бѣдная. Вспоминается роскошный отдѣлъ плодородства на сельско-хозяйственной выставкѣ десять лѣтъ тому назадъ—и даже какъ-то неловко становится. За десять лѣтъ ничего новаго.

Всего десятка два экспонентовъ. Главные—французъ Робина, садоводъ Шульцъ, городской голова Маразли да садовое заведение Роте. Въ саду жидкая школка да коллекція изъ питомника.

Въ отдѣлѣ цвѣтовъ господствуетъ надо всѣмъ огромная университетская пальма, persona grata на всѣхъ подобныхъ цвѣточныхъ парадахъ, старушка, выдавшая виды и лучшія выставки. Играетъ хоръ

малыгунановъ изъ сиротскаго дома, и играетъ бойко. Публики мало, нѣсколько человѣкъ, и то больше своихъ. Однако, завтракъ экспонентовъ по случаю открытія проходить съ помпой и рѣчи говорятся на темы «о процвѣтаніи, благоденствіи и прогрессѣ» совсѣмъ хорошія.

Отсюда ѣду на выставку картинъ профессора Лагоріо. Преобладающая тема—ландшафты и морскіе виды. Много этюдовъ, больше этюдовъ, чѣмъ публики. Живопись профессора Лагоріо очень своеобразная. Въ ней нѣтъ ничего общаго съ кистью Айвазовскаго. Картины выписаны необыкновенно тщательно, изящно, вездѣ проглядываетъ попытка идеализировать формы, отразить дѣйствительность подѣ дымкой прекраснаго. Но, можетъ-быть, именно благодаря этому онѣ такъ мало жизненны; нѣтъ въ нихъ естественности и дыханія природы. Очень эффектна «Мадонна». Въ ея ликѣ художнику удалось воспроизвести что-то дѣйствительно бесплотное и идеально-прекрасное, при божественной чистотѣ выраженія. Отлично написанъ и «Гурауфъ съ Аю-Дага», опять такими же легкими тонами, съ той же идеализацией формъ. Остальныя картины почему-то не врѣзаются въ память. Сейчасъ я даже не могу вспомнить ихъ.

Обѣдаю въ «Северной гостиницѣ». Здѣсь—лучшая кухня въ Одессѣ. Обѣдъ вдвое дороже, чѣмъ во Французскомъ ресторанѣ: что-то два съ полтиной, и безъ вина, но очень хорошъ. Зато аппетитъ портитъ проклятый старый англичанинъ, съ его дурацкой національной претензіей на комфортъ. Такъ бы и треснулъ его за этотъ комфортъ. Ничего, по-моему, нѣтъ отвратительнѣе обычая полоскать ротъ и зубы во время обѣда.

Хочешь заниматься туалетомъ—для этого есть уборная. Но сидя за общимъ столомъ—промыть свой гнилой ротъ и полоскать зубы, это можетъ считать комфортабельнымъ и приличнымъ только надутый своей претензіей на культурность англичанинъ да тѣ, кто любитъ рабски подражать ему, возводя подобный обычай въ хорошій тонъ. Пять минутъ анаемскій джонъ-буль полощетъ ротъ! Мало того, засовываетъ туда палецъ, храпится, сопить, фыркаетъ и плюется. Тошнитъ. Аппетитъ прошелъ. Высидѣть нѣтъ мочи. Начинаю демонстративно ерзать на стулѣ, нервно бросаю ножъ, стучу тарелкой, кашляю, ворчу. Хотя бы ты што! Англосаксонская флегма—ноль вниманія. Звоню. Велю лакею перенести мой приборъ въ другую комнату. Англичанинъ поворачивается, смотритъ на меня мутно-зелеными глазами съ полнымъ недоумѣніемъ, приподнявъ рыжеватыя брови, и снова принимается за свое. Навѣрно, въ душѣ посылаетъ мнѣ «варвара».

Вечеромъ выѣзжаю.

Городъ продолжаетъ грохотать во мглѣ, на каждомъ поворотѣ показываясь гирлянда огней, сливающаяся въ перспективѣ. По длинной Пушкинской улицѣ рядомъ мчатся другіе экипажи. Точно скачка какая-то.

Огромный вокзалъ построень покоемъ. Дебаркадеръ внутри.

Пассажирский залъ въ лѣсной работѣ и гербахъ южныхъ губерній, полъ въ мозаикѣ. Пассажиры все больше бессарабы, подолыны, херсонцы да кіевляне. Общій типъ новороссійско-малорусскій, съ черной ретушировкой юга. Много евреевъ. Очень много евреевъ. Совсѣмъ даже много евреевъ. Въ третьемъ классѣ масса лапсердаковъ, съ букетомъ новороссійскихъ заходустій. Во второмъ классѣ вагоны биткомъ набиты евреями же. Но здѣсь народъ цивилизованный, говорятъ по-русски, хотя и не безъ жаргона; ерѣ и ха трещить въ глоткахъ точно въ тромбонѣ. При этомъ оказывается и другая особенность: адскій гвалтъ. Одна ихняя дама, толстая дама, высовывается въ окно и кричитъ: «Лейзеръ, Лейзеры! чиво ти ни идешь? Хатишъ аставаца уфъ Адесъ? Ну?» Другая дама зоветъ какого-то Ипполита Саломоновича и свою дочь «Лелечку». Двѣ дамы даже говорятъ по-французски. Вездѣ, на каждой въшалкѣ и полкѣ, до самого потолка, до электрическаго фонаря—ихніе ящики, картонки, чемоданы и подушки. И все это съ подушками, чемоданами, одеялами, всякими бехеками и ногами заняло всѣ диваны до верха. Зову кондуктора. Кажется—тоже еврей. Въ самый уголъ вагона забился и угрюмо молчитъ офицеръ довольно раздражительнаго вида. Рядомъ съ нимъ какой-то смуглый, бритый, сухой господинъ, молдаванинъ или итальянецъ. Онъ подобралъ подъ себя ноги и ежится, чтобы дать мѣсто этимъ дамамъ. Кое-какъ устраиваюсь рядомъ съ нимъ. Офицеръ ворчитъ:

— Чортъ знаетъ что такое! Два мѣсяца ѣздили по Россіи—не выдалъ этой саранчи. Даже забылъ, что она существуетъ. Теперь опять высыпала...

Мой сосѣдъ не понимаетъ по-русски, такъ какъ относится къ этому заявленію безъ всякаго сочувствія, но, видимо, хочетъ заговорить. Обращаюсь къ нему съ какимъ-то вопросомъ. Отвѣчаетъ по-французски, но съ нѣмецкимъ акцентомъ. Въмѣсто же говорить *ше*, вмѣсто *de—те*. Увѣряетъ, что эльзазецъ. Оказывается—бывшій бонапартистъ. Чуть ли не присутствовалъ при смерти Наполеона въ Чизальгерстѣ, а позже съ однимъ изъ старыхъ придворныхъ, какимъ-то графомъ, былъ командированъ къ зулусамъ отыскивать тѣло несчастнаго принца Лулу. Разсказываетъ обо всемъ этомъ очень подробно. Кажется, что говорить правду. Обошлась эта экспедиція двѣсти тысячъ франковъ, участвовало въ ней полтора тѣла несчастнаго принца. Страстный путешественникъ. Всю жизнь провель въ дорогѣ. Въ Россіи впервые, но, конечно, очарованъ. «*Cette largeur de la nature russe et cet espace—cela vous séduit tout d'abord...*» Въ Одессѣ, если вѣрить, его фетировали.

Миуеуемъ Раздѣльную, потомъ Бирзулу, узлы, въ которыхъ скрещиваются артеріи юго-западныхъ дорогъ. Навстрѣчу то и дѣло мчатся поезда, мимо, съ быстротой молніи, мелькаютъ яркій фонарь паровоза и окна вагоновъ. Ревъ гудка и грохотъ пролетающаго поезда будятъ невольную тревогу.

15. сентября.

На разсвѣтѣ высаживаюсь въ Попелюхахъ. Маленькій вокзалъ одиноко стоитъ въ степи. Поѣздъ ушелъ—и настало полное затишье. У служащихъ какой-то невыспавшійся видъ и печатъ станционной скуки. Въ общемъ залъ на деревянныхъ скамейкахъ спятъ пассажиры. У подъѣзда стоитъ высланный за мной изъ Каменки фэзонтъ.

Бду. Свѣжо. Съ земли поднимаются бѣлыя, какъ вата, холодная облака, открывая горизонтъ надъ холмистой степью съ зелеными коврами озимей и рыжеватыми полосами выжатыхъ хлѣбковъ. Изрѣдка на горизонтѣ вырисовывается черная стѣна лѣса, гдѣ-нибудь изъ котловины выглядываетъ богатое, огромное подольское село, потомъ снова тянутся изумрудные ковры озимей, густыхъ, какъ щетка, да черныя, какъ чернила, ленты и лоскутья только-что вспаханнаго чернозема.

Широкий трактъ, по которому катится фэзонтъ, то глинистый, то черноземный. Иногда по бокамъ, рядомъ съ озимями, вытягиваются полосы высокой рыжежато-золотистой, еще не убранной кукурузы, иногда у стожковъ видны горки ярко-оранжевыхъ стручковъ.

Нѣсколько разъ дорога прорѣзаетъ села, большія, уютныя малороссійскія села съ бѣлыми веселенькими домами, прочно сколоченными хозяйскими пристройками и садами. Отовсюду вѣетъ зажиточностью и достаткомъ. Вездѣ желтѣютъ скирды соломы и золотятся стоги съ хлѣбкомъ. Подолія—благодатный край, подольскій черноземъ такой же жирный и неистощимый, какъ и бессарабскій.

Въ селахъ видны большія, красивыя церкви, школы и богатая помѣщичья усадьба. Постройки все каменные, капитальныя, на широкую ногу; дома то полутора, то двухъэтажные, старинной архитектуры, имѣютъ видъ насиженнаго гнѣзда. Все это строилось еще въ крѣпостную эпоху, полскими помѣщиками, строилось тогда, когда рабочія руки ничего не стоили, когда надо всѣми этими деревнянами, теперь такими богатыми, стоялъ стонъ нужды и рабства.

Люди были свои, камень свой, рабочія руки—руки рабовъ: только и строился. По всей Подольской губерніи раскинуты палатцы, настоящіе дворцы, которые часто кажутся просто неумѣстными въ деревенской обстановкѣ. Много есть развалинъ, много и недостроенныхъ зданій, цѣлыхъ замковъ въ два и три этажа. Настало освобожденіе крестьянъ—поддерживать всѣ эти затѣйливыя палатцы не было средствъ, кончить постройку начатыхъ—тоже, и волей-неволей пришлось все забросить. Зато на крестьянскихъ усадьбахъ насталъ праздникъ.

Около полудня экипажъ подъѣзжаетъ къ скалистому обрыву и по узкому, извилистому ущелью спускается въ долину. Въ ущельѣ на версты двѣ-три тянется село, облившее своими домами и садами бока оврага. Внизу, въ долину, бѣлой лентой извивается Днѣстръ. На лѣвомъ берегу, у подножія скалистыхъ, отвѣсныхъ горъ, ютятся

мѣстечко Каменка. Правый берегъ, бессарабскій,—покатая равнина, покрытая коврами озимей.

Фаэтонъ, громыхая рессорами и рѣжа тормазомъ камни, медленно съѣзжаетъ въ ущелье и, наконецъ, катится по мѣстечку, населенному молдаванами, подольскими малороссами и евреями. Поворотъ—и онъ, миновавъ обширную площадь, застроенную скромными одноэтажными домиками, переглядывающимися своими подслѣшоватыми окнами, направляется параллельно Днѣстру на сѣверъ. Длинная, широкая аллея разделяетъ каменскіе парки, верхній и нижній. Верхній разстилается у подножія горъ, покрытыхъ сплошными клѣтками виноградныхъ плантацій. Въ немъ—«замокъ», старый кургаузъ, погреба и винодѣльня. Въ нижнемъ паркѣ, раскинувшись на ровной площади у берега Днѣстра, высится двухъ-этажный кургаузъ съ двухъярусной верандой вдоль фасада; изъ зелени выступаютъ крыши нѣсколькихъ дачъ. Впереди видна длинная улица нѣмецкой колоніи.

Сезонъ въ каменской «климатической станціи» начинается въ іюнѣ. До 15 августа—лѣчение кумысомъ и купаньемъ въ Днѣстрѣ, послѣ 15 до половины октября—лѣчение виноградомъ. Это одинъ изъ скромныхъ, очень недорогихъ, но уютныхъ курортовъ. Мѣстечко принадлежитъ князю Витгенштейну, курортъ содержитъ А. А. Наркевичъ-Тодко, минскій помѣщикъ.

Паркъ весело вторитъ звонку, переключаясь съ нимъ. Фаэтонъ въѣзжаетъ въ ворота съ замысловатой рѣзбой и останавливается у веранды кургауза.

Въ бесѣдкѣ хоръ трубачей 23-драгунскаго Вознесенскаго полка. Старые знакомые. На верандѣ нѣсколько офицеровъ-вознесенцевъ, нѣсколько дамъ, пріѣхавшихъ изъ Сорокъ, и группа курсовыхъ. Я чувствую себя почти дома. Здѣсь отдохну.

Взаимныя привѣтствія. Трубачи дружно играютъ маршъ «Птичку». Опять «Птичка!» Она точно преслѣдуетъ меня на протяжении этихъ шести—семи тысячъ верстъ.

Эхо парка подхватываетъ стройные звуки и переливается ихъ мелодичными волнами, расплывающимися въ золотѣ сентябрьскаго дня.

ГЛАВА XXXIV.

На дачѣ «Милія».—Днѣстръ и виды.—Паркъ.—Виноградъ и курсовые.—Жизнь въ Каменѣ.—Хоръ трубачей Вознесенскаго полка.—Национальное объединеніе.—Празднество на манеръ «франко-русскихъ симпатій».—Ужинъ и рѣчи трубачей.—Алліансъ именинницъ.

16-е сентября.

Я поселился на дачѣ «Милія». Здѣсь дачки названы именами курсовыхъ дамъ, болѣе или менѣе «царицъ сезона».

«Милія» стоитъ у воротъ, недалеко отъ кургауза. Напротивъ, по другую сторону аллеи, видна другая дача, кажется—«Оля», еще дальше выступаетъ зеленая полянка—должно-быть, «Кати». Когда

курсовые въ разговорѣ о дачахъ выбрасываютъ опредѣленія, не обходятся безъ каламбуровъ.

На моей дачѣ четыре комнаты. Мнѣ отвели двѣ: просторный залъ, въ которомъ могутъ обѣдать человѣкъ тридцать, и спальню. Стоитъ это удовольствіе два рубля. Помѣсячно, конечно, дешевле. Окна выходятъ на балконъ, окруженный шпалерами зелени.

Полное затишье, которое захватываетъ особенно глубоко послѣ непрерывной дорожной суеты, шума и движенія. Ни грохота поѣздовъ, ни рева паровознаго гудка, ни свиста паровозовъ. Только синій куполъ неба, града безмолвныхъ горъ, выглядывающихъ надъ зеленой листвою, да нѣжный, убаюкивающий шопотъ парка, у котораго неслышно проползаетъ Днѣстръ. Онъ въ нѣсколькихъ шагахъ отъ моей дачи.

Выхожу на берегъ. Рѣка, такая могучая и бурная весной, теперь совсѣмъ отошла. Она не шире Днѣпра въ верховьяхъ и помельче его. Изъ воды выступили мели и зигзаги дамбъ. По фарватеру разставлены бакены и вѣхи. Слѣва, къ югу, у мѣстечка виднѣтся рядъ мельницъ, справа кудравая зелень лѣса, въ которой исчезаетъ рѣка. Берега желто-бурые, обнаженные, унылые. Бессарабская сторона—сплошная, повышающаяся къ горизонту степь въ выжженныхъ солончакъ лугахъ, зеленыхъ нивахъ да высокой, какъ тростникъ, рыжеватой кукурузѣ. Съ подольской стороны надвинулась волнистая града горъ то въ бѣлыхъ мѣловыхъ морщинахъ и трещинахъ, то въ виноградникахъ.

Мѣстоположеніе красивое, но не изъ лучшихъ на Днѣстрѣ. Я не знаю болѣе живописной рѣки. Величественна и могуча Волга, чуденъ Днѣпръ; Волга рядомъ съ Днѣстромъ казалась бы моремъ. Днѣпръ въ два-три раза шире его. Но все это не умалило бы красоты Днѣстра. Главная его особенность состоитъ въ томъ, что часто оба берега одинаково высоки и рѣка проползаетъ по какому-то изумрудному ущелью; другая—это обыкновенная извилистость русла. Днѣстръ, точно змѣя, изгибается между отрогами Карпатовъ, пробираясь къ Черному морю. И съ каждымъ изгибомъ, съ каждымъ поворотомъ открываются чарующіе виды, то зеленая гора, то группы скалъ, то долины, то опять горы, лѣса и скалы, тѣснящіяся со всѣхъ сторонъ и заслоняющія горизонтъ. И вся эта волшебная панорама въ яркихъ тонахъ и переливахъ освѣщена ласкающимъ солнцемъ юга.

Климатъ въ Каменѣ ровный, здоровый, не слишкомъ сухой, но и не сырой. Воздухъ теплый и чистый. Днѣстръ въ мѣру насыщаетъ его влагой. Есть что-то какъ будто общее съ климатомъ Сѣвернаго Кавказа на минеральныхъ группахъ, но тамъ воздухъ слишкомъ ужъ знойный и сухой. Здѣсь дышется легко.

Надъ паркомъ разлетаются звуки музыки. Они доносятся откуда-то издалека, подхваченные эхомъ горъ. Играютъ въ верхнемъ паркѣ. Тамъ обыкновенно музыка отъ одиннадцати до часу дня. Здѣсь—отъ шести до десяти вечера. Курсовые всѣ теперь тамъ. Въ кургаузѣ и нижнемъ паркѣ безлюдье.

Отправляюсь в верхний парк. Справа от ворот — «замок» князя Витгенштейна. Это большой полтораэтажный блдно-канареечного цвета дом, с фронтоном в центр и двумя полукруглыми крыльями. Слева — старый кургауз, одноэтажное здание, номера и разные постройки, окружающие со всех сторон обширный двор. Дальше начинается огромный парк с вёковыми деревьями, тенистыми аллеями, лужайками, шпёрниками, холмами и живописными мостиками, перекинутыми через овраг. Есть уголки и аллеи, совсем напоминающие кислородский парк. Достопримечательностей, как вообще в курортных парках, нет. Много живописных уединенных аллей, много скамеек, разставленных под сенью каштанов и вёковых дубов. В чащ, на холме, окруженном кустарником, одиноко высится полуразвалившийся был убит лшадью. Романических и таинственных закоулков много, но каменский курорт еще не пользуется славой кавказских, и романы здесь не в моде. Есть, впрочем, в одной из уединенных аллей знаменитая «колода», излюбленное место свиданий. Это вёковой ствол дерева, лежащий вдоль аллеи. Кора на нем очищена. Злые языки говорят, будто администрация кургауза, имея в виду страсть публики испывать стны и памятники, нарочно предоставила в ся распоряжение, для удовлетворения этой страсти, эту «колоду». Действительно, вся она испещрена ницалами, надписями, признаниями, приглашениями на свидание и даже стихами. Нкотораго рода громоотвод или бумажка для мух.

На окраине парка, у подножия гор, видны длинные бёлые корпуса разных построек. Здесь и винодёлня, и обширные погреба с каменским вином в гигантских бочках, и контора, рядом с которой, в особом помщенении, продается виноград.

Каменские виноградники насажены давно. Лозы все иностранные, французские и немецкие. Кулаж производят опытный винодёл. Выписе сорта бургундского и бордосского, каменский рейнвейн, мозельвейн и мускат-люнель давно приобрели известность.

Вблизи конторы площадка с бесёдой для музыки и скамеек. Здесь обыкновенно собираются по утрам курсовые. Народу немного, публика скромная, нет претензии на шик и феенебельность, как на кавказских водах или в Крыму. Все просто, совсем по-домашнему. Есть и евреи, но они, квартируя в мстечк, приходят в парк во время музыки и выдачи винограда.

Вместо кислородских поргатиных стаканчиков на ремешках, здесь корзиночки. Нкоторые ёдят виноград прогуливаясь, другие — сидя на скамйках. Ёдят и плюют.

Жизнь в Каменке совсем скромная и тихая. Изредка устраиваются танцевальные вечера, на которые обыкновенно наезжают подольские и бессарабские помщники. Цны невысокие, вдвое, а то и втрое дешевле, чем в других курортах. Обед из трех блюд — шестьдесят пять копёек, порция — копёек тридцать — пять-

десять, бутылка рейнского вина — сорок пять копёек, бордо — шестьдесят пять; номер в кургаузе, небольшая, но высокая комната с дверью на веранду, — рубль, две комнаты — два рубля. Виноград сравнительно дорог — десять копёек фунт, но все-таки вдвое дешевле, чем в Ялте. В нижнем этаже кургауза — столовая, бильярдная, читальня и большой зал, в котором устраиваются и вечера, и концерты. Есть, конечно, и пьянино.

В общем — совсем домашний склад жизни. Мне кажется, будто я приехал погостить в большой помщичий дом, где гости вполне предоставлены себ и не стеснены попорным этикетом. Встают рано; часов в восемь все на ногах, обедают тоже рано, в час — два, и часов в десять — одиннадцать жизнь в кургаузе совсем замирает.

Главное развлечение — музыка, и музыка очень хорошая.

Вечером, часов около шести — семи, на площадке, что перед кургаузом, появляется публика. На веранде зажигают огни. Группы курсовых по-семейному располагаются у столиков.

Трубы уже в бесёде. Народ все на подбор, чистенький, даже щеголеватый. В игре проглядывает отсутствие ремесленности и какая-то нервная музыкальная чуткость. Все отдаются музыке с увлечением; талантливого капельмейстеру удалось влохновить и объединить эти разнородные элементы в одну общую душу. А элементы, действительно, разнородные. Здесь, в этом хор, есть екатеринославские и херсонские малороссы, выросшие на приволье южных степей, есть волжанин, тамбовец, есть орловец и оренбуржец, есть поляк и еврей, есть и молдаван. Эта национальная смесь, это объединение разноплеменных людей в одной и той же обстановке, в общей службе и обязанностях, за музыкой, сливающей все души в одну душу, не раз навело меня на много размышлений о значении военной музыки для народа, о ее роли, облагораживающей и повышающей его эстетической потребности. Приходить в полк неуклюжий степняк малорос, какой-нибудь Гришко или тамбовский медвёжонок, которые и ступить-то толком не могут. Берут их в хор, целый год учатся они дуть на трубу, еще год, другой в ученической команде трубят сигналы, а потом, смотришь, и в музыканты попали. Родной гопак или трепак уже не кажется им музыкальным шедевром. Им подавай Глинку, «господина Вердеева» или «господина Мейерберсова». Простой человек уже жаждет новых звуков, новых пёсен, новой музыкальной гармонии. Его нервы стали чувствительны, воспримчивы, душа открыта для новых, возвышающих чувств. Облагораживающая и смягчающая роль музыки уже сказалась... Еще одно, другое поколение — и все эти простяки и чистые души еще ближе, еще тёсней сольются в гимн великой братской любви...

Сегодня программа, вывешенная на одной из колонн веранды, особенно интересна. Играют «Аиду», «Тугенотов», «Фауста», «Жизнь за Царя», «Баркароллу» Чайковского, «Ночь» Рубинштейна, «Меланхолический вальс» Бородина, одну из рапсодий Листа.

Капельмейстеръ, г. Марешъ, чехъ. Онъ прѣхалъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ Россію—и теперь сталъ совсѣмъ русскимъ. Славянская душа слилась и растворилась, какъ капля, въ русскомъ морѣ. Онъ—enfant gâté курсовой публики. Это живой, свѣтлый блондинъ, съ добродушнымъ, открытымъ лицомъ славянина и широкой походкой. Весь въ музыкѣ и для музыки. Дирижируя, волнуется и кипитъ. Солдатики чутко слѣдятъ за дирижорской палочкой. Они любятъ своего капельмейстера, хотя и побаиваются его; но боязни больше артистическаго свойства, вслѣдствіе музыкантскаго самолюбія и страха не навратъ.

Сегодня нѣкоторые изъ нихъ подходятъ ко мнѣ, хотя и не безъ робости, чтобы привѣтствовать съ прѣздомъ. Починъ дѣлаетъ штабсъ-трубачъ Петровъ, худощавый и нервный бронецъ съ выдающимися скулами и черной бородой. Это заслуженный музыкантъ. Играетъ на баритонѣ и любитъ музыку страстно. Тонъ у него нервный, мягкій, округленный, безъ рѣзкаго отбѣнка мѣдныхъ инструментовъ. Петровъ страшно самолюбивъ, болѣзненно чувствителенъ, готовъ играть до изнеможения и вѣчно безпокоится, что плохо сыграетъ. Иногда не только нервничаетъ, но даже болѣетъ. Когда онъ солируеть, играя арію Сусанина, «Серенаду» Шуберта или другія любимыя его вещи, — баритонъ поетъ. Публика всегда аплодируетъ ему. Онъ орловецъ. Рѣчь его чистая, отчетливая, великорусская. Человѣкъ «умственный» и любитъ говорить о высокихъ матеріяхъ.

На мой вопросъ о его здоровьѣ отвѣчаетъ нервнымъ, выбирующимъ теноромъ, козыряя:

— Ничего, ваше скобродіе, покорнѣе благодаримъ. Только какъ дюже форто беру, такъ рвеніе испытываю.

За Петровымъ подходитъ тоже заслуженный трубачъ Биштинъ. Этотъ откуда-то изъ Привислянскаго края. Высокій блондинъ не то польскаго, не то литовскаго типа. Видъ бравый, усы большіе. Говоритъ мягко и совсѣмъ просто, по рѣчи скорѣй малороссъ, чѣмъ полякъ. Играетъ на корнетѣ. За корнетомъ появляется теноръ, штабсъ-трубачъ Орищенко, высокій красавецъ-хохолъ изъ Екатеринославской губерніи, съ совсѣмъ дѣтскимъ свѣжимъ лицомъ, кроткими и застѣчивыми глазами. Стѣсниется, краснѣетъ, говоритъ мягкимъ теноркомъ, и говорить нерѣшительно, съ малорусскимъ акцентомъ. Также любитъ музыку и волнуется, но переживаетъ все молча, съ хохлацкимъ наружнымъ спокойствіемъ. Дальше выходитъ корнетъ—Гришко, солистъ, смуглый бронецъ, смѣсь молдавана и малоросса, за нимъ волторна—херсонскій молдаванинъ Барбарошъ (въ переводѣ значитъ «красная борода»), застѣчивый и какъ будто сконфуженный своей смѣлостью бронецъ, наконецъ первый кларнетъ — еврей Ляховешкій, франтикъ, при часахъ, бритый. На вопросъ, какъ поживаетъ, отчеканиваетъ старательно, молодецки козыряя:

— Какъ много очень благодаренъ вашему скобродию за любезную внимательность...

Кто-то изъ публики посылаетъ трубачамъ угощеніе. Когда я

прохожу мимо бесѣдки, чарка обходитъ въ круговую. Одинъ изъ трубачей, Бѣловъ, волжанинъ изъ Саратовской губерніи, передаетъ ее еврею. Тотъ отказывается.

— Пей, — настаиваетъ Бѣловъ шутливо и добродушно. Пошто не пнешь? Ежели ты росейскій—пей, а то доложу господину каплямстеру—онъ те на абахту...

Солдатики смѣются. Раздается стукъ дирижорской палочки. И люди снова исчезаютъ, становятся оркестромъ. Люются пѣвуче, грустные, за души хватающіе, полные тоски и отчаянія звуки «Баркароллы» Чайковскаго, и во мглѣ парка будто стонетъ и плачетъ чья-то душа, откликаясь на нихъ. Потомъ на смѣну имъ плывутъ волны мотивовъ изъ «Гугенотовъ», за ними изящный и грустный, какъ осенній вечеръ, какъ тоска отъ обманутыхъ надеждъ, «Меланхолическій вальсъ» Бородина. Въ паркѣ летаетъ рой звуковъ, рой чувствъ, и весь паркъ будто дышитъ каждымъ листикомъ и поетъ, откликаясь на эти пѣсни...

Годъ тому назадъ, въ это же время, я былъ здѣсь. Мнѣ пришлось надолго разставаться съ роднымъ югомъ.

Я нѣсколько лѣтъ подъ рядъ съ удовольствіемъ слушалъ музыку трубачей-вознесенцевъ, и мнѣ захотѣлось хоть чѣмъ-нибудь выразить имъ мою признательность.

Благодарятъ же разныхъ артистовъ, фетируютъ ихъ на бенефисахъ, почему же не сдѣлать этого въ отношеніи русскаго солдата, который, служа отечеству, въ то же время служитъ, сколько можетъ и умѣетъ, искусству.

Наканунъ выѣзда я заказалъ для нихъ ужинъ. Сдѣлано это было подъ секретомъ. Любезный хозяинъ кургауза, А. А. Наркевичъ-Юдокъ, отнесся къ моей затѣѣ настолько сочувственно, что ужинъ обошелся очень недорого. Помѣщеніе было отведено на той же дачѣ «Миля», гдѣ я теперь стою. Въ залѣ былъ накрытъ столъ на тридцать человѣкъ, при полной сервировкѣ. Видъ былъ совсѣмъ парадный. На столѣ, освѣщенномъ канделябрами, стояли вазы съ виноградомъ и цвѣтами. Больше всего меня тревожило, что на лицахъ прислуги будетъ мелькать нехорошая улыбочка, которая можетъ оскорбить трубачей. Хозяинъ сдѣлалъ на этотъ счетъ строгое внушеніе. Ужинъ, кромѣ закусокъ, поданныхъ за отдѣльнымъ столикомъ, состоялъ изъ кулѣбки, форшмака, ростбифа съ гарниромъ, крема и десерта. Водки въ мѣру, вина бутловокъ сорокъ.

Часовъ около десяти, когда трубачи сыграли прощальныя марши, я подошелъ вмѣстѣ съ хозяиномъ къ бесѣдкѣ и пригласилъ ихъ и капельмейстера на закуску.

Курсовые, успѣвъ провѣдать объ этомъ, стали прогуливаться мимо дачи. Нѣкоторые довольно нескромно заглядывали въ окна.

Боясь, что посторонніе стѣснили бы трубачей, мы не рѣшились пригласить кого-нибудь изъ публики.

Трубачи, сложивъ инструменты и ноги на балконѣ, вошли.

Признаться откровенно, первое мгновеніе я чувствовалъ себя очень скверно и глядѣлъ на нихъ не безъ страха. Я боялся, что

мое искреннее желание выразить им признательность будет не понято ими и истолковано по-своему, что и в этом, и в самой обстановке ужина они заподозрят попытку пошутиться над ними, барскую фантазию—посмотреть скуки ради, что станут дѣлать они за этимъ столомъ, сервированнымъ точно такъ же, какъ на балахъ и свадьбахъ, гдѣ имъ приходилось играть во время ужина, глядя, какъ бѣгутъ другіе.

На первыхъ порахъ они смутились и стали нерѣшительно топтаться у дверей. Задніе навалились на стоявшихъ впереди, и всѣ сразу будто застыли. Это была минута общей неловкости. На всѣхъ почти лицахъ промелькнуло недоумѣніе, въ глазахъ сверкнула какая-то особенная искорка, въ которой было и что-то немножко дикое, похожее на боязнь застѣнчивыхъ людей показаться смѣшными, и что-то свѣтлое, напоминавшее взглядъ дѣтей, когда передъ ними вдругъ распахнули дверь зала, въ которомъ сверкаютъ огнями елки.

Мы тоже были немножко смущены. Надо было сейчасъ же спастись положеніемъ. На предложеніе закутить никто не рѣшился пойти первымъ. Намъ пришлось вести ихъ, угощать, рассаживать и усаживать. Послѣ закуски сѣли, опустили руки подъ столъ и опять умолкли. Но уже на лицахъ стала появляться улыбка. Нѣкоторые переглядывались,—улыбка становилась шире. Постепенно смущеніе исчезало. Кто-то засмѣялся, одинъ изъ хохлохъ, передавая блюдо, сказалъ неуклюжую, но глубокомысленную и остроумную фразу, вызвавшую взрывъ смѣха,—и ледъ вдругъ растаялъ. Видно было, что всѣ уже чувствуютъ себя спокойно, свободно и легко.

Кушанья стояли на столѣ, такъ что прислуга только мѣняла тарелки. Мы обходили, угощая гостей. Изрѣдка капельмейстеръ добродушно внушалъ то одному, то другому изъ своихъ учениковъ, что «не надо конфузится, бо ты военный человекъ». Но дальше въ этихъ внушеніяхъ не явилось никакой надобности. Всѣ развѣружились, и даже обыкновенно молчаливые и тихіе вдругъ заговорились. Рѣчь полилась на разныя темы—и между собой, и общая, рѣчь непринужденная. Стали перекидываться шуточками, вызывавшими смѣхъ, шутками товарищескими, иногда наивными, но приличными. Всѣ ѣли какъ-то аккурратно и иногда даже черезчуръ старательно и серьезно работали ножками и вилами. Аппетитъ дѣлалъ свое. Кушанья на блюдахъ таяли точно по мановенію волшебника. Никто не перепилъ, такъ какъ каменское вино легкое, и сорочка бутылкой для всей этой команды, пожалуй, было и мало.

На раскраснѣвшихся лицахъ все шире расправлялась улыбка, у нѣкоторыхъ глаза сіяли дѣтскимъ удовольствіемъ. И вдругъ совсѣмъ неожиданно посыпались тосты. Началъ Петровъ. Онъ всталъ, поднялъ рюмку, сказалъ—«вотъ что, братцы», и предложилъ выпить за мое здоровье. Всѣ поднялись, и когда онъ, взмахнувъ рукой, не то кивнулъ, не то мигнулъ и крикнулъ «ура, братцы!», то солдатики гаркнули такое троекратное одиотактное дружное ура, что казалось—«Милія» вотъ-вотъ рухнетъ. Надо было отвѣчать. Выпили за

трубачей, за музыку, за капельмейстера, за хозяина кургауза, выпили за вознесенцевъ. И полились рѣчи.

Мнѣ пришлось бывать много разъ на всяческихъ парадныхъ обѣдахъ, говорить и слушать много спичей, иногда блестящихъ, цвѣтистыхъ, эффектныхъ какъ фейерверкъ, иногда очень искреннихъ, вылившихся отъ души подъ натискомъ минуты и въ легкомъ шампанскомъ туманѣ, но никогда не доводилось мнѣ слышать такихъ простыхъ и необыкновенно искреннихъ рѣчей, несладкихъ, выраженныхъ иногда въ грубой формѣ, но жившихъ изъ самой глубины души, отъ всего сердца.

Всѣ какъ-то вдругъ захотѣли говорить, у всѣхъ этихъ душъ явилась потребность высказать хоть въ одномъ словѣ чувства, волновавшія ихъ. Сказалъ «рѣчь» малороссъ, сказалъ, спотыкаясь, модаванецъ, за нимъ великороссъ и полякъ, потомъ еврей. И всѣ, какъ первые, такъ и послѣдній, начинали непремѣнно стереотипнымъ вступленіемъ—«вотъ что, братцы». Главной темой рѣчи все-таки было желание выразить свою благодарность и высказать, что они поняли и оцѣнили вниманіе, оказанное имъ. Лучше всѣхъ говорилъ Петровъ. Онъ былъ точно наэлектризованъ. Въ его рѣчи, простой, отчетливой и искренней, были и мысли, и чувства, хватавшія за душу. Совсѣмъ неожиданно заговорилъ бастъ, обыкновенно меланхолический и молчаливый екатеринославскій малороссъ, и произвелъ почти фуроръ, выразивъ общія чувства. Произнося нѣкоторые слова по-малороссійски, онъ сказалъ приблизительно такъ: «Вотъ что, братцы». Мы простые люди. И мы всѣ понимаемъ, что если сегодня намъ оказана такая честь, то это потому, что мы научились музыкѣ и стали другими, чѣмъ были прежде, когда пришли въ полкъ. Каждый изъ насъ, пока живъ, не забудетъ этого вечера. Мы вернемся въ деревню и расскажемъ нашимъ то, что мы чувствуемъ теперь, и сами всегда будемъ вспоминать этотъ часъ. Правда, братцы, что будемъ? Вышемъ же такъ крѣпко за ихнее здоровье, чтобы «каждоу самого сердца каждая капля прошла и осталась тамъ на память». Рѣчь произвела тѣмъ болѣе сильный эффектъ, что никто не предполагалъ въ своемъ товарищѣ оратора. И когда онъ сѣлъ, нѣкоторые стали добродушно подшучивать на его счетъ. А онъ, смущенный, съ блестящими глазами, сидѣлъ молча, нервно отпивая и глотая вино.

Кончалъ одинъ—вставалъ и говорилъ другой, за нимъ третій. Въ концѣ ужина Петровъ сказалъ совсѣмъ неожиданную «рѣчь». Замѣтилъ ли онъ что-нибудь, угнетала ли его какая-нибудь мысль, чувствовалъ ли онъ какую-нибудь фальшивую нотку, но только онъ вдругъ произнесъ приблизительно такое слово: «мы простые люди, братцы, и очень хорошо это понимаемъ, такіе же простые люди, какъ и тѣ, которые подаютъ намъ. И мы очень имъ благодарны за это. А потому выпьемъ и за ихнее здоровье».

И когда замолкло ура, онъ снова поднялъ рюмку, прибавивъ: — И за всѣхъ бѣдниковъ, и за весь міръ, братцы! Ужинъ продолжался часа три. Послѣ десерта были предложены папиросы, а затѣмъ всѣ стали благодарить и расходиться.

Я никогда не забуду этих растроганных лиц, этих сияющих глаз. На балконах немного потоптались, разбирая трубы, а потом сошли, выстроились перед дачей и грянули, как последний привѣтъ, свой полковой марш. Изъ мглы, въ которой сливались ихъ звуки, выступали только мѣдныя трубы, отражая вылетавшій изъ раскрытыхъ оконъ свѣтъ.

Стояла такая же тихая и теплая сентябрьская ночь.

Раздалась команда. Трубаачи дрогнули, сомкнулись и, дружно зашагавъ, исчезли въ воротахъ, продолжая играть.

Мы долго молча стояли на балконахъ, у котораго выростала черная стѣна парка, вторившаго таявшимъ уже гдѣ-то далеко звукамъ марша. Эхо горъ перекликалось съ нимъ.

Простите и не поставьте мнѣ въ вину мою нескромность. Я позволилъ себѣ уклониться отъ темы только потому, что эта картинка, можетъ-быть, дополнить отчасти основныя мысли моихъ замѣтокъ.

17-е сентября.

Случайный вечеръ. Въ кургаузѣ и мѣстечкѣ оказалось нѣсколько именинницъ. Всѣ рѣшили соединиться въ именинную коалицію и отпраздновать это торжество вмѣстѣ. Съ утра въ кургаузѣ приготовления.

Къ вечеру прѣзжаетъ кое-кто изъ Сорокъ, кое-кто изъ соседнихъ бессарабскихъ и подольскихъ помѣщиковъ. Въ залѣ большое общество. Соединенныя именинницы общими усилиями занимаютъ гостей. Все выходитъ мило, просто и по-семейному. Въ столовой хлопочетъ вмѣстѣ съ женой французъ Франсиуро. Онъ въ нынѣшнемъ году вошелъ въ компанію съ содержателемъ кургауза. За ужиномъ, устроеннымъ тоже на общія средства соединенныхъ именинницъ, большая столовая переполнена. Гости, спичи и туши.

Я насчитываю въ этомъ смѣшанномъ обществѣ болѣе десяти представителей разныхъ національностей.

Послѣ ужина опять танцы. До утра паркъ и горы вторятъ бурному темпу мазурки и барабанной дроби.

Глава XXXV.

Въ Бессарабіи.—Переправа.—Придѣстровскіе и припрутскіе молдаване.—Костюмы, языкъ и обычай.—Обстановка жизни и чистоплотность молдаванъ.—Cassa mare.—Характеръ молдаванъ и ихъ миролюбіе.—Бессарабскіе помѣщики и «чумаши».—«Джисъ», «Хора» и другіе народные танцы.—Посидѣлки.—Попутныя картинки.—Сороки.—Видъ города.—Пеллагра.

Буду на нѣсколько дней въ Бессарабію.

18-е сентября.

Дорога извивается вдоль берега Днѣстра, у подножія обступившихъ его горъ. Къ сѣверу отъ м. Каменки на правомъ берегу вы-

ступаетъ изъ зелени садовъ и виноградниковъ с. Нападова съ красивой барской усадьбой, дальше—с. Вертоужаны, надъ нимъ, укрутого обрыва—еврейская колонія, выстроившаяся точно двѣ роты тѣсными рядами домиковъ. Колонія имѣетъ совсѣмъ обнаженный видъ; вершина горы голая; ни садики, ни деревца. А ниже, въ разстояніи какой-нибудь версты, у подошвы отвѣсныхъ горъ раскинулось живописное монастырское имѣніе Залучаны. На холмѣ хорошенкая церковь съ зеленой крышей; ниже ея изъ зелени выглядываютъ веселые бѣлые домики, крытые то камышомъ или снопами соломы, то гонтой. Постройки изрѣдка глинобитныя и валькованныя, чаще каменные; по типу очень напоминаютъ малороссійскіе дома. Въ срединѣ фасада—двери, по бокамъ—по два окна; подъ ними вдоль всего дома тянется заваленка или «пристѣба», какъ и въ Малороссіи. Окна и двери обведены голубыми или зелеными полосами въ крапичкахъ и лапкахъ. На нѣкоторыхъ—замысловатые узоры. Колонки, иногда рѣзныя, тоже выкрашены синей краской съ цвѣтными полосами. Предъ домомъ дворъ, за домомъ садъ. Хозяйственные постройки все низкія, кромѣ «коша» или «сусуяка», круглой, шпеленой изъ хвороста, корзины, въ которой хранится кукуруза. При дворѣ или въ особыхъ оградахъ за селомъ—токъ со стожками сѣна, пшеницы и кукурузы. Въ садахъ—черешни, вишни, сливы, яблоки, груши и виноградъ. Впрочемъ, большая часть виноградниковъ стелется по склону горъ.

Въ Залучанахъ—переправа. Мой кучеръ, молдаванинъ, сложивъ руки рупоромъ, кричитъ, требуя паромъ. Его подають намъ съ бессарабскаго берега. Два высокіе смуглыхъ молдаванина, оба въ бѣлыхъ полотняныхъ рубахахъ и штанахъ, одинъ въ соломенной, а другой въ черной поярковой шляпѣ, опускаютъ въ воду длинныя песты и наваливаются на нихъ. Паромъ медленно скользитъ вверхъ по теченію.

Молдаване здоровые, мускулистые. Въ распахнувшихся рубахахъ выглядываетъ выпуклая загорѣлая грудь. Лица покойны и сосредоточены. Черные глаза смотрятъ умно и немного лѣниво. Есть что-то у молдаванина, напоминающее фizioномію малоросса; но если присмотрѣться къ нему внимательно, въ лицѣ его можно уловить какія-то особенныя, тонкія формы и черты, выдающія породу и старую расу. Въ сѣверной Бессарабіи и по Днѣстру чистый молдавскій типъ встрѣчается рѣже. Здѣсь онъ уже сливается со славянскимъ типомъ. На сѣверѣ, рядомъ съ молдавскими селами, идутъ въ пересыпку и малорусскія; по границѣ съ Австріей есть и русины. Днѣстровскіе молдаване перемѣшались съ подольскими малороссами. Зимой, когда рѣка замерзаетъ, между подольскими и бессарабскими берегами устанавливается самый полный марьяжный аллансъ. Молдаване берутъ себѣ женъ изъ Подольской губерніи, подолчане женятся на молдаванкахъ. Благодаря этому, въ нѣкоторыхъ молдавскихъ селахъ уже есть малорусскій элементъ, а въ малорусскихъ—молдавскій. Зато по Пруту и въ приднѣвской Бессарабіи молдаване сохранились во всей ихъ типичности. Между ни-

ми то и дѣло попадаютъ характерныя фizioномiи дако-романскаго рѣзца, напоминающія античныя изваянья эпохи Траяна. Тонко очерченный энергичный профиль, открытый лобъ, прямой или орлиный, римскій носъ, вьющіеся черныя волосы, черныя глаза, красиво закинутая голова—все это такъ и вызываетъ въ воображеніи какую-нибудь фигуру изъ римскаго форума. У припрутскихъ молдаванокъ тоже еще сохранился романскій типъ, то напоминающій черноглазую итальянку, то строгія черты римской матроны. На Прутѣ молдаване еще носятъ широкіе шаровары, въ родѣ запорожскихъ, со множествомъ складокъ; они большей частью темнаго цвѣта и заложены въ сапоги. Короткая куртка, «минтякъ», чаще всего синія, плотно охватываетъ станъ, перетянутый широкимъ краснымъ поясомъ. На головѣ, иногда и лѣтомъ, черная баранья шапка. Молдаванки одѣты въ вышитыя, а то и просто ковровыя домотканныя юбки, сорочки, украшенныя множествомъ бусъ, и яркіе платки; у старухъ они бѣлыя, иногда изъ шелка—сырца. По Днѣстру костюмъ этотъ вышелъ изъ моды. Мужчины уже завели сюртуки и свою «манту» перешли на манеръ свитки. Женщины тоже переняли кое-что отъ малороссіянокъ, а остальное довершила ситцевая цивилизація морозовскихъ и цинделевскихъ мануфактуръ.

Молдавскій языкъ, несмотря на множество славянскихъ словъ и отчасти турецкихъ, несомнѣнно, составляетъ характерную вѣтвь романскихъ нарѣчій. Филологи находятъ въ немъ, на ряду съ древне-латинскими словами, и этрусскія, которыя давно исчезли даже въ литературномъ латинскомъ языкѣ. Въ народной жизни сохранилось очень много обычаевъ, точно выхваченныхъ изъ быта древняго Рима. Нѣкоторые обряды носятъ въ себѣ слѣды языческаго міра. Молдаване еще до сихъ поръ похищаютъ сабинянокъ: и даже на тѣхъ свадьбахъ, гдѣ бракъ заключается съ обоюднаго согласія родителей, непременно разыгрывается сцена похищенія невѣсты. Еще лучше свадебный обѣдъ, *massa mare*, гдѣ всѣ гости обязательно дарятъ молодыхъ рублемъ, что даетъ возможность окупить расходы по свадьбѣ. Есть и обычай, напоминающій нѣсколько римскія сатурналіи и вакханаліи,—это торжество женщинъ на второй день послѣ свадьбы, торжество по случаю присоединенія новобрачной къ ихъ союзу. Оно сопровождается обыкновенно пѣснями, выивкой и пляской. Кто побывалъ въ Италіи, особенно въ глубинѣ страны, въ глухой провинціи, тотъ всегда наблюдалъ у молдаванъ очень много общаго даже съ современнымъ итальянскимъ народомъ. Тѣ же обычаи, та же почти пища, въ которой главную роль играетъ тамъ полента, здѣсь—мамалыга; тѣ же земледѣльскія орудія, тѣ же возы и арбы, запряженные волами, тѣ же ковры, узоры которыхъ, совсѣмъ какимъ-то непонятнымъ образомъ, передаваясь изъ поколѣній въ поколѣнія, перелетѣли съ береговъ Тибра на берега Дуная и Днѣстра. Мнѣ показывали нѣсколько лѣтъ тому назадъ ковры, купленные въ Кампаніи, рисунки которыхъ и по цвѣтамъ, и по разиѣрамъ совершенно соответствовали ри-

сункамъ молдавскихъ ковровъ. Но еще лучше съ народными легендами и преданьями, которыя сохранились до сихъ поръ, какъ какое-то диковеніе фантазіи давно исчезнутаго міра, съ его простотой и часто младенческой наивностью. Мнѣ не разъ приходилось слышать народныя сказки и анекдоты, фабула которыхъ, до мельчайшихъ деталей, походитъ на рассказы Боккачіо. Есть и «Гризельди», и «Le trou de diable», и другія темы, которыя Боккачіо, какъ извѣстно, черпалъ изъ народныхъ сказокъ, придавая имъ окраску на современныя злобы дня и выводя въ нихъ портреты своихъ современниковъ.

У молдавнина есть поэтическая и художественная жилка. Даже въ степяхъ, гдѣ природа бѣдна художественными темами, онъ пытается прикрасить жизнь хоть внутренней обстановкой. Есть села, въ которыхъ, несмотря на благодатный климатъ плодородную почву, нигдѣ не видать ни дерева. Вокругъ, насколько хватитъ глаза, по самому горизонту,—слошная волнистая степь, безъ признака лѣса или сада. Это еще во времена владычества турокъ, когда Молдавія переживала мрачныя кровавыя страниці, полныя всѣхъ ужасовъ татарскаго ига, молдаванинъ, часто сомнѣвавшійся и въ завтрашнемъ днѣ, и въ своемъ правѣ на клочекъ земли, потерялъ любовь къ насажденіямъ, которыя, особенно при засухахъ, стоили громадныхъ жертвъ. Онъ обзаводился садами поблизи лѣсовъ и въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ природа сама помогала ему въ этомъ, безъ затраты особеннаго труда, плоды котораго могъ бы разрушить по прихоти турокъ. Зато въ домашней обстановкѣ этотъ простой народъ пытался достигнуть возможной красоты, художественности и, пожалуй, комфорта. И я не знаю народа, который умѣлъ бы въ этомъ отношеніи устроиться уютнѣе и, пожалуй, поэтичнѣе. Даже у бѣдныхъ мужиковъ домъ непременно раздѣляется на двѣ половины; въ одной помѣщается семья, другая, большая, *cassa mare*, для гостей. Въ послѣдней вдоль стѣнъ лавки, крытыя домотканными коврами изъ овечьей шерсти; надъ лавками, иногда до самого потолка, тоже ковры; на полу, глиняномъ или досчатомъ, опять ковры или толстое ридно. Маленькія окна, иногда въ одну—двѣ шибки, задрапированы кисейными или ситцевыми занавѣсками. Стѣны и печь непременно украшены домашнимъ способомъ, большей частью синими крапинками съ красными лапками, иногда фигурно, вазончиками съ цвѣтами и узорами. Въ одномъ углу помѣщается сундукъ, сложенные ковры и подушки въ бѣлыхъ наволочкахъ до самого потолка. Это—*dzestre*, приданое невѣсты, которое заготавливается изъ года въ годъ. Въ другомъ углу, противъ стола, образа, тоже задрапированные занавѣсками, и рядомъ—портреты Государя и Государыни. Я почти не видалъ избы, гдѣ бы не было ихъ портретовъ, иногда даже по два и по три экземпляра совершенно однородныхъ, то олеографическихъ, то, большей частью, суздальской работы. А никакъ ихъ—цѣлая картинная галлерея. Здѣсь и страшный судъ, и «какъ мыши kota хоронили», и десятки другихъ яркихъ лубочныхъ картинъ. Въ комнатахъ пахнетъ душистыми травами. Обыкновенно въ потоло-

къ за балку накладываются пучки мяты, чибрика и других ароматических растений. На другой половинѣ, гдѣ живутъ хозяйка, хата убрана просто. Въ парадной половинѣ—чистота идеальная. Клоповъ и въ поминѣ нѣтъ. Молдаванка десять разъ на день моетъ, подметаетъ и перетираетъ. О томъ, чтобы можно было, какъ, напримеръ, въ Бѣлорусси, жить и спать въ одной избѣ съ телятами и свиньями, въ грязи и среди полчищъ клоповъ и таракановъ, здѣсь никто даже понятия не имѣетъ. Кажется, болѣе чистоплотнаго народа, кромѣ развѣ нѣмцевъ, трудно сыскать.

По натурѣ молдаване спокойны и добродушны. Въ этомъ отношении между ними и малороссами большое сходство. Есть и еще одна общая черта—безпечность.

Что касается лѣни, которая почему-то считается доминирующей особенностью въ ихъ характерѣ, то ее, мнѣ кажется, отрицаетъ сама дѣйствительность. Со времени введенія надѣла въ Бессарабін, население въ нѣкоторыхъ деревняхъ удвоилось и даже утроилось. Есть села, въ которыхъ двѣ трети крестьянъ, не имѣя земли, арендуютъ ее. И, однако, безземельные живутъ не хуже, чѣмъ владѣющие надѣлами; у нихъ такіе же дома, полное хозяйство и рабочій скотъ. Въ молдавскихъ деревняхъ мнѣ почти не приходилось встрѣчать нищихъ, кромѣ развѣ цыганъ. Правда, молдаванамъ не работаешь съ натискомъ великоросса и его энергіей или съ усидчивостью и трудолюбіемъ обездоленного бѣлоросса. Природа слишкомъ балуетъ его. Убрать онъ съ поля кукурузу, а къ веснѣ, не вспахавъ его, сѣетъ овесъ или ячмень да только бороной поскребетъ землю; смотришь, а ячмень и уродилъ по двадцати четвертей съ десятины. Кукурузы ядоволь, пшеницы—тоже, вино свое, чего-жъ больше? Впрочемъ, въ послѣднее время кризисъ, неурожайные годы да пьянство, которое все больше захватываетъ народъ, стали подтачивать его благосостояніе.

Есть у бессарабскаго молдаванина и еще одна очень характерная особенность: онъ необыкновенно миролюбивъ. Является ли это миролюбіе признакомъ переутомленія старой воинственной расы, которая, враждя тысячелѣтіями, почувствовала вдругъ отвращеніе къ войнѣ и братоубійству, выработалось ли оно вслѣдствіе вынужденной пассивности подъ гнетомъ турецкаго ига, но только нѣтъ у нихъ воинственнаго задора и аллома. Это отнюдь не значитъ, что молдаване по натурѣ трусы. Напротивъ, вся исторія Молдавіи полна выдающихся народныхъ героев и героическихъ странницъ, на которыхъ рядомъ съ именами мужчинъ встрѣчаются имена воинственныхъ женщинъ *). Среди бессарабскихъ молдаванъ есть не мало георгиевскихъ кавалеровъ. Въ войскѣ они пользуются репутацией лихихъ кавалеристовъ.

Бессарабія присоединена къ Россіи восемьдесятъ съ небольшимъ

*) Въ октябрьской книжкѣ „Revue de Revues“ 1895 г. помѣщена очень интересная статья румынской королевы (Carmen Sylva) о румынскихъ женщинахъ, подъ заглавіемъ „La femme roumaine“.

лѣтъ. Изю всѣхъ окраинъ это чуть ли не единственная, которая не стоила русскому народу ни капли крови (я говорю о времени съ присоединенія, не касаясь части Бессарабін, отнятой у Россіи и затѣмъ вновь завоеванной). И за всѣ эти восемьдесятъ лѣтъ бессарабскіе молдаване, даже въ такіа тяжелыя для Россіи минуты, какъ 1853—1855 года, не проявляли никакой враждебности и сепаратистскихъ тенденцій.

Напротивъ, они любятъ русскихъ и гордятся, что слились съ могучей Россіей. Они охотно посылаютъ въ школы своихъ дѣтей, и въ Бессарабін всѣ школы, и министерскія, и земскія, переполнены молдавской дѣтвой. Молодежь даже не безъ гордости идетъ въ солдаты и, возвращаясь домой, говорить по-русски, хотя и ломаннымъ языкомъ.

Въ Бессарабін никогда не было рабовъ и крѣпостного права; но народъ извѣдалъ весь гнѣтъ барщины и десятины, или «дежмы». Только съ полученіемъ надѣла и отбѣной барщины онъ ожилъ и зажилъ спокойно.

Высшіе классы въ Бессарабін давно слились съ Россіей. Реформы шестидесятихъ годовъ нашли въ средѣ бессарабскаго молодежи, получавшей образованіе въ русскихъ университетахъ, выдающихся дѣятелей. Благодаря этому, бессарабское земство завоевало себѣ видное положеніе среди другихъ земствъ даже съ чисто-русскимъ элементомъ. Но и бессарабское дворянство, послѣ освобожденія крестьянъ, пережило тяжелую эпоху оскуднѣнія, когда «чумазый» завоеватель сталъ вытѣснять его. Здѣсь его роль исполнили не російскіе Разуваевы и Колупаевы, а цѣлая толпа пришлыхъ людей, хлынувшихъ какимъ-то потокомъ калифорнійскихъ золотопроискателей и начавшихъ безбожно эксплуатировать эту богатую окрину. Уже въ началѣ шестидесятихъ годовъ рядомъ съ евреями на землю съѣли греки, которые раньше занимались здѣсь преимущественно торговлей; затѣмъ появились полчища австрійскихъ армянъ — и этотъ плодородный край былъ предоставленъ на расхищеніе чуждымъ Россіи пришельцамъ, разнымъ проходившамъ, наводнявшимъ его фальшивыми ассигнаціями и начинавшимъ съ этого свое обогащеніе, чтобы затѣмъ вытѣснить коренной помѣщичій элементъ, связанный интересами и съ землей, и съ народомъ, и съ Россіей. Одно имѣніе за другимъ вылетало въ трубу. Старинныя дворянскія фамиліи бѣднѣли, а на пенеліщѣ дворянскихъ гнѣздъ вырастали миллионныя состоянія состояній темныхъ личностей, разныхъ евреевъ, грековъ и армянъ. Хозяйство велось хищнически. Сразу заставлялось какихъ-нибудь пять-шесть тысячъ десятинъ одной пшеницы, разстилавшейся сплошнымъ ковромъ на десятокъ верстъ. Восемь паровыхъ молотилокъ по нѣсколько мѣсяцевъ работали непрерывно, чтобы вымолотить такую массу хлѣба. Это былъ миллионный капиталъ, и въ иные годы онъ вдругъ, въ два-три дня засухи, сгоралъ.

Молдаване смотрѣли на сѣнь людей въ барской усадьбѣ, почесывая затылокъ. Препжій «боеръ», какой-нибудь Исачко, Бое-

реско или Домати был ближе к нему, больше входил в его положение, наконец—это был свой, теперешний боев—Сруль Мошкелент, Карапетъ Агопъ или грек Панаити—совсем чужды ему; он выдал их за стойкой в шинк, они с этого начали; теперь ему приходится ломать предъ ними шапку, говорить имъ «баринъ», зная въ то же время, что они его не пощадят и выжмутъ все соки. Молдаванинъ остался въ сторонѣ отъ своего новаго барина — и нигдѣ, можетъ-быть, нѣтъ большей пропасти между барской усадьбой и деревней, между помѣщикомъ и крестьянами, какъ здѣсь.

Паромъ причаливаетъ къ берегу. Экипажъ катится по извилистымъ улупамъ, мимо садовъ и уютныхъ бѣлыхъ домиковъ. Староста и сотскій, слышавъ звонокъ, выходятъ навстрѣчу и кланяются. Крестьяне, сидящіе на пристбахъ, встаютъ и тоже кланяются.

Въ срединѣ села, у одного изъ домиковъ, праздничная толпа. Дѣвушки—въ пестрыхъ платкахъ и платяхъ, парни—въ новыхъ сюртукахъ, шляхахъ и сапогахъ съ высокими, сложенными гармонией голенищами. Это «джѣкъ», деревенскій балъ. Музыканты цыгане сидятъ на «пристѣбѣ». Одинъ играетъ на «кобзѣ», другой на скрипкѣ, третій на кларнетѣ, четвертый, должно-быть изъ оставшихся трубачей, на баритонѣ. Молдаване очень любятъ танцы. Не только зимой, но даже лѣтомъ по праздникамъ парни въ складчину нанимаютъ музыку и задаютъ своимъ «фатамъ» (дѣвушкамъ) балъ. Трепакъ уже очень недурно отплясываютъ нѣкоторые «солисты». Национальный танецъ—«хора». Парни и дѣвки, взявшись за руки, составляютъ кругъ и медленно, плавно, слегка присѣдая въ тактъ, движутся то направо, то нѣлѣво, выдѣлявая особенныя па. Это парадный и церемоніальный танецъ, танецъ для всѣхъ возрастовъ, вродѣ полонеза. Изъ легкихъ—очень живой танецъ «русаска», т.-е. русскій, похожій на полку, и болгарскій—бравурный и чрезвычайно оригинальный. Но самый эффектный, полный граціи и красоты, настоящий хореографическій шедевръ, это—*urma dracului*, «чортъ въ слѣдѣ». Его очень хорошо танцуютъ припрутскіе молдаване. Дѣвушки въ немъ не участвуютъ. Парни, выстроившись въ рядъ въ своихъ живописныхъ костюмахъ, лѣвой рукой обнимаютъ сосѣда, а правой держатся за поясъ другого сосѣда,—и вся эта живая стѣна быстро движется то въ одну, то въ другую сторону, выдѣлявая дружно въ тактъ какіе-то замысловатые выкрутасы ногами, то сразу падая на одно колѣно, то ударяя ногой, то снимая баранью шапку и бросая ее оземъ съ ухарствомъ и вызовомъ. Совсемъ какой-то балетъ.

У молдаванъ, какъ и у малороссовъ, устраиваются вечеринки. Это—зимній клубъ молодежи, въ которомъ обыкновенно парни избираютъ будущихъ подругъ жизни. Дѣвушки сидятъ за работой, парни кто-нибудь поютъ или рассказываютъ. Иногда засиживаются далеко за полночь, слушая рассказы изъ далекаго прошлаго, изъ временъ турецкаго гнета. Вечеринки, посидѣлки и молдавскія

sedzetoare, совершенно почти сходныя, создались при разномъ складѣ національнаго быта и темперамента. Народъ—вездѣ народъ. Тамъ, гдѣ человекъ находится въ непосредственномъ единеніи съ природой и гдѣ его душа вырабатывается подъ ея стихійнымъ дыханьемъ, онъ почти всегда создаетъ однѣ и тѣ же элементарныя формы для общенія съ ближними и удовлетворенія духовныхъ потребностей. И здѣсь народная поэзія полна наивнаго суевѣрія, народных былинъ и сказки—легендарныхъ богатѣйшей и могучихъ витязей, являющихся идеаломъ героевъ, въ которыхъ народъ воплощалъ свои мечты. Молдаване такъ же музыкальны, какъ и малороссы, но ихъ пѣсни болѣе заунывны и монотонны.

Экипажъ, громяхая рессорами, выѣзжаетъ на гору. Днѣстръ и Залучаны уже внизу. Предъ мной разворачивается холмистая бесарабская степь, вся устланная то зелеными коврами озимей, то полосами кукурузы, то выжатыми нивами съ желтой щеткой соломы. Чѣмъ дальше отъ Днѣстра, тѣмъ рѣже на горизонтѣ виднѣются каемки лѣса, и наконецъ онъ совсемъ исчезаетъ. Куда ни оглянешься, холмы и невысокія горы, подпирající волнистой линіей края неба. Изрѣдка въ долинѣ у пруда выглянетъ, точно оазисъ, село—и снова степь, и снова коверъ озимей, за которымъ вдругъ вырастаетъ господскій токъ. Длинные скірды съ пшеницей выстроились въ два-три ряда точно домики. Подлѣ нихъ пѣлая гора золотистой соломы, пирамида «стодолы», крытаго соломой амбара, въ который сыпается зерно, локомобиль съ высокой черной трубой и кирпичный корпусъ молотилки.

Вечеромъ останавливаюсь на ночлегъ въ одномъ изъ попутныхъ селъ, раскинувшихся вдоль Реута, притока Днѣстра. Глубокая тишина степи. Мирную деревню все глубже охватываетъ дремота. Кое-гдѣ въ окнахъ свѣтится огонекъ. Надъ уллицей стелется тонкая пелена дыма. Пахнетъ кизякомъ. Онъ сложенъ кубиками и пирамидками вдоль забора. Изъ хлѣвовъ и овчаренъ доносятся блѣные овечьи, иногда слышенъ далекий лай собакъ.

На «касса ди обштинъ»*), гдѣ я остановился, суетливая хозяйка наставляетъ самоваръ и готовить постель изъ пѣлаго вороха полущекъ. Во дворѣ, у небольшого костра, сидятъ хозяинъ, сыновья его и двѣ дочки. Надъ костромъ, на треножникѣ, котелокъ. Въ немъ хлопочетъ канареечнаго цвѣта маисовая каша. Это варится мамалыга. Одна изъ дочерей готовится тутъ же низкій круглый столикъ, покрываетъ его скатертью, кладетъ на него борщи и миску съ «бриндзой» (овечій сыр), потомъ опрокидываетъ котелокъ съ мамалыгой; она вываливается на скатерть точно бабка изъ формы.

Мой кучеръ и вся семья садятся на землю вокругъ стола и ужинаютъ. Пламя костра освѣщаетъ ихъ здоровыя фигуры, отъ которыхъ вѣетъ глубокимъ покоемъ простыхъ душъ съ чистой со-

*) Квартира, которая обязательно въ каждомъ селѣ отводится для должностныхъ лицъ.

вѣстью. Надъ ними, точно черный бархатъ, вышитый блестками, раскинулось темное звѣздное небо.

Тишина становится еще больше, миръ, въ который погрузилась природа, еще глубже. Только порой безмолвіе нарушаютъ меланхолическіе переливы звонка, вздрагивающаго вдругъ на дышѣ фазтона.

21-е сентября.

Вдали, на окраинѣ степи, снова показываются скалистые берега Днѣстра. Экипажъ въѣзжаетъ на сорокское шоссе, сползающее извилистой лентой въ долину, по которой зѣбится рѣка. Слѣва, по бокамъ глубокаго оврага, лѣпится село, справа лѣсъ. Надъ Днѣстромъ выдвигается совсѣмъ отвѣсная, неприступная глыба бѣлаго камня. Въ ней темнѣетъ продолговатое отверстіе въ видѣ дверей. Это высѣченная въ скалѣ келья какого-то схимника. По Днѣстру встрѣчается очень много такихъ келій и даже монастырей, вырубленныхъ въ неприступныхъ скалахъ. Когда-то тамъ скрывались отъ турецкихъ гонимыхъ христіане.

У рѣки шоссе круто поворачиваетъ на сѣверъ. Фазонтъ грочетъ по Бекирову мосту (название, оставшееся еще со временъ турокъ) и катится по узкой лентѣ дороги надъ самымъ Днѣстромъ. На подольскомъ берегу, на огромной покатой площади раскинулось мѣстечко Цѣкиновка. Слѣва надъ шоссе высются шпалеры зеленыхъ горъ въ скалахъ и виноградникахъ. Впереди разворачивается панорама Сорокъ съ сѣдой массой круглой пятибашенной генуэзской крѣпости, грозно выдвинувшейся надъ зеркальной гладью рѣки.

Городъ небольшой, но очень живописный. Днѣстръ, изогнувшись, вдался въ бессарабскую сторону. Онъ кажется какимъ-то гигантскимъ серпомъ, положеннымъ на дно зеленой корзины. По бокамъ этой корзины въ садахъ и виноградникахъ раскинулось амфитеатромъ городъ, у суровыхъ стѣнъ крѣпости тѣнятся, точно лигжей, кубки домовъ, обступивъ ее густой толпой и разворачиваясь дальше, по берегу, стройными рядами вдоль нѣсколькихъ улицъ.

На горахъ разбросаны лачи. Лѣса и сады уже зарумянились пурпуромъ дикаго винограда и пунцовыми букетами кустарника.

Городъ—какъ любой уѣздный городъ западной Россіи, гдѣ половину населенія составляетъ еврейскій элементъ. При въѣздѣ—дома то каменные, то валькованные, большей частью одноэтажные, выстроились особняками вдоль главныхъ улицъ и будто подсматриваютъ одинъ за другимъ своими окнами. Въ центрѣ—базарная площадь и непремѣнно тюремный замокъ, а дальше—торговая улочка со скученными еврейскими лавками, въ которыхъ мѣстные Мюры и Мерилзы, Симхи и Мордки, снабжаютъ весь уѣздъ, начинаясь божондомъ и кончая крестьянами, всѣмъ, чѣмъ хотите, съ примѣсомъ брака варшавскихъ, лодзинскихъ и бѣлостокскихъ фабрикъ. Замѣчательно, что въ Сорокахъ, при пятнадцатитысячномъ населеніи, нѣтъ ни одной христіанской лавки. Буквально—ни одной. Гости-

нина, куда я заѣзжаю, — на площади; она немножко лучше рогачевского «Золотого Якоря» и много хуже гостиницы «Франція» въ Петровскѣ-Дагестанскомъ. Тамъ номера съ видомъ на Каспійское море, здѣсь — на тюрьму и базаръ. Площадь загромождена подводами, возами, запрежанными волами, и «каруцями» (повозками). Молдаване и молдаванки плывутъ густой, шумной толпой по площади. Народъ все здоровый, сильный, съ загорѣлыми, кирпичными лицами.

Отправляюсь въ клубъ. Онъ у самаго берега Днѣстра. Здѣсь нахожусь компанію знакомыхъ: нѣсколько офицеровъ — вознесенцевъ, нѣсколько земцевъ.

Идетъ оживленный разговоръ о пеллагрѣ.

Докторъ В. П. Кожухаревъ любезно снабжаетъ меня экземпляромъ составленной имъ брошюры объ этой болѣзни. Издана она на счетъ земства для распространенія въ народѣ.

Вотъ кое-какія свѣдѣнія объ этомъ новомъ бичѣ, грозящемъ разразиться въ лѣлое народное бѣдствіе на югѣ.

Пеллагра была обнаружена въ Испаніи еще въ прошломъ вѣкѣ; затѣмъ она быстро распространилась по Италіи, позже—во Франціи, Румыніи, Австріи и Новороссіи. Въ теченіе ста лѣтъ болѣзнь продолжала развиваться, особенно въ Италіи, гдѣ въ 1881 году насчитывалось 104.067 больныхъ.

Въ Бессарабіи она появилась впервые въ 1885 году, причемъ заболѣвшихъ было всего 54 человѣка; а въ 1893 году ихъ было уже до 3.500 человѣкъ.

Поражаетъ пеллагра преимущественно сельское населеніе. Этіологія ея пока не вполне выяснена. Предполагаютъ, что главная причина болѣзни кроется въ отравленіи ядовитыми веществами, развивающимися въ испорченной кукурузѣ, благодаря особому микроскопическому грибку—*bacterium maidis*.

Болѣзнь развивается ранней весной, продолжается все лѣто и исчезаетъ къ зимѣ. Симптомы—головные боли, лихорадка, а затѣмъ оконечности начинаютъ припухать и кожа на нихъ шелушится. Пораженные мѣста темнѣютъ, трескаются, покрываются пузырьками и изъязвляются. Въ слѣдующемъ году болѣзнь, иногда затягивающаяся на 10—15 лѣтъ, становится интенсивнѣе, поражая у нѣкоторыхъ больныхъ мозгъ и вызывая умопомѣшательство.

Къ брошюрѣ доктора Кожухарева приложенъ портретъ одного пеллагрика. Носъ и руки его покрыты узловатыми бугорками; кожа имѣетъ видъ чешуи крокодила.

Среди земцевъ, принимающихъ участіе въ разговорѣ о мѣрахъ для предупрежденія развитія пеллагри, есть два-три человѣка съ великорусскими фамиліями, нѣсколько—съ молдавскими и польскими. Одинъ изъ поляковъ, владѣлецъ крупныхъ имѣній въ Бессарабіи,—выдающийся земскій дѣятель, энергично работающій на общественную пользу.

Вспоминается Сѣверо-Западный край, поѣздка по Днѣпру, панъ Стась... И даже какъ-то не хочется вѣрить, что тотъ самый по-

лякъ, который тамъ будируетъ, сторонясь русскаго дѣла, здѣсь, на окраинѣ, съ такимъ увлеченіемъ отдается ему, внося и свою лепту просвѣщеннаго человѣка въ культурную работу русскаго государства для общаго блага, не задаваясь вопросомъ, кто будетъ пользоваться этимъ благомъ—католикъ или православный, великороссъ, полякъ или молдаванинъ, и довольствуясь сознаниемъ, что оно полезно ближнему, человеку, какова бы ни была его національная вывѣска.

ГЛАВА XXXVI.

*„Если васъ тянетъ на Рейнъ и на Эльбу
по Днѣстру отъ васъ ближе,—покажите
на Днѣстръ. Это действительно прекраснѣйшее
действительно рай“.*

В. Дидловъ.—„Вокругъ Россіи“.

Утро. На берегу Днѣстра посвистываетъ «Піонеръ», крошечный бѣлобокій пароходъ, напоминающій могилскаго «Воробья». Малюбныхъ пассажировъ много. Двѣ трети свреевъ, одна треть—молдаванъ и малороссовъ.

Пароходикъ шипитъ, шхтитъ и страшно реветъ, будто сердясь, что никакъ не можетъ сдвинуться. Наконецъ это таки удается ему, и онъ, покружившись зачѣмъ-то нѣсколько разъ на мѣстѣ, точно норовистый конь, стремительно бѣжитъ внизъ по теченію.

Вмѣстѣ со мной изъ Сорокъ въ Каменку ѣдетъ цѣлая компанія. Отсюда нѣсколько часовъ ѣзды даже на днѣстровскомъ пароходѣ. По прямому пути считается верстъ двадцать пять.

Живописные сорокскіе берега съ горолакомъ, раскинувшимся амфитеатромъ по склону горъ, и сѣдой генуэзской пятибашенной крѣпостью убѣгаютъ назадъ.

Впереди разворачивается днѣстровская панорама.

Два года тому назадъ мнѣ пришлось совершить по Днѣстру маленькую экскурсію отъ Сорокъ до Ваду-луй-Вода, ближайшей къ Кишиневу пристани. Если вы желаете составить себѣ понятіе о состояніи судоходства по Днѣстру и отчасти о красотахъ этой рѣки, то не захотите ли пробѣжать напечатанныя мною тогда путевыя замѣтки, въ которыхъ я описалъ эту невѣроятно курьезную и трагикомическую экскурсію? Мнѣ остается только прибавить, что Днѣстръ гораздо живописнѣе въ верховьяхъ своихъ, т.-е. отъ Сорокъ къ сѣверу, и что состояніе судоходства по немъ до сихъ поръ не улучшилось.

ПО ДНѢСТРУ.

ПУТЕВЫЯ ЗАМѢТКИ.

*Lasciate ogni speranza
Voi che intrate.*

Dante.

Сборы въ путь.—Пріятыя ожиданія.—„Піонеръ“ или „Левъ“?—На пароходѣ.—Всероссійскій Фельда.—Необыкновенный капитанъ и необыкновенный антексаръ.—Первый блинъ комомъ.—Вліяніе свадьбы одного падика на пароходный рейсъ.—Хорошій буфетъ о трехъ ложечкахъ.—Днѣстровская панорама.—На мели и опять на мели.—„Левъ“, спасенный гостями падика.—Виды.—Капитанъ и антексаръ ведутъ „полеміку“.—Конечъ мытарствамъ и вавилонскому плѣненію.

«Рѣшено: ѣду. Беру карту, набрасываю маршрутъ, лавируя на приличной дистанціи отъ холерныхъ запятыхъ, собираюсь въ путь и»...

Vogue, ma galère!

Между Сороками и Бендерами курсируютъ два пароходика—«Піонеръ» и «Левъ»; первый называется этимъ громкимъ именемъ потому, что еще два года тому назадъ началъ доказывать несудоходность Днѣстра въ его теперешнемъ состояніи, съ убѣдительною наглядностью сажая пассажировъ на мели; второй назвался «Львомъ», эмблемой силы и побѣды, потому, вѣроятно, что жаждетъ разстать своего конкурента, «Піонера». Но до сихъ поръ, слава Богу, катастрофы еще не было. «Піонеръ» принадлежитъ еврею, «Левъ» въ арсендѣ у евреевъ; «Піонеръ» сидитъ на два фута, и потому ходитъ исправнѣй; «Левъ»—на три фута, и потому чаще сидитъ на мели; но на «Піонерѣ» есть, говорятъ, клопы и всякіе другіе зловредные звѣри, дѣлающие его чѣмъ-то въ родѣ азіатскаго клоповника; на «Львѣ» пока ихъ нѣтъ. Ёду на «Львѣ»!... Справляюсь съ расписаніемъ. «Левъ» отходить завтра, въ пятницу, въ 12 час. дня. «На пароходѣ имѣется хорошій буфетъ». Это окончательно склоняетъ меня въ пользу «Льва». Обѣда не заказываю: пообедаю на пароходѣ.

Въ пятницу, въ 12 час., я на берегу. Говорю—на берегу, потому что пристани нѣтъ. Пароходы здѣсь причаливаютъ прямо къ берегу и непременно подлѣ купальни или между ними; справа—мужчины, слѣва—дамы. Патріархальность нравовъ у насъ необыкновенная, и обыватели стыдятся наготы своей гораздо менѣе, чѣмъ прародители, не прибѣгая даже къ фиговымъ листьямъ. Въ дождь пароходу приходится ждть подъ открытымъ небомъ, въ солнцепекъ—ни пяди тѣни, ни одной скамейки. Стой, глазѣй на барахтающихся въ водѣ добродушныхъ обывателей и жди.

А ждть можно до безконечности.

«Левъ» въ пятницу не пришелъ; не пришелъ онъ и въ субботу. Почему? Иду справляться въ «агентство», изображаемое супругой одного изъ арендаторовъ парохода. Ничего не знаетъ, никакихъ телеграммъ не получала, хотя въ «расписаніи» и сказано, что обо

всяких замедленихъ будетъ сообщаться по телеграфу. Но на лицѣ тревога, читается опасеніе, что мужъ бѣжалъ... можетъ-быть, въ Аргентину?

Въ понедельникъ сіяющее «агентство» обнадеживаетъ меня. Мужъ, слава Богу, вспомнилъ о женѣ и пассажирахъ, телеграфировалъ, что «Левъ» *будетъ во вторникъ*, т.-е. на четыре дня позже, чѣмъ слѣдуетъ. Если вспомнить, что отъ Сорока до Бендеръ пятнадцать станцій, и предположить, что на каждой станціи томится только по одному пассажиру въ четырехдневномъ пріятномъ ожиданіи, если подумать, что у каждаго изъ нихъ есть срочное дѣло,—то можно, пожалуй, понять тѣхъ, кто даетъ зарокъ не бѣздить на днѣстровскихъ пароходахъ. «Агентство» увѣряетъ, что пароходъ «запоздалъ» вслѣдствіе мелководья. Днѣстръ совсѣмъ отошелъ. У водомера, на черной доскѣ, на которой ведется кондуктнѣйшій списокъ Днѣстра, уровень воды въ Сорокахъ обозначенъ нулемъ. Этотъ нуль рисуетъ воображенію рака на мели. Нѣсколько угѣшаетъ мысль, что 1.200,000, затраченныхъ казною на углубленіе днѣстровскаго русла, плюсъ 200 тыс., отпускаемыхъ ежегодно на ту же надобность, плюсъ дамбы, бакены и вѣхи, разставленныя во всѣхъ опасныхъ мѣстахъ, плюсъ цѣлый штатъ служащихъ,—должны нѣсколько повліять на этотъ нуль... Пока, правда, эта миллионная жертва безмолвной рѣкѣ ничего не сдѣлала; и сердце вжужжъ надрыдается отъ lamentaцій тѣхъ, кому пришлось и приходится вести стихійную борьбу съ этой упрямой змѣей. Строить дамбы—ихъ сносить, сносили мели—ихъ наносить... Это не рѣка, это—метель, вихрь которой поглощаетъ со стихійной безстрастностью все: и трудъ человѣческій, и казенныя сотни тысячъ...

Вторникъ, 5 часовъ пополудни. Я на «Левѣ»; это—фактъ. Сіжу на капитанской площадкѣ. Справа, внизу, барахтаются дамы, слѣва—кавалеры. Свистокъ; снимаютъ сходы. «Матросы», напирая на шесты, пытаются сдвинуть пароходъ. Отчаливаемъ. Въ пяти шагахъ отъ берега раздается — «стопъ». Среди пароходной прислуги слышатся вопросы—«Оедька? Гдѣ же Оедька?» Про Оедьку забыли, а Оедька—лоцманъ. Безъ Оедьки пароходъ не можетъ идти; только Оедька знаетъ фарватеръ. Свистать—звонятъ Оедьку. Наконецъ онъ является, по канату карабкается на пароходъ и, минуту спустя, стоитъ на капитанской площадкѣ, у рулевого колеса.

Это приземистый, коренастый парень съ широкой скулатой физиономіей русскаго типа, вздернутымъ толстымъ носомъ и толстыми губами; надъ верхней губой чуть виденъ русый пушокъ, къ нижней, оттопыренной, прилипла папироска, которую онъ изрѣдка поасасываетъ. Фуражка набекрень, ноги выгнуты оглоблями, какъ у заправскаго моряка; но въ общемъ онъ скорѣе напоминаетъ мастерового или фабричнаго. Оедька—единственный великороссъ въ экипажѣ парохода; остальные лица—малороссы и евреи. Оедька весь проникнутъ сознаніемъ, что онъ представитель «расейскаго чело-

вѣка», и смотритъ на хохловъ и жидовъ свысока, какъ побѣдитель. Въмѣстѣ съ тѣмъ, онъ весь полонъ и сознанія собственного достоинства, и важности своей роли. На выговоръ, который дѣлаетъ ему капитанъ, Оедька, не выпуская папироски, процѣживаетъ сквозъ зубы:

— Дѣло было.

И такъ это сказано невозмутимо, резиною, что капитанъ обезоруженъ; лукаво-добродушная усмѣшка скользитъ по его смуглому малорусскому лицу съ черной сдѣвшеюся бородой и паутинной морщинокъ. Въ самомъ дѣлѣ—у Оедьки было дѣло,—значить, Оедьку должны ждать: безъ Оедьки вѣдь все равно не пойдутъ,—очень просто.

Оедька собственно вовсе не лоцманъ, а такъ себѣ, «расейскій чловѣкъ», который беретъ въ жизни апломбомъ и «авоской», импонируя ими. Въ этой самонадѣянности и самоувѣренности та стихійная сила русскаго чловѣка, которая сдѣлала его властелиномъ полумира. Оедька, говорятъ, два года былъ матросомъ на «Понерѣ»; случилось на дняхъ, что со «Льва» упелъ лоцманъ, и Оедька сталъ лоцманомъ. Очень просто. Завтра уйдетъ капитанъ—Оедька станетъ «за капитана», ни минуты не колеблясь. Оедька прекрасно знаетъ одно: повернешь рулевое колесо—и пароходъ идетъ направо, отвернешь—и пароходъ пойдетъ нѣлѣво. А фарватеръ... кто его знаетъ? Самъ инженеръ ногу сломаешь. «Есть вода—и фарватера не нужно, а нѣтъ воды—и по фарватеру не пройдешь»,—говоритъ онъ.

Капитанъ—собственно тоже не капитанъ, а какая-то неопредѣленная юридическая фикція. Пароходъ принадлежитъ пяти лицамъ. Капитанъ—должчикъ. Кажется, былъ шкиперомъ каботажнаго плаванія. Но плавать по морю не то, что плавать по Днѣстру: размахъ моряка на днѣстровскомъ фарватерѣ только сбиваетъ. Капитанъ то и дѣло кричитъ въ рупоръ: малый ходъ, самый малый.

Онъ херсонсецъ. Въ началѣ навигаціи въ Херсонѣ пробрались «предпримчивые генуэзцы»—сорокскій адвокатъ и рашковскій аптекарь, заарендовали пароходъ вмѣстѣ со злополучнымъ «капитаномъ». За аренду платятъ по 500 руб. въ мѣсяцъ, капитану платятъ особо жалованье за «капитанство». Такииъ образомъ капитанъ и собственникъ парохода, и онъ же служитъ у арендаторовъ парохода. Какъ собственникъ, онъ каждую минуту боится, какъ бы не проломать пароходъ, какъ наемный работникъ—долженъ подчиняться арендаторамъ, какъ капитанъ—имѣть право каждую минуту высадить ихъ на берегъ. Эта удивительная комбинація вызываетъ массу комическихъ инцидентовъ, развлекающихъ публику. Стороны на ногахъ. Капитанъ пытается либо игнорировать существованіе арендаторовъ, либо прогуливается на ихъ счетъ; арендаторы пытаются игнорировать «капитана» и изрѣдка, чтобы показать свое хозяйское право, покрываютъ даже въ слуховую трубу; они знаютъ капитанское право, но знаютъ также, что пароходная прислуга служить у нихъ: значить, приказывая капитанъ хоть до

второго пришествия—«матросы» не высаждать арендаторовъ. Слова—«контракты» и «неустойка» раздаются то съ той, то съ другой стороны. Кромѣ арендаторовъ и капитана, «администрація» парохода состоитъ изъ какого-то еврея, именующагося «управляющимъ пароходомъ», другого еврея, «помощника управляющаго» и еще какихъ-то двухъ безъ определенныхъ занятій евреевъ, кажется—второстепенныхъ капитанско-арендаторскихъ стычекъ, появляются на площадку и стоятъ въ безмолвно-выжидательной позѣ, какъ резервъ. Сегодня на пароходѣ плыветъ «аптекарь» нервный и желчный человекъ, съ озабоченнымъ видомъ сплывающій изъ одного угла въ другой. Говорятъ—онъ соврашенъ съ пути истины краснорѣчіемъ адвоката; ему сулили открыть Калифорнію или Эльдorado; онъ продалъ свою аптечку, вложивъ въ предприятие всѣ деньги; адвокатъ, вложилъ «идею» и «краснорѣчіе». Компанейскія дѣла идутъ плохо: мелководье и конкуренція. Говорятъ—прогорятъ...

Вдругъ толчекъ... Бугоръ... Пароходъ съ размаху съѣлъ на мель. Тревога... Пассажиры беспокоятся. Что-то случилось...

— Пустяки, пустяки,—успокаиваетъ аптекарь:—надо было взять *немножко лѣтъ*, а онъ (кивокъ на Оедьку) взялъ *немножко правды*. Оедька почесываетъ затылокъ и бормочетъ, не особенно конфузясь:

— Чортъ... Взялъ бы чуть лѣвѣе... Пароходъ «рисканулъ». Что Оедька понимаетъ подъ этимъ «рисканулъ» — трудно рѣшить, но каждый разъ, когда садитъ насъ на мель, непременно заявляетъ, что пароходъ «рисканулъ».

Капитанъ срываетъ на Оедьку злобу: — Рисканулъ! Лѣвѣй!—передразниваетъ онъ.—Эхъ ты! А еще въ лоцмана лѣзешь! Какой ты лоцманъ, когда «франвахтера» не знаешь?.. Еще встроилъ въ зубы папироску и франтить ея!.. Оедька оскорбленъ. Онъ уходитъ внизъ и бормочетъ, продолжая «франтить папироской»:

— Нарочито ня сдѣлано. Кажинный старается, *какъ получше...* Сидимъ.

Матросы съ колыями и шестами лѣзутъ въ воду. — Запихивай, ребята, запихивай веселѣй!—воодушевляетъ ихъ капитанъ.

Ребята «запихиваютъ». — Ра-а-зомъ! доносится снизу.—Еще-о, еще-о... — Полный ходъ! командуетъ капитанъ.

Машина работаетъ, пароходъ дрожитъ, пытитъ, колеса вертятся, гнѣя и мутя воду, взрывая со дна клубы желтаго песку. «Левъ» поворачивается корпусомъ то вправо, то поперекъ теченія...

Четверть часа длится эта возня. Наконецъ снимаемся. Напряженное томленіе смѣняется чувствомъ облегченія.

— Зови Оедьку къ рулю,—говоритъ капитанъ. — Не хочеть,—отвѣчаетъ снизу матросъ.

— Чего? — Осерчалъ.

Однако, немного спустя, Оедька, обливаясь потомъ и мокрый отъ воды, опять занимаетъ свой постъ. На его широкой рожѣ—горечь уязвленного самолюбія и неоцѣннаго таланта.

На носу матросъ замѣряетъ шестомъ фарватеръ, выкрикивая: семь, пять, три!..

И какъ только раздастся это роковое «три», у капитана лицо вытягивается, а Оедька сосредоточенно сжимаетъ свои толстыя губы: онъ чувствуетъ, что пароходъ опять хочетъ «рискануть».

— Вотъ и плавайте! ворчитъ капитанъ.—Хуже быть не можетъ... Развѣ это рѣка? Чортъ знаетъ что!..

— Скажите, а послѣдній рейсъ вы пропустили тоже благодаря мелководью?

— Какое тамъ! восклицаетъ онъ, вздернувъ плечами.—Какъ ни мало воды—все-таки доплыли бы до Сорокъ. Да мы застряли въ Ваду-луй-Вода и ждемъ... Просто жидовская хитрость...

— Чего ждали? — Видите—въ Рашковѣ у ихняго цадика свадьба... Поджидали: думали 200—300 человекъ гостей забрать...

— И что же? — Даромъ прождали: только воздухъ ихній забрали. А говорить—железъ, чтобы въ рейсъ понасть.—Что хотять, то и дѣлають. Развѣ это пароходъ? Просто жидовская балагула.

Пароходъ то наръзывается на камни, то ползетъ по перекатамъ. Чувство невольной тревоги то слабѣетъ, то снова растетъ. И только окружающая природа отвлекаетъ, приковывая къ себѣ и очаровывая. Картина полная сказочнаго волшебства. Кажется, будто мы катимся по какой-то изумрудной долинь; зеркало воды отражаетъ синее небо съ плывущими по немъ бѣлыми барашками, зеленые берега, скалы; высокія горы, то мѣловыя, то въ лѣсахъ, то скалистыя, то въ кудрявомъ молодникѣ, смѣняются какъ въ панорамахъ. За каждымъ поворотомъ открывается новый видъ: то дикий ландшафтъ, то роскошный пейзажъ, манящій дѣвственной свѣжестью природы. Зрѣніе утомляется, но глаза очарованы: мочи нѣтъ оторваться отъ этихъ живописныхъ береговъ, отъ этихъ сказочныхъ видовъ.

— Датъ бы этотъ уголокъ французамъ,—говоритъ мой сосѣдъ, —какихъ чудесъ натворили бы они!.. А ужъ рѣку-то навѣрно сдѣлали бы судоходной. Зря денегъ не стали бы бросать. Десять миллионъ пондобилось бы—не пожалѣли бы, но углубили бы русло, но построили бы дамбы, а не эти кучи камней; поставили бы десять, двадцать землечерпательныхъ машинъ, а не эту черепаху, которая вонъ виднѣется впереди... Шлюзы пондобились бы—и это устроили бы... Вѣдь подумать только, какъ важно сдѣлать Днѣстръ судоходнымъ: онъ прорѣзаетъ и соединяетъ три параллельныхъ линій желѣзныхъ дорогъ, соединяетъ житницу Россіи—Бессарабію и По-

долю—съ Чернымъ моремъ, съ Одессой, захватывая шесть-семь торговыхъ городовъ и пятнадцать мѣстечекъ. Грузовое и пассажирское движеніе обезпечены, это миллионы... А теперь что? Пять-шесть баржъ, два грузовыхъ парохода да два пассажирскихъ... Въ половинѣ еще кое-какъ; но въ мелководьѣ—видите, какая мука. Въдь вотъ, по расписанію, отъ Сорокъ до Ваду весь путь высчитанъ въ 14 часовъ, а дай Богъ, чтобы мы завтра къ вечеру поспѣли...

— Да, дай Богъ,—глухо отзывается капитанъ.

— О, капитанъ! восклицаетъ одна изъ пассажирокъ:—вы не такъ жестоки, нѣтъ! Вы постараетесь доставить насъ вовремя.

— Да что-жъ я отвѣчаю капитанъ, видимо польщенный этимъ трогательнымъ воззваніемъ.

— И то,—говоритъ кто-то,—вотъ если Оедька постарается...

Оедька тоже польщенъ.

— Я—что-жъ... Ежели пароходъ не рисканетъ...

Вдругъ толчекъ. Мы снова на мели.

— Нѣтъ, капитанъ, это ужасно,—говоритъ пассажирка:—вашъ пароходъ не Левъ, а ракъ, ракъ, ракъ...

Съ отчаянья идемъ пить чай. Въ каютѣ на столѣ кухонная керосиновая лампочка. Возгласы протеста. Это что? Керосиновая лампа въ первомъ классѣ? Капитана сюда! Говорятъ—свѣчи вышли. Да мы—протоколъ, да мы въ книгу... Приносятъ свѣчу. Разливаемъ чай. А ложечки? Всего три ложечки. Больше, хоть переверни пароходъ вверхъ дномъ, нѣтъ. Это фактъ историческій, достойный быть занесеннымъ въ лѣтописи пароходства по Днѣстру. Мышаемъ чай поочередно.

— Ничего,—утѣшаетъ «управляющій»,—когда проѣдете въ слѣдующій разъ, у насъ будетъ цѣлыхъ двѣнадцать ложечекъ.

Хотя на пароходѣ имѣется «хорошій буфетъ», кромѣ «антрикона» и «биштика» ничего нельзя достать. Съ каштанской площадки мы наблюдали процедуру самого приготовления этихъ яствъ. Нельзя сказать, чтобы она была интересна и поучительна, особенно по пятнѣшему тревожному насчетъ запятыхъ времени. Одна изъ дамъ сейчасъ же приняла капли Иноземцева.

Что за ночь!

Тихо. Листикъ не шелохнется. Тепло. Въ бездонномъ небѣ плыветъ луна, сверкаетъ большая медвѣдица и марсъ. Земля залита фосфорическимъ свѣтомъ, даль исчезаетъ въ голубомъ туманѣ. Рѣка—точно расплавленное серебро. Смотришь внизъ—и видишь въ водѣ то же черное небо, луну и звѣзды; совѣмъ зеркальная гладь. Порой, при поворотахъ, съ высокихъ горъ падаютъ длинныя тѣни, укрывая пароходъ; луна на минуту исчезла; но и за нами, и впереди вся долина залита ея сіяніемъ. Склонившаяся къ рѣкѣ ракета, вѣвистый дубъ, нависшая скала, съдой утесъ—все принимаетъ какой-то фантастическій видъ въ голубомъ сумракѣ. Поворотъ—и опять изъ-за горы выглядываетъ луна, и хлынутъ потоками ея сіяніе. И опять въ водѣ, какъ въ зеркалѣ, отражаются то же

ления, то бѣлая, какъ мраморъ, известковая гора, съ ущельями и оврагами. Смотришь на берега, смотришь на отраженіе ихъ въ водѣ—и не можешь отличить, гдѣ кончается берегъ, гдѣ начинается отраженіе... Какое-то царство тѣней, фантазій и иллюзій...

Да берега, бессарабскій и подольскій, два края, чуждыхъ по исторіи и культурѣ, будто усталились другъ въ друга, раздѣленные водной границей, скованные дремотой. И изъ-за каждаго дерева, изъ-подъ каждаго утеса выступаютъ хоромомъ тѣней призракъ прошлаго... Вотъ дикий скнѣзъ подъ этою скалой сидитъ въ засадѣ на врага, вотъ римская когорта ведетъ толпу плѣнныхъ даковъ, вонъ ватага гунновъ раскинула шатры, а тамъ, изъ-за угла, галера генуэзцевъ плыветъ навстрѣчу, вотъ на челнѣ отважный запорожецъ скользитъ въ тѣни, а далѣе толпа жестокихъ янычаръ, и отъ нея, обезумѣвъ отъ страха, бѣгутъ и молдаване, и поляки, и евреи... О, если бѣ Днѣстръ могъ рассказать тайны прошлаго, если бѣ онъ могъ передать, какой оксанъ человѣческихъ мукъ и слезъ пронесся по немъ за эти тысячелѣтія!

Толчекъ отрезвляетъ меня.

Оедька садитъ насъ на мель. На этотъ разъ основательно. Мы подъ м. Каменкой. Собственными средствами сняться нельзя. Шлюпка уплываетъ за рабочими. Всю ночь пароходъ бесильно барахтается, и «аврора» застаетъ насъ на мѣстѣ преступленія.

Въ 8 час. утра мы только въ Рапковѣ.

Почти два часа грузить уголь; ожидаемъ гостей со свадьбы надика. На палубѣ давка и гвалтъ. «Гости» ѣдутъ въ м. Резину. Но между Рапковомъ и Резиной есть большой перекатъ, а пароходъ отъ новаго груза сѣлъ глубже. Плыдемъ. По пути встрѣчаются плоты, сказы и галеры. Огибаемъ баржу, сидящую на мели, и подходимъ къ перекату. Впереди виднѣются человѣкъ 12 крестьянъ, по колѣни въ водѣ, и четверка покорныхъ лошадей, запряженныхъ цугомъ въ плугъ. То пашутъ и разрыхляютъ песокъ на мели. Навстрѣчу выѣзжаетъ сторожъ, съ зеленымъ флагомъ на носу душегубки. Садимся на мель, и начинается барахтанье. Матросы лѣзутъ въ воду, крестьяне помогаютъ.

— Запихивай ребята, запихивай веселѣй, молодцы!

«Левъ» ли съ мѣста.

Тогда «гости надика» раздѣваются тутъ же, на палубѣ, и лѣзутъ въ воду. Наши дамы скрываются въ каюты, ихнія дамы стыдливо потупляютъ глаза. Картина полна библейской простоты и идиллической прелести. Человѣкъ сорокъ толкаютъ пароходъ. Гиканье, возгласы понуканья, смѣхъ.

Пароходъ сползаетъ съ череката.

Проходимъ мимо Стройницъ, Рыбницъ, Резины, Солончанъ, Сахарны... Живописныя горы, лѣса и села мелькаютъ какъ въ панорамѣ. Что за виды! Каждый уголокъ—цѣлая тема для художественнаго шедевра. И если итальянцы говорятъ—vedi Napoli e poi

morir, то и молдаване имѣютъ право сказать—se vedz Nestrui s'aroi se mori.

Да, это—точно Рейнъ, но безъ суровости и строгихъ тоновъ сѣвера; природа Днѣстра мягче и нѣжнѣе; она дышитъ нѣгой и любовью юга.

За Куратурой, гдѣ высоко надъ рѣкой бѣлѣетъ высѣченный въ скалѣ монастырь, мы отдыхаемъ на мели; подъ Ягорлыкѣмъ «Левъ» получаетъ пробоину, и изъ каюты II класса ведрами выносятъ воду; въ Маловатѣ мы въ 7 час. вечера опять на мели. Опять «Левъ» отдыхаетъ часокъ-другой, опять отправляются въ село за крестьянами, опять парохоль безсильно пытитъ и дрожитъ. Въ полночь, верстахъ въ трехъ ниже, Оелька, задремавъ у руля, спросонья принимаетъ красную вѣху за бѣлую и беретъ «лявѣе», на самую мель. «Левъ» глубоко врѣзывается въ нее. Вокругъ степь. Здѣсь просидимъ до утра, пока на шлюпкѣ проберутся въ село и привезутъ рабочихъ.

Та же чудная ночь.

Капитанъ и аптекаръ раздражены. Капитанъ бѣгаетъ на площадкѣ по одной диагонали, аптекаръ—по другой. Вотъ-вотъ сѣяться...

— Я вамъ говорю, что не дамъ парохода. Дойдемъ до Бендеръ и—стопоръ! кричитъ капитанъ.

— Посмотримъ! возражаетъ аптекаръ.

— Посмотримъ!

— А контрактъ на что?

— Что вы мнѣ все съ контрактомъ да контрактомъ? Наплевать мнѣ на вашъ контрактъ—вотъ что! Въ контрактѣ сказано, что я долженъ плавать по водѣ, а не по сушѣ... Развѣ это рѣка?

— А я чѣмъ виноватъ, что теперь мелководье?

— Да вамъ что? Вамъ все равно! А у меня, какъ парохоль на камень попадетъ, печенки *переворачиваются*, вотъ что!

Цѣлый часъ продолжается эта «полюмика», наконецъ оба, уставъ, испортивъ другъ другу кровь, уходятъ спать. Воцаряется тишина; изрѣдка съ палубы доносится храпъ, да слышно, какъ вода журчитъ и плещется въ бока парохода.

Гдѣ-то далеко-далеко лаютъ собаки. По временамъ гдѣ-нибудь плеснетъ рыба, обвалится съ крутого берега камень. Вокругъ пустынно. Звѣзды горятъ все ярче и ярче. Свѣжѣетъ... Скоро разсвѣтъ.

А шлюпка все не возвращается...

Четвергъ. Десятый часъ утра. Подходимъ къ Ваду-луй-Вода.

Наши мытарства кончаются. Подводимъ итоги. Оказывается, что вмѣсто 14 часовъ мы пробыли въ пути 42 часа и развѣ пятнадцать сидѣли на мели. Къ этимъ сидѣніямъ мы настолько привыкли, что намъ какъ будто даже странно, когда плывемъ. Каза-

лось, что Сороки и Ваду—какая-то Спилла и Харибда, изъ которой никогда не выберешься.

Оелька—у руля. Онъ въ глубокихъ калонахъ и мѣховомъ «спиннакѣ». Всю ночь онъ насаживался въ водѣ, «пихая» парохоль. Капитанъ и аптекаръ, съ поднятыми воротниками пальто, прогуливаются по площадкѣ. Оба дѣлаютъ видъ, что не замѣчаютъ другъ друга. У капитана, видимо, всю ночь «переворачивались печенки», аптекаръ штудировалъ контрактъ.

Чѣмъ ближе, тѣмъ дальше отъ берега расползаются гряды высокихъ горъ, тѣмъ шире становится горизонтъ. И на душѣ какъ-то легче.

Одинъ изъ пассажировъ сердито ворчитъ:

— Это чортъ знаетъ что такое: у меня срочное дѣло. Если-бъ я во вторникъ, одновременно съ парохолемъ, выѣхалъ на почтовыхъ, я бы вчера вечеромъ былъ въ Кишиневѣ. А если-бъ махнулъ на Крыжополь, то вчера, еще въ 9 часовъ утра, былъ бы тамъ... Нѣтъ, такъ нельзя, надо или сдѣлать парохольство возможнымъ, или упразднить его... Иначе—это издѣвательство надъ публикой. Затратили столько денегъ, а не устроили для образца хоть два плоскодонныхъ парохода американскаго типа.

Продолжительный свистокъ заглушаетъ его слова.

Причаливаемъ. Пассажиры суетятся.

Наконецъ-то мы на твердой почвѣ.

Мнѣ какъ-то жаль разстаться съ красавицей рѣкой, съ этимъ міромъ волшебной красоты, фантазій и грѣзъ...

ГЛАВА XXXVII.

Прощай, югъ!—Въ поѣздѣ.—Кіевъ показывается.—На вокзалѣ.—Электрическая «конка».—Ростъ Кіева.—Соперничество Кіева и Одессы.—Параллели.—Растительность.—Крещатики.—Уличная толпа и кіевская публика.—Кіевъ, какъ народный городъ.—Памятникъ св. Владиміра.—Кіевская панорама.

24-е сентября.

Фаэтонъ стоитъ у веранды каменскаго кургауза. Звончекъ побрякиваетъ. Кони нетерпѣливо постукиваютъ копытами.

Вещи мои уже уложены.

Надо ѣхать, а такъ не хочется. Скрѣпя сердце, прощаюсь...

Дни, какъ нарочно, стоятъ такіе чудные. Природа принарядилась въ свой золотой съ пурпуромъ осенній нарядъ. Все въ ней дышитъ и нѣгой, и жадной жизнью, и прощальной улыбкой исчезающаго лѣта. Золотая листва, золотое сіяніе сентябрьскаго дня, безмятежный покой синяго, ярко-синяго неба, теплое дыханіе «земли». И при этомъ—ласкающая и ошениющая музыкальная гармонія, подхваченная эхомъ вѣкового парка, полного легендъ, о которыхъ онъ шепчется съ плещущейся вдоль него красавицей рѣкой...

Лицо милого существа всегда кажется нам милым и красивым; но в минуту разлуки, когда приходится, может-быть, навѣки сказать прощай, оно въ тысячу разъ милѣе, прекраснѣе и дорожее. Мочи нѣтъ оторваться отъ него.

Это же чувствую теперь и я, при разлукѣ съ роднымъ югомъ, съ его чудной природой. На душѣ совсѣмъ тоска влюбленного.

Коня сразу подхватываютъ экипажъ и мчатся. Пронеслась мимо дача «Милая», ворота, осталась за мной нѣмецкая колонія съ кирхой, потомъ—«замокъ» и верхній паркъ, надъ которымъ разлетаются звуки музыки, мелькнули площадь и мѣстечко, началась подъемъ по ущелью. Проходитъ полчаса. Каменка уже далеко внизу; Днѣстръ, сверкая серебромъ, будто улыбается. И вся живописная долина исчезаетъ въ золотомъ сѣяніи.

Опять разворачивается безконечнымъ ковромъ Подольская степь. Навстрѣчу то и дѣло тянется обозъ со свекловицей. Везутъ бураки на какой-нибудь сахарный заводъ. Минуемъ громадное село Студены и мѣстечко Песчанку. За опушкой лѣса выглядываетъ станція Попелухи.

Въ три часа курьерскій поѣздъ подхватываетъ меня и мчитъ въ Киевъ. Опять грохотъ и свистки несущихся мимо поѣздовъ.

Въ вагонѣ тѣснота. Публика пестрая. Есть австрійскій нѣмецъ, какой-то коммерсантъ, ѣдущій въ Волочискъ, чиновникъ, два подольскихъ пана, евреи и малорусскіе помѣщики съ толстыми усами, толстой шеей и массивными фигурами, отъ которыхъ вѣетъ практичностью и невозмутимымъ покоемъ глухой деревни.

Вечеромъ минуемъ Жмеринку, ночью—Казатинъ и Фастовъ. Вездѣ толкотня, суетливая толпа куда-то спѣшащихъ людей, какой-то стремительный потокъ людского моря, который несется по артеріямъ юго-западныхъ дорогъ. Паровозъ все реветъ какъ-то испуганно и въ окнѣ мелькаютъ безпрерывными огненными нитями искры.

25-е сентября.

Очень неприятно въ быстрыхъ путешествіяхъ пробужденіе. Пропылаешь гдѣ-нибудь за двѣсти-триста верстъ отъ мѣста, гдѣ заснулъ. Никакъ не можешь отдѣлаться отъ ощущенія какой-то стигийной силы, которая сразу, точно въ сказкѣ, переноситъ въ другой міръ.

Уже за Мотовиловкой вагонъ постепенно наполняется дачниками. Молодые люди, франтики, чистенькіе, съ только-что вымытыми лицами, въ котелкахъ и приподнятыхъ воротникахъ пальто, студенты, съ длинными, расчесанными на скорую руку, волосами, барышни съ «musique» подъ мыпкой, гимназистки, дачники въ утреннемъ negligee—все это занимается съ бою мѣста, запруживаясь, прохлѣбываетъ ноги и чуть не садится къ вамъ на колѣни.

Въ Васильковѣ на платформѣ толчется съ затерянными видомъ Богъ вѣсть откуда и зачѣмъ попавшая сюда горсточка словаковъ. На лицахъ, напоминающихъ бѣлорусса, смиренное выраженіе нуждающихся и голодныхъ. Волосы, позади длинные, какъ у музы-

кантовъ, надъ лбомъ подстрижены въ скобку, на манеръ дамской чолки. Снимаютъ шапки, низко кланяются и говорятъ нараспѣвъ:

— Пожалуйте, панове. Отъ Карпатскихъ гуръ...

Въ Бояркѣ дачники еще рѣшительнѣе штурмуютъ поѣздъ. Пассажиры ежась по угламъ, стараются сдѣлаться тоньше, прячутъ подъ себя ноги.

Угадывается близость большого центра жизни. Изъ лѣса, выростающаго шпалерами вдоль полотна, все чаще показываются дачи. Могучіе развѣсистые дубы, грабы и сосны смѣняются садами.

Впереди, заслоняя горизонтъ, выдвигается величественный силуэтъ Кіева. Онъ выступаетъ изъ розоватаго тумана точно изъ облаковъ, еще въ смутныхъ очертаніяхъ. Высокія кудрявыя горы вырисовываются волнистыми линиями тучъ, града домовъ, то сѣрыхъ, то кирпичнаго цвѣта, кажется глыбами гранита. Туманъ разлетается—и городъ сразу сверкаетъ радугой красокъ и куполовъ. Надъ дорогой вырастаютъ и убагиваютъ новые и строящіеся дома, выше, изъ-за фабричныхъ трубъ, гигантскихъ громадъ и зеленыхъ тополей, выдвигается красный корпусъ университета и семибашенный храмъ св. Владимира съ ярко-голубыми куполами, усаженными золотыми звѣздами, потомъ еще нѣсколько золотыхъ макушекъ, которыя, сверкнувъ крестами, исчезаютъ.

На вокзалѣ хаосъ большого города и говоръ на нѣсколькихъ нарѣчіяхъ. Публика совсѣмъ особенная, специально кievская. Швейцары, ландо, столичный лоскъ, аристократическій букетъ, изысканность манеръ и костюмовъ, а рядомъ захолустный санфасонъ, вышитая малороссійская сорочка, памятая шляпа и провинціальная непринужденность. Въ третьемъ классѣ среди сюртучной публики—деревенскія бабы въ синихъ халатахъ безрукавкахъ, чоботахъ, красныхъ «намиткахъ» или громадныхъ платкахъ съ ушками, намотанныхъ точно чалма. Мужчины въ свиткахъ, вышитыхъ краснымъ кантомъ, при чупринахъ и трубахъ, которыя флегматично сосутъ, обязательно поплеывая. Преобладаетъ малорусскій акцентъ; женщины, со свойственной малорусскому слабому полу кокетливостью, говорятъ нараспѣвъ. Слышатся разныя «чого, слушайте, эгэ, чуйте, що и даже трася».

А тутъ же, у подъѣзда вокзала, плавно бѣгутъ вагоны электрическаго трамвая, перваго въ Россіи. Хохолъ смотритъ недоумѣло на эту «печисту силу», почесываетъ «потылицу» и тыфукать.

Извозчикъ, который везетъ меня, сердито поглядываетъ на «электричку». Теперь все-таки пообъявили. А на первыхъ порахъ устраивали разныя враждебныя демонстраціи и неистово плевались. Спрашиваю, не отбиваетъ ли заработокъ—и задѣваю за самую болѣную струну.

— Порядочные господа не ѣздятъ на ней,—говорить.

— Почему?

— Для здоровья вредно. Доктора сказываютъ—самую невру свербитъ, потому въ ней сила такая. О, какъ гудитъ. Даже больнымъ запрещаютъ. Вѣрно!

Минуемъ памятникъ графу Бобринскому и поворачиваемъ на Библиковскій бульваръ съ его величественной аллеей тополей, спускающейся къ Крещатику.

Останавливаюсь въ гостиницѣ Гладынюка, на Фундуклевской. Хорошій номеръ во второмъ этажѣ, паркетный полъ, безукоризненная чистота. Цѣна съ постельнымъ бѣльемъ—два рубля. Клопы не пользуются попустительствомъ прислуги.

Осматриваю городъ. Я знаю Кіевъ лѣтъ двадцать. И за это время онъ разросся и похорошѣлъ со сказочной быстротой. Тогда у него только начиналась та горячка культуры и благоустройства, которая привела къ такому расцвѣту. Тогда вездѣ рядомъ съ большими домами робко жались подслѣповатые одноэтажные старички, и только Крещатикъ былъ сплошной массой многоэтажныхъ каменныхъ громадъ. Теперь, куда ни оглянешься—шпалеры дворцовъ; пустыри застроены, старые дома вытѣснены щеголеватыми гигантами новаго поколѣнія, появились цѣлыя улицы, которыхъ двадцать лѣтъ тому назадъ даже въ поминѣ не было.

Площадь, на которой раскинулся Кіевъ, занимаетъ около 45 квадратныхъ верстъ. Сколько въ Кіевѣ жителей—никто не знаетъ. По однодневной переписи 1874 года, ихъ было 127 тысячъ и даже съ четвертью. Теперь, какъ предполагаютъ, население достигаетъ двухсотъ тысячъ. Но, принимая во вниманіе, съ одной стороны, малорусскую скромность, а съ другой—малорусскую плодовитость, можно смѣло сказать, что теперь въ Кіевѣ добрыхъ 250 тысячъ. На видъ, по крайней мѣрѣ, онъ нисколько не меньше Одессы.

Между Кіевомъ и Одессой вѣчный споръ и сосѣдская зависть. Кіевляне готовы поставить въ счетъ каждый сучекъ Одессы, одеситы—Кіеву. Это отноше не мѣшаетъ одесскимъ муниципаламъ при посѣщеніи Кіева восхвалять кіевское благоустройство, а кіевскимъ муниципаламъ, при посѣщеніи Одессы,—одесское. Такого ужъ свойства современному политику и банкетнымъ рѣчей. Было время, когда Кіевъ поотсталъ отъ Одессы. Но теперь онъ обогналъ ее, несмотря на то, что доходъ его безъ малаго вторе меньше дохода Одессы (до 1.300.000 руб.). Обогналъ кое въ чемъ и Москву. Напримѣръ—электрической конкой и канализацией. Вышло это какъ-то сразу и совсѣмъ неожиданно, какъ бываетъ у сосредоточенныхъ малорусскихъ натуръ, которыя долго собираются, разжевываютъ, а потомъ трахъ—и вдругъ выкинуть «штуку», да еще не простую, а такую, какой и у другихъ нѣтъ. Много, впрочемъ, помогло Кіеву девятисотлѣтне крещеніе Россіи. Онъ сразу привирадился щеголемъ.

Я думаю, Одессу и Кіевъ сравнивать нельзя. Это двѣ несравнимыхъ величины. У Одессы есть море, у Кіева—Днѣпръ. Одесса выстроилась на гладкой равнинѣ, но хороша своей величественной, хотя и монотонной, перспективой; Кіевъ живописно раскинулся на горахъ, чаруя своими чудными видами, но перспектива кіевскихъ улицъ болѣе замкнута. Тысячелѣтній Кіевъ—это grand-papa всѣхъ русскихъ городовъ, но рара еще совсѣмъ свѣженый, зеленѣйшій, съ румянцемъ во всю щеку и юношескимъ сердцемъ. Одесса—мо-

лодая барынька, большая модница, кокетничающая постоянно съ европейцемъ, нервничающая и уже пожившая, несмотря на молодость. Одно, что есть у нихъ общаго, это жизнерадостность. Но и здѣсь преимущество на сторонѣ Кіева. Въ жизнерадостности Одессы слишкомъ ужъ много разнѣживающаго и знойнаго юга, у Кіева она какъ-то спокойнѣе, душевнѣе, яснѣе и здоровѣе. Это жизнерадостность Москвы, по освѣщенная болѣе сердечной улыбкой. Кіевъ—еще югъ, но уже югъ умѣренный, ровный, безъ изнемогающихъ страстей, хотя все-таки лучезарный.

При взглядѣ на Кіевъ вы чувствуете, какъ и при взглядѣ на Москву, что этотъ гигантъ созданъ могучей и здоровой расой. Во всемъ сказывается какая-то жизненная сила, любовь къ жизни и вѣра въ жизнь молодой природы. Нѣтъ строгихъ тоновъ, мрачныхъ красокъ, все ярко, но ярко въ мѣру, безъ рѣзкости. Здѣсь кипучій темпераментъ великоросса какъ будто нейтрализованъ болѣе мягкимъ темпераментомъ малоросса. И это придаетъ наружности города какую-то особенно симпатичную черточку. Угадывается душа человѣка, не укладывающаяся въ общій жизненный шаблонъ, а питающаяся разнообразіемъ его разными завитушками и арабесками. Несомнѣнно, красота кіевскихъ видовъ изъ поколѣній въ поколѣніе вырабатывала художественный вкусъ кіевлянъ. Это, въ связи съ поэтической жилкой малорусской натуры, и придало такое изящество оригинальной красотѣ Кіева. Кажется, у насъ нѣтъ другого города, въ которомъ (относительно) было бы такъ много красивыхъ зданій. Въ этомъ Кіевъ оставляетъ за собою Одессу. Тамъ громады, вытянутыя въ лицію, большей частью построены по шаблону и отдаютъ какой-то практичностью. Здѣсь, напротивъ, почти нѣтъ зданія, изъ новыхъ, конечно, которое не было бы изящной архитектурной вещицей, а иногда и шедевромъ. Проидитесь по величественному Крещатику, не уступающему по красотѣ Невскому, но болѣе оригинальному, благодаря разнообразію стилей его дворцовъ и извилистости, постоянно открывающей новыя перспективы; присмотритесь повнимательнѣе къ архитектурѣ этихъ многоэтажныхъ гигантовъ то въ стилѣ ренессансъ, то готическомъ, то рококо, то современномъ «меланжѣ», «fantaisie» или русскомъ; загляните на Прорѣзную и полюбуйтесь великолѣпнымъ мавританскимъ стилемъ какого-то дворца и роскошью лѣпной работы, прогуляйтесь по Большой Владимирской мимо фасадовъ нѣсколькихъ домовъ съ оригинальной и величественной мавританской аркой въ центрѣ,—вездѣ, въ каждой колонкѣ, въ каждой завитушкѣ вы замѣтите если не вкусъ, то во всякомъ случаѣ стремленіе къ изящному, чуждое шаблона, и желаніе не только построиться, но и создать красивую вещь, которая дополняла бы общую архитектурную гармонію. Свообразная особенность Кіева—это палисадники вдоль тротуаровъ второстепенныхъ улицъ. Они замѣнили здѣсь садочки съ вишнями и черешнями, которые составляютъ обязательную принадлежность малорусскаго дома. Въ доброе старое время кіевскіе Афанасіи Ивановичи, Шпоныки, Довгончуны и Черепенко, вѣроятно, частенько сиживали въ этихъ

палисадинокъ въ своихъ халатахъ, безпечно посасывая трубку и поглядывая на уличную жизнь.

Въ Киевѣ масса зелени, красиво декорирующей городъ и придающей ему уютный видъ. Кромѣ палисадинокъ, Бибиковского бульвара и частныхъ садовъ, по городу разостланы зелеными коврами Царскій и роскошный ботаническій садъ съ его чудной аллеей каштановъ, университетскій и дворцовый парки, кадетская роша, еще нѣсколько бульваровъ и скверовъ. Высокіе берега Днѣпра задранированы вдоль всего города зеленой бахромой садовъ и кудрявыми волнами рошъ, надъ которыми величественно выступаютъ стройные силуэты тополей.

Выхожу на Крещатикъ. Широкой, могучій потокъ жизни немолочно стремится по этой извилистой артеріи Киева. Послѣ второстепенныхъ киевскихъ улицъ очутиться на Крещатикѣ—все равно, что изъ губернскаго города попасть прямо въ центръ Петербурга. Здѣсь совсѣмъ столица. Грандіозные великолѣпные дворцы до половины обліплены пестрыми блестящими вывѣсками, изъ подъ которыхъ сверкаютъ громадные зеркала витрины роскошныхъ магазиновъ. Посрединѣ широкой улицы бѣжитъ паровой трамвай, который будетъ замѣненъ электрическимъ, а по бокамъ—два встречныхъ потока экипажей. Надъ высокими столбами электрическихъ фонарей виситъ, вырисовываясь темной кисей на фонѣ синяго неба, проволоочная сѣть телефона, телеграфа и электропровода трамвая.

Несмотря на конецъ сентября, солнце грѣетъ и заливаетъ эту чудную, просторную, полную жизни и воздуха улицу цѣлымъ моремъ свѣта. Теплая атмосфера насыщена особеннымъ магазиннымъ запахомъ большого города, съ примѣсью сладкаго аромата фруктовъ, которыми здѣсь переполнены киоски и лавки. Маркизы еще приспущены надъ витринами и окнами верхнихъ этажей. То и дѣло мелькаютъ бѣлые фуражки.

Густая толпа плыветъ по широкимъ тротуарамъ. Насколько наряднѣе, щеголеватѣе и выложенѣе по столичному Крещатику, настолько смѣшана и пестра эта толпа. Здѣсь рядомъ съ фешенебельнѣе, точно соскочившимъ съ модной картинки, шагаетъ съ невозмутимой флегмой и *sans-gêne* какой-нибудь захолустный степнякъ помѣщикъ, весь въ пыли и неглаженной сорочкѣ; рядомъ съ элегантной дамой—скромно одѣтая дѣвушка; за ней горсточка богомольцевъ, пришедшая сюда поглазѣть на кievскія диковинки, опять цѣлый семейный звѣринецъ провинціаловъ, дальше снова нѣсколько типовъ расфранченныхъ горожанъ и рядомъ—блуды, малороссійскія сорочки, шляпы—на затылокъ, безпечная и размашистая походка студентовъ добраго стараго времени...

Мнѣ нѣсколько разъ приходилось прѣзжать въ Киевѣ съ сѣвера, изъ Бѣлоруссіи. И тогда эта толпа особенно поражала меня. Накачунѣ я бродилъ въ низкорослой, угрюмой, худосочной и болѣзненной на видъ толпѣ бѣлорусскихъ горожанъ. Теперь предо мной плыла толпа людей изъ какого-то совсѣмъ иного міра, людей

высокихъ, свѣжихъ, здоровыхъ, съ загорѣлыми лицами, оживленными жемами, звучными голосами, открытыми выразительными взглядами и задумчивымъ смѣхомъ. Тамъ, подъ вѣчно сѣрымъ, пасмурнымъ небомъ, человекъ приобрѣлъ какой-то подавленный, безжизненный видъ; это свинцовое небо, угнетая его душу изъ вѣка въ вѣкъ, убило въ немъ жизнелюбность; здѣсь онъ росъ подъ яркимъ синимъ куполомъ, впитывая въ себя вмѣстѣ съ солнечными лучами и жизненные силы; онъ дышалъ всей грудью, дышалъ здорово, властью, и, чувствуя себя здоровымъ, привыкъ иначе смотреть на міръ. Глядя на эту толпу, вы прежде всего чувствуете, что въ ней преобладаетъ здоровый человекъ, что это не искалѣченная и вырождающаяся толпа столицъ и другихъ большихъ центровъ жизни, а еще свѣжая, вѣчно обновляющаяся притокомъ дѣйственныхъ силъ народа. Присмотритесь къ горожанамъ, дворникамъ, кондукторамъ на конкѣ; все народъ крупный, широкоплечій, съ румянцемъ и загаромъ, бодрымъ видомъ, живыми, блестящими глазами. Присмотритесь къ женщинамъ—и вы замѣтите преобладаніе того же здороваго типа. Въ Киевѣ очень много красивыхъ людей. Превъзойти малороссы, буйный сѣченикъ, который бралъ въ жены и татарку, и польку, и турчанку, и русскую, изъ поколѣній въ поколѣнія сливалъ въ себѣ и ассимилировалъ всѣ оригинальные особенности каждаго племени; а позже сліяніе его съ великороссомъ точно дополнило и нейтрализовало этотъ типъ. Въ особенности красивы кievлянки. Навстрѣчу то и дѣло попадаются то хорошенькія, то симпатичныя личики, иногда чистаго малорусскаго типа, нѣсколько широкія или округленныя, съ тонкими чертами, красиво обведенными бровями и глубокими глазами, иногда—уже утратившія свою малорусскую характерность, со свѣтлыми глазами, то сѣрыми, то голубыми, при смуглой или матовой кожѣ и черныхъ волосахъ жонокъ.

Въ натурѣ кievлянина, несмотря на смѣсь съ великороссомъ, все-таки преобладаетъ малорусскій элементъ. И это налагаетъ совсѣмъ своеобразный отпечатокъ на общественный темпераментъ. Въ немъ какъ-то больше простоты и мягкости, съ оттѣнкомъ какой-то поэтической и симпатичной жилки, чего-то задумчиваго. Малороссы, при глубокомъ умѣ, во всемъ непосредственны. Въ этомъ особенно ярко сказывается историческая канва, по которой вышивался складъ малороссійской натуры. Нѣтъ-нѣтъ—да и прогнать въ немъ совсѣмъ запорожскіе размахы, съ его страстностью и ширью. Поэтому, можетъ-быть, ни въ одномъ русскомъ городѣ нѣтъ такой отзывчивой, чуткой и искренней публики, какъ въ Киевѣ. Я помню эту публику въ семидесятыхъ годахъ, когда дирекція театра вынуждена была вывѣшивать объявленія съ просьбой вызывать оперныхъ артистовъ *не больше трехъ разъ*, *) когда энтузіазмъ и овации дѣйствительно принимали какіе-то невозможные размѣры, и молодежь доходила до высшаго напряженія экстаза. О спектакляхъ

*) Кажется, такое распоряженіе существуетъ и теперь.

малорусской труппы ужь и говорить нечего. Здѣсь хохлы прямо минуты спокойно высидѣть не могутъ. Непринужденность, искренность, взрывы заразительнаго смѣха и бури аплодисментовъ; зрительный залъ такъ и стонетъ отъ нѣги веселья и совсѣмъ дѣтскаго восторга. И надо думать, что если въ Киевѣ и запрещаютъ играть постоянной труппѣ малороссовъ, то это отнюдь не вызывается опасеньемъ какихъ-нибудь сепаратистскихъ тенденцій, которыя могли бы скрываться въ малорусской драмѣ, а главнымъ образомъ желаніемъ избѣжать этого экстаза и напряженій, не обходящихся безъ инцидентовъ прискорбнаго свойства. Какъ-то лѣтомъ мнѣ пришлось попасть въ Шато-де-Флеръ. Дебютировала посредственный рассказчикъ малорусскихъ анекдотовъ. И, несмотря на это, публика просто бѣсновалась. Вызовамъ не было конца; болѣе десяти разъ бисировали. Таковъ уже хохоль: если смѣяться—такъ смѣяться; если ему приятно, такъ онъ хочетъ, чтобы его подольше щеко-тали.

Кіевъ—городъ не только русскій, но и народный, такой же народный, какъ и Москва. Въ этомъ отношеніи между Одессой и Кіевомъ такая же неизмѣримая пропасть, какъ между Петербургомъ и Москвой. Будто нарочно, для симметріи, на югъ Россіи, какъ и на сѣверѣ, создалось это соперничество между двумя городами. Народъ знаетъ Петербургъ, знаетъ и Одессу; и тотъ, и другой городъ очень популярны у него, и въ тотъ, и въ другой онъ стремится. Но народъ любитъ Москву, любитъ Кіевъ; какъ прошлое нации, оба они органически приросли къ народной душѣ. Вся исторія, вся героическая эпоха въ жизни русскаго народа, его былинны, легенды, богатыри, его подвиги, вѣра, національное самосознаніе—все это тѣсно связано съ Кіевомъ и Москвой. Народъ идетъ и въ Одессу, и въ Петербургъ потому, что его соблазняетъ жизнь большого города или столицы и заработки; въ Москву и Кіевъ онъ идетъ не только поэтому, но и потому, что любить ихъ. Они манятъ его, какъ мѣсто, куда стремились грѣзы дѣтства и юности, какъ колыбель русской души. Святыни Кіева такъ же дороги русскому сердцу, какъ и святыни Москвы, какъ Иерусалимъ для всѣхъ христіанъ, какъ Мекка для турка, какъ Римъ для католика. Русскій народъ идетъ въ Москву и Кіевъ, чтобы сдѣлать угодное Богу, идетъ изъ-за тысячъ верстъ выполнить священный обѣтъ, идетъ безъ гроша за душой, часто впроголодь; для того, чтобы увидѣть Москву или Кіевъ и поклониться ихъ святынямъ, онъ совершаетъ цѣлый подвигъ. Полтораста тысячъ богомольцевъ, стекающихся сюда ежегодно, какъ бы еще больше подчеркиваютъ значеніе Кіева, какъ народного города.

И здѣсь, какъ и въ Москвѣ, нельзя отдѣлаться отъ какой-то атмосферы прошлаго, отъ ея обаяній. Каждый уголокъ будитъ въ душѣ историческія воспоминанія; въ воздухѣ будто носится прахъ тысячелѣтій.

По Крещатику прохожу къ Днѣпру. Впередѣ, изъ зеленой котловины, выступаетъ бѣлая колонна памятника крещенія; слѣва отъ

нея на горѣ возвышается памятникъ св. Владиміру. Фигура просвѣтителя Руси полна величаваго покоя и классической простоты. Это одинъ изъ самыхъ величественныхъ и прекрасно выполненныхъ монументовъ. Ничего вычурнаго, никакихъ идейныхъ аллегорій. Реально, красиво и просто, какъ проста и чиста христіанская идея. По вѣстѣ съ тѣмъ и отъ этой массивной бронзовой двухсаженной фигуры съ гигантскимъ крестомъ, и отъ всего монумента, высота котораго отъ pedestal до оконечности—девять сажень, вѣетъ чѣмъ-то могучимъ, богатырскимъ, какъ та страна, которая увѣковѣчила въ бронзѣ образъ своего просвѣтителя. Памятникъ исполненъ барономъ Клодтомъ, талантиливымъ творцомъ горельефовъ храма Спасителя, четырехъ группъ на Анничковомъ мосту и конной статуи императора Николая I.

Лучшаго мѣстоположенія для памятника нельзя было избрать. Онъ такъ же дополняетъ это мѣсто, какъ мѣсто—его. Теперь даже трудно было бы представить себѣ одно безъ другого, какъ памятникъ Петра Великаго безъ Невы, а набережную безъ этого чуднаго монумента. И тамъ, какъ и здѣсь, окружающій видъ какъ бы одухотворяетъ фигуру.

Съ площадки, что разстилается предъ памятникомъ, открывается чарующій видъ съ необозримымъ горизонтомъ.

За мной на холмахъ громоздятся Кіевъ съ его стариной, съ его золотыми воротами, древними девятисотлѣтними церквами, съ Софійскимъ соборомъ, построеннымъ восемь съ половиною вѣковъ тому назадъ и подъ сводами котораго погребены—Ярославъ Мудрый, Владиміръ Мономахъ и другіе кіевскіе князья, съ Михайловскимъ монастыремъ, основаннымъ около 8 вѣковъ тому назадъ. Десятинной церковью съ гробницами св. Владиміра и св. Ольги. Слева выдвигается на горѣ легкая, стройная, какъ юноша, Андреевская церковь, справа, внизу, въ зеленой кушѣ—памятникъ крещенія, надъ нимъ, на высокомъ обрывѣ, изъясняющій павильонъ купеческаго собранія, а дальше, вырастая изъ моря зелени, вздымается къ небу бѣлая въ золотой митрѣ колокольня Кіево-Печерской лавры, существующей болѣе восьмисотъ лѣтъ, и макушки ея шести монастырей. Какая глубокая старина, какая безконечная историческая даль, на фонѣ которой вырисовываются первые сподвижники христіанства въ Россіи—Иларіонъ, Антоній Печерскій, Феодосій...

Внизу, начиная отъ подошвы Андреевской горы, тѣснится у рѣки Подолъ. Вдоль берега выстроились сотни баржъ; у пристаней десятки пароходовъ. По рѣкѣ снуютъ лодки и катера. Могучій Днѣпръ широко и вольно развернулся на безконечной равнинѣ, которая сливается съ далекимъ горизонтомъ, исчезая въ дымкѣ... Видъ очень похожъ на нижегородскій съ кремлевской стѣны. Та же безбрежная степь, та же извивающаяся по ней и уплывающая въ даль рѣка, тотъ же захватывающій и манящій просторъ. Даже Подолъ напоминаетъ Кунавино и ярмарку. Но въ днѣпровской панорамѣ болѣе вѣжливый и ласкающій колоритъ; природа улыбается пріятливѣй, краски кажутся ярче подъ синимъ бездоннымъ небомъ Украины.

Смотришь, смотришь—и не налюбуешься. Эти волшебные виды, этот чарующий простор, это тысячелетнее прошлое наполняют душу каким-то необъятным чувством. В воспоминании одна картина бѣжит на смѣну другой, из глубины вѣков выступают толпа скифов, за ними поляне, радимичи, сѣверяне, Кий, Щекъ и Хоривъ, Аскольдъ и Диръ, мощная фигура Олега, съ его пророческими словами: «се буде мати городомъ русскимъ», дальше Ольга, Игорь, Владиміръ Святой, Ярославъ Мудрый, Владиміръ Мономахъ, поляки, осаждающие городъ, нашествіе Батяи, Гедеминъ, пожары и опять нашествія татаръ, запорожцы, Сагайдачный, Богданъ Хмельницкій, еще цѣлая толпа призраковъ... Кажется, будто сливаешься съ этимъ прошлымъ, будто прахъ тысячелѣтій, носящийся въ сіянии дня, устанавливаетъ какое-то общеніе между душой и тѣмъ міромъ другихъ жизней, которыя пронеслись здѣсь и растворились въ общемъ дѣлѣ могучей страны какимъ-то потокомъ жизненной энергіи, возродившейся въ новыхъ формахъ...

Глава XXXVIII.

Разговоръ о стиляхъ.—Владиміръскій соборъ.—Вышній видъ.—Внутренность храма.—Византійская живопись.—Картини Васнецова, Свѣдомскаго, Катарбинскаго и Нестерова.—А. В. Праховъ.—Памятникъ Богдана Хмельницкаго.—Андреевская церковь.—На пароходѣ.—Выѣздъ изъ Кіева.—Дорожные разговоры.

26-е сентября.

Вчера вечеромъ мнѣ пришлось слышать у моихъ знакомыхъ довольно любопытный споръ о стиляхъ. Рѣчь зашла о Владиміръскомъ соборѣ. Съ тѣхъ поръ, какъ отъѣзда его стала близиться къ концу, въ кievскомъ обществѣ о немъ говорятъ постоянно. И, какъ всегда бываесть въ подобныхъ случаяхъ, мнѣнія раздѣляются на двѣ группы, спорящія—на два лагеря.

— Да вы византіецъ или «рококистъ»? спросила хозяйка дома полусерьезно одного изъ спорившихъ.

И онъ, также путя, хотя и не безъ вызова, отвѣтилъ.

— Рококистъ.

— А вы? обратилась хозяйка къ другому гостю.

— Я въ искусствѣ—опортунистъ,—сказалъ онъ смѣясь,—такъ какъ, по-моему, *tous les genres sont bons hors le genre ennuyeux*. Въ искусствѣ, въ живописи, зодчествѣ, скульптурѣ всѣ роды хороши, гдѣ творчеству дана воля, гдѣ оно самобытно, оригинально, не стѣснено шаблономъ и педантизмомъ школы.

— Это значитъ?..

— Это значитъ, что и византійскій стиль, и готическій, и мавританскій, и рококо могутъ выливаться въ очень красивыхъ художественныхъ формахъ, пока ихъ не вымучиваютъ, втискивая въ рамки, не загромождаютъ деталями и не мѣшаютъ естественному

развитію фантазіи. Иначе—художественная работа сводится или къ рабскому копированью прототипа и старыхъ формъ, и, слѣдовательно, если не вырождается, то по крайней мѣрѣ застываетъ на одной и той же точкѣ, или, стѣсненная границами старыхъ формъ, создаетъ какую-нибудь неестественную, напыщенную пародію или композицію.

Для поясненія этого разговора слѣдуетъ замѣтить, что «византійскій»—сторонники архитектуры Владиміръскаго собора, тогда какъ «рококисты»—Андреевской церкви, этого чуднаго шедевра Растрелли. Византійцы въ своихъ нападкахъ нѣсколько рѣшительнѣе рококистовъ.

— Помилуйте, да развѣ это стиль для храма? говорили они. Развѣ это удовлетворяетъ религіозной идеѣ, которая связана съ представленіемъ о храмѣ? Легкость, воздушность формъ, полетъ къ небу... Вотъ именно въ этомъ-то и бѣда, что легкость! Совсѣмъ какой-нибудь кіоскъ, бесѣдка или тѣ растреллевскіе изящные павильоны, которые раскинуты въ паркосельскомъ паркѣ. Развѣ есть въ этомъ зданіи какая-нибудь архитектурная тема? Присмотритесь—и вы увидите, что мотивъ его—судокъ для уксуса, горчицы и прованскаго масла.

— А вашъ византійскій стиль,—возражали рококисты,—развѣ это не варяжскія формъ какой-нибудь сахарницы или чайницы съ грушеобразной крышечкой?

— Все-таки вы не станете отрывать, господа,—замѣтилъ «опортунистъ»,—что когда назначеніе храма—быть историческимъ памятникомъ эпохи и отраженіемъ извѣстнаго стиля, создаваго или, если хотите, воспитавшаго національный вкусъ и національное искусство, то было бы по крайней мѣрѣ неумѣстно строить его по чуждому и намъ, и нашимъ предкамъ стилю, украшая живописью какой-нибудь фламандской школы.

— Позвольте-съ, да почему вы думаете, что византійскій стиль—нашъ національный стиль, а не навязанъ намъ? Его тема—шатеръ, мы съ ней не имѣли ничего общаго. У насъ есть свой русскій стиль, и, ужъ если хотите, къ намъ ближе китайскій или индійскій стиль.

Теперь, подходя къ Владиміръскому собору, я невольно вспоминаю этотъ разговоръ.

Храмъ, обращенный фасадомъ къ Бибиовскому бульвару, выдержанъ въ византійскомъ стилѣ эпохи расцвѣта. Онъ производитъ очень впечатлительное впечатлѣніе своей массой, своимъ продолговатымъ корпусомъ, увѣнчаннымъ семью башнями. Конечно, это не то впечатлѣніе, какое получается отъ храма Спасителя. Владиміръскій соборъ вдвое ниже; высота его до креста главнаго купола—всего двадцать три сажени, при такой же длинѣ зданія. Это уже само по себѣ указываетъ на нѣкоторую архитектурную непропорціональность, лишающую легкости, стройности и гармоническаго единства цѣлое. Угадывается какой-то архитектурный промахъ. И дѣйствительно, соборъ былъ задуманъ архитекторомъ Штромомъ въ грандіозныхъ размѣрахъ, какимъ и долженъ бы быть памятникъ, увѣко-

вѣчивающій одно изъ величайшихъ событій въ жизни Россіи и посвященный имени ея просвѣтителю; но, за недостаткомъ средствъ, поручили спархiальному архитектору «урѣзать» планъ, а затѣмъ уже постройку была передана новому архитектору, Беретти, который тоже сдѣлалъ кое-какія измѣненія, благодаря чему здание дало трещину. Пятнадцать лѣтъ простоялъ соборъ на пустырь, поросшемъ бурьяномъ, но выдержалъ испытаніе. Трещины оказались не опасными, и въ 1877 г. приступили къ отдѣлкѣ храма, заложенного въ 1862 году.

Много укршаютъ соборъ семь башенъ со сквозными нишами и голубыми куполами. Золотые лучи, расходящіеся полосами изъ-подъ крестовъ, и золотыя звѣзды придаютъ куполамъ особенно нарядный видъ.

Работами по внутреннему устройству и украшенію храма завдѣдуетъ съ 1883 года извѣстный знатокъ церковныхъ древностей, византійскаго письма и живописи, профессоръ кіевскаго университета А. В. Праховъ. Я кстати запасаю визитной карточкой «съ рекомендаціей». Передаю ее сторожу. А. В. въ соборѣ. Онъ лѣзъ безъ меня и, послѣ общаго пріѣзда, уѣзжаетъ. Сторожъ водить меня по храму. Тамъ и сямъ еще стоятъ лѣса.

Говорить подробно о своихъ впечатлѣніяхъ не стану, тѣмъ болѣе, что работы еще не закончены. Но все-таки оно очень сильное.

Общій колоритъ собора нѣсколько темноватый, какъ въ древнихъ храмахъ. И это, вмѣстѣ съ чрезвычайно характерно выдержанной византійской живописью и древней орнаментировкой, сразу обладаетъ васъ атмосферой другой эпохи, другого міра. Только присмотрѣвшись къ картинамъ, къ свѣжести красокъ, замѣтивъ, что грубые, элементарные, сухіе штрихи византійскаго письма послужили здѣсь лишь темой, лишь канвой, по которой введены живыя лица со всей тонкостью и силой современной живописи и техники, вы можете отрѣшиться отъ этого ощущенія.

Сейчасъ же при входѣ бросается въ глаза написанный въ главномъ куполѣ, надъ алтаремъ, огромный образъ Богоматери съ Младенцемъ, окруженный, на манеръ Сикстинской Мадонны, облаками и ангелами. Это работа знатока византійской живописи, профессора Васнецова. О ней очень много говорили и говорятъ, восторгаясь вдохновеніемъ художника, который сумѣлъ сочетать строгій тонъ византійскаго стіля съ современнымъ вкусомъ и создать этотъ прелестный образъ.

Очень хороши глаза Мадонны. Черные, глубокіе, задумчивые, они устремлены на васъ какъ-то проникновенно, глядятъ какъ будто изъ другого міра. Образъ написанъ темными красками и, благодаря золотому фону, выдѣляется чрезвычайно рельефно. Позолота подернута легкой тѣнью, и это придаетъ ей прозрачный видъ. Очень оригинальны и эффектны крылья ангеловъ: то бѣлыя, то свѣтло-кирпичныя, то голубыя съ зеленымъ отливомъ, они красиво, хотя и пестро, выступаютъ на золотомъ полѣ. Вообще позолоты въ

храмѣ очень много, и это, при замысловатой орнаментировкѣ, выдержанной въ строгомъ византійскомъ стилѣ, придаетъ внутренности его восточный колоритъ. Въ этомъ отношеніи трудъ А. В. Прахова, какъ знатока и ученаго изслѣдователя, который по историческимъ источникамъ сумѣлъ восстановить до мелочей въ гармоническомъ цѣломъ характерные византійскіе орнаменты, неопытнымъ.

Прекрасны картины П. А. Свѣдомскаго—Тайная Вечеря, Входъ въ Іерусалимъ, Распятіе, Моленіе въ Геосиманскомъ саду. Нѣкоторыя фигуры идеально хороши. Могуцей кистью и съ потрясающей экспрессіей написано Распятіе; здѣсь художникъ выказалъ всю ширь и мощь своего таланта. Въ картинѣ «Спаситель на судѣ Пилата» удивительно реально фигура Пилата и воиновъ. Картина прекрасно задумана и производитъ особенно сильный эффектъ благодаря тому, что помѣщена надъ мраморнымъ карнизомъ дверей; нарисованная на ней мраморная перила кажутся продолженіемъ мраморнаго карниза, вызывая полную иллюзію, и фигуры выдаются еще рельефнѣе. Такъ же хороша и реально его же картина Воскресеніе Лазаря.

Въ главномъ куполѣ и боковыхъ на потолкѣ написаны очень эффектныя картины художникомъ Катарбинскимъ. Особенно выдѣляется Духъ Божій, носящійся надъ водами, нѣсколько напоминающій по темѣ Бога Саваоа въ храмѣ Спасителя.

Изъ произведеній профессора Васнецова, написанныхъ исключительно на византійскіе мотивы, произведеній, которыми восторгаются любители и знатоки византійской живописи, мнѣ понравился нарисованный на стѣнѣ слѣва отъ алтаря образъ Богоматери. Фигура Ея, вся въ темномъ, выдѣляется какъ-то изящно и идеально легко, точно видѣнье. Необыкновенная чистота формъ и линий лица одухотворяютъ его какимъ-то неземнымъ выраженіемъ.

Очень красиво на темномъ фонѣ храма выступаетъ мраморная перегородка, отдѣляющая алтарь и замѣняющая иконостасъ. Она кажется легкой, какъ ажурная работа; бѣлыя мраморныя колонны съ капителями изъ розоваго мрамора стройно поддерживаютъ ее.

Какъ и въ храмѣ Спасителя, здѣсь на хорахъ, окруженныхъ рѣшеткой, какъ бы связывающей арки и своды, устроены также два алтаря надъ нижними боковыми алтарями. Оба они изъ сѣраго мрамора, прекрасной работы. Особенно хороши и эффектны византійскія мраморныя колонны въ видѣ сплетающихся змѣй.

Стѣны всюду покрыты фресками, характерными византійскими орнаментами и символическими фигурами. Темой отчасти послужила стѣнная живопись Софійскаго собора и Михайловскаго монастыря. Всѣ тонкія мраморныя работы, какъ барельефы, нѣкоторыя колонны и рѣзба капителей, исполнялись въ Каррарѣ.

На хорахъ въ лѣвомъ алтарѣ помѣщается замѣчательная картина художника Нестерова—Воскресеніе Христово. Замѣчательная не только потому, что она исполнена художественно и о ней много говорятъ (хотя тоже и за, и противъ), но и потому, что она въ особенности захватываетъ, и именно здѣсь, какъ рѣзкій контрастъ

съ общимъ тономъ живописи собора. Прежде всего, послѣ темнаго фона она сразу обладаетъ насъ какимъ-то сіяніемъ. Переходъ отъ реальной кисти Свѣдомскаго и рельефныхъ штриховъ византійской живописи Васнецова къ этимъ нѣжнымъ, тающимъ линиямъ уже самъ по себѣ производитъ нѣкоторый эффектъ.

Фонъ картины—блѣдный, зелено-голубой овалъ въ нѣжныхъ, едва уловимыхъ переливахъ отъ голубого къ зеленому, какъ въ радугѣ. Таковы тона утренняго сіянія, зари. И ликъ Спасителя, выступающій изъ этого сіянія, имѣетъ необыкновенно идеальный видъ. Чистота, прозрачность и легкость фигуры, красота формъ и воздушность тканей придаютъ Ему совсѣмъ безплотный видъ. Это—дѣйствительно Богочеловѣкъ, божественная душа Котораго временно вселилась въ оболочку человѣческой жизни. Идеальная чистота лица, въ которомъ все-таки сохраненъ восточный типъ, и какое-то кроткое, но вдохновенное сіяніе глазъ несколько располагаютъ къ молитвѣ.

Въ общемъ Владимірскій соборъ, какъ историческій памятникъ, производитъ очень сильное впечатлѣніе и кажется какимъ-то отраженіемъ византійскаго міра и древней Руси, будто воскрешенныхъ мастерской рукой знатока.

Отсюда, подъ впечатлѣніемъ вчерашнихъ разговоровъ, ѣду по-смотреть на Андреевскую церковь.

Предъ Софійскимъ соборомъ на площади возвышается эффектный монументъ Богдану Хмѣльницкому. По темѣ онъ нѣсколько напоминаетъ памятникъ Петру Великому. Гранитный постаментъ въ видѣ неправильно отесанной глыбы грубоватъ. Но фигура великаго гетмана очень хороша, полна жизни и энергіи. Моментъ и поза, вызывающая и вдохновенная, схвачены прекрасно. Правой рукой, въ которой гетманская булава, Хмѣльницкій указываетъ на сѣверъ, по направленію къ Москвѣ, лѣвой сдерживаетъ коня. Гордый порывъ, типичность могучаго запорожца и какая-то дикая, стихійная сила—воплощены удачно. Но богатѣйшая фигура славнаго гетмана слишкомъ велика сравнительно съ конемъ. Говорятъ, что казакія лошади вообще не большія. Но все-таки онѣ не пони. На одной сторонѣ памятника высѣчены знаменательныя слова—«волимъ подѣ царя восточнаго, православнаго», слова, въ которыхъ увѣковѣчено сіяніе двухъ братьевъ, на другой—«Богдану Хмѣльницкому единая и недѣлимая Россія—1654—1888».

Миную Десятинную церковь. Впереди, на крутомъ холмѣ, надъ Андреевскимъ спускомъ вырастаетъ бѣлый съ серебряной главой профиль Андреевской церкви.

Высота ея—двадцать саженей; фундаментъ подъ ней углубленъ почти на столько же*). Высокая чугунная лѣстница ведетъ на чугунную паперть, надъ которой вырастаетъ корпусъ церкви съ четырьмя симметричными фронтонами; между ними группы колоннъ коринтскаго ордена съ золочеными капителями; надъ колоннами

*) «Путеводитель по Кіеву» г. Бублика.

вздвигаются легкія, стройныя башни тоже съ коринтскими колоннами, но поменьше. Куполь будто увѣнчанъ серебрянымъ колономъ.

Все это, необыкновенно пропорціональное, сливается въ такое гармоническое цѣлое, что зданіе кажется какимъ-то единымъ, какъ существо, организмъ. Нигдѣ, какъ здѣсь, не чувствуется, какое существенное условіе въ архитектурномъ произведеніи составляетъ пропорціональность и гармонія частей. На одинъ вершокъ прибавить или убавить что-нибудь—и эта легкость, стройность и гармонія цѣлаго были бы нарушены.

Внутри церковь не производитъ того впечатлѣнія, что снаружи. Она мала, ярко-красный цвѣтъ иконостаса, несмотря на торжественный видъ, нѣсколько рѣзковато; бѣлыя рѣзныя фигуры и золоченые орнаменты слишкомъ выдѣляются.

Въ церкви нѣсколько богомолковъ-малороссянокъ въ чоботахъ, чалмахъ и свиткахъ. На простѣхъ лицахъ—выраженіе благоговѣнія. Ступаютъ неуклюже, стуча подкованными каблуками, хотя и стараются ходить на пыпочкахъ. Одна изъ нихъ спрашиваетъ монаха, какіе поклоны нужно класть предъ однимъ изъ образовъ.

— Не кладите земныхъ, а только поясные. И богомолки въ точности исполняютъ это указаніе, нагибаясь до пола. А въ дверяхъ показывается новая горсть богомольцевъ.

Съ паперти открывается видъ и на Подоль, начинающійся у самаго подножія горы, и на Днѣпръ, и на памятникъ Владиміра.

По преданію, еще въ первомъ вѣкѣ апостолъ Андрей Первозванный на этой горѣ подружилъ крестъ среди жившихъ тогда здѣсь скифовъ.

Вечеромъ я въ оперѣ. Даютъ «Африканку». Театръ переполненъ. Потомки тѣхъ, кто изъ вѣка въ вѣкъ враждовалъ здѣсь, проливая свою кровь, слились въ мирную толпу, наслаждающуюся музыкой, которая будитъ въ ихъ душахъ новыя чувства, раскрываетъ предъ ними новый міръ.

28-е сентября.

Полдень. Пароходъ Русскаго Общества «Надежда» отходитъ на Гомель. Къ пристани подъѣзжаетъ господинъ въ дорожномъ костюмѣ и фуражкѣ. На его нервномъ загорѣломъ лицѣ и въ большихъ темныхъ глазахъ замѣтно утомленіе. Носильщикъ тащить чемоданы, оклеенные багажными билетами, и сакъ. «Господинъ» подходитъ къ кассѣ, справляется, довольно ли воды въ Днѣпрѣ, и, получивъ утвердительный отвѣтъ, покупаетъ билетъ. Однако его беретъ сомнѣніе, и онъ вторично спрашиваетъ кассира, глядя на него недоувѣрчиво:

— Вы скажите откровенно. Мнѣ надо къ сроку. Въ прошломъ году я попалъ въ мелководье—такъ вмѣсто сутокъ почти три дня ѣхалъ. Одна мука.

Кассиръ еще разъ успокоительнымъ тономъ увѣряетъ, что воды

довольно. «Господинъ» нервной походкой пробирается сквозь густую толпу палубныхъ пассажировъ въ первый классъ. За нимъ несутъ и багажъ. Въ каютѣ оказывается довольно много публики. Этого, очевидно, онъ не ожидалъ; на его лицѣ—и разочарованіе, и досада. Однако, ему все-таки удастся занять уголь и онъ сейчасъ же устраиваетъ въ немъ свое маленькое «у себя» со спорнойкой человѣка, который давно и долго путешествовать и привыкъ приспособляться въ дорогѣ къ разнымъ положеніямъ. Мы такъ и будемъ называть его путешественникомъ. Появленіе «путешественника», видимо, вызываетъ къ нему нѣкоторое вниманіе со стороны другихъ пассажировъ. Во взглядахъ мелькаетъ любопытство людей, заинтересованныхъ новымъ лицомъ. «Путешественникъ», устроившись «у себя», окидываетъ быстрымъ, испытующимъ взглядомъ наблюдателя. Компания, какъ случается иногда на днѣпровскихъ пароходахъ, совсѣмъ культурнаго фасона. Два типичныхъ бѣлорусскихъ поѣзжика, одинъ пожилой и представительный полякъ, должно-быть тоже изъ крупныхъ землевладѣльцевъ, какой-то путешѣ, кажется изъ «водяныхъ», молодой блондинъ съ добродушнымъ румянымъ лицомъ и курносый, еще четыре довольно важныхъ господина, двое изъ которыхъ, плотные брюнеты, лѣтъ за сорокъ, одинъ только при черныхъ усахъ, другой съ баками и пробритымъ подбородкомъ,—не то еврей-коммерсантъ, не то рижскіе нѣмцы. Позже появляется еще нѣсколько пассажировъ и между ними два офицера, саперъ и артиллеристъ. Саперъ, смуглый молодой брюнетъ съ бѣлымъ лбомъ и кирпичными отъ загара выбритыми щеками, должно-быть малороссъ. Артиллеристъ тоже молодой, но блондинъ, съ русыми усами, тонкимъ носомъ съ горбинкой и сѣрыми глазами; по худощавому лицу то и дѣло бѣгаетъ «нервный токъ». Что-то въ немъ напоминаетъ западнаго славянина, не то поляка, не то чеха.

Раздается гудокъ. Пассажиры выходятъ на капитанскую площадку. Здѣсь уже сидятъ нѣсколько дамъ и студентъ, брюнетъ съ типичнымъ лицомъ еврея.

На палубѣ пестрая толпа. Бѣлорусскій, великорусскій и малорусскій говоръ сливается съ еврейскимъ. Есть артель орловцевъ—каменщиковъ, возвращающихся въ Брянскъ, есть славячки лѣса, крестьяне изъ Пинскаго уѣзда, есть приднѣпровскіе малороссы, нѣсколько солдатъ, много бабъ съ дѣтворой. Палуба уже засыпана сѣмечками. Дымъ махорки, запахъ керосина, машиннаго масла, сиделки и кухни смѣшивается съ клубами пара. Гдѣ-то урчитъ гармоника.

Пароходъ зашумѣлъ колесами, отодвигается отъ изящнаго павильона пристани, на которой толпится публика. Панорама живописныхъ кievскихъ береговъ начинается колытаться и разворачиваться. Вдали, подлѣ перекинутого черезъ Днѣпръ пѣнного моста, выступаютъ бойницы и стѣны крѣпости, выше каменная ограда лавры, вздымающей къ синему небу свою огромную златоглавою башню и колокольни монастырей, ближе, надъ каменистыми обры-

вомъ, выдвигается павильонъ купеческаго собранія, внизу выглядываетъ бѣлая колонна памятника Крещенія, надъ ней на горѣ монументъ Владимира, кажущійся совсѣмъ чернымъ на синевѣ неба, у подножія горы, по склону Александровскаго спуска, шпалеры домовъ, мимо которыхъ бѣжитъ вагонъ электрическаго трамвая, дальше—нѣсколько золотыхъ макушекъ колоколенъ и, наконецъ, надъ громадами Подола, на фонѣ зелени и неба, вырастаютъ, сверкая серебромъ, ярко-бѣлая, стройная, легкая Андреевская церковь. Она точно паритъ въ воздухѣ.

Пронеслась набережная съ пестрыми фасадами домовъ, пристанями, пароходами и баржами, волнистые зеленые берега Кіева отодвинулись, а Андреевская церковь еще будто выросла, еще больше врѣзалась своей колокольней въ синий куполъ. Она стала легче, воздушнѣй, она уже кажется какимъ-то бѣлымъ призракомъ царственного юноши, съ вѣрой глядящаго на небо.

Волшебная панорама Кіева уливается, таетъ и исчезаетъ легкими сизыми облаками въ дымкѣ. На правомъ берегу въ зеленой раковинѣ, изъ-за горъ, покрытыхъ темнымъ лѣсомъ, выступаютъ бѣлые корпуса и колокольни Межигорскаго монастыря. Это одинъ изъ самыхъ живописныхъ уголковъ Днѣпра. Дальше волнистая береговая линия все понижается, гладкая безбрежная степь точно море располагается во всѣ стороны до самаго горизонта. Ничего, кромѣ неба, степи да широкой рѣки, обрамленной кустарникомъ. Навстрѣчу по зеркалу Днѣпра беззвучно скользятъ плоты, да изрѣдка, волнуя воду, бѣжитъ пароходъ. Солнце сіяетъ, но уже не такъ ярко, и въ воздухѣ носится дыханіе холодной осени сѣвера.

За обѣдомъ между пассажирами завязывается оживленный разговоръ.

— А вы, должно-быть, издалека? спрашивать кто-то «путешественника».

— Почему вы такъ думаете? И онъ, улынувшись, смотритъ на пассажира.

— Да вотъ сужу по багажнымъ билетикамъ на вашихъ чемоданахъ. Путешествовали?

— Вы угадали.

— И далеко изволили ѣздить?

— А вотъ—началь я съ Бѣлорусси, потомъ на Москву проѣхалъ, въ Нижній, оттуда по Волгѣ и Каспійскому морю на Кавказъ, затѣмъ въ Крымъ, Одессу, Бессарабію и, наконецъ, Кіевъ, а теперь вотъ ѣду по Днѣпру въ Минскъ.

— Ого, интересная поѣздка. И долго изволили вояжировать?

— Да вотъ два мѣсяца.

— Быстро. Въдь это, пожалуй, около восьми тысячъ верстъ составить? Цѣлое путешествіе.

— Мнѣ самому казалось такъ, когда я набрасывалъ маршрутъ. А теперь вижу, что это не больше, какъ круговое *partie de plaisir*, клоунокъ Россіи. Два мѣсяца скитаюсь—и все-таки почти на мѣстѣ... Посмотрите-ка (онъ указываетъ на карту), какое это пространство...

Привислянский край, Прибалтийский, Финляндия, весь север, весь центр, весь восток за Волгой, а дальше безконечный океан Сибири. Жизни не хватило бы, чтобы изъездить все это.

— Да, дистанция огромного размера. Что же, вы так себя издили или с какой-нибудь целью?

— Как бы вам сказать? Хотѣлось посмотреть на Россію и составить себѣ хоть приблизительное понятіе о родинѣ.

— И что-же? Интересно?

— Очень.

— Какое же впечатлѣніе въ общемъ вы вынесли?

— Самое хорошее.

— Вотъ какъ? Я, признаться, по Россіи мало путешествовалъ, — говорить одинъ изъ пассажировъ не безъ иронической улыбки, — хотя и изъѣздилъ весь западъ Европы. Путешествія у насъ обставлены такъ неудобно. И потому, собственно говоря, ничего интереснаго. Что я увижу? Стенъ, народъ, неблагоустроенные города, нашу некультурность. За границей — я понимаю. Приѣхалъ въ Парижъ, Римъ, Берлинъ, тамъ есть на что посмотреть, каждый городъ — цѣлый музей достопримѣчательностей. А у насъ что? Изволь отмахать какихъ-нибудь пятьсотъ верстъ, чтобы потомъ тебѣ показали старинную церковь или башню Сумбеки, или что-нибудь въ такомъ родѣ. Эка невидаль! И, главное, поѣздка-то у насъ обойдется вдвое дорожее. Вѣдь вотъ хоть вы. За эти же деньги могли бы по крайней мѣрѣ въ Парижъ съѣздить. Сколько вамъ обошлась ваша поѣздка, простите за нескромный вопросъ?

«Путешественникъ», видимо, начинаетъ волноваться и нервничать. Нѣсколько разъ онъ порывается перебить своего собесѣдника, но сдерживаетъ себя. Во взглядѣ его всплываетъ огонекъ.

— Вопросъ вовсе не нескромный, а очень естественный и понятный, разъ вы русский, — говоритъ онъ торопливо. — Обошлось мнѣ это удовольствіе около тысячи рублей, но благодаря, во-первыхъ, моей личной безалаберности и тому, что я денегъ не щадилъ, а во-вторыхъ — нашему неумѣнью путешествовать. Англичанинъ или французъ проѣздитъ бы четыреста рублей. А если бы у насъ были компании для круговыхъ поѣздокъ, какъ за границей, то такой маршрутъ обошелся бы не болѣе двухсотъ рублей.

— Вы говорите, что вынесли хорошее впечатлѣніе. Что же собственно настроило васъ на этотъ ладъ?

— Прежде всего, — отвѣчаетъ «путешественникъ», — я увидалъ гигантскую работу гигантскаго русскаго организма, самосознаніе котораго растетъ и который все болѣе и болѣе спланивается или, если хотите, ассимилируется въ единое тѣло. Пока я ѣздилъ, я все время чувствовалъ себя въ нефройтной національной кашѣ, которую будто вымѣшивала какая-то испанская ложка судьбы для того, чтобы люди въ этомъ общеніи скорѣй слились въ братскую семью. Во-вторыхъ, глядя на эту картину, я чувствовалъ себя безконечно счастливымъ, что я русский, что я кѣточка этого гигантскаго, мирового организма, что я не какой-нибудь волюн-

швейцарскій гражданинъ, для котораго за предѣлами его государства-уѣзда связь съ людьми слабѣетъ и замыкается мѣръ его гражданской дѣятельности. Я былъ счастливъ отъ сознанія, что вездѣ, не только на пространствѣ этихъ восьми тысячъ верстъ, но десятковъ тысячъ верстъ, я у себя, среди своихъ, что мнѣ не надо, проѣхавъ какихъ-нибудь сто верстъ, возиться съ разными таможенными, чувствовать себя чужестранцемъ, говорить на другомъ языкѣ, примѣняться къ складу чужой жизни, ломая свою, и все-таки быть чужимъ. Мнѣ было приятно, что и та идейная работа, которую я вношу въ общій трудъ страны, какъ бы мала она ни была, не ограничивается узкимъ райономъ, за предѣломъ котораго она — ничто, а сливается съ этой грандіозной работой, и что моя личность связана съ интересами человечества на такомъ безграничномъ пространствѣ, что, наконецъ, жизнь на русской окраинѣ, отстоящей на какой-нибудь десятокъ тысячъ верстъ, тоже моя жизнь и такъ же близка мнѣ, какъ и та, что вокругъ меня.

— Все это прекрасно, — замѣчаетъ скептически одинъ изъ бѣлорусскихъ помѣщиковъ, господинъ довольно желчнаго темперамента и, надо думать, судя по корректности и суховатому тону, изъ отставныхъ чиновниковъ, осѣвшихъ въ Северо-Западномъ краѣ. — Но вотъ вы сказали объ этой ассимиляціи. Что-жъ, и евреи, на-примѣръ, и поляки, по-вашему, сливаются, проявляютъ тяготѣніе къ слянію.

Случайно или умышленно, но кто-то изъ пассажировъ прерываетъ этотъ разговоръ.

— Мы, кажется, приближаемся къ устью Припяти?

Большинство, въ томъ числѣ «путешественникъ» и бѣлорусскій помѣщикъ, выходятъ на капитанскую площадку. На западѣ разливается цѣлое озеро, окрашенное пурпуромъ заката. На северѣ, плывя въ бахромѣ береговъ, Днѣпръ отражаетъ этотъ пурпур алхими переливами. Безбрежная степь, надъ которой вздымаются розовая пелена тумана, все глубже погружается въ надвигающіяся сумерки осенняго вечера.

ГЛАВА XXXIX.

Барейскій вопросъ. — Что дѣлать? — Лѣвая рука? — Человѣчество. — Грядущее возрожденіе еврейства. — Рассказъ студента. — Польскій вопросъ. — «Буферныя» мечты. — Любечъ. — Гомель. — Мнѣ еще — и нѣтъ волшебной сказки!.

Однако, по возвращеніи всей компании въ каюту, прерванный разговоръ возобновляется. Толчекъ ему даетъ опять-таки желчный бѣлорусскій помѣщикъ, повторивъ свой вопросъ довольно настойчиво и какъ будто и не безъ ехидства. Очевидно — въ душѣ его набралось много накипи и противъ евреевъ, и противъ поляковъ. Можно даже подумать, что онъ нарочно наводитъ разговоръ на эту несприятную для нѣкоторыхъ спутниковъ тему: разсчитывая, пожалуй, на наивность и экспансивность «путешественника». По-

слѣдній не безъ колебанія оглядываетъ присутствующихъ. Кое-кто изъ пассажировъ пьетъ чай. Польскій помѣщикъ какъ-то быстро начинаетъ мѣшать ложечкой въ стаканѣ, артиллеристъ нервно перелистываетъ русскій романъ, подсѣдая ближе къ свѣчѣ, два господина, оказавшіеся крупными гомельскими коммерсантами евреями, а не рижскими нѣмцами, какъ думалъ было сначала «путешественникъ», заказали общую порцію чая и пьютъ на компанейскихъ началахъ.

— Какъ бы намъ сказать,—начинаетъ перѣшительно «путешественникъ», чуть улыбувшись, больше для того, чтобъ отвѣтить на улыбку сапера, переглянушагося съ нимъ. — Вы слишкомъ ребромъ ставите вашу вопросъ. Но разъ ужъ объ этомъ зашла рѣчь—что-жъ... Я думаю—присутствующие на меня не посѣтуютъ, тѣмъ болѣе, что намъ вообще приходится такъ рѣдко говорить, а такіе вопросы всегда слѣдуетъ выдвигать. Знаете ли, ѣхалъ я по востоку—и все время никакихъ этихъ польскихъ и еврейскихъ вопросовъ не было. Только очутился на западѣ—опять они выплыли. И теперь, возвращаясь въ Сѣверо-Западный край, я испытываю гнетущее чувство отъ сознанія, что снова приходится стать лицомъ къ лицу съ ними. Противно просто. И даже не только противно, а какъ-то дико все это. Взять бы хоть еврейскій вопросъ. Нсдомуѣваше, какъ этотъ народъ, несомнѣнно умный и способный, не додумался до сихъ поръ до какого-нибудь рѣшенія его, до какого-нибудь выхода. Чего онъ ждетъ, на что надѣется? Вѣдь нельзя же въ самомъ дѣлѣ допустить, чтобы столѣтнимилліонный государственный организмъ передѣлалъ себя на его ладъ. Остается одно,—и это неизбежно,—слиться ручью съ моремъ, ассимилироваться. Россія не настаиваетъ, чтобъ евреи перестали молиться своему Богу. Если-бъ она этого желала, въ Россіи давно бы не было ни одного еврея. Но она требуетъ, чтобъ евреи стали русскими, чтобъ они слились съ русскимъ организмомъ, чтобъ эти пять милліоновъ не были разрывющимъ и тормозящимъ объединеніе страны элементомъ, чтобъ они были такими же гражданами, такими же полезными членами общества, какъ и остальные.

— Извините, пожалуйста, что я вмешивался въ разговоръ,—замѣчаетъ одинъ изъ гомельскихъ коммерсантовъ, владѣлецъ большого аптекарскаго склада и, какъ оказывается, человѣкъ съ высокимъ образованіемъ. Говоритъ онъ сдержанно, солидно, густымъ баритономъ и почти безъ акцента. На его лицѣ съ бритымъ подбородкомъ и черными баками пробѣгаетъ тѣнь не то раздраженія, не то досады. — Разъ вы загонорили объ евреяхъ, а я самъ еврей,—я думаю, что мнѣ можно высказать нѣсколько словъ. Для того, чтобъ евреи слились съ русскими, надо дать имъ возможность, дать имъ права, которая имѣютъ всѣ русскіе граждане; позвольте имъ пользоваться тою землею, на которой они стоятъ, воздухомъ, которымъ дышатъ другіе.

— Имъ были даны эти права,—отвѣчаетъ «путешественникъ»,—и они ихъ поправи, вызвавъ вновь стѣснительныя мѣры. Имъ было

дано право стать помѣщиками—они сейчасъ же закупили половину губерніи и, не занимаясь хозяйствомъ сдали свои имѣнія въ аренду. Вы скажете, что и русскіе помѣщики часто не обрабатываютъ своей земли? Да, это такъ. Но государство все-таки знаетъ, что на землѣ сидитъ свой человѣкъ, который не индифферентъ въ національномъ отношеніи и постоитъ за свою страну. Имъ устроили земледѣльческія колоніи—и что они сдѣлали? Вотъ я сейчасъ ѣду изъ Бессарабіи. Тамъ десятки этихъ колоній. А хотите знать, чѣмъ тамъ занимаются колонисты? Ни одной пади земли эти колонисты не обрабатываютъ своими руками. Они завели сейчасъ же лавочки и занимаются торговлей. Эта легкая профессія, передаваясь изъ поколѣній въ поколѣнія, стала органической потребностью націи. Ея другія способности вырождались въ ущербъ коммерческой. Она отвыкла отъ земли...

— Вотъ-вотъ,—перебиваетъ коммерсантъ,—я готовъ и самъ не отрицать этого. Но я замѣчаю въ вашихъ словахъ нѣкоторое противорѣчіе. Сейчасъ вы сказали, что нація отвыкла отъ земли, а раньше замѣтили, что колонисты и помѣщики-евреи все-таки, имѣя даже возможность, не обрабатываютъ сами земли. Согласенъ. Но какъ же, признавая, что вырожденіе это совершалось постепенно, изъ поколѣній въ поколѣнія, вы вдругъ хотите, чтобы вырожденіе совершилось въ первомъ же поколѣніи? Дайте имъ время, дайте имъ втянуться въ свое новое положеніе, войти, такъ сказать, во вкусъ.

Тема разговора все болѣе заинтересовываетъ пассажировъ. Кое-кто начинаетъ принимать въ немъ участіе. Еврей-студентъ, сидѣвшій до сихъ поръ молча на диванѣ, подсаживается къ столу.

— Виновать,—говоритъ «путешественникъ»,—но, я думаю, вы не станете требовать, чтобы человѣческая семья возилась со своими большими членами изъ вѣка въ вѣкъ, предоставляя имъ льготы, удобства и ожидая, пока они выздоровѣютъ.

— А почему бы не такъ?—замѣчаетъ студентъ.—Если еврейскій вопросъ назрѣлъ въ такую болѣзнь, то потому, что въ этомъ виновато и человечество. Оно лишило его правъ, оно преслѣдовало его вѣками, оно заставило сплотиться его тѣснѣй, изолировало его въ общечеловѣческой семьѣ.

— Надо думать, что это произошло и не безъ вины евреевъ. Загляните въ исторію. Есть ли на землѣ другая нація, которая тысячекратно отстаивала бы свою обособленность, не слившись съ обществомъ, въ которомъ живетъ. Мало того, сознавая, что человечество относится враждебно къ ней, она никогда не пыталась такъ или иначе пайти выходъ изъ этого положенія, а упрямо продолжала свое, изворачиваясь всѣми путями, всѣми средствами. И что же получилось? Взгляните на эту драму, вникните въ нее. (Простите, я буду откровененъ: вы настолько освоились съ этимъ положеніемъ, со всѣми расовыми аномаліями вашего племени, что даже не видите ихъ, неспособны отнестись къ нимъ критически и беспристрастно. Вамъ все кажется, что до ненависти, до злобы говорить такъ, а не потому, что вы таковы на самомъ дѣлѣ. Ахъ,

если бы вы могли посмотреть на себя со стороны! И еще раз—простите, господа! Мне очень больно и грустно говорить все это. Я думаю, что имѣю дѣло съ интеллигентными людьми, которые понимают, что я подразумѣваю массу).

Коммерсантъ и студентъ киваютъ головой и, не безъ ироническаго огонька но взглядѣ, замѣчаютъ: пожалуйста.

— Я говорю,—продолжаетъ «путешественникъ»,—что евреи не пытались такъ или иначе найти выходъ изъ этого положенія, кромѣ развѣ мечты образовать новое иудейское царство. Они всегда считали себя правыми, не признавая ни новыхъ теченій мысли, ни требованій новаго времени, ни христіанскаго міра. И посмотрите, какая кара постигла ихъ за эту отчужденность отъ остальнаго человечества, за нежеланіе слиться съ нимъ. Какъ вывели ихъ Титъ тысячу восемьсотъ съ чѣмъ-то лѣтъ тому назадъ изъ Іудеи (въ недобрый часъ!), такъ и скитаются они, безъ твердой почвы, безъ своего уголка земли, окруженные вѣчной ненавистью народовъ. Вѣчной ненавистью! Подумайте! Да развѣ можетъ быть большее проклятіе, большее наказаніе? Они потеряли связь съ землей, любовь къ ней, они не знаютъ того наслажденія, которое даетъ человѣку земледѣльческій трудъ. Они потеряли связь съ человечествомъ, лишились гражданскихъ правъ. Всѣ эти чувства изъ поколѣнія въ поколѣніе вырождались и атрофировались. Всѣ духовныя и умственныя силы націи концентрировались у одной профессіи, торговли, составлявшей ея главный *modus vivendi*. Время шло. Человѣчество все болѣе усвоивало взглядъ, что евреи—паразиты въ его семьѣ, что они ничего не внесли въ общечеловѣческій трудъ. Евреи, лишенные правъ, все болѣе замыкались въ себѣ, все болѣе ненавидѣли человечество... Въ результатѣ—какая мрачная и дикая картина. Обоюдная ненависть разражалась грозой, изъ вѣка въ вѣкъ продолжались убійства, гоненія, вражда и погромы. Возьмите хоть бы евреевъ въ Россіи... Вѣдь подумайте только: первое избиеніе евреевъ въ Кіевѣ было въ 1092 году. Восемьсотъ лѣтъ тому назадъ! И за восемьсотъ лѣтъ отношеніе человечества къ евреямъ не измѣнилось. То, что тогда могло быть вызвано фанатизмомъ, суевѣріемъ и народной дикостью, повторяется теперь въ культурной странѣ, и у насъ, и въ Австріи, и въ Германіи. Господа, да что-жъ это такое? Неужели вы не сознаете, что пора прекратить весь этотъ ужасъ, что первый шагъ къ этому должны сдѣлать вы и въ особенности вы, еврейская интеллигенція! Неужели вы не сознаете всего ужаса положенія своего народа и своего собственнаго,—ужаса, который грозитъ не только извнѣ, какъ все болѣе накопляющаяся ненависть къ вамъ человечества, но ужаса, который гнѣдится внутри племени, грозя ему окончательнымъ вырожденіемъ и моральнымъ разложеніемъ. Помните идеи Дарвина, предсказывающаго, что человечество, по закону наслѣдственности, должно со временемъ остаться безъ лѣвой руки, дѣятельность которой все болѣе атрофируется? Евреи въ организмѣ человечества—это та же лѣвая рука; еврейскую націю, если подобное положеніе будетъ

продолжаться, неизбежно ждетъ и физическое, и психическое вырожденіе. А это положеніе не только продолжается, но и ухудшается. Еврейскій пролетаріатъ все нарастаетъ, въ полномъ отчужденіи и обособленности отъ интересовъ страны; онъ гложетъ въ невѣжествѣ и дикомъ фанатизмѣ. Эта замкнутая въ себѣ, нищая масса, ложась пятномъ на всю націю, станетъ изоднихъ въ день порождать еще большую рознь и ненависть христіанъ. И не забудьте, что какъ ни обширна Россія, а и въ ней становится все тѣснѣй и тѣснѣй, и что русскій человѣкъ, переселяющійся на востокъ, начинаетъ все болѣе сознавать, что на западѣ, какъ разъ на границѣ съ его врагами, есть пять милліоновъ людей, которые занимаютъ его мѣсто, оставаясь чуждыми его родинѣ. Народъ вашъ всего этого, можетъ-быть, не сознаетъ. Но вы, интеллигенція, что вы сдѣлали, что вы дѣлаете для того, чтобы просвѣтить темную массу вашего народа, заставить ее отбросить свою узко-національную замкнутость и хламъ ненужныхъ предрасудковъ, приучить ее къ дѣятельному труду и заставить проникнуться общей душой, общими интересами страны, въ которой она живетъ? Ничего! Мало того, что ничего,—вы еще не хотите выслушивать правды, которую вамъ высказываютъ изъ хорошихъ побужденій, вы замалчиваете ее, вы готовы даже купить печать, лишь бы противъ васъ не говорили. А зло все болѣе накапливается. И не думайте, что это враждебное чувство къ вамъ только въ народной массѣ; оно есть и въ интеллигенціи, даже въ тѣхъ, кто желалъ бы подавить его въ себѣ. Господа, задумайтесь-ка надъ такимъ фактомъ. Недавно мнѣ пришлось назначить день для поѣздки по желѣзной дорогѣ. Я рѣшилъ было выѣхать въ пятницу. Но мнѣ отсѣлѣвали. Мотивъ, который мнѣ выставили, чтобы убѣдить меня, ужасенъ, если вдуматься въ него. Мнѣ сказали: теперь, послѣ свѣрейскихъ праздниковъ, поѣзда будутъ переполнены евреями. Поѣзжайте лучше въ субботу, жидовъ не будетъ. И я согласился. Я полноправный гражданинъ Россійской имперіи, я у себя дома, а между тѣмъ, чтобы не терпѣть неприятностей и неудобствъ отъ общенія съ чуждыми мнѣ людьми, я вынужденъ ѣхать не тогда, когда мнѣ надо, но тогда, когда я могу. Что-жъ это такое? И не забудьте, господа, что я былъ воспитанъ въ полной національной терпимости, что я не ненавижу евреевъ, а жалѣю ихъ... Что же думаютъ и чувствуютъ другіе? Фактъ неотвратимый, его нельзя игнорировать, вопросъ этотъ долженъ быть рѣшенъ такъ или иначе. Этого требуетъ не только напряженность социальнаго кризиса, который переживаетъ еврейство, этого требуетъ Россія. Она пролила слишкомъ много крови за свое объединеніе и ей вовсе не желательно, чтобы въ ея массѣ былъ чуждый элементъ, мѣшающій полному сліянію.

Надо полагать—у «путешественника» давно назрѣвали и накипали всѣ эти мысли, такъ какъ онъ выпускаетъ ихъ сразу, съ нервной торопливостью, какъ одинъ зарядъ. Въ спорѣ постепенно принимаетъ участіе вся компанія. И такъ какъ бесѣда ведется въ кругу

интеллигентных людей, то тонъ ея не переходитъ границъ приличія, не принимая даже враждебнаго оттѣнка. Спервъ рассказываетъ нѣсколько интересныхъ характерныхъ случаевъ изъ быта евреевъ-солдатъ, путесецъ—изъ своей практики по подрадамъ.

— Вы говорите, что еврейская интеллигенція,—замѣчаетъ гомельскій коммерсантъ.—ничего не дѣлаетъ для еврейскаго народа. Это не совсѣмъ такъ. Мы сами понимаемъ наше положеніе и дѣлаемъ, что можемъ. Но во многомъ наша дѣятельность парализуется. Главное зло—въ нашихъ хедерахъ и меламедахъ. Оттуда весь мракъ и фанатизмъ, который распространяется въ массѣ. Дайте этой массѣ хорошую русскую школу, нравственныхъ руководителей—и въ двадцать-тридцать лѣтъ вы не узнаете нашъ народъ.

— Что-жъ! Начинайте въ добрый часъ, идите и просвѣщайте.

— Вы говорите,—отзывается въ свою очередь и студентъ,—что нетерпимость христіанъ, главнымъ образомъ, относится къ массѣ. А вотъ вамъ случай (онъ, конечно, не единственный), когда и къ общественной дѣятельности интеллигентнаго еврея относятся если не совсѣмъ враждебно, то все-таки скептически. Въ прошломъ году, во время холеры, на каждомъ изъ здѣшнихъ пароходовъ, кромѣ фельдшера, плавали и студентъ-медики. Общество пароходства по Днѣпру, сверхъ 50 рублей жалованья и помѣщенія, отпускало и харчи, т.-е. обѣдъ, ужинъ и чай. Вотъ, въ числѣ студентовъ кievскаго университета вызвалось и нѣсколько евреевъ, между прочимъ—и я. Чувства, руководившія мной, были самыя искреннія. Шли русскіе товарищи, шелъ и я. Средства къ жизни у меня все-таки есть, да 50 р. жалованья и не представляютъ особой приманки. Ихъ можно было за каникулы заработать и на кондичіи. Четыре мѣсяца плавалъ я. Скука страшная. Классныхъ пассажировъ почти нѣтъ. Да и палубныхъ не много. Правда, болыные случались рѣдко, всего—три-четыре острыхъ случая за лѣто, и то сейчасъ же въ баракы передавали. И что же? Мнѣ самому пришлось нѣсколько разъ слышать, какъ въ обществѣ прогуливались на наше здоровье приспособились на пароходахъ въ качествѣ холерныхъ медиковъ. Эпидемія нѣтъ, общество обязано содержать медиковъ, а они зная себѣ катаются. Говорятъ даже—одинъ вмѣсто пятидесяти рублей согласился служить за 25 р. и перебилъ мѣсто у студента-христіанина.

Разговоръ перебѣгаетъ на новую тему. Гомельскій коммерсантъ замѣчаетъ не безъ язвительности:

— Вы говорите—еврейскій вопросъ... У Россіи, кажется, не одинъ этотъ национальный вопросъ. Есть и остзейскій и финляндскій, или вотъ польскій... Развѣ онъ, напримѣръ, менѣе интересенъ, чѣмъ еврейскій?

— Совершенно вѣрно,—отвѣчаетъ «путешественникъ».—но польскій вопросъ—это совсѣмъ особъ-статья, это домашнее дѣло. Помните, еще Пушкинъ сказывалъ...

«Оставьте, это—споръ славянъ между собою»,
«Домашній, старый споръ, ужъ извѣщенный судьбою»,
«Вопросъ, котораго не разрешите вы!»

Конечно, очень обидно, что они будируютъ, никакъ не желая сознать, что это «споръ, давно ужъ извѣщенный судьбою», давно рѣшенный, что полякамъ остается одинъ только выходъ—слиться тѣснѣй съ братомъ славяниномъ, съ русскимъ, и чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше.

Здѣсь польскій помѣщикъ, почти не принимавшій до сихъ поръ участія въ разговорахъ, ставитъ «путешественнику» довольно, впрочемъ, спокойно и добродушно вопросъ:

— Почему вы думаете, что одинъ только выходъ?

— Потому что другого не вижу,—отвѣчаетъ онъ тоже спокойно, глядя прямо въ сѣрые глаза папа, который, подхватывая указательнымъ пальцемъ широкий усь, то наматываетъ, то разматываетъ его.— Это стало ясно еще до лѣтъ тому назадъ. Чтобы Польша возродилась, ей надо было бы сразу побить Германію, Австрію и Россію. И очень грустно, что находятся мечтатели, которые грезятъ какой-то автономіей. Это приноситъ только вредъ полякамъ, сбивая ихъ и задерживая неизбежное слияніе. Какъ-то разные непріязненные политики фантазировали, что европейское-де равновѣсіе требуетъ восстановления автономіи Польши. Она-де будетъ буферомъ между Россіей и Западной Европой. Охъ, ужъ этотъ буферъ! Какой можетъ быть буферъ между громадиной вродѣ Россіи, съ одной стороны, Австріей и Германіей—съ другой? Политическій буферъ! Выдумаютъ словечко—и возятся съ нимъ! А это значитъ тормозить только дѣло братскаго единенія и играть въ руку Германіи. Да, несомнѣнно, нѣмцы отъ поры до времени, когда имъ это нужно, пускаютъ мыльные пузыри, которые очень прельщаютъ нѣкоторыхъ наивныхъ патріотовъ. Но, Боже мой, если-бы они только вдумались въ смыслъ всѣхъ этихъ радужныхъ перспективъ, рисуемыхъ нѣмцами. Въ Германіи сорокъ милліоновъ нѣмцевъ, живущихъ въ тѣснотѣ, на пространствѣ одной русской губерніи. Неужели это море не пытается впитать въ себя весь польскій элементъ и гармонизировать его? Неужели, при этой тѣснотѣ, Германія способна, для созданія какого-то политическаго буфера, вернуть полякамъ ихъ провинціи?

— Во всякомъ случаѣ,—замѣчаетъ панъ,—у нѣмцевъ гораздо больше терпимости въ ихъ политикѣ относительно поляковъ. Возьмите хоть бы такой фактъ. Я это говорю потому, что знаю хорошо, такъ какъ въ Помераніи у меня есть родственники, у которыхъ я часто бываю. Нѣмцы, чтобы ускорить германизацію края, образовали компанію для покупки польскихъ имѣній. И дѣйствительно, въ небольшое время они успѣли закупить много такихъ имѣній. Но что же? Поляки сейчасъ же образовали свою компанію и стали покупать нѣмецкія имѣнія. Германское правительство прекрасно видѣло это и знаетъ. Однако, оно нисколько имъ не мѣшаетъ. Вотъ это и располагаетъ поляка къ нѣмцу.

— Очень просто. Германия всегда будет вести такую политику въ виду Россіи. Но она все-таки шагъ за шагомъ неотступно будетъ добиваться своего. Наша политика болѣе прямолинейна. Но вы знаете сами, всего этого не было бы, если бы не шестдесятъ третій годъ. И не было бы, можетъ-быть, несмотря и на это, даже и сегодня, если-бъ къ религіи не примѣшали политику, если-бъ поляки сдѣлали шагъ къ сближенію и если бы польская печать не растревала старыхъ ранъ, напрасно разжигая страсти. И для чего? Неужели они не сознаютъ, что это значило бы снова столкнуть двухъ братьевъ, снова заставить ихъ, на потѣху враговъ славянства, проливать братскую кровь, которой и такъ довольно пролито? И бесполезно пролито. Полякамъ предстоитъ одно изъ двухъ: или—чтобъ ихъ германизировали нѣмцы и чтобъ они совершенно растворились въ нѣмецкомъ морѣ, или—слиться съ братьями-славянами въ дружную семью. Тамъ у нихъ чуждая имъ нація, которая несомнѣнно подавить ихъ, тамъ тѣснота, отъ которой борьба за существованіе достигла высшаго напряженія, здѣсь—славянской океанъ, просторъ, который такъ и зоветъ къ дружной братской работѣ. И полякамъ, съ ихъ культурностью, съ ихъ талантливыми писателями и художниками, съ ихъ литературой, принявъ участіе въ этой дружной общеславянской работѣ—значило бы расширить еще больше ея культурное значеніе, сдѣлать свою работу почти мировой, выдвинувъ изъ узко-національной рамки. Пусть-ка попробуютъ они развернуть такъ свои силы въ Германіи. И даже если бы допустить, что Польша могла бы стать когда-нибудь самостоятельной, то развѣ теперь не выше, не шире ея задача работать вмѣстѣ, на этомъ безбрежномъ просторѣ, завоеванномъ славянами, чѣмъ суживать дѣятельность чертой своихъ границъ. Взгляните, какое это пространство. Цѣлый міръ. Перевернуть этотъ міръ поляки никогда не смогутъ, нѣмцы, что бы они имъ ни обещали, никогда не выполнять этого. Остается одно: пойти навстрѣчу общеславянскому дѣлу съ открытой душой и тѣснѣй слиться въ дружную культурную работѣ. Въдѣ эта вражда просто обидна. Въдѣ не такъ ужъ плохи, въ самомъ дѣлѣ, русскіе, чтобы нельзя было найти общихъ симпатій, общихъ чувствъ для единенія. Вспомнить бы хоть франко-русскія празднества... Сумѣли же найти общія симпатіи для братскаго единенія двѣ націи, чуждыя и по традиціямъ, и по культурѣ, и по исторіи. А въдѣ адѣсь — своя кровь, и кровь, которая не разъ ужъ вмѣстѣ проливалась въ общемъ потокѣ...

Я не привожу возраженій, высказанныхъ польскимъ помѣщикомъ, хотя и рискую показаться тенденціознымъ, не привожу, главнымъ образомъ, потому, что мотивы ихъ общеизвѣстны.

Разговоръ на эту тему затягивается до полуночи. Пассажиры укладываются спать. Артиллеристъ, не принимавшій участія въ бѣдѣ и дѣлавшій видъ, что читаетъ (по нервнымъ движеніямъ, которыя прорывались у него изрѣдка, можно было догадаться, что онъ слѣдитъ за разговоромъ и даже волнуется), обращается вдругъ къ «путешественнику», выходя вмѣстѣ съ нимъ на палубу:

— Я слышалъ все, что вы сейчасъ говорили. Я самъ полякъ... Дѣйствительно, такой разладъ очень грустенъ и обиденъ, особенно для тѣхъ, кто сдѣлалъ шагъ къ этому слиянію. А такихъ много. Сколько поляковъ и среди военныхъ, и среди чиновниковъ разныхъ классовъ, сколько инженеровъ, желѣзнодорожныхъ, врачей, техническихъ, судейскихъ... По всему русскому государству разсѣпаны они. И вотъ, когда подумаешь, что наши непрощенные патріоты, политиканствуя, только разжигаютъ страсти, которыя могутъ развиться въ новую грозу, невольно негодуешь. Въдѣ народъ чуждъ всякой политики. Это—дѣло печати да высшаго класса, помогающаго прежней роли и привилегіи. И въдѣ, пожалуй, опять когда-нибудь взбудоражатъ и заставятъ проливать кровь своихъ же братьевъ безмысленно, бесполезно...

На палубѣ уже давно спятъ, сбившись въ кучу. Лавки большей частью заняты евреями, на полу, перенутавшись, лежатъ въ свалку бѣлоруссы, малороссы и великороссы. Кто съжился, спрятавшись подъ тулупомъ, кто расшпирилъ ноги, кто уткнулся головой въ грудь сосѣда, обнявъ его во снѣ рукой; не разберешь, чья голова, чьи ноги. Храпъ сливается съ мѣрнымъ шумомъ колесъ.

— Въдѣ вотъ имъ-то политика вовсе не нужна. Никакой политики для нихъ не существуетъ,—говоритъ офицеръ. Имъ бы кусокъ насущнаго хлѣба, клочекъ земли, да чтобы какъ-нибудь протянуть эту сѣреную жизнь въ мирѣ и покоѣ...

Переступая черезъ ноги и руки спящихъ, они пробираются на носъ. Сырость проливается. Пароходъ, шлепая колесами, осторожно прокрадывается. Впереди показывается свѣтлое пятно, все расплывающійся въ туманѣ, и, наконецъ, изъ мглы выступаетъ, сверкнувъ огнями, плонучій баракъ какой-то пристани.

Пароходъ реветъ.

29-го сентября.

Утромъ проходимъ мимо м. Любеча. Изъ кудрявой зелени лѣса выглядываетъ бѣлая колокольня и еще какія-то зданія. Любечъ—тоже тысячелѣтній старикъ. Восемь вѣковъ тому назадъ здѣсь былъ основанъ Владиміромъ Мономахомъ съѣздъ удѣльныхъ князей для прекращенія междоусобицъ. Вокругъ—дремучіе лѣса. Они то раздвигаются, раскрывая равнину, окаймленную вдоль горизонта темной гирлиндой, то снова сучиваются, обступая густой стѣной рѣку. Чѣмъ дальше, тѣмъ мѣстность становится глуше. Ни поселка, ни избышки. Изрѣдка только у берега покажется одинокій плонучій баракъ пристани, тоскливо выглядывающій окошечками, да навстрѣчу выплзнутъ плоты или сплавы. Иногда міръ кажется необитаемымъ. Исчезаютъ лѣса—разворачивается гладкая унылая степь и желтая лента песчаныхъ береговъ.

У мѣстечка Лосева пароходъ оставляетъ Днѣпръ и заворачиваетъ на Сожъ. Рѣка узкая, извилистая. «Надежда» пробирается осторожно по рукавамъ, обходя острова. Весь фарватеръ утыканъ вѣтками, у которыхъ иногда показываются желтыя мели. Матросъ постоянно опускаетъ шесть, выкидывая футы. Пароходъ виляетъ то въ одну, то въ другую сторону.

День ясный и теплый, совсѣмъ необыкновенный день для послѣднихъ чиселъ сѣвернаго сентября. Вся компанія высыпала на капитанскую площадку. Разговоры на вчерашнія темы продолжаютъ, перескакивая попутно и на разные другіе вопросы русской жизни. На станціяхъ, пока грузятъ дрова, пассажиры выходятъ на берегъ прогуляться, не прерывая бесѣды. И, что удивительнѣе всего, бесѣда эта, видимо, всѣхъ одинаково увлекаетъ, и участвующіе въ ней безъ раздражительности относятся къ мнѣніямъ своихъ оппонентовъ. Случай совсѣмъ рѣдкій среди русскихъ интеллигентныхъ людей, и потому, вѣроятно, поѣздка по Днѣпру 28 — 29 сентября надолго сохранится въ памяти тѣхъ, кто принималъ въ ней участіе. И этотъ ясный день, и умиротворяющій плескъ рѣки, и безбрежная степь, будто призывающая къ дружному труду и ожидающая своего работника, — все точно наполняетъ душу согревающей братской любовью. «Путешественникъ» боится до изнеможенія. За объѣдомъ у всей компаніи является потребность вмѣстѣ выпить и даже поочередно. «Путешественникъ» считаетъ своимъ долгомъ извиниться, если задѣлъ въ комъ-нибудь національное чувство, и увѣряетъ, что онъ ничего и ни противъ кого не имѣетъ, искренно любя весь міръ и всѣхъ хорошихъ людей.

Чокаются.

Къ вечеру надъ равниною показывается, точно зеленая туча, vysokій оазисъ. Постепенно на крутомъ берегу все ярче вырисовываются кирпичнаго цвѣта здания, трубы и какія-то башни. Это Гомель. За степью, золотя волнистыя края розовыхъ облаковъ, закатывается солнце. И этотъ закатъ какъ будто манитъ своей далью. Облака принимаютъ фантастическія очертанія сказочныхъ городовъ и рошъ, рисуя воображенію еще невѣдомые края, ную, лучшую жизнь. Косые лучи стелются надъ степью и заливаютъ городъ розовымъ сіяніемъ.

Пароходъ еще долго, очень долго пробирается по извилистой рѣкѣ, изрѣзавшей степь во всѣхъ направленіяхъ, то подходя къ городу, то вдругъ уходя отъ него, и, наконецъ, провозившись этакъ часа полтора совсѣмъ на виду у Гомеля, подливаетъ къ пріютившемуся подъ крутымъ берегомъ изыщному павильону пристани. Надъ ней изъ-за длинной каменной стѣны, окаймляющей роскошный паркъ, выглядываетъ фасадъ замка князя Паскевича.

На пристани давка и шумъ большого города. Пахнетъ не уѣздной глушью, а какъ будто губернской коммѣлотностью. Извозчики, экипажи изъ гостиницъ, комиссіонеры съ позументами на шапочкахъ и неизбежнымъ «готель дэвропъ» на языкъ. Компанія разсается. Пассажиры благодарятъ другъ друга «за пріятно проведенное вмѣстѣ время». Это ужъ совсѣмъ что-то необыкновенное и неожиданное.

«Путешественникъ» исчезаетъ. Въ надвигающихся сумеркахъ разворачиваются улицы большого города, все съ двухъэтажными шпалерами домовъ. Шестъ лѣтъ тому назадъ Гомель выгорѣлъ. И за это время обстроился такъ, что и не узнать его. Тротуары, мосто-

выя, большіе ярко освѣщенные магазины, огромныя новыя зданія, бойкая жизнь, которая вливается изъ двухъ скрещивающихся здѣсь желѣзнодорожныхъ артерій и приносится по Сожу... Совсѣмъ губернская фizioномія.

30-е сентября.

Проклятые клопы! Такихъ злыхъ клоповъ, какъ въ Гомелѣ, я еще нигдѣ не встрѣчалъ. Должно-быть, предчувствовали, что это послѣдній день моего путешествія, и устроили реваншъ.

Сѣрое утро. Тяжелыя облака низко плывутъ надъ землей. Изрѣдка мороситъ мелкій, точно пропущенный сквозь сито, дождь. Сизая кайма лѣсовъ смутно вырисовывается въ туманной дымкѣ.

Въ вагонѣ жарко. Нѣсколько пассажировъ, съ такими же угрюмыми лицами, какъ и погода, молча сидятъ на диванахъ. Только какой-то мальчуганъ, болтая и рѣзвясь, отчасти оживляетъ эту скучную картину. Онъ то и дѣло пристаетъ къ отцу.

— Папа, папа, посмотри! Вотъ вся земля опять въ прыщикахъ.

Это кочки и бугры, покрышіе, точно бородавками, степь; кочки смѣняются пнями, за ними показывается темная стѣна ельника, группы сосенъ, мелькаютъ бревенчатыя хмурыя постройки какой-то деревушки, за ней опять лѣсокъ съ ульями, прикрѣпленными къ стволамъ деревьевъ, лужи, болотце, и снова пни и кочки... Знакомый бѣлорусскій пейзажъ!.. Вдоль пути нескончаемые шпалеры ельника. Тамъ, на далекомъ югѣ, эти шпалеры были изъ гранатъ, олеандръ и смоковницъ... На душѣ тоскливо. И кажется, будто вся природа тоскуетъ о чемъ-то. Задумчивый лѣсъ тихо роняетъ слезы. Одинокая бѣлостволая худенькая нервная березка, будто выступившая навстрѣчу поѣзду, склоняется къ нему и трепещетъ своими листиками табачнаго цвѣта, съ которыхъ тоже капаютъ слезы... Вспоминается все, что пронеслось предо мной за два мѣсяца скитаній, и какъ-то не вѣрится, что оно было. Точно какой-то волшебный сонъ, смутившій душу несбыточными грѣзами...

ГЛАВА XL.

Еще одно последнее сказаніе —
И лирическое окончена моя...

Пробѣгая корреспонденцію, полученную въ мое отсутствіе, я нашелъ слѣдующее письмо отъ Дю-Фара:

MONSIEUR,

«Combien j'ai regretté que le hasard ne nous ait pas réunis au Caucase, comme il l'avait fait sur les bords de la mer Volga. Je tiens à vous le dire, au moment où, revenu à Minsk, vous reprenez vos quartiers d'hiver, et où vous évoquez, sans doute, dans la mélancolie des soirs d'automne, les souvenirs de vos vacances».

«Fussiez-vous être aussi heureux, que moi d'avoir vu le Caucase! Je me rappelle avec reconnaissance que sans vous j'aurais remis à plus tard mon voyage dans ces magnifiques montagnes. Le Barmakout, l'Elbrouz, la route de Géorgie, Tiflis, Borjomi, Koutaïssi — m'ont enchanté».

«Je vis à présent par la pensée en Russie, je n'ai pas quitté ce cher pays. L'étude votre littérature. Je lis vos poètes et surtout vos romanciers. Rien ne me plaît plus, que les œuvres de Tourguéneff. Comme il y a de la douceur et de la mélancolie dans les Récits d'un Chasseur! Je lisais aujourd'hui encore les «Reliques Vivantes»; il y a là une poésie, une émotion délicieuse».

«Je m'occupe de retracer la vie des serfs et de leurs maîtres d'après les tableaux de la vie de province qu'ont laissés Gogol, Tourguéneff, Pissensky et les autres. C'est un travail, qui m'intéresse beaucoup».

«Racontez nous les impressions, que vous ont produites toutes les merveilles du Caucase, et aussi, monsieur, n'oubliez pas votre promesse de m'écrire vos pensées sur la Russie et sur sa mission, que lui a destinée la providence».

«Il faut, que nous gardions l'espoir de nous revoir un jour. C'eserait trop triste de se dire, après qu'on s'est connu, que jamais on ne se reverra».

Croyez à mes meilleurs sentiments etc.

Du—Pharo.

Я позволяю себѣ привести здѣсь и мой отвѣтъ Дю-Фару. Можеть-быть, онъ хоть отчасти пояснить заглавіе моихъ замѣтокъ.

«Вы напомнили мнѣ о моемъ обещаніи высказать мои взгляды на миссію, которую призвана выполнить Россія въ человѣческой семьѣ. Исполняя его тѣмъ болѣе охотно, что это дастъ возможность и мнѣ самому разобраться въ хаосѣ мыслей, вызванныхъ впечатлѣніями и наблюденіями въ теченіе моего двухмѣсячнаго странствованія по Россіи».

«Помните ли вы тотъ чудный южный вечеръ, когда мы на «Кановѣ» плыли по зеркальной глади взморья? Помните эту разноплеменную толпу людей, еще недавно завязавшихъ враговъ, людей столъ чуждыхъ и по прошлому, и по религіи, и по развитію, но теперь связанныхъ общей судьбой? Здѣсь были и великороссы, и малороссы, и нѣмцы, и персы, и англичане, и турки, и французы, и поляки, и даже китайцы. И большинство этихъ людей, такихъ разнообразныхъ, были членами одной страны, въ которой, какъ въ океанѣ, слились племенные ручейки съ ихъ старыми спорами и враждой».

«Вечеръ былъ необыкновенно тихъ. Солнце закатывалось за край Каспійскаго моря. И это гладкое, какъ стекло, необъятное море, и синее небо были полны какого-то сладкаго мира, наполнявшаго наши души невыразимымъ покоемъ».

«Настала ночь. Мы уплыли дальше. Надъ бездной моря раскинулась шатромъ черная бездна неба. Въ окутавшей насъ мглѣ носились, нарастая, порывы вѣтра, вздымались съ яростнымъ ревомъ волны. Я сидѣлъ на капитанской площадкѣ. У слуховой трубы стоялъ старичекъ капитанъ. Его черный силуэтъ пошатывался вмѣстѣ съ мачтой. Но онъ держался твердо на своемъ посту, то и дѣло отдавая дребезжащимъ голосомъ команду и нажимая кнопку электрическаго звонка. И пароходъ, словно какое-то чудовище, одухотворенное волей этого человѣка, снова набирался силъ и снова, точно живое существо, рвался впередъ, разрывая грудью волны».

«Я смотрѣлъ и думалъ:

«Затѣмъ старичекъ исчезнетъ мимолетнымъ призракомъ, на его мѣсто станетъ другой и такъ же будетъ возить по этому морю утомленнаго человѣка, и такъ же будетъ раздавать команду «впе-

редѣ» надъ этой бездной, въ этомъ мракѣ, полномъ вѣчной и глубокой тайны».

«И въ эту минуту мнѣ особенно ярко представилось, что въ такой же безднѣ плыветъ на своей землѣ и все человѣчество, по волѣ той силы, которая влечетъ его такъ же куда-то впередъ, какъ этотъ пароходъ. Куда? За чѣмъ? Никто этого не знаетъ. Одни, отрицая жизнь, извѣрились въ ея цѣли, не видятъ никакого смысла въ этомъ движеніи, борясь эволюціи. Они говорятъ, что и жизнь, и ихъ самихъ, съ ихъ разумомъ, выводамъ котораго они вѣрятъ, создала какая-то бессознательная и мировая воля, создала безцѣльно, механически, въ силу какого-то ненужнаго perpetuum mobile космической матеріи. Другіе, напротивъ, вѣрятъ въ жизнь и призваніе человѣка на землѣ, продолжая общечеловѣческую работу на этомъ загадочномъ пути съ его таинственной цѣлью».

«Я вѣрю».

«Мнѣ кажется даже, что мы не имѣемъ права не вѣрить, что во всей исторіи человѣчества, то стремившагося къ свѣту, то снова погружавшагося въ первобытный мракъ, есть какая-то воля, которая упорно, настойчиво вырываетъ его изъ этого мрака и заблужденій и довела его духъ до современной высоты, сдѣлавъ его владѣтелемъ земли, полубогомъ. Для чего нуженъ этотъ прогрессъ, эта культура, это совершенствованіе духа человѣческаго той волѣ, которая руководитъ судьбой нашей,—никто не знаетъ. Порой мнѣ кажется, что мы—блуждающія идеи гигантскаго существа, которое летитъ вмѣстѣ съ нами въ мировой безднѣ, и что именно отъ насъ зависитъ и самосознаніе, и судьба этого существа. Созрѣеть это самосознаніе во время—и вѣчная жизнь земли обезпечена, и человѣкъ сумѣетъ поддержать жизненные силы этого организма, и тѣмъ—и она рухнетъ и распадется космической пылью вмѣстѣ со всѣмъ нашимъ величіемъ и тысячелѣтними трудами, какъ тѣ неудачные міры, осколки которыхъ проносятся сверкающимъ дождемъ метеоровъ въ черной безднѣ августовской ночи».

«Вы улыбаетесь? Вамъ кажется моя фантазія странной, слишкомъ рискованной и даже наивной? Можеть быть. Но въ тѣ минуты, когда она приходитъ мнѣ и я вѣрю въ призваніе человѣка на землѣ, мнѣ становится въ особенности страшно за его судьбу, за его участь. Я спрашиваю себя: а что, если участь эта уже рѣшена, благодаря прежнимъ ошибкамъ и заблужденіямъ человѣчества, затормозившимъ его естественное развитіе; а что, если всѣ эти Чингисханы, Тамерланы, Атиллы и Омари, истреблявшие тысячелѣтніе труды духа человѣческаго, эти болѣзнетворные микробы въ самосознаніи земли и человѣка, задержавшіе его ростъ на десятки вѣковъ, уже лишили его возможности выполнить свою задачу, свое призваніе? И что, если въ тотъ день, когда человѣчество, наконецъ, постигнетъ эту задачу, оно увидитъ, что стало банкротомъ, что жизненные ресурсы и его, и земли истощены, что уже поздно спасти и его, и себя, хотя оно и знаетъ средства для спасенія? Я не могу представить себѣ болѣе ужасной картины страш-

наго суда, чѣмъ эта. Человѣчество познало мѣръ, познало жизнь и себя, но оно видитъ, что все поздно, что мѣръ, на которомъ оно носится въ безднѣ, умираетъ и неминуемо долженъ рухнуть вмѣстѣ со всѣмъ этимъ теперь ненужнымъ и безплоднымъ трудомъ десятковъ тысячъ поколѣній. Какое проклятіе всему прошлому человечеству, всѣмъ его ошибкамъ и заблужденіямъ, всѣмъ его злымъ демонамъ, создавшимъ эту жестокою развязку, исторгнется изъ груди миллиардовъ жизней въ день гибели!

«Эти мысли пронесли у меня и въ ту ночь, когда каспійскія волны играли, какъ скорлупой, нашимъ пароходомъ съ его сотнями жизней разноплеменныхъ людей. И никогда, какъ въ эту минуту, мнѣ не казалась страшною судьба человечества, летящая на такой же скорлупѣ, среди такого же мрака въ безднѣ вселенной.

«Вы помните, на другой день, когда мы вышли на берегъ Кавказа, я передалъ вамъ ощущение, волновавшія меня тогда. Чувство невыразимой радости охватило все мое существо. Къ ней примѣшивалось смутное торжество человѣка, который вышелъ побѣдителемъ. Капитанъ казался мнѣ просто героемъ. Борьба человѣка со слѣпой стихіей, его побѣда надъ ней, этотъ славный старикъ, который всю ночь стоялъ на своемъ посту, защищая нашу жизнь, и превозмогъ дикую, злую силу, — все это повышало духовный подъемъ и вмѣстѣ съ нимъ будто возродило упавшую было вѣру и жизнь, и въ человѣка, и въ прогрессъ.

«Я часто потомъ вспоминалъ и эту ночь, и это свѣтлое утро, возвращался къ этимъ мыслямъ. И мнѣ казалось, что и человечество въ своихъ блужданіяхъ и сомнѣніяхъ, можетъ-быть, выберется на берегъ, что это еще не поздно. Я думалъ еще, что главное горе человѣка, главное несчастье, которое тормозитъ его движеніе къ невѣдомой цѣли, главное бѣдствіе, это — вражда, самоуничтоженіе, вѣчная война, вражда тѣмъ болѣе обидная, что на землѣ всѣ существа одного вида никогда не уничтожаютъ сами себя, и только человѣкъ, считающій себя царемъ природы и высшимъ существомъ, истребляетъ себя подобнаго, своего ближняго. Это самоистребленіе тормозило и ростъ его духовной жизни, оно, можетъ-быть, сдѣлаетъ его въ будущемъ банкротомъ.

«Я говорилъ себѣ: если правы тѣ, кто отрицаютъ предназначеніе человѣка на землѣ, его призваніе выполнить какую-то невѣдомую еще намъ задачу, наконецъ — самый смыслъ жизни, то эта взаимная вражда и самоуничтоженіе тѣмъ болѣе обидны, что они, значить, тоже не имѣютъ смысла и тоже ни для чего ненужны, не служатъ ни для какой цѣли. Если же, напротивъ, у человѣка есть высшая цѣль, если онъ вѣрнѣе въ свое предназначеніе, если у него есть Богъ, то онъ не въ правѣ располагать ни своей жизнью, ни жизнью своихъ ближнихъ, не долженъ уничтожать себя и братьевъ своихъ, такъ какъ это самоуничтоженіе есть отрицаніе жизни, смысла ея и его призванія, въ которое онъ вѣрнѣе.

«Я говорилъ себѣ еще: ни одно бѣдствіе не поглощало у человечества такъ непроизводительно его жизненную энергію, не тор-

мазило его духовный ростъ, не причиняло ему столько горя и страданья, не стоило ему столько безплодныхъ трудовъ, какъ эта вѣчная вражда и самоуничтоженіе. Если бы всю энергію, затраченную на дикую и безумную борьбу народовъ, можно было бы утилизировать теперь, можно было бы вернуть ее, возродить и направить на другой путь, — земля превратилась бы въ цвѣтущій садъ, стала бы вѣчнымъ раемъ. Мы знали бы теперь не только телефонъ, фонографъ или кинетогрѣфъ, мы, можетъ-быть, уже летали бы, познали бы свое предназначеніе. Есть мудрецы, которые пытаются доказать, что самоуничтоженіе имѣетъ хорошую сторону, что оно освобождаетъ мѣсто для другихъ поколѣній. Но человеческое благополучіе на землѣ никогда не зависѣло только отъ мѣста, отъ простора, но и отъ того, какъ оно умѣло устроить свою жизнь. А кто можетъ сказать, сколько идей, которыя могли бы ослѣпить человечество, разрушено вмѣстѣ съ истребленіемъ человеческихъ жизней, погибло въ этой враждѣ! Въ гигантской лабораторіи человеческой мысли нѣтъ атома, нѣтъ клѣточки, которые не были бы нужны для роста идеи. И никто не можетъ предугадать, въ комъ и въ какой оболочкѣ сидитъ будущій Шекспиръ, Мольеръ, Руссо, Фальтонъ или Эдисонъ.

«Всѣ эти мысли постоянно преслѣдовали меня въ пути. А путь этотъ, будто нарочно, проходилъ по развалинамъ прошлаго, надъ которыми, въ прахѣ тысячелѣтій, носились призраки иной жизни, неотвязно преслѣдовавшие меня.

«Вы помните, я рассказывалъ вамъ мои московскія и волжскія впечатлѣнія... Потомъ мимо пронесли развалины Болгарскаго, Канзаскаго и Астраханскаго царствъ, нѣсколькихъ ханствъ, кавказскихъ княжествъ, руины Грузіи и Арменіи, царства скифовъ, цвѣтущихъ эллинскихъ колоній, Босфорскаго царства, Крымскаго ханства. Дакіи, Запорожской Сѣчи, Польши...

«Все время я не могъ отделиться отъ ощущенія, что вѣду по какому-то безконечному кладбищу. Мнѣ вспоминалась вся исторія человечества — и тогда невольно казалось, что и весь мѣръ — такое же кладбище народовъ, націй, трудовъ ихъ и славы. Были могучіе народы древняго міра — и исчезли такъ безслѣдно, что современные люди даже сомнѣваются, точно ли они были. Былъ Египетъ, была Греція, былъ Кароагенъ, былъ мировой властелинъ Римъ, была имперія Александра Македонскаго, былъ Калифатъ, была Византійская Имперія, Имперія Карла Великаго, были десятки другихъ царствъ и народовъ, исчезнувшихъ съ лица Европы и Азіи. Для чего они были? Для чего было пролито столько крови, для чего одна нація порабощала другую, передѣлывая ея жизнь по-своему, а ея, въ свою очередь, подавляла третья, которую побѣждала четвертая?..

«Къ чему это привело? Что эта вражда и потоки крови дали человечеству? И что же, наконецъ? Неужели вѣчно и вѣчно будетъ продолжаться эта ужасная вражда и самоуничтоженіе, вѣчно одна нація будетъ истреблять другую, чтобы въ свою очередь быть истребленной и такъ же безслѣдно исчезнуть? Неужели та же

участь ждешь и все народы, которые теперь населяют землю? Как-то страшно даже подумать: есть Франция—и не будет ее, есть Германия—и не будет ее, есть Россия—и не будет ее. Страшно тем больше, что без этого можно обойтись и что ни от кого больше, как от человека же, зависит сохранить в будущем все свое прошлое не только по одним смутным памятникам и историческим догадкам, но и в самой жизни народов. И не кошунство ли это надо всем святым, что есть у человека, над жизнью? Для того ли дана каждому из нас наша маленькая жизнь, такая короткая, что ее и теперь уже не хватает для того, чтобы обнять то немного, что знает человек? И кому нужна эта вражда? Масса всегда была чужда ей, пока не являлись герои, разжигавшие в ней злость. Народ не знает политики. Он жаждет одного—кусочка земли, кусочка хлеба и мира. И вдруг встает какой-нибудь Александр Македонский и завоевывает мир, сколачивает гигантский государственный организм, который сейчас же после его смерти и раскалывается; является Наполеон, увлекает народ, устраивает эту ужасную европейскую войну, разрушает троны и царства—и все это опять-таки не приводит ни к чему, кроме самоуничтожения и гибели народных богатств. Я скажу даже больше: если бы человечество взвисло все, во что война обходится даже победителю, оно навсегда отказалось бы от нее. Немцы победили вас под Седаном, отняли у вас Эльзас и Лотарингию, вы мечтаете о реванше, ждете часа возмездия. Вопрос идет из-за национального самолюбия, из-за территории, из-за кусочка земли. Но подумайте, только ли землю потеряли вы? И что вам эта земля, если на ней нет жизни? Ведь именно жизнь-то и составляет потенциальную энергию и богатство нации. Вы сами прекрасно понимаете это теперь, когда вам грозит уменьшение народонаселения и вырождение, когда вы прилагаете разные покровительственные законы, чтобы содействовать росту народонаселения страны, которое стало вырождаться со времени наполеоновских войн. А ведь если бы не было этой франко-прусской войны, которая обошлась вам и немцам полмиллиона жизней, молодых, отборных жизней,—все эти погибшие двадцать пять лет тому назад люди могли бы составить теперь три-четыре миллиона новых жизней. Немцы, не проливая крови братьев своих, имели бы теперь население Эльзаса и Лотарингии, но несомненно свое население, которое не приходилось бы безплодно германизировать. Французы тоже имели бы два миллиона лишних жизней, лишних культурных работников, которые нашли бы себе место и в Африке, и на Мадагаскаре, пригодились бы для культурных побед нации. Таков закон войны, который постоянно напоминает человеку и—увы! бесполезно, что главное богатство страны—это сохранение ее жизненных сил, ее энергии.

Я задумывался над этими мыслями... а мимо все проносились развалины исчезнувших царств, потоки народов, которые слились теперь в одну могучую страну, в один организм. И я не

раз спрашивал себя, что было бы, если бы все эти отдельные царства и народы продолжали существовать? Теперь на всем громадном пространстве России, которая обширнее Европы и Австралии, вместе взятых, в пять раз больше площади, занимаемой всеми десятками европейских государств, в два раза больше Китая, в сорок один раз—Германии в пятьдесят раз—вашей прекрасной Франции, нигде не проливается ни капли братской крови. В Европе—все вооружены, все готовятся к войне, с опаской поглядывая на соседа. В России—знают только вышнего врага. Но между собой все эти десятки Германии и Франции живут мирно и, связанные более широкими интересами, сознают, что между собой им нельзя проливать кровь, что им можно проливать ее только за всех себя в совокупности, без различия национальности, что они уже не раз проливали ее не за свое частно-национальное, а за общее-русское дело. Все эти отдельные пятьдесят Франции и Германии перестали быть Францией и Германией между собой.

«А что было бы, если-бы они продолжали существовать самостоятельно? Могли ли бы они ужиться? Не проливали ли бы они каждую минуту кровь, непрерывно и невдомом для чего уничтожая друг друга? Сегодня живут рядом такие антиподы, как татарин и великоросс, кавказец и казак, поляк и малоросс, молдаван и немец, как десятки народов, населяющих Россию, десятки исконных врагов, которые прежде при первой возможности готовы были бы пырнуть друг друга. И ничего. Не только уживаются, но с каждым днем тесней и тесней сливаются в общий организм. Помните тот волжский пароход, на котором мы насчитали десятков разных национальностей, населяющих Россию? И все это сидело вместе, рядом, пыталось установить какое-нибудь общение, забывало свою вековую вражду...

«Я прождал по Казанскому царству и думал: если-бы оно существовало и ныне, пришлось бы очутиться среди чуждаго мифа и по религии, и по языку, и по культуре, а, может-быть, и полудикаго, как и раньше, народа. Я не мог бы побывать здесь, может-быть, или это было бы совсем недоступный для меня мир. Нужно было бы пробираться сквозь разные таможни, преодолевать замкнутость народа и всякие препятствия. То же самое я думал и в Астрахани, и на Кавказе, в этом раю, который только и имеет смысл для человечества, пока им может, как теперь, пользоваться весь мир, а не отдельная племена дикарей; то же я думал и в Крыму, и в Бессарабии, и в Подольской губернии. И я знал, что не только на протяжении восьми тысяч верст этого моего пути, охватившаго колыбель лишь незначительную площадь России, но и на десятки тысяч верст, на территории более обширной, чем Австралия и Европа, вместе взятая, я у себя, среди своих братьев, что везде, и у Ледовитого океана, и на Пруте, и у Тихого океана, и в Средней Азии, и у Каспийского моря, я не буду чужаком, услышу родную речь, родную песню, най-

ду родную душу. Понимать это и чувствовать—уже само по себе чуждое счастье. Я думал: Боже мой, да чего же больше надо? Да разве это слияние племен в общую братскую семью не есть знамение рождения новых чувств в народах, может-быть—пресыщения их вѣковой враждой и самоуничтожением, разве это не примѣръ и для европейских, и для другихъ націй, не предзнаменованіе, что онѣ неизбежно сольются между собой или съ нами? Мнѣ кажется, народъ нашъ давно и глубоко проникся этой идеей. Вы помните, я показывалъ вамъ на пароходѣ, съ какимъ сосредоточеннымъ вниманіемъ смотрѣлъ простой людъ на молящаго татарина и какъ звуки гармоникъ замерли, когда онъ сталъ молиться. Это особенность русскаго народа, который всегда относился съ терпимостью къ чужой вѣрѣ и никогда никому насильно не навязывалъ своей, какъ это было въ католическомъ мѣрѣ, никогда не былъ религиознымъ фанатикомъ. Въ этомъ, можетъ-быть, главная сила и секретъ, благодаря которымъ побѣжденные уживаются съ русскимъ побѣдителемъ. Вы помните мои рассказы о томъ, какъ вездѣ въ войскахъ всѣ эти разныя племена въ общихъ казармахъ, подъ одной крышей, все больше ассимилируются; помните, вѣроятно, и укинъ трубачей, о которомъ я вамъ какъ-то говорилъ, гдѣ тѣ же простые люди изъ народа представляли такой единодушный слитокъ племенной амальгамы, выкованный въ одну общую форму? И надо надѣяться, что чѣмъ больше просвѣщеніе проникнетъ въ массы, тѣмъ больше и тѣснѣй сольются онѣ въ единый организмъ.

«Вы, должно-быть, уже угадали отвѣтъ мой на вашъ вопросъ, что такое Россія и какова ея миссія. Это—братство народовъ, разливающееся все шире по міру, сковывающее человечество въ общую семью для любви и единенія, которые, раньше или позже, заставить его прекратить безсмысленную вражду и самоуничтоженіе. И я думаю, что всякій культурный человѣкъ, который жаждетъ мира и благоденствія народовъ, долженъ радоваться росту этой могучей страны. Русскій человѣкъ, сравнительно со швейцарцемъ, замкнутымъ на территории одного русскаго уѣзда, и теперь уже кажется мировымъ гражданиномъ. Насколько это расширяетъ кругъ человѣческой дѣятельности и общенія съ людьми, насколько увеличиваетъ его терпимость, сливая съ остальнымъ міромъ, не изолируя его отъ человѣческой семьи,—говорить нечего.

«Это—семья народовъ, все тѣснѣй срастающихся въ одинъ организмъ подъ общимъ національнымъ знаменемъ. Это—нація не въ узкомъ смыслѣ племенной обособленности и замкнутости, а въ такомъ, какъ опредѣлилъ ее Ренанъ, эпитафій котораго я взялъ для моихъ замѣтокъ: «Нация есть духъ, отвлеченный принципъ. Два обстоятельства порождаютъ этого духъ, этотъ отвлеченный принципъ: одно—есть общее обладаніе наслѣдственными воспоминаніями, другое есть *дѣйствительное согласіе, желаніе жить вмѣстѣ*; нація есть великая солидарность, какъ результатъ священныхъ чувствъ къ принесеннымъ жертвамъ и тѣмъ, кои въ будущемъ еще будутъ принесены».

Такое опредѣленіе исключаетъ всякую отчужденность, вызываемую этнографическими особенностями. «Сегодня,—говоритъ Ренанъ,—всякому можно бы сказать: вы проливали кровь за то-то и то-то. Вы думали, что вы кельты. Нѣтъ, вы германцы. Затѣмъ чрезъ десять лѣтъ вамъ могутъ сказать, что вы славянинъ».

«Въ такой странѣ, какъ Россія, главное единеніе націи составляетъ не этнографическая марка, а солидарность, общность интересовъ, общій языкъ, общія чувства, любовь къ своему цѣлому, къ своей странѣ».

«Вы скажете: былъ Римъ—и исчезъ, была имперія Александра Македонскаго или Карла Великаго—и распалась. Почему же и такому гигантскому организму, какъ Россія, съ ея составными частями, такими разнообразными по окраинамъ, не распасться?»

«Прежде всего, и человечество теперь не то, и способы борьбы не тѣ, что въ древнемъ Римѣ, при Александрѣ Македонскомъ или Карлѣ Великомъ. Люди становятся съ каждымъ днемъ все культурнѣе, относятся съ большимъ уваженіемъ и къ прошлому человечества, и къ его трудамъ. Чувство вѣчной вражды и ненависти постепенно начинаютъ вырождаться у нихъ; наиболѣе культурныя расы уже и теперь пресыщены кровопролитіемъ и человѣконенавистничествомъ, и теперь относятся къ войнѣ безъ прежняго пафоса и увлеченія, мирясь съ ней только какъ съ необходимостью. Завтра они возненавидятъ ее и отрекутся навсегда. Другое, что рвется за цѣлостъ такого исполина, какъ Россія, это средства современной цивилизаціи, дѣйствительно объединяющія и сковывающія нашу въ цѣльный живой организмъ, какъ бы ни была велика территория, по которой она разсыпалась. Железныя дороги и пароходства уничтожили пространство и время, телеграфъ связалъ весь организмъ нервной сѣтью, печать разноситъ по всѣмъ его артеріямъ идейный токъ, отражая общее настроеніе и желаніе цѣлаго. Въ прежнее время цужны были мѣсяцы для того, чтобы одолѣть русскія пространства, регулируя силы страны. Теперь «самочувствіе» ея таково, что въ нѣсколько часовъ въ центрѣ знаютъ все, что дѣлается на окраинахъ, и въ нѣсколько дней силы страны могутъ быть направлены могучимъ потокомъ именно туда, гдѣ необходимо сосредоточить ихъ. Я не отрицаю, что въ такомъ громадномъ *мировомъ* государственномъ организмѣ не всѣ функціи дѣйствуютъ одинаково ровно и гармонично. Но нельзя все сразу. Мы еще молоды и культурой, и опытомъ, у насъ еще продолжается амальгама цѣлаго. И потомъ не забывайте, что пока Западная Европа пользовалась для своего культурнаго роста почвой, подготовленной многовѣковой цивилизаціей, Россія пришлось сразу идти скачками, продолжая параллельно приобретать новыя земли, окраины съ полудикими народами, и насаждать въ нихъ культуру. Весь нынѣшній вѣкъ прошелъ для Россіи въ безпрерывныхъ завоеваніяхъ и колонизаторской работѣ. Вы видали, сколько колонизаторской энергіи развернула она только на югѣ, еще недавно пустыннымъ. А необозримыя пространства Средней Азіи и Сибири? Еще немно-

го,—и вся эта энергія получить примѣненіе въ новой культурной работѣ государства, которая еще тѣснѣй сплотить его въ цѣлое, для мирнаго процвѣтанія и благоденствія.

«Мы знаемъ, что Западная Европа не безъ зависти, и очень тревожной зависти, поглядываетъ на славянскій просторъ; но человечество слишкомъ хорошо понимаетъ, что оно ничего не выиграло бы, если-бъ этотъ просторъ завоевала Германія или какая-нибудь другая культурная раса. Это могло бы еще представлять извѣстный общечеловѣческій интересъ, пока Россія не была цивилизованной страной, пока она могла грозить общеевропейской цивилизаціи. Теперь этого нѣтъ. И надо думать, что для благоденствія европейскихъ народовъ гораздо важнѣе, чтобъ именно Россія, уже подготовленная долгимъ историческимъ прошлымъ къ борьбѣ съ востокомъ, занимала это положеніе, а не Германія или какая-нибудь другая страна, которая, можетъ-быть, и не справилась бы на такомъ просторѣ. Россія ужъ однажды вынесла на своихъ плечахъ нашествіе монголовъ, защитивъ отъ потопа европейскую культуру. Теперь она защищаетъ ее отъ Китая.

«Мнѣ кажется, что вы, французы, давно угадали эту миссію Россіи, и что тѣ симпатіи къ русскому народу, которыя залили всю вашу страну потокомъ братскихъ чувствъ, вызваны прежде всего сознаніемъ значенія Россіи въ мировомъ братствѣ народовъ. Я думаю даже, что уже въ этой нашей трогательной братской любви, проявленіе которой потрясло весь міръ, есть знаменіе грядущаго братства. Какъ, въ какой формѣ выразится оно, будетъ ли это слияніе въ видѣ суверенитета Россіи, или, можетъ-быть, вся Европа соединить свои войска въ одну общую международную армію, которая будетъ защищать мировой порядокъ какъ полиція въ современномъ государствѣ,—покажетъ будущее. Но надо надѣяться, это сознаніе охватитъ раньше или позже все человечество. Оно слишкомъ устало отъ вражды и самоуничтоженія, слишкомъ пресытилось братской кровью и этимъ вѣчнымъ вооруженнымъ нейтралитетомъ, поглощающимъ всѣ силы націи. Человѣчеству нуженъ покой и вѣчный миръ. Оно вырождается, оно губитъ свои лучшія силы въ этой непрерывной враждѣ, отрицающей жизнь. Ему надо поработать для общаго блага, обновиться и возродиться, чтобы примирить прогрессъ съ идеями истинной христіанской жизни и искупить весь ужасъ и мракъ прошлаго будущимъ благоденствіемъ народовъ».

П. Крушевскій.

Минскъ — Вильна.
Апрѣль — декабрь.
1895 года.